ЛЕО ЯКОВЛЕВ
ЧЁТ
И
НЕЧЁТ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Что касается содержания моего романа, то я заранее согласен с мнением любого читателя, поскольку все на свете можно толковать и так, и этак. Возможно, кто-нибудь воспользуется в отношении этого текста советом Джека Лондона и «оставит его недочитанным», если сможет, конечно. Я же, во всяком случае, старался сделать все, от меня зависящее, чтобы этого не произошло.

В то же время, две части этого романа по своему стилю не тождественны друг другу. Я столкнулся с теми же трудностями, что и Г. Манн в своей книге о славном короле Генрихе IV: книга о молодых годах моего героя получилась очень цельной, а о зрелых годах — фрагментарной. Это объяснимо: вселенная зрелого человека до определенного предела неуклонно расширяется, открывая ему все новые и новые области бытия. Описать все это во всех подробностях невозможно, да и, вероятно, не нужно, и чувство меры заставило меня превратить вторую часть романа в своего рода серию новелл и притч…

- Лео Яковлев
  - Чистосердечное признание автора
  - Часть первая
    - Книга первая
    - Книга вторая
    - ВОЙНА
    - Книга четвертая
    - Книга пятая
    - Книга шестая
    - Книга седьмая
    - Книга восьмая
    - Книга девятая
    - Книга десятая
    - Книга одиннадцатая
    - Книга двенадцатая
    - Отражения и силуэты
    - Рассказы
      - Ветер Мульяна
      - Подлинная история доктора Кранца
      - Кум-пожарник
  - Часть вторая
    - Книга первая
      -

- Книга вторая
- Книга третья
- Книга четвертая
  -
- Книга пятая
- Книга шестая
- Книга седьмая
- Книга восьмая
- Книга девятая
- Книга десятая
  -
- Книга одиннадцатая
  -
- Книга двенадцатая
- Эпилог
- Бумеранг

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

Лео Яковлев
ЧЁТ И НЕЧЁТ

Памяти Инны Лосиевской

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:
Нет, не покинул Я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввёл, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Александр Пушкин (Коран, сура 89 «Заря»)

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.

Сергей Есенин

Ночь беременна рассветом.

Суфийская поговорка

Чистосердечное признание автора

(Вместо предисловия)

В отличие от чукчи из известного анекдота, я в большей степени читатель, чем писатель. В качестве читателя я частенько, по сохранившейся с советских времен привычке, листаю так называемые «толстые» журналы. В попытках прочитать содержащиеся в них «художественные» тексты мне практически всегда приходится пользоваться советом Джека Лондона, писавшего: «Читайте лучшее, только лучшее. Не бойтесь оставить недочитанным начатый рассказ». Я и не боюсь, и в результате мне последние десять лет почти ничего не удается осилить до конца.

Единственное, что я читаю весьма внимательно, так это краткие сведения об авторах сочинений, остающихся для меня недоступными по чисто литературным причинам (мне просто хочется знать, «откуда они такие берутся», говоря словами «ворошиловского стрелка»), и под влиянием потока этой почти документальной информации я пришел к печальному выводу, что в образ «современного русского (или русскоязычного) писателя» я категорически не вписываюсь по целому ряду признаков. Подробную опись таких вполне объективных признаков я никогда не составлял и могу здесь упомянуть лишь некоторые из них.

Я никогда не работал ни столяром, ни плотником, ни кочегаром, ни ночным сторожем, ни дворником, ни кладбищенским служителем, ни санитаром морга.

Я не участвовал в геологических экспедициях, не рубил лес и не выступал в цирке. Не состою и никогда не ходил в профессорах Оклахомского, Мичиганского, Канзасского, Ютского и других университетов в ненавистных русскому народу и его правителям Соединенных Штатах Америки.

Я не только никогда не жил, но и никогда не был в Израиле, Германии и США, где любят пребывать новые рыцари русской культуры и картавые русские патриоты современной формации.

Я не имею «фазенды» на берегах Бискайского залива или на гибралтарской скале и не живу сразу в нескольких экзотических местах (особенно меня поразил некий новорусский литератор, чьим местожительством одновременно являлись Соломоновы острова, Гурзуф и Тибет, или Непал, что для меня одно и то же).

Я не состою в «творческих» союзах, объединяющих великих русских (или русскоязычных) писателей, поскольку не ощущаю какого-либо своего специфического величия и не обнаруживаю в

себе пресловутой русской души.

Я не являюсь лауреатом литературных премий имени Фаддея Булгарина, Аракчеева, Каткова, князя Мещерского и других столь же уважаемых людей.

Я не учился в советских и несоветских заведениях, которые герой моей книги именует «институтом» и «высшими курсами литературной госбезопасности».

Этот перечень моих недостатков, включая проявления «растленного влияния Запада», да и не менее «растленного» влияния Востока тоже, можно было бы продолжать до бесконечности.

Как и у всякого человека, умеющего читать и предававшегося этому интеллектуальному разврату с четырех лет, у меня годам к четырнадцати появилась несколько запоздалая мысль о писательском служении. Запоздалая, потому что обычно мечты стать милиционером, пожарником, писателем или летчиком поселяются в душе ребенка годам к восьми—десяти. У меня, однако, в эти годы становления личности были другие заботы: я добывал себе пропитание различными способами — трудами и ухищрениями, в том числе, выполняя обязанности подпаска, как и положено отдаленному потомку пастушеского народа, который, как говорил Тарле, «был силен в литературе» и потому не потерялся в дебрях истории, как многие другие.

Когда же я созрел для бесплодных мечтаний, в моей большой довоенной семье остался лишь один мужчина, не попавший в отличие от всех других моих близких на фронт по причине дряхлости лет и потому не погибший в мясорубке, именуемой Второй мировой войной, как мой отец, его брат и все прочие мои родственники мужского пола, находившиеся в «призывном» возрасте.

Этот уцелевший мужчина — вышеупомянутый историк-академик Евгений Викторович Тарле — разрушил мои мечты одной фразой: «Что бы ни случилось, держись подальше от всего, связанного с идеологией, а то будешь таким же несчастным, как и я». Конечно, в те времена я еще не представлял себе масштабов идеологического террора, не знал, что «мы на идеологии не экономим» (как говаривал местный Геббельс — слабоумный Мишка Суслик, отправляя на уничтожение тираж очередной не «понравившейся» ему книги), но назойливость, с которой «советская власть» засирала идеологическим мусором даже детские мозги, меня, естественно, раздражала.

Я пережил и то время, когда ведомство того же самого слабоумного Суслика (применяя эпитет «слабоумный», я опираюсь на авторитетное медицинское заключение,

опубликованное в 1982 г. и свидетельствующее о том, что к какой-либо умственной деятельности этот человекообразный индивид был абсолютно не приспособлен) в течение двух десятков лет препятствовало публикации книг Тарле. Однако, действовавший «от имени и по поручению советского народа», Суслик вряд ли был любимцем этого народа. Много лет назад, кажется, в конце 60-х или в начале 70-х, во времена «развитого социализма» я как-то по казенной надобности приехал в Москву и остановился в «Метрополе». После хлопотного рабочего дня я, отдохнув в номере, поужинал в одноименном ресторане с пальмами в кадках, а потом пошел в одноименный кинотеатр на последний сеанс. Название фильма не помню, но помню обязательный в те годы «киножурнал», одна из страниц которого была посвящена получению т. Брежневым какой-то очередной цацки. Цацку эту на генсековский пиджак, холуйски извиваясь, присобачивал лично т. Суслик. Пользуясь темнотой зала, народ оживленно комментировал подобострастную холуйскую пластичность главного идеолога, и в этих сочных комментариях доминировало глубокое презрение к этой, так сказать, личности.

Впрочем, сейчас наблюдая, как спустя более пятидесяти лет после ухода Тарле из мира живых одна за другой, обогащая издателей, переиздаются его книги, я, конечно, хотел бы быть столь же «несчастным», как он. И в то же время я его понимаю: утвержденный т. Сталиным в должности неприкасаемого, полезного и талантливого «буржуазного» историка, он во времена моей с ним беседы — при стареющем и слабеющем диктаторе — все более подвергался идеологическим атакам всякого рода ныне забытых «марксистско-ленинских» шавок от истории, считающихся тогда светочами «революционной» исторической науки, и это основательно портило ему настроение, да и на здоровье тоже сказывалось. И к тому же он понимал, что его относительно счастливая судьба в Империи Зла была чистой случайностью.

Не исключено, что это, адресованное мне его предупреждение, было связано и с тем, что от него не укрылось мое отношение к государству, в котором Аллах меня поселил. Должен сразу же внести ясность в этот непростой вопрос: я никогда не был «безродным космополитом» и «отщепенцем, лишенным любви к отечеству». Любовь к отчизне всегда была для меня святой. Но, во-первых, моей отчизной была моя любимая и ненаглядная Украина, а в ней — Украина Слободская, или Слобожанщина, и я никак не мог считать родным краем коренную Россию, а тем более Урал, Сибирь, Дальний Восток и прочие завоеванные Российской империей территории. (Судьбе лишь

было угодно, чтобы мое чувство родины распространилось также на малый уголок земли Аллаха, и это не стало мне в тягость.) Во-вторых, понятия «отчизна» и «государство» для меня никогда не были тождественны. Отчизна — это что-то любимое и вечное, а государство есть лишь временный плод амбиций различных группировок не очень порядочных людей, и я прошу читателя помнить, что мои откровенно пренебрежительные слова относятся не к вскормившей меня земле, которой я был и буду верен, а к презренной нечисти, паразитирующей на этой земле и уверяющей, что она управляет ею от моего имени и по моей доверенности.

Возвращаясь к нашему разговору с Тарле о моем будущем, отмечу, что я ему верил больше, чем другим, и потому, когда «семейный изгой» — его младший брат Михаил Викторович, вернувшийся из Харбина, чтобы вскоре умереть в родных краях, — советовал мне всегда иметь на расстоянии вытянутой руки стопку бумаги, чтобы оттачивать свой «писательский дар» (он вроде бы его каким-то непонятным мне образом разглядел), я только улыбался. Как шутку воспринял я и слова о моем писательском будущем, оброненные Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник.

Теперь мне кажется, что я просто отложил на неопределенный срок свои писательские поползновения в слабой надежде, что сумею дожить до исчезновения советского идеологического идиотизма, а пока отводил душу в сочинениях технических книг, статей и описаний к своим многочисленным изобретениям, и это мое «наследие» оказалось таким внушительным, что в одном из государственных архивов даже образовался мой именной фонд.

Но Аллах велик, и как сказано в Коране, «когда Он решит какое-нибудь дело, то лишь скажет ему: “Будь!” — и оно бывает» (сура 19, аят 36), поскольку «Аллах мощен над всякой вещью!» (сура 22, аят 261).

Мне выпало счастье дожить до того момента, когда Аллах сказал: «Будь!» и Ему понадобилось лишь несколько дней на то, чтобы «непобедимая и легендарная» Империя Зла с ее хрупкой мечтой о «светлом будущем» перестала существовать. Канули в небытие «советская литература» и охранявший умственную девственность «советского народа» Главлит, и на первых порах никто не мог остановить бурный поток бесцензурной литературы и свободной прессы.

Однако «еврейское неверие», о котором писал одесский певец революции, не верит не только в прочность, но и в слабость. Не верил в очистительную силу 1991 года и я: слишком уж много

всякого рода коммуно-комсомольских секретаришек и инструкторишек, гэбистов, прочих «агентов национальной безопасности» и толпы штатно-внештатных стукачей внезапно стали истинно православными (включая примкнувших к этой компашке евреев, осеняющих крестным знамением свою широкую еврейскую грудь), проводниками новых «демократических» и «капиталистических» (в их понимании) идей. Многие удивлялись, каким образом все эти партайгеноссе, будто бы составлявшие в своей совокупности «ум, честь и совесть советской эпохи», могли молниеносно сформировать объединенные преступные группировки и воровские малины (конечно, под благообразными названиями). Должен сказать, что это удивление есть следствие марксистско-ленинской необразованности населения. Дело в том, что еще в первой редакции своего сочинения «Пролетарская революция и ренегат Каутский» вечно живой т. Ленин писал: «Диктатура пролетариата есть власть, основанная на насилии и *не связанная никакими законами*». (Затем эта фраза для успокоения трудящихся масс была дополнена указанием на то, что объектом насильственного беззакония в данном случае является только буржуазия — см. ПСС Ильича, т. 28, с. 216). Таким образом, беззаконие и бандитизм были изначально заложены в основу создаваемого по заветам т. Ленина прекрасного нового мира и лишь ждали благоприятных условий, чтобы лицемерный моральный кодекс строителей коммунизма перестал их стеснять. Ни второй Нюрнберг, ни даже элементарная люстрация так и не состоялись, и я был уверен, что рано или поздно какую-нибудь пакость эта нечисть сообразит.

Тем не менее я начал писать свою первую нетехническую книгу. Я сразу же решил, что, в отличие от всего ранее мной изданного, она будет подписана псевдонимом, состоящим из моего имени — «Яков» и имени моего отца «Лев» — «Яковлев», а собственным именем этого Яковлева станет Лео — имя, полученное моим отцом при крещении по лютеранскому обряду.

1991–1995 годы, когда я, шестидесятилетний, урывками писал эту книгу то в Харькове, то в Киеве, то в Сочи, то в Севастополе и Феодосии, то в Днепропетровске, были годами хлопотными: требовалось выработать хоть какую-нибудь линию поведения в меняющемся вокруг меня мире. На все испытания, подаренные временем, наложились и личные — в 1995 году обнаружилась смертельная болезнь жены. Это обстоятельство заставило меня поторопиться с завершением моего первого сочинения на вольную тему: я хотел, чтобы написанное мной успела прочитать жена, узнать в нем эпизоды наших жизней и убедиться, что память о них не исчезнет бесследно.

Она прочла в моем компьютерном «самиздате» эту книгу, получившую название «Корректор, или Молодые годы Ли Кранца», и, став моей первой читательницей, ушла снежной февральской ночью 96-го года на моих руках. Я же остался и продолжал ее перечитывать.

Прошел еще год, и вдруг какая-то моя внеплановая техническая разработка принесла неожиданные материальные плоды, коих оказалось достаточно, чтобы издать «Корректора» небольшим тиражом, что и было сделано. Появились восторженные отзывы и в местной, и в московской прессе, но я с этой книгой связывал лишь наивную надежду на то, что она заинтересует какое-нибудь издательство и я получу возможность издать полностью версию романа, вторая часть которого уже зрела в моем сердце.

Вскоре, однако, я понял, что этого не могло случиться, потому что этого не могло случиться никогда. Тем временем мой бедный издатель в 1998 году выставил это сочинение на соискание премии, именовавшейся в литературных кругах «Русский Букер». Поскольку ни он, издатель, ни я не входили в бражку, распоряжавшуюся тогда этой премией, то дальше лонг-листа «Корректор», естественно, не пошел, и его вторая часть была отложена надолго.

Меня этот «результат» не обескуражил. Принадлежавший мне тираж «Корректора» распространялся стихийно, но до меня иногда доходили вести о том, как мой литературный дебют воспринимался различными людьми. Хороших отзывов было много больше, чем плохих. Для кого-то этот текст был откровением, для кого-то — утешением. «Когда в моей душе поселяется усталость или ее терзают разочарования, я прочитываю несколько страничек из «Корректора», — говорил мне на каком-то банкете один чужеземный посольский секретарь, случайно узнав, что он сидит рядом с автором этой целительной для него книги. Было сказано, что Всевышний был готов простить весь развратный город, если в нем обнаружится хотя бы десять праведников. Писатель, на мой взгляд, имеет право быть менее строгим, чем Всевышний, и считать свой труд не напрасным, если у его книги обнаружится хотя бы один такой читатель.

И уже совсем недавно мне сказали, что в нескольких библиотеках, куда она попала, до сих пор стоит очередь из семи —десяти человек на ее прочтение. Именно это известие и напомнило мне о неизданной второй части романа, и я решил извлечь ее из небытия.

Подумал я и о «Русском Букере» 1998 года. Мои попытки вспомнить, кто и за что получил тогда эту вожделенную премию,

оказались безуспешными, и я попросил знакомого найти для меня эту информацию в Интернете (сам я в Сети не бываю). Оказалось, что «авторитетное жюри» наградило «букером» какое-то нечитаемое «произведение» под названием «Старые письма», принадлежащее перу неизвестного писателя с незапоминающейся фамилией. С тех пор ни об этом писателе, ни о его «букеровском» творении никто ничего не слышал и не поминал. Срубил «бабло» с помощью «литературных корешей», ну и ладно.

Во второй части моего романа мельком говорится о «славном завоевании социализма» — отрицательном отборе, суть которого состояла в предпочтении дерьма. Оглядываясь на «букеровскую историю», к которой случайно оказался причастен, я понял, что принцип отрицательного отбора не остался в тоталитарном прошлом и, переходя от отца к сыну или к яблоку от яблони, дожил до нашего времени, о чем свидетельствуют и «прэстижные» премии 2007 года, оказавшиеся у сочинителей путаного бормотания о недавнем и давнем прошлом, осилить которое могут только бывшие советские литературные критики и то — в виде платной услуги. Особенно поразило меня торжественное премирование теологических изысков, которым некая малограмотная дама, позволяющая себе «при людях», т. е. публично — в прессе, заявить, что автором знаменитого гейневского «Диспута» является А. К. Толстой, пыталась придать художественные формы.

Впрочем, и славная «нобелевка» давно уже, на мой взгляд, столь же «объективна», как и московские премии. Во всяком случае, после Стейнбека («Зима тревоги нашей») среди отмеченных ею «шедевров» более или менее приличная проза мне не встречалась.

Возвращаюсь к книге, что сейчас лежит перед читателем этих строк. В ней под общим заглавием «Чёт и нечет» содержится роман в двух частях. Первая часть — это старый добрый «Корректор, или Молодые годы Ли Кранца», вторая, впервые увидевшая свет, именуется «В земле Нод, или Зрелые годы Ли Кранца». Не буду вдаваться в так поразившее Пушкина сочетание чёта и нечета в одной из сур Корана: тот, кто захочет узнать его тайный смысл, может обратиться к тафсирам — комментариям к Корану. Весьма подробный тафсир, принадлежащий перу Саида Кутба, убитого «героем советского союза» Гамалем Насером, сегодня доступен русскоязычному читателю. О «земле Нод» любопытный читатель узнает из Торы — первого дарованного свыше Писания, священного для иудеев, христиан и мусульман. Скажу лишь, что «земля Нод» — это сфера обитания, отведенная Всевышним Каину и, следовательно — всем нам, поскольку у

Авеля, исчезнувшего, как дуновение весеннего ветерка, детей не было, а удержавший человечество на Земле Ной происходил от допотопных патриархов Ламеха и Мафусаила, имена которых есть и в родословии Каина (Быт. 4: 18), и в родословии младшего сына Адама — Сифа (Быт. 5: 25). Кровожадный же характер современного человечества наводит на мысль, что уцелели на Земле лишь потомки первого убийцы — Каина, а не робкого Сифа. Разве могли произойти от Сифа чекисты, гестаповцы и террористы всех мастей?

Что касается содержания моего романа, то я заранее согласен с мнением любого читателя, поскольку все на свете можно толковать и так, и этак. Возможно, кто-нибудь воспользуется в отношении этого текста советом Джека Лондона и «оставит его недочитанным», если сможет, конечно. Я же, во всяком случае, старался сделать все, от меня зависящее, чтобы этого не произошло.

В то же время, две части этого романа по своему стилю не тождественны друг другу. Я столкнулся с теми же трудностями, что и Г. Манн в своей книге о славном короле Генрихе IV: книга о молодых годах моего героя получилась очень цельной, а о зрелых годах — фрагментарной. Это объяснимо: вселенная зрелого человека до определенного предела неуклонно расширяется, открывая ему все новые и новые области бытия. Описать все это во всех подробностях невозможно, да и, вероятно, не нужно, и чувство меры заставило меня превратить вторую часть романа в своего рода серию новелл и притч.

Конечно, у долгожителя наступают сроки, когда его вселенная начинает снова сужаться — приходит старость. В то же время старость человека далеко не всегда бывает простой, и в романе-биографии она, пожалуй, заслуживает отдельной части. Г. Манну «повезло»: король Франции и Наварры был убит пятидесяти семи лет от роду и тем самым освободил его от необходимости превратить свою дилогию в трилогию, дополнив ее романом «Пожилые годы короля Генриха IV». Я же, хоть и оставил Ли Кранца живым на пороге старости, но подробно описывать этот невеселый период его жизни в рамках романа «Чёт и нечет» не рискнул.

Однако эту тему — старости, делающей мужчину «бывшим», — я не мог изгнать из своей души и почти сразу же по окончании второй части дилогии «Чёт и нечет» стал писать другой роман — «Голубое и розовое, или Лекарство от импотенции», в котором старый человек рассказывает о своей жизни и о своих взглядах на окружающий мир, вынуждающий его, погруженного в свое прошлое, к активным действиям в

фантастически сложном настоящем. Этот роман также состоит из двух частей: «Девятая жизнь старого кота» и «Последнее путешествие в Туркестан», и в нем временами слышны отголоски истории Ли Кранца.

Работая над своими текстами, я никогда не составлял планов и схем. В данном случае — при написании «Голубого и розового» — мне служили «планом» «Элегия» Пушкина («Безумных лет угасшее веселье…»), «Парижская поэма» Набокова («Отведите, но только не бросьте…») и, конечно, «Скучная история» Чехова, заканчивающаяся в Харькове, где спустя 120 лет я писал этот свой роман. Удивительно, как таким относительно молодым людям (автору «Элегии» было чуть более тридцати, Набокову — около сорока четырех, а Чехову — 29 лет!) удалось передать печаль, думы и мечты старого человека. Возможно, на страницах моего легкомысленного или, по словам одного поэта, «дерзостного» романа ощутимы и отголоски таких моих любимых творений, как Книга Иова и Книга Екклесиаста — этой «конечной ступени в области человеческого мышления» (Чехов), а также Корана, с которым я, как и с Библией, не разлучаюсь.

Я же запомнил, как легко писалась эта моя книга: я, как всегда — урывками — присаживался к столу, брал чистый лист бумаги, и слова, казалось, лились помимо моей воли: я никогда не знал, какой будет следующая фраза.

Нечто подобное я переживал года два спустя, работая над моим последним вариантом биографии Омара Хайяма («Повесть о жизни Омара Хайяма, рассказанная им самим»), пять раз переизданным московским издательством «Эксмо» в 2004–2007 годах в различных хайямовских сборниках. Но такой свободы, как при написании «Голубого и розового», я все же не испытывал: мне нужно было «привязать» события жизни Хайяма и ее хронологию к жалким крохам сохранившихся свидетельств тех, кто был современником средневекового суфийского гения либо принадлежал его эпохе, и это меня стесняло.

Таким образом, в моем представлении вдохновение, сопутствовавшее созданию «Голубого и розового», сделало для меня работу над этим романом своего рода «точкой невозврата». Конечно, и после «Голубого и розового» и повести об Омаре Хайяме в заботах о хлебе насущном мне приходилось работать над художественными текстами — над прозаическим пересказом «Песни о нибелунгах» (М.: Эксмо, 2004) и повестью о Гильгамеше (М.: Эксмо, 2005), и работа эта не была мне в тягость, но такой радости, испытанной лишь однажды, она мне не приносила. По-видимому, эту особенность «Голубого и розового» ощутили и немногочисленные читатели сего романа. Немногочисленные,

потому что его издательская судьба повторила судьбу «Корректора»: издатели говорили, что нужно писать целую серию таких «остросюжетных» сочинений, чтобы было что «раскручивать». Но для серии у меня не оставалось вдохновения, и я в 2004 г. достал эту рукопись из стола и напечатал ее весьма малым тиражом. Однако каким-то образом текст романа попал в Интернет и стал в нем размножаться уже независимо от меня. Недавно мне показали десятки сайтов в России и Украине, где он вывешен полностью, а также сайт, на котором идут дискуссии об этой книге. Но это все происходит само по себе, без моего участия. Это другая, параллельная жизнь, и то, что она существует, меня радует, хоть я, 75-летний инженер, вроде бы к ней непричастен.

Что касается упомянутой мной «точки невозврата» в художественном творчестве, то к ней, вероятно, в разное время приходят многие литераторы. Вот недавно отмечался юбилей В. Аксенова. Как его сверстник, я имел возможность наблюдать за всей его литературной карьерой, и четко вижу, что «точкой невозврата» для него стала небольшая повесть (или большой рассказ) «Жаль, что вас не было с нами». На этом он мог бы свою деятельность прекратить, и литература, на мой взгляд, ничего бы не потеряла. Некоторые идут к своей «точке невозврата» почти всю жизнь. Так, например, автор многостраничных философско-психологических романов швейцарский еврей М. Фриш, как мне кажется, только и жил, чтобы написать небольшую повесть «Монток», а все остальное было «издержками производства». Этот перечень можно было бы продолжить, включив в него «Ким» Киплинга, «Малый уголок» Моэма и т. д., но бывали редкие исключения, когда творец преодолевал «точку невозврата»: для Диккенса такой явной вершиной творчества стал «Дэвид Копперфилд», однако десять лет спустя он создал конгениальный роман «Большие надежды». Так что все возможно, но для этого нужно быть Диккенсом.

Как летний дождь, приходит вдохновенье,
Пройдет над морем и уйдет как дым…
Как летний дождь, приходит вдохновенье,
Осыплет сердце и в глазах сверкнет…

Все это, естественно, не относится к «литературным проектам» типа сочинений Коэльо, Реверсе, Х. Мураками, Б. Акунина и т. п., которые от вдохновения едва ли зависят. Литературное предпринимательство требует иных талантов.

Я это хорошо понимал и потому после 2005 года полностью

прекратил свои опыты в области художественной прозы и возблагодарил Аллаха за то, что Он, в заботах о моем благосостоянии, освободил меня от необходимости заниматься литературным трудом ради хлеба насущного, предотвратив тем самым неизбежные разочарования, ожидавшие меня на этом неверном пути.

И последнее. Когда-то в конце XX века, когда мне еще приходилось общаться с читателями «Корректора», меня часто спрашивали, насколько автобиографичны экстрасенсорные способности Ли Кранца. Время тогда было такое, что экстрасенсы возникали повсеместно: и на телеэкранах, и на страницах печатных изданий. Скажу лишь, что манипуляции с чужим сознанием я считаю недопустимыми, и сам я меру своих возможностей в этом плане никогда сознательно не оценивал. Но, как и многие люди, я не всегда был властен над своими желаниями, и временами, когда острота этих желаний выходила на уровень страсти, эти желания осуществлялись несколько чаще, чем это можно было бы считать простой случайностью. Я, однако, не люблю вспоминать об этом. Мне всегда хотелось, чтобы все, что мне дано, было даром Аллаха, а не результатом действия неясных сил. Хотя истинный мусульманин верит, что все исходит от Аллаха: и Добро — в награду достойным, и Зло — в наказание за грехи. Я тоже стараюсь в это верить.

Лео Яковлев
Январь 2008

Часть первая
Корректор, или Молодые годы Ли Кранца

И сказал Господь Бог:
вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло.

Быт. 3: 22

Поистине, над всякой Судьбой есть Хранитель.

Коран, сура 86 «Идущий ночью», стих 4

Книга первая
ТЕСНЫЕ ВРАТА

Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

Мф. 7: 13–14

I

Тот, кто еще читает Киплинга, вероятно, помнит, что речь в рассказе о Вратах Ста Печалей идет не о воротах в буквальном смысле слова, а о доме в одном из беднейших кварталов Калькутты, где находилась одноименная курильня опиума. Таким образом, дом этот был своего рода вратами в иной мир, возникавший в душах его посетителей после первой затяжки.

В этом качестве Вратами Ста Печалей можно считать и любой родильный дом, где очередной житель Земли после первого вздоха попадает в мир человеческих печалей, число которых в скорбной юдоли, именуемой жизнью, нередко превышает названную Киплингом весьма скромную цифру.

В 1933 году, в первую пятницу ноября было дождливо и сыро. Лишь около четырех часов дня в сером небе образовался просвет, и по мокрому и от этого тоже серому городу скользнул последний луч Солнца. Именно в этот момент в родильном отделении больницы имени Ленина, которую старожилы обычно именовали Александровской, у немолодой роженицы, наконец, «выдавили» ребенка.

Врач стоял в стороне, вытирая пот, роженица металась по лежаку, жадно хватая воздух открытым ртом — у нее оставалось одно легкое, а второе было «спущено» путем модной тогда варварской операции, совершавшейся для предотвращения развития открытой формы туберкулеза.

Взглянув на ребенка, врач сказал:

— Счастливый! В рубашке родился!

— Счастливый, что вообще родился, — проворчала сестра-акушерка.

Роженице дали кислород, и она заснула. Ко всеобщему удивлению, ребенок сразу перестал кричать и тоже заснул.

Ожидавшему в приемном покое отцу сказали, что роды окончились благополучно и что его жена и сын живы и почти здоровы. Делать ему было больше нечего, и он пошел домой.

II

Место, куда он пришел и куда вскоре ему предстояло привезти жену и сына, трудно было назвать домом. Это была одна комната на втором этаже двухэтажного дома без удобств. В нее попадали через коридор, в который выходило еще несколько дверей, а за ними жили другие люди. Чтобы не бегать ночью или зимой по каждой надобности в дворовый сортир, у всех жильцов второго этажа были ведра, что придавало жилью специфический запах.

Все эти обстоятельства несколько портили праздничное настроение счастливого отца, проживавшего в иные времена в огромной квартире в центре большого южного города. В этой квартире, занимавшей целый этаж, он, сколько себя помнил, имел отдельную комнату, заставленную игрушками, потом книгами на трех языках, рисовальными принадлежностями, учебниками и всем прочим, чем он, сын почетного потомственного гражданина и богатого человека, владел, как ему казалось, по праву. По тому же самому праву, когда у его матери иссякло молоко, в доме появилась полногрудая немка-кормилица. По тому же самому праву он вместе с родителями и старшим братом каждое лето отправлялся в путешествие по Европе, побывал в Венеции, Копенгагене, Женеве и, конечно, неоднократно — в Нижней Саксонии, откуда происходила семья его отца. В том мире его звали Лео, Лео Кранц.

Потом власть захватили люди, не признававшие этого его права. Его отец был объявлен «буржуем». Правда, когда завод не смог обойтись без него, главного инженера, рабочие пригласили его обратно на роль своего директора. Но раз нарушенное продолжало расползаться, и вскоре его отец умер, а он, только что поступив в сельскохозяйственный техникум — единственное доступное ему как «лишенцу» учебное заведение, — стал хвататься за любую работу, чтобы хоть как-то обеспечить нежно любимую им мать.

Подобные ситуации уже многократно описаны в толстых и тонких романах, и не стоит тратить время и пространство этого повествования, чтобы еще раз поведать трогательную историю о

ковре «хоросан» и ванне в кафеле из богатого, но безжалостно разбитого Судьбою детства. Отметим лишь, что в результате всей этой цепи несчастий и потерь он сменил свое звучное имя на более скромное — Лев — и встретился с матерью своего будущего ребенка.

III

Жизнь же этой, уже перевалившей за свое тридцатилетие, спящей роженицы началась с появлением под дверью одной из квартир на первом этаже двухэтажного дома на знаменитой Молдаванке корзины с «младенцем женского пола», как было отмечено в полицейском протоколе. За этой дверью жила огромная семья Исаака Бройтмана, общего количества детей которого никто точно не знал, поскольку старшие жили где-то в Бессарабии и, возможно, уже имели своих внуков, а никогда не видевшие их младшие резвились здесь же во дворе. Подобрав корзинку, Исаак сообщил жене, что Бог послал им еще одного ребенка. Девочка осталась в семье, играя с появившейся на свет четырьмя месяцами позже их родной дочерью и еще одной девочкой, русской, приставшей к их семейному ковчегу год спустя.

Некоторые соседи выражали сомнение в случайности этого происшествия, потому что оно совпало с тем, что ослабевший ногами Исаак, ранее руководивший бригадой грузчиков в бакалейной фирме Радаканаки, вдруг получил от хозяина в подарок «собственное дело» — кожевенную лавку, быстро освоил новую профессию и вскоре даже прославился тем, что, не пользуясь лекалом, кроил кожу с миллиметровой точностью.

Девочка же была не в масть — каштановая, с рыжим клоком волос, с зелеными глазами, и выглядела белой вороной среди черноволосого и черноглазого потомства Исаака. Но его семью и ее жизненный уклад она признала своими, считая себя в ней родной дочерью и, конечно, еврейкой. Имя, правда, дали ей неортодоксальное — Исана — в честь любившего ее больше, чем своих дочерей, Исаака.

Случайным или неслучайным было ее появление на Молдаванке, сейчас уже установить невозможно, тем более что у «бакалейного короля» действительно был какой-то близкий молодой родственник, то ли сын, то ли любимый племянник, чьих незаконных детей иногда приходилось пристраивать. Да и существенного значения это не имеет, как и то, что дом, в котором прошли ее детство и юность, принадлежал отцу ее

будущего мужа. Дом был не доходный, и этот добрый и богатый человек содержал его в благородных целях, предоставляя бесплатное жилье нескольким многодетным еврейским семьям.

До «окончательной» встречи Исаны и Лео их жизни пересеклись лишь однажды, когда она увидела его в детской художественной школе, но первые пробы показали, что рисовальщицы из нее не выйдет. Она запомнила высокого черноволосого худенького мальчика лишь потому, что тот принадлежал к известной в городе семье Кранцев.

Крупный специалист по «жидовским козням» и осведомитель Победоносцева по еврейским делам за пределами империи Федор Михайлович Достоевский, описывая жизнь своего тезки Федора Павловича Карамазова, поведал о том, что тот провел несколько лет в Одессе, где познакомился со многими «жидами, жидками, жидишками и жиденятами», а под конец даже у евреев был принят. Так вот, если еврейское общество, окружавшее в детстве Исану, едва на «жидишек» вытягивало, то семья и круг общения Лео по достоевско-карамазовской номенклатуре, конечно, относились к евреям, где подозрительный захудалый дворянчик вроде Федора Павловича и вовсе не был принят. И поэтому, чтобы Лео и Исана могли встретиться и соединить свои жизни, пролетарская революция, о которой, по словам Картавого, «так долго говорили большевики», была просто необходима.

Но даже и после революции их путь друг к другу занял несколько лет, в течение которых Исана успела даже один раз «сходить» замуж. Мужем ее оказался сотрудник знаменитой одесской ЧК, что, однако, достатка в ее дом не принесло. Этот каратель, как правило, появлялся у нее после «дела» с компанией опьяневших от крови соратников, и начиналось «расслабление», превращавшееся в обыкновенное скотство. Пьянка сопровождалась смакованием подробностей допросов и убийств. Особенно возбуждалась от кровожадных воспоминаний одна дама, любившая, как сообщил Исане ее супруг, отрезать, или, как она выражалась, «стричь» уши обреченных.

Исана все это терпела недолго и вскоре выставила на улицу и мужа, и всех его «товарищей».

Пришел нэп. Бывшие партнеры Исаака по кожевенному делу, зная о его нынешнем бедственном положении, приняли Исану в свой круг, и стало легче. Работа Исаны спасла семью, вернее ее остатки, ибо «вихрь революции» уже разметал ее часть неизвестно куда. Исаак, считавший «новый порядок» пришедшим, как говорил Картавый, «всерьез и надолго», умер спокойно, рассказывая державшей его руку Исане, как Смерть поднимается от его охладевших ног к сердцу.

Общение с «товарищами» из ЧК породило у Исаны абсолютное и непоколебимое убеждение в том, что от носителей новой власти ничего хорошего ждать не приходится, и она с презрением относилась к «политически активным» евреям, возомнившим, что пришло время, когда они в этой стране будут на равных со своими обидчиками.

Нэп уже шел на убыль, когда Лео в своих бесконечных поисках заработка где-то набрел на Исану, чувствовавшую себя после смерти Исаака очень одинокой. И они полюбили друг друга навсегда.

IV

Новую жилицу в потускневшей, но еще сохранившей остатки былого великолепия, фамильной квартире Кранцев на Греческой встретили соответственно ее социальному статусу, но ощущение унижения к ней пришло не сразу. Сначала она, работая в кожевенной лавке и принося в дом больше, чем все прочие члены семьи вместе взятые, охотно занималась кухней, помня, что ее приняли к «самим» Кранцам. Потом разобралась, кто есть кто, и сделала мужу заявление, что она готова служить его матери и брату, которых она любит, но не этим «ленивым немцам» — жене брата Нине и ее отцу, жившему тут же.

В это время Лео уже заканчивал учебу, дела семьи пошли лучше, ибо в Питере стал «прилично» зарабатывать родной брат мамы Лизы, очень ее любивший Женя, избранный действительным членом Академии наук, и в Одессу стали регулярно поступать денежные переводы. Поэтому Лео без всяких угрызений совести принял назначение на работу в Мариуполь на должность окружного мелиоратора, куда отбыл вместе с Исаной.

Шел 1928 год. Одесса осталась в прошлом. Как и все одесситы, Исана и Лео мечтали на склоне лет, заработав денег, вернуться в родной город, дожить там отмеренные Богом годы и умереть. Но Судьба решила иначе: лишь несколько кратких свиданий с Одессой — вот и все, чем одарило их будущее. Зато тяжкие испытания были уже на пороге.

Мариуполь им понравился своей тишиной (его великие стройки были еще впереди), почти одесским смешением народов и наречий, сердечностью человеческих отношений. Здесь они стали по-настоящему близки друг другу, ибо никто и ничто не отвлекало их от любви. Но здесь и подстерегала их первая большая беда. Вероятно, дали себя знать многие часы и дни, проведенные Исаной в подвалах кожевенных лавок, их

промозглая сырость, тяжкий труд. Мариупольский ветерок-сквознячок довершил свое дело и подарил чахотку.

Болезнь развивалась бурно. Полностью вышло из строя одно легкое и было поражено другое. Одесские светила развели руками. Оставалось одно: Крым, туберкулезный санаторий. И Лео несколько лет работает только ради того, чтобы Исана могла там жить постоянно. Меняются места работы. Он покидает Мариуполь, уйдя со своей пышной, но низкооплачиваемой должности, и принимается строить еврейские поселения вблизи Кривого Рога по заказу Агроджойнта, щедро платившего евреям — производителям работ. Служит инженером на Штеровской электростанции и еще бог знает где и в конце концов оказывается в Харькове.

Как только позволяли обстоятельства, Лео появлялся в Крыму. И сейчас, вернувшись из больницы и просматривая газету, он вспомнил не столько свое розовое детство и трудную юность, а свой предпоследний приезд в Крым в феврале этого длинного-длинного года.

V

Зимняя Алупка была пуста и чиста после недолгих, но обильных зимних дождей. Он остановился в гостинице с цветочным названием — то ли «Мимоза», то ли «Магнолия», и каждый день, кое-как позавтракав, отправлялся в сторону Сары, выходил на Зеленый мыс, где его ждала Исана. Они гуляли над уютным заливом и над Черными камнями вдоль берегового обрыва. Слух о приезде Лео дошел до врачей, и один из них, пригласив его для конфиденциального разговора, с прискорбием сообщил ему, что, по оценкам местного консилиума, Исане оставалось жить два-три месяца.

В тот день после обеда в санатории они встретились снова и пошли в дворцовый парк. Когда они не спеша брели по верхнему парку, стал накрапывать дождь. Лео предложил переждать, чтобы Исана не промокла. Пробежав поляну, они оказались под сенью вечнозеленого дерева. У его широкого ствола было совсем сухо. Простояв несколько минут, они почувствовали какой-то странный аромат, исходящий и от ветвей, и от ствола дерева, к которому прислонилась Исана.

— Боже, как легко дышится! — сказала она. — Словно болезнь ушла… — И добавила: — Я буду приходить сюда каждый день.

«Кедр ливанский» — прочитал Лео надпись на табличке,

когда они покидали эту поляну после дождя. В тот день Исана решила не возвращаться в санаторий и осталась в гостинице у Лео до утра. Она была горячей от жара, а не от страсти, и быстро устала от любви. Когда она заснула беспокойным сном, он вышел на террасу, с которой было видно море. Почему-то оно было светлее неба, и создавалось впечатление какого-то таинственного свечения, идущего из его глубин, из сердцевины морей — Лео вспомнил образ из книги Ионы.

Уезжал он с тяжелым чувством, и когда через два месяца принесли телеграмму, он ожидал худшего. Но в телеграмме главный врач санатория извещал его о том, что он может не продлевать пребывание в нем своей жены в связи с ее излечением. Следом пришла телеграмма и от самой Исаны.

Он приехал за ней через неделю и, рассчитавшись с санаторием, предложил Исане пожить еще две недели в Ялте, но она попросила остаться в Алупке, чтобы проводить дни в цветущем весеннем парке графа Воронцова и, конечно, посещать кедр ливанский. Перед отъездом в неизвестный ей Харьков Исана повела Лео в лекционный зал санатория и показала ему рентгеноснимки легких, расположенные под надписью «Безнадежное состояние». На одном из снимков значилось: «больная И. К.».

— Это я, — сказала Исана.

Там к ним подошел ее лечащий врач и, отведя Лео в сторону, сказал ему:

— Ваша жена беременна, и я, на всякий случай, рекомендую ей воздержаться от родов.

Когда он рассказал об этом Исане, та заявила:

— Хватит слушать этих дураков! Неужели ты хочешь, чтобы я убила того, кто меня спас от них и от Смерти?!

И он прекратил разговоры на эту тему, решив еще раз довериться Судьбе.

VI

Еще год-два назад Лео думал о том, что когда Исана поправится, они некоторое время поживут в селе для укрепления ее здоровья. Однако события на Украине принимали трагический оборот. В памяти Лео — а феноменальная память была достоянием рода, к которому принадлежала его мать, — всплывали раз прочитанные когда-то слова: «И тогда Ирод, увидев, что обманули его мудрецы, впал в ярость и приказал убить всех младенцев в Вифлееме и в округе, кто был не старше

двух лет».

Современный ирод, в отличие от Ирода Великого, медленной смертью истреблял на Украине младенцев обоего пола в мире и в материнском чреве вместе с родителями. Лео никак не мог отделаться от мысли, что цели обоих иродов — старого и нового — едины: предотвратить рождение или оборвать жизнь человека или нескольких человек, несущих в себе потенциальную угрозу силам Зла, на которых основана власть иродов во все времена. Лео был крещен по лютеранскому обряду и поэтому в годы ученья был освобожден от православного Закона Божьего, а Ветхий и Новый Заветы прочел однажды сам без пастыря. И сейчас, когда происходящее в мире вызывало в памяти евангельские и ветхозаветные картины, он очень жалел, что под рукой у него не было Библии, чтобы он мог еще раз вчитаться в вещие слова.

Все, кто мог, искали, как и Лео, спасения в больших городах, как некогда Иосиф и Мария в Египте. Городская жизнь тоже была не изобильной, но Исане повезло: по приезде из санатория она устроилась на Центральный телеграф. Город был тогда столицей Украины, и местные ироды уделяли большое внимание надежной связи с иродами московскими, а поэтому всех телеграфистов содержали на хорошем пайке. На этом пайке Исана быстро пошла на поправку, работа же на аппарате «Бодо» была не изнурительной, и врачи, под наблюдением которых она оказалась, констатировали нормальное развитие беременности.

Вспоминая теперь свой последний приезд в Алупку и эти почти счастливые харьковские месяцы, Лео вдруг ощутил чье-то благотворное вмешательство в их с Исаной жизнь: будто кто-то незаметно и неназойливо взял их под руки в беснующейся толпе и спокойно вывел на тихую улицу, залитую мягким светом весеннего солнца. Но время было позднее, Лео решил додумать эту свою мысль потом. За оставшиеся ему восемь с половиною лет жизни Лео вернулся к ней лишь однажды, в мае 42-го, когда командовал наведением переправы через Северский Донец для вырвавшихся, как и он, из харьковского котла двух-трех тысяч офицеров и солдат, но и тогда Лео не успел додумать ее до конца: случайный немецкий снаряд поставил точку в его размышлениях, завершив его пребывание на Земле.

VII

В положенный срок мать и младенец были выписаны из больницы, и детский крик огласил стены их тихой доселе комнаты. Впрочем, Исана считала, что крика было на удивление

мало, но относила это за счет слабости ее дитяти.

Некоторое время у них с Лео шел спор об имени для ребенка. Это были годы свободного имятворчества, когда на свет Божий появлялись Марлены, Сталины и Сталены, Октябрины, Владилены, Кармали и прочие Энгельсины. Регистраторы, отбросив святцы, отряхнулись от старого мира и усердно записывали в метрические свидетельства любые звукосочетания. Поэтому просьба Лео и Исаны о присвоении ребенку имени Ли была с готовностью удовлетворена, ибо истолкована как проявление интернационального духа и искреннего уважения к «сражавшемуся за свободу» Китаю и китайскому пролетариату. На самом же деле, они, чтобы никому не было обидно, взяли для имени своего малыша первые буквы своих имен. Так и появился на свете человек по имени Ли Кранц.

Исана, согласившаяся на такую, как она говорила, кличку только ради Лео, вскоре привыкла к этому необычному в их местах имени и часто, вместо колыбельной, напевала песенку любимого ею Вертинского:

Где Вы теперь? Кто вам целует пальцы?
Куда ушел Ваш китайчонок Ли?
Вы, кажется, любили португальца,
А может быть, с малайцем Вы ушли?

Голос у молодой Исаны был мелодичный, и маленький Ли засыпал скоро и крепко. Вообще у Лео возникало впечатление, что Ли свободно управляет своим состоянием. Лео, когда они оставались одни, поиграв с сыном немного, говорил ему: «А теперь поспи!» Ли закрывал глаза и через несколько минут засыпал так, что разбудить его было нелегко. Лео рассказал об этом Исане, но той хотелось, чтобы ее ребенок был «обычным», и она отмахнулась от этих наблюдений своего мужа.

Вторым предметом их семейного спора было: делать или не делать сыну обрезание. Исана, верная заветам человека, которого перед Богом она считала своим отцом, настаивала на выполнении обряда, но Лео ее увещал:

— Ребенку жить здесь, бывать в бане, возможно, служить в армии. Зачем ему выделяться, быть предметом насмешек? А если он полюбит нееврейку?

Но Исана продолжала настаивать, и тогда Лео прибегал к последнему аргументу:

— В конце концов, он — сын христианина!

— Ну и что, — парировала Исана, — ваш Иисус тоже был обрезанным и ходил в синагогу!

Лео же был непреклонен. Он не рассказывал Исане, как в те времена, когда она странствовала по туберкулезным санаториям, он получал где-то в заднепровской глуши паспорт «гражданина СССР» нового образца, и пожилой делопроизводитель, явно из бывших чиновников не ниже десятого класса, рассматривая его метрическую выписку из одесской кирхи, говорил:

— А что же вы, батенька, все теперь в евреи подались? Вот у вас записано: «вероисповедание лютеранско-евангелическое»! Почему бы не написать правду, что вы немец?

— Но и среди евреев тоже были лютеране, — отвечал Лео, — и я — один из них.

— А батюшку вашего звали Якоб? Скажите, тут вот в километрах тридцати от нас есть местечко — Кранцевка по-местному, теперь, кажется, колхоз имени Розы Либкнехт и Карла Люксембург, а прежде оно именовалось «Кранценфельд» и принадлежало герру Якобу Кранцу, я его помню, и вы его мне чем-то напоминаете, так это не ваш папаша?

— Нет, нет, — поспешно отвечал Лео, только что освободившийся от клейма «лишенца», и мысленно поблагодарил Бога, что никогда не ездил с отцом в их имение.

— Ну, как хотите! — сокрушенно говорил регистратор, — но ваша Судьба сейчас у меня на кончике пера, и помните, что евреев еще будут бить, поскольку остальное человечество без такого острого развлечения, как без табака, водки и игр в карты и рулетку, просто не может существовать. Собственно «еврей» — это даже не национальность, это — вроде профессии, профессии всеобщего «врага», и в этом качестве они нужны всем: они были нужны инквизиции и папам, они нужны христианам и мусульманам, они нужны были феодалам и не менее нужны буржуазии. Нет в мире такой управляемой кем-нибудь группы людей, объединенных любой идеей, которая бы отказалась от использования — для своего «спасения» — такого универсального, всем понятного врага, как еврей. Почему же вы думаете, что коммунисты-социалисты застрахованы от такой перспективы? Когда их дела пойдут плохо, они тоже станут бить евреев!

Последнюю часть своей речи ехидный старик произнес на великолепном «высоком» немецком, и Лео, для которого этот язык был вторым родным, машинально тоже ответил по-немецки:

— Ну что ж, Судьбу не выбирают!

Разговор этот он не мог забыть, и вот теперь хотел бы поправить Судьбу. В Исане же, в глубине ее души жила женщина Востока, и, исчерпав свои аргументы, она покорилась мужу. Так будущий «советский еврей» Ли Львович Кранц остался

необрезанным, и этот незначительный факт его биографии все же сыграл в его жизни определенную роль. Хотя и не в том плане, как представлял себе Лео, а совсем наоборот.

VIII

Года два прошли в тяжких заботах. Ли болел всем, что было предусмотрено для его возраста учебником «Детские болезни», но, тем не менее, рос и развивался нормально. Он был не очень подвижен и в меру криклив и больше всего любил наблюдать за всем, что попадало в поле его зрения. Двор давал ему большой материал для наблюдений, а вот переулок, куда выходили оба окна их семейной комнаты, был как бы мертвой зоной. Дело в том, что жилой была в нем лишь одна сторона, а другая шла вдоль стены знаменитой в уголовном мире пересыльной тюрьмы, которую освобожденный пролетариат стыдливо называл «домом принудительных работ».

Таким образом, первым детским пейзажем маленького Ли, первым видом из первого в его жизни окна была тюремная ограда, увенчанная поверху крупным битым стеклом, торчащим из бетона, несколькими рядами колючей проволоки и сторожевыми вышками, расположенными через тридцать—пятьдесят метров.

Хоть этот переулок официально назывался Проезжим, проехать по нему было невозможно из-за бездорожья, да и ехать было некуда. Чужой или гулящий народ обычно его избегал: прогулки вдоль тюремной стены никому не приносили удовольствия, и, глядя в окно, Ли видел лишь изредка пробегавших собак и свободно перелетавших колючую проволоку воробьев и ворон. И застывших в полусне часовых на вышках. Вероятно, это невеселое зрелище осталось для него на всю жизнь определяющим признаком страны его обитания.

Несмотря на массу хлопот, связанных с появлением у них Ли, Лео продолжал по-прежнему ощущать все то же внешнее благотворное влияние на их повседневную жизнь. Открывались все новые возможности, появились в его мире новые, надежные люди. Почувствовав в руках «лишние» деньги (Лео весь свой заработок, кроме сущей мелочи, отдавал Исане, считая ее более практичной в житейских делах), Исана заявила:

— Ребенку пошел третий год, и у него должна быть отдельная комната. Нельзя, чтобы мальчик видел и слышал наши ночные дела!

— Ты права, и действуй, как знаешь, — ответил Лео.

Вскоре был найден обмен с доплатой: на втором этаже такого же двухэтажного дома на соседней — Еленинской улице, но во вдвое большей по площади комнате осталась одинокая женщина, желавшая сменить обстановку, и небольшая дотация ее устраивала, а остальные сбережения Исана потратила на устройство капитальной перегородки. Так у Ли появилась «своя» комната.

Их переезд совпал с довольно редким в этом предместье большого города развлечением — похоронами «по первому разряду», с пышным катафалком и гремящей медью. Ли внимательно рассматривал процессию, а когда он с Исаной и Лео зашли в пустую и от этого огромную комнату «на три окна», Ли спросил, четко выговаривая недавно услышанное слово:

— А что такое — Смерть?

Лео спокойно объяснил ему, что все живое, прожив положенный срок, умирает, и человек — не исключение. У Ли эта печальная информация возражений не вызвала, но когда он бегал по пустой комнате, то в одном из ее углов он остановился и сказал:

— Вот здесь Смерть! — и, топнув ножкой, побежал дальше.

Позже, познакомившись с новыми соседями, Лео и Исана узнали, что в том углу, где увидел или почувствовал Ли дух Смерти, стояло когда-то трюмо с большим зеркалом, перед которым застрелилась племянница бывшей хозяйки всего этого дома. Ей показалось, что ее муж — военный — ее бросил. Уже после ее похорон выяснилось, что отряд мужа был отрезан от дорог басмачами, и пришлось ему зимовать в Алайских горах. Лео обратил внимание Исаны на особую чувствительность Ли, но она опять отмахнулась, поскольку все эти самоубийства, роковые стечения обстоятельств, парапсихология и прочие «отклонения» были для нее несусветной чушью, а Алайские горы — так же нереальны, как острова Тонга. Тем более что она даже представить себе не могла, что через каких-нибудь пять-шесть лет она и Ли окажутся в предгорьях Алая, где уже без Лео будут бороться за свои жизни.

А пока, на удивление новым соседям, Ли в любую погоду, в любой мороз, укрытый шкурой белого медведя, привезенной Лео из командировки в Мурманск, спокойно спал днем во дворе: так Исана, помня о своей, чуть не ставшей смертельной для нее болезни, старалась закалить легкие маленького Ли.

Книга вторая
ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ЗЕМЛЕ

Кто может выйти, минуя дверь?

Конфуций

I

В двух комнатах новой квартиры на Еленинской расположились так: в первой, куда вела зашторенная дверь из общего коридора, была голландская печка, задняя кафельная стенка которой выходила во вторую комнату, обеденный стол, буфет с посудой, шкаф для верхних вещей и широкая тахта. Во второй комнате также стояла тахта, письменный стол с глубоким кожаным креслом, книжный шкаф и трюмо. Таким образом, вторая комната была кабинетом и детской, но наличие тахты позволяло оставлять Ли спать там, где он засыпал — то ли в первой, то ли во второй комнате, тем более что шум ему не мешал.

В четыре года Ли стал интересоваться буквами. Отец показывал ему их по его просьбе на корешках стоявших в шкафу технических книг. Слогам его никто не учил, тем не менее, он через месяц-другой, на удивление Лео, стал читать названия книг, а потом вдруг прекратились его просьбы «что-нибудь почитать» вслух. Но более всего поразило Лео то, что Ли сразу начал читать свои книжки «про себя», даже не шевеля губами. Первой прочитанной им книжкой были рассказы Киплинга о Рики-Тики-Тави и о слоненке. Не поверив Ли, отец попросил его пересказать содержание, но когда он заглянул в печатный текст, то увидел, что Ли, прочитав его два-три раза, теперь шпарил весь рассказ наизусть, не делая ни одного отступления. Лео понял, что Ли тоже досталась в наследство фамильная память, и стал понемногу учить его немецкому. Вскоре тот освоил и латинскую азбуку. Таким образом, на пятом году своей жизни Ли Кранц уже был довольно серьезным человеком.

Однако отцовская занятость, трудные для человека с одним легким домашние хлопоты Исаны по хозяйству, поглощавшие все ее время, и манившие его яркие соблазны двора и улицы избавили Ли от такого несчастья, как перспектива стать «еврейским вундеркиндом» с испытаниями скрипкой и

фортепьяно, тем более что он от рождения не переносил ритмических звуков и движений и никогда не «отбивал такт». Правда, и тот путь, на который свернула его жизнь, лишь с очень большой натяжкой можно было назвать нормальным.

Уличное воспитание Ли началось, естественно, с национального вопроса. До его выхода на улицу в семье никто и никак не вспоминал при нем о таком понятии, как «нация». Исана свободно говорила на жаргоне восточноевропейских евреев — идиш, знала и напевала еврейские песни. Лео не знал еврейского, но свободно владел немецким и знал французский. Поэтому языком общения в семье был русский, которым совершенно чисто владели и Лео, и Исана, даже без того неистребимого одесского акцента, от которого многие одесситы, неевреи, не могли избавиться до конца своих дней. Ли был окружен русскими книгами и был белобрысым, светлоголовым ребенком. Ничто не выделяло его из среды сверстников, наоборот, дети украинцев, также представленные в этом предместье, отличались более яркими, экзотическими красками и смуглостью кожи. В своем представлении Ли был русским, однако улица довольно быстро изменила его взгляды. Дело в том, что предместье в весьма заевреенном тогда Харькове пользовалось дурной славой. Евреи в нем еще расселялись в новых домах по пересекавшей его одной из главных магистралей города — Екатеринославской улице, избегая периферийных участков, и Лео, Исана и Ли были единственной еврейской семьей на довольно длинной и, если не считать двух домов, одноэтажной улице. Поэтому выход Ли «в люди» не остался незамеченным, и ему сразу же разъяснили, что люди здесь есть трех сортов: высококачественные русские, терпимые — украинцы и совсем ничтожные и вредные, конечно, евреи.

— Почему мы — еврейцы и почему мы — плохие? — задал Ли уже дома обычный в этой стране вопрос, который миллионы еврейских детей задавали своим родителям.

Ему, естественно, рассказали, что евреи — такие же люди, как и все прочие. Чем, например, плох его отец, всеми уважаемый инженер. Лео посчитал тему исчерпанной, но в его отсутствие Исана возобновила разговор. Ей без труда удалось «расколоть» Ли и узнать имена его уличных учителей. А затем произошло следующее: закончив домашние дела, Исана приоделась и погожим летним вечером, прихватив с собой Ли, пошла «на угол», на трамвайную остановку встречать Лео с работы. Такие прогулки были одним из традиционных развлечений. В тихие летние вечера оживала вся улица. Хозяева домов располагались у калиток, кое-где для удобства были даже устроены скамеечки.

Прямо мирный деревенский пейзаж.

У одной из калиток стояла разодетая высокомерная дама, возле которой чинно расположились оба ее сыночка, дававшие Ли первые уроки русско-советского интернационализма. Исана остановилась рядом с ней и во весь голос, чтобы слышана вся улица, обратилась к ней:

— Ты что же, шелудивая сучка, не можешь как следует воспитать своих выблядков?

И далее последовал такой отборный мат, заимствованный Исаной из лексикона одесских портовых грузчиков, что даже спустя много лет, проведя немало времени на «стройках Союза», Ли не мог его воспроизвести в полном объеме. А тогда Ли испугался, что Исану будут бить, но неожиданно заметил глубокое уважение во взглядах нескольких приблатненных личностей, вышедших на улицу покурить и перебросится парой слов. А когда он с Исаной проследовал мимо них, то услышал их негромкий разговор:

— Самостоятельная женщина! — сказал один.

— А то! — подтвердил его приятель.

Позднее, освоив «феню», Ли узнал, что термин «самостоятельная женщина» означает бывшую блатную, нашедшую себе «приличного» мужа и сумевшую завести семью. Вероятно, что-то из Исаниной тирады убедило их в том, что «Саня», как они стали ее называть, — «своя». Как бы то ни было, но с этого момента жизнь Ли была взята улицей под охрану, а «Санин сынок» оказался неприкосновенной персоной. Еврейская тема в отношении его семьи, во всяком случае, при нем, перестала существовать.

Безопасность Ли носила, однако, сугубо личный характер, и признание его «своим», наоборот, открыло ему всю глубину юдофобской подготовки, которую давало предместье своим сынам, начиная с самого нежного возраста, с первых детских скороговорок типа «Сколько время? Два еврея, третий жид по веревочке бежит!» и «героических» песен о пойманном бандите, который признается, что угробил «восемнадцать православных, двести сорок пять жидов». Жидов ему, естественно, в песне прощают, а вот за православных приходится держать ответ. Образцов такого юношеского и детского юдофобского фольклора хватило бы на целую книгу, а воспитанные на нем «лучшие представители народа», отличавшиеся безупречным арийским происхождением, составили в дальнейшем — в 60-х и 70-х — командную верхушку «советского общества», которая благополучно привела его к краху.

II

Так у Ли обстояли дела с национальной проблемой. Но ею, к сожалению, не исчерпывались печальные реалии тогдашней жизни. Иногда, когда Лео уезжал в командировки, Исана брата с собой Ли в гости в их «старый дом» в Проезжем переулке, где жили какие-то родственники бывшего пламенного революционера, ставшего к тому времени уже «врагом народа», — Николая Ивановича Муратова. Когда Муратов был в силе, эти родственники Исану не интересовали, но когда случилась беда и вокруг них установилась густая атмосфера тихого злорадства, она не считала себя вправе от них отвернуться. Ли на всю жизнь запомнил тихие разговоры при плотно занавешенных окнах о зверских пытках, о поломанной челюсти, о лице, ставшем кровавой маской. Исану, имевшую несчастье близко знать «товарищей», это не могло удивить.

— Это же звери! — говорила она. — Они способны на все!

И опять оживала в Исаниных рассказах ее молодость, ее первое неосмотрительное замужество, приоткрывшее для нее окно в неведомый и страшный мир зверств, пыток и издевательств над человеком, существующий где-то рядом, на расстоянии в один неверный и даже просто неудачный шаг. Ли же сделал для себя важный вывод: в стране, где ему не по его воле придется жить, существуют «они», ежесекундно по чьей-то команде готовые уничтожить и его самого, и весь мир, в котором живет он, и вообще — «мы» — люди хорошие, не желающие друг другу зла. А чтобы не пропасть в этом мире, «нам» нужно таиться, не открывать своих мыслей и не привлекать внимания к своим поступкам.

Этот вывод, к которому Ли пришел, вернее, к которому привела его жизнь в самом раннем детстве, не противоречил, как он сразу понял, и общему мироустройству. Добро и Зло были рядом и в мире, отраженном книгами. Начиная с трех поросят, коим в прекрасном лесу, где бы только жить и жить, за каждым пнем грозила беда, не говоря уже о Рики-Тики-Тави. Там «они» были страшны и реальны — семейство кобр, казалось, вполне соответствовало ломающим челюсти и отрезающим уши людям. Но несколько лет спустя, когда Ли пришлось один на один в заброшенном саду посмотреть в глаза изготовившейся для нападения на него кобре, он понял, что люди гораздо страшнее: благородная змея сердитым шипением предупреждала его о том, что дальше путь закрыт и нужно уходить прочь.

III

Светская сторона жизни Ли за пределами родных стен не исчерпывалась визитами к страдающим большевикам. Более интересным во всех отношениях был дом профессора Якова Тарасовича Н., где их, всех троих, знали и ждали. Круг знакомых Лео был достаточно широк, но наступило время, когда доверять каждому было невозможно. Вероятно, нестандартный, как теперь говорят, образ мыслей маленького Ли был одной из причин предельной осторожности Лео. Однажды он застал Ли за разглядыванием довольно четкой фотографии в «Огоньке», на которой красовался весь набор тонкошеих вождей верхом на Мавзолее. Лео заметил, как Ли резко отодвинул от себя картинку, и поинтересовался, что ему в ней не понравилось.

— Там нет ни одного *доброго*! — ответил Ли.

В доме Лео и Исаны не было портретов «вождей», а после этого случая даже газетные фотографии перестали попадаться Ли на глаза.

Якову Тарасовичу в этой части Лео доверял беспредельно. Это был щирый украинец, интеллигент-технарь старой формации, выпускник петербургского Политехнического института, крайне скептически, чтобы не сказать резче, относившийся к социалистической и коммунистической идеям, и его гости были ему под стать.

По случайному совпадению день рождения Ли почти совпадал с днем св. Иакова, чье имя носил профессор, и когда он об этом узнал, то сразу же принял решение отмечать эти знаменательные даты вместе.

Этому первому балу Ли предшествовала первая же в его сознательной жизни поездка в Одессу. Время было летнее, и раздобыть можно было только плацкартные билеты. Во время поездки Исана, как всегда, была занята хозяйственными делами — их пропитанием. Ли расхаживал по вагону, а Лео читал и наблюдал за ним. Он обратил внимание, что мимо одних открытых купейных отсеков Ли проходил не задерживаясь, едва взглянув на их обитателей, а у других задерживался и даже вступал в беседу. Когда Ли, погуляв, забрался к нему на верхнюю полку, он спросил его о причинах таких странных для него перемещений.

— Я останавливался возле добрых людей, — объяснил ему Ли.

Когда Лео поинтересовался, что означает слово «добрый», Ли был раздосадован его непонятливостью и ответил сравнением:

— Ну, как наш Лебедев.

Лебедев жил в одной из комнат их коридора, дверь в дверь с ними. Он был алкоголиком, но это не мешало ему быть и талантливым математиком. Возле него всегда крутились студенты из его техникума и их друзья из других учебных заведений, иногда даже высших. Лебедев их бескорыстно натаскивал в своей науке, а те из благодарности отмечали с ним свой успех и потом доводили его до ворот. Все, кроме Ли, в такие моменты избегали встречи с ним. Ли бесстрашно подходил к нему, брал его за руку и провожал в его комнату, где кроме железной кровати, стола, двух табуреток, чайника, кружки, сковородки, примуса и книг, ничего не было. У своего порога Лебедев обнимал Ли за плечи, плакал, прижимаясь к его макушке, и приговаривал:

— Обмеривают нас, Ли, и обвешивают! Все как один! Жулье!

Ученики Лебедева почти всегда интересовались, почему у мальчика такое странное имя. Никогда не улыбавшийся в трезвом состоянии, Лебедев совершенно серьезно шепотом сообщал:

— Т-с-с, он — китайский еврей!

Повидавшая изнанку жизни Исана была очень терпима к людям, а Лео немного шокировала дружба Ли с алкоголиком, и разъяснение сына, что Лебедев — «добрый», его не убедило. Но когда Ли очутился вместе с отцом на именинах у Якова Тарасовича, где присутствовало более десятка хорошо известных Лео харьковских профессоров, доцентов и инженеров (тогда это слово — «инженер» — еще не было оскорбительным), и там безошибочно выбрал себе в друзья тех, кто пользовался безупречной во всех отношениях репутацией, Лео, наконец, понял, какой смысл для сына имеет слово «добрый». И поделился своими открытиями с Исаной, но та, пожав плечами, сказала, что это ерунда какая-то. Сам же Ли никак не мог понять, почему взрослые люди не видят издалека, кто из них хороший и добрый, а кто — плохой и злой.

Посещение дома Якова Тарасовича было для Ли Праздником. Мальчик там тоже был любим и приглашаем не только на именины, но и на встречи Нового года. Да вот только Новых годов, увы, оказалось немного. Яков Тарасович болел сердцем, и его здоровье уходило на глазах. Последнее свое лето он проводил в санатории на Березовских минеральных водах. Ли с Лео посетили его там. Они ехали долиной маленькой речки Уды, где, казалось, сосредоточилась вся тихая неброская красота Слобожанщины, сосредоточилась ради Ли, чтобы остаться в его сердце вечным образом его малой и потому — истинной Родины. Запомнил Ли и ухоженный парк, и чистый пруд, где резвилось столько плотвы, что стоило бросить кусочек булки в воду,

подвести под нее сачок для бабочек — и через секунду в этом сачке билась и металась горсть живого серебра. Яков Тарасович умер в начале золотой слобожанской осени, в день, когда пал Париж. На похороны Ли не взяли. Сладкое и радостное понятие «у Якова Тарасовича» стало одним из первых воспоминаний в его жизни, а его уход — первой ощутимой потерей. Счет был открыт, и продолжение не заставило себя ждать. Но об этом несколько позже, а сейчас вернемся к теме «двор и улица», вернее к их воспитательной роли в жизни Ли. И речь здесь пойдет о том, что в прошлом веке называлось «воспитанием чувств», а в нынешнем — сексом, что, по сути дела, одно и то же, как бы ни старались «филозопы» последнего времени разделить любовь и влечение. Просто формы любви значительно многообразнее форм влечения, но в любой форме любви явно или неявно присутствует влечение, и наоборот, в любой форме влечения явно или неявно присутствует любовь. Они — неразделимы.

IV

В своем похвальном стремлении сохранить целомудрие Ли, ради чего и были совершены такие героические поступки, как обмен и преобразование комнаты в квартиру, Исана потерпела жестокое поражение от маленькой девочки — соседки с первого этажа их нового дома. Правда, о масштабах и сокрушительности этого поражения она даже не догадывалась и не узнала до конца своей жизни: маленькие любовники умели хранить свои секреты, и Исана наивно полагала, что дальше, чем посмотреть, какие у кого письки, дело не пошло. Однако она не оценила уровень образованности Тины, жившей с отцом и матерью в комнате площадью шесть квадратных метров, где помещались две кровати, стул и стол. Большую же и светлую комнату с двумя окнами на улицу в их квартире занимали ее дед и бабка по отцу, родом из-под Вологды, уважавшие Домострой и потому считавшие, что «молодых» баловать нельзя. Ну, а остальные помещения их квартиры — кухня и веранда — были проходными и не приспособленными для жилья.

Тина была старше Ли на три года. К тому времени, когда он стал проводить свой дворовый досуг без постороннего присмотра, ему было почти пять, а ей шел восьмой год, и она собиралась в первый класс средней школы. В отличие от Ли, читать она еще не умела, но все детали интимных отношений ей были известны, и Тине не терпелось применить свои теоретические познания на практике, а Ли в тот момент оказался единственным доступным

ей объектом.

Поиграв в обычные детские игры на виду у редких дневных обитателей дома, Тина увлекала Ли в темный сарай, и там начиналось захватывающее дух исследование человеческого естества. Свою невинность Ли потерял очень скоро: в настойчивых руках Тины его головка вышла из тесного футляра крайней плоти, не удаленной обрезанием, но полностью совершить ею задуманное, как «папа и мама», Тине не удалось из-за каких-то невидимых препятствий.

Впоследствии Ли, читая своего любимого Набокова, не мог сдержать улыбки, знакомясь с его описанием грехопадения Долорес — Лолиты. Увы, личный опыт Набокова, чье детство, как и детство его неслучайных подруг, прошло под неусыпным надзором гувернанток и воспитателей, не простирался дальше васильковых венков.

> В листве березовой, осиновой,
> в конце аллеи у мостка,
> вдруг падал свет от платья синего,
> от василькового венка.

И это обстоятельство вполне объясняет его наивность, когда он рассказывал, как Долорес за год до встречи с Г. Г. отдавалась «грубому и совершенно неутомимому Чарли», который «не разбудил, а, пожалуй, наоборот, оглушил в ней женщину». Дело в том, что девочку — а, по рассказу Набокова, Долорес во время встречи с Чарли было одиннадцать лет — не разбуженную как женщину, охраняет от «блудливых мерзавчиков» не только тонкая пленка девственности, но и сильная боль от сухости ее внутренней полости, преодолеть которую трудно даже тогда, когда сама девочка, как это было с Тиной, к этому стремится. И первый ее порыв завести «его» в себя оказался тщетным: дальше губ «он» не двигался.

Конечно, они вдвоем в конце концов пришли к пониманию того, что «его» нужно «смазать», но уже задолго до этого просветления они нашли еще несколько очень приятных вариантов своей запретной игры, уравнивающей их со взрослыми. Однажды, когда Тина сидела, а Ли поднялся, чтобы перейти на другое место, «он» оказался на уровне лица Тины, и та, недолго думая, открыла рот… Ли довольно быстро понял, что это гораздо приятнее и легче, чем толкаться со своим набухшим отростком к Тине между ног, прежде всего потому, что это вообще для него не составляло никакого труда. Сначала Тина пыталась пропустить «его» поглубже, но когда «он» приближался к горлу, ее сводила

судорога, и она стала оставлять во рту только головку, лаская ее языком, а рукой в это время перебирала яички.

Ли тем временем продолжал свои самостоятельные исследования. Поскольку ему не хотелось отдаваться ласкам Тине стоя, а расположиться на деревянной крышке погреба «лесенкой» они из-за недостатка места не могли, Ли стал укладываться «валетиком». Пока Тина занималась «им», Ли стал поглаживать ее между ног, лаская пальчиками губы и снаружи, и изнутри, неглубоко погружаясь в «нее». Вскоре он заметил, что ласки Тины как-то связаны с его ласками, и если он не ленится, то и она становится еще более страстной и изобретательной. И еще одна мудрость была усвоена пяти-шестилетним мальчишкой: чем легче, чем воздушнее его прикосновения, тем сильнее они действуют на его любимую. Так из-за наполненности их летней жизни этой сладкой игрой, придававшей каждому их новому дню яркость и новизну, они без конца откладывали «главное» — свою полную близость. И так получилось, что в последнее свое лето перед войной они разъехались в разные стороны, а летом 41-го уже было не до любви.

V

Тина и Ли были так осторожны, что никто из взрослых даже не мог предположить о существовании между ними подобных отношений. На виду у всех они были обычными детьми. Иногда с тем или другим папой они вместе отправлялись гулять. При этом Ли признавал, что прогулки с дядей Ваней, отцом Тины, были более интересными, чем прогулки с Лео. Дядя Ваня заходил с ними в расположенный неподалеку лес, где, не сворачивая с затоптанных дорожек, за полчаса наполнял грибами лукошко. Он учил Ли видеть в природе невидимое, но тогда никому бы и в голову не пришло, что этот опыт когда-нибудь понадобится Ли, хотя время уже было близко. На обратном пути они втроем непременно заходили в пивную, где дядя Ваня ставил перед собой две больших кружки пива, а перед Тиной и Ли — по одной маленькой и обязательно блюдечко с солеными бубличками. Таким образом, первое знакомство Ли и с женщиной, и с алкоголем произошли еще до его шестилетнего юбилея. То и другое было для него чем-то схожим: начинаясь с ощущений почти неприятных, потом и достаточно скоро каждый из этих новых для него видов общения с окружающим миром приносил ему неизъяснимое наслаждение. Но Ли по особой милости к нему матери-Природы и Тех, Кто хранил его Судьбу (это об их

существовании смутно догадывался Лео), относился к тем, кто, говоря словами св. Иоанна Богослова, имел меру в руке своей. И этот инстинкт меры не позволил ни одному из наслаждений и ни одной из страстей овладеть его душой. Он же научил его никогда не говорить до конца о своих знаниях, чувствах и заботах с другими, как бы близки они ему ни были.

Когда через шесть лет после своих первых любовных утех Тина и Ли встретились снова, сказалась их разница в возрасте. Тине было шестнадцать, и она уже была вполне сложившейся девушкой со всеми настроениями, свойственными этим годам. Тринадцатилетний Ли, к тому же очень тщательно скрывавший, что его личный любовный опыт за годы их разлуки далеко ушел от их детских игр, ее не интересовал, и только в последние школьные годы (она опережала его на один класс) они сделали попытки сближения, в которых неторопливый Ли не спешил выходить за рамки одетых ласк и поцелуев.

Но потом студенческая жизнь и ее миражи снова оторвали от него Тину, и лишь перед ее отъездом «по назначению» в Питер они устроили себе долгий вечер откровенных воспоминаний, представ друг перед другом нагими, и убедились, что Природа была к ним милостива. Опыт Ли и условия встречи позволяли ему тут же сделать их близость предельной, но он воздержался, потому что видел, как много надежд у Тины связано с ее будущим, с ее новой жизнью, и как сильно может он, Ли, на это будущее повлиять. Инстинктивное уважение к Карме, о существовании которой он тогда еще не знал, но чье присутствие ощущал постоянно, тоже было одним из душевных сокровищ Ли.

Прошло еще девять лет, много изменилось в их с Тиной мирах, и в уютный номер тогда еще совсем новой питерской гостиницы «Россия» в ранних сумерках северного сентябрьского дня вошла стройная молодая женщина в легком пальто, с закутанным в темный шарф горлом. Она сняла пальто и шарф и оказалась в домашнем халатике,

— Я не стала наряжаться, — сказала она, — я ведь просто зашла отдать долг.

Ли подошел к ней и обнял. Она, почувствовав суть этого объятия, засмеялась и спросила:

— Помнишь, в нашем сарае я как-то сказала тебе: «почему “он” то мягкий, то твердый?», а ты мне ответил: «Он» твердеет, когда ты рядом!»

И время их остановилось на несколько часов, позволив им вернуться в их далекое детство, но вернуться туда людьми, умудренными жизнью, знающими, что и как нужно сделать, чем помочь друг другу.

Потом он проводил ее домой на Фонтанку, и больше интимных встреч у них не было, а вся история их странной преждевременной любви заняла свое прочное место в душе и в памяти Ли. Ночь он почти не спал от нахлынувших воспоминаний, а на следующий день ранним утром покинул Питер и впервые в своей жизни пересек границу Эстонии. Перед ним замелькали невиданные ранее города Нарва, Тарту, Таллинн, куда он потом не раз возвращался. Но в событиях того сентябрьского питерского утра был и иной смысл: он навсегда покидал страну своего детства. Его случайная попутчица, оказавшаяся рядом с ним в автобусе, услышала отголоски того, что творилось в его душе, и сама предложила ему, когда они остановились в Ивангороде, пройти пешком через центр Нарвы на автовокзал и там уже сесть в автобус. Они ступили на мост между крепостями-замками над быстрой Наровой. Посреди моста Ли остановился на мгновенье: над рекой в сторону морского залива, тесня друг друга, спешили низкие белые облака с позолоченными солнцем краями, а на их фоне и на фоне холодного густо-синего неба чертили свои вечные узоры черные ласточки. Ли на миг показалось, что рядом с ним — Тина, а не эта незнакомая, но умеющая молчать молодая женщина, и что они вместе прошли к этой границе, чтобы расстаться здесь навсегда.

Когда через год-два по империи Зла прокатился свежим звенящим потоком самиздатский набоковский «Дар», Ли нашел там такие строки:

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету…

И от этих слов острая боль пронзила сердце Ли…

VI

Нам же пришла пора вернуться в его детские годы. А тогда не только отношения с Тиной, так украшавшие два самых теплых летних месяца, делали жизнь Ли напряженной, яркой и наполненной до краев. В его весьма насыщенной программе постижения мира не последнее место занимало и изучение своих

родственных связей.

Еще в свой первый «сознательный» приезд в Одессу Ли познакомился со своей единственной живой бабушкой Лиз, но там, в Одессе, она была недоступна, как королева. Она появлялась за столом за завтраком и обедом и участвовала в общей беседе. Затем она шла на прогулку в сквер на Соборной площади, читала немецкую книжку, сидя у подножия памятника графу Воронцову, а возвращаясь, уходила в свою комнату. К ужину она не появлялась, только перед сном дядя Павел, Лео и Ли заходили к ней на несколько минут поговорить и пожелать доброй ночи. Дни же Ли были заполнены пляжами (уже при первой своей встрече с морем Ли признал в нем свою стихию) и визитами. Из последних память Ли сохранила посещение тетушки Доры — вдовы старшего брата его покойного деда, запомнившееся удивительным угощением — киселем, поданным на плоских тарелочках. Из пляжей Ли полюбил Лузановку с ее горячим песком, невысокой волной и очертаниями залива с силуэтом противоположного берега, придающим всей картине праздничность, которую можно ощутить, пожалуй, только у Марке. Во всяком случае, именно Лузановку вспомнил впоследствии Ли, разглядывая «Порт Гонфлер» и «Везувий». Лео предпочитал открытое море и камни — Ланжерон и пляжи Большого Фонтана.

Лишь когда бабушка Лиз приехала в Харьков погостить на неделю, Ли узнал ее поближе. Она читала ему вслух немецкие сказки, переводя их при нем на русский, но и здесь, в Харькове, время ее общения с Ли было тщательно отмерено, и, когда оно истекало, бабушка отправлялась отдыхать.

Бабушка Лиз умерла весной сорокового.

И вот ее нет. Она заболела пузырчаткой и скончалась в больнице. Со слов какого-то одесского ученого неуча из важных «докторов» эта болезнь воспринималась как нечто уникальное, свойственное исключительно восточным народам. Легенда эта жила даже в просвещенной семье ее брата — академика, но спустя годы Ли по описаниям Исаны поставил другой диагноз — крапивница, ибо бабушка Лиз любила изысканную еду и новые лекарства, коими старался снабдить ее всемогущий к тому времени любимый брат Женя. В этих лакомствах она и обрела свой роковой аллерген. Тем более что пузырчатая реакция на аллергены перешла по наследству и к Ли, и к его сыну.

Летом сорокового Ли с отцом и матерью последний раз все вместе были в Одессе. Ли к тому времени еще не осознал, что в его мире происходит намеченная кем-то смена его близкого окружения, но он уже тогда понял, что значит уход навсегда даже

такого незаметного в свои последние годы человека, каким была в доме Кранцев бабушка Лиз. Без нее опустел общий стол, где прежде все делалось с оглядкой на нее, и теперь противный немец — капитан дальнего плавания на покое — развлекался тем, что надевал на свою левую руку носовой платок на манер пиратской повязки и рисовал на своем кулаке химическим карандашом какие-то мерзкие рожи, пугая ими Ли. Лео, Исана и Ли побывали на немецком кладбище, где бабушка Лиз была похоронена рядом с дедом, и там Ли убедился, что даже самая роскошная могила не заменит живого человека.

VII

В том же сороковом был у Ли и другой гость. Однажды, когда он болтался на улице возле дома, к их воротам подкатил «Ванько» («Ваньками» в Харькове называли извозчиков, просуществовавших со своими подрессоренными фаэтонами до самой войны, ибо три четверти городских улиц для другого транспорта не годились, разве что для танков). Ванько привез полную даму с живым нездешним лицом. Ли слышал от отца, что к ним, возможно, по пути из Сочи заедет на несколько дней Мария Викторовна, родная сестра бабушки Лиз, а для Лео «тетя Манечка» или даже просто «Манечка», но когда и как это произойдет, никто не знал. Дама поймала мимолетный взгляд Ли и, как она рассказывала потом двадцать лет подряд, была поражена ощущением, что ее *узнали*. Ли действительно ее узнал, и она его узнала, хотя до этого друг друга они не видели даже на фотографиях. Слова «мимолетный взгляд» употреблены здесь не для украшения слога: Ли и правда с детства не мог долго смотреть на людей, потому что ему казалось, что они физически ощущают, как его взгляд проникает сквозь их внешние маски. В то же время, Ли не мог сказать, что ему сразу становились ясны тайные помыслы и истинное лицо встречного. У Ли даже склонности не было к психологическому анализу. Просто в глубине его души находился примитивный, но достаточно точный прибор типа определителя «свой — чужой», и его информации было ему вполне достаточно для решения тех несложных тактических задач, что возникают у человека, чья жизнь не соприкасается с высокой политикой.

Лет десять спустя жена брата его бабки — дядюшки Жени — Ольга Григорьевна, или тетя Леля, в девичестве Михайлова, принадлежавшая к не очень знатному русскому дворянскому роду, как-то поделилась с Ли своими соображениями о происхождении уникальной, поистине всеобъемлющей памяти ее

супруга:

— Мать Жени — твоя прабабка — была очень умной женщиной. Она не раз мне рассказывала, что среди ее предков было много цадиков. Думаю, что это от них его ум и память!

Объяснение по нынешним временам почти научное: вполне естественно, что несколько поколений знатоков Торы и Талмуда могли передать своим потомкам хорошо тренированную память. Но в обязанность цадиков — региональных мудрецов — входили еще и чисто житейские советы и предсказания, для которых было необходимо знание и *видение* людей, и если цадики среди предков Ли существовали, то эту часть своего интеллектуального наследия они приберегли для тети Манечки и для Ли. Тем и интересна была их встреча. Много лет спустя Ли не раз наблюдал, как полуслепая тетя Манечка, едва различавшая очертания людей, по их голосу, интонациям и по одной ей известным признакам составляла себе полное представление о собеседнике и давала ему точнейшую и исчерпывающую характеристику. Его же собственная проницательность, которую он безуспешно от нее скрывал, вызывала в ней некоторую настороженность.

Впрочем, при их первой встрече их интерес друг к другу был взаимным. Тем более что Ли нашел в ней живую рассказчицу замечательных историй. Их действие происходило в дальних странах, даже в Африке, а то, что во многих из этих стран ей удалось побывать, придавало ее рассказам убедительность и достоверность. (Однажды в начале 50-х годов Ли повторит одну из Манечкиных историй слово в слово, что приведет ее в крайнее изумление.)

Тетя Манечка отругала Лео за то, что Ли почти не знает языков. Как и при бабушке Лиз, в доме зазвучала немецкая речь. Впрочем, речь эта лилась и из появившегося у них радиоприемника марки «Си», в котором бесновался Гитлер и заливался соловьем Геббельс. Ли прислушивался к комментариям взрослых, и на душе его становилось тревожно.

VIII

Тетя Манечка уехала, а Ли остался со своими тревогами. В это время он тайком почитывал книги из шкафа Лео и в том числе «Хулио Хуренито». Многого Ли в этой книжке не понял, но пророчество об истреблении евреев не остаюсь им незамеченным. Его предчувствия беды питали не только голоса из Германии и бесконечные марши и строевые хоры, потрясавшие эфир, но и

весь его детский опыт, усиленный тяжким бременем непохожести на свое племя. Непохожие и видят, и слышат больше — их не стесняются, при них забывают об осторожности и о приличиях, на них выливается не только мутный поток идиотских анекдотов про Абрама и Сару, про Моше и Леви, но и более серьезные притчи, например, о воробьях, коих следует именовать «жидками», или «жидовьем», за то, что, когда Христос был на кресте, они прыгали вокруг, заглядывая ему в глаза и кричали: «Жив! Жив!». Ну, а если такая вина ложилась на несчастных воробьев, то что говорить о «христопродавцах» — евреях?

Впрочем, если Хуренито сеял в душе Ли тревогу, то Свифт вселял надежду. Казалось, что и беснующееся море голосов, вторящих Гитлеру, и послушное человеческое стадо, бодро чеканящее шаг, — дракон с тысячами голов, обращенных к шайке подозрительных личностей, взобравшихся на могилу, — любимый сюжет киножурнала «Новости дня» — невозможны в том мире, где уже жил и сказал свое слово Свифт, но действительность пока не подтвердила эту простую и очевидную истину… И тем не менее, мудрый Свифт успокаивал душу Ли. Верилось, что еще совсем немного, и все всё поймут.

Газета принесла известие об убийстве Троцкого. Лео отнесся к нему с полным безразличием, но Исана почему-то была взволнована. Она ни минуты не сомневалась, что это дело рук сталинского наемника. Исана не была красной, и идеи Троцкого, Ленина или Сталина были ей одинаково безразличны и даже чужды. Ее симпатии к Троцкому основывались на двух соображениях: во-первых, Троцкий был евреем, а во-вторых, его изгнали, и это означало, как ей казалось, что «при нем» могло быть лучше, чем теперь.

Тревожные события сменялись приятными. Лео довольно часто уезжал в командировки в Москву и Питер и возвращался с подарками — заводными машинками, «конструкторами», детской оптикой. Ли были обещаны велосипед и фотоаппарат. После приездов из Москвы шли рассказы о встречах с дядюшкой Женей, с Манечкой, об обеде в «Метрополе». Однажды Лео привез книжку Ольги Перовской «Ребята и зверята» — первую книжку, подаренную ее автором самому Ли. Чтобы отвадить Ли от преждевременного серьезного чтения, Лео доставал книги Бианки, сборники сказок и легенд. Такое чтение Ли нравилось. Да и далеко не все «взрослые» книги он мог тогда осилить. Например, книгу дядюшки Жени о Талейране, только что вышедшую тогда первым изданием, Лео прочел не отрываясь. Украдкой принимался за нее и Ли, но не справился и отложил на потом. Это «потом» растянулось на восемь лет.

Нужно сказать, что лучи тревоги падали в чуткую душу Ли не только из неспокойного внешнего мира. Его время от времени томили предчувствия нерадостных перемен и ощущения неустойчивости всего жизненного уклада, в котором проходили его детские годы. В душе маленького Ли постоянно звенела натянутая струна беспокойства, иногда резко усиливавшегося какими-нибудь незначительными событиями. Одним из таких событий стала поездка на Северский Донец вместе с Лео, которому нужно было осмотреть плотину близ электростанции. До этого времени Ли видел большие реки лишь из окна вагона поезда и непосредственно на «диком береге» он оказался впервые.

Был, вероятно, поздний паводок, и река показалась Ли напряженной, недоброй, предвещающей беду. Он рассказал Лео о своих предчувствиях. Лео засмеялся:

— Когда ты еще сюда попадешь! — воскликнул он.

Но настроение Ли не улучшилось, и он вздохнул с облегчением только на обратном пути в поезде. Увы, из них двоих не Ли грозила река. Это Лео оставалось два года жизни, и Смерть ждала его на этих берегах. Шли годы, и Ли не раз оказывался на берегах Северского Донца — то под Чугуевом, то под Змиевом, то на Белом озере, в Коробовых хуторах, то под Балаклеей, то близ Славянска. Словом, на всем Игоревом пути из половецкого плена. И никогда больше эта прекрасная река не казалась ему зловещей, и он возвращался к мысли о том, что неведомый автор «Слова о полку Игореве», писавший о ее серебряных берегах и теплых туманах, сам когда-то испытал очарование Донца и постиг душу реки, просто предсказавшей в сороковом году Ли одну из скорых и самых больших потерь в его начинающейся жизни.

Еще одно воспоминание детства было связано у Ли с познанием неблагополучия окружающего мира — это был поход с Исаной на Благовещенский рынок. Ли увидел там скопище нищих, паралитиков со скрюченными руками и ногами, калек, выставляющих напоказ свои зажившие и незаживающие раны. Это зрелище потрясло Ли, но оно же оказало благотворное влияние на его отношение к жизни: это прочное воспоминание научило его ценить малые радости и переместило точку отсчета уровня собственного благополучия на такую низкую отметку, что многие превратности Судьбы, выпавшие ему на долю, никогда не ввергали его в отчаяние, поводов для которого уже в очень недалеком будущем у него будет предостаточно.

ВОЙНА

Брать без ослепления,
расставаться с легкостью.

Марк Аврелий

I

Война — это, прежде всего, смерть, поскольку без смерти, без многих смертей войны не бывает. Но прежде чем рассказать о том, как близко подошла Смерть к Ли с приближением войны к его городу, нужно рассказать и об отдаленных предвестниках его спасения, в неслучайном появлении которых на его жизненном пути видел он — уже впоследствии — одно из проявлений заботы о нем Хранителей его Судьбы. К числу таких предвестников относился и отъезд бывшей хозяйки дома в Париж — одно из первых детских воспоминаний Ли.

Холодная Гора — так называлось предместье, где жил Ли, — расположена на возвышенности над железнодорожным узлом Южной дороги и над харьковским вокзалом, и, видимо, поэтому в конце позапрошлого века она была облюбована железнодорожниками. Здесь селились рабочие, строя себе хаты-мазанки на манер сельских. Служащие поважней ставили себе каменные «пятистенки», а более высокооплачиваемые начальники-мастера сооружали двухэтажные дома, в которых сами занимали, обычно, верхние этажи, а в нижних размещали прислугу и квартиры, сдаваемые внаем. Домом, где поселился Ли, тоже некогда владел зажиточный железнодорожник. Дочь его еще до переворота вышла замуж за инженера-француза, а сам он вскоре после прихода к власти большевиков умер. И началось уплотнение «буржуев». Хозяйка сразу же подарила дом городу, оставив себе с племянницей квартиру, занимавшую половину второго этажа с отдельным входом и состоящую из двух больших комнат окнами на улицу и двух комнат окнами на веранду, из которых одна играла роль кухни, а в другой поселилась бывшая домработница, не пожелавшая покинуть свою прежнюю хозяйку.

Племянница покончила с собой, прислуга умерла, и обнаглевшие строители нового мира перешли в наступление, в результате которого к моменту переезда в этот дом Ли бывшая его хозяйка оказалась в этой самой темной комнате, что прежде была кухней.

Несмотря на свое почти пролетарское происхождение, Исана была очень внимательна и уважительна по отношению к «бывшим». Хозяйка дала ей прочитать письма и официальные приглашения во Францию, присланные дочкой, и пожаловалась, что с ней никто не хочет разговаривать. Исана совершенно бескорыстно взяла дело в свои руки, прорвалась в наркомат и устроила там небольшой одесский базар. В результате разрешение на выезд было получено, и начались сборы. Их-то и запомнил Ли, особенно огромные иглы со шпагатом, продетым в ушко, которыми зашивали серые мешки.

II

В освободившуюся комнату въехал фольксдойче Васька Брондлер с женой Лидой. Они только что потеряли шестилетнего сына Альку, умершего от столбняка после пустячной царапины на ноге. Лида была комком нервов, непрерывно курила и рассказывала, как погибал Алька, как начинались судороги.

— Мам, я прикусил язык, — говорила она голосом сына, и это Ли тоже запомнил на всю жизнь.

Когда Ли оглядывался назад, он видел во многих событиях предопределение и думал о том, что, следуя предопределению, Исана занималась проводами хозяйки только для того, чтобы в ее комнате поселились Брондлеры, ибо самим Брондлерам предстояло в скором будущем сыграть важную роль в судьбе Ли, но об этом позже.

К последнему предвоенному году Ли уже перенес все, в том числе и весьма тяжкие детские болезни, но его легкие усилиями Исаны сохранились в чистоте, и он стал заметно крепнуть телом и расти, что, может быть, отчасти явилось результатом его раннего чувственного развития. Но те, кто противостоял Хранителям его Судьбы, не унимались: осенью сорокового он, попробовав на базаре тайком от Исаны какой-то фрукт, подхватил дизентерию. Болезнь развивалась «по-взрослому», и за какую-то неделю тело Ли превратилось в мешок костей, а он от слабости не мог подняться с кровати на горшок. Местные врачи махнули рукой, и их постные рожи говорили о том, что следует ожидать худшего. Лео привез известного в городе профессора-педиатра Фришмана, хорошо знавшего одесскую медицинскую ветвь рода Кранцев — несколько поколений врачей — его родных и двоюродных дядей и двоюродных братьев.

В Харькове существовала поговорка: «Как Фришман сдачу дает», намекавшая на чрезмерную жадность доктора. Но когда он

входил в комнату, Лео заметил, как сверкнули до этого уже безжизненные глаза сына. Лео по этому взгляду понял, что Ли увидел «*доброго*». Рядом с его постелью стоял столик, заставленный лекарствами, выписанными районными врачами.

— Дайте мусорное ведро, — сказал Фришман, и когда ведро принесли, он, не рассматривая таблетки и пузырьки, смахнул их туда со стола. — А теперь поставьте на этот столик разную легкую еду.

После этого он собственноручно поставил Ли небольшую клизму из кипяченой воды с марганцовкой. Потом дал ему пару ложек такой же воды выпить, а затем покормил его немного наваристым, но нежирным куриным бульоном.

— Запомнили, что я делал? — спросил Фришман. — Тогда все, кроме клизмы — четыре раза в день. А завтра положите в бульон немного манной крупы, хорошо разваренной. Прочая еда — кашка, тертая отварная морковь, легкое пюре — пусть стоят рядом всегда и свежие: ему может захотеться есть даже среди ночи.

Ли захотелось есть уже через день, а еще через день ему надоела пресная пища и, когда Исана ушла в магазин, а он остался один, он пробрался, держась от слабости за стены, в другую комнату, увидел на обеденном столе соленые огурцы и съел один целиком.

Исана, вернувшись, едва не упала в обморок, но прежде чем что-то делать, побежала «на угол» — на почту — позвонить Лео, а тот сразу же набрал телефон Фришмана. Узнав про огурец, доктор переспросил:

— И съел целиком?

— Да, — ответил Лео.

— Быстро! — сказал Фришман и закончил: — Ну что ж, ваш сын здоров и пусть ест все, что захочет.

И повесил трубку.

Ли поправился за несколько дней, и Исане показалось, что он сразу и еще более вырос и повзрослел.

III

Весной сорок первого Лео уехал в длительную командировку в Питер и вернулся только в середине июня. К его приезду Ли и Исана выстояли длинную очередь за маслом. Давали по 200 граммов «в одни руки», и присутствие Ли в очереди было обязательным. В это же время эшелоны с маслом двигались в Германию. Дружба Сталина с Гитлером была в самом разгаре, и

«вождю народов» было не до благополучия своего народа, от которого требовалось немногое: всем сердцем понимать, что все это — для него и для его блага. В самом деле, когда воевали в Испании, никто же не прятал от народа мандарины в оранжевых бумажках из Каталонии — ешьте, пока есть; когда присоединили Прибалтику, завалили страну карамельками в невиданных доселе конфетных бумажках-фантиках с «иностранными» надписями. Могли — давали, а теперь не можем, и все тут. И народ молча «понимал» и молился, «чтобы хуже не было».

Рано утром 22 июня Лео, не включая приемника, чтобы не разбудить Ли и Исану, поехал к себе в лабораторию посмотреть ход опыта, представлявшегося ему крайне важным. Он хотел вернуться пораньше, чтобы они все вместе могли еще съездить на речку Уды — день был теплый, солнечный. Но вернуться домой ему предстояло уже после начала войны. О поездке на природу, конечно, не могло быть и речи. Народ был возбужден, причем особо патриотические настроения Ли не запомнились, скорее — тревога и страх. Дети же сразу отправились ловить шпионов, поскольку, по всеобщему мнению, появиться их должно было очень много. Как выглядит немецкий или японский шпион — всем было доподлинно известно: он должен был носить клетчатое кепи, клетчатый пиджак, коричневые штаны-галифе и лакированные краги с лакированными ботинками.

Наяривая известную в те времена песню:

> Гремя огнем, сверкая блеском стали,
> Пойдут машины в яростный поход,
> Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
> И Ворошилов в бой нас поведет.

орава мальчишек носилась по тихим улицам Холодной Горы. Следует отметить, что последняя строка этой песни существовала еще в двух вариантах: «И Тимошенко в бой нас поведет» (эта редакция отражала кратковременное пребывание одноименной бездари на посту наркома по военным делам) и «Первый маршал в бой нас поведет», что более соответствовало крутым условиям сталинской кадровой свистопляски.

Улов шпионов был невелик, так как полного совпадения классического шпионского облика с реальностью обнаружено не было. Решили «брать» тех, кто соответствовал хотя бы одному критерию, и с шумом и с гиком препроводили в милицию одного гражданина в крагах, другого — в клетчатом пиджаке, и еще одного — в пенсне. Ли инстинктивно чувствовал недостаточность улик, а по поводу пенсне даже сослался на Чехова, чье лицо на

портрете, висевшем над столом Лео, стояло перед его глазами. Но аргументы Ли оставили без внимания, и пенсне большинством голосов было признано подозрительным и равнозначным ношению краг. Ли сдался, ибо ко всякого рода шпионам — и чужим, и своим — он с детства относился с непреодолимой брезгливостью.

Через день-два ловцы шпионов были отозваны родителями для более полезных дел: политически грамотное население предместья, пережившее с десяток различных оккупаций на рубеже 10-х и 20-х годов, стало готовиться к трудной зиме, делая в своих погребах на всякий случай потаенные отсеки.

События же развивались катастрофически. Лидка Брондлер раздобыла где-то огромную карту Российской империи, расстелила ее на полу и время от времени ползала по ней, отмечая быстрое продвижение немцев в глубь страны. По ее расчетам, в Харькове следовало ждать гостей уже в сентябре. Как показало время, ошиблась она незначительно.

Лео тем временем обивал пороги военного комиссариата, доказывая, что его место в армии. Незадолго до начала войны Лео выполнил оригинальную работу по водоснабжению одного из крупных металлургических заводов в Кузнецком бассейне. Для реализации его идеи этот завод подал в министерство, по-тогдашнему — наркомат тяжелой промышленности, заявку на приглашение Лео в Кемерово на несколько лет. Оформление приглашения пришлось на первые месяцы войны, и оно превратилось в безоговорочный правительственный вызов в Кемерово вместе с семьей с соответствующими угрозами по адресу тех, кто будет чинить препятствия. К Лео и Исане уже забегал порученец из «органов», к которому это предписание попало на контроль. Кроме того, Лео как один из немногих тогда еще кандидатов технических наук и изобретателей, имеющих авторские свидетельства, входил в список подлежащих эвакуации в своей лаборатории, часть которой перемещалась в Пензу, подальше от фронтов. К этому можно добавить, что и здоровьем он не блистал и в сороковом перенес то, что сейчас именуется микроинфарктом, с падением на улице, вызовом «скорой», больницей и прочими удовольствиями. И при всем этом он рвался на фронт. Что толкало его, не верившего в «победу коммунизма во всем мире» и говорившего о том, что сейчас, после 22 июня сорок первого Россию может спасти только чудо? (Имевшее, впрочем, вполне реальные черты — забвение зла и доброжелательность Соединенных Штатов, оплеванных и обгаженных сталинской прессой в период задоцелования фюреру.) Искренняя вера в то, что он, чувствующий воду как

родную стихию, окажется нужным армии? Нежелание давать еще один повод «истинно русским» людям говорить об «Иване в окопе и Абраме в рабкопе»? Как будто он не понимал простой вещи, что даже если все евреи страны вместе с детьми будут в окопах, «истинно русский» человек все равно будет твердить о еврейской хитрости и пронырливости…

Кстати, об окопах. Подоспело время их рыть. Это удивительное мероприятие осуществлялось во всех городах и весях страны, куда по расчетам великих стратегов, не уступающих по своей мудрости Лидке Брондлер, мог дойти немец. На рытье окопов, делавшихся, по сути дела, для удобства наступающих, выгонялось все мужское и «свободное» женское население. Посему, когда порученец очередной раз прибежал за Лео, чтобы отгрузить его в Кемерово, тот командовал рытьем окопов где-то за Люботином. «Органы» рассвирепели и приказали Исане немедленно сложить вещи для отъезда в эвакуацию, а Лео сразу же по возвращении «из окопов» прибыть за номером эшелона. Однако, когда Лео вернулся, его ждала повестка в военкомат, и по пути в «органы» он зашел туда, чтобы уладить дела. Но там какой-то комиссарчик, коему, вероятно, нужно было выполнить план по головам призывников, ибо значительная часть населения укрывалась от армии в погребах и у сельских родственников, поздравил Лео с удовлетворением его просьбы о добровольном вступлении в славное коммунистическое воинство, а когда тот спросил, как же быть с «органами», комиссарчик напыщенно сказал, что у армии сейчас приоритет перед всеми прочими, юбер аллес, словом.

20 августа сорок первого года Ли последний раз видел отца. Он и Исана, плача от предчувствий, посидели перед его дорогой, и он ушел от них с небольшим чемоданчиком навсегда. В углу валялись сложенные Исаной для эвакуации и нераспакованные вещи, а день спустя снова прибежал порученец и стал орать, что он расстреляет комиссарчика. Удалось ли ему сделать это, — неизвестно, так как на этот раз он умчался безвозвратно.

IV

Здесь нам трудно не огорчить тех, кто считает сталинский режим спасителем евреев. Действительно, среди эвакуированных было много евреев, но это было продиктовано не человеколюбием, а необходимостью вывезти инженеров и прочих специалистов, чтобы на Урале и в Сибири пустить новые военные производства. Существовал как бы государственный «список

Шиндлера». Действительно, в общей неразберихе могли уехать и иные ловкачи, не имевшие отношения к этим задачам, но никакого действия, направленного на спасение мирного населения, о грядущем уничтожении которого громогласно заявляли немцы, — не было, причем не было даже в тех случаях, когда это можно было сделать почти без специальных усилий. Это обстоятельство делает особо пикантными последующие обвинения красных моралистов по адресу «сионистских главарей», помогавших спастись только богатым, в то время как в занятом только через четыре месяца после начата войны Харькове евреи-старики, женщины, дети, в том числе жены и дети призванных в армию евреев, были брошены на произвол судьбы, а русскому или украинцу — железнодорожному рабочему, если он только этого хотел, выехать было легче, чем нечиновной и бедной еврейской семье. Ли и Исана с уходом Лео оказались в этой категории ненужных стране, совершенно беспомощных людей.

События же шли своим чередом. В начале сентября Ли было положено идти в школу, но желания учиться не было, и, посетив ее раз-другой, он забросил учебу до лучших времен. Со стороны Полтавы начала доноситься артиллерийская канонада. Участились бомбежки. Во дворе вырыли щель — укрытие от осколков. Ею, однако, никто не пользовался. Однажды ночью, когда Ли со своей подружкой смотрели в горящее небо над городом, один осколок пролетел — просвистел у него возле виска и врезался в ствол молодого клена, посаженного в год их переезда сюда руками Лео у самого крыльца. Утром Ли вынул его и долгое время хранил эту свою Смерть. Потерялся этот осколок в далеких от его милого клена краях, когда бытие Ли уже нередко выходило на иные грани Жизни и Смерти.

По команде «сверху» Ли с Исаной отнесли на «приемный пункт» свой приемник. Стояли в очереди «на сдачу» и получили квитанции. Там же собранные со всего города, — чтобы пресечь распространение вражеской пропаганды, — частные приемники и остались, образовав для наступающих немцев богатый склад готовых радиодеталей.

Произошло маленькое чудо, сродни истории с валаамовой ослицей, — стал вдруг понимать немецкий язык Васька Брондлер. Прежде он робко расспрашивал Лео о всяких «плюсквамперфектах», а теперь легко воспринимал немецкую речь. В его золотых руках заговорили несколько проводков и ламп, и снова в их коридоре зазвучал торжествующий звериный вой Бесноватого.

В конце сентября начался «плановый отход» советских войск через Харьков на восток. Мимо базара на Холодной Горе

двигались разные пешие и иные части. Одна величественная старуха, стоя на высоком откосе над проезжей частью улицы, заорала зычным басом:

— Что-о-о?? Просрали Россию, соколики…

Комиссариаты практически прекратили охоту на рекрутов, и народ стал потихоньку выбираться из погребов, трудясь во дворах по хозяйству. Последним патриотическим мероприятием был сбор бутылок, которыми, наполнив их предварительно горючей смесью, предполагалось уничтожать танки противника. Исана, побывав в центре города, встретила сослуживца Лео, некоего Павлова. Узнала от него, что лаборатория Лео благополучно отбыла в Пензу. Об Исане «забыли», хотя в свое время комиссарчик «разъяснял», что семью Лео обязательно заберут в эвакуацию по месту работы. Сам Павлов на вопрос, почему он остался, пробурчал что-то о семейных обстоятельствах. Дождавшись немцев, он пошел работать в люфтваффе — в метеорологическую службу на военный аэродром, а когда немцев выгнали — «обинтегралил» присвоенные им идеи Якова Тарасовича — математик он был неплохой — и стал доктором-профессором, дожив в этом качестве до 80-х годов. В ярком созвездии харьковских гидротехников, молодых и старых, блиставших в гостеприимном доме Якова Тарасовича, Павлов был самым неприметным, серой мышкой, но война навела свой порядок в этом мире, и на безлюдье он заматерел и стал отдаленно напоминать русского интеллигента. Терял он свой имидж, лишь принимая экзамен по гидравлике у девушек: он возлагал свою длань на девичьи лядвии и, если экзаменующаяся не сдвигала ног и пускала его руку повыше и поглубже под юбку, оценка ее знаний была очень высокой. Для парней же он был грозой. Поэтому все были поражены, когда Ли, зайдя на экзамен и взяв билет, нацарапал на листке несколько строчек и стал демонстративно разглядывать что-то за окном. Когда же подошло время, и он сел возле Павлова, тот взял его зачетку, рассмотрел фотографию и пододвинул ведомость:

— У вас тут ошибка в инициалах, — сказал он и исправил букву «И», которой было обозначено отчество Ли, на букву «Л». Потом аккуратно вписал туда и в зачетку оценку — «отлично» и пожелал Ли успехов.

— Что это с ним? — спросили у Ли.

— Не знаю, — пожал плечами Ли.

Рассказывать о себе он не хотел и не любил, да и вряд ли его тогда кто-нибудь стал бы слушать, поскольку у его совершенно не закомплексованной подруги Риты, которую все к тому же готовили на подвиг ради общества, вдруг что-то взыграло в душе,

и она сильной рукой гимнастки-разрядницы решительно сняла павловскую лапу со своих длинных и стройных ног. Сама она все-таки получила «хорошо», а всем оставшимся ребятам была назначена переэкзаменовка.

Но это было лет через тринадцать, а пока Исана металась по городу, не зная, что делать. Вещи лежали нераспакованными, но ее, помнившую немцев в незабываемые революционные годы, все же мучили сомнения: не пропаганда ли все эти рассказы об их зверствах. Конец этим сомнениям положил все тот же Васька Брондлер. Немногословный и угрюмый, зашел он к Исане в одно прекрасное утро золотого харьковского бабьего лета и сказал:

— Исана, я пошел за подводой. В поезд я тебя посажу.

И Исана поняла, что надо уезжать. Она и Ли зашли к Лидке. Та по-прежнему колдовала над картой — один из ее флажков уже красовался в Харькове.

— Ты попадешь в Среднюю Азию и оттуда беги сразу в Америку. Этой вонючей стране каюк, — сказала она, показывая на карте место возможного перехода Исаной и Ли иранской границы.

Пришел Васька, и они простились со слезами. На одной из железнодорожных станций, рядом с речкой Уды, куда они с Лео собирались пойти днем 22 июня — казалось, прошла вечность, а не три с половиной месяца с тех пор — Васька с помощью такого же хмурого своего приятеля, с которым они здесь подрабатывали на железной дороге, посадили Исану и Ли в один из вагонов формирующегося перед подачей под загрузку эшелона. Они заняли в нем тихое местечко, и Исана на всякий случай приготовила бронь Лео с подписью народного комиссара. Но при посадке никто не спрашивая документов. Просто вагоны набились до отказа, и поезд тронулся.

V

Ли смотрел с нар в узенькое окошко, как его родной город исчезает вдали. Так он и остался в его памяти в золоте осенних листьев и в золотых лучах осеннего солнца. Вернуться обратно ему не удалось. Когда он приехал сюда снова, это был уже другой город, ибо его Родина осталась где-то позади не только в пространстве, но и во времени. И не только его Город, но и весь мир, его Мир, в котором он жил до этого бегства, был разрушен войной до основания. Ушли в небытие Лео и его брат Павел, куда-то пропали довоенные друзья. Исчезло родовое одесское гнездо на Греческой, везде и повсюду были чужие, незнакомые

люди, и он стал гостем на земле своих предков. Тогда, в октябре 41-го, он стал *беженцем*, и он остался таковым на долгие годы, хотя особых неудобств от этого не испытывал. Возможно, что именно в этом качестве он и обрел свой истинный облик, и уже в этом новом облике Ли стал создавать свой новый мир, где никому, кроме него, не было места, где он сам решал, кого и насколько допускать к его тайнам, и где он, простившись с молодостью, уже четко знал свою роль и свое предназначение.

Вероятно, здесь будет уместно рассказать и о судьбах тех, кому Ли и Исана были вольно или невольно обязаны своим спасением и с кем им больше не довелось увидеться на этом свете. Речь пойдет о Ваське и Лидке. При немцах Лидка заняла их две комнаты, а в свою переселила собственную мамашу в качестве прислуги, поскольку теперь, по ее мнению, ей нужно было вести светскую жизнь, делать приемы, а собственноручно заниматься хозяйством ей вроде бы уже не пристало. Мебели она понатаскала из брошенных квартир в избытке, а мебель Исаны и Лео — скромную и неброскую — стала раздавать за услуги. Благодаря этому уцелел комодик черного дерева с зеркалом, которым Лидка однажды расплатилась с маникюршей, жившей на соседней улице. Вещь была старая, от Кранцев, одесская — из дома на Греческой, и Исана была искренне рада получить ее обратно от совестливого человека. Много лет спустя ее внук, укрепляя зеркало, заменил прокладки и обнаружил, что старая представляла собой сложенную в ленту газету — «СПБ биржевые ведомости» за 1912 год, и Ли живо представил себе деда, просмотревшего этот номер и отдавшего его на хозяйственные нужды. И только с десяток великолепных копий маслом картин старых немецких мастеров, приобретенных отцом Лео в фатерлянде в конце позапрошлого века, Лидка оставила у себя как доказательство своей изначальной причастности к великой немецкой культуре. Когда же в дворовых перепалках ей напоминали, что она дружила с евреями, она отвечала, что Исану и Ли она теперь бы собственноручно повесила на груше в углу двора.

Через некоторое время бывший беспризорник Васька Брондлер разыскал в Бремене или Гамбурге родного и богатого дядю, и в конце 42-го они с Лидкой двинули в фатерлянд.

Что касается ее предсказаний судьбы Исаны и Ли, то в них вкралась небольшая с точки зрения космических процессов неточность: к сожалению, тогда в 41-м до Америки и даже до иранской границы они не добрались. И все же слово «Америка» прозвучало в устах Лидки не случайно. Если начало перелома под Сталинградом заставило Брондлеров поторопиться в Гамбург, так

как встреча с красными их не привлекала, то, когда пал Берлин, они рванули в Нью-Йорк от греха подальше. Оттуда пришла от них последняя весть — письмо Лидки к ее мамаше, уже возвратившейся к тому времени в свой частный дом, уступив бывшую Лидкину комнату Исане и Ли. Письмо было о том, как они благодаря золотым Васькиным рукам и кое-чему прихваченному из Германии довольно сносно живут на какой-то там авеню, и Ли в последний раз словно наяву услышал Лидкин прокуренный хрипловатый голос:

— Сходи на могилу Алика!

Этими словами заканчивалось ее письмо. Вспоминая все это уже в те времена, когда неясное для него прояснилось, Ли думал об изначальной и абсолютной справедливости, свойственной Хранителям его Судьбы: помощь во спасение, оказанная ими Исане и Ли, не была забыта, и они избежали участи «перемещенных лиц» — нескольких миллионов несчастных людей, отданных «союзниками» на растерзание Сталину. Мера за меру.

Вернемся теперь к уже тогда смутно волновавшему Ли вопросу о предопределении. Незадолго до войны в один из весенних дней 41-го он вместе с Лео пошел гулять в известный в Харькове Карповский сад, одной своей стороной выходивший на подъездные пути Южного вокзала. Там они смотрели на бегущие поезда, и каждый из них думал о своем. Ли мечтал о странствиях в неведомые края. О чем-то мечтал и Лео, может быть, о милой Одессе в конце всех своих дорог — в глубине души он тоже был не безразличен к Дороге. И вот мечта Ли, увы, свершилась.

Поезд увозил его от двух возможных вариантов будущего к третьему.

Первый вариант будущего оставался в довоенном Харькове. Там его путь был предопределен: предельное освобождение от материальных забот, постепенное превращение в кладезь бесполезных знаний и недолгая жизнь, поскольку конца его болезням не предвиделось, а малоподвижный образ жизни лишь уменьшил бы его земные дни.

Во втором варианте будущего — в оккупированном Харькове — его путь был бы еще более коротким и определенным. Этот путь вел бы на расстрел в Дробицкий яр близ Тракторного завода, где с помощью местных энтузиастов немцы переправили на тот свет тысячи женщин, детей и стариков, чья эвакуация по расчетам власть предержащих себя бы не окупила, а гибель была бы даже полезной. Конечно, у Хранителей его Судьбы нашлась бы возможность избавить его от смерти — такие случаи были, но личность его необратимо деформировалась бы, и все их усилия,

затраченные на его появление на свет, — три революции и Гражданская война, обеспечившие встречу его отца и матери, избавление Исаны от неминуемой смерти в туберкулезном санатории в Алупке-Саре, трудное решение ее и Лео о сохранении Ли во чреве наперекор мрачным предсказаниям врачей, возможность пережить голод на островке относительного благополучия — себя не оправдали бы.

В то же время Хранителям его Судьбы, по-видимому, было нужно, чтобы он ощутил холодок Смерти, умирая от дизентерии, или в пролетевшем у виска осколке, чтобы он видел следы Смерти в разбомбленных эшелонах в Лисках, чтобы он лишился отца, который воспитал бы его по своему образу и подобию, чтобы он, Ли, был предоставлен сам себе и прикоснулся к матери-Природе не в кино и книгах, а один на один. А так как Они находятся выше Добра и Зла, Им безразлично, кто станет орудием Их воли: подвернулся Васька Брондлер — годится и он!

И вот по этой Их воле поезд мчал Ли к тому единственному варианту будущего, который был для него Ими предопределен.

Книга четвертая
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ВОСТОКА

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей
на Страшный Господен суд.

Р. Киплинг

I

Название этой книги почти повторяет название одной из повестей Гессе, но различие в словах «путешествие» и «паломничество» является в данном случае весьма существенным. «Паломничество» — это, прежде всего, действие не только добровольное, но даже желанное, представляющее собой решительный шаг личности к ее заветной цели. «Путешествие» же есть понятие более широкое и включает в себя не только добровольные, но и вынужденные, и даже совершенно случайные действия.

Бегство Ли с Исаной из родного города было, естественно, вынужденным, а в том, что это бегство было бегством на Восток, не было никакой случайности, поскольку с Запада надвигалась Смерть. Но в дальнейшем движении эшелона по взбудораженной стране, увозившего Ли навстречу Неизвестности, стали проявляться признаки случайности. Последующее же течение жизни Ли показывало, что случайность эта носила исключительно внешний характер и что в действительности все события этого достаточно смутного времени были подчинены определенной глубинной логике. Хранители его Судьбы ткали свои закономерности из, казалось бы, беспорядочной паутины случайностей. В результате этих тайно направленных их усилий путешествие Ли оказалось направленным не просто на восток, а именно в страну Востока, где оно постепенно превратилось в паломничество, продолжавшееся до конца его жизни.

Но об этом — позже, а пока поезд, поглотивший Ли, покрутился несколько дней по северо-восточной Слобожанщине. Когда Харьков был занят немцами, поезд, задержавшийся в

Купянске, взял, наконец, курс на восток. Последний раз война дала себя почувствовать его пассажирам под Лисками. После суточного ожидания окончания бомбежки, когда эшелон смог пойти дальше, на развороченных путях этой станции они увидели разбитые вагоны тех, кого в Купянске пропустили вперед. Людей уже не было, а вещи и разбросанные подстилки местами были залиты кровью. Потом пошли совершенно мирные Балашов, Саратов и Заволжье.

Слово «беженец» витало над их эшелоном, когда он останавливался где-нибудь на уральских полустанках. Сердобольные русские люди из глубины страны, для которых не было страшнее наказания, чем необходимость покинуть родной край, спешили к вагонам со всякой нехитрой снедью: солеными огурчиками, духовитой вяленой рыбкой, колбасой, вареной картошкой. Предложить им деньги было бы для них оскорблением. «Бедные мои!», «Куда вас везут?», «Что с вами будет?!» — все это как голоса плакальщиц, звучало у дверей вагонов. Поезд трогался дальше без предупреждения, и за ним еще, сколько могли, бежали добрые люди со своими дарами. Призрак военного голода еще даже не маячил на горизонте.

За Оренбургом предсказание, переданное Исане и Ли Хранителями его Судьбы через Лидку Брондлер, стало сбываться: эшелон повернул на юго-восток и углубился в Казахстан.

Пейзаж за окошком вагона стал совсем безлюдным, плоским, бескрайним, с чахлой травой и одиноким путником на ослике, едущим неизвестно откуда и неизвестно куда. На редких маленьких станциях на красноватой пыльной земле толпился уже совсем иной народ. Он уже не дарил хлеб насущный, а предлагал обмен, внимательно и придирчиво рассматривая «товар». Исана тоже выменяла невесть как попавшие в один из ее тюков брюки Лео на буханку хлеба и пару кругов подозрительно пахнущей, но довольно вкусной колбасы.

После многочисленных остановок на пустынных полустанках, однажды ранним вечером их эшелон достиг окраины большого города, по улицам которого не только мчались машины, но и спешили полузабытые и такие родные создания рук человеческих, как трамваи. По непонятным железнодорожным законам и правилам именно в этом большом городе стоянка их поезда длилась всего несколько минут, за которые Исана должна была принять судьбоносное, как теперь говорят, решение.

В Ташкенте, а это был он, вышла значительная часть беженцев. У некоторых были там друзья и родственники, или просто знакомые, другие боялись тюркской глубинки. У Исаны не было знакомых в Средней Азии, и, не лишенная дара

предвидения, она живо представила себе, во что превратится этот город, принимающий эшелон за эшелоном, уже ближайшей зимой. И она решила двигаться дальше. Может быть, ею руководило желание быть поближе к иранской или афганской границе, ибо до сих пор предсказания Лидки Брондлер вроде бы сбывались: она и Ли уже были в Средней Азии, а во время краткой стоянки в Ташкенте стало известно, что немцы уже подошли к Москве. И эшелон увез ее и Ли из залитого огнями, не ведавшего светомаскировки Ташкента в густую непроглядную тьму среднеазиатской ночи.

II

На следующий день эшелон прибыл в свой конечный пункт — небольшой зеленый и сонный город. Беженцы мгновенно заполнили вокзал и небольшую привокзальную площадь. Пока Ли внимательно наблюдал за маленьким тщедушным старичком-евреем, который смешно засуетился, услышав объявление по радио: «Товарищ Гитлер, зайдите к дежурному по вокзалу!», Исана выясняла обстановку, а потом сделала еще один скорый и верный выбор: она дала согласие на поселение в кишлаке в километрах двенадцати от города. Из этого кишлака на следующий день должна была прийти за нею и Ли подвода — арба. Ночевать их забрала к себе одна русская старожительница, сделавшая на ужин вкусный чай с блинчиками и чисто украинским вишневым вареньем, напомнившим Ли синие теплые вечера на Холодной Горе, блестящие медные тазы с густым сладким варевом и божественную пенку на блюдечке.

Под тихую беседу двух женщин Ли заснул. Ему запомнилось, что хозяйка отговаривала Исану ехать в село, где «совершенно дикий народ», которого она, Исана, не знает и не сумеет к нему привыкнуть, настолько так все у них «не так, как у людей». Исана же объяснила, что надежной специальности у нее нет, и в селе ей будет прокормиться легче.

— Неужели у нас будет голод?! — изумлялась хозяйка. — Вы даже не представляете, какой это богатый край!

Исана не спорила, но она знала, как богатые края за несколько месяцев могут наполниться трупами умерших от голода людей. И ее опасения были не напрасны: через полгода по этому городу ходили опухшие от голода приезжие люди, пытаясь продать с себя последние лохмотья. Но если бы Исану стали убеждать, что ее выбор лишь в малой степени зависел от ее воли и что она была *подведена* к нему Хранителями Судьбы Ли, то она

опять бы только пожала плечами и сказала, что все это чушь. Впрочем, Они не нуждались в чьем-то признании; им было достаточно исполнения Их предначертаний.

На другой день арбачи отвез Ли и Исану в кишлак, где в глинобитном доме правления колхоза им выделили небольшую комнату окнами на хозяйственный двор. Когда они там появились, окружающий мир еще напоминал царство изобилия, но все менялось не по дням, а по часам. Уже через два-три месяца стоимость продуктов возросла в десять раз и продолжала расти. Исана сразу же принялась за какие-то работы: помогала в счетном деле, занималась почтой, иногда вместе с Ли выходила на работу в поле. Школа была в районном центре — в Районе по-местному — в двух километрах от села, и было решено, что пока Ли туда ходить не будет.

Восьмой по счету день рождения Ли впервые в его жизни прошел без подарков и в полном одиночестве, как и положено беженцу. Наоборот, в этот день тюрчонок, его сверстник, *украл* у него единственную заводную машинку — последний подарок Лео, — которую они взяли с собой. Ли не горевал. Для него время машинок прошло безвозвратно. Его только поразила двойная мораль здешнего племени. Дома здесь не запирались, ибо воровство было тягчайшим грехом. Год спустя Ли видел самосуд над вором-тюрком. Он под надзором местных белобородых старцев был растянут между двумя деревьями у пруда. Рубаха на нем была порвана, тело было в ссадинах и порезах. Каждый мужчина в селе и каждый случайный путник — дело происходило у большой Дороги — тыкал его слегка ножом и плевал в лицо, а вор молчал и терпеливо сносил издевательства. Старики же на берегу пруда на ковриках пили чай, вели назидательные беседы о пороках людей и следили, чтобы экзекуция шла по правилам. Когда Исана посоветовала им прекратить это безобразие, один из стариков сказал ей:

— Уйди, женщина! Ты не знаешь наш Закон!

Так вот, этот Закон охранял лишь правоверных. Украсть же у неверного или у своего колхоза, поскольку колхоз был, по их мнению, богопротивной выдумкой, для мусульман греха не составляло. Экзекуция продолжалась часа три. Местные милиционеры из Района не торопились, уважая Закон Аксакалов. Старики тоже были удовлетворены соблюдением традиций и безо всякого протеста отдали почти бездыханное тело вора в нежные лапы советского правосудия.

Еще более наглядным символом наступления новой эры в жизни Ли было происшествие с павлиньим пером. Перо это Ли подобрал в свое последнее посещение зоопарка еще «до войны», и

хотя с того момента прошло всего несколько месяцев, казалось, что это было совсем давно, в какие-то незапамятные времена. Потом это перышко служило закладкой в одной из книжек Ли и вместе с ней и с ним прибыло в Туркестан. Однажды Ли, будучи во дворе их нового «дома», раскрыл книжку на закладке, и в лучах солнца перо засверкало золотом и изумрудами. Ли залюбовался переливами цвета, вспоминая милый зоопарк и Лео, и вдруг заметил, что вместе с ним любуется этой игрой и удод, сидевший на подоконнике. В это время откуда-то налетел слабый ветерок, и перышко, продолжая излучать волшебный свет, поднялось над книгой и застыло в невесомости, а удод, пискнув, стремительно взлетел в воздух, ловко подцепив клювом парящее перо, и был таков. Ли сначала оцепенел, а потом рассмеялся и захлопнул книжку.

III

Зима 41/42 года была для Ли тяжкой, хотя и не голодной. Какая-то ненадежность снова проявилась в его желудке: после жестокой предвоенной дизентерии здесь, на Востоке, его подстерегал брюшной тиф. Температура его тела достигла 42 °С. У него еще были какие-то осложнения с кровью, но на это даже Исана не обратила внимания: вероятно, и она стала ощущать чье-то покровительство, укрывающее ее сына от преждевременного ухода из этой жизни.

В январе сорок второго население бывшего колхозного правления увеличилось: разными путями туда прибывали новые жильцы. Самой яркой фигурой среди них, безусловно, был пан Пекарский. За два года до описываемых событий Красная Армия «освободила» его от гнета «панской» Польши, и как человек с юридическим образованием он стал служить новой власти в должности помощника прокурора района. Теперь же, смертельно больной, знающий о своем близком конце, он торопился излить из себя на кого угодно все дерьмо, коим он был начинен по самые уши.

— Как я кромсал это быдло! — вспоминал он. — Всех! Огнем и мечом! И детей, и стариков! Я разорял их дома, я гнал их в Сибирь сотнями, а они молчали, хлопы… Рабы-ы!

— Почему же вы, пане Пекарский, бежали? Вы же и у немцев были бы первший чловек! — спрашивала Исана, имитируя польские интонации, усвоенные ею в поездке на Западную Украину.

— Боялся, — опуская голову, отвечал Пекарский. — Боялся,

что пока немцы разберутся, кто я и что, свои растерзают…

— Папа, не волнуйся, тебе же вредно, — тихо успокаивала его тихая голубоглазая дочка лет двадцати пяти.

Пан Пекарский имел обыкновение выступать — перед любой аудиторией. Застав на хозяйственном дворе группу тюрок, из которых только двое понимали по-русски несколько слов, он усердно растолковывал им, кто такие «жиды» и чем эти «жиды» отличаются от уважаемых христиан. Входя в раж и зверея от непонятливости слушателей, он кричат им:

— Быдло! Болваны! Сарты!

Уловив в его слюнословесном извержении последнее слово, тюрки переглядывались, лица их становились враждебными, и они клали руки на кривые ножи, болтавшиеся на их поясах, а из-за спины пана Пекарского бесшумно возникала голубоглазая дочка и говорила:

— Не волнуйся, папа, тебе же вредно!

Пан Пекарский умер ранней весной 42-го в счастливом предчувствии, что немцы вскоре придут в Среднюю Азию, чтобы уничтожить «жидов» и заставить работать «сартов». Хоронила его одна голубоглазая дочка. Тело без гроба — по здешнему обычаю — отвез на тачке на местное кладбище пожилой тюрк, ибо нести его на руках, как положено, было некому. Могила тоже была вырыта по-тюркски: лаз и полость в твердом грунте. Там его посадили лицом к Мекке, что пану вряд ли бы понравилось, и, засыпав лаз, оставили его в этой последней тесной обители.

Проходили годы, и грунт над полостями проваливался. Поэтому вся новая часть кладбища (прежде хоронили в наземных каменных склепах) была в ямах, поросших высоким и жестким бурьяном. Разрушительную деятельность Времени ускоряли и шакалы, разрывавшие могилы в поисках своих деликатесов. Съели шакалы и останки пана Пекарского, и в глубине его могилы поселилось семейство фаланг-трупоедов. Упорхнула куда-то избавившаяся от своей ноши голубоглазая дочка, благо был пан Пекарский человеком не бедным: видно, не все майно своего подопечного «быдла» он пускал на ветер, кое-что и в его карманах оседало, как это было принято в *тех* кругах.

Пробегая мимо кладбища, Ли иногда останавливался над этой ямой, думая о Жизни и Смерти. Вспоминал его слова о том, что, будь все, как раньше, если бы не вмешались немцы, его бы, пана Пекарского, хоронили на лафете и с салютом. И, слушая детский плач вечно голодных шакалов, Ли не видел ничего плохого в том, чтобы существ, подобных покойному пану, на корм шакалам подвозили на лафете, только бы почаще и желательно всех сразу. Правда, Ли уже инстинктивно чувствовал, что на всех

на них не хватит шакалов.

IV

Комната Ли и Исаны тоже наполнилась людьми: из более голодного Казахстана приехала Анна, сестра-подруга Исаны, с дочерью. Ли уже был с ними знаком — они обе гостили несколько дней в Харькове два года назад. Потом к ним добралась Белла, дочь Абрама, единственного из многочисленных братьев Бройтманов, с которым Исана была лично знакома. Беллу, филолога по образованию, преподавателя в институте и даже «члена партии», война застала за работой над кандидатской диссертацией. Из Одессы она уходила с последним морским транспортом, с сумочкой в руках, попала в Новороссийск, затем в Майкоп, а оттуда уже через Каспий в Среднюю Азию.

Ли и Исана не потерялись в том страшном бедламе, в который превратилась страна, только благодаря дядюшке Жене — брату бабушки Лиз. Белла, например, отправила из какого-то своего временного пристанища в Казахстане письмо с адресом: Москва, Академия наук, Евгению Викторовичу Т. Оно благополучно дошло до адресата, и вскоре Белла получила их адрес. Даже когда Академия наук переехала в Казань, вся поступавшая в Москву академическая почта аккуратно туда переправлялась.

В семье Т. за переписку и за регулярность этой переписки отвечала тетя Манечка. От нее Исана и получила сразу несколько писем Лео, посланных им в конце 41-го, и его полевой адрес. В дальнейшем переписка продолжалась и с ним, и с тетей Манечкой.

Бройтманам в кишлаке не понравилось — деревня, дыра, работать Белле негде, и она начала интенсивную переписку с разными педагогическими институтами с предложением услуг. Вскоре, как ни странно, откликнулся Чувашский, расположившийся в Марпосаде (Мариинском Посаде), на берегу Волги. Потом пришел вызов, без которого в западном направлении передвигаться по стране было нельзя, и Белла выехала устраиваться. Затем, в мае 42-го она прислала вызов всем остальным, включая Исану и Ли. Анна сразу же собралась ехать, а Исана опять задумалась, стоит ли, — и, вероятно, не без участия Хранителей Судьбы Ли приняла решение остаться в Туркестане. В отношении Исаны к Бройтманам над ней всегда почему-то довлело чувство долга. Чтобы отгрузить Анну с дочкой, она продала почти половину своего вещевого резерва, все отдала им,

а сама осталась буквально с несколькими ничего не стоящими рублями. И весь ее бюджет основывался на аттестате, присланном Лео, по которому они получали 800 рублей, когда буханка хлеба стоила до 200 рублей.

V

Впрочем, когда Исана и Ли остались вдвоем, она сумела договориться с «хозяином» районного литерного магазина тканей бухарским евреем Абрамовым о прибыльном сотрудничестве. Суть договоренности была в том, что Абрамов не мог сам заниматься «левой» торговлей тканями, ибо поселок, именовавшийся Районом, мал и все в нем на виду, а поэтому бухарец предложил Исане регулярно покупать у него несколько отрезов шелка и ситца для перепродажи в Городе. Ну, а разница в стоимости магазинной и базарной должна была ими делиться пополам.

Первую операцию Исана провела удачно, но на выходе из Города присела в чайхане передохнуть и попить чаю. Потом она собралась сделать самокрутку, но убедилась, что кисет пуст, а купить табак она забыла. Ее расстройство заметил какой-то человек и услужливо предложил щепотку табаку. Исана закурила и… заснула. Сон длился несколько минут, но когда она проснулась, ни денег, ни этого человека в чайхане уже не было.

Над Исаной и Ли навис призрак нищеты. Правда, Абрамов к этому происшествию отнесся с пониманием и сказал, что очередную порцию отрезов он доверит Исане и без денег. Кроме того, Исану отчасти выручила осевшая ненадолго в Районе пара польских евреев. За несколько месяцев до описываемых приключений в тех краях появились поляки из армии Андерса. Двое даже забрели в село, где жил Ли, и узнав, что Исана из Харькова, один из них печально сказал:

— О, наших там много полегло!

— Разве польские части защищали Харьков? — спросила Исана.

— При чем тут немцы, — сказал поляк, — это *они*…

— А что, оказалось, что ваши, те, расстрелянные, были заодно с немцами?

— Там вообще не было военных, — отвечал поляк, — то были мирные штатские люди — профессора, инженеры, врачи, учителя, надевшие по призыву военную форму. Главное богатство Польши погибло на вашей земле. Я был с ними, но я врач, а нескольких врачей отделили от остальных. Почему — не знаю…

Через этих поляков польские евреи связались с кем-то в Лондоне и сначала получили несколько посылок с тряпьем, а затем и вызов, и теперь собирались проследовать по стопам Андерса — через Иран, той самой дорогой, которую Лидка Брондлер предсказывала Исане и Ли. Исана помогла им выгодно распродать вещи, и часть выручки они оставили ей.

Вскоре «операции» с Абрамовым, скудные колхозные заработки и аттестат Лео перестали быть единственным источником дохода Исаны. Несколько писем от тети Манечки пришли в именных дядиных конвертах, на которых типографским шрифтом были набраны его адрес и звание. А по тогдашним неписанным правилам «районные центры» страны находились в абсолютном подчинении у «первых секретарей райкомов партии», которыми в Туркестане были русские, обрусевшие украинцы и армяне. Такой красный феодал мог, например, запретить «крутить кино», пока его сиятельство не освободится от дел и не придет в зал, и сотня человек терпеливо ждала час-другой мановения вельможной руки. Он же мог своей властью учредить, в дополнение к центральной, свою цензуру почтовых отправлений и получать информацию обо всем, что по почте и по телеграфу поступило в район.

Именно таким «хозяином» был армянин Давидян, правивший районом, к которому относилось село, где жили Исана и Ли. И через некоторое время после получения ими именных конвертов академика, о чем, как оказалось, своевременно донесли товарищу Давидяну, его сын Эдик, учившийся в том же классе, что и Ли, отловил его в одно из его редких посещений школы и сказал, что отец просил зайти.

Давидян принял его дома. Тихая русская жена правителя поставила на стол какие-то фрукты и удалилась. Ли заметил лежащую тут же недавно вышедшую очередным изданием знаменитую книгу дядюшки Жени о Наполеоне. Давидяна, в основном, интересовал уровень родственных связей Ли с автором этой книги. Как истинный кавказец, он посчитал родного дядю отца достаточно близким родственником, а не седьмой водой на киселе, как бы подумал на его месте русский человек, и, отпустив Ли, сразу же по телефону дал указание «прикрепить» Исану к райкомовскому пайку, обеспечившему довольно сносную кормежку за чисто символическую плату.

Когда Ли спросил Эдика: «Отчего это твой папаня так расщедрился?», Эдик, не задумываясь, ответил:

— А ты что, не знаешь, что ваш дядюшка в дружбе с Усатым?

Так Ли узнал о неких личных отношениях, существовавших у дядюшки со Сталиным, и о том, что об этом было известно в

«широких партийных кругах», к которым сам дядюшка никогда не принадлежал.

VI

Впрочем, любое относительное благополучие или даже просто равновесие были в те времена вообще и особенно во всем, что касалось жизни Ли, крайне неустойчивыми. Так и в этом случае: не успели наладиться материальные дела Исаны, как вдруг перестали приходить письма от Лео. Исану это обстоятельство сильно нервировало, и она еще больше курила и худела. Ли относился к развитию событий более сдержанно, но он не мог сказать Исане, что еще тогда, в августе 41-го, когда они присели «на дорогу», он почувствовал, что дальняя и долгая дорога суждена только ему и Исане, а путь Лео был уже совсем близок к завершению.

В то же время к июню 42-го, как бы вобрав в себя все силы погибшего Лео (о том, что отец погиб в конце мая, Ли, естественно, тогда еще не знал), Ли окреп, позабыв обо всех своих хворях, и только в те дни и недели, когда южный ветер, сбегая с Алая, приносил дыхание близких урановых разработок, у него начинало щипать в горле и появлялись ячмени на веках. Исана не признавала радиоактивность как реальное явление и считала, что ребенок просто подвержен ангинам и вообще часто переохлаждается, купаясь в летних ледниковых струях в арыках и каналах-саях.

Пока в доме и вокруг их дома было много людей из «прежней жизни», Восток робко прятался за порогом. Потом начался постепенный отъезд всех, кто попал сюда, в это большое тюркское село, совершенно случайно. Почти каждый месяц кто-нибудь отбывал отсюда навсегда. И лишь Исана упорно не *желала* себе и Ли лучшего места на это смутное время. Оглядываясь назад через много лет, Ли понимал, что ее нежелание уезжать в «цивилизованные края» было проявлением воли Хранителей его Судьбы, убиравших подчистую всех свидетелей его, Ли, свидания с Востоком и оставлявших ему лишь тонкие почтовые связи с тем «старым», но бесконечно новым для него миром, куда ему через несколько лет предстояло попасть уже не ребенком, а в качестве тайно действующего лица.

И только когда Исана и Ли остались одни, Восток принял их в свои объятия. Конечно, на полностью сложившуюся личность сорокалетней Исаны он не мог оказать существенного влияния (впрочем, этого и не требовалось), но зато он легко овладел

детским сердцем Ли, еще находившегося на пути к себе, тем более что предстал он перед Ли в неотразимо прекрасном облике любящей и вечно любимой им Рахмы.

Книга пятая
РАХМА

Но однажды, пласты разуменья дробя,
углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир и себя,
и другое, другое, другое.

В. Набоков

I

Читая и перечитывая своего любимого Набокова через много лет после описываемых событий, Ли всегда поражался дате, стоящей под стихотворением, последние строки которого стали эпиграфом к этой книге, вернее, совпадению этой даты с началом его собственного самопознания. Ли, конечно, понимал, что даже в уникальном воображении Мастера не могла возникнуть картина Встречи — за много миль от Уэльслея, что в Массачусетсе, где он записал свою «Славу», — в еще более жарком, чем родина Долорес Чейз, прекрасном краю. Встречи незнакомого ему, не по возрасту искушенного мальчишки с совершенно необычной для царства черных волос светлой и зеленоглазой Лолитой, владелицей волшебного зеркала, а если говорить образами Востока — чаши Джемшида, приотворившей Ли — по воле Хранителей Судьбы — его потусторонность. И к этой своей потусторонности он с ее помощью смог прикоснуться.

Несмотря на определенно выдающийся интеллект Ли, его самопознание, с тех пор как он с помощью Тины ощутил свое мужское естество, было движимо не разумом, а чувственностью, которой Восток, как только Ли остался с ним наедине, несомненно, дал новую и обильную пищу.

В селе к моменту Встречи Ли и Рахмы воцарился новый председатель — «раис» по-местному. Этот пришел надолго, поскольку ногу имел одну и никакой комиссар не мог отправить его на фронт, как сплавил всех его предшественников. Другую ногу он, как говорили, потерял во время войны с басмачами, неясно было только, с какой стороны он участвовал в той уже давней войне.

Этот умудренный жизнью человек сказал Исане, что полегчает нескоро, и выделил ей участок земли под второй посев после ячменя — под джугару (сладкий тростник со стволом, как у кукурузы, но с зерном не в кочане, а в метелке) и горошек «маш». А Ли он отправил пасти овец в команду мальчишек, которой руководил добрый пожилой человек по имени Джура-бай. Выделили ему лошадь Люли, что в переводе на русский означало «цыганка», а за рабочий день он получал пару лепешек и литр парного молока вечерней дойки. Остальная часть дневного пропитания добывалась мальчишками самостоятельно. Это были пойманные и подбитые воробьи, ежи, тутовник, рыба и вообще все съедобное, что попадалось под руки и в руки.

Своим среди чужих Ли стал не сразу. На Востоке его снова настигла сталинская дружба народов: разъяснению пана Пекарского и ему подобных о том, что среди беженцев есть «жиды», сельские тюрки не вняли, поскольку евреи у них были свои, бухарские, ни на кого из вновь прибывших не похожие. Поэтому все беженцы именовались ими «урусами», и это слово очень часто произносилось в сочетании с другим: «урус-яман», что означало: «русский — плохой». Отблеск вековой ненависти к «урусам» пал и на Ли.

Исану такая изначальная ненависть не смутила, и доказывать тюркам, что она — не русская, она не стала. Она просто старалась помочь людям чем могла: лекарствами, составлением бумаг, надписями на конвертах. И сердца людей открылись ей и Ли. Скоро она стала для всех «Сан-апой» (сестрой Саной), а Ли именовался Ли-джан (милый Ли).

Люди села знали, что на фронте пропал без вести муж Исаны, и принимали с благодарностью ее участие в их потерях. А потерь этих, несмотря на активно и, вероятно, централизованно распространявшиеся слухи и анекдоты о трусости тюрков (как, впрочем, и евреев), об их массовом членовредительстве, сдаче в плен и прочем вздоре, было очень и очень много. Цель же этой массированной лжи была на поверхности: выделить заслуги одного народа из нескольких десятков, населяющих страну, и, тем самым, обосновать его право руководить остальными. Те, кто планировал этот «процесс», — мелкие умишки с гнусной душой — предполагали, что вся страна, а особенно ее бывшие колонии, «освобожденные» от «двойного и тройного гнета», населены благодарными за все дураками. Но они жестоко просчитались. Их «нордическая хитрость» никого не обманула, а наоборот, сеяла ненависть к русским, и в полном соответствии с законами Кармы за сотворенное ими Зло рассчитывается теперь нынешнее поколение русских людей, живущих в странах тюрков и других

«нацменов» — по терминологии тех времен.

Исана и Ли столкнулись с этой еще копившей свои силы ненавистью у самых ее истоков и в рамках своих жизней ее преодолели, завоевав души этих добрейших в своей основе людей, что, однако, далеко не полностью застраховало их от опасностей, подстерегавших здесь «чужого» на каждом шагу.

II

У Ли было еще одно осложнение личного плана, которое он преодолевал в одиночку, даже не рассказав об этом Исане. Из-за многовековой изолированности и труднодоступности женщин после утверждения здесь Ислама, а может быть, и по доисламским нравам и обычаям, юноши и старшие подростки для удовлетворения своих влечений использовали мальчиков. Мужеложство, естественно, не поощрялось, но и не считалось смертным грехом, служа объектом разного рода похабных шуток и анекдотов. При этом явно недооценивались психические и психологические последствия: даже частичные изменения чувственной ориентации личности приводили к тому, что многие взрослые мужчины и после брака сохраняли свои гомосексуальные наклонности и даже связи, становясь бисексуалами и неся порок следующим поколениям. Сохранился, хоть и в малом объеме, даже институт «бачей», когда красивого восьми- или десятилетнего мальчика — «бачу» — из бедной семьи забирал к себе зажиточный человек и содержал его «до усов» для разнообразия своих чувственных игр.

Местные, как теперь говорят, русскоязычные были настороже и берегли свою поросль от соблазнов, но волна беженцев, нередко голодных и неустроенных, открыла перед здешними сексуальными гурманами новые возможности. Ли тоже стал объектом их вожделений, но, благодаря богатому опыту общения с Тиной, в нем было разбужено и необратимо утверждено мужское начало, и гомосексуальные посягательства вызывали у него резкий протест. Осознавая впоследствии опасность для человеческой личности, таившуюся в этих «не вредных для здоровья», как считал Николай I, «развлечениях», Ли еще раз подивился мудрости и предусмотрительности Хранителей его Судьбы, приблизивших к нему Тину в самые первые годы познания им мира.

К чести местных любителей свеженького, в своих однополых любовных утехах они не применяли насилия, поскольку, вероятно, не было недостатка в мальчишках, откликавшихся на

их предложения добровольно и даже с интересом. Поэтому, когда неподатливость Ли стала известна, от него сразу же отстали, и его задница, — а иные формы однополого общения здесь не практиковались, — осталась нетронутой.

Да и вообще, работа подпаска забирала его физические силы полностью, ибо стадо нужно было постоянно держать на межах, довольно узких, и перемещать его, не травя посевы. Открытых пастбищ на землях этого села почти не было, и, проведя день в седле, а вернее, на подстилке, наброшенной на спину своей Люли, Ли не всегда мог заснуть. Когда об этом узнал Джура-бай, он стал давать Ли в конце работы «курнуть» на одну малую затяжку какой-то смеси с опиумом, и сон его стал крепким и сладким от неясных, но приятных видений. Потом Ли попробовал и «план» (гашиш), но могучее чувство меры, заложенное в его душу Хранителями Судьбы, не давало перейти любопытству в привычку, и его личность, обогащаясь обретенным опытом, сохраняла свою цельность, индивидуальность и независимость.

Скоро в его ковбойских занятиях наступил перерыв: стадо угнали в степь к Нарыну, на дальние пастбища, за два десятка километров. Эту операцию осуществляли старики и почти взрослые подростки. «Малышам» там места не было. По выработанной веками традиции, стадо там пасли между двумя летними урожаями, когда труд мужчин в поле не требовался. И Ли на целых два месяца остался предоставлен сам себе. Время он проводил в странствиях по округе и купаниях в больших распределительных каналах древней оросительной системы, на которые распадался Сох — стремительная бурная река, полноводная благодаря тающими ледниками Алая, ограждающего Долину с юга. Из каналов-саев вода почти полностью разбиралась на полив, не доходя до Нарына.

При всей строгости своего отношения к женщине как к собственности, девочек до определенного возраста сельские тюрки воспитывали довольно свободно. Создавалось впечатление, что целомудрие не было обязательной частью приданого и не оплачивалось выкупом — калымом. Обычная одежда тюрчанок всех возрастов — шаровары и платье. Трусики и бюстгальтеры не предусматривались, купальники — тем более. Поэтому стайка девочек, полностью обнаженных, купалась неподалеку от мальчишек, которые время от времени совершали набеги на «женский» пляж и тискали своих малолетних подруг, иногда заваливая их и совершая под их визг весьма откровенные телодвижения, называя их почему-то русскими словами: «качай-качай». Благодаря Тине, Ли в сексуальном своем развитии им не уступал. И тут у него появилось к тому же два преимущества

перед тюрчатами: у него были зеленые, а не карие и не черные глаза, «как у всех», и он не был обрезанным. Юдофобы-русопяты и прочая «интеллигентная» сволочь обычно уделяют обрезанию намного больше внимания, чем «этнические» евреи. Эту чисто гигиеническую операцию они, следуя Ваське Розанову, считают основой невидимого духовного единения всех евреев мира и тайным масонским знаком, забывая о том, что для правоверного мусульманина сей акт не менее значителен, чем для еврея. А значит, «масонов» на белом свете неизмеримо больше, несколько сотен миллионов, во всяком случае…

Для Ли в обрезании никогда не было никакого тайного смысла и тем более — ничего заслуживающего внимания. И, впервые увидев это у тюрчат, он остался к нему совершенно безразличен. Но любая девочка-тюрчанка, оказывавшаяся в его руках при очередном набеге, испуганно замолкала и трепетала от прикосновения крайней плоти, погружаясь в глубину его зеленых глаз.

А однажды девичья стайка вытолкнула ему навстречу красивую девочку с криком:

— Ты — кок-куз (зеленоглазый), и она кок-куз!

И Ли с разбегу наткнулся на взгляд таких же зеленых глаз, как его собственные, и он понял, что эту девочку он никогда не завалит на песок и никаких «качай-качай» с ней не будет.

Это была Рахма, и он услышал, как к ней, несмотря на ее юный возраст, уважительно обращались: «Рахма-хон» — «царица Рахма». Она внимательно посмотрела на Ли и улыбнулась каким-то своим мыслям, а затем отошла в сторону и стала отжимать свои длинные темно-каштановые волосы, среди которых оказались две светлые пряди. Своей наготы она не стеснялась совершенно, и тут у Ли возникло совершенно ясное ощущение, что она его *знала* и что в дневную жару, на берегу наполненного ледяной водой сая, она его *ждала*. И Ли поплелся за ней и лег у ее ног в горячий песок.

— Не смотри! — приказала она. — И одевайся сам!

Она стала на травяную кочку, обтерла ноги и быстро натянула шаровары, затем накинула свободное старенькое платье и, подождав Ли, увела его с собой.

III

Рахма не была тюрчанкой. Семья ее принадлежала к одной из иранских народностей — таких семей в деревне было несколько, и жили они с тюрками душа в душу, ничем не отличаясь от них в

быту, ибо всех здесь нивелировала единая вера. Семья Рахмы была большая. На ней — младшей дочери — лежала основная тяжесть домашних работ, и потому на диких пляжах она появлялась крайне редко.

Ли стал приходить к ней в усадьбу и помогать по хозяйству. Она принимала его внимание с достоинством, и в минуты отдыха, когда каша была сварена, а лепешки извлечены из печи-тандыра, они лежали на кошме плечом к плечу. Ничего лишнего Ли не позволялось, а то, что он ее видел голой на пляже, ничего не значило. И только иногда он украдкой прикасался к ее набухающей груди. Но как-то Рахма сказала ему:

— Посмотри сюда долго-долго!

И она показала ему родинку в вырезе ее платья. Ли стал смотреть и через минуту-другую физически ощутил ее тело, как свое. Ли захотел подвинуть ее ногу, и ее нога подчинилась его воле. Ли захотел положить ее руку себе на грудь, и ее рука тоже выполнила его волю.

— Хорошо тебе быть моим повелителем? — спросила Рахма, когда Ли вскочил на ноги, чтобы сбросить с себя это наваждение. — Но ты им не будешь.

И она вдруг исчезла. Тут уж Ли испугался не на шутку, но вскоре услышал ее голос: «Э-э-эй!» — тихо позвала она. Голос раздался у него за спиной, и, оглянувшись, он увидел смеющуюся Рахму. Она обняла его и крепко прижала к себе своими красивыми и сильными руками. От нее пахло молоком и солнцем. Ли закрыл глаза.

— Ты никому не говори об этом, — сказала она. — Меня убьют, если узнают!

И Ли никому не сказал ни слова.

После этого Ли часто «уходил» в Рахму и многое понял в том, как видит мир девочка, что ее волнует, а что безразлично. Рахма тоже хозяйничала в нем. Во всяком случае, у него перестало болеть горло, прошли ячмени и прекратилось выпадение ресниц. Рахма потихоньку учила его сосредоточивать свою волю на разных действиях. Она брала, например, его руку, отыскивала на ней еле заметное точечное родимое пятнышко и говорила:

— Смотри на него внимательно и думай-думай, что это рана!

И Ли смотрел и думал, и минут через десять на этом месте появлялась краснота, а затем выступала и капелька крови. Ли испугался, перестал «думать» и через день краснота исчезла.

— Это можем только мы, зеленоглазые, — говорила Рахма. — А дураки нас дразнят!

Приближалось время возвращения стада, но до этого произошло одно событие. Ли возвращался с тюрчатами из

дальней тутовой рощи, где плоды шелковицы были особенно вкусными. Навстречу им двигались две молодые женщины. И вдруг одна из них схватила Ли за руку и стала кричать, что из-за него и Исаны Аллах разгневался на село, гибнут люди. И она поднесла к его горлу нож. Ближе всех к ним был Ариф — сильный и ловкий мальчишка. Он ударил камчей фанатичку по руке, и Ли смог вырваться и убежать. Исана собралась рассказать об этом происшествии раису, но Ли не задумываясь сказал, что не надо — тот и так узнает, сорока на хвосте принесет. После этого он несколько дней не выходя из дому провалялся на кровати, и если бы у Исаны было время обратить на него внимание, она посчитала бы, что он сошел с ума. Перед ним в его воображении непрерывно маячило искаженное злобой лицо фанатички с родинкой на манер индийской — между бровями. Ли не сводил с этой родинки свой мысленный взор и *видел*, как ее обладательница падает с обрыва, обливаясь кровью, потом перед его закрытыми глазами снова возникает ее ненавистный облик, и его снова охватывает гневное исступление. Через несколько дней его отпустило. Ненависть ушла. Не было и страха. Было полное бессилие, и Ли не сразу смог подняться с постели. А вечером Исана ему сказала:

— Ты знаешь, я все-таки собралась поговорить с раисом, но оказалось, что эту самую Джемал-апу сбила машина у моста через сай, и насмерть.

На следующий день Керим, приятель и сверстник Ли, показал ему это место. Дорога там шла стороной, но молодой водитель не удержат руль, когда спустило переднее колесо, и машина ударила *случайно* оказавшуюся там обидчицу Ли. Она полетела с обрыва, обливаясь кровью. Керим показал ему бурые пятна.

После «осмотра места происшествия» Ли страшно захотелось спать. Он пришел домой и лег на кошму в тени. Вечер был душным, и Исана оставила его на дворе, растянув над ним марлю от комаров. В дальнем углу двора расположилась часть стада, вернувшегося с берегов Нарына, а сторож лег спать неподалеку от Ли. Потом Ли рассказали, что по следам стада в село пришли два степных волка и ночью попытались проникнуть во двор. Стадо заволновалось, и сторож спросонья выпалил сразу из обоих стволов у Ли над ухом, но тот даже не проснулся. Волки ушли, а Ли утром встал свежим и сильным и забыл обо всем. Поэтому, когда Рахма, встретив его, спросила: «Плохо тем, на кого ты обижен. Да?», он даже не понял, о чем она говорит.

Скоро, однако, смысл ее слов начал для него проясняться. Новое происшествие было связано со школой, с которой у Ли были странные отношения. Наступила осень, и он на день

отпросился у чабана, чтобы отметиться в третьем классе. Там появилась какая-то новая учительница — смазливая бабенка из эвакуированных, из тех, кого в годы войны стаями и в одиночку носило по стране в поисках сытой жизни и надежного покровителя. Те же из них, кто попадал в Среднюю Азию, становились добычей местных богачей, и когда кто-либо из них насыщался подобной особой, он перепродавал ее другому такому же тайному магнату. Поскольку эти «красные баи» были «видными местными партийными, советскими деятелями», то большую часть расходов по содержанию своих временных русских наложниц они, естественно, перекладывали на плечи рабоче-крестьянского государства — выделяя им казенную квартиру, «райкомовский» паек и «приличную» работу. К таким приобретениям заведующего районной промтоварной базой относилась и новая сеятельница знаний, возникшая на пути Ли.

Несмотря на упорные сплетни антисемитов о том, что «все евреи» бежали не только от немцев, но и от службы в армии — в Сибирь и Среднюю Азию, в созданной в Районе для эвакуированных детей русской школе на весь третий класс Ли был *один* еврей, о чем ему было немедленно сообщено на перекличке. Ли уже успел отвыкнуть от своей «национальной принадлежности», так как в селе он сначала был ненавистным «урусом», а потом получил в пользование кличку «кок-куз» и свое собственное имя в ласковой форме — Ли-джан. Здесь же представление детей друг другу по их национальностям сопровождаюсь комментариями «учительницы»-шлюшки. Трудно передать всю издевательскую сущность «пояснений» этой коммунистической носительницы знаний, когда дело дошло до национальности Ли. Самое безобидное в них было связано с обрезанием. Она, однако, не учла уровень образованности Ли в этих вопросах, приняв его за забитого еврейского пай-мальчика. Он встал за партой, как того требовал школьный этикет, и последующая минута запомнилась шлюшке более всего в ее короткой жизни, ибо сказал Ли примерно так:

— Не угадала, сука! У меня как раз необрезанный, могу дать посмотреть и потрогать! А ты сосешь обрезанный, да еще у ишачки в жопе побывавший!

Район был маленький, и тайн в нем не было, так что о том, что ее покровитель-тюрк любил французские (как тогда считалось) развлечения и не пренебрегал скотоложством, которым, по местному обычаю, снимал головную боль после перепоя, Ли узнал накануне первого урока в светской беседе со своими сверстниками. Эти слова не исчерпали гнев Ли, и, с шумом хлопнув партой, он схватился за камчу, заткнутую за пояс,

как положено подпаску, но, замахнувшись, сдержался и опустил плеть на классный журнал, потянув ее при этом на себя, отчего верхняя страница оказалась вырванной и упала на пол.

— Подотрешься! — сказал шлюшке Ли, указав камчой на бумажку, и, уже внешне успокоившийся, вышел из класса.

Придя в село, он сказал Исане, что в школу больше не ходок. Но обида и ощущение оскорбления с этим решением не ушли. В седле и на привале, в любой миг относительной свободы и при отсутствии необходимости быть начеку перед его внутренним взором появлялось красивое лицо паскуды, ее говорящий мерзости ротик и прыгающая над верхней губой маленькая родинка. И он видел, как этот ротик замолкает, как его сводит боль, как он успокаивается в смерти. Так продолжалось несколько дней, а потом все забылось, заслонилось иными делами и заботами. Но однажды Исана, возвратившись из Района, среди прочих новостей из цивилизованного мира сообщила Ли:

— К твоему сожалению, ты, кажется, опять можешь ходить в школу.

Оказалось, что его обидчица неожиданно скончалась от сепсиса после подпольного аборта. Администрация же школы решила «дела об оскорблении учителя» не возбуждать, поскольку там было уже известно, что старший Давидян удостоил Ли личной беседы и милости и что он смеялся до слез, слушая рассказ о выходке Ли.

Впрочем, Ли и без этого продолжал заниматься между делом и вполне самостоятельно. Писать он, в частности, научился, воспроизводя печатный шрифт, и поэтому тетради его никогда не были образцовыми, но во всем устном он преуспевал благодаря своей великолепной памяти и сообразительности.

Почему-то Ли, как и в случае с Джемал-апой, очень захотелось побывать там, где умирала его обидчица, будто там он мог отыскать какие-либо доказательства своей причастности или непричастности к такому страшному делу. Но на сей раз это оказалось невозможным. Лишь пробегая мимо «русского» кладбища в Районе, он увидел там свежий могильный холмик. Вскоре зимний ураганный ветер-шамал сравнял его с землей: у покойной не было здесь друзей и родственников, и никто не чтил ее память.

— Не думай, что это ты их убил, — сказала ему при первой их встрече после смерти «учительницы» догадливая Рахма, опережая его вопросы, и добавила, подняв глаза к небу: — Это *Они* убили их, а многие свои дела *Они* делают через таких, как ты и я.

— Ну зачем *Им* какие-то женщины? — недоверчиво спросил

Ли.

— Каждая женщина — это тысячи возможных жизней потом, — объяснила Рахма. — И, может быть, кто-то из этой тысячи был бы опасен Им и людям…

IV

После этого разговора Рахма резко приблизила к себе Ли. В дневную жару, когда все живое замирало, Рахма увлекала его на дальнюю межу на границе их усадьбы, крайней в селе, туда, где к густым зарослям подходил полноводный в эту пору года арык, и там они раздевались донага. Рахма была несколько удивлена опытностью Ли, но вскоре его неуклюжие ласки стали вызывать ее смех. Она принялась обучать Ли обращению с женским телом по одной ей известной системе, показывая, где и в какой последовательности его целовать и ласкать. Иногда в такие моменты она разрешала душе Ли вселяться в нее, и Ли ощущал волны желаний, охватывающие тело Рахмы.

Изобретательности Рахмы, казалось, не было предела, и наступило мгновенье, когда ее губы и язычок нежно прикоснулись к его крайней плоти и к головке. Эти прикосновения так сильно отличались от памятных ему более грубых ласк Тины, что однажды Ли неожиданно для себя решительно проделал то, к чему его безуспешно пыталась приучить его первая подруга: он спрятал лицо между ногами Рахмы и там, прижав губы к ее губам, стал раздвигать их языком, водя его по всей щелке. Рахма застонала и затрепетала в его руках, а он почувствовал, как в него вливается какая-то еще неведомая ему мощная сила.

Рахма, естественно, никогда парфюмерией не пользовалась, но Ли, когда она была рядом, ощущал исходящий от нее волшебный аромат. Это был дивный запах нетленности, и в нем, в его неуловимости не было ничего земного, хотя свою юную жизнь она проводила в тяжких трудах с редкими минутами отдыха. Впоследствии воспоминание о благоухании ее тела не раз омрачало Ли его близость с женщинами Запада, а когда он полюбил великую поэзию Ирана, то слова Рудаки и Хафиза о мускусном дыхании, о чарующем ветре Мульяна, об аромате любимой не были для него цветистыми эпитетами: в них — дыхание его Рахмы, пленительный запах ее юности.

Некоторое время спустя Рахма, ворочая Ли как куклу, стала показывать различные откровенные асаны, требуя в них от него полной неподвижности. Она умела имитировать предельную близость с высокой степенью достоверности, сжимая ноги так, что

Ли своей головкой упирался в ее клитор. И получалось, что он ощущал себя в ней, в ее горячем теле, и она чувствовала его возбуждающее присутствие в себе. В каждой асане она соединяла их руки, переплетая пальцы, и Ли опять казалось, что через все точки соприкосновения с Рахмой в него вливается все та же непонятная сила.

Однажды их застал за этими любовными играми ее старик-отец. Рахма сразу же усилием своей воли перестроила его сознание и восприятие действительности, а затем и вовсе стерла все им увиденное из его памяти. Он, однако, успел ей сказать на фарси, что если она забеременеет, то он, ее отец, своими руками зарежет и ее, и «поганого необрезанного щенка». Рахма посмеялась, переводя для Ли эти слова на тюркский, но месяц спустя Ли показалось, что у него на головке осталась ее слюна. Рахма вытерла ее рукой и показала ему две мутные капельки, которые на их глазах становились прозрачными.

— Это то, за что нас зарежут! — сказала она.

С тех пор их игры в асаны прекратились, и только своими ласковыми язычками и нежными руками они выражали друг другу свою любовь.

V

Как ни заполняла Рахма и все свободное время, и все помыслы Ли, «большая» жизнь все равно рвалась в его мир, оставляя и иные, не менее сильные впечатления. Так, в один из приходов в Район он застал всех своих соучеников во взбудораженном состоянии.

— Идем бить татар! — сказали ему.

— За что их бить, они же были здесь всегда, — Ли имел в виду несколько семей местных татар, переселившихся сюда из Поволжья во времена великого голода.

— Да нет, привезли крымских татар, предателей, что с немцами против наших воевали! — разъяснил Эдик Давидян, имевший всегда самую свежую и самую точную информацию.

Ли было некогда, но все же он пошел следом за всеми посмотреть на «предателей», представляя себе скованных кандалами дюжих мужиков с обритыми головами.

Но на «эвакопункте» он увидел два десятка жавшихся друг к другу женщин, детей, двух стариков, трех старух и несколько подростков.

— Какие же это предатели? — возмущенно и громко сказал Ли, — сами вы предатели!

И Ли пошел прочь от своей компании, нерешительно мявшейся с твердыми комьями земли в руках. Он лишь заметил, как одна из новоприбывших — худенькая смуглая девочка с котенком на руках — внимательно посмотрела на него.

Через неделю или две по пути в Район Ли встретил ту же девочку на окраине поселка. На ней была уже местная одежда, и волосы ей заплели в маленькие косички. Узнал он ее по котенку, с которым она была неразлучна.

— Как тебя зовут? — спросил Ли по-тюркски.

— Наиля, — ответила она, — а по-русски — Нила. Я тебя помню: ты не нападал на нас, когда мы приехали.

— Откуда ты?

— Я из Алупки. Знаешь, где это? — она говорила по-русски без акцента.

— Знаю, — ответил Ли и не соврал. Название этого крымского поселка часто звучало в довоенных разговорах Исаны и Лео.

— Алупка красивая, на высоком берегу, над морем.

— Ты с кем здесь?

— С мамой и бабушкой. За нами должен приехать папа. Он был на фронте, а сейчас ранен и лежит в госпитале.

— За что же вас?..

— Откуда я знаю!

Наиля едва слышно, сдерживая слезы, рассказала Ли, как все происходило, как их выталкивали из дома прикладами доблестные «солдаты», никогда не видевшие фронта, как тут же растаскивали ценные вещи, вырывая их друг у друга, как набивали людьми теплушки в расчете, что часть стариков и старух умрет в дороге, как она защищала своего котеночка и от своих, и от чужих…

Ли слушал молча, и ненависть к тем, кого он еще не знал, подымалась в нем горячей волной.

Еще через месяц он увидел, как Наиля, ее мать и бабушка и какой-то мужчина в военной форме, с орденами на груди грузили нехитрые пожитки на арбу. Наиля показала на Ли мужчине, и они подошли к нему.

— Ты хороший мальчик, — сказал мужчина, положив ему руку на плечо. Но не все можно и нужно говорить вслух — и себе навредишь, и другим не поможешь. Храни тебя Бог, батыр, от всего дурного, а прежде всего, от той доли, что выпала нам.

Ли тогда и подумать не мог, что менее чем через десять лет эта тяжкая «доля» подойдет к нему так близко, что он будет ощущать на себе ее смертоносное дыхание. А пока *Они*, как сказала бы Рахма, показали ему, как все это выглядит в жизни.

VI

Вероятно, Хранители его Судьбы, которых Рахма называла «Они», посчитали полезным, чтобы Ли прошел еще одно испытание, и по *Их* воле оно, это испытание, поджидало его на Дороге. Как-то жаркой весной — последней своей весной на Востоке — Ли возвращался из Района, выкупив «партийный» паек. Были мертвые часы дня, и Дорога была пуста. Ли полубежал по обочине, стараясь не ступать ногой в белую пыль, разогревшуюся до ста градусов по Цельсию.

Он бежал, как будто хотел обогнать свои невеселые мысли. Думал об открытке из Москвы, в которой тетя Манечка сообщала, что брат Лео — дядя Павлик — умер в госпитале в Польше. Думал об Исане, которую трепала жестокая малярия. Уже недели он прятал от нее эту открытку, помня, с какой радостью Исана совсем недавно читала последнее письмо Павлика с приглашением «после войны» приехать в Одессу и зажить там одной большой семьей в старом родовом доме Кранцев, где он, Павлик, недавно провел две недели отпуска. И вот уже почти наступило это «после войны», а Павлика нет на свете, и возвращаться Ли и Исане неизвестно куда, только не к «поганой немке» с ее папашей-капитаном, которые пережили эту войну, и все им как с гуся вода.

Ли не сразу понял, что именно отвлекает его от этих столь необходимых ему размышлений. В окружающем мире появилось что-то раздражающее — то, чего не должно было быть. Ли стряхнул свои думы и вернулся в действительность. Подозрительная фигура, возникшая на Дороге, быстро приближалась к нему. С этого момента Ли полностью сосредоточился на загадочной фигуре явно не местного происхождения. Оказалось, это — довольно крупный белесый парень с весьма неприятным (по мгновенной оценке Ли) взглядом.

— Что несешь? — спросил незнакомец, бесцеремонно заглядывая к Ли в сумку.

Вероятно, продукты ему не понравились, и он ограничился тем что выхватил деньги, торчавшие у Ли из нагрудного кармана.

— Только пикни! — сказал он, показав ему нож, и пошел дальше.

У Ли перехватило дыхание от ярости. В руках у него была палка с привязанной веревкой — вроде самодельной плетки, совершенно безобидной на вид, поэтому грабитель на нее и не обратил внимания и, конечно, не заметил небольшой рогатины на том конце кнутовища, где была привязана веревка. Ли выбрал

увесистый голыш из слоя гравия, покрывавшего Дорогу, и положил его на рогатину, а затем прижал веревкой. Ли, конечно, не знал, что в руках у него самодельная праща, вроде той, с которой Давид шел на Голиафа, но он точно знал, что ему в нужный момент следует отпустить веревку, чтобы камень полетел в голову врага с учетверенной силой. А уж глазомер у Ли был отменный. Когда все было готово, Ли замешкался: не мог он нападать со спины, рука не поднималась, и тогда он крикнул:

— Ты не пикнешь!

Парень стал поворачиваться и сделал шаг по направлению к Ли, но в это время камень, пущенный Ли, ударил его в висок, и он упал в белую горячую пыль без сознания.

Ли подошел к нему и вынул из его кармана свои деньги, а в это время из придорожных кустов выбежал незнакомый ему тюрк. Он оттолкнул Ли, обругал его «русской свиньей» и, приподняв за волосы голову то ли убитого, то ли оглушенного парня, полоснул его ножом по горлу. Что-то хлюпнуло, и немного крови вылилось у ног Ли на горячий песок, сворачиваясь в шарики, мохнатые от белой пыли. Тюрк сотворил намаз, сказал несколько слов во славу и в благодарность Аллаху и обратился к Ли:

— Прости меня, мальчик! Ты — храбрый джигит!

Потом Ли узнал, что за день до этого «урус-яман» убил в соседнем селе подростка, и он, Ли, помешал или чуть не помешал его отцу совершить месть по всем правилам, за что и был обруган.

Убитый оказался разыскиваемым преступником и дезертиром, и районная прокуратура быстро закрыла дело, не проводя расследования.

Кто только не бродил по дорогам Востока в военное время! Однажды Ли возвращался домой с заработанными лепешками и увидел, что село по окружному проселку огибает странный человек в каком-то балахоне, подвязанном веревками, а женщины при виде его кричат: «Коч! Коч! (Прочь! Прочь!)» и закрывают руками глаза детей.

— Дай мне лепешку! — крикнул странник, обращаясь к Ли.

Ли подошел и протянул ему одну лепешку. Тот разломил ее пополам и сказал, что ему хватит и одной половины. Вторую он вернул Ли.

— Не ешь! — закричала ему женщина, высунувшись из-за дувала, но Ли уже положил в рот кусок.

— Не бойся! — сказал ему странник, и из-под балахона сверкнули его умные живые глаза. Он пошел дальше, а из-за поворота показался раис. Выслушав женщин, он объяснил Ли, что это был прокаженный, и спросил:

— Когда он у тебя брал лепешку, какая у него была рука?

Такая? — и он показал скрюченные пальцы.

Ли вспомнил красивую смуглую сильную руку, протянутую ему из рубища, и ответил, что рука была вполне нормальная. «Как у тебя, раис!» — сказал Ли. Раис засмеялся и сказал:

— Похоже, что тебе и правда нечего бояться!

Рахма же, узнав о похождениях Ли, заметила по этому поводу: — Запомни: всеми твоими встречами и всей твоей жизнью правят *Они*. И как *Они* захотят, так и будет. И горе тебе, если *Они* тебя оставят.

Нельзя сказать, что Ли это очень понравилось, поскольку характер от Природы он имел независимый, но Ли уже стал привыкать к тому, что Рахма никогда не ошибается.

VII

Конец войны, ничего не изменивший в быту Ли, тем не менее оказался в его жизни какой-то невидимой вехой. С мирным временем пришли к нему тоска и томление, отчасти оттого, что он остался не у дел: за несколько месяцев до конца войны, когда вся страна была набита американской тушенкой и солдатскими пайками из США, а значительную часть Красной Армии уже кормила Восточная Европа, Давидян, как говорили, «пошел на высокий орден» и решил в «подарок партии и родине» перевыполнить план по сдаче мяса. Это мероприятие выразилось в том, что по селам был отобран почти весь общий и частный крупный и мелкий скот. В селе стоял громкий плач, как по покойникам, и все в который раз проклинали «урусов». А потом вдруг пала Люли. Ли на всю жизнь запомнил ее глаза, устремленные на него, когда она лежала со сведенными судорогой задними ногами и ржала. Не дали ей умереть, ее зарезали, чтобы не есть дохлятину. Кусок мяса достался Исане, но Ли отказался есть.

Ему хотелось все время быть с Рахмой, но у нее была тысяча дел и она могла уделять Ли совсем немного времени. Он хотел читать и читать, но не было книг. Два «толстых» романа, взятые для него Эдиком из библиотеки отца, он прочел не отрываясь. Это были «Тихий Дон» и «Хождение по мукам». В этих непростых книгах для Ли с его уже большим личным чувственным опытом не было неясных страниц. «Тихий Дон» он больше не перечитывал из-за отсутствия интереса к узкому кругу человеческих типов, раскрывшихся на страницах этой книги, а к «Хождению…» возвращался не раз, пока к нему не пришла «Белая гвардия».

Каждое новое утро Ли встречал на плоской крыше дома над

комнатой, где они с Исаной жили. Оттуда хорошо просматривалась южная часть Долины до самых Алайских предгорий. Ли пытался представить себе все многообразие Природы и человеческих жизней, скрытое от его глаз буйной зеленью и красотой ближних садов и полей. А что за ними? И над всем этим царствовали снежные вершины поднебесных гор, высоко поднимающих купол неба. Там, на крыше, душу Ли охватывал почти религиозный восторг — это была его немая молитва Природе, к которой *Они* (из мира, открытого ему Рахмой) имели, безусловно, самое прямое отношение.

Томление охватило и Исану. Дела валились из рук, и она всерьез стала задумываться об отъезде. Эти ее настроения почувствовал раис, знавший — в отличие от других жителей села — многие тонкости непростой жизни на Руси. И однажды он обратился к Исане с длинной и прочувствованной речью.

— Сана-хон, — сказал он, — зря ты собирается уезжать от нас. Народ наш трудолюбив, и скоро мы здесь будем жить хорошо. Ты с Ли тоже будешь хорошо жить. Будет много дел, и ты будешь помогать их вести. Ли мы пошлем за наши деньги в Ташкент учиться. Он любит наших девочек и женится в селе, а жить будет, где захочет. Он же будет *наш*, а *наши* нам будут нужны и в Ташкенте, и в Фергане, А здесь, в селе, у него будет хороший дом, где он сможет отдохнуть душой, здесь, где прошло его детство. Это важно для человека. Скажи свое слово, и я сделаю так, что Рахма его подождет — откупимся от родителей. А что тебя ждет *там* одну, без мужа… Русские — плохой народ, ненадежный народ, поверь мне: я это знаю лучше других. Не будет там у тебя счастья.

Эта речь произвела сильное впечатление на Исану, но тут заболел малярией Ли, совершенно не жаловавшийся последние два года на здоровье. Потом Ли понял, что это был *знак* от *Них*, напоминавший ему, что на Востоке ему больше делать нечего и что свою функцию в жизни Ли реальный Восток уже выполнил; теперь его место — в душе и памяти. Для Исаны, не склонной к мистическому истолкованию житейских обстоятельств, малярия Ли была всего лишь еще одной гирькой, склонившей весы сомнений в пользу отъезда. И она отправилась в военкомат за обратной подорожной.

В путь они тронулись в начале августа. Тот же самый арбачи — будто и не прошли эти четыре года — медленно двинулся в сторону города. Их провожали Рахма и ее мать, которая принесла им в дорогу корзину винограда. Ли и Рахма сильно обогнали арбу и дошли до того места, где на урезе хлопкового поля Ли по поручению раиса однажды посадил небольшую ивовую рощу на

лозу. Теперь деревца выросли в два человеческих роста. Их еще не прорубали, и заросли были густыми. Ли и Рахма вошли в их тень. Там Ли последний раз поцеловал Рахму в губы, поцеловал ее маленькую тугую грудь. Слезы навернулись ему на глаза, и он сказал:

— О, Рахма, ты могущественнее всех на Земле! Почему ты не хочешь подчинить своей воле людей, чтобы все в мире было для тебя и для меня?

— Послушай меня, Ли-джан: то, что мне, тебе и еще кому-нибудь — мы не одни такие в мире — *Они* дали, *Они* дали не нам и не для нас. И я, и ты должны жить, подчиняясь Судьбе. Ничего нельзя менять по своей воле. Я скоро выйду замуж и буду рожать детей. Может быть, и среди них будут те, кого отметят *Они*. У тебя будет много дорог и много женщин в жизни. Первая дорога и первая женщина будут уже через два года — там, где много солёной воды, я вижу это. А если *Они* от нас что-нибудь захотят, *Они* сами укажут и место, и время, и человека, и как поступить.

На следующий день поезд уносил Ли и Исану на запад навсегда. А еще через день вагон остановился у самого синего моря — такой синевы Ли не видел никогда в жизни. И он не выдержал и, не боясь отстать, бросился в теплые воды Арала, напомнившие ему недавнее, но невозвратное время, Одессу, Лузановку, милых ему людей, которых уже больше не было среди живых.

Исана тем временем занялась делами земными и конкретными: она выторговала соленый бок какой-то огромной рыбы, и этой еды им хватило до границ Украины. Их эшелон дотащился до большой, разбитой бомбами станции Дебальцево, а оттуда пассажирский поезд за одну ночь привез их в Харьков. Привез той же дорогой, которой они без малого четыре года назад его покинули.

И вот перед ними возник в лучах теплого августовского солнца старенький дом.

— Какой маленький! — воскликнул Ли.

— Он такой же, как и был. Это ты немного подрос, — засмеялась Исана, и они переступили знакомый порог.

Книга шестая
СОЧИ–47

Это было давно, много лет назад,
В царстве волн, на краю земли.
Там, где дева жила, вы могли ее знать,—
Ее звали Аннабелл Ли.

Э. А. По

I

Последние августовские дни, пока Исана моталась по городу, пытаясь решить вопрос о жилье, Ли потратил на узнавание, а вернее, на новое знакомство с родными местами. Все было почти так, как сохранилось в его памяти, но тусклее. Ли долго не мог понять, откуда эта тусклость в яркие, нарядные, теплые, еще полностью летние дни, но потом истина ему открылась: уже не было беззаботного детства, не было Лео, с которым жизнь была устойчивой и обеспеченной, а в их двух комнатах жили чужие люди. Куда-то бесследно исчезли многие знакомые лица. Перед Ли лежал узнаваемый, но изуродованный бомбежками и боями город, в котором еще надо было научиться жить.

Пока Исану и Ли приютили добрые соседи. От них и отправился Ли в ту самую школу, куда так и не начал ходить четыре года назад. В пятом классе, куда он определился, было много новых предметов, и его попытка учиться и далее в своем прежнем стиле — не заглядывая в учебники — потерпела крах. В конце первой четверти он получил табель, в котором красовались семь двоек и одна единица. Ли понял, что шутки с образованием закончились и, ничего не говоря о своих проблемах Исане, благо, ей было не до этого, за следующие три четверти выправил занятия и закончил год в числе лучших учеников класса — с двумя тройками — по украинскому языку и чтению, коими он только начал заниматься.

И город, и среда, в которой очутились Ли и Исана, оказались им явно враждебными. Все инстанции «по закону» признавали их право получить назад жилье, откуда Лео ушел на войну и не вернулся, но никто и пальцем не шевелил, чтобы тот «закон» был

исполнен. А в некоторых инстанциях, когда не было «чужих», Исану какой-нибудь «сам» откровенно спрашивал, чего она сюда вернулась, «что вам здесь — Биробиджан, что ли?» Понятно, что через секунду «сам» подскакивал в кресле от отборного мата по его адресу и по адресу всех его близких и дальних родственников с соответствующими пожеланиями — комплексом неполноценности Исана не страдала, — но кроме морального удовлетворения эти демарши ей ничего не приносили.

Имея совесть, они с Ли переселились до решения своих дел в служебное помещение какого-то жилищного управления. Это помещение, часть пола которого была земляной, поступала в их распоряжение на ночь. У одного из довоенных знакомых Исаны оказались старые приложения к журналу «30 дней» — сочинения Джека Лондона и Мопассана, и Ли по томику их перечитал. Лондон помог ему не терять веру в лучшее будущее, уходя хотя бы в мыслях в мир нормальных людей и нормальных представлений о чести и совести, а Мопассан подробно рассказал ему, как люди понимают то, что Ли так рано удалось познать, и какую огромную роль это играет в их многообразных жизнях. Через несколько месяцев гордая, но вконец измученная Исана написала подробное письмо о всех своих мытарствах тете Манечке, а Ли видевший ее муки, по собственной инициативе решил написать о творимой по отношению к ним несправедливости «дедушке Калинину» и даже начал сочинять письмишко «всесоюзному старосте» на одном из уроков — иного письменного стола, кроме школьной парты, у Ли не было. Но проникновенные слова не шли ему на ум, и он надолго застыл над началом письма: «Дорогой дедушка Калинин…». Эту фразу заметил его сосед по парте — переросток Седой — и сказал ему:

— Выкинь свои бумажки и послушай меня: все они, запомни это навсегда, все они — говно, и этот твой «дедушка» тоже говно. Никогда и никому они не помогали и не помогут, только обосрут и сгноят в тюряге любого. Не верь им и ни о чем не проси.

Подспудно Ли и сам так думал и поэтому охотно послушался его совета. Он не знал еще тогда, что следует совету Осипа Мандельштама, предостерегавшего читателя из Будущего от «ребяческих» связей с «миром державным»… Не знал он тогда и о том, конечно, что всесоюзный «дедушка» не в силах был помочь и собственной жене, томившейся в сталинском концлагере.

Тем временем письмо Исаны подействовало, и однажды на их улице остановился джип, из которого выскочил бравый молодой порученец, нашел Исану, погрузил ее в машину и увез. Место, куда они прибыли, называлось «Военная прокуратура г. Харькова». Прокурор принял ее немедленно. На столе у него

лежало частное, написанное от руки на именном бланке письмо дядюшки Жени с просьбой «разобраться и помочь».

Прокурор выслушал Исану и, узнав все обстоятельства дела, откровенно сказал:

— Знакомый почерк: отсидев в погребах в сорок первом, они ушли в армию в сорок третьем, когда стало ясно, что «нового порядка» не будет, а теперь, вернувшись «фронтовыми героями» и «партийными», стали наводить свой «порядок» сами, уже без Гитлера. Ну, а для нас, вы понимаете, просьба Евгения Викторовича — закон.

Почему просьба нечиновного, хоть и известного человека — закон для военной прокуратуры, Исана так и не поняла. Прокурор же, вызвав секретаршу, продиктовал предписание городским властям в 24 часа решить вопрос о заселении на любую пригодную жилплощадь жены погибшего офицера — И. И. Кранц. Предписание, отданное в исполком под расписку порученцем, со скрипом, но все же выполнили — время было еще почти военное и военный прокурор оставался фигурой опасной. Мать Лидки Брондлер выселили назад в ее собственный дом, который она собиралась продать, а Исана и Ли въехали в Лидкину комнату, расположенную рядом с их довоенной квартирой, получив при этом часть веранды за их единственным окном и кладовку, принадлежавшую им прежде. Началась в буквальном и переносном смысле беспросветная жизнь.

II

Исана металась в поисках заработка. Собственно говоря, она отказалась от борьбы за свою квартиру и согласилась на комнату только потому, что новые жильцы их квартиры, занимавшиеся частным шитьем пальто («польт», как они говорили) на базар и по заказу, обещали ей твердый заработок. Но стиль работы у этих дельцов нового типа был примерно такой: они брали заказ из материала заказчика с полным докладом, вплоть до ниток, производили примерку и назначали срок. Когда заказчица — «польта» были, как правило, женскими — являлась в этот назначенный срок, ее встречали как дорогую гостью:

— Кто к нам прише-е-л! — восторженно на разные голоса кричали веселые портняжки.

Гостью усаживали за стол и наливали чарку самогона, объясняя, что «чуть не успели», и назначали новый срок. Второй приход заказчицы такого энтузиазма у портняжек не вызывал, и к ней, хрипя от перепоя, выходила одна из мастериц и сообщала,

что у них кто-то умер и потому: «Зайди, дорогая, через недельку». Ну, а «через недельку», когда заказанное «дорогою» пальто уже было продано на базаре, заказчицу встречали примерно так:

— Ты чего, блядь, сюда зачастила? Что тебе здесь — кино? Валяй отсюда, чтоб тобой тут не воняло!

Предчувствовавшая, что ее сейчас спустят с лестницы, заказчица убегала в слезах. Иногда приходила с «защитником», если такового имела. Тогда опять пили самогон, показывали «защитнику» кусок гнилой тряпки, говоря, что весь отрез был таким, и били по рукам на любой половине его стоимости. Исану, воспитанную на нэпманском благородстве, такие операции шокировали, и вскоре она отказалась иметь дело с этими «благодетелями», что, естественно, не убавило ей забот.

Ли постигал основы наук и не роптал. Лишь иногда тосковал он о Рахме, пытаясь представить ее и волшебный утренний вид Долины с нависшими над ней снегами Алая. Думал Ли и о синем-синем море, поджидавшем его на обратном пути на Запад, и посмеивался, вспоминая прощальное пророчество своей подруги о многих Дорогах и о скорой встрече с Женщиной где-то у Большой Воды. Но оказалось, что Рахма слов на ветер не бросала.

III

Тетя Манечка, «организовав» помощь Исане и Ли в получении жилья, прочно взяла заочное шефство над Ли, требуя от него вести регулярную переписку. Это было для него мучительно, но иногда он даже получал удовольствие от хорошо написанного письма. Тем более что временами его труд вознаграждался посылками с книгами и невиданными здесь конфетами. Тетя Манечка, как уже говорилось, была опытным психологом, и по письмам Ли она поняла, что его можно показать дядюшке. Она стала готовить первый его с Исаной приезд в Москву. Вскоре была намечена дата приезда — середина июня сорок седьмого года. Весь июнь дядюшка с супругой должны были провести в Праге и Братиславе, откуда был родом его отец и прадед Ли. Но на сей раз причиной поездки было избрание его почетным доктором университетами этих городов, а не поиск собственных корней.

Таким образом, весь июнь московская квартира дядюшки была малонаселенной, что позволяло Ли не спеша адаптироваться к новым для него условиям, а тете Манечке подготовить его к встрече с дядюшкой, для общения с которым ему выделялась последняя неделя их гостевого срока. Расчеты тети Манечки жизнь обычно не осмеливалась нарушать, и все

получилось так, как она планировала.

И вот Ли оказался жильцом в огромном доме, расположенном наискосок от Кремля за большим Каменным мостом. Этот дом именовался в те годы «Домом Правительства», а впоследствии в русской «советской» литературе стал с легкой руки Юрия Трифонова известен как «Дом на набережной». Лет за десять до появления там Ли жильцы этого Дома менялись несколько раз в году. Но Ли повезло: квартира, в которой Евгению Викторовичу выделили четыре комнаты из пяти, некогда принадлежала товарищу Красикову, сподвижнику «вечно живого Ильича» еще с 1890-х годов и прокурору Верховного суда в созданной им империи, умершему своей смертью, и поэтому призрак костлявой дамы в белом и с косой в руках там не бродил. Зато вместо него бродила седая вдова покойного блюстителя законов в империи беззакония. Темперамент она имела взрывчатый, а потому за глаза именовалась Фугаской. Если на какие-нибудь красные праздники небо хмурилось, она грозила Богу кулачком из форточки, чтобы тот исправил дело. И, по словам тети Манечки, Бог ей иногда уступал. Энергия в Фугаске била через край, и она неоднократно, как старая большевичка-подпольщица, пыталась вести воспитательную работу с прислугой дядюшки Жени, но та оставалась сектанткой и непробиваемой для светлых идей марксизма-ленинизма. Тем не менее, чтобы подчеркнуть свою значительность, Фугаска сообщила прислуге, что «Евгений Викторович, как человек беспартийный и потому безответственный, поселен к ней под ее политический надзор». Так это или нет, дядюшка выяснять не стал, поскольку «надзор» был терпимым.

Появление Ли в этой квартире для Фугаски тоже не осталось незамеченным. Ли даже подозревал, что у нее родилась мысль создать здесь комсомольскую ячейку, и он поспешил ей объяснить, что комсомольского возраста еще не достиг. Жизнь в Доме Правительства очень сильно отличалась от той, которую знал Ли до сих пор. Даже от довоенной, когда он еще не был причастен к домашним делам и после ванны — в жестяном корыте — отправлялся на боковую, не думая о том, куда девается грязная вода. Здесь Ли впервые после поездок в Одессу принял ванну по всем правилам. Но в отличие от старой одесской квартиры Кранцев, вода вообще и в том числе горячая подавалась здесь круглосуточно.

Необычен был и уклад жизни. Ли привык в последние годы есть тогда, когда хотелось, и если к тому же была еда. Здесь был «режим»: ели все сразу и в строго определенные часы, в столовой за большим столом, как когда-то в Одессе у Кранцев. В отсутствие

дядюшки трапезу возглавляла тетя Манечка, а блюда и посуду уносила и приносила прислуга. И садиться за стол, и вставать из-за стола требовалось «по команде». За столом Ли был посажен рядом с тетей Манечкой, поскольку она считала необходимым подготовить его к ответственной встрече с дядюшкой и тетей, хотя бы в части застольных манер. Но забот у нее оказалось немного. Несмотря на то что года три-четыре, а то и пять Ли вообще не брал в руки вилку, его цепкая память сохранила одесские уроки бабушки Лиз, и он смело взял хорошо тренированной левой рукой вилку, а правой — нож и не торопясь занялся едой. Тетя Манечка была поражена и похвалила Исану «за воспитание». Довольно быстро Ли усвоил и очередность закусок, хотя многое из того, что появлялось на столе, он никогда прежде не видел. Не менее ловко управлялся он и с невиданными напитками, вроде крюшона.

IV

Ли не тяготился внезапно опутавшей его паутиной «хороших манер». Своих планов у него тут пока не было, и он просто жил, как шла жизнь, как учила его Рахма. Свободное время он проводил, осматривая центр Москвы, иногда заходил в кино, иногда помогал прислуге приносить «паек». Изобилие в «литерных» магазинах его поразило, но зависти не вызвало, скорее печаль: перед его внутренним взором возник дряхлый старик, вырвавший из рук девочки пирожок, опухшие от голода люди возле развалин харьковского вокзала в 46-м… Сам он оказался безразличным и к тряпкам, и когда тетя Манечка отправилась с ним на машине купить ему «приличный костюм» к приезду Жени и Лели, он полностью предоставил ей выбор, тем более что уважительные приказчики, исчезнувшие потом вместе с «закрытыми магазинами», большую часть работы сделали сами.

Ли во всех ситуациях вел себя естественно, не подстраиваясь под обстановку и предпочитая отмолчаться, если возникала какая-нибудь неопределенность. Был он сдержан и в благодарностях. Тетю Манечку поначалу его сдержанность шокировала, но потом она привыкла. Никаких эмоций не вызвало у Ли и перечисление «высоких» фамилий людей, живших тогда в этом Доме: Шверник, Литвинов, дочь Сталина, брат Микояна и проч., и проч., и проч. Слова его соседа по парте выразили его собственное восприятие «правящих кругов», и с появлением в его сознании столь точной формулировки он исключил их из своего мира. Зато одна из ближайших соседок его дядюшки — Галина

Уланова — вызвала интерес Ли. В его воображении никак не укладывалось, что эта маленькая, ниже его ростом, изящная женщина и сотканная из света и воздуха летающая королева, виденная им в различных балетных сценах в киножурналах, — одно и то же создание Природы. А тетю Манечку неприятно удивило направление его интересов, говорившее об особой свойственной ему системе ценностей. В существовании такой системы она еще более уверилась, когда по возвращении из Третьяковской галереи Ли в ответ на вопрос, что ему там более всего понравилось, назвал неброскую, почти незаметную в том буйстве красок, картину Крамского «Христос в пустыне». Ей, конечно, хотелось, чтобы начинающий жизнь отпрыск их некогда большой семьи был более честолюбив и ради собственного блага был обращен лицом, а не спиной к «сильным мира сего», каким бы дерьмом на самом деле они ни были, но изменить что-либо в настроениях Ли ей не было дано. Что же касается долгожданного свидания со своими важными и требовательными родственниками, то она посчитала, что Ли к нему полностью готов. Так оно, в общем, и было.

К встрече Ли надел свой новый костюм и увидел в зеркале незнакомого и достаточно серьезного и взрослого человека. Впечатление немного портили его растоптанные туфли, и ему тут же были отданы дядюшкины, американские, пришедшиеся ему впору.

При встрече и на первом застолье Ли сознательно держался на заднем плане, изучая вновь прибывших. Его общее впечатление было положительным: дядюшка, по его терминологии и классификации, относился к *добрым*, а его жена и, следовательно, еще одна тетушка для Ли, была даже *очень* доброй. (Слова, используемые им для оценок, он сохранил детские, но содержание этих оценок было, естественно, несколько иным.) Когда первый общий обед был закончен, и первая информация о поездке стала всеобщим достоянием, начались личные представления.

О чем ему следует говорить с еще не знакомыми ему тетушкой и дядюшкой, Ли не знал и решил прибегнуть к своему уже проверенному на одной из понравившихся ему «учих» методу молчаливого знакомства, который он для себя окрестил «распахиванием глаз». Дело в том, что за время пребывания в Туркестане его продолговатые глаза, и без того прикрытые слегка нависшими подбровьями (как, кстати, и у дядюшки Жени), превратились под воздействием ослепительного солнца в узкие тюркские щелки. Покинув Долину, он и не подумал вернуть им прежний абрис: ему было трудно смотреть людям «глаза в глаза»,

поскольку злые догадывались, что он знает их мысли. Когда же он раскрыл («распахнул») свои зеленые глаза перед добрым человеком, эффект был неожиданным: добрая «учиха» замерла от напряжения и стала расспрашивать Ли о его происхождении, настойчиво выясняя, не было ли у него родственных связей с «дорогим ей человеком», которого Ли ей «страшно напоминает».

Сколько раз еще в облике Ли «узнавали» своих живых или мертвых дорогих людей грузины в Тбилиси и Сухуми, литовцы в Вильнюсе, эстонцы в Тарту и в маленьких городишках южной Эстонии, армяне в Ереване, татары в Казани… Универсальность его облика, подкрепленная добрым внушением, поворачивала к нему людей с открытой душой, и часто этот их порыв к нему был настолько сильным, что Ли смущался и старался поскорее стереть их первое впечатление, а потом и память о встрече с ним.

Здесь, в Доме Правительства, эффект был примерно таким же, если не считать того, что его дядюшка и тетушка, как люди воспитанные и потому сдержанные, скрыли от него свои первые впечатления, чтобы обсудить их без его участия. Но то, что впечатление это было сильным и положительным, Ли понял даже по их скупым словам. Когда Ли выходил из столовой, он услышал, как дядюшка сказал:

— В первый момент я увидел в его взгляде Лизу, живую и молодую…

— Ну это было бы неудивительно — ведь он ее родной внук, — отвечала тетушка. — А вот Германа ты помнишь? Я бы сказала, что это был его взгляд…

Потом они перешли на французский, и Ли, находившийся в соседней комнате, перестал различать слова. А присутствующая при этом разговоре и ранее при знакомстве их с Ли тетя Манечка насторожилась, почуяв что-то неладное: она сразу же вспомнила, как, когда они вернулись с Ли из «литерного» магазина и она, отпустив машину, задержалась у вахтерш-стукачек (чьи пронзительные взгляды с документарной точностью запечатлены в трифоновском романе), чтобы представить им Ли как своего племянника, она услышала:

— А этого мальчика мы знаем — он же из 163-й квартиры, Марии Васильевны внучек…

— Что ты, — перебила другая стукачка, — он из 168-й, я точно знаю, я ведь там была и его видела.

Тетя Манечка тогда недоуменно посмотрела на Ли, но тот стоял с отсутствующим взором, предоставив женщинам самим разбираться в своих воспоминаниях. Сейчас, почувствовав взволнованность Жени и Лели, она опять попыталась поймать взгляд Ли, чтобы понять, в чем дело… и ничего не «поймала». А

потом она просто все забыла, сохранилась лишь неясная, как-то связанная с Ли тревога, и хотя тетя Манечка неясностей не любила, на разбирательство у нее просто не оказалось времени.

При первой же встрече с дядюшкой Ли улыбнулся своим мыслям, потому что именно тогда, наконец, определил для себя сущность воздействия своего взгляда: он обладал способностью оживлять в душе *доброго* человека дорогое тому лицо и воспоминание. Ли тут же решил проверить свою гипотезу как можно быстрее. И первый случай скоро представился: дядюшка рискнул доверить ему важное поручение — передать пражский подарок своему другу и тезке — писателю Евгению Львовичу Ланну. Безотказная память Ли сработала мгновенно:

— «Е. Ланн и А. Кривцова», — сказал он, — эти фамилии я видел в сочинениях Джека Лондона. Они перевели их…

— Ну, твоих Джеков я, конечно, не читал, — сердито ответствовал дядюшка, давая Ли понять, что такое даже предположить невозможно, — а вот живых «Е. Ланна и А. Кривцову» ты скоро увидишь собственными глазами. Тут два шага до Лаврушинского — ты ведь уже был в Третьяковке и знаешь дорогу. Не вызывать же машину по такому пустяку.

Закончив свою тираду, он позвонил Ланну и предупредил его о приходе Ли. И Ли увидел невероятно худого и седого, как лунь, человека с орлиным профилем и выглядывавшее из-за его спины доброе-доброе непривычно белое круглое женское лицо. Ли явственно ощутил дыхание Добра. Для него уже был накрыт по-московски стол с большим чайником, вазами с печеньем и вареньем. Сев за стол и подождав, чтобы уселись хозяева, Ли неспешно «распахнул» глаза.

— Боже, — прошептал Евгений Львович, — Марина…

Что-то совсем неразборчивое из-за дрожавших в горле слез прошептала его жена. Ланн с видимым усилием не сразу перевел разговор на родной Харьков, где он давно не был, а потом принес из кабинета только что вышедшую свою книгу о Диккенсе и размахнулся, чтобы сделать большую дарственную надпись. И застрял на слове «Милому…», потом поставил запятую и дописал: «милому Ли от автора». Наверное, посылая Ли к Ланну, дядюшка хотел проверить с помощью друга какие-то свои впечатления, связанные с Ли. И, как покажет скорое будущее, проверку Ли выдержит с честью.

Много лет спустя, когда наше столетие уже быстро катилось к закату, Ли как-то пришлось сопровождать одну известную в московских литературных кругах даму в гости к Анастасии Цветаевой, чья однокомнатная квартирка где-то в переулках у Каланчевки была в то время одной из Мекк для поклонников

Марины. Да и у самой Анастасии поклонников было немало. Первое, что бросилось в глаза Ли, — большая фотография уже совершенно седого человека. Это был Ланн, Ланн времен их далекой встречи в давно исчезнувшем мире. Верный своим принципам, Ли не стал задавать лишних вопросов, и только когда визит был окончен, и он провожал свою даму домой пустынными заснеженными переулками, спросил ее:

— Этот седой человек на фотографии, прикрепленной к ширме, какое отношение он имел к Анастасии Ивановне?

— Вы имеете в виду Ланна? Когда-то в молодости его «открыла» для себя Марина, но сестры в те времена соперничали во всем и обе поперебывали в его любовницах, — ответила его спутница. — Дело давнее, почти всех их уже нет на белом свете, да простят они мне эту мою прямую речь! — добавила она.

А Ли вдруг явственно услышал, казалось, давно забытый шепот-вздох:

— Боже… Марина…

Эксперимент был завершен, но далеко не все возможные жизненные ситуации были в нем учтены. Став с годами менее собранным, Ли часто, погружаясь в собственные мысли, терял контроль за состоянием своих глаз, и окружавшие его случайные незнакомые люди вдруг *начинали* узнавать в нем кого-нибудь из своих близких или друзей. Однажды в кругу таких людей оказался человек, вероятно, из «своих», легко постигший суть странного воздействия зеленых глаз Ли, и он сказал ему, что все хорошо, пока Ли смотрит на добрых людей, а вдруг перед его рассеянным взором окажется воплощение Зла?

Ли понял это как предупреждение, но все же как-то не уследил за собой, а когда спохватился, то увидел устремленный на него преисполненный ненависти взгляд и скривившийся рот, выкрикивавший угрозы. С большим трудом ему удалось «стереть» невольно созданный им образ в чужом сознании и исправить свою оплошность. Через многие годы Ли узнал себя в описанном Рэем Брэдбери марсианине, который был «похож на всех», в эпизодах биографии Вольфа Мессинга, с которым его позднее свела жизнь, в некоторых сценах из «Братьев Лаутензак».

V

Но это было потом, а пока первый визит Ли в Москву проходил вполне успешно. «Пусть он бывает у нас!» — таким был приговор дядюшки Жени, высказанный тете Манечке как всеобщей распорядительнице и организатору, подтвержденный

благожелательным кивком тети Лели.

Подходил день его отъезда из Москвы. Но тут выяснилось, что еще не все связанные с ним и Исаной планы тети Манечки были реализованы. На самые последние дни был оставлен деловой разговор. Оказалось, что за несколько лет до начала войны одна дружественная тете Манечке армянская семья подбила ее начать строительство дачи на тогдашней окраине Сочи, доказав ей, что это строение окажется вскоре в пределах городской черты и «цены ему не будет», поскольку этот южный город любит сам Хозяин, и он непременно станет самым фешенебельным курортом империи.

Тогда, после того как Женя был осыпан милостями Хозяина, это предложение показалось тете Манечке хорошим вложением появившихся у них «лишних» денег. Стройка была начата. Несмотря на то что довольно дефицитные, а иногда просто недоступные частным лицам строительные материалы добывались именем дядюшки, армянская двухэтажная вилла росла в несколько раз быстрее и к злосчастному 41-му году была почти полностью закончена, а Манечкино начинание продолжало тлеть, едва выйдя под крышу. Армянские братья, почувствовав некое подобие узрызений совести, по мере освобождения шабашников на своем «объекте» усилили темпы возведения скромной дачи, записанной на дядюшку, а приступив к освоению своей фруктовой плантации размером в гектар, не меньше, заодно посадили и на примыкавшем к ней скромном участке, прирезанном к дядюшкиной даче, десяток плодовых деревьев и две виноградных лозы — «изабеллу» и «дамские пальчики». К этому моменту на дядюшкиной даче уже была даже готова к приему гостей одна комната, где в летнее время можно было переночевать, и армяне пригласили тетю Манечку как главного распорядителя дядюшкиных кредитов побывать на месте и лично ознакомиться с состоянием строительства. У гостеприимных соседей была тайная мысль — разжиться средствами на сооружение приличных подъездов к обеим дачам.

И вот ранней весной 41-го после отдыха «на водах» тетя Манечка решила побывать, наконец, в своих владениях. Как дорогому гостю, чей приезд связан с большими ожиданиями, ей отвели весь второй этаж армянской дачи, и после отдыха с дороги она решила не спеша прогуляться перед сном. Из двух дорог — длинной, но пологой, и короткой, но крутой — тетя Манечка, верная своим принципам, выбрала крутую, тем более что спускаться — не подниматься и, вспоминая свои молодые похождения в стиле «кантри» в Швейцарии и Северной Италии, отправилась в путь. Короткая дорога представляла собой узкую

лестницу со ступенями разной высоты, поскольку выложена она была разными камнями, установленными прямо в глину.

Пользование такой лестницей, особенно после дождя, предполагало в путнике внимание и ловкость. И с тем, и с другим у тети Манечки оказалось плохо: от конкретных реалий ее внимание отвлек густой и влажный воздух, наполненный запахами незнакомых цветов, напоминавший ей былые экзотические странствия, а ловкости препятствовали ее сто двадцать килограммов веса при относительно небольшом росте. Все эти объективные факторы привели к тому, что на лестнице она поскользнулась и, не удержавшись на ступени, села задницей прямо в свежую коровью лепешку. Тетя Манечка тут же возвратилась на виллу, выбросила загаженное вечернее платье, сложила вещи и переехала в гостиницу в центре города, куда она предусмотрительно, на всякий случай, попросила направить «высокую заявку».

После этого, естественно, строительство дачи замедлилось, а с началом войны, когда всех шабашников выловили, чтобы отправить на фронт или расстрелять, и вовсе прекратилось. И вот теперь стоял вопрос о том, чтобы избавиться от этого ненужного и незаконченного строения. В этом, по замыслу тети Манечки, должна была помочь Исана, считавшаяся со времен нэпа в кругах мало знавших ее родственников мужа женщиной деловой и решительной.

Несмотря на то что у Исаны не было никакого опыта по операциям с недвижимостью и вообще никогда не было никакой недвижимости, она ради сохранения добрых отношений и в надежде на дальнейшую помощь ей и Ли была вынуждена согласиться на предложение съездить в Сочи и продать недостроенную дачу. Кроме того, в данном случае речь шла об одном-двух месяцах жизни, свободной от забот о хлебе насущном, поскольку финансирование этого предприятия полностью взяла на себя тетя Манечка.

VI

Ввиду того, что еще не были готовы все бумаги и доверенность, выезд назначили на август. И вот в начале августа к ним прибыл телеграфный перевод на шесть тысяч рублей — на билеты «туда» и примерно на месячное их содержание. В текстовке к переводу было сказано, что пакет с документами направлен по адресу «Сочи, главпочтамт, до востребования». И они стали собираться в дорогу. Этот штрих показывает, во-

первых, насколько глубоким было доверие людей к почте, и, во-вторых, что в нищей полуразрушенной стране почта это доверие оправдывала настолько, что ни у кого и сомнений не возникало в том, что два человека, отправившиеся более чем за тысячу километров, непременно получат посланные им документы, без которых им там и делать было нечего.

Несколько дней ушло на битву за билеты. Несколько дней Исана и Ли прощались с соседями и приходили на вокзал с вещами, а потом, когда все нужные им «проходящие» поезда отправлялись без них, возвращались домой. Наконец, кто-то посоветовал им поехать хотя бы в Ростов, откуда до Сочи «рукой подать» и поездов «туда» больше. Время уходило здесь без пользы, и они решились последовать совету.

Ростов появился утром после душной ночи в переполненном вагоне. Там они застали такие же длинные очереди к кассам, отметились в двух из них и, узнав, что билеты на юг будут «давать» после полудня, отправились в город. Правда, местность, по которой они шли, трудно было назвать городом — везде были развалины и груды невывезенного кирпичного хлама, а между такими завалами проложены «улицы». Они свернули с главной улицы к Дону и вышли к базару — единственному месту на их пути, где кипела настоящая жизнь. Огромные кроваво-красные августовские помидоры соседствовали там с дарами еще не опустошенного социализмом и «плановым» хозяйством Приазовья — таранкой, прозрачными, истекающими жиром рыбцами, огромными чебаками (лещами), напоминавшими «в развороте» гигантских невиданных бабочек. Все это плясало перед глазами: продавцы встряхивали своими связками вяленой рыбы, показывая товар. Даже предлагалось сквозь рыбцов посмотреть на Солнце, ослепительное сияние которого заставляло их светиться янтарем, а чебаков, раскрыв их, как книги, предлагали понюхать, суя их под нос покупателю и бдительно следя за выражением лица нюхающего. Покупатель в таком случае обычно строил одному ему понятную рожу, что, вероятно, должно было свидетельствовать о наличии у него своего и не очень высокого мнения по поводу качества «товара», и начинался торг.

Ли был безразличен к рыбе, а Исана отдала предпочтение вяленому судаку, и они, прихватив помидоры, перешли на другой берег Дона, где перекусили и искупались в реке, смыв ночной пот и железнодорожную грязь. Жизнь становилась веселее, чем недавние бдения на харьковском вокзале, и появилось предчувствие удачи.

Действительно, у касс выяснилось, что местное железнодорожное начальство решило разгрузить привокзальные

развалины и организовало дополнительный поезд по маршруту Ростов—Адлер, посчитав, что как минимум сотня воров и бандитов покинут с этой оказией многострадальный «город-отец» Ростов. Несмотря на то что билетов и мест должно было хватить всем желающим, кассы, а затем вагоны брались приступом. Когда ажиотаж прошел, Исана и Ли спокойно вошли в свой вагон, где им и досталось по полке в полное владение. «Транспортная задача» была ими решена.

Поезд перешел Дон и углубился в бескрайние и совершенно плоские степи. Пейзаж был однообразен, и Ли погрузился в воспоминания о своем недавнем прошлом. Когда, двигаясь в глубь времени, он дошел до пророчества Рахмы о «многих дорогах», сон сморил его, и Ли заснул под мерный перестук колес.

Когда он на рассвете открыл глаза, степей не было и в помине. За окном возникла совершенно другая страна. Поезд шел по ущелью вдоль мелкой речки, повторяя все ее изгибы. Ее шум на перекатах временами даже перекрывал стук колес, а когда дорогу поезду перегораживали скалы, состав углублялся в тоннель. Потом долина реки стала шириться, и появилось море — синее на горизонте, зеленое, как глаза Ли, вблизи, с ослепительно белой пеной неторопливого прибоя в лучах Солнца.

VII

К вечеру того же дня Исана и Ли по туманным ориентирам тети Манечки отыскали ее недостроенную дачу, поскольку указанный ею основной признак — «над тоннелем» — не облегчал поисков: в пределах города было три тоннеля. Они дали знать о своем прибытии предупрежденным тетей Манечкой армянским соседям и расположились в единственном пригодном для жилья закрытом помещении с застекленной дверью на крыльцо и еще двумя дверями в зияющие пустыми окнами комнаты. Ли решил отложить все прочие осмотры и знакомства на завтра и улегся спать, ибо электричества на этой даче еще не было, а свечи они с Исаной с собой не взяли.

Ночью он проснулся от близкого детского плача. Потом к плачу первого присоединился второй ребенок, потом третий, и вот уже целый хор плачущих детей нарушил ночную тишину. Причем, дети были где-то совсем рядом с дачей. Ли сначала был в полном недоумении, а потом вдруг понял — это же шакалы! И тогда от этих уже таких знакомых рыданий у него возникло ощущение, что где-то совсем рядом и Восток, главное — Рахма,

чей дом был на краю села, недалеко от кладбища. Когда они допоздна задерживались в межевой посадке, в тутовнике, шакалы, осмелев от темноты, затевали свой концерт совсем близко от них. С мыслью о близости Рахмы Ли заснул снова, уже не обращая внимания на звуки ночного густого южного леса, вплотную подступавшего к небольшим садам.

Утром Исана и Ли рассмотрели знакомых тети Манечки поподробнее. Старшей по команде была там свирепая крупная старуха — мать русской жены хозяина виллы — военного врача в чине подполковника. С нею жила ее вторая дочь — женщина худая и нервная — с дочерью лет тринадцати. Отцом девочки был эстонец, сбежавший от них еще до войны, а после войны следы его и вовсе потерялись. Четвертым обитателем виллы был какой-то армянский родственник — мужчина пожилой, по тогдашним представлениям Ли, спокойный и мудрый, не вникавший в бабьи распри и довольный тем, что у него были дом, стол, теплое небо и свободная, еще не старая женщина. Этого Ли сразу занес в графу «добрый» и всегда был рад встрече и разговору с ним. Тот поначалу несколько неверно истолковал расположение к нему Ли и попытался разнообразить свой чувственный рацион невесть откуда свалившимся сдержанным мальчиком, живо представив себе, как расцветут его зеленые глаза под запретными мужскими ласками. Уловив момент, когда они остались одни в зарослях орешника, тот запустил лапу в трусы Ли и начал его нежно массировать. Ли не стал дергаться, как напуганный сопляк, и, дав ему с минуту подержаться, чтобы тот убедился, что его ласки безразличны, глядя в глаза, с улыбкой, но настойчиво вытащил его руку и нарочито грубо сказал, подчеркивая свое обращение к нему на «ты»:

— Тебе что, некуда сунуть? По-моему, здесь нет никаких проблем по этой части!

Тот сразу понял, что не на того нарвался, и со смехом ответил:

— Извини, дорогой! Я думал, ты — котенок, а ты — опытный кот. За мою ошибку мы выпьем, а тебе совет в благодарность за урок: на девчонку не рассчитывай. Мильва еще «закрыта», но играть будет с удовольствием. Я, как понимаешь, к ее играм непричастен: жить в доме и здесь же гадить нельзя. У нее здесь свой «штат», но если на тебя клюнет как на новенького, то сама придет. А если понадобится что-нибудь посерьезнее — найдешь на пляже.

Потом он затащил Ли на веранду виллы, чтобы «закрепить дружбу» его особым «личным» вином. Выпивая, нужно было поцеловаться в губы «по кавказскому обычаю», как пояснил Ли

его собутыльник, и Ли готов был поклясться, что полученный им поцелуй был далеко не братским, но иных поползновений больше никогда не было, и они остались добрыми друзьями, причем Ли сохранил обращение на «ты».

Сам хозяин «большой» дачи был с супругой еще в Москве, их прибытие ожидалось со дня на день, и все население виллы готовилось к этому торжественному моменту, как к официальному празднику — мели дорожки, подстригали газоны, обновляли краску на ограде; шли какие-то работы в доме. Трудились все, даже Мильва, хотя в ее ленивых движениях уже чувствовались иные желания.

На следующее утро Ли и Исана отправились в город по делам. Оказалось, что если идти через Дендрарий, то минут за пятнадцать-двадцать можно было попасть на проспект Сталина. Так что по нынешним сочинским меркам дача располагалась совсем недалеко от центра города, и вряд ли к ней по сей день приходят поплакать шакалы.

VIII

Сочи 1947 года!

До того, как туда попасть, Ли не поверил бы самому авторитетному рассказу о том, что в той истерзанной войною стране может существовать такое место, рай на Земле. Праздник начинался у самого вокзала. Площадь, на которой располагался этот светлый радостный вокзал-дворец, была окружена лавочками, продающими всевозможную снедь и питье. На фоне вечной зелени, нависавшей над лавками и киосками, вино «Изабелла» в лучах южного солнца играло всеми оттенками розового цвета. Фрукты, грецкие орехи, очищенные и в скорлупе, фундук, восточные сладости, чебуреки и разнообразная выпечка — от этого изобилия рябило в глазах, как-то не совмещалось все это с еще действовавшей повсеместно карточной системой, при которой большая часть карточек оставалась неотоваренной. В столовых кормили так добротно, что вести какое-либо хозяйство на отдыхе не имело смысла. Вообще, весь этот город был чем-то вроде большого «литерного» магазина.

Первый «рабочий» день у Ли и Исаны был насыщенным: нужно было забрать на почте пакет с доверенностью, дать объявление в городское рекламное бюро и зайти в нотариальную контору, чтобы узнать, какой набор документов необходим для продажи дачи. Дача была оформлена на дядюшку, и, поскольку к его имени, широко известному еще в конце тридцатых благодаря

нескольким блестяще написанным и переведенным на многие языки империи и всего мира историческим книгам, добавились во время войны еще и журналистская слава и слухи о его особых отношениях с Хозяином, эту дачу в ее окрестностях и стар и млад называл «дача Т.» Так и было указано в объявлении, данном Исаной.

Этому обстоятельству Исана и Ли оказались обязанными знакомством с представителями самой многочисленной группы «диких», или «неорганизованных» отдыхающих в Сочи 47 года. Это были люди, не только ничего не потерявшие в войну, но и сколотившие на ней себе некоторый капиталец на «черный день». В те времена человек с неправедными (с точки зрения тогдашнего государства, естественно) доходами еще не мог так гордо и бесстрашно демонстрировать свое богатство в тех местах, где грешил, как теперь, — покупая автомобили и виллы за астрономические суммы или строя себе многоэтажные дачи. Тогда еще требовалось соблюдение приличий, и любой неосторожный шаг мог закончиться продолжительной изоляцией от обираемого этими орлами общества. Главным же требованием их «кодекса приличий» было: не высовываться. Одеваться попроще, ходить пешком, вести и поддерживать разговоры о трудностях жизни, обязательно заканчивая их оптимистическими фразами о надеждах и даже с уверенностью в скором наступлении светлого будущего, поедать деликатесы тайком в кругу семьи, хранить наличность и драгоценности дома в тайниках, прятаться иногда и от собственных детей — таковы были нормы поведения «тихих» магнатов того времени.

И только раз в году, во время отпуска, они разгибали спины и поднимали головы, как правило, здесь, в Сочи, сняв апартаменты в центре города — в том обширном, почти исчезнувшем теперь Шанхае, простиравшемся от вокзала до проспекта Сталина и порта, или вблизи гостиницы «Приморская». Они потихоньку резвились на своих пляжных «пикниках», реже в ресторанах, набитых стукачами, совершали поездки на «линейках» в Сухуми и на озеро Рица, морские прогулки на старых теплоходиках с буфетами, уважительно поглядывая с их бортов туда, где в густой зелени пряталась летняя резиденция человека, держащего их в таком страхе.

Уезжая, они пригоршнями бросали в море монеты, чтобы вернуться: для них в этом поверье был особый смысл — нужно было не только дожить до следующего лета, не просто иметь материальную возможность приехать — нужно было целый год хитрить и комбинировать и не оказаться за решеткой, а все остальное можно было купить.

В отличие от нынешних, магнаты сороковых годов были людьми образованными, ибо могучих инструментов массовой культуры — «мага», «ящика», видео — еще не было, и магнат тогда еще читал, старательно собирая изысканную библиотеку не ради корешков, а думая о детях, коих хотел видеть не продолжателями своего дела, а солидными специалистами, главным образом, инженерами, как это ни анекдотично звучит. Он мечтал лишь о том, чтобы его скромные накопления обеспечили его детям безбедную жизнь и облегчили бы им первые шаги на их честном гражданском поприще, чтобы у них всегда все необходимое было под рукой — и добротная неброская одежда, и хорошие книги.

И неудивительно, что внимание таких людей привлекло скромное объявление о продаже в окрестностях Сочи «дачи Т.», принадлежавшей интеллектуалу с мировой славой, чьи книги стояли у них на полках и чьи статьи они в эти же дни читали в центральных газетах и журналах. Дачу такого знаменитого, пользующегося благосклонным влиянием властей человека они представляли себе всю в колоннадах и балюстрадах, с бассейном, павлинами и лебедями. К такой даче — покупать ее они, конечно, не собирались — им было бы приятно приценицься, прикинуть свои возможности, чтобы потом в самом тишайшем и интимнейшем кругу небрежно обронить:

— Да, в прошлом месяце, в Сочи, смотрел дачу Т. В общем, конечно, не фонтан, но можно было бы взять. Просили…

И все очень доверенные слушатели, зная, что ни тому, кто об этом говорил, ни им самим ничего нельзя «было бы взять», согласно кивали головами, что, мол, действительно, дело обычное, можно было бы взять, потому что всем им любая дача по любой цене была бы по карману, но увы, не по плечу.

Реальный же вид «дачи Т.» глубоко их разочаровывал. Это был не только «не фонтан», это было нечто не достойное ни внимания, ни поминания. Но магнат сороковых годов, в отличие от нынешних, был человеком вежливым и после непродолжительной беседы ретировался с многословными извинениями. Очевидно, среди отдыхающих магнатов существовало что-то вроде бюро по обмену информацией, потому что через несколько дней поток «дурных покупателей», как их определила Исана, вдруг сразу прекратился, и наступили скучные дни, когда Исане стало казаться, что дело их очень долгое, если не безнадежное.

Однако долго унывать Исана не умела и, вменив Ли в обязанность быть на даче в часы, указанные в объявлении для осмотра, сама продолжила подготовку всяких владельческих и

купчих документов, посчитав, что в любом случае эти хлопоты будут не напрасными. В их жизни установился определенный режим. Рано утром «по холодку», сварив что-нибудь на завтрак, Исана уходила «по инстанциям». Как только она исчезала, в комнате возникала белесая голубоглазая Мильва. Ли притворялся спящим и следил за нею сквозь ресницы. Мильва подкрадывалась поближе, а Ли, улучив момент, молча хватал ее в охапку и затягивал в постель. Помня советы своего старшего армянского друга, давшие ему возможность свести к минимуму период знакомства и узнавания, он через некоторое время ослаблял хватку, но Мильва, обретя свободу, переставала визжать и не спешила выбраться из-под покрывала. Тогда Ли начинал медленно продвигать руки к интересовавшим его местам на теле Мильвы, а та судорожно закрывай их своими руками. Ли прекращал свое продвижение и клал ее руку на себя. Пока он переносил ее руку, Мильва изо всех сил старалась ее вырвать, но как только ее ладонь через ткань ощущала его плоть, ее освобожденная рука оставалась там, где ее «забывал» Ли, а через некоторое время он потихоньку спускал свои трусы, и Мильва укладывалась своей головой ему на грудь так, чтобы видеть, как ее руки играют с его плотью. После этого на то, что в это же время делали руки Ли, она уже не обращала никакого внимания. И так продолжалось изо дня в день.

К калитке в ограде дачи была приделана колотушка, и если она извещала о чьем-нибудь прибытии, они быстро натягивали трусы (Ли при этом всегда вспоминал аналогичный переполох в их с Тиной сарае лет десять назад), Мильва оправляла свой примитивный сарафанчик, и эта красивая в своей юности и непохожести друг на друга пара, скромно потупив взоры, встречала гостя.

IX

Отбыв дежурство, скрашиваемое играми с Мильвой, Ли с чувством исполненного долга отправлялся на пляж. Чтобы общение с водой — его любимой стихией — было ближе, он шел не на дальние «культурные» лежбища и не пытался просочиться на закрытые «медицинские» пляжи, а отправлялся на «дикий» пляж, именовавшийся «пляжем Светланы» и представлявший собой последний небольшой участок дикого берега, еще сохранявшийся почти в центре курорта, последний непокрытый бетоном «променад» будущей набережной. Естественно, никаких волнорезов и волноловов тогда еще там не было, а был крутой, но

невысокий обрыв и узкая полоска гальки вдоль моря.

На этом месте располагалось обычно две-три компании «деловых» людей с дамами, образовавшие своего рода клуб и предпочитавшие проводить свой досуг вдали от стукачей, коими в изобилии снабжались платные пляжи. Тут же купалось и несколько мальчишек.

Ли скромно присаживался в сторонке и, поплавав в море и высохнув на горячей гальке, сразу же одевался. По своей туркестанской привычке он никогда не загорал, чем и обратил на себя внимание располагавшейся по соседству компании. В свой третий или четвертый приход на этот пляж он стал ловить на себе взгляды одной из принадлежавших к ней молодых женщин. Рассмотрев ее более внимательно, Ли решил, что может приоткрыть для нее свои глаза, и это не осталось незамеченным: Ли увидел, как вдруг застыл ее взгляд, натолкнувшись на его глубокую зелень, сверкнувшую в солнечных лучах.

Вскоре, однако, одиночество Ли было нарушено назойливым мальчишкой его возраста, принявшим его молчаливость за внимание к своим рассказам. Мальчишка болтал без умолку с каким-то невероятным акцентом и еще картавя при этом. Через час Ли знал о нем все: парень оказался из семьи польских евреев-коммунистов, зачем-то оставленных, во-первых, живыми, а во-вторых, в империи. У папы была одна путевка, вопрос с мамой он решил на месте, а Болеслава начальство санатория имени Фабрициуса категорически принять отказалось, и его поселили у поварихи «на квартире». Он, не в пример Ли, был подкован в вопросах политики и истории, но его знания основывались на подслушанном, а не на прочитанном, и в голове его поэтому царила страшная путаница. Поняв это, Ли слушал его вполуха, но один из его рассказов — о канонизированном вожде Ильиче — привлек тогда его внимание и поэтому запомнился.

Объясняя, почему его семья окружена вниманием «советского государства», Болеслав сообщил, что у его деда в Польше некоторое время нелегально жил Ленин. С пребыванием вождя мирового пролетариата в патриархальной еврейской семье было связано следующее происшествие: однажды в дом по совершенно пустячному поводу нагрянули жандармы. Не найдя того, кого искали, но увидев новое незнакомое лицо, они поинтересовались: кто это? Дед мальчишки якобы сразу же ответил, что это его двоюродный брат приехал на два дня из Лодзи. В доказательство этого экспромта они оба, и дед, и Ильич, заговорили друг с другом на идиш.

— Ильич ведь знал идиш и свободно говорил на нем, — закончил потомок польских революционеров.

— Откуда он знал? — спросил Ли.

— Ну как же! Дед Ильича был евреем! — уверенно ответил мальчишка.

— Если даже это так, то никому не рассказывай об этом, — посоветовал ему Ли.

Ли так много слышал о «добром русском лице» Ильича, об его «истинно русской душе» и проч., и проч., что тогда посчитал этот рассказ вздором. Но один вывод он для себя сразу же сделал: рядом с историей книжной есть другая история, которую по тем или иным соображениям прячут, и он дал себе слово ею заняться. Не забыл он и рассказ Болеслава и при первой же возможности задал вопрос о еврейских корнях Ильича дядюшке. Тот сказал, что его лично эта проблема никогда не занимала и не занимает, но от своей приятельницы Мариэтты Шагинян он уже слышал нечто подобное, и что это вполне возможно, ибо любой выкрест переставал быть евреем, а таким выкрестом мог быть и дедушка Бланк, а поскольку Гитлера и еще кой-кого тогда еще не было, то в генеалогии никто не копался.

— О Ленине спроси у Мани, — закончил свои размышления дядюшка.

Тетя Манечка, которой случилось как-то пообщаться с Ильичом в Женеве, сказала, что еврейства в нем не было ни на грош. Но много лет спустя Ли встретил человека, которого маленьким местечковым мальчиком вывез из оставленного белым Екатеринослава Дмитрий Ульянов. В Москве этот младший Ильич сдал его на попечение сестре Марии. Когда мальчика впервые к ней привели, у Марии был Ленин. Увидев маленького местечкового еврейчика, он спросил, как его зовут и, услышав в его ответе: «Ена Шва-арц» местечковые интонации, умело передразнил его акцент и перешел на идиш. Конечно, там, у теплого моря, Ли и представить себе не мог, что когда-нибудь он получит подтверждение рассказа Болеслава, этого нескладного мальчишки, вызывавшего в нем симпатию и печаль, когда он думал о том, что ждет этого юного болтуна с большим гонором и ненужными познаниями в нашей империи, опасной для говорящих, помнящих и думающих людей.

X

В один из своих приходов на пляж Ли застал там слабый шторм. Это его не испугало: он привык к бурным холодным потокам во время таяния алайских снегов в разгар жаркого лета. Здесь же в бурю вода даже казалась теплее, чем обычно. Легко

преодолев полосу прибоя, он стал плавать там, где волны шли с большим интервалом и было спокойнее, и вдруг увидел, как в прибой бросилась его молчаливая знакомая. Вскоре они уже плавали рядом. Тут же состоялся их первый краткий разговор:

— Ты хорошо плаваешь? — спросила она.

— Не очень, — ответил он, — но мне приходилось купаться и в водоворотах, и под водопадами.

— Спасешь меня, если я буду тонуть?

— Попытаюсь.

Ли подплыл совсем близко к ней и, загребая правой, положил левую руку ей на плечо. В это время к ним подкатывалась большая волна с грозными гребешками.

— Нырнем под нее? — предложил Ли.

— Давай!

И держа друг друга за руки, они ушли под воду, а там Ли обнял ее одной рукой, а второй быстро сдвинул купальник, прильнул к ее груди и несколькими поцелуями добрался до маленького соска. Тут он почувствовал, что его подруга обмякла и повисла в его руках. Воздуха стало не хватать, и он, кое-как прикрыв ее грудь, вытолкнул женщину на поверхность и вынырнул сам. Его поразила мертвенная бледность ее лица. Он поддерживал ее за плечи, работая ногами и одной рукой. Отдышавшись и чуть порозовев, она и сама стала медленно двигаться. Потом тихо спросила:

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — ответил Ли и, подумав, добавил: — Скоро.

— Не думала, что ты такой маленький!

— Конечно, маленький, еще сисю хочу…

— По-моему, не еще, а уже, — сказала она со смехом.

Выйдя из моря, они некоторое время посидели рядом, и она расспросила Ли, откуда он и как сюда попал, и где остановился.

XI

На следующий день Исана, как всегда, ушла рано, тем более что ей нужно было сходить в ближнее село, расположенное в глубине соседней долины, чтобы получить какую-то справку в «сельсовете». Мильва ушла с матерью на базар, и Ли спокойно нежился после сна, читая в постели повести Вольтера — книжку, забытую здесь тетей Манечкой при ее бегстве после прямого попадания в коровье говно. Особого интереса это чтение для Ли не представляло, но угловато-примитивная похабщина старого

болтуна и язвы иногда вызывала у него приступы смеха. Она была бессильна перед истиной, им же, Вольтером, вложенной в уста Панглосса: все к лучшему в этом лучшем из миров.

Вдруг он услышал стук колотушки на калитке, подхватился с кровати и, выскочив на крыльцо, чуть не сбил с ног свою пляжную подругу.

— Тетя-а, — изумленно протянул Ли, ожидавший увидеть очередного покупателя, — а вы что здесь делаете?

Ли даже в голову не могло прийти, что наступил один из самых торжественных моментов в его биографии, когда первая в его жизни молодая взрослая женщина пришла к нему на свидание, которого он ей не назначал.

— Какая я тебе тетя! — ответила она. — Я пришла посмотреть, как ты живешь. Меня зовут Алена…

— А меня — Ли.

— Странное имя! Ты что, китаец?

— Нет. Я — араб, — ответил Ли. Арабы в связи с палестинскими событиями были тогда на слуху.

Они стояли на крыльце, глядя друг другу в глаза. Солнце было у Алены за спиной, и ее светлые волосы золотым ореолом окаймляли лицо. Ее губы дрожали в полуулыбке. Ли молча отступил в сторону, давая ей пройти, зашел следом за ней и молча обнял ее сзади. Алена, не оборачиваясь, положила ему голову на плечо. Губы их оказались рядом, и Ли поцеловал уголок ее рта, а потом стал медленно расстегивать пуговицы на блузке. Когда все было расстегнуто, и его руки стали ласкать ее грудь, она повернулась к нему лицом и крепко его обняла, а когда он потянул ее блузку, сама освободила руки и осталась голой до пояса. Тогда он занялся крючками на юбке и, освободив их, попытался снять ее через бедра.

— Через голову, дурачок, — смеясь, сказала Алена.

— Смешно дураку, — сказал Ли и, одним резким движением сняв с нее юбку, подтолкнул к кровати.

Она взбила подушку, поправила покрывало и спокойно легла. Ли постоял над ней, думая о том, что он при всем его опыте даже представить себе не мог, как прекрасна лежащая и ждущая женщина, а потом скромно лег рядом. Смуглое от загара тело Алены источало едва слышный аромат каких-то приятных духов, и этот запах, и ее шелковая темная кожа так остро напомнили ему Рахму, что он едва слышно застонал, закрыл глаза и обнял Алену, ощутив своим телом приятный холодок ее обнаженной груди. Потом он стал делать с Аленой все то, чему его учила Рахма, но тут уж никаких ограничений не существовало. Наоборот, Алена, казалось, готова была принять в себя Ли всего

без остатка, и ее ноги не были помехой для Ли, как когда-то ноги Рахмы. Временами ноги Алены куда-то исчезали вовсе, вдруг появляясь у Ли за спиной или на плечах.

Как только их поглотила страсть, на дворе хлынул сильный, ровный дождь, закрыв сплошной пеленой распахнутые двери и пустые окна их убежища. Вскоре в их жарких схватках Ли уверенно захватил лидерство и инициативу. В его руках Алена растеряла остатки своей воли и послушно и раскованно выполняла все его прихоти, а в ее голубых глазах не исчезало удивление: она явно не могла понять, что с ней происходит.

Время от времени Ли вытаскивал ее под дождь, и они, обнявшись, нагие, прямо на крыльце принимали прохладный душ, а затем, мокрые, снова бросались друг к другу. И когда их силы иссякли, они остались лежать рядом.

— «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня…» — сказал Ли.

— Что это ты сочиняешь?

— Это не я говорю. Это Библия: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее…»

— Библия — святая книга. Неужели в ней записано и то, чем мы с тобой занимаемся?

— В Ней все записано. Потому-то Она и святая!

— А ты откуда знаешь?

— Читал.

— Ты куришь?

— Не люблю. Но план сейчас бы принял. Одну-две затяжки.

— Что это — план?

— Анаша. Гашиш.

— Гашиш курил граф Монте-Кристо, я читала. А как и где мог курить ты?

— Пришлось, — сказал Ли и закрыл глаза для воспоминаний.

— А почему здесь пахнет табаком?

— Мать курит.

Алена перегнулась через него и вытащила из кармана юбки пачку американских сигарет и картонные спички. Предложила Ли. Тот взял сигарету, размял в пальцах. Алена протянула ему спички. Он понял, что должен делать: зажег спичку и, дав ей прикурить, закурил сам. Алена внимательно следила за ним, ожидая, что крепкий виргинский табак вызовет у него приступ кашля. Но по сравнению с самосадом Керима «Филип Моррис» был мягким и бархатным.

— Ты все умеешь, — разочарованно сказала Алена, — наверное, тебе больше четырнадцати?

— Мне еще нет четырнадцати. А тебе сколько лет?

— Двадцать шесть.

— Старенькая!

— Ну, такой комплимент я слышу впервые в жизни! — засмеялась Алена.

Алена встала с кровати и остановилась на пороге в дверном проеме. Ли не сразу понял, что он, тоже впервые в жизни, любуется не голым подростком, а обнаженной молодой женщиной. В ее теле не было ничего лишнего и не было худобы. Природа распределила отпущенный ей материал так рационально и так красиво, что Ли не мог оторвать от нее взгляд. Он выбросил недокуренную сигарету в ближайшее незастекленное окно, подошел к Алене и вернул ее на кровать. Она покорно легла на спину, а он стал над ней на колени между ее ногами. Когда она, закрыв глаза, подставилась ему, он застыл в нерешительности, но пустить в ход свой язык не сумел, это принадлежало Рахме. Или Той, кого он полюбит так же сильно, как Рахму. И стал нежно ласкать ее пальцами, раздвигая губы и поглаживая клитор.

Алена потянула его на себя, но он уклонился и лег рядом. Тогда уже Алена поднялась над ним, и грива ее волос закрыла низ его живота. Ли почувствовал, что обретает силу, но Алене, видно, его крепость показалась недостаточной, и ее рука скользнула у Ли между ягодиц, а нежный пальчики коснулся его дырочки и даже слегка погрузился в нее.

— Эй, что ты делаешь? — воскликнул от неожиданности Ли.

— Наконец и я тебя чем-то удивила, — сказала Алена, не поднимая лица. — Не бойся: все будет как надо!

И ее язычок и пальчик снова заработали, а Ли понял, что действительно бояться нечего.

Когда Алена от него оторвалась, ему показалась, что у него приделан чужой — таким большим он никогда его у себя не видел. Но вскоре он полностью исчез в Алене, севшей на него. Всего лишь несколько движений понадобилось ей, чтобы все было кончено, но Ли не отпустил ее, поднялся к ней, они обнялись, положив головы на плечи друг друга, а Ли переплел их пальцы, как его учила Рахма. В этом сплетении и застало их Солнце, возвестившее о том, что дождь прошел.

Алена заторопилась, и Ли повел ее короткой дорогой через Дендрарий. Она выглядела измученной и часто останавливалась перевести дух, пока они шли в гору. Ли вывел ее на проспект Сталина, и, пока они ждали автобус, Алена ему сказала:

— Я очень колебалась, идти к тебе или нет. Думала: нельзя развращать малолетку. А теперь не знаю, кто из нас кого развратил. Никогда не могла даже представить себе, что такие, как ты, бывают на свете.

— Не бывают, — заверил ее Ли. — Я один такой.

— Может быть… Во всяком случае, сколько буду жить — тебя не забуду!

— Я тебя тоже…

— Завтра — на пляже, — сказала Алена на прощанье.

На обратном пути Ли казалось, что он летит над землей — настолько легким и невесомым был его шаг, земное притяжение не ощущалось, и небо было совсем близко. Он с трудом удержал себя от попытки перелететь небольшой овраг. Но поглощенная делами Исана никаких перемен в сыне не заметила.

XII

На следующий день она потребовала, чтобы Ли сопровождал ее в Адлер, где нужно было что-то оформить сразу в двух районных конторах — везде были очереди, а Исана хотела справиться за один приезд. В результате на пляж Ли попал только через день.

Там обычные компании занимали обычные места, но Алены не было. Ли, преодолев свойственное ему нежелание общаться с незнакомыми и малознакомыми людьми, подошел к той, где прежде он всегда видел свою «старушку», и спросил:

— А где Алена?

— Какая Алена? — скорчив паскудную рожу, спросил его человек, именовавшийся Марком, которого Ли по прежним наблюдениям давно отнес ко всеобщим шутам.

— Не дурачься, Марк, — остановила его красивая черноволосая и черноглазая женщина лет тридцати пяти. — Не видишь: мальчик страдает!

В компании началось общее обсуждение возникшей интересной проблемы, да так, будто Ли здесь и не было, а он при этом скромно молчал.

— Неужели эта дура переспала с ребенком? — спросил солидный мужик.

— Почему «дура» и почему «ребенок»? — возразила ему черноглазая. — Посмотри на него: у него все на месте. Взгляни на его нежные руки. Неужели ты думаешь, что найдется в мире женщина, которая просто «за так» предпочтет, чтобы по ее телу вместо этих рук шарили твои грабли? У Алены было здесь три свободных дня, и она их использовала, как хотела!

Своими мыслями поделились еще несколько человек, а когда тема была исчерпана, черноглазая подозвала Ли к себе и тихо сказала:

— Нет твоей Алены! Сегодня рано утром уехала, а вчера глаза проглядела, тебя ожидая!

— Я не мог… Откуда она?

— Из Москвы. Адреса никому не оставила. Понравилось тебе с ней?

Ли опустил глаза.

— Забудь ее. Твои с ней годы будут разлетаться в разные стороны со страшной силой: через десять лет ты только станешь молодым, а она уже будет… вроде меня. Вот со мной ты бы лег?

— Может быть… Но это решаю не я, — Ли не принял шутки.

Но он и не мог назвать этой тронувшей его душу незнакомой женщине Хранителей своей Судьбы. Вместо этого он открыл на миг ее глазам свою бездонную изумрудную зелень, и черноглазая словно споткнулась в беге и, побледнев, попросила:

— Поцелуй меня!

Ли потянулся к ней, и она при всех, никого не стесняясь, прижалась губами к его губам, а его руку положила себе на грудь. И его рука, помнившая еще упругость и маленькие соски Алены, лучше многих мудрых книг рассказала ему раз и навсегда о том, что безжалостное время делает с женщиной! И он здесь — под еще щедрым южным Солнцем, отмеряющим Время людей, на берегу бескрайней лазури по имени Море, держа в руках охваченную томлением красавицу под завистливыми взглядами самоуверенных могущественных мужчин, владевших ее телом, но сейчас остро почувствовавших, что мистическая власть этого мальчишки над той, кого они считали своей собственностью, значительно выше их грязной, земной власти, — он понял до конца слова Рахмы:

— Никогда не возвращайся назад к тому, что уже прошло. Помни: там уже все другое!

И всякий раз, когда он спустя годы пытался нарушить эту заповедь Рахмы, ничего кроме глубокого разочарования и печали ему это не приносило.

Когда компания уходила с пляжа, Ли еще оставался, раздумывая, окунуться ли ему еще раз, и тот самый солидный мужик, обозвавший Алену дурой, чуть поотстал и направился к Ли. На всякий случай Ли поднялся, опасаясь, что тот врежет ему на прощанье за посягательство на его черноглазые владения. Но тот подошел со спокойным и каким-то умиротворенным выражением на физиономии и положил свою огромную лапу на плечо Ли.

— Прости меня, малыш! Зависть — нехорошее чувство! — сказал он. — Но завидую я, да и все остальные тоже, не тебе, а твоей юности — тому, что, в отличие от всевозможных баб, не

купишь ни за какие деньги… Мне нравится, как ты тратишь свою молодость. Ты свободен, легко идешь к женщинам. Я так не мог. Я всего боялся, хотя был, может, и покрупнее тебя в твои годы. Возьми, не брезгуй, это облегчит тебе месяц жизни, и то — слава Богу!

Он полез в карман своих невероятных американских клешей и вытащил банковскую пачку красненьких тридцаток. Подбросил ее на широкой ладони и протянул Ли.

— Мне не нужны деньги, — сказал Ли.

— Не дури! Они всем нужны. Даже мне, но мы сегодня отчаливаем, а там, — он махнул в сторону севера, — у меня этого добра навалом! Бери и давай сам, когда сможешь. Брать и давать есть великие действа, объединяющие людей! Будь!

И он пошел не оглядываясь, а Ли смотрел ему вслед, пока тот не догнал свою компанию уже на причале Курортного парка при посадке в подошедшую посудину.

XIII

Как уже бывало в короткой жизни Ли, после отъезда Алены он почувствовал, вернее, ему дали понять, что именно встреча с ней и была главной целью Хранителей его Судьбы, подаривших ему поездку в этот райский город. Были, вероятно, и другие цели, но их Ли не знал. А о том, что дальнейшее пребывание Ли в Сочи *Их* не интересовало, свидетельствовало крутое изменение в делах, составлявших основу замысла тети Манечки: вдруг, «совершенно случайно», появился первый и единственный серьезный покупатель. Это был какой-то средний строительный начальник с неясным прошлым, закрывавшим ему дорогу к «прописке» в таком важном «пограничном» городе, как Сочи, и он с женой и двумя детьми был прописан где-то под Белореченском, а здесь жил, снимая квартиры, на нелегальном положении. Покупка «дачи», расположенной фактически в пределах города, а формально — в селе, была решением его проблем, тем более что строительных трудностей по ее «доводке» до кондиции для него, в отличие от прочих смертных, не существовало. Официальным же покупателем «дачи» была его не ущемленная в правах жена.

Торговаться он не собирался. Оформление бумаг провел за два-три дня, а билеты в купейный вагон московского поезда передал Исане в конверте, выделив «виллис» для доставки ее и Ли на вокзал.

Выпили на дорогу, и «виллис» медленно стал сползать с горы. Вскоре и пышная армянская вилла, и почти закрытая зеленью

недостроенная дача остались позади во времени и в пространстве, а все то, что там происходило за минувшие полтора месяца почти счастливой жизни, Ли увозил с собой в сердце, душе и памяти. Увозил все: и Мильву, и Алену, не оставляя никому ни крошки, потому что он уже точно *знал*, что назад в прожитое здесь время он никогда не вернется, сколько бы раз ни возникал этот радостный город в его будущей жизни.

У выезда на проспект Сталина произошла заминка. Почти перед самым носом «виллиса» возник милиционер и приказал ждать.

— Хозяин едет! — уважительно сказал водитель «виллиса».

До отхода поезда оставалось менее часа, и Исана заволновалась, но водитель ее успокоил:

— Не боись! Поезда задержат тоже, чтоб все сели.

Ли вспомнил Туркестан — как там задерживали начало «кина», пока не прибудет местный «хозяин» Давидян. Может быть, в этом ожидании в субтропических зарослях Ли впервые, вместо привычного безразличия, ощутил пока еще абстрактную ярость и ненависть ко всем большим и малым «хозяевам» той страны, где ему суждено жить. С его места был некоторый обзор, и он стал внимательно смотреть на проспект, надеясь своим острым зрением разглядеть, наконец, Хозяина в жизни, а не в кинохронике или на газетных и иных портретах. Но кавалькада машин налетела так неожиданно и тихо и так мгновенно скрылась за поворотом, что Ли не смог зафиксировать «видение», как он это обычно делал.

Как и обещал водитель, они не опоздали, и вскоре Ли стоял у окна вагона и грустно смотрел на море, предчувствуя, что от следующей встречи с ним его отделяют многие годы. На начинавшихся прямо у подножия железнодорожной насыпи «диких» пляжах в нескольких метрах друг от друга стояли совершенно обнаженные редкие отдыхающие — мужчины и женщины — и, повернувшись лицом к поезду, не стесняясь своей наготы, прощально махали руками смотревшим из окон.

Под впечатлением дочитанного прошлой зимой одного из последних сборников рассказов коротавшего с ним это долгое и суровое время доброго друга Джека Лондона — из его гавайского цикла — Ли представил себе, что он прощается не с Сочи, а с Гонолулу, и что сквозь стук колес он слышит тысячеголосый хор, поющий прощальный гимн Гавайев «Алоха оэ»:

Люблю — и любовь моя будет с тобой
Всегда, до новой встречи…

Вспомнив слова песни, он вспомнил и весь рассказ. И удивился, как повторяются в этом огромном мире все ситуации и положения. «Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнаванья миг». Все повторилось, только вместо быстро дозревшей за несколько недель под южным солнцем девочки-подростка — дочери сенатора Соединенных Штатов Дороти Сэмбрук — был он, Ли Кранц, которому Хранителями его Судьбы были посланы эти несколько недель субтропического солнца и молодая женщина в расцвете своей красоты, уверенно свершившая дело, начатое Тиной, затем продолженное Рахмой, туркестанской жарой и слабым дыханием урановых залежей, и превратившая его в мужчину на четырнадцатом году жизни. Этот мужчина и стоял сейчас у окна вагона, глядя на уходящий праздник жизни и, преисполненный новой энергией, новыми силами, как положено мужчине, думал не о развлечениях, а о делах. Ближайшие его действия были ему ясны, а более отдаленное будущее он оставлял на усмотрение Хранителей своей Судьбы.

Ну, а мальчик Ли навсегда остался в Сочи, и тень его по сей день бродит в окрестностях Дендрария, заглядывает на армянскую виллу, где уже давно нет Мильвы, не выдержавшей соблазнов большого курорта и ушедшей по рукам мужчин. Появляется он на благоустроенных ныне пляжах Светланы в надежде увидеть Алену, не понимая, что даже если она и придет сюда когда-нибудь, может быть, даже с собственными детьми, как это сделал через много лет сам Ли, он ее никогда не узнает.

Вообще частицы наших душ остаются повсюду, где мы когда-то были счастливы, и не исключено, что в далекой Долине на берегу быстрого ручья или тихой заводи, на дальней меже в тени тутовника и сейчас сидят на закате, обнявшись, прозрачные и вечно юные тени Ли и Рахмы, готовые ждать тысячу лет, пока другая такая же прекрасная зеленоглазая пара не ступит смело и без оглядки на пройденный ими путь, чтобы по-новому преодолеть его.

Ох, как хотелось бы встретить их в том чистом и прозрачном мире, над которым не властно Время!

Книга седьмая
АТЛАНТИДА

Каким бы полотном батальным не являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой
немого рабства — нет, о нет,
еще я духом жив…

В. Набоков

Весел не было на лодке, в веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила, а рулем служила воля.
Обогнать он мог хоть ветер, путь держать — куда хотелось.

Г.-У. Лонгфелло

I

Возвращение в родной город, естественно, не было столь праздничным, как отъезд из Сочи, ни по внешним признакам, ни по душевному настрою. Ничего радостного в ближайшем будущем, во всяком случае, до ближайших очень далеких летних каникул, в жизни Ли не предвиделось. Его ждала школьная и домашняя рутина, но он не роптал, потому что даже на эти скучные времена года у него, как уже говорилось, были свои, а может быть, и не вполне свои, планы, контуры которых наметились еще в Москве и которые окончательно оформились в Сочи под воздействием случайно оказавшегося под руками Вольтера, под воздействием самой жизни.

Ли быстро наверстал пропущенный месяц занятий и принялся за свои дела.

Еще в Москве, в дядюшкиной библиотеке, его внимание привлекли две книги: «Былое и думы» и «История одного города».

Там эти книга всегда находились у него под рукой, и Ли с большим сожалением поставил их на полку перед отъездом. Это заметил дядюшка и спросил:

— Тебе нравится?

— Да, очень.

— Я не могу их тебе отдать, потому что и сам люблю, чтобы они были при мне. Но их так часто переиздают, что я их закажу для тебя непременно и пришлю. А до того ты найдешь их в любой библиотеке этой несуразной страны, где никто не понимает, что это за книги и какая в них таится сила…

Тут дядюшке на глаза попался каталог художественных изданий на 1947 год, и он полистал его:

— Вот видишь, считай, что Герцен у тебя уже есть — очередное издание «Былого» на выходе, — и он обвел жирным кружком каталожный номер, — завтра же отправлю заказ, а Щедрин — за мной.

Дядюшка подумал и снова вернулся к прежней теме:

— Я не перестаю удивляться, почему эти книги не изъяты из обращения, как, например, «Бесы» или «Некуда», ведь каждая из них бьет прямо по основанию нашего, так сказать, общества куда сильнее, чем беллетристика Достоевского и Лескова. Вероятно, это произошло по двум причинам: во-первых, Ленин хвалил Герцена и Щедрина и недолюбливал Достоевского, а во-вторых, сам Хозяин или поленился их прочитать, или прочитал и не понял.

Тогда в Москве Ли еще не мог сказать, чем приворожили его именно эти книги, столь не похожие на его недавних добрых друзей — Джека Лондона и Мопассана. Поездка в Сочи, вероятно, отчасти и нужна была для того, чтобы он, почувствовав незабываемый вкус беспредельной личной свободы, вкус свободной воли, мог перешагнуть некий барьер неясности и увидеть все, всех и себя самого в ином свете. Передумав все это уже не на морском бреге, а в убогой домашней обстановке, Ли еще раз явственно ощутил, что Хранители его Судьбы ждут от него теперь некой серьезной работы, и он был готов к такой расплате за пережитое, за радости бытия.

Когда, записавшись в местную библиотеку, он, не глядя на лежащий на прилавке «абонемента» ворох зачитанных и растрепанных книг «про войну» и «про любовь», попросил «Былое и думы», молоденькая служительница этого районного храма книги застыла в изумлении, а из-за стеллажей выдвинулась старая дама, чтобы взглянуть на чудо. Но физиономия Ли была учтива, безмятежна, взгляд внимателен и разумен, и старая дама, отведя свои глаза от этого взгляда, тихо сказала своей

помощнице:

— Выдай первый том для начала!

Та выдала, и Ли понес его домой, предвкушая ожидавшее его наслаждение. С чтением, однако, вышла заминка: комментарии оказались в последнем, третьем томе, и на следующий день Ли снова был в библиотеке.

— Ты что, уже прочел первый том? Тогда сдай, — сказала ему девушка, — и возьмешь второй.

— Мне нужен не второй, а третий, там примечания.

— Выдай ему и второй, и третий, — распорядилась старая дама, — видишь, читатель серьезный.

И Ли с головой ушел в мир Герцена.

К концу второго тома Ли начал понимать, почему эта книга была ему ближе, чем прочитанные ранее серьезные сочинения Шолохова и Алексея Толстого. То были книги о рабах или, в лучшем случае, вольноотпущенниках. Личностью и судьбой каждого человека распоряжались в них другие люди и созданные ими обстоятельства, а эти другие, в свою очередь, были рабами третьих и так далее. А в «Былом и думах» о себе — все подряд, а не отдельные эпизоды, как Мопассан или Лондон, — рассказывал абсолютно свободный человек. Конечно, прописную истину о том, что жить в человеческом обществе и не зависеть от него нельзя, Ли понял задолго до того, как смог ее для себя четко сформулировать или процитировать «основоположника», понял сердцем и душой, но именно в «Былом и думах» было сказано, что эту зависимость нельзя принимать как данность и неизбежность, что ее можно и должно корректировать, что ею нужно управлять и что для ослабления этой зависимости хороши все средства, не приносящие вреда ближнему.

Из толковых и подробных комментариев к первому тому Ли, еще слабо знакомый с историей человечества вообще и историей России в частности, сумел воссоздать для себя картину второй половины николаевского царствования и был поражен ее сходством с тем, что он видел вокруг себя: все то же рабство, «управление умами», все те же издевательства над личностью!

Ли отдавал себе отчет в том, что жизнью автора «Былого и дум», как и героя нашего повествования, с самого начала управляла *случайность*. Он понял это до того, как ему встретились слова Герцена о том, что эта книга есть отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге. Случайность была во всем и прежде всего в том, что от него, рожденного от случайной связи, не отступился и не откупился какой-нибудь мелочишкой фантастически богатый человек (как, скажем, поступил со своим «незаконнорожденным» отпрыском

совсем не богатый Пушкин…), а ввел его в свой дом, в свою жизнь на правах сына и наследника огромного состояния. Можно было догадаться, как сложилась бы жизнь героя «Былого и дум», если бы независимость не была подкреплена этим огромным состоянием и практически неограниченными материальными возможностями. Смог бы он тогда жить, как ему хотелось и где ему хотелось — в Париже, Ницце, Лондоне, покупая там дома и виллы, или вынужден был бы ценить отвергнутую им должность высокого провинциального чиновника — «столоначальника» и держаться за нее, угождая людям и обстоятельствам?

Увы, при всем уважении к Искандеру, Ли не был уверен в нем, как в себе: о себе он точно знал, что никакие соблазны мира не уведут его с пути служения Хранителям его Судьбы, и когда перед ним его свободная воля будет открывать разные дороги, он выберет путь странника, но никогда не свернет в сторону благополучия, если не почувствует всей душой, что *Они* этого хотят.

Во многих обстоятельствах жизни и поступках Герцена Ли ощущал Их присутствие. В частности, в его семейной драме. Эти страницы «Былого и дум» и обширный комментарий к ним Ли прочел особенно тщательно и перечитал много раз, поскольку именно в событиях, связанных с возникновением довольно банального «семейного треугольника», он увидел *Их* прямое воздействие на Судьбу нужного *Им* для осуществления *Их* программы человека.

О том, что это был не простой «треугольник» с традиционным для людей высокого интеллектуального уровня «чистым» исходом, составивший сюжетную основу многих романов и предельно идеализированный в хорошо известной Ли «Лунной долине», ему говорил весь его личный чувственный опыт, открывший ему бесценную сущность женского начала в единой общечеловеческой душе. Нет, здесь был именно тот случай, когда дни, недели, месяцы жизни одного человека вдруг становятся ареной борьбы Добра и Зла, и даже промежуточные итоги этой борьбы оказывают впоследствии влияние на жизнь миллионов людей и судьбы многих поколений. Инфернальные силы, направленные на жизнь и благополучие Герцена, появились нелепо и неожиданно, как привидение старого шкафа, где хозяину знаком каждый угол. Ли очень тщательно исследовал и переписку всех участников семейной трагедии: к его счастью, в библиотеке оказались соответствующие тома сочинений Герцена, изданные Лемке, и даже воспоминания Павла Анненкова. «Объективное» объяснение Анненкова его не удовлетворило. Он чувствовал в этой истории следы борьбы, а не только случайное

стечение обстоятельств. А когда ему на глаза попались письма Маркса, уже олицетворявшего дня него силы Зла, письма, преисполненные подлого торжества по случаю семейных невзгод, выпавших на долю политического противника, никаких сомнений у него не осталось. Здесь было *всё*: и мистика знаков, и внезапная гибель близких. Ли вспоминал, как был разрушен его «довоенный» мир, как менялись декорации его жизни, как шла корректировка его Судьбы…

Впрочем, Ли не мог идеализировать и самого Герцена. Во-первых, потому что в его поведении в критические моменты жизни открылись признаки двойственного отношения к свободе: когда дело касалось его личных интересов, он был не так терпим, как в своих общих рассуждениях, а к женщине был более строг, чем к себе самому. Возможно, оценки Ли были несколько категоричны, так как его личный опыт еще не дал ему почувствовать всю силу скрытой в его душе ревности, и он считал ревность мужчины в отношении уже принадлежащей ему женщины признаком неполноценности мужчины.

С этих позиций, а также с позиций свойственного ему полного неприятия какого-либо насилия, он полагал, что Герцен мог быть терпимее к увлечению Натали, чтобы она сама могла убедиться или не убедиться в его духовном и чувственном превосходстве, а не насиловать ее волю, вынуждая к немедленному разрыву с любовником.

Во-вторых, и это как-то особенно покоробило Ли, несмотря на предельную терпимость ко всему инородческому, сквозившую в каждой строке «Былого и дум», относящейся к событиям до и после семейной драмы, в разгаре трагедии, когда было задето сокровенное, и сам Герцен, и Натали, как это свойственно истинно русским людям, обратились к «еврейской теме». Во всяком случае, в одном из продиктованных Герценом Натали писем к Гервегу не обошлось без обвинения в «низкоеврейском характере», хотя Гервег не исповедовал иудаизм, да и ни единой капли еврейской крови в этом бывшем немецком семинаристе не было. Ли никак не мог понять, почему, если кого-нибудь очень хочется обругать, обязательно нужно недобрым словом помянуть евреев, а не русских, например, или французов.

Конечно, мягкие упреки Александра и Натали не шли ни в какое сравнение с тем хором обвинений по адресу евреев, который зазвучал вокруг Ли в реальной жизни. Правда, самого Ли могли «наградить» юдофобским замечанием лишь те, кто его знал. От остальных, наглеющих прямо на глазах антисемитов его оберегала непохожесть. Но как ни странно, он тяжелее переживал оскорбления по адресу других людей — очные и заочные, чем

личные выпады, и со временем у него появилось предчувствие, что *Они* не случайно и очень часто «выводят» его на «еврейские темы»: здесь, по возвращении домой, тем этих становилось так много, что Ли постепенно напрягался, как струна, и если бы он ощутил хоть на миг, что *Они* ему кого-то на этой почве «подставляют», то на обидчика обрушился бы такой водопад концентрированной ненависти, что его гибель была бы неминуемой.

Но такой сверхобидчик не появлялся, и Ли полагал, что *Они*, вероятно, в преддверии особо важного задания ждут от него дальнейшей самоотверженной работы души по освоению мира, в познании Добра и Зла. И он трудился, как мог.

II

Когда он пришел сдавать книги, взятые в библиотеке, — не столько потому, что завершил изучение Герцена, а в связи с получением от дядюшки обещанной бандероли с «Былым и думами», изданным в памятном Ли 1947 году, к нему вышла старая книжная дама и попросила проводить ее домой. Она жила с другой старушкой в небольшом старинном доме за палисадником на широкой и тихой улице недалеко от Ли. По пути они познакомились ближе, и явно довольная этим знакомством дама пригласила его войти. Внутренние покои оказались неожиданно просторными. Там были и гостиная, и кабинет, и две спальни. И везде — книги, старинные, старые и новые, преимущественно украинские, «Южаковская» энциклопедия, а также множество подшивок газет и журналов 20-х годов и более ранних — начала века и даже конца минувшего. От этого богатства Ли не мог оторваться, и лишь поздним вечером Лидия Петровна — так звали его новую знакомую — уговорила его уйти домой, пригласив посетить ее завтра, когда в библиотеке будет выходной день.

С тех пор Ли начал свое путешествие в прошлое той страны, где ему выпало жить, и начал он его не из глубин веков, а в обратном порядке — с лет, непосредственно предшествовавших его рождению. Именно эти годы, как и первые два-три года его существования на Земле, по газетам и журналам, отражавшим в определенной степени реальную жизнь, стали временным переходом от некоей исчезнувшей страны, наполненной живой жизнью, к современной серости, мерзости, жестокости, скуке и смерти, хотя сам Ли, ушедший с головой в свои исторические исследования и одаряемый разного рода приключениями по воле

Хранителей его Судьбы, на скуку не мог пожаловаться.

Сейчас его интересовали контуры этой исчезнувшей страны, детали ее ежедневной жизни и быта и причины ее исчезновения. Он нашел на страницах газет 20-х годов все признаки ее активного бытия: жаркие дискуссии на вечную тему «что делать?», коммерческую рекламу и информацию, свидетельствовавшие о процветании разного рода торговли, увидел незнакомые имена и адреса.

Ли шел дальше в глубь времени. После нескольких лет, восстановить содержание которых только по газетам и журналам не было никакой возможности, настолько противоречивой была текущая информация того времени, он снова попал в довольно упорядоченный период истории. Страна вела войну и войну большую, но даже на малом удалении от линии фронта, в близком тылу шла жизнь, абсолютно не похожая на ту, что он видел и помнил. Тогда война напоминала о себе госпиталями, где женщины «высшего света», начиная с великих княжон, считали своим долгом поработать сестрами милосердия, заняться сбором помощи семьям погибших на фронте, работой для нужд армии. Ну, а вся остальная жизнь шла своим чередом: работали ученые, спорили поэты, ублажали публику актеры, выходили новые книги, рестораны зазывали людей, предлагая роскошные яства или просто добротную снедь по «доступным ценам», и что особенно важно: сдавалась и продавалась недвижимость и совершались частные поездки в другие страны, что, как уже давно определил для себя Ли, являлось обязательным признаком свободы людей.

А когда в сферу его внимания попали годы, называемые Исаной и другими людьми ее поколения «мирным временем», Ли показалось, что он — в золотом веке. И вспомнились прочитанные им в одной из дядюшкиных книг слова Талейрана: «Кто не жил до революции, тот не знает, что такое счастье». И подумал Ли, что дядюшке все-таки повезло: когда «это» произошло, ему было за сорок.

Небосклон человеческой жизни в «мирное время» омрачали лишь, казалось, совершенно незначительные на фоне процветания и утверждавшегося общественного согласия события — редкие, но, увы, меткие политические убийства, сообщения о деятельности тех, кто считал необходимым все отнять и поделить поровну, но тогда в цепи этих происшествий никто не усматривал симптомов зреющей в стране страшной болезни. А о мало еще кому известном В. И. Ульянове (литературный псевдоним — Н. Ленин) в журналах и газетах, и даже в «Южаковской» энциклопедии тогда писали: «В настоящее время скрылся».

Чуткое обоняние Ли уловило в атмосфере тех лет еще одну зловонную струйку, портящую общее впечатление картины, как иной раз дымок очага, в котором жгут какое-то дерьмо, портит сельскую идиллию. Душок антисемитизма, это был он, витал над страной. Идя на этот запах в поисках его истока, уже хорошо натасканный жизнью по еврейской проблеме, необрезанный и не знающий ни единого слова ни на одном из еврейских языков, «советский еврей» Ли Кранц вышел, наконец, на «дело» Бейлиса. Репортажи по этому «делу» в столичной печати — а в распоряжение Ли попала только московская и питерская пресса — были довольно скупы. Исана лишь слышала о том, что «это была затея киевских бандитов», и Ли обратился к Лидии Петровне. Та, вздохнув, полезла на задворки полок и дала Ли «Стенографический отчет» по «делу» Бейлиса — несколько довольно толстых книжек в мягких обложках. Ли углубился в чтение.

Ничего более увлекательного он еще никогда не читал. «Уважаемый суд» совершенно серьезно выслушивал многочасовые ученые доказательства того, что еврей без христианской крови в праздник и кушать не сядет. При этом многие «ученые богословы» забывали, что евреи несколько тысяч лет жили до того, как появились христиане, и что первыми христианами, включая Деву Марию, самого Иисуса, св. Андрея Первозванного, св. Павла-Савла, св. Петра-Симона и других, были «жидовские морды» и ревностные иудаисты: следовательно, евреи некоторое время должны были кушать сами себя. Выступали выкресты, сообщавшие, что оставили иудаизм якобы только из желания перестать есть человечину…

Обрели свой зловещий смысл и некоторые личные воспоминания Ли, хранившиеся до поры до времени на задворках его памяти: вот в один из его приходов в школу (дело было в Районе) в его классе появляется после долгой болезни исхудавший и бледный, как смерть, Васятка. Пока учительница задерживается, он рассказывает классу, что часть его крови купил для мацы бухарский еврей Абрамов и от этого теперь он, Васятка, такой бледный. Всем желающим он показывает красную точку на пальце, через которую Абрамов «доставал» у него кровь. Ныне Ли понимал, что тогда в Долине до него донеслось эхо «мудрого» решения киевских присяжных о «ритуальном характере» этого давнего киевского жандармско-уголовного убийства. И это эхо он слышал впоследствии не один раз.

Умная Лидия Петровна, чтобы отвлечь Ли от этой мерзости, дала ему в библиотеке хорошее издание «Острова пингвинов» с обширным комментарием по еще более знаменитому «делу»

Дрейфуса. Анатоль Франс своей мудрой аллегорией показал Ли всю разницу между обществом, которое стремится выжить, и Атлантидой, идущей ко дну. Выжить, замалчивая позор нации, оказалось невозможно, и «мелкое», «провинциальное» «дело Бейлиса», на которое «не стоит обращать внимания», оказалось началом гибели страны.

Ну, а внимательное чтение «Истории одного города», параллельно с изучением «Острова пингвинов» и историческими изысканиями, убедило Ли в предопределенности всех событий текущего века в том городе Глупове, где он оказался волею Судьбы.

Из вороха прошедшей через него несистематизированной информации Ли совершенно инстинктивно выделил упоминание о некоем документе под названием «Протоколы сионских мудрецов». Сам по себе текст документа нигде в доступных Ли источниках не приводился, однако его содержание и, главное, достоверность были предметом довольно горячего обсуждения. Как раз в это время совершенно случайно в руки Ли попал довоенный номер журнала «Знамя», относящийся к периоду «плохих» отношений с Гитлером и содержащий весьма острую статью Ильи Эренбурга о немецких делах. К удивлению Ли, и там он обнаружил упоминание о «Протоколах сионских мудрецов», являвшихся, по словам Эренбурга, настольной книгой любого немца тех времен. Там же Эренбург приводит и краткое содержание «Протоколов…», делая упор, в основном, на наиболее нелепые «доказательства» стремления евреев захватить мировое господство. При этом, по сравнению с ситуацией в России начала века, в этом вопросе, судя по памфлету Эренбурга, произошли определенные изменения в самом понимании слова «еврей». Если для русских спорщиков, да и для русских создателей «Протоколов…» евреем был только тот, кто исповедует иудаизм, как и сами мифологические «сионские мудрецы», то для немца тридцатых годов XX века евреем был тот, кто «по крови» еврей, независимо от его религиозных взглядов и мировоззрения вообще. Тогда Ли еще не знал, что пионером идеи уничтожения евреев «по крови» был Столыпин и что идея эта увидела свет на страницах «Нового времени» во время «дела» Бейлиса. Не знал он и знаменитой фразы: «Я сам буду решать, кто еврей, а кто нет», принадлежавшей одному из немецких «фюреров».

В Германии, как можно было судить по картине, созданной Эренбургом, «Протоколам…» не противостоял никто, и они властвовали над немецким умом безраздельно. В России, где эти «Протоколы…» возникли, хотя об их происхождении Эренбург не сказал ни единого слова, возражения были робкими, и что более

всего удивляло Ли, иногда носили научный характер, а научная дискуссия неизбежно придавала предмету спора научное значение. По сути дела никто в тогдашней русской печати не сказал громкое и решительное слово о том, что сей «документ» есть русская полицейская фальшивка от начала и до конца, и она продолжала вербовать своих сторонников. Стыдливые умолчания и по части «Протоколов…», и по «делу» Бейлиса были явлениями одного и того же порядка. У Ли мелькнула мысль о тождественности судеб, вернее, о неизбежном крахе тех режимов и, может быть, даже стран, где властвовали «Протоколы…», но он отложил ее «на потом» для более тщательного анализа, ибо сейчас тратить на это время он не мог: слишком много было в его распоряжении исторического материала, очень ему хотелось побыстрее воссоздать для себя общую картину…

Но независимо от его личных планов и желаний «еврейская тема» продолжала бушевать вокруг Ли. Исчезая — по его воле — из сферы его внимания при изучении прошлого, она вдруг появлялась в текущей жизни, обретая очертания реальных людей и событий.

III

Однажды он провожал Лидию Петровну из библиотеки домой. Ему казалось, что он уже все о ней знал. Ли знал, что ее покойный муж — собиратель всех изучаемых им теперь редкостей — принадлежал к старинному украинскому роду, к известной семье Маркевичей, что в их доме в начале века и в двадцатые годы перебывало множество писателей, художников, музыкантов, историков. Почти все они давно ушли из жизни, и многие сделали это не по своей воле. Кое-кто постарался забыть этот адрес… Память о них, обо всем этом исчезнувшем мире, жила в дарственных надписях на книжках, пожелтевших от времени, в этюдах, смотревших со стен окнами далеких «краевыдив», подписанных именами Васильковского и Левченко, а в давно закрытом рояле, казалось, о чем-то добром и забытом неслышно пели неподвижные струны.

Но, как выяснилось, знал он далеко не все. Когда они проходили мимо одного из частных домов, расположенного через усадьбу от дома Лидии Петровны, Ли увидел у калитки неприятного человека с толстым красным лицом, вероятно, хозяина. Кто жил в этом доме, Ли не знал. Он вообще был мало любопытен, да и его тайные занятия не оставляли ему сил и желания расширять свои связи, и поэтому он был знаком лишь с

теми семьями, где были его сверстники и соученики. Единственное, что он для себя отметил, уже проходя здесь не раз: дом этот и вся усадьба дышали Злом. А дыхание Зла Ли чувствовал очень остро: приближаясь к уже отмеченному Злом месту, он, во-первых, удваивал внимание, а во-вторых, старался пройти мимо него побыстрее. И только потому, что на сей раз он приноравливал свой шаг к темпам Лидии Петровны, он расслышал тихий шепоток Краснорожего:

— Опять старая сука себе жиденка завела!

Как уже говорилось, Ли привык к тому, что он своей непохожестью был защищен от подобных выпадов незнакомых людей, и поэтому первый вывод, сделанный им с удивлением из услышанного, был таков: его здесь *знают*! Он сразу же спросил Лидию Петровну, что это за тип. Но та, обняв его за плечи, ответила:

— История довольно длинная. Придем домой, сядем пить чай, и я расскажу.

И вскоре Ли услышал рассказ, заставивший его посмотреть на Лидию Петровну совсем иными глазами.

Перед войной по рекомендации каких-то давних знакомых из Польши в доме Лидии Петровны появился польский еврей, дантист, как она его назвала в своем рассказе, оказавшийся в зоне советской оккупации при очередном разделе этой несчастной страны. Его семья в момент нападения Германии на Польшу находилась в Швеции, там и осталась. Каким-то чудом ему удалось вывезти фамильные драгоценности, и здесь он потихоньку их проедал, проводя время в хлопотах, добиваясь разрешения на выезд к семье. Эта страна не любила выпускать кого-либо куда-либо, даже если это был никому не нужный немолодой еврей-дантист, и во всех инстанциях его водили за нос и доводили до того, что однажды, когда он пришел в «присутствие», там просто никого не оказалось: весь «золотой генофонд» — «советских работников» с их семьями — погрузили в специальный эшелон, состоявший из благоустроенных пассажирских вагонов, и отправили за Волгу. Тогда дантист кинулся решать другую проблему, ставшую теперь первоочередной, — проблему собственного выезда хотя бы на восток.

Ее решить оказалось проще: небольшая взятка мелкому железнодорожному начальству на сортировочной станции, и он попал в один из последних эшелонов, формировавшихся на северной стороне харьковского узла. Но на глухой одноколейной ветке между Белгородом и Купянском, где незадолго до этого проехали в своем пути на восток Исана и Ли, случайной

бомбежкой развоpотило и эшелон, и рельсы, и небольшой мостик через пересыхающую речку. Всю ветку закрыли, а об уцелевших, оказавшихся в степи людях просто забыли. На востоке первым крупным городом, где дантист мог бы продолжить свои хлопоты, был Воронеж, расположенный в нескольких сотнях километров от разбитого поезда. На западе — в сорока километрах находился еще не занятый немцами Харьков. И дантист решил, что ему на его больных ногах проще вернуться в Харьков, чтобы оттуда попытаться выехать снова.

Переход к Харькову занял дня три, и, когда дантист вошел в город с востока, до вступления немцев с запада оставалось не более двух дней. В городе никакой власти уже не было, и народ грабил и тащил по домам все, что плохо лежало, особенно усердствуя на складах некогда известной во всем мире кондитерской фабрики Жоржа Бормана. Здесь брали все: и готовую продукцию, и шоколад в глыбах и брикетах, и варенье, и какао-бобы, заготовленные чуть ли не в «мирное время» — до знаменитого 1913 года. Ликеры, коньяки, уникальные вина выпивали тут же, потом пьянели, зверели, возникали драки. Двое дерущихся упали в огромный чан с карамельной массой и продолжали там драться, пока не утонули в ней, а нашли их только тогда, когда всю эту патоку вычерпали ведрами и разнесли по домам.

Нечто подобное происходило и на не менее известной бисквитной фабрике, и на пивном заводе, где несколько человек утонуло в котлах, и вообще повсюду, где добро было брошено при беспорядочном бегстве.

Одним из тихих островков в этом океане людского бешенства и торжества низменных инстинктов был домик Лидии Петровны, обитатели которого — она, ее муж и сестра мужа — ничего не тянули, не прятали, а просто ожидали развития событий, чего нельзя было сказать о Краснорожем и его семейке — там все, кто только мог двигаться, несколько суток были на ногах. Никогда в жизни эти люди так интенсивно и напряженно не работали, но, несмотря на такую сверхзанятость, появление дантиста у Лидии Петровны не укрылось от зорких глаз Краснорожего.

Немцы, войдя в город, чтобы сбить волну мародерства, сразу же повесили нескольких человек с соответствующими плакатами на груди. В подборе кандидатур для показательных казней, как водится, оккупантам помогли самые активные мародеры, но так как акция была чисто воспитательной, а не юридической, то немцев это не волновало. Не обошлось и без Краснорожего: он сразу же стал для немцев персоной, подающей надежды, перспективной в делах обуздания строптивых и поиска

коммунистов, а затем и евреев.

Лидия Петровна и ее домашние посоветовали дантисту отсидеться у них и не высовываться, пока не станет ясно, как будут развиваться события. Лидию Петровну, хорошо знавшую немецкий язык и умевшую печатать и на «русской», и на «немецкой» машинках, пригласили в Городскую управу, где оказалось несколько ее знакомых — местных украинских интеллигентов, оставшихся в городе в надежде на то, что слухи о зверствах немцев окажутся на поверку большевистской пропагандой, и культурные европейцы действительно восстановят здесь гуманизм и демократию, а там и до «вильной и незалежной Украины» рукой подать. Свою ошибку они поняли уже через несколько дней после прихода носителей европейской культуры, но пути назад уже не было, нужно было что-то делать, чтобы спасти себя и своих близких.

Небольшая техническая должность Лидии Петровны позволяла ей быть в курсе всех дел и первой узнавать о немецких распоряжениях. Поэтому основное направление в еврейских делах ей стало ясно задолго до того, как немецкие приказы на этот счет стали всеобщим достоянием. И ровно за сутки до их обнародования на рассвете ее муж с дантистом покинули Харьков. К концу дня они добрались до небольшой деревушки, где жили родственники Лидии Петровны. Там с ведома старосты дантист был пристроен помощником к священнику и на полтора года стал глухонемым работником на все руки.

На следующее утро ее муж уже был дома; а еще через день в их доме появились полицаи по доносу Краснорожего о том, что здесь прячут еврея от «регистрации». Не найдя еврея и ознакомившись с аусвайсом Лидии Петровны, полицаи тут же избили Краснорожего за ложный донос и ушли, а Краснорожий с тех пор затаил на нее злобу. И сейчас, уже в «советские органы», как ей стало известно, поступил донос, что «она работала на немцев». Автором этого доноса, по мнению Лидии Петровны, был все тот же Краснорожий, видевший, как уже после войны дантист с цветами и огромными пакетами подарков приходил к ней прощаться перед отъездом в Палестину, куда к тому времени переехала его семья.

— Это тоже его подарок, — сказала Лидия Петровна и положила перед Ли свою изящную ручку, на один из пальцев которой было надето тонкое кольцо: змейка, свернувшаяся в клубок, своей головкой удерживала небольшой бриллиант. Любивший красоту Ли загляделся на кольцо и на эту прекрасную руку и спросил встревоженно, чем ей угрожает донос Краснорожего.

— Ну, арестовывать старуху никто не будет: на лесоповале с меня проку мало, но работы я лишусь, ибо моя работа считается «работой с людьми», а «немецкой подстилке», даже если при немцах ей было около семидесяти, занимать такую «должность» нельзя, — беззаботно отвечала Лидия Петровна.

— А как же вы будете без работы?

— Буду продавать, — и она обвела рукой вокруг, — здесь хватит на несколько моих жизней.

IV

Рассказ Лидии Петровны затянулся почти до полуночи. Вокруг все стихло, даже пьяное веселье у Краснорожего. Выйдя на улицу, Ли закурил сигарету. Курево всегда было при нем, но пользовался он им очень редко — лишь когда требовалось унять волнение, снять душевное напряжение, и сейчас такой момент наступил. Ли остановился возле забора Краснорожего, и окна его дома, темневшие на выбеленных стенах, показались Ли провалами в мир Зла. Ли положил руку на заряженный «вальтер», заткнутый им на всякий случай за пояс под курткой. У него возникло острое желание разрядить его по одной пуле в каждое окно и спокойно выйти дворами на соседнюю улицу, пока в доме возникнет пьяный переполох. Но такое нападение «не на равных», как и удар в спину, не отвечали представлению Ли о чести и достоинстве. И тут его осенило: пусть *Они*, Хранители его Судьбы, решают: жить или не жить здесь Краснорожему. И он точным щелчком направил горящую сигарету в гору опилок и мусора под одним из окон. Окурок, пролетевший несколько метров ярким огоньком на фоне почти черного неба и мгновенно напомнивший Ли падающие звезды в Долине и тихий голос Рахмы у его плеча, мог погаснуть, а мог и разжечь хороший костер, поскольку почти месяц в городе стояла великая сушь. Но это уже не зависело от воли Ли. Он спокойно, не снимая руки с «вальтера», пошел по улице и вдруг ощутил затылком свежий ветерок. «Раздувают!» — подумал Ли и засмеялся: куча опилок с его окурком находилась с подветренной стороны.

Далее мысли Ли переключались на буквально преследовавшую его повсюду и наступавшую ему на пятки «еврейскую тему». Сегодня от Лидии Петровны он впервые узнал о реальных масштабах харьковских убийств 1941–1942 годов и о том, что жертвами эсэсовцев и местных энтузиастов были, в основном, женщины и малые дети. На вопрос, а где же были мужья этих женщин и отцы этих детей, Ли имел четкий и точный

ответ: они были призваны в армию, и пока они «защищали родину», «родина» предала их, оставив их семьи без помощи. Ли острее, чем когда-либо, понял сейчас, после разговора с Лидией Петровной, что лишь по счастливой «случайности», организованной Хранителями его Судьбы, он сам и Исана не стали мертвыми цифрами в этой статистике мертвых, а остались среди живых. Но тут Ли вспомнил и другое: минувшим летом он с приятелем устроили вылазку на Северский Донец юго-западнее Чугуева — к той плотине, где он с Лео был перед войной. Выкупавшись, они узнали об отмене пригородного поезда и за пару часов прошли почти треть пути к Харькову, подсев затем в случайную машину. А с этим воспоминанием пришла страшная мысль: ведь тогда в 41-м достаточно было сказать этим молодым женщинам с детьми: «Мы не можем вас вывезти, нет вагонов. Идите пешком на Донец и будете спасены!», и те, кто внял бы этому призыву, за два-три дня преодолел бы этот путь. Осень стояла теплая и сухая в 41-м! Получилось так, что власти, знавшие и о массовых расстрелах в Галиции, и о Бабьем яре, и о том, что по Донцу будет создан рубеж длительной обороны, не *хотели* спасти этих женщин и этих детей. А если не хотели, то получалось, что по крайней мере в *этом* массовом убийстве, осуществленном в двадцати километрах от надежных позиций непобедимой и легендарной Красной Армии, Берлин и Москва были *союзниками*! Ли подумал о том, что там, на позициях Красной Армии, возможно, даже были слышны залпы расстрела евреек и их детей, но он тогда еще не знал, что этого теперь никто не сможет вспомнить, ибо после восьми месяцев обороны, по идиотскому плану сталинского маршала Тимошенко, все те, кто тогда сидел в окопах за Донцом, и с ними Лео, погибнут в страшном харьковском котле.

Пораженный приоткрывшейся ему истиной, Ли долго не мог заснуть и даже вышел на веранду. Подышав холодным ночным воздухом, он вернулся в постель, не обратив внимания на небольшое зарево, светлевшее за деревьями в той стороне, где был домик Лидии Петровны. А на следующий день, когда он заглянул в библиотеку, она ему тихо сказала:

— Ты знаешь, ночью горел дом Краснорожего. В огне погиб и он сам. Его семья спасала добро и забыла о нем, а он, пьяный до смерти, наверное, даже не успел проснуться. Ты чему улыбаешься?

— Да так. Подумал, что Бог все-таки есть.

И он еще раз улыбнулся, потому что соврал: мысли его были не о Боге, а о том, что свежий ветерок, ворвавшийся в полную неподвижность того мира, где вчера ночью был Ли, шел с

Востока. Для Ли это был тот самый, воспетый Абу Абдалло Рудаки, благоуханный ветер Мульяна, легко преодолевающий времена и пространства, чтобы возвестить о торжестве Добра, ветер, несущий воспоминания о любимых, и, уже зная повадки Хранителей его Судьбы, Ли живо представил себе, как плотный воздух переполнил его милую Долину, как он густым потоком вылился в бескрайние пустыни, оттуда шагнул ураганом в степи и легким отголоском пришел сюда, чтобы искра, брошенная Ли на волю Судьбы, не погасла и сделала свое, нужное *Им* дело. Впрочем, может быть, *Они* и Бог — это одно и то же? И, может быть, *Им* хотелось, чтобы Ли не был чистоплюем, и *Они* время от времени, как и тогда на Дороге, предоставляли ему возможность личной, а не мысленной причастности к творимой *Ими* высшей справедливости.

Во всяком случае, клубок Зла, на который вывело Ли его «случайное» знакомство с Лидией Петровной, после смерти Краснорожего распался. Уцелевшие обитатели его дома не вернулись на пепелище и куда-то исчезли. Лишь много лет спустя жизнь Ли случайно пересеклась с жизнью одной милой женщины, известной своей доброжелательностью и человечностью далеко за пределами узкого родственного круга, и в беседе с ней выяснилось, что она — внучка Краснорожего. Как раз в это время Ли в какой-то прочитанной им книге натолкнулся на фразу: «Мы будем делать Лобро из Зла, потому что больше Добро делать не из чего», — и подивился глубинной достоверности этих слов, их соответствию всему тому, что по Их воле было им сделано в жизни. Во всяком случае, из четырех всадников Апокалипсиса Ли ощущал себя наиболее близким к тому, что на вороном коне. И ему даже казалось порой, что это — Люли, единственная лошадь его жизни. Она была той же масти.

V

Изучение домашней библиотеки Лидии Петровны подошло к концу. Свою работу Ли сопровождал разговорами о прошлом — откровенными с Лидией Петровной и Исаной и осторожными — с другими, преимущественно пожилыми людьми. И наконец перед его мысленным взором предстала огромная и словно живая картина исчезнувшей страны. Там до его появления на свет жили многие из окружающих его людей, а главное — там *можно* было жить!

Исчезновение этой страны, как установил Ли, произошло в два этапа: между 17-м и 19-м годами затонула одна ее часть, но в

сохранившемся пространстве уцелевшие ее обитатели попытались как-то восстановить человеческие условия существования, а затем и этот чудом вернувшийся к жизни остров исчез в океане времени и крови. Происходило же это окончательное исчезновение в период между 29-м и 33-м годами, завершившись как раз к моменту рождения Ли.

Его поразило одно обстоятельство: люди, в сознательном возрасте пережившие все эти катастрофы, никак не могли подробно и достоверно воссоздать картины своего недавнего прошлого. Складывалось впечатление, что они подверглись какой-то специфической операции, в результате которой их память оказалась кастрированной. Говорилось о голоде, об арестах, о расстрелах, но цельного полотна не получалось. А для документальной реконструкции катастрофы начала тридцатых годов собрание Лидии Петровны, почти не содержавшее прессы этого периода, не годилось.

Но Ли и тут повезло: во владении его соученика Лотошки оказался сарай, набитый всяким механическим хламом. Ли, никогда не интересовавшийся техникой, долго отказывался от приглашения прийти покопаться в этом барахле, но как-то все же зашел — только для того, чтобы закончить разговор, начавшийся по пути из школы за кружкой пива. И обнаружил там, помимо горы деталей от неизвестных конструкций, неразобранные кипы старых газет. На одной из них, вытащенной Ли наугад, стояла дата «14 июля 1931 года». Радости Ли не было предела, и на некоторое время он стал завсегдатаем Лотошкиного сарая. Пока тот пытался что-то соорудить из своих деталей, он быстро, одну за другой, просматривал газеты. Ли не систематизировал их по датам, не делал выписок, но весь процесс упорядочения этой информации шел у него в голове. И тогда-то картина окончательной гибели Атлантиды и возникновения на ее месте царства Зла и немого рабства была полностью им восстановлена.

Его занятия в «сарайном архиве» Лотошки были грубо прерваны отцом последнего, который закричал на них, что они подведут его под монастырь, поскольку читать, а тем более иметь старые газеты властями запрещено. И Лотошкины газеты в одночасье исчезли неизвестно куда. К счастью, Ли успел переместить из них в свою память все то, что ему было нужно и интересно, но слова Лотошкиного отца о том, что власти наложили запрет на свои собственные газеты, его поразили, и он решил его проверить.

Для этой цели он посетил старинную университетскую библиотеку, предварительно разработав правдоподобную версию своего прихода и просьбы: он сообщил библиотекарям в

читальном зале, что родился он в тридцать третьем и как раз в год его рождения отец сменил имя, став из Леопольда Львом. Теперь ему очень не хочется быть «Львовичем» и наоборот: очень хочется быть «Леопольдовичем», и поэтому ему нужно просмотреть подшивку газет за тридцать третий год и найти там объявление о смене его отцом имени. Правдоподобие было полное, поскольку о существовании таких объявлений Ли знал не только из короткого анекдота: «Иван Говно меняет имя на Эдуард», но и потому, что десятки и сотни подобных объявлений прошли перед его взором во время работы в «сарайном архиве» и у Лидии Петровны.

Однако на его просьбу последовал мягкий, но решительный отказ: вышедшая к Ли строгая заведующая отделом объяснила ему, что выдавать газеты прошлых лет они «не имеют права», а все операции с отчеством своего отца он может восстановить в отделе записи актов гражданского состояния. И что вообще ему *полезнее* быть *даже* «Львовичем», чем носить иностранное отчество «Леопольдович». Ли вежливо попрощался, ибо то, что он хотел узнать, он уже узнал: Зло заботилось о том, чтобы спрятать концы и начала своих деяний, как это и положено в империи лжи.

И все же от этого путешествия в глубины Истории, каким бы обстоятельным оно ни было, у Ли оставалось ощущение неудовлетворенности: слишком внезапным и немотивированным оказался поворот 1929 года. И Ли возвратился в двадцатые годы, чтобы еще раз проследить ход событий месяц за месяцем. Теперь, когда путешествие стало направленным, его цель вскоре была достигнута. Ли без особого труда определил точку перелома: «ленинский призыв» в большевики, изменивший состав правящей шайки и дух поддерживающей ее «массы рядовых членов». Когда Ли читал о чехарде с «ленинским завещанием» и всю прочую галиматью, которую несли «кумиры» тех лет на своем чертовом тринадцатом съезде, в его мозгу звучали слова св. Иоанна Богослова: «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это — бесовские духи…»

Вероятно, не без участия Хранителей его Судьбы, сразу же после столь необходимого ему для полноты картины открытия, в руки Ли попал стенографический отчет о бухаринском «процессе», напечатанный тогда же, в конце 30-х, отдельным изданием. Память Ли сберегла во всех подробностях слышанные им в раннем детстве рассказы об истязаниях Муралова, и он, читая показания «врагов», легко мог представить себе физические муки, стоявшие за каждым словом «сознающихся». Его сердце было преисполнено жалости и к истерзанным героям «процесса»,

и «ко всему советскому народу» — к одураченным людям, принимавшим на веру весь этот состряпанный для них гнусный спектакль. «И пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось его царство мрачно, и они кусали языки свои от страдания» — и это предсказание св. Иоанна осуществилось на этом «процессе» и в империи.

Острая жалость, владевшая сердцем Ли, не оказывала, однако, существенного влияния на ход его мыслей: все ужасные события, которым подводил итог этот стенографический отчет, он, следуя изначально присущим ему представлениям о справедливости, считал вполне закономерными. Это, по его твердому убеждению, было не что иное, как *Возмездие* за содеянное в годы революций, за разорение домашних очагов, созданных честным трудом миллионов людей, за отравление колодцев. Уже потом, изучая Карму, он пришел к выводу, что следствия и причины не обязательно должны быть разделены поколениями, и что они вполне могут укладываться в одну жизнь.

И познанная им во время поиска Атлантиды судьба «ленинской гвардии» была тому подтверждением.

VI

Подтвердилась и еще одна догадка Ли: Те, Кого он называл Хранителями своей Судьбы, не были привередливы в выборе инструмента Возмездия и нередко с одним Злом рассчитывались с помощью другого Зла. Года через два после этих первых путешествий Ли по времени, когда он проводил каникулы под Москвой, возле ворот дядюшкиной дачи остановились несколько машин, и два человека быстрым шагом направились к дому. Дядюшка был в Москве, и гостей на веранде встретила тетя Манечка.

— Как я уже понял, хозяина нет дома?

— Он в Москве, Андрей Януарьевич, — ответила тетя Манечка. — Он будет сожалеть, что разминулся с вами…

— Я тоже. Лечу в Нью-Йорк и хотел бы увидеть его перед отъездом.

— Я передам.

Во время этого разговора Ли был рядом с тетей Манечкой. Он встал при приближении Вышинского и неотрывно наблюдал за ним через свои щелки. Перед ним был не князь Тьмы, а всего лишь раб князя Тьмы, тем не менее, с его уходом окружающий мир как-то посветлел и дышать стало легче, несмотря на то что злодей источал запах отнюдь не серы, а дорогого французского

мужского одеколона и выглядел вполне благообразным пожилым человеком, которого очень трудно было себе представить дирижером слаженного ансамбля палачей и негодяев.

Но Ли сумел все-таки это себе представить отчасти потому, он почувствовал в Вышинском, как некогда в пане Пекарском, — *мертвеца*. Слово «зомби» тогда еще не было в ходу. К тому же оно не вполне выражает весь смысл, который Ли вкладывал в свое определение: Вышинский для него был пришельцем из обители Смерти, из темного мира, существовавшего где-то рядом в опасном соседстве с влажным и солнечным миром Ли.

Впоследствии, когда Ли возвращался к размышлениям и озарениям этих дней, он вдруг задумался о том, к каким же силам, используемым Хранителями его Судьбы в их борьбе со Злом, относится он сам — к добрым или злым? Ведь многие его поступки и вообще многое в его жизни не отвечало человеческим представлениям о морали и нравственности. В то же время, всё, происходившее с ним, не пачкало его душу. Познав в раннем детстве вкус алкоголя, табака, наркотика, сладость женского тела, он не приобрел никаких привычек, не стал эротоманом, был безразличен к порнографии и, если задумывался о Той, кого он полюбит, его мысли были чисты, как у девственника, не затуманенные его большим чувственным опытом. Даже его причастность к гибели тех, кто в недобрый час пересек его путь, была сомнительной и неопределенной, и, может быть, именно поэтому он никогда не ощущал угрызений совести. Бремя его сомнений было тяжким. Он, конечно, понимал, что в святые не вышел, но определить, насколько он грешен, как велика его вина, не мог. В утешение ему оставались лишь незабываемые слова Рахмы о том, что все, что с ним происходит, — происходит по воле Хранителей его Судьбы. Это утешало, но счета его росли, и сомнения возвращались, а очищающую сущность этих сомнений он понял далеко не сразу.

Итак, времена сомкнулись, и более того — Зло было персонифицировано. Перед умственным взором Ли возник весь постепенный процесс перехода от газетной чехарды из тысячи появляющихся и исчезающих фамилий разного рода «крупных» и «мелких» «революционных деятелей» к устоявшемуся кругу лиц, над которыми своей гениальностью и абсолютной непогрешимостью возвышался Иосиф Виссарионович Сталин. И даже тот подпирающий «вождя» довольно узкий круг лиц беспрерывно перетасовывался, как колода старых карт, крутился, как говно в проруби, но самого Сталина все это беспорядочное на вид движение вроде бы не касалось. Он был недвижим, как скала, но проницательности Ли вполне хватило, чтобы понять, что он-то

и был главным действующим лицом в деле уничтожения Атлантиды и насаждения всеобщего рабства.

Путешествуя по газетам начала тридцатых годов, Ли легко восстановил для себя и общую картину развития событий в Германии. Его поразило их какое-то глубинное сходство с теми, что составляли предмет его исследования. Но главное, о чем он задумался, было недоумение его по поводу поведения тех, кого он называл «Они» или Хранителями его Судьбы: ведь Зло было так четко персонифицировано, и почему же *Они* при всей *Их* прозорливости не остановили это Зло в зародыше, в предыдущих поколениях, а дали ему, Злу, пройти определенный путь к захвату власти над миром, над человечеством. И именно в тот момент, когда Ли формулировал для себя этот вопрос, при мысли об общности конечной цели Гитлера и Сталина в его голове мелькнула догадка, ставящая все на свои места, но ее разработка требовала времени и усилий, и Ли, поглощенный иными заботами, отложил размышления над ней «на потом».

Еще работая у Лидии Петровны, Ли любил отдыхать после напряженного поглощения огромной фактографической информации, перелистывая и просматривая художественную литературу. Однажды к нему в руки попала книжка стихотворений Катулла, и он долго не мог от нее оторваться. Его поразила истинная свежесть чувств, отлитых в эти строки две тысячи лет назад, и если, прочитав в принадлежащей тете Леле Библии книги Экклезиаста и Песни песней, он по созвучию его мыслей и чувств с чувствами создателей этих шедевров безоговорочно отнес себя к евреям, то теперь, читая Катулла, он чувствовал себя римлянином, а побыв наедине с Марком Аврелием, и вовсе изменил представление о своем духовном родстве. В недалеком будущем уже ждали своей встречи с ним Хайям и Конфуций, Патанджали и Ницше, уже совсем рядом были миры Чехова и Гессе, Набокова и Ремарка. И, постигая их великолепное множество, путешествуя с ними по островам одиночества мысли, Ли понял, что, кем бы он ни был для какого-нибудь очередного коренного Краснорожего, а с другой стороны — как бы ни старались *Они* напомнить ему о его потусторонности и особом предназначении, он все равно — за пределами *Их* не всегда понятных ему «поручений» — принадлежит не к одной из каких-то бесчисленных «наций», а к единому и единственно возможному для него миру Людей. Впрочем, может быть, *Они* и добивались от него именно этого понимания.

VII

Огромная добровольная умственная работа, на которую после возвращения Ли из Сочи ушли и осень, и зима, и весна, поглощала все его помыслы. При этом, помня завет Рахмы, он старался быть и жить «как все» — гонял в футбол, стрелял из нагана и пистолетов различных марок, еще бродивших по рукам после войны, рассеянно, но с деланным вниманием слушал болтовню своих приятелей по «мужской» школе (обучение тогда было раздельным) «про девочек». Иногда он машинально поправлял неточности в их рассуждениях об интимных отношениях. «А ты откуда знаешь?» — спрашивали его удивленные «бывалые» собеседники, считавшие Ли чувственно отсталым и вообще безразличным к манившим их удовольствиям. «Да слышал как-то», — в таких случаях неопределенно отвечал Ли. Однажды по протекции хорошо относившегося к нему приятеля Ли попал в компанию со сверстницами из соседней школы. Своим коллегам Ли казался настолько бесперспективным и безобидным по этой части, что его забыли познакомить с подругами. Ли и не набивался, рассчитывая посидеть в сторонке и поразвлекаться, наблюдая за молодыми петушками.

Но после стакана вина одна из девушек, еще ни за кем не «записанная», показалась ему милой, и он приоткрыл ей свои глаза, с этого момента весь остальной мир для бедняжки перестал существовать. Она сама подошла к Ли и села рядом. Ее мгновенное увлечение неизвестным было замечено, и многим сразу же захотелось поближе познакомиться с Ли. Вероятно, в его поведении чуткие девичьи души ощутили какое-то тайное знание сути вещей, и оно выделило его в кругу «бывалых» трепачей. Уже ощущающие любовное томление юные девы потянулись к нему, как когда-то маленькие тюрчанки, привлеченные таинством необрезанной крайней плоти.

Его новая знакомая настояла на том, чтобы он проводил ее домой, и дала понять, что хотела бы продолжить встречи. Но Ли эта перспектива отнюдь не соблазняла: он был настолько поглощен своими изысканиями, что ему это было просто неинтересно, и он в несколько приемов незаметно снял свое очарование. Правда, ему пришлось съездить с ней за город, и он не пожалел об этом: буйное цветение садов напомнило ему о радостях бытия, и все же он дал погаснуть едва вспыхнувшему огоньку, встречи их сами собой прекратились. На такие пирушки Ли тоже больше не приглашали, но по другой причине: подруги его соучеников, считавших себя писаными красавцами, слишком часто спрашивали их о загадочном Ли, где он, что с ним, когда его можно увидеть, а такое для любого молодого и тем более самовлюбленного ухажера совершенно непереносимо.

VIII

Той же буйной весной, в конце его плодотворных изысканий, у него как-то возник интересный разговор с Лидией Петровной. Они стояли в позеленевшем от набухающих почек саду, и она осторожно спросила его:

— А ты заметил, какое большое количество евреев участвовало во всех *этих* делах двадцатых годов?

— Я заметил лишь то, что в газетах двадцатых годов действительно мелькало много еврейских фамилий. Но вы, как человек, знакомый со статистикой, как оцените количество евреев, находившихся при власти и «на виду»? В сотни тысяч?

— Ну что ты! Две-три тысячи…

— А сколько тогда было всего евреев в стране?

— Миллионов пять-шесть, думаю.

— Что же делали остальные, кроме этих «избранных», коих вместе с родственниками, если исходить из ваших подсчетов, было не более десяти тысяч?

Лидия Петровна пожала плечами, но Ли продолжал наступать:

— Мой отец был лишен части гражданских прав. Как вы думаете, среди евреев было много таких?

— Да, немало. Все капиталисты, купцы, даже мелкие лавочники и их семьи.

— А среди нэпманов, позднее ограбленных, замученных и истребленных, было много евреев?

— Да, очень много.

— А среди интеллигентов, отправившихся в эмиграцию, чтобы не иметь ничего общего с новой властью, были евреи?

— Да, немало…

— Так какая же это «еврейская власть», если она воевала с евреями и угнетала их? Не кажется ли вам, Лидия Петровна, что мелькание «правящих евреев» в газетах двадцатых годов было специально организовано этой изначально антисемитской властью? Вы посмотрите, сколько пользы ей это принесло: ропот народа по поводу их художеств конца двадцатых годов был направлен на евреев, и последующие «искоренения» вызвали симпатию масс, принявших их как войну с евреями. И, наконец, создание фальшивой, как и все в этой стране, «еврейской государственности» на Амуре, использованной для уничтожения культуры евреев на землях, где они жили тысячу лет, на землях, всего лишь сто-двести лет назад захваченных Россией.

Ли и сам не мог понять, каким образом его слова и мысли в этом случайном разговоре складываются в стройную систему. И в

этот момент в его памяти возникла яркая картина бездонной синевы над ослепительно белыми снежными вершинами высоких гор, а под палящими лучами Солнца горсточка жмущихся друг к другу крымских татар, милое бледное личико Нилы и котенок на ее руках. И Ли не удержался от пророчества:

— Теперь осталось лишь заполнить эту резервацию на Амуре изнасилованными и ограбленными людьми. Под любым предлогом. Но вряд ли это спасет империю. Она все равно обречена.

— Молчи и больше никому не говори об этом. Мне дороги твои слова: ведь последний день империи станет днем возрождения моей Украины, да и твоей тоже. Кем бы ты ни был «по паспорту» или любой другой такой же грязной бумажке, но тело твое соткано из этой земли, из этого воздуха, этой воды. Помни об этом и никогда не отрекайся!

IX

В Москву Ли отправился только в конце лета. С билетами на поезд вышла заминка, и Исана проводила его в аэропорт. Перекрашенный «Дуглас» легко прыгнул в небо, и Ли, глядя через маленькое окошко на земные поля и игрушечные строения, вспоминал слова Марка Аврелия о том, как мал уголок, где суждено жить человеку.

Дядюшка был поражен переменами, происшедшими с Ли. Он никак не мог поверить, что все это — результат самостоятельной работы, и с опаской допытывался, не было ли у Ли учителя. В конце концов Ли сумел его успокоить и получил в подарок два тома написанной дядюшкой «Истории Крымской войны».

Появление в доме нового и «надежного» собеседника привело дядюшку в хорошее расположение духа, и однажды он, заведя Ли в свой кабинет, вывалил перед ним содержимое заветной шкатулки. Ли по очереди брал в руки ветхие бумаги. Чувства его были напряжены как никогда прежде, и даже незначительные крохи изначальной энергии, таившиеся в каждом документе, вызывали отклик в его душе. У него не было времени на подробный анализ своих ощущений, и он ограничился самыми общими оценками. Одна из бумаг была подписана Екатериной Второй — какой-то указ о назначении куда-то и кем-то морского офицера Беллинсгаузена, будущего адмирала. Ли показалось, что он ощутил запах неизвестных ему, но очень приятных духов, и что бумага в его руках стала живой женской плотью, телом Алены — потом он уже был в этом своем ощущении абсолютно убежден.

Ли взял в руки другой листок и прочел первую строку стихотворения:

От меня вечор Леила…

Дальше ему читать не требовалось — он и без этого знал, что держит в руках автограф Пушкина. Ли закрыл глаза, и тысячи звезд зажглись на небе над ним, а через мгновение заалел Восток, и в лучах восходящего Солнца он увидел белую пену и изумрудную зелень морских вод, услышал шум прибоя и почти физически ощутил прикосновение к своему телу прохладной мокрой гальки и песка. Из этой пены и зелени на берег выходила прекрасная молодая женщина, и грусть воспоминаний о счастливых и неповторимых минувших днях нежно прикоснулась к его душе.

То, что было мускус темный…

«Ну, может, Бог даст, вернется и мускус темный, какие наши годы!» — подумал Ли о себе, всматриваясь в бездонное «малое» пространство потемневшей от времени лермонтовской акварели, висевшей над дядюшкиным письменным столом.

В одном конверте лежали рукописи Достоевского и письма Анны Григорьевны к дядюшке, беспредельно обожавшему Федора Михайловича, но разминувшемуся с ним во времени и потому отдавшему свои невостребованные обожание и любовь его жене и незаменимой помощнице. Подаренное ею первое «юбилейное» собрание Достоевского с ее очень теплой дарственной надписью, два листка, испещренные мелким и быстрым почерком самого Федора Михайловича и несколько ее писем были самыми дорогими реликвиями в этом доме, наравне с пушкинскими и лермонтовскими, и дядюшка часто доставал их, пересматривал, гладил рукой и взглядом.

А Ли думал сейчас о том, что автор легенды о Великом Инквизиторе двигался к той же цели, которую ему, Ли, указали Хранители его Судьбы, но иным путем, — протискиваясь между Ставрогиными, Верховенскими, Раскольниковыми и Карамазовыми. Обойти, оставив на обочине эти мутные образы, их создатель, естественно, не мог — слишком близки они были его мятущейся болезненной душе. И только однажды в их бесформенной толпе возник человек действия, знающий и охраняющий границу, которая отделяет Добро и даже не Добро, а вообще все человеческое от мира человекоподобной нелюди,

несущей Зло и крадущей Свет. Но человек этот, Порфирий Петрович, явно пришедший из времен и пространств, открытых Ли Хранителями его Судьбы, со своим ясным и точным знанием, был даже как-то непонятен и неприятен тому, кто его вызвал из небытия, — только потому, что *не мог* не вызвать. Чувствуя, что этот персонаж какой-то «чужой», «неуправляемый» и словно навязанный ему (а может быть, направленный на Землю по предписанию свыше?), автор, пытаясь защитить свои земные «авторские права», уж отыгрался на его внешности и речи: «большая *круглая* голова, как-то особенно выпукло *закругленная* на затылке» (ну чем не инопланетный гуманоид?), «пухлое, *круглое* лицо цвета больного темно-желтого», глаза «с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытые почти белыми, моргающими ресницами», фигура, имеющая в себе что-то бабье, «сюрпризик-с», «пожалуйте-с», «извините-с», «не ожидал-с, да-с»… Приземляя единственного своего Героя, стараясь не выпускать его за пределы нескольких полусмешных-полутрагических сцен, Достоевский приземлял и самого себя, и навсегда остался в созданном им тусклом и сыром, казалось бы, заполненном людьми, но таком бесчеловечном мире.

Конечно, Ли не сказал об этих своих впечатлениях дядюшке, не хотел расстраивать старика. У дядюшки тоже были свои претензии к Достоевскому: считая его гениальным художником, он называл позором Федора Михайловича его публицистику, и с этим, судя по ее письмам к дядюшке, искренне соглашалась Анна Григорьевна. Но не об этом хотелось бы поговорить Ли. В том, что Достоевский — гений, он никогда не сомневался. Говорить же о «душе», «жизни и смерти» с дядюшкой — воинствующим атеистом — Ли не решился. Такую же тему для беседы, как помнит читатель, Пастернак однажды предложил «лично товарищу Сталину» и — услышал в телефонной трубке короткие гудки.

Ли молча отложил достоевские реликвии в сторону и взял в руки обращенные к дядюшке письма Льва Толстого и Чехова. Эти листки бумаги излучали спокойствие и мир, и Ли не торопился их отдавать.

Пребывание Ли в Москве в том году было недолгим. Он опять опоздал на занятия, правда, на сей раз всего лишь на неделю. В течение этой последней московской недели он с интересом читал берлинское издание автобиографии Троцкого. Дойдя до того места, где Троцкий «логическим» путем выводил советский антисемитизм из советского антитроцкизма, Ли не смог сдержать смех. «Вот уж дурашка, — подумал Ли. — Он так и не понял, что с самого начала верно служил антисемитизму, послушно выполнял все его «ответственные поручения», а антитроцкизм

возник лишь тогда, когда русский антисемитизм уже мог позволить себе отказаться от помощи «без лести преданных революционных евреев» и действовать напрямую и самостоятельно!»

Вся воссозданная Ли история заканчивалась войной и таким образом захватывала первые годы его сознательной жизни, но он никак не мог сопоставить ее с тем миром, в котором жили он сам, Лео, Исана, с живым и радостным телом Тины, рвущимся к нему навстречу. Там не было «врагов народа», Бухарина и Троцкого, а Сталин, если и присутствовал, то только лишь в каких-то дурацких песнях, доносившихся извне, в названиях проспектов и даже целых городов (но люди никогда не забывали, как все это называлось прежде), или топорщил усы на «нужной» газетке, брошенной кем-нибудь в дворовом сортире, неподалеку от той самой груши, на которой Лидка Брондлер собственноручно повесила бы и его, и Исану, если бы сама же с помощью Васьки не отправила бы их на Восток. Впрочем, рука мертвеца все еще держала за горло страну, находившуюся где-то рядом, сразу же за пределами этого тихого двора, проникнуть куда ей было просто недосуг.

Книга восьмая
СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ

Имеющий разум поймет число зверя,
ибо оно соответствует человеческому имени.

Откровение св. Иоанна Богослова

I

Итак, «человеческое имя» зверя, истязавшего огромную страну, погруженную в рабство, мрак и жестокость, Ли для себя установил. Однако имя это, состоящее из шести «обыкновенных» букв, было ему совершенно безразлично. Более того, облик, отвечающий этому имени, Ли даже не мог воссоздать в своем воображении. Там, где прошли его детские годы и сейчас проходила юность — в тюркском селе и на окраине большого украинского города — процент стукачества был значительно ниже, чем в целом по империи, и люди там не стремились вывешивать усатые портреты ради собственной безопасности. Поэтому физиономию «вождя» Ли фактически разглядел уже во время войны, когда его портреты и частота упоминаний его имени резко возрастали по мере продвижения Красной Армии к Берлину. Бойцы, шедшие в атаку, кричали: «За Сталина, за Родину!» (Именно в такой последовательности эти слова воспроизводились во многих газетных статьях и в его «краткой биографии», выпущенной «Политиздатом» в 1947 году.)

Возвратившись в свое предместье после войны, Ли опять оказался вне политики, ибо «великий вождь», ставший очередным российским генералиссимусом и «отцом народов» и становившийся прямо на глазах «корифеем всех наук», по-прежнему ничего не значил для человека предместья.

Как бы чувствуя необходимость познакомить Ли с Хозяином поближе, дядюшка еще глубокой осенью сорок седьмого пригласил его одного в Москву буквально на два дня, поскольку смог «устроить» ему посещение демонстрации на Красной площади, где Хозяин должен был сам приветствовать ликующие толпы.

И тут Ли понял, наконец, загадочные слова, сказанные Рахмой за три года до этих событий:

— Бойся помешанных, особенно, когда их много. Избегай их, если хочешь жить!

Проходя через «сита», образованные спецслужбами для упорядочения уличной стихии, Ли вдруг ощутил никогда не знакомую ему прежде головную боль, резко усилившуюся по мере приближения к Красной площади. Ему не потребовалось много времени, чтобы установить для себя ее причину — мощный и зловещий поток излучения, которое исходило от толпы, находящейся в состоянии, близком к массовому психозу.

Уже на Манежной это излучение стало для Ли невыносимым, и он повернул назад, благо, «сита» работали как обратный клапан, не препятствуя возвратному движению. Только на бульварах Ли почувствовал себя в безопасности и провел там на скамейках несколько часов, попытавшись от нечего делать проанализировать пережитое. К его удивлению, так сильно подействовавший на него массовый психоз оказался замешанным на искреннем обожании. Второй же мощной составляющей излучений толпы был страх.

Дома ему пришлось сказать, что Хозяина он почти не разглядел, поскольку проходил далеко от трибуны, а вечером того же дня Ли пришел на Красную площадь, чтобы убедиться в том, что не пустили его туда духи толпы, а не духи места. Место было как место: обычный город мертвых, а мертвые одинаковы, независимо от того, плохими или хорошими, большими или малыми они были при жизни. И вспомнил Ли в тот же вечер другое кладбище — мусульманское, с полуразвалившимися склепами и пустой обветшалой мечетью, куда он приходил в предвечерние часы гонять шакалов и уходил до того, как опускалась Тьма и наставал их час — час Шакалов. Потом Хранители его Судьбы, раскрыв перед ним почти что у него под ногами одну из безымянных могил, дали ему понять, что *Ими* налагается запрет на такие развлечения.

Эти три «невстречи» с человеком, скрывшимся за шестью «обыкновенными» буквами, но слишком явно присутствующим здесь и всюду, — несостоявшееся посещение главной «демонстрации» империи, «бесконтактная» встреча в Сочи с последующей задержкой поезда и затем изучение истории гибели Атлантиды, еще так недавно процветавшей на обширной территории той страны, где Ли было суждено жить, несколько повысили его интерес к Хозяину. Но никакой ненависти к нему у Ли не было, ибо Ли чувствовал, что зависящее отчасти от дядюшки его собственное благополучие в конечном счете

опирается на благожелательное отношение к дядюшке Усатого, и истинные масштабы этой благожелательности стали Ли особенно понятны после того, как он в своих газетных разысканиях перешел через мутный поток грязи и смертельных (в буквальном смысле) оскорблений, вылившихся на голову дядюшки в начале тридцатых и звучавших как приговор, отмене не подлежащий. Чтобы выжить после всего этого и более того — процветать, защита должна была быть сверхмощной.

Вскоре, однако, этот интерес Ли к «вождю» натолкнулся на невидимые препятствия. Сталина везде было много, даже слишком много. Были плакатные слова, были плакатные лица, но не было интересовавшей Ли личности. Она, личность эта, была, как Кащеева смерть, — где-то за семью замками. Для обозрения же открывалась безликая «краткая биография», блестящие сапоги на портретах в рост, отдельные кадры хорошо отретушированной кинохроники. Не было даже короткометражных документальных фильмов, где бы хоть на миг приоткрывалась человеческая сущность «вождя», почти не было воспоминаний соратников об ушедших годах. Да и вспоминать, вероятно, было опасно. Какая-то из родственниц его покойной жены посмела живописать годы его сибирской ссылки и после первой публикации отправилась вспоминать дальше в тюрьму.

Да и в опубликованной части ее воспоминаний человеческого было мало. Ли прочел в них, например, что у Сталина, пришедшего в избу с мороза, со звоном падала ледяная корка с лица. Эпизод ему этот запомнился, поскольку нарушал завет классика, который, прочитав у собрата по перу описание покрытой снежинками конской морды, заметил, что снежинки могут задерживаться только на морде дохлой лошади, а на живой — растают от живого тепла и дыхания. Может быть, Сталин уже тогда был мертвым? Ускользала от Ли эта личность!

II

И вот однажды произошла уже в Харькове, незадолго до очередного отъезда Ли в Москву, очень странная встреча.

Вопреки совету Рахмы, Ли любил путешествовать во времени в пределах своей собственной жизни (а вернее, создавать для себя иллюзию такого «сентиментального путешествия»), и как-то ему захотелось снова приблизиться к предвоенному году, еще раз побывать вместе с Лео в их любимом зоопарке. Был уже несколько прохладный август, и день клонился к вечеру. Ли бродил среди клеток знакомых ему с детства зверей, совершенно

ясно и даже явственно ощущая рядом с собой погибшего на фронте Лео, слышал его голос… Древний ворон, переживший не одну войну, блеснул глазом и, как и тогда, в 40-м, слетел на пол своей узкой и высокой клетки — за монеткой, брошенной Ли, чтобы спрятать ее в тайнике — в углу, в щелях пола, может быть, рядом с довоенными монетками Лео и Ли.

Потом, чтобы вернуться в тогдашнее «сегодня», Ли задержался в университетском саду, примыкавшем к зоопарку, и присел на скамейку на пустынной аллее. Напротив него ветерок шевелил полотнище какого-то лозунга типа «Сталин — это Ленин сегодня», и от колебания ткани шевелились усы на профиле генералиссимуса, а на профиле «вечно живого» задумчиво морщился лоб. Ли же смотрел на все это невидящим взглядом, поскольку сам он находился еще где-то в пути от далекого прошлого к этому мгновению. И вдруг легкое прикосновение к его плечу ускорило его возвращение: рядом с ним на скамейке неизвестно откуда появился седой старик.

— А вы знаете, что это диавол и антихрист? — спросил он Ли, показывая на профиль Сталина.

Ли в ответ лишь пожал плечами, а старик продолжал:

— У него на одной ноге копыто, а его партийный билет имеет номер 666. Вы знаете, что это за число?

— Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть, — ответил Ли словами св. Иоанна Богослова.

— Знаешь! — удивился старик, до этого кивавший головой при каждом слове Ли, и как будто кто-то третий продолжил чтение Библии, раскрытой на листах Откровения, а старик и Ли молча слушали его: «…образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его… кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией…» (Откр.13: 15–17;14: 9—10).

Несмотря на этот интересный своей странностью разговор и вообще странное появление старика, Ли еще не совсем вернулся из прошлого, и от этого непрошеного вторжения в свой мир еще острее почувствовал острую необходимость уединения.

— Ну, мне пора, — сказал он, поднимаясь.

— Не смею задерживать, — церемонно ответил старик, слегка

наклонив голову, не вставая.

Пройдя метров десять, Ли вдруг захотел задать этому опасно разговорчивому старику какой-то вопрос и оглянулся, но ни на аллее, ни на скамейке его уже не было. На мгновение пространство вокруг Ли как-то странно замерло и опустело так, что Ли показалось: он вообще один на свете. И Ли поднял голову к небу. А там на розово-голубом фоне черные стрижи выписывали свои черные письмена, а вершины старых тополей, словно от его взгляда, вдруг зашелестели, подставляя воздушным струям и лучам предзакатного Солнца свои серебристые листья. И Ли стало покойно на душе: Хранители его Судьбы были здесь, рядом с ним, в густых кронах этих старых деревьев, он это знал и чувствовал.

Воспоминание же об этом необыкновенном мгновении навсегда осталось в сердце и памяти Ли.

III

Помимо загадочного свидания с неизвестно откуда взявшимся и мгновенно и неизвестно куда исчезнувшим истолкователем Откровения, у Ли была еще одна встреча, носившая менее мистический характер, но памятная тоже и, вероятно, не случайная. Место этой встречи не было для Ли святым и связанным с дорогими его сердцу людьми и воспоминаниями. Это был базар, тот самый Благовещенский рынок, или Благбаз, или Большой базар, где он еще до войны впервые увидел калек и инвалидов. Они и теперь были тут как тут — еще в большем количестве и с еще более страшными увечьями. Взяв от них все, что только можно было взять, империя, именовавшая себя самой человечной в мире страной, выбросила остатки их плоти с еще теплившейся в них жизнью на произвол Судьбы. Впрочем, и судьбы людей относительно здоровых, еще недавно красовавшихся в офицерской форме в освобожденных ими от немцев городах Европы, были не намного веселее, чем у этих калек: гордые победители, два-три года назад топтавшие знамена вермахта, теперь боролись из последних сил, спасая от нищеты и даже голода своих жен и детей. Что тут могло сохраниться от былой гордости?

Эти недавние герои заполняли сейчас базар, стараясь подороже продать то немногое, что прихватили с собой, возвращаясь из Европы домой в империю.

Вещевая часть рынка состояла из вечно бурлящего толчка и постоянных рядов, где лежал менее ходовой товар, а поскольку

магазинов тогда еще было мало, на базар несли все, включая книги и марки. Само собой понятно, что книжные и филателистические ряды влекли Ли больше всего, да и на базар приходил он, в основном, ради того, чтобы на них посмотреть.

Однажды, когда он увлекся изучением довольно редкой коллекции, к нему обратился офицер лет тридцати пяти с капитанскими погонами:

— Марками интересуешься? — спросил он. — Я могу подарить тебе целый альбом. Мне он не нужен.

У Ли возникло подозрение, что перед ним гомик, и он решил уклониться от продолжения разговора с ним. Но офицер и не думал от него отвязываться. Они перешли в книжные ряды, и там Ли смог убедиться в наличии у своего знакомого определенной эрудиции в области литературы. Разговор становился интересным, и Ли, сам того не замечая, многое рассказал о себе своему собеседнику в виде ответов на, казалось бы, беспорядочные вопросы. То, что с ним беседовал человек, имеющий некоторый навык допросов, Ли понял значительно позднее.

Когда они вышли на окраину рынка, Капитан приступил к делу.

— Послушай, у меня довольно много такого барахла, — сказал он, кивнув в сторону гудевшего, как рассерженный улей, толчка. — Привез с Запада, но я не могу его сам продавать — погоны мешают и вообще… Одним словом, поговори с матерью, а я скупиться не буду, и тебе с нею будет помощь.

Ли пообещал поговорить дома, и они условились о следующей встрече. Исана пожурила его за общение с незнакомцем, но все же решила с ним встретиться: его предложение, позволявшее меньше зависеть от родственников и от превратностей Судьбы, было заманчивым.

Капитан стал время от времени посещать Исану и Ли с чемоданчиком, набитым всяким ходовым трофейным тряпьем. Постепенно он стал рассказывать кое-что о себе. Иногда эти рассказы бывали противоречивыми: временами Капитан, казалось, забывал, о чем говорил в прошлый раз, а может, он только проверял внимательность слушателей, но элементы правды в его рассказах все же ощущались. И однажды он обронил, что в последние месяцы своего пребывания на Западе он состоял при будапештской комендатуре.

Когда Ли услышал такое, он сразу вспомнил один оставшийся в его памяти разговор во время его первого приезда в Москву. Разговор этот касался возвращения в Москву Александры Михайловны Коллонтай, входившей, как и ее приятельница

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которой Ли уже был представлен, в круг довольно близких знакомых дядюшки и обеих тетушек. Уйдя с поста посла империи в Швеции, Коллонтай оставалась советником министерства иностранных дел, но эта ее пышная должность была фикцией даже в большей степени, чем у дядюшки, тоже значившегося там консультантом, но хотя бы участвовавшего в подготовке некоторых документов. Так что свободного времени у этой старой и много повидавшей в своей жизни дамы было очень много, и она занялась весьма опасным в империи делом: стала писать мемуары.

Увы, Судьба распорядилась так, что многие герои ее воспоминаний ушли в «зону молчания», и из обширной рукописи история ее бурной жизни превратилась в тоненькую книжку. Хозяин не поленился ознакомиться с ее сигнальным экземпляром и милостиво разрешил издать самым маленьким тиражом.

Книжку эту в гранках читали и обсуждали тетушки Ли, и обсуждение это продолжаюсь при нем. Тогда же и зашла речь о том, что не только запретного прошлого, но даже и некоторых последних международных событий, связанных с ее Швецией, она не могла коснуться в своем повествовании. Именно тогда Ли впервые услышал о Рауле Валленберге, молодом шведском дипломате, спасшем десятки тысяч евреев от фашистских концлагерей, о его таинственном исчезновении после вступления советских войск в Будапешт, исчезновении, осложнившем последние месяцы пребывания Коллонтай в Стокгольме. И вот теперь перед Ли был человек из того самого Будапешта, и он не мог удержаться от вопроса о судьбе Валленберга.

Реакция Капитана на этот вопрос была молниеносной, и Ли, приподнятый за шиворот, повис над землей.

— Откуда и что ты знаешь о Валленберге?

Ли спокойно «раскрыл источники информации», поскольку из услышанных им московских разговоров никто секретов делать не собирался. Очевидно, они, эти «источники», располагались далеко за пределами возможностей Капитана, и отпустив Ли, он сказал:

— Я знал Валленберга. Никуда из Венгрии он не уезжал…

Однажды Капитан сообщил Исане, что он едет в длительную командировку и вернется не ранее, чем месяца через два. После его отъезда Исана и Ли получили по его записке за него в гарнизоне паек — мешок картофеля и пакет лапши. Капитан все не ехал, и они стали потихоньку поедать этот паек. Постепенно пришла уверенность, что он уже никогда не вернется: то ли его выбросили из вагона на каком-нибудь перегоне ненадежные попутчики, то ли «расстреляли сгоряча» не менее ненадежные

«боевые друзья». А может быть, его, невольного свидетеля ареста или гибели Валленберга, устранили бериевцы? Ли не сомневался, что Капитан знал больше, чем сказал.

На память о нем остался альбом марок, содержавший довольно редкую европейскую коллекцию, но имевший один существенный недостаток: строгий немецкий фатер, даря его любимому сыну, о чем свидетельствовала сентиментальная немецкая надпись, позаботился о том, чтобы у ребенка не развивались еврейские наклонности продажи и мены, и во избежание соблазна приклеил все марки к альбомным листам каким-то немецким чудо-клеем, тем самым их безнадежно обесценив.

И еще Ли сохранил в памяти странную фразу Капитана о Валленберге, решив при случае обсудить ее со знающими людьми.

IV

В год этих необычных встреч Ли был в Москве совсем недолго, дядюшку же видел только три дня, один из которых ушел на посещение строящейся подмосковной дачи в новом академическом поселке, подаренном Хозяином выдающимся ученым империи в надежде на получение от них более высоких дивидендов. Условий для задушевных бесед практически не было, и все свое свободное время Ли потратил на чтение недоступных ему в другое время и в другом месте книг, отложив выяснение интересовавших его вопросов на будущее.

Он начал с «Бесов», с коими дядюшка не расставался, а затем Ли переключился на Розанова и уже не смог от него оторваться, читая одну книгу за другой. Несмотря на полное несогласие с «прохвостом Васькой», «нововременской швалью», как именовал Розанова некогда знакомый с ним дядюшка, Ли был пленен великолепием его стиля. За розановской «Легендой о Великом инквизиторе» последовали «Уединенное» и «Опавшие листья», поразившие его предельной откровенностью, граничащей с беспощадным, в первую очередь к себе самому, душевным раздеванием. Ничего подобного Ли не встречал даже в достаточно искренних «Былом и думах».

Все эти занятия отвлекли Ли от попыток разобраться в личности Хозяина. Он даже просто забыл о нем, и только мощный поток омерзительной лести и холуйства по случаю пышнейшего семидесятилетия «гения всех времен и народов», последовавшего за куда более скромным стопятидесятилетием со дня рождения

Пушкина, напомнил ему о его существовании. Все газеты много месяцев подряд каждый день печатали приветствия «корифею» всех возможных наук, а для показа всех полученных им «подарков» очистили от всякой революционной рухляди Английский клуб. Открытие этого супермузея, по рассказам дядюшки, не обошлось без конфузов: когда Хозяин прибыл «лично» осмотреть экспозицию, в первом же зале его встретили подаренные каким-то художником портреты Желябова и Перовской. Но бывший бандит и участник ряда дерзких грабежей, или «экспроприации», как любили говорить партийные «товарищи», давно уже ощущал себя более близким к императору, чем к террористам, и тоже опасался покушения, которое — в этом он был уверен — при первой возможности будет организовано «врагами» или «соратниками». А потому, помрачнев, Сталин сказал:

— А *это* убэрыте!

И ушел, не пожелав больше ничего смотреть. Такие вот события заставили Ли вспомнить о своем подзащитном (к этому времени он уже освоил Ильфа и Петрова, «разоблаченных» тогда как «буржуазных писателей, враждебных советскому строю», и с удовольствием использовал в своем лексиконе их слова и обороты). В этом двойном пушкино-сталинском юбилейном году дядюшкина подмосковная дача была уже совсем освоена, места там хватало всем и, учитывая, что на следующий год Ли предстояли выпускные экзамены и заботы о продолжении образования, дядюшка забрал его под свое крыло на все лето.

Побыв несколько дней на даче с тетей Манечкой, Ли уехал в Питер, где в это время в своей достаточно просторной питерской квартире, представлявшей собой часть бывших апартаментов графа Витте, проводил время дядюшка, заканчивая изучение очередной порции редких книг и архивных материалов, относящихся к Петровской эпохе.

В Питере Ли в основном был предоставлен самому себе. У него даже была своя комната на первом этаже (основная часть квартиры располагалась на втором) с видом на Петропавловскую крепость, с отдельным выходом и своим ключом. Машиной, которая выделялась дядюшке на все время его пребывания в Питере, Ли почти не пользовался и изучал город ногами. Впечатлений у него было много, но не было покоя на сердце: чем-то этот город беспокоил душу, что-то в нем было несовместимое с миром Ли. Одна лишь встреча со старым Лекой Филатьевым в теплое летнее утро в Летнем саду, Лекины воспоминания о его далекой юности, проведенной рядом и вместе с Лео, о довоенной Одессе, о тех, кто далек и кого уже нет, о том, как он и Лео

поднимались на Исаакий весной 41-го, несколько потеснили тревогу вечной тихой печалью. А когда пришел срок, Ли с удовольствием вернулся на подмосковную дачу. Через день туда же прибыл дядюшка с женой.

V

В отличие от недавних питерских дней и от прошлых приездов в Москву, на сей раз дачная жизнь шла неспешно, и времени для общения было более чем достаточно. По вечерам иногда приходили гости — обитатели соседних дач. Особенно часто заглядывал Иван Михайлович М. со своей супругой. Иван Михайлович довольно продолжительное время был послом в Англии и поднялся по дипломатической лестнице до высокого уровня заместителя «народного комиссара» по иностранным делам. Потом в министерстве иностранных дел задули холодные ветры, и деятелям союзнического периода с их теплыми личными связями с министрами и милордами места там уже не нашлось. Ивана Михайловича назначили академиком, поскольку Академия наук при всем уважении Хозяина к наукам как к таковым, была у него одним из учреждений, куда отправлялись на дожитие ставшие ненужными, но не подлежащие или еще не подлежащие расстрелу функционеры.

Поскольку Иван Михайлович принадлежал к кругу «профессиональных революционеров», считалось, что наиболее близкой из наук ему была история, хотя бы потому, что М., как ему казалось, сам ее делал, и он, возглавив группу по «исследованию» то ли Испании, то ли Португалии, стал понемногу трудиться на этой новой и не особенно интересной для него, привыкшего к живой жизни, ниве.

К дядюшке он приходил с большой охотой, поскольку дядюшка и тетушки Ли образовали как бы островок Европы, причем Европы «золотого века», напоминавшей Ивану Михайловичу о его молодости, прошедшей в партийных забавах в Швейцарии, прекрасной Франции, Швеции и еще бог знает где. Дядюшка тоже относился к нему с определенным интересом, и интерес этот был связан, естественно, не с историей Испании и Португалии, известной ему значительно полнее и глубже, чем Ивану Михайловичу, а с недавними событиями — переговорами с союзниками, встречами глав «Большой тройки», и особенно с той, где Иван Михайлович сидел рядом со Сталиным, — Ялтинской конференцией, определившей во многом и надолго судьбы народов в послевоенной Европе. Ради этого дядюшка был даже

готов терпеть брюки на супруге Ивана Михайловича и успокаивал тетушек, возмущенных такой фривольностью в одежде, ссылками на «английские привычки» бывшей послихи.

Надо сказать, что тетя Манечка относилась с некоторым предубеждением не только к послихе, но и к ее супругу, подозревая, что он никакой не Иван Михайлович, а скорее Израиль Моисеевич.

— Я *их* носом чую, — говорила эта внучка и правнучка хасидских цадиков.

Сама тетя Манечка, как и дядюшка, по своим паспортам были русскими. При всеобщей паспортизации народов советско-российской империи она предъявила выписки из церковных книг об их крещении по православному обряду, что и послужило основанием для их причисления к великороссам. Тетя Манечка очень гордилась тем, что она совершила этот судьбоносный поступок в тот исторический момент, когда, по ее словам, «эта нация», то есть — евреи, была в чести и при власти, что придавало ее поступку, во-первых, бескорыстность, а во-вторых, дальновидность. Ли пытался объяснить, в чем она заблуждается, но это оказалось сложнее, чем убедить Лидию Петровну: тетя Манечка не хотела расставаться со своими иллюзиями.

Ли вообще очень веселился, наблюдая национальные взаимоотношения в семействе дядюшки. Высказывания тети Манечки по еврейским проблемам, когда дело выходило за пределы родственного круга и касалось внешнего мира, можно было расценивать как крайне антисемитские. Однако, если где-то еврей пострадал за то, что он еврей, а таких случаев в стране становилось все больше и больше, и тети, и дядюшка очень переживали, особенно исконно русская тетя Леля. В том, что никто здесь не забыл о своих «корнях», Ли убедил и такой эпизод, невольным свидетелем которого он оказался: когда кое-как обустраивался их дачный участок, тетя Лелечка, вдруг вспомнив молодость, прошедшую отчасти на хуторе в «малороссийских степях», произнесла:

— А нельзя разве тут завести каких-нибудь курочек, а то будэ нэмов жыдивська хата!

Тетя Манечка была буквально шокирована таким пассажем и возмущенно пожаловалась Ли:

— Она же всю жизнь прожила с евреем. И неплохо прожила, хоть и без петушков и курочек! Как же она может позволять себе такое?

Ли отмалчивался, состроив серьезную рожу, чтобы скрыть веселье, внушенное ему этой размолвкой.

Внешне, однако, в семье все было пристойно, и Иван

Михайлович, приходя на вечерний чай, естественно, не ощущал никаких внутренних трений, а тем более, тети-Манечкиных подозрений по поводу его скрываемого еврейства — люди были здесь скромны и деликатны. Иван Михайлович же, избавившись, как ему казалось, и вероятно — ошибочно, от необходимости строжайшего самоконтроля, расслаблялся, чувствовал себя раскованно, рассказывал много и образно.

В одну из таких встреч за чаем Ли и поведал ему и дядюшке о загадочном старике и его смелых речах, касающихся «отца народов». Дядюшка, внимательно выслушав его рассказ, засмеялся и сказал:

— Нынешняя молодежь неважно владеет русским языком. Знай же, что в народе «копытом» называют сросшиеся пальцы на ноге, а это, возможно, не такое уж редкое явление. Ну, а что касается номера партийного билета, то это по части Ивана Михайловича, поскольку он в *этой* партии, кажется, прежде Сталина состоит, а я далек от всего этого.

Иван Михайлович к рассказу Ли отнесся весьма серьезно и серьезно выразил сомнение в том, что номер билета у Сталина — 666. Тем более что и билеты появились не сразу, и партия распалась уже при Сталине (сам Иван Михайлович побывал в меньшевиках), и билеты не раз меняли. От обсуждения рассказа Ли разговор перешел к личности Хозяина. Иван Михайлович, не лишенный артистического дара, показывал его походку, жесты, манеру говорить. Он рассказывал и показывал, как Сталин вел себя на переговорах с иностранцами и на «внутренних» заседаниях, как он выглядел, расслабившись среди «своих», например, на подмосковной даче, где Ивану Михайловичу приходилось бывать. Кое-что добавлял от себя дядюшка, встречавшийся со Сталиным не в домашней, но и не во вполне казенной обстановке.

Потом разговор коснулся дачи «вождя» в Кунцеве, и Иван Михайлович подробно описал внутреннее устройство и обстановку тех комнат, где ему приходилось бывать. Память у него оказалась цепкой, а Ли, что с ним случалось крайне редко, «пристроился» к его воображению, и вскоре он как бы глазами Ивана Михайловича увидел во всех деталях и подробностях «малую и большую» столовую кунцевской дачи. Особенно его заинтересовала «малая» столовая, поскольку в ее обстановке, в наборе вещей и даже в их композиции он впервые почувствовал нечто личностное, в то время как «большая» столовая с ее громадным столом на чуть ли не сотню человек была, по мнению Ли, совершенно безликой, если не считать патефона и, главное, грампластинок с крестиками, поставленными Хозяином на

наиболее ему понятных и приятных песнях типа «Розпрягайтэ, хлопци, конэй…» и ей подобных.

Подвернувшимся под руку карандашиком на бумажной салфетке Иван Михайлович даже довольно сносно для гуманитария нарисовал, каким образом располагались в «малой» столовой относительно небольшой обеденный стол, мягкий диванчик и где находился большой камин, который очень любил Хозяин. По мнению Ивана Михайловича, основанному на некоторых подмеченных им мелочах, эту комнату в отсутствие гостей Сталин часто использовал и как свой кабинет, и даже как спальню.

Вероятно, во взгляде Ли, остановившемся на этом рисунке, Иван Михайлович почувствовал что-то не совсем обычное, и он вдруг ловко выдернул бумажку из его рук и разорвал ее на мелкие кусочки. «Съест или не съест?» — с искренним интересом наблюдал Ли за старым подпольщиком, скатывавшим пальцами в несколько шариков обрывки «секретной» бумажки. Но Иван Михайлович салфетку не съел, и, как ему казалось, незаметно опустил свои шарики в карман пиджака.

Конечно, весь рисунок, превращенный объяснениями Ивана Михайловича и воображением Ли в объемную картину, безо всяких бумажек навсегда отложился в памяти Ли, и наивная конспирация «профессионального революционера» только его позабавила. Когда несколько лет спустя — вскоре после смерти Хозяина — он переступил порог «малой» столовой, его поразило полное сходство реальности и той картины, что жила в его воспоминаниях об этом тихом подмосковном вечере.

VI

А о наивности Ивана Михайловича как подпольщика и конспиратора Ли еще раз подумал уже в связи с более печальным поводом. Когда он года через два снова приехал в Москву, он узнал, что тот арестован. Арест совпал с волной расправ над еврейской интеллигенцией, и это вроде бы, с одной стороны, подтверждало предположение тети Манечки о тайной принадлежности Ивана Михайловича к гонимому народу, но, с другой стороны, страна уже катилась такими быстрыми темпами к гитлеровской формуле «Я сам буду решать, кто еврей, а кто нет», что для того, чтобы во мнении так называемой «советской общественности» стать евреем, вовсе не обязательно было им быть на самом деле. Впрочем, к приведенной выше формуле Ли пришел независимо от бесноватого Адольфа, и в его выводах

фраза эта была облачена в весьма близкую «советскому народу» форму популярной песни:

Когда страна прикажет быть евреем,
У нас евреем становится любой.

В связи с арестом Ивана Михайловича Ли воочию убедился недюжинной отваге своего дядюшки. В те времена отношение к нему лично Хозяина несколько изменилось, что сразу было зафиксировано холуйским окружением «вождя», и немедленно на дядюшку накинулась стая взбесившихся «партийных» жучек и мосек. Сам дядюшка напоминал Ли медведя в не раз описанном в художественной литературе бою с охотничьими собаками, когда благородный зверь, рыча, сбивает лапами то одну, то другую шавку, а те все лезут и лезут без числа. Но, несмотря на собственное, близкое к критическому положение, дядюшка не захлопнул свою дверь перед носом супруги Ивана Михайловича, как это сделали многие «близкие» друзья бывшего дипломата, и даже перестал обращать внимание на ее брюки, и всячески стремился поддержать ее не только добрым словом, но и действием. Во всяком случае, в один из приездов Ли в Подмосковье в те годы, дядюшка ему сказал:

— Ты сходи на дачу М., отнеси эту книжку, а если она скажет, что назад идти поздно, и предложит остаться, то оставайся: ей страшно одной…

Так оно и случилось. В доме прислуги не было — разбежалась от страха после ареста М. Пока хозяйка приготовила чай, стемнело. Ночь была безлунной и по-летнему густой, почти как в Долине или в Сочи. Ли старался, чтобы его взгляд не встретился с ее взглядом, поскольку всей душой ощущал какое-то чувственное напряжение во всей атмосфере этого вечера, а любовное приключение с экстравагантной женщиной «за пятьдесят» в его планы и намерения не входило. И тут в лесу, ставшем частью дачного участка и подходившем почти вплотную к веранде, где происходило чаепитие, замелькали огоньки.

— Это что? — спросил Ли.

— *Они* шарят, — объяснила хозяйка. — Здесь уже давно все перерыли во время обыска, а теперь, наверное, ищут под землей. Психи…

И оставив неубранную посуду, она отвела Ли в его комнату.

От новизны впечатлении Ли, вопреки обыкновению, довольно долго не мог заснуть. Он потянулся к книжкам, в беспорядке лежавшим на небольшой полке рядом с тахтой. В его руках оказался «Дневник писателя на 1877 год» — переплетенные

томики марксовского издания сочинений Достоевского. Краткое содержание разделов, вынесенное в оглавление, его привлекло, и он погрузился в чтение. Вскоре, однако, ему показалось, что он листает продолжение гоголевских «Записок сумасшедшего» либо историю болезни душевнобольного, вернее, иллюстрации к скорбному листу. В сочетании с тем, что происходило в этот момент на территории дачи, создавалось впечатление совершенно дикой дьявольской фантасмагории. При этом у Ли возникла абсолютная уверенность в тесной взаимосвязи «мыслей» Достоевского с действиями лесных «следопытов».

Он брезгливо отбросил книжку, и ему захотелось вымыть руки, а еще более захотелось хотя бы одну затяжку гашиша. От анаши его думы обратились к образам прекрасной Долины, а от Долины, конечно, к прекрасной Рахме. Она пришла к нему, живая и близкая, породив желание, и плоть его напряглась и отвердела. И тут Ли подумал о причудах судьбы — и о том, как за несколько лет, за какой-то миг в бескрайней Вечности, маленький подпасок, засыпавший прямо на меже под звездным небом, превратился в нынешнего Ли, лежащего с книжкой в руках в «своей» комнате на фешенебельной вилле, под старинной английской гравюрой, в мягком свете торшера, и одного его желания достаточно, чтобы его разгоряченную плоть стала ласкать та самая женская рука, которую целовал Бернард Шоу, сэр Антони Иден, принцы королевского дома и сам Уинстон Черчилль. Мысленно скорчив соответствующую гримасу Черчиллю и другим милордам, сэрам и герцогам, Ли, довольный собой, наконец, заснул. Последнее, что он услышал перед сном, был звук мотора отъезжающей машины: отважные орлы-стервятники выполнили очередное опасное ночное задание и поехали получать награды за доблесть, проявленную в схватках на невидимом фронте.

Ивану Михайловичу удалось пережить Хозяина и завершить свое земное существование на свободе и в почете. Скончался он на руках своей верной супруги, успев издать — в назидание молодежи, как он говорил, — несколько книг своих мемуаров, задуманных еще в тюряге. Случилось это уже в те годы, когда на белом свете не было уже ни тети Манечки, ни дядюшки, и в мире Ли давно сменились декорации, а описанные здесь события в жизни Ивана Михайловича, к коим Ли оказался причастен, вспомнились ему лишь однажды, когда в большом зале Ливадийского дворца он увидел огромную фотографию политического застолья, где Иван Михайлович был запечатлен рядом с Хозяином, слегка склонившим к нему свою мудрую седую голову.

VII

Но это было потом. А в то лето Ли предстояла еще одна незапланированная встреча. Однажды, немного заскучав на даче, он поехал с шофером Василием в Москву без ночевки, рассчитывая побродить по книжным магазинам, пока тот будет по тщательно составленному тетей Манечкой списку выполнять поручения и делать хозяйственные покупки.

На обратном пути они вместе заехали в министерство иностранных дел, где Василию выдали для дядюшки пакет относительно свежих западногерманских газет. Их дядюшка считал лучшим источником информации, поскольку и сами новости, и их толкования были в них тогда еще полностью идентичны американским образцам, но попадали они в Москву на военно-транспортных самолетах на две недели раньше, чем газеты Соединенных Штатов.

Покрутившись еще по городу по всяким делам, они выехали за его пределы, когда Солнце уже клонилось к закату. Несмотря на то что шли они на довольно большой скорости, сзади их стал нагонять шум каких-то резких команд. При его приближении слова этих команд стали различимы и содержали требование остановиться у обочины. Шоссе в несколько мгновений опустело. Ли, на всякий случай, спрятал «вражескую прессу», которую изучал в дороге, и стал смотреть в окошко. Показались первые машины кавалькады. Ли приготовился проводить их взглядом, но тут произошло непредвиденное: что-то случилось со второй машиной, и весь караван остановился на центральной — правительственной — полосе дороги, а из той, что застыла как раз напротив окна Ли, вышел некий сморчок-старичок. Василий, не оборачиваясь к Ли, сказал: «Смотри! Сам Хозяин!»

И только тогда Ли, наконец, понял, кто этот сморчок, и жадным взглядом впился в его серовато-желтоватое рябое лицо, стараясь запомнить каждую черточку. Чтобы облик Хозяина во всех подробностях отложился в его памяти навсегда, Ли, насмотревшись вдоволь, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Тотчас перед его мысленным взором возник этот желтый лик, да так четко, что Ли разглядел довольно глубокую оспину под правым глазом на шершавой щеке. Когда Ли завершал «упаковку» этого образа и его «перемещение» в закрома своей памяти, за стеклом окна со стороны «вождя» раздался одобрительный голос:

— Ну, ты — молодец! Меньше будешь видеть, крепче будешь спать и дольше проживешь!

Это бдительные чекисты рассыпались цепью, прикрывая своими телами «корифея всех наук» от возможных террористов,

засевших в остановленных машинах, и один из охранников уделил свое драгоценное внимание застывшему от напряжения Ли, неправильно истолковав его позу.

Ли посмотрел ему вслед, а потом перевел взгляд на кавалькаду и увидел, как в десятке метров от него «вождь» мирового пролетариата неуклюже влазил в свою машину. Вероятно, взгляд Ли был в это время почти материален, как у лейтенанта Глана, потому что «вождь», перед тем как закрылась дверца, подозрительно посмотрел в сторону обочины, но лучи заходящего Солнца падали так, что он увидел только блеск стекол. Дальше не мог проникнуть даже его всемирно известный своей «гениальной прозорливостью» взгляд. Кто-то услужливо захлопнул дверцу, и кавалькада умчалась вдаль, а Ли, еще и еще раз, не понимая, зачем ему все это нужно, вызывал в памяти образ Хозяина, сверял детали по своему прощальному взгляду, а затем вернулся к западногерманским газетам и к довольно свежему номеру «Панча», тоже оказавшемуся в этой пачке.

Что-то, однако, мешало ему сосредоточиться на веселых карикатурах, и эти помехи исходили из мира, абсолютно несовместимого со старым добрым английским юмором. Ли с неохотой вернулся к недавно пережитому и, перебрав в памяти все происшедшее, обнаружил, что этим «что-то» был сверкнувший в предзакатных лучах тревожный, тяжелый и по-звериному острый взгляд Хозяина. Странное чувство не оставляло Ли: этот пытающийся увидеть невидимое взгляд почему-то казался ему знакомым; *так* на него уже смотрели однажды. И наконец он вспомнил: года два назад, когда дядюшка знакомил его со своим московским миром, ежедневно раздавая различные мелкие поручения, он как-то вручил ему небольшую стопку книг, привезенную Василием из «Ленинки», и попросил занести ее тут же в доме «одной из студенток». Ли с удивлением подумал тогда: «Чьей же дочкой должна быть эта студентка, если книги для домашних занятий ей подбирает сам академик Т.?», — но ничего не сказал, потому что давно уже взял себе за правило не спрашивать ничего лишнего. Книжки Ли отдал на пороге, «в собственные руки», и полученная им легкая улыбка благодарности жила на лице «одной из студенток», казалось, совершенно отдельно от холодного настороженного взгляда, пытавшегося пронзить его насквозь. «Что ей от меня нужно?» — недоумевал тогда Ли, и только теперь он догадался, что имя молодой дядюшкиной соседки — Светлана. И подумал: «Дай Бог, чтобы только в этом они походили друг на друга». Ли не хотел верить в передачу Зла «по наследству».

VIII

Уже на даче, под впечатлением этого происшествия, вспомнив чекиста, чем-то похожего на его харьковского знакомого, Капитана, Ли наконец рассказал дядюшке о его странной фразе по поводу судьбы Рауля Валленберга, фразы, которая могла означать, что шведа прихлопнули прямо в Будапеште или на его окраине. По Москве же теперь ходили слухи о нем как о живом и находящемся в лапах бериевских служб. Дядюшка задумался и сказал:

— Ты знаешь, все может быть. Тем более что слова твоего Капитана совпадают и с заявлением, сделанным лет пять назад Вышинским, что в России Валленберга нет. Дело в том, что Хозяину явно хотелось, чтобы в зоне его влияния в Европе евреев было бы поменьше, и поэтому вряд ли симпатизировал деятельности Валленберга, по сути дела, препятствовавшей этим его планам. Что и послужило причиной его гибели, а отнюдь не шпионаж. Кому же не известно, что все дипломаты — шпионы?

Тут пришла очередь задуматься Ли: во-первых, его несколько удивил дядюшкин цинизм: о судьбах, о жизни и смерти сотен тысяч людей он говорил, как о пешках на шахматной доске; во-вторых, его удивило и то, что он снова был «выведен» на еврейский вопрос, и вопрос этот переплетался с Хозяином. Ли не имел оснований считать Сталина биологическим антисемитом: среди его приближенных всегда были и оставались евреи. Наконец, Хозяин хорошо относился к дядюшке, вытащил его из тюрьмы в начале 30-х и потом, перед самой войной и во время войны, часто встречался с ним, любил беседовать. Не мог же он не знать, если только сам хотел об этом не знать, что дядюшка — выкрест? Вероятно, «вождю» были неприятны некие «специфические» черты еврейского характера, коих в действительности могло и не быть. Во всяком случае, жизненный опыт Ли, уже сталкивавший его к тому времени с евреями из Белоруссии, Украины — Восточной и Западной, России, Бухары и Польши, позволял ему сделать вывод о глубоком несходстве этих людей между собой и об отсутствии у них каких-либо общих черт, кроме тех, что присущи всем гонимым и отверженным. Таким образом, Ли, еще не прочитав блестящих парламентских речей сэра Томаса Маколея в период обсуждения билля о натурализации евреев в Соединенном Королевстве, пришел к тому же выводу, что и прославленный лорд-историк: основной причиной стремления евреев разных стран к единению является их одинаково угнетенное в этих странах положение, и если бы в ряде стран стали преследовать или ограничивать в правах некую

часть граждан по иному признаку, например, курносых, то непременно бы возникли международные объединения курносых.

В последние дни этого своего приезда в Москву Ли начисто забыл о Хозяине, стараясь получить как можно больше информации обо всем, что его интересовало и о чем он не мог узнать, услышать, прочитать в Харькове. Но, когда он вернулся домой, события в империи стали развиваться таким образом, что даже безразличный ко всем внешним и внутренним государственным делам Ли почувствовал ускоряющееся нарастание напряженности, и хорошо теперь зная, *кто* за всем этим стоит и без *кого* в этой стране ничто не сможет произойти, он вернулся к своим попыткам до конца познать и оценить личность этого человека. Или не человека?

IX

Пытаясь постичь сущность Хозяина, Ли обратился к его собственному, так сказать, творчеству. Когда он взял, чтобы далеко не ходить, в школьной библиотеке наугад несколько пылившихся на полках брошюр Сталина и какой-то сборник под названием «Марксизм и национальный вопрос», по школе среди учителей пошел шумок: «Ли взял Сталина!», «серьезный мальчик», «кто бы мог подумать!», «еврей — всегда еврей: обязательно будет пытаться высунуться», «пыль пускает» — таким был многоголосый хор за спиной Ли, совершенно не обращавшего внимания на впечатление, производимое его поступками. Тем временем подоспели новые откровения «корифея», содержащие «открытия мирового значения» в области языкознания, так что материалов для оценок и обобщений у Ли было предостаточно.

В своих первых впечатлениях Ли, мозг которого привык к образам мышления Герцена, Соловьева и Розанова, отражавшим, при всем их различии, биение живой мысли и ее попытки раздвинуть пределы человеческих представлений об окружающем мире и о собственной внутренней сущности, не мог отделаться от ощущения, что он тайно наблюдает мыслительный процесс дебила, старательно повторяющего поставленный вопрос и затем еще более старательно дающего на него полный ответ с повторением в этом ответе еще раз полного содержания поставленного им же самим вопроса.

По своему интеллектуальному уровню многие творения «гения всех «времен и народов» были очень близки сочинениям глуповских градоначальников, помещенным Щедриным в разделе «Оправдательные документы» «Истории одного города». И что

особенно удивительно: если Щедрин, чтобы показать личностные различия градоначальников, привел три «документа», принадлежавшие перьям Василиска Бородавкина, князя Ксаверия Георгиевича Микаладзе и Беневоленского, то в «сочинениях» постщедринского градоначальника города Глупова — Иосифа Виссарионовича Сталина — соединялись черты всех его предшественников. Как Бородавкин, он задавал себе вопросы и сам отвечал на них, как его земляк князь Микаладзе, любил поднимать на принципиальную высоту второстепенные вопросы и, как Беневоленский, любил пользоваться тезисным принципом изложения своих «мыслей». Поражало также предвидение Щедрина, давшего в примечаниях к творению Бородавкина описание его рукописи, совпадавшее по уровню грамотности с «творчеством» «вождя», создавшего такие новаторские обороты, как «любов побеждает смерть», «никогда не был прочь» и т. д. Распотешил Ли и такой сталинский перл: «Соединение русского революционного размаха с американской деловитостью — в этом суть ленинизма в партийной и государственной работе»…

Единственное, что сразу исключил Ли, — это использование посторонней помощи при написании этих политико-философских шедевров. Единство «стиля», неповторимость и особенности изложения неоспоримо свидетельствовали о том, что все они были созданы самостоятельно одним и тем же лицом и только слова подправлены насмерть перепуганным придворным стилистом: большего он себе позволить не мог, понимая, что рискует головой.

Вывод о дебильности «вождя», однако, совершенно не вязался с тем, что уже слышал Ли от людей, лично его знавших — от дядюшки, от Ивана Михайловича, — и Ли нашел более правдоподобное объяснение феномена «творчества» Хозяина: во всей своей совокупности оно представляло собой практическое руководство к действиям во всех возможных ситуациях, составленное умным человеком для совершенно безнадежных дебилов, и, вероятно, именно такой представлялась «вождю» серая масса «подавляющего большинства» населения доставшейся ему в управление огромной страны.

И действительно: это «большинство» штудировало, конспектировало, заучивало наизусть его труды и отдельные «ценные мысли».

Исключение составляло сочинение по «национальному вопросу». Работа над этим трудом относилась к тем временам, когда «вождь» еще не был «вождем», хотя, может быть, и ощущал себя таковым. Здесь присущий ему процесс мышления еще не отлился в систему вопросов и ответов и раскрывался в более

живом виде. Впрочем, Ли и так уже сделал для себя вывод, что если «корифей» немедленно отправится к чертям собачьим, то человечество ничего не потеряет, а сдавая брошюры назад в школьную библиотеку, он задержал книжку по «национальному вопросу» только потому, что нашел там некоторые размышления Сталина «про евреев» и хотел вдуматься в них как следует, надеясь уловить какие-нибудь штрихи, штришки или обнаружить семена, давшие пышные всходы официального юдофобства, дух которого неуклонно крепчал в мире, окружавшем Ли.

Вообще же, все становилось на свои места: был Зверь и было Зло творимое им. И был убиваем всякий, кто не поклонялся образу Зверя.

Правда, один вопрос все-таки не давал покоя Ли: почему люди терпят такое? И не только терпят, но и ищут оправдание Злу, расцветшему на Земле! И, встретив в одной из книг фразу: «Сон Разума рождает чудовищ», Ли подумал, что обо всем, что он увидел и узнал, правильнее было бы сказать:

«ЧУДОВИЩА, РОЖДАЯСЬ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, УСЫПЛЯЮТ РАЗУМ».

Книга девятая
СТРАШНАЯ ЗИМА

Добрый и злой, богатый и бедный, высокий и низкий, и все имена ценностей:

все должно быть оружием и кричащим символом и указывать, что Жизнь должна всегда сызнова преодолевать самое себя!

Ницше

Я вменил себе в обязанность соблюдать о самом себе и о своем пути определенное молчание.

Гёте

Место смерти изменить нельзя.

Ли Кранц. Из «Поздних афоризмов»

I

Под влиянием своего невольного приобщения к жизни «сильных» окружающего мира, Ли стал более внимателен к политике — и внешней, и внутренней, поскольку теперь все на свете указывало ему на то, что именно политика является главной ареной борьбы Добра и Зла, Правды и Лжи, и развитие событий почти что ежедневно доказывало ему, что он не ошибся в этих своих умозаключениях. Вокруг него, где-то совсем рядом, копошились и развивались какие-то странные процессы, такие, например, как борьба с «безродными космополитами». Несмотря на то что эта «борьба» велась в империи, провозгласившей равноправие всех населявших ее (и не всегда по своей воле) народов, и вообще — всех «народов мира», объектом назойливой «защиты» в ней были почему-то «достоинство и честь» только одного народа — русского. Доказывалось, что «русский гений» произвел и придумал буквально все на свете и что равного ему не было, нет и не будет во веки веков. Выпускались одна за другой

книги о «русском первенстве»…

Наметился также и круг врагов — какая же борьба без врагов?! — даже два круга: враги дальние и ближние. К дальним врагам, «поджигателям», относился весь мир, находившийся за пределами расположения советских войск. Мир этот являл собой кромешную тьму, кое-где слегка освещенную, — это светили одинокие звезды, именуемые «большими друзьями Советского Союза», и светили, надо полагать, не за спасибо, ибо их книги и статьи, а также отдельные высказывания украшали советскую прессу с завидным постоянством. Кроме этих друзей гласных, были друзья немые — «многомиллионные массы трудящихся» и «безработные», всей душой стремившиеся в русский рай. И ни у кого почему-то не возникали вопросы: во-первых, как же в столь враждебном и опасном мире «большие друзья» живут припеваючи, время от времени прибывают в Советский Союз, и никто их за эту дружбу не преследует, а во-вторых, почему все-таки «трудящиеся массы» предпочли быть эксплуатируемыми, а не зажить свободно в стране, «где так вольно дышит человек». Во всяком случае, никаких сообщений об их попытках пересечь советскую границу и заселить Сибирь не поступало.

Ближними «врагами» были те граждане, какие позволили себе усомниться в принадлежности «русским людям» того или иного открытия, изобретения, научной теории, какие поклонялись «дутым авторитетам» Запада. Почему-то в большинстве своем, судя по советской прессе, такими скептиками оказывались люди с нерусскими, негрузинскими, неармянскими, небелорусскими и нетюркскими фамилиями. А все, чьи фамилии звучали не по-местному, для «простого народа», безусловно, были евреями. Печатным словом такое понимание сущности «ближнего врага» не опровергалось, а «соленым словцом» и намеками всякого рода «спецлекторов» даже укреплялось: это ведь понятно — у украинцев, белорусов, прибалтов, грузин, армян, тюрков и многих других в пределах империи были «корни», а у евреев «корней» не было.

— Вечно у этих евреев чего-то не хватает, — думал про себя Ли, — то крайней плоти, а вот теперь еще и корней! И почему ни у кого другого этих корней не видно? Вероятно, они растут прямо из жопы и прикрыты штанами!

Но при всей его потусторонности и отстраненности от человеческих забот и печалей, при его постоянном ощущении своей защищенности от превратностей Судьбы волей его Хранителей, он не мог оставаться безучастным к творившемуся вокруг него безумию, к дьявольской свистопляске, затеянной силами Зла и ведущей к Смерти и к рекам крови.

Повлиять на происходящее он не мог, и ему оставалось только наблюдать. И вот на его глазах людей с «иностранными» фамилиями оказалось недостаточно, поскольку законы игры, навязанной людям силами Зла, требовали непрерывного увеличения количества «врагов». Начался процесс «раскрытия псевдонимов», позволивший разъяснить «народу», кто скрывается за всеми этими Петровыми, Ивановыми и Сидоровыми. Поскольку обладатель «раскрываемого» псевдонима ничего сказать не мог, то трудно было судить, псевдоним ли это на самом деле. Но «народ» верил, не будет же «Правда» (на сей раз газета) врать! При этом Ли с удивлением заметил, что жертвами «борьбы» часто становились уцелевшие чудом представители немногих старых русских интеллигентных семей, «корни» которых светятся в глубинах русской истории, а это значило, что все понимали тайную суть этой «борьбы» — сведение счетов, «освобождение» заманчивых в те времена профессорских, писательских, журналистских мест, а то и просто — захват чужих квартир и ценностей.

Выросший в атмосфере скептического отношения и даже презрения к властям, царившего в предместьях больших городов, и познавший со слов знающих людей всепроникающее могущество Хозяина, Ли долгое время воспринимал борьбу Добра и Зла как романтик, — олицетворяя Зло в одном человеке или в небольшой группе «деятелей», имеющих власть над добрыми, но слабыми людьми, которые в силу многих обстоятельств просто не могли противостоять этому персонифицированному Злу и были вынуждены ему служить, оставаясь его тайными противниками, ожидающими, чтобы храбрый рыцарь их освободил. Даже мысль о том, что человек разумный, а тем более одаренный, мог добровольно и активно принять сторону Зла, казалась ему кощунственной. Слова, вложенные Пушкиным в уста Моцарта — о несовместимости гения и злодейства, — Ли считал Истиной в последней инстанции. Но так было недолго: вскоре «случай», вероятно, как и все прочее в жизни Ли, не обошедшийся без участия Хранителей его Судьбы, показал ему всю глубину его заблуждений.

II

Его школу классом раньше закончил некий Игорь Садиков. Это был талантливый во многих отношениях человек. Он великолепно играл на фортепьяно, блестяще знал классическую литературу (в пределах школьного курса, естественно), и эти

гуманитарные таланты сочетались в нем с заметным математическим дарованием. Он был очень вежлив и хорошо воспитан, и учителя в нем души не чаяли. И был он к тому же человеком *надежным*: любой торжественный школьный вечер он мог не только украсить музыкой Чайковского, но и прочитать наизусть огромный кусок какой-нибудь весьма важной прозы. Например, отрывок из известной в те годы повести Алешки Толстого «Хлеб», главным героем которой был Иосиф Виссарионович Сталин. На одном из таких «концертов» по вине Ли едва не случился конфуз «районного масштаба». Вот как это было.

Когда торжественно объявили предстоящее чтение этого сочинения, ставшего по-настоящему «хлебным» для его автора, Алексея Толстого, Ли вдруг по ассоциации вспомнил рассказ своего дядюшки, работавшего вместе с Алешкой в комиссии по расследованию немецких зверств, о том, что красный граф рогами упирался, не хотел идти на эту работу, но Хозяин, зная, что Толстой до смерти боится покойников, настоял, и тот, собираясь на очередное «дело», напивался для храбрости до бесчувствия и норовил сказаться больным, как это было в Катыни, когда при членах комиссии эксгумировали массовые захоронения, чтобы они по обрывкам газет, извлеченным из карманов расстрелянных здесь поляков, могли подтвердить, что здесь орудовали гитлеровцы, а не герои-чекисты. Впрочем, цели и у тех, и у других палачей были бы одни и те же: очистить для себя будущую Польшу от лучших ее людей, непригодных для слепого поклонения диктаторам. Рассказывали, что и в Харькове, когда на Благовещенском рынке наспех, чтобы «закрыть вопрос», вешали шофера «душегубки» и еще пару карателей-энтузиастов из местных, присутствовавший там Алешка еле держался на ногах и куда-то слинял сразу же после речей, до экзекуции.

Ли подумал и о том, что, вероятно, именно эти злоключения и свели в могилу даровитого Алешку, и в это время в мир его размышлений, в его свободное сознание проник чистый женственный голос Садикова, вдохновенно и торжественно, в замедленном темпе произносивший: «…дверь вагона… отворилась… и Сталин… медленно… сошел…». Ли, все еще отвлеченный веселыми воспоминаниями про Алешку, машинально продолжил текст Садикова словами: «…с ума». Он сказал это еле слышно, как бы сам себе, но очень внятно. Из-за общей напряженной тишины его добавление было услышано некоторыми учителями даже в первых рядах.

Реакция учителей была дружной: убедившись, что «приглашенные» то ли дремали, то ли были погружены в свои

мысли, все, кто услышал, сделали вид, что ничего не было, поскольку каждый хорошо понимал, что будет с ним и со школой, если «делу» дать ход и устроить разбирательство, тем более что определить по тихому голосу, кто это сказал, уже не было возможности. Ведь на таком разбирательстве пришлось бы задать вопрос подозреваемому:

— Неужели ты считаешь нашего дорогого Иосифа Виссарионовича сумасшедшим?!

А в то время само сочетание слов «Сталин» и «сумасшедший» в любом контексте могло стать основой доноса, и расследующий легко мог превратиться в подследственного, и понеслось бы! Принцип «сталинского домино» редко давал сбои. Да и эта бедная школа только-только оправилась после «дела» одного сопляка-пятиклассника, «прочитавшего» в расписании уроков слова «сталинская проституция» вместо «сталинская конституция». Чтобы замять это происшествие, потребовалось высокое дипломатическое искусство директора, которого ласково именовали в школе «Гиббоном» по двум причинам: как историка по специальности (с намеком на его знаменитого английского коллегу) и по внешнему сходству с длинноруким приматом. Ну, а что касается ближайших соседей, Ли усилием воли сразу же «стер» услышанное из сознания каждого, кто мог его «засечь».

В делах «коммунистического воспитания» учителя тоже всегда могли опереться на Садикова. Если по пути на «демонстрацию вдруг забузит школьная колонна и сотня юных глоток заревет: «Родился на Подоле Гоп-со-смыком», тотчас же без особой просьбы «начальника колонны» к небу взлетит довольно сильный и чистый тенор Садикова: «Вихри враждебные веют над нами». Кто-нибудь поддержит, и, смотришь, порядок восстановлен. «Начальником колонны» почти всегда бывал заведующий учебной частью Семен Соломонович — на городских окраинах евреи все еще ходили в «сознательных революционерах». «Соломончик», так любовно звали завуча, любил Садикова за помощь и за таланты больше, чем родного сына. Он же через своих университетских друзей по студенческим годам сделал так, что в местном университете знали и ждали Садикова за несколько лет до того, как он триумфально, как медалист, появился там на физико-математическом факультете.

Ли не любил преодолевать возрастные барьеры и никогда не навязывался «старшим» в друзья, а тем более, не старался быть поближе к талантливым и «одаренным», и его довольно короткое знакомство с Садиковым было случайным. Однажды он увидел, как тот во время урока, оказавшегося для него и Ли свободным, собирался решить квадратное уравнение, а к тому времени Ли

как раз выяснил свои отношения с алгеброй с помощью заброшенного к ним в школу каким-то несчастьем преподавателя. До совсем недавнего времени этот преподаватель таковым не был. Он был ученым, изгнанным из знаменитого «закрытого» физического института — то ли за сотрудничество с немцами во время оккупации, то ли за «космополитизм», иначе говоря — тайное или явное еврейское происхождение. К тому моменту Ли окончательно махнул рукой на математику: несколько «опытных» учителей перепутали в его представлениях об этой науке все, что только можно было. Особенно ярок был предшественник этого физического изгоя — некий Моисей Юдович, который, собрав тетрадки и задав новые задачки, доставал какие-то мятые свитки и читал своим веселым ученикам бесконечную поэму «На возвращение моей жены из Аргентины», воссоздающую жуткие картины совершенно звериной аргентинской жизни. Исчез он неожиданно и неизвестно куда; скорее всего, отправился сопровождать свою жену на сей раз в ином направлении — в сибирский концлагерь, где недавние бразильцы, аргентинцы и прочие мексиканцы в те годы любили отдыхать от тропической жары.

Занявший его место экс-физик ни школьной программы, ни методики преподавания не знал совершенно. Поэтому он обычно брал учебник и задачник, вызывал кого-нибудь к доске и начинал сам решать задачи, давая к ним по ходу решения свои пояснения. И тут Ли вдруг открылась красота алгебры: из-под мелка в руке Якова Федоровича — так звали этого учителя поневоле, — как из рога изобилия сыпались варианты решений, сопровождавшиеся остроумными разъяснениями, потом начинались варианты самой задачи, потом к ним новые варианты решений. Словом, шел пир Разума, и Ли не мог уклониться от участия в нем. Да и Яков Федорович почему-то чаще всего поднимал и вытаскивал к доске именно Ли. Через некоторое время он исчез, как и его предшественники. Говорили, что ему приоткрылась дверь какой-то заводской лаборатории, и занятиям с балбесами он предпочел науку. Зайдя через некоторое время за расчетом или за «справкой», он заглянул в их класс и, увидев Ли, сказал:

— Вот кого я часто вспоминаю!

— Я тоже помню вас и часто о вас думаю, — ответил Ли.

— Скажи, слово «энтропия» тебе ничего не говорит?

— Нет, — удивленно ответил Ли и спросил: — А что оно означает?

— Придет время — узнаешь. Я просто так спросил… — сказал Яков Федорович и исчез из его жизни теперь уже навсегда.

Но в результате нескольких месяцев общения с этим

неординарным человеком Ли как бы прозрел: ему открылись невидимые связи знаков и символов, и поэтому, раз взглянув на уравнение, над которым задумался Садиков, он сказал, что его и решать не надо, и сразу назвал корни. Тут пришла очередь удивиться Садикову, и, убедившись в его правоте, он сам стал выделять его из младших.

И вот когда Ли задумывался о своей будущей профессии, он встретил Садикова, представшего перед ним уже в качестве студента университета. Ли спросил у него совета, стоит ли ему тоже поступать в университет. На это Садиков важно ответил, что поступать, конечно, стоило бы, что лучше университета в городе ничего нет, но его, Ли, туда не примут.

— Почему?

— Сам понимаешь!

— Не понимаю!

— Ну, ты же — еврей.

И далее Садиков популярно разъяснил ему сущность «политики партии и правительства в области высшего образования». Потом долго доказывал Ли необходимость подготовки «национальных кадров».

— Постой! Неужели ты веришь в эту чушь? И какой же ты — «национальный кадр», ты ведь русский, а здесь Украина!

— Это не чушь, а государственная необходимость, — солидно возразил Садиков. — Подумай сам, ты же по себе знаешь, что вы, евреи, народ быстрый, и думаете вы быстро. Многое вы можете сообразить быстрее, но это не значит, что какой-нибудь Иван, думающий туго, но основательно, не может быть хорошим ученым, а такие, как ты, перебегают ему дорогу! Ну, а русский — везде национальный кадр.

— А как же ты смотришь в глаза Соломончику? Он ведь тебе столько сделал!

— А что мне Соломончик…

Ли не мог более продолжать этот разговор. Он повернулся и пошел прочь, и глаза его от нежелания видеть мир стали совсем узкими щелками. А в душе его пенной гигантской морской волной вздымалась ненависть, росло то самое гневное исступление, которого он уже несколько лет после Туркестана не испытывал. И питало эту ненависть не только двуличие маленького «верного сталинца» Садикова, но и то, что он, Ли, понял, как многолико и вездесуще Зло, чьим носителем в любой момент может стать и недавний приятель, и случайный прохожий, и еще бог весть какой с виду нормальный человек, на деле и особенно в «массе» являющийся зверем.

III

Можно сказать, что именно в этот момент пришел конец юношескому романтизму Ли, и борьба Добра и Зла перестала для него быть чем-то вроде рыцарского турнира, боя одиночек, окруженного теми, чьи симпатии безусловно были на стороне Добра. Он понял, что силы Добра и Зла изначально не равны, и что перевес Зла неоспорим, тем более что в любой момент под его знамена станет «подавляющее большинство» равнодушных и безучастных. Понял он и опасность того, к чему он сам по воле Хранителей его Судьбы был причастен, и то, что его, как Ли казалось, врожденные скрытность и осторожность не были врожденными чертами его характера на самом деле, а входили в систему внушаемых ему способов и средств защиты его личности, свободы и жизни.

Всепоглощающая ненависть проходила через повзрослевшую душу Ли тяжелее, чем в детские годы. От нее начинало давать сбои его молодое сердце, но остановиться Ли не мог. Хранители Судьбы освободили его от этой исступляющей ненависти почти через неделю, и еще одну неделю он, опустошенный и обессиленный, валялся с книжкой в руках на кровати, приходя в себя. Потом вышел на улицу и, пошатываясь, как после тяжелой болезни, пошел навестить приятелей. Там он узнал последнюю новость: Игорь Садиков утонул в пруду на окраине дачного поселка, известного под названием Высокий.

Ли знал этот пруд: несколько лет назад он туда «за компанию» ездил окунуться жарким летом. Пруд был небольшой и совершенно безопасный. Теперь Ли отправился туда специально, его притягивало это место. Он сидел на пригорке над прудом и прикидывал, во сколько взмахов рук можно пересечь его глубокую центральную часть. Получалось — за пятнадцать-двадцать взмахов. Утонуть же в нем, казалось, нельзя было даже при очень большом желании.

Ли стал расспрашивать купающихся в надежде найти завсегдатаев. И действительно: двое мальчишек стали ему наперебой рассказывать о недавнем происшествии. Один высказывал предположение, что парень нырнул с берега, не выгнулся на мелкоте и, врезавшись головой в дно, сломал шею. Другой считал, что тот зацепился за корягу и, подумав, что его кто-то схватил за ногу, наглотался воды от страха («такие случаи бывали»). Момента исчезновения Садикова, как водится, никто не заметил. Об утопленнике узнали, когда всплыло тело, и только потом в кустах нашли брюки, майку и книгу академика Иоффе, что-то там о проблемах современной физики. «До последнего часа

его сопровождали «абрамчики и «соломончики», — подумал Ли, когда узнал об этом. Сам Ли, несмотря на жару, не смог заставить себя окунуться в *этом* пруду, ставшем для Садикова Ахероном, но полной уверенности, что именно он, Ли, в данном случае был Хароном, у него все-таки не было. Может быть, оттого он и не спешил уходить отсюда, зная, что на этот берег он больше никогда, во всяком случае, по своей воле не придет. Обойдя пруд, Ли вернулся туда, где расположился вначале, и немного посидел под дубом. Когда он прислонился к старому дереву и закрыл глаза, ему показалось, что он услышал пение спрятанной в его стволе струны, отголоски какого-то серебряного звона, а запрокинув голову вверх, он увидел, как тоненькие лучики солнечного света пронзают зеленую крону и листья в потоках слабого ветерка стараются подставиться Солнцу. И эхо их соприкосновений наполняет сердце Дерева волшебными звуками, услышанными Ли. Он почувствовал, как с этим звуками в него вливаются новые силы, исчезает беспокойство, куда-то в один миг ушла донимавшая его аритмия, и когда он окончательно вернулся в реальный мир, здесь что-то изменилось, на мгновение наступила тишина, небо стало более синим, облака белее, а зелень, еще не тронутая летней сушью, — ярче.

IV

Садиков и его судьба не выходили из головы Ли еще несколько дней. Потом он забыл о нем, как и прежде забывал о подобных случаях. Лишь в относительно далеком будущем, когда Ли оказывался у окна вагона, подъезжая к Харькову с юга, и его взгляд попадал на этот давно нечищенный старый пруд с густо заросшими берегами, он вспоминал те дни. И еще один случай напомнил ему о Садикове: через некоторое время после его гибели мать одного из приятелей Ли, связанная с «районной медициной», почти безо всякого повода вдруг сказала сыну при Ли о том, что «ваш» Садиков стоял на очереди на сложную операции «по поводу гермафродитизма». «Так вот откуда его тонкий голосок и чистое лицо без следов бритвы!» — первое, что подумал Ли. И лишь потом до него дошла другая сущность этой «случайной» информации: дать его душе в успокоение еще и вариант добровольного ухода этого человека, вдруг ощутившего свою неполноценность. Но Ли понимал, что не шовинизм или национализм, овладевавшие Садиковым, могли стать причиной внешнего вмешательства в его жизнь и судьбу, если таковое имело место, а возможная, известная Им, знающим будущее,

причастность Садикова к неким грядущим ситуациям и событиям, опасным для людей и Земли, что могло объясняться и той специальностью, к которой тот готовил себя. Однажды, в середине 40-х, чуть было не сложилась подобная ситуация: в агонизирующей империи Гитлера. Физики с математиками старались, лихорадочно перепроверяя свои расчеты, фюрер очень надеялся, но у последней черты *Они* оборвали страшный эксперимент с «новым оружием», остановили руками и оружием других. Тогда *Они всех* предупредили.

V

Совету же покойного Игоря Садикова Ли внял и в университет «не совался», дабы не мешать ему «ковать национальные кадры». Однажды в его раздумья о выборе профессии вмешался местный уголовник по кличке Сюлька, случайно оказавшийся тем летом на свободе. Выслушав, в чем дело, он уверенно сказал:

— Послушай меня, шкет, от тюряги не отрекайся, ты же наш, холодногорский, и можешь где-нибудь не удержаться. А кто в тюряге и в лаге пэрший человек? Строитель! Он все-е-гда в авторитете и у блатных, и у фраеров, и всегда бугор. Так что не морочь себе яйца и становись строителем, если можешь, конечно!

После этого разговора Ли понес свои «документы» в строительный институт. Приняли его там хорошо и, посмотрев принесенные им бумаги, этого своего хорошего отношения не изменили, что уже само по себе Ли понравилось. Исана тоже была довольна: ее главной мечтой и целью было, чтобы Ли стал инженером, а каким — значения не имело. Строителем так строителем, тем более что инженером-строителем одно время работал ни на одну минуту не забываемый ею Лео, добывая деньги на ее лечение в Крыму. А тетя Манечка, узнав об этом постфактум, вспомнила строителя Сольнеса и звезд русской драмы Золотого и Серебряного веков, игравших модную в те годы пьесу. Так скромный выбор Ли Судьба связала с именами вора Сюльки и великого Ибсена, и хотя, в отличие от Сольнеса, ни одной башни для себя он не построил, реальную опасность падения с большой высоты испытать ему все-таки пришлось. Но об этом — потом.

Между подачей бумаг и началом занятий в институте, к сожалению, еще находились вступительные экзамены, поскольку медали у Ли не было. Ли посчитал своим долгом со всей серьезностью отнестись лишь к одному экзамену — к физике. Так

получилось, что в школе этот предмет излагали самые случайные люди, среди которых был даже один западный украинец, почти не говоривший по-русски, поэтому установить, знает ли он физику, не было никакой возможности. Уроки он вел в кепочке и снимал ее только для того, чтобы смоделировать какое-нибудь природное явление, например, атмосферное электричество и грозу: он снимал кепочку, зажимал ее в кулак и держал над столом, говоря:

— Отут, скамо, хмара в картузи…

И так далее. Поэтому Ли посчитал своим долгом перед экзаменами в институте привести в порядок свои знания в области физики. Он взял учебники за все классы, начиная с шестого, и прочел их подряд. Только тогда все стало на свои места. Отвечал он настолько ярко, что его вступительный экзамен на кафедре физики помнили и вспомнили, когда через пять лет он покидал стены альма-матер. Но для Ли его экспресс-занятия физикой имели другой итог: в одном из учебников он обнаружил набранный мелким шрифтом внепрограммный материал, где разбиралось понятие энтропии. Почему-то этот текст сразу привлек внимание Ли, он вспомнил и странный вопрос Якова Федоровича. Ли почувствовал, что где-то здесь лежит самый верный и самый короткий путь к пониманию своего предназначения, но сейчас его торопило время, ждала неизбежная суета, именуемая «требованиями жизни», и он, оставив в своей памяти вешки, чтобы когда-нибудь потом найти эту, находящуюся где-то рядом единственную тропинку к Истине, сразу же вернулся в бестолковый реальный мир пустых хлопот и соблазнов.

VI

Институт, в стенах которого ему предстояло провести пять ближайших лет, находился на одной из центральных улиц города — Сумской — и был обращен своим фасадом к знаменитому Университетскому саду, а чуть пониже его среди нескольких старых построек, впоследствии снесенных при строительстве громадного оперного театра, стоял скромный двухэтажный дом, поделенный на добрый десяток коммунальных «квартир» и украшенный памятной доской о пребывании в нем «товарища Сталина» в 20-м или 21-м году. Вероятно, «вождь» переночевал тут сутки-двое, пока ему не подыскали особнячок на краю кладбища, с парадным входом с улицы, украшенным латинским приветствием «Salve», хотя Ли казалось, что более уместной была бы в те времена надпись «Оставь надежду всяк, сюда входящий». Впрочем, будущий «гений всех времен и народов» был тогда

скромным депутатом местного городского «совета».

В плане здание института представляло собой подкову с прямыми углами, и человек, идущий с улицы, сначала попадал во внутренний дворик-курдонер, украшенный клумбой, посреди которой на темно-сером постаменте располагался усатый бюстик «отца народов». На первом этаже одного из открылков с выходом прямо на улицу был размещен известный в те годы магазин «Украйинськи ковбасы». Помимо «ковбас» продавали там также любимую студентами пищу — жареные пирожки с ливером по 40 копеек «старыми» за штуку. Причем продавали их в окошко, открывающееся в сторону курдонера и вышеупомянутого бюста. Масло, в котором варили пирожки, было в те времена, как правило, свежим, не прогорклым, а тесто — вкусным, ливер же переносили далеко не все, и многие, особенно девушки, купив пару пирожков, разламывали их, вытряхивали ливер на асфальт в уголке дворика, оставляя себе лишь хрустящую оболочку. Все это, по-видимому, было хорошо известно собачьей общественности города, и в курдонере, ожидая угощения, всегда находилось пять-шесть «кабысдохов», а то и более. Эти слонявшиеся возле входа в институт собаки не стеснялись при всех из геополитических соображений делить и метить известным собачьим способом свое жизненное пространство, чем очень раздражали институтское руководство и хозяйственников, и они время от времени посылали вечно пьяного дворника Андрюшу разогнать собак, чтобы «не обоссали вождя». Андрюша выходил и бросал в собак чем попало. Но псы разбирались в вопросах «кто есть ху» не хуже людей и, как только начинались гонения, собирались на клумбе у подножия памятника живому «вождю», зная, что бросать камни в незыблемого «светоча» даже пьяный Андрюша не осмелится.

Пересидев грозу, собаки возвращались на свои посты к ливерному окошку. Поскольку институт, располагавшийся в «сталинских местах» города, лениво боролся за присвоение ему светлого имени «товарища Сталина», а такую «честь» нужно было заслужить по ряду «показателей», злые языки в городе утверждали, что с «присвоением» медлят только потому, что институт не может справиться с собаками. Не помогал даже поставленный в вестибюле капитальный плакат с непонятными словами «вождя»: «Пролитая нами кровь не прошла даром». Поскольку сам Сталин еще пока собственной крови не пролил ни единой капли, разве что в детстве, когда его били сверстники за издевательство над кошками, то Ли полагал, что здесь имелась в виду та кровь, которую пролили палачи по его приказам, а тогда эта фраза приобретала кармическое значение, напоминая о неизбежной расплате за содеянное. Что же касается собачьего

действа в курдонере, то Ли всегда наблюдал его с большим удовольствием, а когда представлялся случай, сопровождал его «мягким» комментарием, потешая тех приятелей, в коих чувствовал единомыслие.

VII

Ли переступил порог института за два месяца до своего восемнадцатилетия. Пред теми, кто видел его в те времена, представал юноша роста чуть выше среднего, с довольно густой шевелюрой, с открытой улыбкой и в основном правильными чертами лица, если не считать слегка курносый нос. Только глаза его, как и прежде, были спрятаны очень глубоко, а когда он смеялся, то и вовсе превращались в узкие тюркские или даже монгольские щелки, поэтому мало кто мог назвать их цвет. Несмотря на то что в жизни Ли было немало физической работы, руки его походили на детские, с едва наметившимися жилками, но его рукопожатие и хватка поражали довольно ощутимой и скрытой силой. Последние годы жизнь Ли была малоподвижной: он много читал и, как правило, лежа. При этом Ли не был безразличен к еде, что и привело к появлению признаков полноты. Спортом он никогда не занимался, но в шуточной борьбе, стихийно возникавшей в спортзалах школы, а теперь института, Ли легко клал на лопатки людей недюжинной силы, спортсменов, имеющих высокие разряды в силовых видах спорта, поскольку он использовал в этой борьбе некоторые приемы, усвоенные в Туркестане. Потом уже, знакомясь с теориями восточных единоборств, Ли понял, что пользовался несколько измененными приемами айкидо.

Его институтскому окружению — преподавателям и студентам — был открыт лишь один из миров, а жил он в те годы, как и впоследствии, одновременно в нескольких сферах, не соприкасающихся друг с другом. Раздумывая много лет спустя над превратностями своей Судьбы, Ли пришел к выводу, что его детская связь с Тиной была дана ему не только как указание на главный источник энергии его биополя, но и как школа Тайны, и именно тогда, пяти-шестилетним ребенком он создал свой первый параллельный мир, закрытый для всех, кроме него и Тины, и научился его сохранять. Испытание он выдержал и потому был допущен к следующим ступеням. И вот сейчас для всех без исключения был наглухо закрыт тот его мир, в котором Ли жил два-три месяца в году, где в круг его знакомых входили люди, чьи имена и дела — хорошие и плохие, добрые и злые —

уже были защищены от тленья их творчеством и участием в исторических событиях, и где он мчался по улицам Москвы и подмосковным дорогам в роскошном по тем временам автомобиле, исполнявшем все его прихоти «куда поехать», «посмотреть», где его ждали ворохи «вражеской прессы», недоступной и опасной для «миллионов советских людей», а в Питере, когда ему хотелось посетить Эрмитаж, его персональным экскурсоводом был или «сам» Орбели, или — по его поручению — доктор искусствоведения, один из заведующих отделом в этом знаменитом музее.

Твердый запрет для посторонних и даже очень близких людей лежал и на его духовном мире, и все то, что Ли знал в области философии, «непрограммной» литературы, все, что занимало его ум, результаты его личных разысканий никогда не становились предметом его разговоров даже с самыми близкими ему по духу людьми.

И даже в том, что всегда составляло одну из главных тем «мужских» мальчишеских и юношеских откровенных разговоров, Ли оставался лишь слушателем, в этих задушевных беседах почти не участвовавшим. В институте, как и в школе, беседы эти его искренне потешали, так как он довольно легко отличал эротические фантазии от жизненного опыта. Конечно, в институте, в отличие от школы, Ли встретил немало людей в этом отношении «серьезных», на чьем счету были уже десятки приключений. Среди тех, с кем Ли по студенческим делам приходилось общаться часто, был, например, «удалой боец Климушка», смазливый паренек из татар, живший неподалеку от городка студенческих общежитий, примыкавшего к старому городскому кладбищу. В те годы кладбище уже начинало зарастать густым кустарником, ибо население некрополей тоже стареет и уходит в область забвения, и в относительном порядке там содержалась лишь аллея с могилой Евлалии Кадминой — тургеневской Клары Милич — и других почетных гостей города мертвых, а остальная территория постепенно превращалась в густые труднопроходимые заросли, где можно было уединиться. Этим и пользовался Климушка, приводивший туда в теплые летние предзакатные часы своих невзыскательных подруг. Там он доставал из кармана тонкую простыню и стелил ее на могильную травку. После всего, по его словам, он исполнял обязательный обряд захоронения презерватива, а попадавшую при этом на руки сперму размазывал по гладким поверхностям теплых после жаркого дня мраморных и гранитных памятников со словами:

— Боже мой! Сколько же здесь погибает профессуры, писателей, академиков, генералов, а может, и генералиссимусов!

Ли в таких случаях наивно спрашивал, как же он разглядел среди своих сперматозоидов генералиссимусов и были ли они при всех регалиях и в полной воинской форме. Высказываний же, уточняющих детали интимных отношений, Ли себе не позволял, помня, что они немедленно вызывают вопросы, откуда он это знает, а такие вопросы для него были попыткой проникнуть в глубоко спрятанный им мир Тины и Алены — один из его миров, недоступных для чужих глаз и ушей.

Ну, а дверь в бездну, указанная ему Рахмой, была и вовсе за семью замками. Этот мир мог бы приоткрыться лишь тому, кто, как и Ли, знал свое предназначение, но такого человека он пока еще в своей недолгой жизни не встретил, хотя и чувствовал, что он и Рахма не одни в том тайном мире.

И только один из его миров был открыт всем и каждому. В этом мире он был скромным, нетребовательным жителем предместья, жившим бедно, но независимо, не имевшим особых талантов, но наделенным некоторыми неброскими способностями. Правда, среди этих способностей и положительных качеств не значились терпение и старательность, и ни одного конспекта за все пять лет учебы в институте он так и не сумел довести далее второй или третьей лекции. На занятиях он скучал, особенно, если лектор был бездарен, а таковых прямо на глазах становилось все больше и больше: именно в то время включилась и отрабатывала свои методы система отрицательного отбора — любимое детище империи Зла, которое в конце концов и задушило — ко всеобщему благу — эту империю. Всю свою подготовку Ли откладывал на периоды экзаменационных сессий и основывал ее на книгах, а не на конспектах. Между сессиями он почти не занимался и никогда не мог точно сказать, о чем, собственно, в тот или иной момент говорится на лекциях. Из-за этого среди старательных студентов он слыл человеком ненадежным и легкомысленным («у него никогда ничего не узнаешь!»), и для многих было большой неожиданностью, когда они, заглянув в предметную ведомость, приложенную к его «красному диплому» отличника, увидели там одинокое слово «хорошо» среди нескольких десятков отличных оценок. Если же кому-нибудь вдруг, по какой-то случайности, хоть на миг приоткрывался один из его тайных миров, Ли сосредоточивал всю свою волю, чтобы «нарушитель» границ дозволенного немедленно забыл о том, что он нечаянно увидел, услышал или почувствовал. Почему он так поступал, Ли не знал и не задумывался, но он был абсолютно уверен, что именно так и только так он *должен* поступать.

Были у Ли и некоторые особенности, заметные лишь тем, кто

близко его знал: при относительно большом весе у него была легкая, неслышная, как у осторожного зверя, походка, почти незаметное дыхание — его грудь и живот оставались неподвижными и при вдохе и при выдохе, и никто от него никогда не слышат жалоб на духоту в помещении — казалось, что воздух относился к веществам, без которых он мог обойтись; было у него очень острое зрение, и он довольно хорошо видел в густых сумерках и ориентировался в темноте. Когда Ли в кругу приятелей наблюдал затмение, их поразило, что он долго, слегка прищурившись, смотрел прямо на Солнце без традиционного закопченного стекла и сразу же отметил потемнение его края. Ли, однако, никогда не упоминал об этих и иных своих возможностях, и ничье внимание на них обычно не концентрировалось.

Скрытность, по-видимому, стала причиной отсутствия у него друзей. Собственно говоря, друзей у Ли не было вообще, были те, с кем он чувствовал себя хорошо, с кем ему было интересно общаться, и те, общение с которыми укладывалось в три-четыре фразы: «Ну как ты? — Да так в основном, а ты? — И я… — Ну будь!» В выборе собеседников для Ли не было «ни эллина, ни иудея», но так получилось, что еще в последние школьные годы наиболее постоянными его компаньонами стали двое его соплеменников, откликавшиеся на такие же краткие, как и у Ли имена — Ю и Я, с той только разницей, что это были первые буквы их полных имен, сокращение которых произошло не без влияния Ли, точнее, его неуловимо краткого имени. Девизом этой харьковской троицы стали со временем слова их удивительного земляка — философа Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал». Но, конечно, по его мистическим лабиринтам-трактатам они тогда еще не блуждали.

Ровная доброжелательность Ли и, может быть, смутное ощущение каких-то его скрытых возможностей привлекли к нему Ю и Я, более чутких, чем другие их ровесники, а довольно высокая степень общего взаимопонимания (в границах внешнего мира Ли) сделала их разговоры вполне доверительными. И когда в самый разгар «всенародных» и «всемирных» торжеств по случаю сталинского юбилея у них зашла речь о «вожде», на прямой вопрос Ю, что он, Ли, обо всем этом думает, Ли спокойно и уверенно сказал, что поздняя оценка деяний этого «вождя» будет противоположна «всенародной» нынешней и, если они не будут говорить об этом в классе, то вполне имеют шансы дожить до того времени, когда «отец народов» станет в глазах тех, для кого он был богом, — уголовным преступником. И добавил: «Сказано же в Евангелии о диаволе, обольщающем народы, что будет сей «зверь и лжепророк ввержен в озеро огненное и серное».

Ли уже было семнадцать, и такие его речи тянули по тем временам лет на двадцать пять концлагерей, но компания оказалась надежной. На вопрос: «Как ты мог все предвидеть?» — заданный ему Ю через шесть лет, весной 56-го, Ли снова отослал своего приятеля к пророчеству Иоанна Богослова, полностью еще не свершившемуся, потому что главного уголовника страны тогда с почетом содержали в Мавзолее. Но ничего не сказал о том, что в его юношеской уверенности в возмездии, хотя бы посмертном, соединились дар Хранителей его Судьбы и четкое указание принятого им всем сердцем вечного Закона: «Зло на совершившего тяжко ляжет!» Однако Ю что-то почувствовал, и, как знать, может быть, в это мгновение их приятельские отношения перешли в дружбу. Живя в разных городах, разделенные сотнями километров, они уже никогда не теряли связи друг с другом. Каждый из них всегда был уверен, что не пройдет и месяца, и в почтовом ящике забелеет конверт. И раскрывший его знал, что первыми словами в этом письме будут «Ли, родной» или «Дорогой Ю»…

VIII

В студенческую жизнь Ли вписался легко, и первый его год прошел практически без осложнений. Часть летних каникул занимала геодезическая стажировка. Ли записали на август, и на весь июль он уехал в Москву.

За прошедшие два года отсутствия Ли в столице дядюшка сильно сдал. Минувшую зиму он тяжко болел. Сказалась и безмолвная размолвка с Хозяином. Суть ее была в том, что дядюшка без каких бы то ни было пояснений не спешил с выполнением личного поручения Сталина написать солидную книгу о последней войне, а стало быть, о военных заслугах новейшего генералиссимуса. Дядюшку, как уже говорилось, стали трепать хозяйские холуи. Закончилось же дело тем, что он написал своему «большому другу» письмо с обещанием немедленно взяться за это сочинение, Хозяин сразу же дал команду, чтобы его оставили в покое. И хотя для закрепления восстановленной дружбы дядюшке по личному указанию Хозяина взамен «Победы» предоставили в личное пользование «ЗИМ», куда можно было завести теленка, пережитое осложнение было весьма болезненным и стоило ему немалых нервов.

Осведомленности дядюшки по части кремлевской малины, как всегда, можно было позавидовать, но радостных новостей у него не было, и, касаясь в разговоре общего развития событий в

империи, он выглядел удрученным. Особенно мучительно переживал Т. триумфальное шествие антисемитизма. Вероятно, тут действовал какой-то подспудный комплекс вины перед своим народом, поскольку его паспорт гарантировал ему определенную безопасность. Тем не менее ему хотелось, чтобы даже ценой отказа от «этнической принадлежности» своих предков из «опасной зоны» ушло как можно больше людей и особенно тех, кто не был ему безразличен. Вероятно, поэтому он без какой-либо подготовки обратился к Ли с конкретным предложением:

— Мы тут много о тебе думали в связи с тем, что положение джюсов в этой стране все более ухудшается, и нам пришло в голову, а что если мы с Лелей тебя усыновим?

Для обозначения евреев дядюшка чаще всего применял их английское наименование, и Ли уже к этому привык, но само по себе предложение дядюшки застало его врасплох.

Ли не осознавал тогда всей глубины надвигающейся опасности, и призрак страха не оказывал никакого влияния на ход его размышлений, связанных с дядюшкиным предложением. Не влиял на них и другой призрак — призрак веры предков: он уже знал о Боге вполне достаточно, чтобы понимать, что веры иудеев, христиан и мусульман — это всего лишь разные пути к Нему. Тут было сложнее: Ли помнил, как русские мальчишки в Туркестане считали себя выше седобородого старца-тюрка или иранца как представители «руководящего» народа, и воспоминание это вызывало у Ли омерзение, настолько сильное, что он в минуту опасности принял бы любую национальность империи, кроме русской. И он решил под благовидным предлогом отказаться от этой милости, хотя и не забыл аналогичную ситуацию, описанную в Библии, когда Яаков присвоил себе первородство. Но помнил он и другое: тот же Яаков отказался от приглашения Господа своего подняться к вершинам по спущенной ему лестнице. Предложение дядюшки соединяло в себе эти оба мотива: и «советское первородство», заключавшееся в принадлежности к «главному» народу, и путь к вершинам в качестве ближайшего родственника не последнего в тогдашней иерархии человека. Кроме того, пренебрегая этими возможностями, он оставался верен завету Рахмы «быть самим собой».

Дядюшка и сам, вероятно, в глубине души боявшийся сложных и утомительных хлопот, связанных с усыновлением, принял его отказ без обиды:

— Ну, как знаешь! — сказал он, — по моему ты делаешь ошибку, но дай Бог, чтобы ошибся я. Во всяком случае, как только позову — приезжай!

Этой своей поездкой в Москву Ли остался недоволен. Конечно, он купался в Москве-реке, лазал по лесному малиннику, добывая чудом уцелевшие от вездесущих дачников ягоды, бродил по лесным тропинкам сам, а иногда с дядюшкой, но позаниматься чем-нибудь систематически, как в прошлые приезды, ему не удалось: то ли он не вошел еще в новую колею жизни после первого студенческого года, то ли общая тревога, присутствовавшая даже в спокойной и сонной на вид дачной атмосфере, — а к таким незримым воздействиям Ли был в те времена уже очень восприимчив — не давала ему сосредоточиться.

Предчувствие каких-то важных и опасных событий еще более усиливалось на улицах Москвы, куда Ли, как и в прошлые годы, иногда попадал в те дни, когда Василий отправлялся в город для выполнения накопившихся поручений. Эти предчувствия были так сильны, что Ли с облегчением покидал Москву и только на относительно тихом звенигородском шоссе, петлявшем по полям, косогорам и перелескам, немного приходил в себя. Терзания эти, впрочем, носили исключительно духовный характер, физически же Ли за этот месяц окреп и забыл о сердцебиениях и аритмии, появившихся у него во время «истории» с Садиковым, после которой ему казалось, что от этих ощущений он уже никогда не избавится, а если усилиями Хранителей Судьбы в его жизни появится еще одна такая «история», то он просто умрет. Возможно, в этой поправке его здоровья и была одна из главных Их целей на это лето.

Позднее Ли понял, что и в интеллектуальном смысле этот подмосковный месяц не пропал для него даром: две очень разные жизни год за годом прошли перед его глазами. Как бы «случайно» под рукой оказалась довольно подробная биография Эйнштейна с копией очерка «Вселенная Альберта Эйнштейна» и последнее издание сочинений Чехова с полным собранием писем. Дядюшка, как и большинство очень талантливых людей, не завидовавший никому, когда застал Ли за этим чтением, сказал о них, как показалось Ли, не без зависти: «Свободны духом и морально гениальны». Более всего Ли был поражен открывшимся ему сходством этих человеческих судеб: оба гения в детские годы не только ничем не выделялись из среды сверстников, но даже производили впечатление «отсталых». И в какой-то момент к ним пришло озарение — то самое, которое напоминает человеку о его сотворении «по образу Божию».

С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье Пророка…—

эти вещие строки звенели в мозгу Ли, когда он искал в раскрывающихся подробностях чужих жизней именно эти моменты — моменты передачи Вечным Судией пророческого дара этим избранным людям, а в том, что перед ним Пророки, у Ли сомнений не было.

IX

Осень и начало зимы, проведенные в провинции, куда доходили не все столичные слухи и ветры, а если и доходили, то становились достоянием «компетентных органов» и их тайных и явных «сотрудников», прошли более или менее спокойно. Ли уж было совсем забыл о своих летних предчувствиях, но наступил январь пятьдесят третьего, и как гром среди почти прояснившегося для Ли неба грянуло сообщение об аресте евреев-врачей, немедленно окрещенных «разгневанным народом» палачами, «убийцами в белых халатах». Ли понял, что нужно ждать от дядюшки приглашения в Москву, и вскоре оно последовало: пришло очередное письмо от тети Манечки, написанное до публикации материалов по «делу врачей», и в нем она писала, что дядюшка обязательно хочет видеть Ли на зимних каникулах в Москве. Слово «обязательно» в письме было подчеркнуто дважды или трижды.

В день приезда Ли, после обычного, неспешного обеда с бесконечными разговорами и беседами о том, о сем, дядюшка пригласил его поехать «прогуляться». Одним из его любимых мест в Москве был Новодевичий монастырь, куда у него был пропуск. (Вход на кладбище был тогда через монастырский двор.) Когда они прохаживались под стенами «холодного» собора и остановились у могил Яковлевых, дядюшка кратко описал Ли положение дел. Он рассказал, что готовится депортация евреев из Европейской части империи на восток, что это лишь первый этап очередного «великого переселения народов»: на очереди стояло еще «освобождение» от человеческого «мусора» и заселение представителями качественной и главной нации пограничных земель в Закарпатье и Белоруссии.

— Зачем только это ему понадобилось, после такого триумфа в годы войны? — сокрушался дядюшка.

Несмотря на революционные увлечения молодости, когда Т. гордился дружбой с Плехановым и поносил политику и порядки Николая II, действительно весьма посредственного властителя, —

в зрелые годы дядюшка, продолжая восхищаться Герценом и Щедриным, пережил удивительное превращение в последовательного и даже воинствующего «державника». Тонким чутьем историка он еще в начале 30-х угадал в Сталине сильного «красного императора», а в конце 30-х и в послевоенные годы с удовлетворением отмечал, — конечно, в частных беседах, — что его оценка оказалась верной: диктатор проявил себя как собиратель российских (т. е. бывших имперских) земель, при этом охотно брал и чужие, стратегически очень нужные стране, и если не объявил себя, подобно Бонапарту, императором, то милостиво согласился впредь именоваться генералиссимусом. Т. искренне поддержал эту новую, имперскую политику Хозяина, как в свое время Пушкин искренне поддержал нового самодержца-вешателя Николая. Но крови при «красном императоре» пролито было куда больше, а теперь дядюшка совсем растерялся и ничего не мог понять: в готовящейся акции он не видел ни грана имперской целесообразности, которая неизбежно проявлялась в делах и даже жестокостях великих Петра и Екатерины, «отца» и «матери» этой кровавой державы.

— Я опасаюсь худшего, и Эренбург разделяет мои опасения: не задумано ли это с целью спровоцировать Запад? Отношения со Штатами плохие и, конечно, будут прерваны. Черчилль, хоть и антисемит, но сделает то же самое: не будет же премьер Великобритании приветствовать депортацию сотен тысяч людей! А там рукой подать до третьей мировой. Уж не этого ли Хозяину захотелось? Пройти «погибельной грозою» по всему миру, всюду заменяя «чужие» режимы на «свои»? Воевать со всем миром? Безумие!

Что такое депортация, Ли объяснять не требовалось: он еще хорошо помнил доставку в Долину крымских татар и алупкинскую Нилу с ее котенком. Но здесь было существенное различие: татар привезли в теплое время в теплую Среднюю Азию и расселили среди народа, не имевшего от них ни религиозных, ни языковых отличий, а евреев должны были вывезти в марте—апреле в Восточную Сибирь, в снежную пустыню, где спешно готовились бараки со стенами в одну доску, и только первые потери по предварительным расчетам (были и такие расчеты!) могли составить более сорока процентов.

По сведениям дядюшки, «операция» была разработана детально: уже намечено, кому предстояло погибнуть от «народного гнева» на порогах своих квартир и в своих подъездах, были подготовлены мародерские списки «распределения» принадлежащих московским евреям ценностей и т. п. Но так как от основных событий, которые развернутся в Москве, Питере, ну

еще в Киеве, Минске, Риге, более глухая провинция будет отставать, то у Ли, по мнению дядюшки, будет несколько дней в запасе, и в связи с этим он предложил Ли сразу же по возвращению в Харьков купить приемник и каждый день слушать «голоса», а как только «день Х» станет известным, немедленно выезжать с Исаной в Туркестан, в места, знакомые им по эвакуации, а потом он поможет им где-нибудь обустроиться. На все это Ли была выдана довольно крупная сумма денег, и он уехал готовиться к очередному повороту Судьбы.

X

Обратным билетом для Ли по поручению дядюшки еще до его приезда занялись хозяйственники Академии наук, которые, учитывая личность, положение и известные привычки заказчика, приобрели место в спальном вагоне с двухместными купе — в проходящем через Харьков поезде Москва—Кисловодск.

Еще выходя из дядюшкиного «ЗИМа» у старого доброго Курского вокзала, Ли обратил внимание на шедшую перед ним женщину лет тридцати. Его внимание привлекла ее походка, крайне неуверенная, несмотря на легкую поклажу в ее руках. Женщину провожал типчик примерно ее лет, одетый с иголочки. Пропуская ее в дверь вокзала, он почувствовал присутствие идущего за ним следом Ли и смерил его взглядом.

В зале ожидания Ли потерял ее из виду и забыл о ней. Сам он немного поболтался, заглядывая в буфеты и киоски, и пришел к вагону минут за пять-десять до отхода поезда. В отличие от других, весьма населенных вагонов, спальный вагон-люкс, цеплявшийся в те годы, как правило, в конце состава, казался безлюдным, и в его коридоре Ли вообще никого не увидел, а когда раскрыл дверь своего купе, с удивлением обнаружил там встреченную им на привокзальной площади женщину. Она уже была одна и раскладывала какие-то свои дорожные вещи. Ли поздоровался и, поставив на койку свою поклажу, вышел в коридор. Когда поезд тронулся, он еще немного постоял у окна в проходе, глядя на бегущую мимо Москву, и зашел в купе. Его попутчица к этому времени успела переодеться и чинно сидела за столиком.

Ли еще полностью находился во власти нахлынувших на него новостей и сидел, погруженный в глубокие раздумья, не представляя себе, что же будет с его учебой и вообще с жизнью, и поэтому не сразу почувствовал, как в его сознание, а вернее — в подсознание, стали проникать какие-то посторонние «помехи».

Наконец их поток стал настолько интенсивным, что вернул его к действительности, и он почувствовал, что по его лицу, по закрытым векам бродит странный взгляд сидящей рядом женщины, хотя в чем заключена его странность, Ли понял не сразу. Только посмотрев ей прямо в глаза, он заметил, что глаза эти состоят из одних темных зрачков, почти без ободка, на ослепительно белом поле.

— Накурилась? — бесцеремонно спросил Ли.

— А ты откуда такой грамотный? Сам, наверное, балуешься?

— Знаю, хоть и не балуюсь…

— Значит, колешься…

На Ли была рубашка с длинными рукавами, и женщина, расстегнув ему пуговицы на манжетах, стала рассматривать руки.

— Красивые руки, — прошептала еле слышно.

Потянувшись к правой, дальней от нее руке, она слегка прижалась к нему. В это время вагон занесло на повороте, и она по инерции ткнулась ему губами в щеку, а он взял ее левой рукой за плечо, чтобы она не упала.

— Вот и поцеловались! — сказала она.

— Это ты меня поцеловала, а не я тебя, — возразил Ли, не убирая руку с ее плеча.

— Ну так поцелуй, если не брезгуешь!

Ли спокойно повернулся к ней, взял ее лицо в свои руки и крепко поцеловал ее в губы. И тут он почувствовал, как трудно дается ему это спокойствие, и вспомнил, что у него уже почти шесть лет (пролетевших как один день!) не было женщины. Ничего не было, если не считать нескольких поцелуев на вечеринке и с Тиной, да еще в первый студенческий год, когда его выбрала себе в провожатые Рита, жившая на полпути между институтом и его домом.

Пока он об этом думал, его попутчица поднялась, села к нему на колени и, обняв его, сама нашла губами его губы. Ли почувствовал, как ее язычок ласково их раздвигает, и полез рукой к ней под халат, где у нее, кроме трусиков, ничего не было. В этом положении их и застал проводник, открывший без стука дверь, чтобы предложить «чайку». Ли сказал, что он сам подойдет за чаем, дверь закрылась, но когда он встал, то оказалось, что ему следует успокоиться.

— А это что у тебя? Раньше не было! — невинным голоском спросила попутчица и положила руку ему на оттопырившиеся брюки.

— Отстань! Я же так никогда не выйду, — проворчал Ли.

Поставив чай и печенье на стол, Ли не торопясь повернулся и тщательно, давая ей время сказать «не надо», запер дверь. И

только тут заметил, что ее полка уже застелена. Она встала, сняла халатик и осталась в одних трусиках. Ли залюбовался ею, прислонившись к двери. Тогда она подошла и, сняв с него рубаху, принялась за пояс брюк.

— Подожди, я сам! — смущенно сказал Ли, которого впервые в жизни раздевала женщина.

Он тоже остался в трусах, и они легли рядом. Ли не торопился. Он с наслаждением ласкал ее совершенное, еще не тронутое разрушительным Временем тело, целовал крепкую, будто по его вкусу сделанную, небольшую девичью грудь, отметив про себя, что соски несколько великоваты по сравнению с теми, что он знал прежде.

Первой стала торопить события она. Ее губы скользнули по его шее, по его крошечным соскам к животу. Ли хорошо знал, что за этим последует, и когда она взялась за его трусы, приподнял тело, чтобы ей легче было их сдвинуть, и тогда уже она занялась им как следует, а он, еле касаясь губами, стал целовать ее ноги, оказавшиеся у его лица, и услышал ее тихий прерывающийся голос:

— Почему ты не разденешь меня?

Ли стянул с нее трусики, и она положила ему на грудь свою ногу, согнутую в колене. Он посмотрел туда, где эта нога начиналась, и вдруг понял, что после детских тел Тины и Рахмы, рассмотренных им во всех подробностях, после скрывавшейся от него Алены он впервые видит все это во взрослом исполнении и так близко, в ярком свете дня. То, что он увидел, было воплощением Красоты. Вероятно, его случайная подруга еще не рожала, и его взору предстал дивный цветок. Через несколько лет от «специалистов» он услышал, что обретенная им в вагоне совершенная форма — явление не такое уж частое и имеет свое гордое название: «княгиня». Ли нежно прикоснулся пальцами к лепесткам цветка, и по прижавшемуся к нему женскому телу прошла дрожь, усилившаяся, когда его рука скользнула между ее ягодицами. Пальцы Ли стали ласкать найденную им крошечную дырочку, временами чуть-чуть в нее углубляясь (пригодился Ли сочинский опыт!).

В конце концов она оторвалась от его плоти, застонала и, быстро повернувшись, села на него сверху. Лицом к лицу. Ли поднялся к ней корпусом, обнял ее за плечи и крепко прижал, чувствуя ее грудь своей грудью. Полное умиротворение пришло к Ли, и в его памяти возникли, удивляя своей точностью, слова поэта:

В крепком объятии стана

Нет ни тревог, ни потери…

Душу Ли действительно как-то сразу, в один миг, покинули все нынешние страхи и ожидание будущих тревог, ушла горечь потерь, сопровождавшая все последние годы его недолгой жизни. Потом он отодвинулся от нее и, не нарушая сплетения тел, взял ее руки и переплел свои и ее пальцы, как учила Рахма, и стал медленно раскачиваться.

— О, ты и это знаешь! — прошептала она.

А он чувствовал, как в него мощным потоком вливаются столь необходимые ему сейчас силы. Потом они еще долго радовали друг друга исполнением желаний, меняя асаны и объятия, так и заснули, прижавшись друг к другу и не нарушая сплетенья. Сон их прервал проводник, прокричавший за дверью, чтобы Ли готовился к выходу.

Ли легко преодолел сон и, продолжая ощущать прилив сил, стал быстро собираться, а она, обессиленная, только следила за ним глазами.

— Ты гадаешь? — спросил Ли.

— Да, как ты узнал?

— Почувствовал. Погадай мне на ближайшие месяцы.

— Не могу. После близости гаданье не получится. Близким и родным ничего не нагадаешь!

— Ну что же, будь счастлива!

— Постараюсь. И ты будь… Меня зовут Нина.

— А меня Ли.

— Я никогда не забуду тебя, Ли, хотя это имя ты, наверное, сейчас придумал.

— Я никогда не забуду тебя, Нина, а имя мое — настоящее.

Он остался стоять на платформе, чтобы проводить поезд, а Нина смотрела на него из вагона через оттаявшее стекло и что-то пыталась объяснить на пальцах. Они улыбались друг другу. Когда поезд тронулся и стал медленно набирать скорость, Ли пошел вровень с движущимся окном, и в последний момент случайный зимний солнечный луч высветил лицо Нины, и Ли заметил, что действие наркотика прошло и зрачки ее стали нормальными.

— Боже, у нее зеленые глаза! — подумал Ли.

Но в это время вагон-люкс, увозивший Нину, скрылся среди других составов.

XI

Из поезда Ли вышел совершенно другим человеком, знающим, что и как следует ему делать в этой жизни.

Начинался февраль. Первым долгом Ли проложил по карте маршрут в Долину Рахмы и изучил местное железнодорожное расписание. Прямых поездов в Туркестан в нем не оказалось, и Ли взял за месяц вперед билеты на один из восточных поездов до Коканда с пересадкой в Оренбурге. Потом он купил самый дешевый в те времена приемник «Рекорд» и стал слушать «голоса», заглушаемые каким-то невообразимым воем и грохотом, а потом даже стал воспринимать на слух английскую речь в пределах интересовавших его тем. Но никаких новостей по поводу «джюсов» не было и не было. Более того, как вскользь отмечали «враги», куда-то исчез сам Хозяин, и никакие слухи о состоянии его здоровья и местонахождении не достигали Запада.

И тогда Ли, окрепший физически и перенасыщенный непонятной силой, перешедшей к нему в незабываемую ночь от «случайной» попутчицы, вдруг стал наливаться гневом. Почему какой-то усатый сморчок, с трудом выражающий свои никому не нужные «мысли» на каком-то тарабарском наречии, диктует ему, Ли, свободному по праву своего появления на Земле человеку, как и где ему следует жить. Его гневное исступление все росло и росло, и вскоре он, как и прежде, уже почти не мог двигаться, пропуская правдами и неправдами занятия в институте.

Он представил себе или почувствовал интуитивно, что Хозяин *должен* находиться на той самой даче, о которой шла речь у дядюшки несколько лет назад. Вызвав из своей памяти ее план, набросанный Иваном Михайловичем, Ли, следуя какой-то ему одному известной логике, или, опять-таки, интуиции, избрал для постоянного пребывания Хозяина «малую» столовую. Может быть, он сделал это потому, что представлял себе эту комнату на первом этаже дачи лучше других. А может, он представлял ее лучше других потому, что так было предопределено Хранителями его Судьбы? Но так или иначе, каждый вечер и самую темную часть ночи Ли мысленно занимал свою «позицию» у горящего камина и оттуда жег лучами своей ненависти Хозяина, лежащего на мягком диване или сидящего у края стола. Ли сосредоточивался на увиденной им когда-то щербинке на щеке под глазом.

На это постоянное излучение ненависти и гнева уходили все физические и душевные силы Ли. У него снова стало «останавливаться» и «проваливаться» сердце, началась аритмия, и временами ему казалось, что жизнь его находится на самом пределе, что пришел его последний день.

Однажды ему показалось, что сознание его сместилось и он

впал в бред: он вдруг почувствовал, что сам находится там, на «ближней» даче, почему-то неподвижно висит в воздухе в одной из ее комнат, а под ним расположилась какая-то группа темных бесформенных фигур, и в ярком пятне света, то ли на ковре на полу, то ли на низком большом диване, лежит Хозяин с закрытыми глазами. Ли больше всего захотелось заглянуть в эти глаза. И как бы в ответ на это его невысказанное непреодолимое желание «вождь» открыл глаза, и взгляды их встретились. Ли увидел, как неподдельный ужас до предела выжелтил эти глядевшие на него глаза, и затем тиран медленно поднял руку и указал на него, Ли, а темные фигуры, как по команде, повернули к нему свои круглые безликие головы, и… видение исчезло.

Вскоре все это почти месячное напряжение, как это бывало и прежде, резко спало, и остались только бессилие и безразличие. «Что же это?» — думал Ли, вращая ручку своего «Рекорда» и вслушиваясь в быструю речь заокеанских дикторов. И только когда из всех тарелок, из «всех радиостанций Советского Союза» полились сладостные звуки траурных мелодий Чайковского и Шопена, Ли понял, что его или чья-то еще более сильная и концентрированная ненависть сделали свое дело.

В частных домиках его предместья царила сдержанная радость по поводу долгожданной развязки, но, спускаясь со своей Горы в город и посещая институт, Ли вынужден был строить постную физиономию, поскольку никто не мог себе представить, как еще поведут себя оставшиеся без Хозяина холуи: ведь в системе-то ничего не изменилось.

В институте занятия прекратились. Некоторые студенты отправились в Москву — хоронить «вождя», а местные энтузиасты организовали «почетные караулы» у всех его бюстов в городе. Инициатором, кажется, был институт, где учился Ли, все еще боровшийся «за право ношения» имени Сталина, и собак, отлежавшихся на клумбе в курдонере у подножия бюста, сменили «почетные караульщики», непрерывно менявшиеся все дни от смерти до похорон «гения всех времен и народов».

Доктор Сукачев, друг погибшего Лео, работавший в местной поликлинике, по просьбе Исаны выписал Ли больничный на всю эту неделю идиотов. При этом, как врач старой закалки, начавший трудиться еще в земстве, он все же «послушал» Ли. Он был поражен бедственным состоянием его сердца и вполне серьезно прописал Ли постельный режим. Это предписание Ли, сдав в кассу билеты в Туркестан, выполнил с удовольствием, поскольку к нему вернулся интерес к чтению, и его уже ждала «Солнечная машина» Винниченко.

Потом стали приходить первые благие вести: закрыли «дело»

врачей, и измученные люди были отпущены на свободу; были расстреляны те, кто будто бы все это организовал; отобран орден, выданный какой-то медицинской шлюхе за ложный донос. Но главное было в том, что все это делалось гласно, чего давно уже не было в этой стране. От таких непривычных новостей стала оттаивать даже неприступная душа Ли. Правда, призрак очарования существовал недолго. Ли скоро разобрался, что люди «наверху» остались те же, и то, что в суматохе кого-то из волков съели, не изменило волчью, а вернее, шакалью сущность съевших, и он, еще раз перечитав «Историю одного города», понял, что и пятьдесят третий год был предусмотрен Щедриным и что все пока развивается в полном соответствии с законами и философией глуповской истории.

XII

Нервное напряжение в те несколько недель, что предшествовали агонии и смерти тирана, сильно сказались на самочувствии Ли, и жизненные силы восстанавливались очень медленно. Он второй раз в жизни подумал, что еще одно *такое* потрясение он не переживет.

К тому же на его физическом, да и душевном состоянии отразилась история с Арапкой. Это была юркая черная собачонка с белой звездочкой на груди. Сразу после войны кто-то из обитателей дома привел ее с близкого «маленького» базара. Взять собачонку его уговорил один из продавцов мясного ряда, уверявший, что этот щенок — кобель «чистых дворянских кровей» по кличке Арап, от «та-акой ба-альшой собаки». Однако дворовая общественность вскоре установила, что никакой это не Арап, а сука, стало быть Арапка. Второй неожиданностью оказалось нежелание Арапки вырастать в «ба-альшую собаку». Она даже как-то уменьшилась с возрастом, оставшись по виду щенком. Свое же существование во дворе Арапка оправдывала: ни человек, ни собака, ни кошка не могли незаметно оказаться на охраняемой ею территории. Звонкий лай сразу же извещал о нарушении границ. Особенно не любила она нищих, а приближение одного из них — грязного субъекта неопределенного возраста, бродившего по предместью с сумой и клюкой, со смиренным выражением на умном и хитром лице, и неизменно приветствовавшего Ли словами: «Се, Отрок Мой…», и гнусавившего что-то о Понтии Пилате, она ощущала, казалось, за квартал от дома, и шерсть у нее на загривке от гнева вставала дыбом.

Арапка не имела своей будки и спала на обветшалой

деревянной веранде, открытой и днем, и ночью, а в очень теплые дни — где-нибудь во дворе — под лестницей или в одном из сараев, зиявших дырами в стенах из черных прогнивших досок. И только в сильные морозы она просилась к людям, чаще всего к Ли. Быстрые глаза-угольки Арапки светились разумом, и ее незаурядный ум, усиленный опытом тысяч ушедших в небытие собачьих поколений, помог ей безошибочно выбрать Ли своим Хозяином. Она знала, что кровать Ли стояла сразу же за окном, выходившим на веранду, и, если не было отвлекавших Арапку уважительных собачьих причин, она устраивалась на ночлег под этим окном, где для нее была расстелена старая подстилка. Встретив рассвет и выждав некоторое время, Арапка заглядывала в окно, осторожно проводила когтем по стеклу, и, когда Ли поднимал голову, улыбалась ему, открывая ослепительно белые мелкие передние зубы и изящные клыки.

События этой зимы отвлекли внимание Ли от Арапки. Он лишь пару раз натолкнулся на ее печальный взгляд в «теплом» общем коридоре, куда ее переместили с веранды вместе со щенком, приобретенным ею, судя по дате его появления, уже после окончания осенней течки. Щенок тыкался в ее соски и скулил: они были пусты. Спасая малыша, Исана и соседи подкармливали его молоком.

Сначала Ли посчитал причиной вялости и тоски, охвативших Арапку, ее солидный возраст: собаке уже было не менее восьми лет. Но когда его летучая душа освободилась от ненависти и гневного исступления, он вдруг ощутил едва слышный сигнал беды, шедший из темного угла, за дверью их с Исаной комнаты, где иногда тускло мерцали глаза Арапки. Она уже не могла подняться на ноги и не хотела ничего есть. «Наверное, чумку подхватила», — сказала Исана.

Может быть, именно болезнь Арапки окончательно вернула Ли в его конкретный «малый мир», где его присутствие было также необходимым. Вернуться из далекой и грозной страны Возмездия, где он провел целый земной зимний месяц. И теперь в его жизнь пришли ранняя весна, талый снег, радостный воробьиный щебет и смертельно больная Арапка. Преданная собачонка, ласковая со «своими», любила сидеть с ним летними вечерами во дворе, в тени старой груши, провожала Ли в школу, а потом в институт, останавливаясь у третьего дома и глядя ему вслед, а потом, когда Ли махал ей рукой, нехотя возвращалась в свой двор. Он вспоминал теперь ее высокие прыжки и восторженный лай в минуты встречи после его возвращения из поездок в Москву, Питер, Сочи… А сейчас в ее больном взгляде Ли ощутил одиночество и обреченность.

И тогда данный ему на эту зиму дар сосредоточения снова вернулся к нему. Ночью он сконцентрировал все свои мысли и желания, чтобы поднять Арапку на ноги. А утром Ли притворился спящим, и когда Исана ушла на работу, опять отправился мыслью и чувствами в далекие края, доступные ему одному.

— Как там Арапка? — спросил он вечером Исану.

— Лежит со щенком. По-моему, будет жить. И лапы перестали дрожать, — был ее ответ.

А Ли ощутил какую-то непреодолимую слабость, словно «перевел на себя» Арапкину немочь. «Неужели у гневного исступления в призыве Возмездия и у предельной концентрации душевных сил в страстном желании Добра ближнему своему, всякой мирной Божьей твари — итог один: выход на грань жизни и смерти?» — подумал он и тут же заснул, а может быть, потерял сознание. Пришел в себя он от тихого царапанья. Ли с трудом поднял голову и обомлел: на фоне освещенного утренним светом неба за окном чернела счастливо улыбающаяся мордочка Арапки. Он слегка помахал ей рукой, и собачонка исчезла. Потом он услышал глухой шум прыжков по довольно крутой лестнице и щенячий визг: Арапка повела своего сына знакомиться с миром Божьим. Через несколько часов Ли почувствовал, что томившая его слабость окончательно покидает его.

Арапка погибла той же весной, защищая жизнь своего детеныша. Ли дома не было, и происшедшее он восстановил для себя по рассказам очевидцев: среди дня, когда Арапка и ее подросший щенок нежились на солнышке, расположившись на прошлогодней листве и уже зеленеющей от первых всходов земле, во двор зашел чужой пес. Кто-то говорил потом о его отвисшем хвосте, кто-то видел пену на пасти. Арапка стала между чужаком и своим щенком и вся превратилась в ощетинившийся комок гнева. Пес двинулся на нее, и тогда Арапка с глухим рычаньем вцепилась ему в горло. Они покатились по земле, а перепуганный щенок забился под лестницу. Пес рвал ей живот сильными задними лапами, но отбросить ее не смог. Вскоре он затих, и Арапка его отпустила. Вся в крови, она поползла к щенку, и на полпути жизнь покинула ее.

Похоронили Арапку под старой грушей — той самой, помянутой некогда Лидкой Брондлер. Щенок остался жить во дворе, вырос в крупного пса Арапа, которого чаще звали, как и его мать, — Арапкой. Но был он себе на уме, с кошачьим характером; душа Арапки к нему не перешла и витала в Космосе, ожидая другое и, видимо, более достойное вместилище.

Геройскую гибель Арапки Ли перенес относительно спокойно: здесь явно хозяйничала Судьба. Вспоминая впоследствии этот

трудный март, он пытался понять, действительно ли ему была дана эта возможность — ускорить переход Зла — в самом точном и полном его человеческом воплощении — в небытие и продлить дни беззлобной и отважной собачонки? Как и во всех иных ситуациях, к коим Ли оказывался причастным, здесь образовался тугой узелок кармических связей, и у него не было оснований исключать, например, вероятность того, что основная цель чудесного выздоровления Арапки состояла в том, чтобы предотвратить какие-то трагические последствия, связанные с появлением в этом дворе бешеного пса. А они могли стать такой же реальностью, как и катастрофические для каждого двора — и всего мира — последствия дальнейшего нахождения среди живых другого бешеного пса, околевшего несколько дней тому назад на засекреченной подмосковной даче.

XIII

Занятия не лезли ему в голову, и Ли с радостью принял предложение Риты заходить к ней по пути домой и готовить вместе домашние задания. Его опустошенность, о которой Рита не догадывалась, сказывалась и на развитии его личных отношений с нею. Не жадный, не ускоряющий событий и не любопытный, он старался ограничиться лишь легкими прикосновениями к ее телу, но его руки, не встречавшие ни протеста, ни сопротивления, как бы натыкались на невидимые преграды.

Поздняя весна и начало лета оказались жаркими в тот год, и Рита предложила раздеться, чтобы чувствовать себя свободнее. Она была гимнасткой. Сначала занималась на гимнастических снарядах, но в институтские годы начала тяжелеть и перешла на художественную гимнастику. Эти занятия придали ее телу совершенство и красоту, а ее поведению — привычку появляться перед людьми в полуобнаженном виде. Ли не видел ее на выступлениях, и теперь Рита украдкой следила, какое впечатление она на него производит. Но Ли все воспринял как должное, и его быстрые и нечастые прикосновения не утратили своей легкости. Тогда Рита, заявив: «Этот хомут меня стесняет», — открыла грудь.

— А ты знаешь, что ты — красавица? — первый раз увидев ее в таком виде, сказал Ли и, взяв ее за плечи, по очереди поцеловал оба ее соска и… отпустил ее с улыбкой.

— А ты хоть волейболом займись, толстеешь, — сказала Рита, целуя его шею.

На их занятиях это не отразилось, но однажды они, лежа на

«родительской» тахте плечом к плечу и читая вдвоем один какой-то трудный и скучный учебник, заснули. Сон Ли, как всегда, оказался крепким, и он проснулся оттого, что Рита стаскивала с него трусы. Сопротивляться он не стал, и когда она с этим справилась и, закрыв глаза, положила свою руку туда, куда хотела, Ли тихо спросил ее:

— Ты — девушка?

— Да, но мне уже надоело ею быть.

— Потерпи еще немного, — сказал Ли, — а вдруг тот, кому ты захочешь отдать свою жизнь, будет небезразличен к этой «мелочи»?

— Но хотя бы не быть чурбаном ты же можешь? — обиженно спросила Рита.

— Могу, — ответил Ли.

И, раздев ее догола, чуть не заласкал до смерти. Во всяком случае, стоны и даже вскрикивания она сдержать не смогла. Лаская ее, Ли прислушивался к своему сердцу, но как это ни странно, капризы этого трепещущего комочка от невинных игр с Ритой прекратились, и Ли стал обретать былую силу и уверенность. Тем не менее, на полное сближение с ней он не пошел, и через год у нее появился красивый парень из другого института, не отходивший от нее ни на шаг, а еще через полтора-два года Рита пригласила Ли на свадьбу. Хорошенько выпив, молодежь стала играть «в бутылочку», презрев замечания знатоков-моралистов, что «на свадьбах это не положено», и стоило крутануть бутылку Ли, ее горлышко указывало на Риту, а когда наступал ее черед, бутылка указывала на Ли. Нацеловавшись с невестой вдоволь, Ли собрался уходить. Рита вышла его провожать и, не говоря ни слова, увлекла к заднему крыльцу богатого дома, где ей предстояло жить. Там она села на край крыльца, опершись руками за спиной и подняв ноги, легко их развела в стороны.

— Ну иди же быстрей, получай свой долг, — сказала она.

— А как же? — заколебался Ли.

— Не бойся и ни о чем не думай: я — уже на втором месяце.

И Ли принял ее добровольный долг, а те несколько мгновений несказанной красоты: белое платье в свете луны, темные глаза в его глазах и объятия ее сильных рук, потом, через пятнадцать лет, возникали перед его мысленным взором, когда он, бывая на кладбище, останавливался у ее преждевременной могилы, к которой вначале часто, а потом реже и реже приходили два очень красивых грустных мальчика, выглядевших почти как одногодки.

XIV

В августе Ли предстояли непродолжительные военные лагеря, а на другой каникулярный месяц у него было два приглашении — традиционная Москва и Поволжье, где прежде он не бывал. Ему очень хотелось в Поволжье, но и Москвой он не мог пренебречь: многое из недавно пережитого и на будущее хотелось обсудить с дядюшкой. Но дядюшка вдруг уехал в Венгрию на пару недель, и Ли решил съездить в Чебоксары, а на обратном пути — к моменту возвращения дядюшки — заехать в Москву.

В Поволжье он поехал казанским поездом. Часть пути Ли пролегала по маршрутам бегства его и Исаны в сорок первом, но что-либо узнать уже было невозможно. Потом поезд ушел в российскую глубинку, останавливаясь и в городах, и на каждом полустанке. Молоденькая проводница-татарочка выделила Ли из числа своих пассажиров, и когда вагон затихал, охотно целовалась в тамбуре. Говорили они, мешая тюркские и русские слова. Но даже самый долгий и медленный путь имеет свой конец, наступивший для Ли на рассвете третьего дня путешествия. Поезд в Чебоксары не заходил, и Ли вышел на скучной станции Канаш. Там можно было полдня ждать «рабочий» поезд, либо в складчину нанять такси. Ли выбрал второе, и через полтора часа машина с первыми солнечными лучами по совершенно пустому шоссе ворвалась в еще не проснувшийся город. Встречала их одна загулявшая молодая «возлюбленная пара» не сумевших за ночь оторваться друг от друга людей, и шофер весело посигналил им, а Ли вдруг, впервые в его такой короткой и такой долгой жизни, захотелось послать к черту все свои тайные миры и пожить немного простой человеческой жизнью, в которой и рассветы, и объятия, и кружка пива в жаркий день были бы самоцелью, а не фоном вечной борьбы Добра и Зла. Ему близок стал сейчас чеховский призыв «смотреть на жизнь не так замысловато; на самом деле она гораздо проще»…

После двух-трех дней обязательного родственного общения с Бройтманами (после десяти лет разлуки) и взаимных рассказов «о жизни» Ли понемногу стал выбираться на Волгу, тогда еще в этих местах не изуродованную плотиной. Взяв под залог лодку, он отправился вверх по течению и вскоре выбрал для себя несколько очаровательных мест на дальнем левом берегу. После этого Ли поплыл прямо туда и, вытащив лодку на песок, без конца бродил по отмелям. Здесь прямо к берегу подступал бескрайний лес, и Ли иногда выходил на его опушку. Ближе к берегу лес окаймляли лиственные деревья, и, лежа на спине на ослепительно белом

песке с книжкой четверостиший Хайяма, Ли смотрел, как теплый летний ветерок шевелит кроны, как купаются в воздушных струях серебристые и темно-зеленые листья, и в такие минуты он знал, что Хранители его Судьбы находятся где-то совсем рядом, и временами ему казалось, что он слышит их тихую беседу, только не может разобрать их речь.

Взгляни: вокруг леса все зеленее,
И светятся в листве ладони Моисея,
Пестрят в лугах цветы, светясь, как Иисус,
И облака плывут, на Землю слезы сея.

Общение с Природой и почти ежедневная тарелка лесной земляники в молоке или сметане, может быть, не без помощи Хайяма, несущего успокоение мятущейся душе, сделали свое дело, и Ли совершенно забыл о своей недавней слабости. В Москве он пробыл всего два дня, прошедших в непрерывных разговорах, картину будущего, увы, нисколько не уточнивших, поскольку все пока что укладывалось в одну робкую фразу «ну, хуже-то, наверное, не будет». А по всей стране все еще висели усатые портреты и трепыхались, отлитые в лозунги, его «мудрые» слова. Впрочем, никто на них уже не обращал никакого внимания.

От недавнего «всенародного горя» не осталось и следа. Ли даже ощущал дух скрытого веселья, сопровождающий любое частичное освобождение, когда одна смертельная опасность миновала, а другие еще где-то далеко. Ли вспомнил фразу Хозяина из дядюшкиной «копилки», которую после благожелательного приема, оказанного «высокими гостями» какому-то хороводу а-ля рюс в стиле «кантри», восемь лет назад в Ялте произнес «корифей всех наук»: «Самая удивительная черта русского народа — это его способность веселиться». Конечно, он тогда и мысли не допускал, что однажды поводом к проявлению этой «замечательной черты» может послужить и его собственная смерть. Впрочем, сам дядюшка, любивший политику, предпочитал другое высказывание Хозяина из «ялтинского фонда», которым тот порадовал своих соратников по коалиции: «После войны Россия и Англия будут *одно*». Дядюшке приходилось видеть «живого» Черчилля, и он с удовольствием представлял себе его физиономию после дословного перевода этого многозначительного заявления.

Дядюшка вообще любил представлять себе виденных им в официальной обстановке «великих» и «выдающихся», важных, напыщенных политиков в разного рода необычных для них, но

вполне житейских ситуациях, и все эти сцены всегда находились при нем, в его бездонной памяти, над которой было не властно время.

Книга десятая
В РЕЗИДЕНЦИЯХ СМЕРТИ

Вчера на кровлю шахского дворца
Сел ворон. Череп шаха-гордеца
Держал в когтях и спрашивал: «Где трубы?
Трубите шаху славу без конца!»

Омар Хайям

I

Прошел год, и незаметные для того провинциального круга «неосведомленных» людей, к которому, пребывая вдали от Москвы, принадлежал Ли, медленные изменения стали все же приносить свои плоды. Особенно это чувствовалось в Москве, куда он приехал сразу же после экзаменов. Открывались новые, доступные по ценам кафе с «самообслуживанием» и кулинарные магазины со стойками, чтобы в них можно было не только «брать с собой», но и перекусить. Началось строительство жилья. Различными и весьма медленными путями изменялся состав опричников, удержавшихся у власти в первый год после смерти Сталина. Появились и новые люди. Все это свидетельствовало о том, что какие-то «процессы» в руководстве страны шли, и первые практические результаты этих процессов вселяли кое-какую надежду.

Впрочем, Ли после памятных ему дней 53-го сразу же вернулся к своим историко-философским изысканиям и развлечениям, и к тому же «открыл» для себя «Жизнь Клима Самгина», поглотившую все его внимание, несмотря на то, что дядюшка, узнав о его новом увлечении, проворчал, что «это» еще хуже, чем «Современная история» Анатоля Франса. Дядюшке было проще: и Горького, и Франса он знал лично, они были для него еще живы, и он с ними все еще продолжал свои споры, а Ли предпочел Горького лишь потому, что «Сорок лет» и особенно комментарии к этой книге послужили ему иллюстрацией к его поискам правды прошлого. Текущая же политика пока не таила близкой опасности его миру и потому отошла для него на второй план.

Единственное, чего ему очень хотелось, так это побывать там,

где недавно всесильный Хозяин скоротал свои последние дни, чтобы там, «на месте», убедиться в своей причастности или непричастности к его агонии и смерти.

Читатели этих строк, вероятно, уже привыкли к тому, к чему сам Ли никак не мог привыкнуть: к подконтрольности всех его желаний и действий. И на сей раз не обошлось, надо думать, без вмешательства Хранителей его Судьбы, поскольку однажды дядюшка сказал:

— Да, чуть не забыл! Тут у меня был один из моих бывших студентов и, между прочим, рассказал, что он имеет какое-то отношение к подготовке музея Сталина на той самой даче, так живописно представленной когда-то нам Иваном Михайловичем. Я вспомнил твой к ней интерес и договорился, что он тебе эту дачу покажет. Где-то был его телефон…

И дядюшка принялся ворошить бумаги, в беспорядке лежавшие в среднем ящике стола. Наступил час чудес: чудом было то, что дядюшка с его феноменальной забывчивостью при не менее феноменальной памяти вспомнил ничего для него не значащий рассказ о сталинской даче. Вторым чудом было то, что он вспомнил о своем разговоре с бывшим студентом. И третьим чудом было то, что номер телефона как-то сразу нашелся, чем даже он сам был потрясен.

— Ну вот, держи, звони, договаривайся, возьмешь Василия и айда!

В ближайший же выезд в Москву Ли позвонил по этому телефону из дядюшкиной городской квартиры. Вежливый голос сообщил ему, что музей еще закрыт, но время от времени его осматривают разные «лица», и к одной из таких «секретных» экскурсий ровно через три дня может быть присоединен Ли, если тот прибудет не позднее десяти часов утра.

Василий в гараже заблаговременно проконсультировался по части проезда к даче с шофером одного из покойных президентов Академии наук, возившим «своего» к Хозяину, и в назначенный день и час он и Ли прибыли в Волынское, откуда экскурсия уже должна была двигаться «организованно».

II

Осмотр начался с территории, мало интересовавшей Ли, но он терпеливо, вместе со всеми ознакомился с набором надворных построек: с «малым домом», оранжереей, русской баней, гаражом, постоял на берегу овального пруда с маленьким островком посредине и прошелся под высокими соснами, где при Хозяине

был «бельчатник», отгороженный от остального мира очень тонкой мелкой сеткой. Ее к тому времени уже убрали, а белки, довольные, как и почти весь «советский народ», смертью тирана, разбежались куда глаза глядели, чего, правда, «советский народ» тогда еще сделать не мог.

Экскурсантам показали даже бомбоубежище, подчеркнув, что «обычно» они «это» никому не показывают. В бомбоубежище спустились на лифте в несколько приемов. Судя по продолжительности движения лифта, глубина была в два-три этажа вниз. Но там, внизу, в отделанных светлым деревом комнатах эта глубина совершенно не ощущалась.

И наконец, наступила очередь «главного» объекта. Экскурсанты собрались в довольно просторном вестибюле. Все его стены были увешаны географическими картами. Столик и кресла после марта 53-го сдвинули в угол, а вешалка пустовала, но, по словам сопровождающего, здесь, как «при нем», скоро будут висеть копии «его» шинели и кителя.

Затем все проследовали сначала направо и осмотрели «комнату Светланы», где в последние годы размещалась библиотека, и расположенную рядом то ли запасную спальню, то ли кабинет. За «комнатой Светланы» начиналась галерея, ведущая в оранжерею, но туда экскурсантов не повели и предложили осмотреть «большую» столовую, служившую «вождю» также и главным рабочим кабинетом. Это был довольно просторный зал с широким эркером, обращенным на восток. Здесь Ли увидел тот самый — громадный, почти на всю длину зала — обеденный стол, о котором говорил Иван Михайлович. Посетителям рассказали, что покойный «вождь» чаще всего работал именно в этой комнате на самом дальнем краю стола. Там же был большой диван с удобной спинкой и валиками, на который его перенесли после удара и где он умер. Говоря об этом, экскурсовод почему-то перешел на шепот, как будто смерть Хозяина продолжала быть «государственной тайной»…

Ли постоял у края стола и, закрыв глаза, представил себе вакханалию собиравшихся здесь истязателей и убийц. И подумал о том, что, возможно, он сейчас оказался в той точке, где сходились все «сигнальные нити» кровавой паутины, опутавшей прекрасную страну, а здесь, на этом месте, сидел «Главный Паук». Дернет за одну ниточку, и на Урале сотня человек попадет в застенки, а несколько тысяч отправятся «на лесоповал», дернет другую — и в Питере возникнет «шпионский центр», сотни погибнут в муках, а десятки тысяч вывезут в Сибирь. Дернет третью, и в Минске грузовик «случайно» давит Михоэлса… Сколько же лет гуляло по стране Зло, управляемое отсюда, и где

оно притаилось сейчас? Ответить самому себе на этот вопрос Ли тогда еще не мог.

Рассматривать в «большой» столовой было нечего: всего несколько литографий украшали ее стены, а самым запоминающимся экспонатом был выполненный каким-то умельцем макет по картине Шишкина «Утро в сосновом лесу».

Тем временем сопровождавший закончил декламировать длинный список сиживавших за этим столом «замечательных людей», не уступавший гомеровскому списку кораблей, отправившихся воевать Трою (замученный по приказу, отданному «вождем» отсюда же, Осип Мандельштам, по его собственному признанию, сумел дочитать этот список лишь до середины…), и пригласил собравшихся, заглянув в спальню, перейти потом через вестибюль в «малую» столовую, занимавшую северо-западный угол здания.

Спальню Ли осмотрел вскользь. Его, правда, немного удивило, что кровать в ней стояла перпендикулярно стене и на некотором от нее отдалении. Ли даже спросил, было ли так при Хозяине, и получил утвердительный ответ. Ночного горшка под кроватью не было, поскольку туалет находился рядом, судя по тихому плеску воды, а покрывало на кровати оказалось очень коротким. «Вероятно, чтобы сразу увидеть агентов мирового сионизма, если они попытаются затаиться под кроватью», — подумал Ли.

Но в «малой» столовой уже у самого ее порога у Ли возникло ощущение, что он уже здесь много раз бывал. Без какого-либо усилия воли он отключился от происходящего вокруг и увидел эту же комнату не в дневном, а в электрическом свете, услышал потрескивания дров, а потом и увидел горящий камин, увидел Хозяина, укрытого шинелью и ворочающегося на диване под его взглядом. Ли показалось, что Хозяин ловит его взгляд, а поймав, закрывает глаза и бледнеет, а потом снова открывает и снова ловит… Ли перешел к камину, но видение не исчезло, и поединок взглядов повторился с той разницей, что Хозяин уже полулежал на своем диване.

В сознание Ли ворвался голос из внешнего мира:

— Вот здесь, на этом самом месте в тот памятный для обитателей дачи день один из офицеров охраны и обнаружил Иосифа Виссарионовича лежащим на полу…

Все в молчании осмотрели памятное место на ковре у дивана, а голос продолжал:

— Он был еще жив, и его бережно перенесли в «большую» столовую». Если он и приходил в сознание, то ненадолго, и никто этого не заметил, поскольку речь у него отнялась.

Когда все вышли во двор и направились к выходу, Ли сильно поотстал. К нему подошел один из местных и сказал:

— Вы опоздаете на автобус, а другого транспорта здесь не будет!

— У меня — машина, — ответил Ли и указал на видневшийся в приоткрытые ворота «ЗИМ», пригнанный Василием по «следу» автобуса.

Поскольку персональный казенный «ЗИМ» был в те годы признаком достаточно высокого положения в имперской иерархии того, кто им распоряжался, бдительный человек не стал настаивать, а понимающе и с уважением произнес:

— Ну тогда — побудьте, а то когда еще сюда попадете! Ведь даже открытие музея до сих пор еще под большим вопросом.

Не представляя себе судьбу музея, о себе Ли уж точно знал, что сюда он не попадет больше до конца своих дней, и он спросил своего собеседника:

— А вы здесь были при Сталине?

— Да, последние четыре года.

— И весь месяц перед смертью?

— Да.

— Он что — не выезжал отсюда в феврале?

— Да, во второй половине ни разу. И даже к людям выходил редко, все больше был в «малой» столовой с книгой, но мне казалось, что он ее и не читал вовсе, только держал раскрытой.

— А что-нибудь странное в его поведении кто-нибудь заметил?

— И прежде бывали дни, когда он затворничал, почти ни с кем не разговаривая и не общаясь, поэтому никто поначалу особенно и не беспокоился. Из необычного в тот последний месяц помнится, что он дважды вызывал прислугу, чтобы сказать, что в углу за диваном что-то поблескивало, и приказывал проверить, не коротит ли электропроводка. А раз ему почудился какой-то непорядок у камина…

— Проверили?

— Сделали вид, потому что там, куда он показывал, вообще никакой проводки не было. И из камина угли не «выпрыгивали». Ему предложили побыть в другой комнате, пока мастера все перепроверят, но он отказался и махнул рукой, чтобы его оставили в покое.

Все эти подробности не до конца убедили Ли в его причастности к гибели тирана, и единственный безусловный вывод, сделанный им для себя, состоял в том, что здесь не обошлось без Хранителей его Судьбы, а сколько таких «Ли», как он, сколько душ, мучающихся и замученных по воле «вождя»,

сконцентрировали свою ненависть так, что он увидел их смертельное для него свечение рядом со своим ложем, узнать ему было не дано.

От этих раздумий его отвлек голос его случайного собеседника, которого он уже успел позабыть:

— Разрешите теперь мне задать вам вопрос?

Ли бросил на него быстрый недоуменный взгляд и склонил голову в знак ожидания.

— Я наблюдал за вами, и мне показалось, что в некоторых помещениях дачи вы уже бывали. Я не ошибся?

— Ошиблись, — не задумываясь ответил Ли. — Но несколько лет тому назад один из моих знакомых, бывавший здесь, весьма подробно мне ее описал.

Честный ответ Ли настроил его собеседника на взаимную откровенность, и, улыбнувшись, он сказал:

— Позволю себе заметить: рассказывавший вам это был очень храбр или очень беспечен, потому что при *его жизни* каждый, здесь побывавший, обязан был немедленно забыть планировку и интерьер этих помещений, и если бы наша с вами беседа состоялась *тогда*, я должен был бы вас задержать «для выяснения», как говорится.

— Но времена переменились, — добавил он с явным сожалением после минутной паузы.

Слушая его, Ли тоже улыбнулся, вспомнив, как тщательно рвал салфетку с «секретным» планом и скатывал шарики из ее обрывков бедный Иван Михайлович, которому, несмотря на его профессиональную осторожность, избежать сталинской тюрьмы все же не удалось.

Когда Ли шел к воротам, ему показалось, что Тайна, связанная с тем, что происходило с ним и что произошло здесь, на миг приоткрылась. Но он был так взволнован, что не смог «поймать» промелькнувшую мысль, и запомнил «вешки», отметившие ее путь, чтобы потом попытаться воссоздать все условия для приема откровения.

Возвратившись назад, под Звенигород, он, следуя правилам внутрисемейного этикета, принятым в дядюшкином доме, подробно, как мог, рассказал об экскурсии и, отпущенный в свою комнату, проспал там часов двенадцать без просыпу, пропустив ужин.

III

На следующий день утром Ли поднялся свежим и сильным, и

сразу же пережитое за последние два-три года ушло в прошлое, в дальние закрома памяти. Взамен пришла способность спокойно все обдумать и попытаться подвести некоторые итоги. Все это Ли даже истолковал как начало своего освобождения, но эти его настроения оказались несколько преждевременными.

Он сидел, прислонившись к могучему дереву, на высоком обрыве над Москвой-рекой в позднем расцвете подмосковного лета, и его обычно быстрые и точные мысли своими нынешними контурами напоминали белые облака, и плыли они, сменяя друг друга, как плыли над лежащей у его ног долиной эти вполне реальные медленные облака, сливаясь и разъединяясь в своем неторопливом движении. Сначала Ли думал о своей причастности к тому, что произошло на кунцевской даче, и что в своих предыдущих сомнениях по этому поводу он постоянно упускал одно очень важное обстоятельство, вернее, целую систему обстоятельств, очевидная взаимосвязь которых превращала их в веские, почти неопровержимые доказательства.

Ли уже как-то размышлял о неслучайности всех тех «случайных» событий в его личной Судьбе, что привели его к встрече с Рахмой и к той степени самопознания, которая была необходима для исполнения воли Хранителей его Судьбы. Теперь он продолжил исследование своей жизни с той же точки зрения. Он как бы вернулся на раскаленную Дорогу, к мыслям, прерванным появлением незнакомца, угрожавшего его жизни и, возможно, убитого им. Тогда он думал о брате отца — дяде Павле, умершем в Польше от скоротечной чахотки, а вернувшись к этим размышлениям сейчас, попытался построить вариант своей жизни при живом и дееспособном дяде Павле: он и Исана тогда бы не возвращались в Харьков, а приехали бы к нему в Одессу. Как бы ни сложились отношения Исаны с «этими немцами» — Ниной и ее отцом, она и Ли устроились бы где-нибудь поблизости, жили с помощью Павла, и у тети Манечки не возникла бы мысль о том, что они нуждаются в помощи. Москва была бы вдвое дальше, и вряд ли Ли стал в ней столь частым гостем, а это значит, что все то Знание, которое было необходимо для выполнения миссии, возложенной на него Хранителями его Судьбы, осталось бы для него закрытым, поскольку не было бы ни бесед с Иваном Михайловичем, ни встречи с Хозяином на подмосковном шоссе. Не было бы близости к дядюшке и, следовательно, его заботы о спасении Исаны и Ли от смертельной опасности депортации. А это значит, что не было бы и информации о готовящемся преступлении, а поэтому и не было бы того мощного источника ненависти, лучи которой, сконцентрированные душой Ли, смогли достичь «малой

столовой», где прятался от всех и от себя самого полубезумный тиран, уже полностью готовый сокрушать всех и все окрест себя.

Нарисовав это дерево событий и причинно-следственных связей в его полный рост, Ли опечалился: опять его миссия потребовала нелепого и преждевременного ухода близких и дорогих ему людей. На сей раз это был любивший его в детстве и любимый им дядя Павел. Не слишком ли велика цена? И кто следующий? У Ли уже почти не оставалось близких людей на Земле!

И тут к Ли пришли сомнения в его миссии. Во всей системе действий, совершающихся в мире по воле Хранителей его Судьбы, был какой-то существенный изъян. Ведь если эти вечные опекуны человечества так сильны и прозорливы, то почему Гитлер и Сталин не были уничтожены в зародыше или в своих предшествующих поколениях? Каждого человека Ли представлял вершиной двух треугольников. Основание одного из них уходит в будущее, другого — в глубь веков, в даль минувших столетий, и по мере удаления от вершины число людей, причастных к его появлению на Земле, растет в геометрической прогрессии, достигая, например, уже в двенадцатом предшествующем поколении пяти тысяч человек. Замена одного из них на этом далеком уровне, возможно, лишила бы жажды власти и жестокости характеры Гитлера и Сталина, и первый так и остался бы небесталанным художником-пейзажистом, а второй — небездарным сочинителем элегий и песен в честь родной ему Грузии и величаний для дружеских застолий. Изменение всего только одного звена в основании (Ли еще не знал тогда о бабочке Бредбери и пришел к тождественному образу иным, более понятным ему путем), своевременное исчезновение из мира живых несколько сот лет назад и без того совершенно бесследно исчезнувшего как личность человека — и наш сегодняшний век был бы избавлен от многочисленных мучений и преждевременных смертей, он весь был бы Золотым веком, оправдывая это гордое имя, данное ему в Европе по его доброму началу.

Почему же им, Гитлеру и Сталину, долгое время сопутствовала удача и почему им, а не против них служили «случайности», так же, как когда-то вели к власти над миллионами людей Александра Македонского и Батыя, Тимура и Наполеона? Вся история жизни этих «вождей» и весь их опыт кричит о том, что их опекала Судьба. Правда, до поры до времени. Ли чувствовал, что ответ на свои вопросы он получит только в том случае, если сумеет выделить *нечто общее* в жизни и в устремлениях этих совершенно разных по интеллектуальному

уровню людей — от гениев-самородков Александра Македонского и Наполеона до идиота, к тому же явно душевнобольного, Адольфа Гитлера.

Общим же было то, что каждый из них в свое время провозглашал своей целью захват власти над человечеством, завоевание Земли, что по сути дела означало объединение человечества на какой-нибудь основе. И когда тиран шел к этой своей цели, ему сопутствовала удача до тех пор, пока его действия не начинали создавать угрозу самому существованию человечества. И Ли понял, что *Они* хотят видеть человечество объединенным на любой основе, считая, *вероятно*, что независимо от того, каким бы способом это единение ни установилось, назад к разобщенности дороги уже не будет, и наступит царство Разума.

Небо под взглядом Ли как-то незаметно стало темнеть, сохраняя свою глубокую синеву, и на нем зажглись тысячи звезд. Ли увидел Млечный Путь, так ярко светивший ему в непроглядной летней тьме долины. Его внимание привлекло небольшое светящееся облачко, как-то необычно медленно пульсировавшее на его глазах, то расширяясь, бледнея и исчезая вовсе, то снова собираясь в довольно яркий комок.

Ли вспомнил просмотренные им дядюшкины книги по астрономии, описания Вселенной Эйнштейна. В его мозгу зажглись ключевые слова: «расширяющаяся Вселенная», «Бог-Природа», «энтропия», и тогда он понял, что ему *показывают* расширение Вселенной и гибель энергии в этом бесконечном расширении, а если увиденное им — не случайность, то эта энергия разумна, то это и есть тот самый Разум, пытающийся утвердиться на Земле.

«Разговор» без слов не был для Ли новостью, это бывало у него и с Рахмой, а отдельные мысли различных людей его мозг фиксировал с детства. Новым в этой беззвучной беседе было отсутствие реального собеседника, «физического лица», как говорят юристы. Поэтому Ли не сразу вошел в ритм беседы, и первоначально весь этот поток информации показался ему хаотическим. Но вскоре возникло ощущение системы, системы сведений и системы взглядов. Общим во всех этих системах было то, что в них не было ничего человеческого.

Перед Ли был развернут проект творения и сформулирована основная цель создания всего живого: сохранение интеллектуальной информации галактического Разума, обреченного на исчезновение самой неизбежностью энергетической смерти расширяющейся Галактики, неспособной удержать свою материю и энергию. Относительно недавние

напряженные занятия физикой не прошли даром, и Ли без особого труда понял смысл Жизни, вложенный в нее изначально ее Создателем (или Создателями): противостоять энтропии, сохраняя тот уровень энергии, который необходим для сохранения живым и действующим Разума, распределенного в миллионах личностей. Но чтобы этому сообществу личностей можно было доверить все интеллектуальное богатство этого единого Галактического Разума и сделать это смертное, но само себя воспроизводящее сообщество всемогущим, способным покинуть старую умирающую Галактику и обосноваться в одном из юных миров, оно, это сообщество, должно быть единым, и именно поэтому идея объединения человечества витает над его историей.

Ли усмехнулся: бестелесный Разум, вероятно, далеко не сразу понял, что в Живом Он не только воссоздал частицы Разума, Интеллект и радость Знания, но и создал совершенно не знакомый Ему мир чувств, оказавшихся столь же мощной движущей силой, как Разум, а иногда и более мощной, к тому же, почти неуправляемой…

Ли стали ясны многие благие попытки обуздать чувства: «договоры» с Богом, откровения, целые нравственные системы, такие как йога, христианство, мусульманство, подаренные людям для освобождения доверенного им Разума от власти чувств, власти Тела, власти земного плотского Наслаждения. И вечная борьба Добра и Зла предстала перед Ли, в конечном счете, как явная или тайная борьба духовного и примитивно-чувственного начал.

И пока преимущество в этой борьбе оказывалось на стороне Чувственного, на стороне плоти.

Сам-то Ли, благодаря Хранителям его Судьбы, уже был защищен от распада на «атомы» плотской жизни, и Чувственное, приходя к нему в пленительных и почти эпических образах Эроса, открывало для Ли один из кратчайших путей постижения всего сущего — Природы, Космоса, — энергетически обогащая его и… приобщая к Высшему Разуму. Но весь жизненный опыт Ли, основанный на личном общении с людьми всех уровней — от претендующих на принадлежность к духовной элите до подонков — и на огромной массе прочитанного им, убеждал его в том, что за все века существования «разумной» жизни на Земле сущность человека не изменилась и из-под всех нагромождений «сокровищ духовного мира», как трава сквозь бетон и асфальт, пробиваются несколько изначальных, правящих большинством людей желаний: мужских — поменьше работать, повкуснее поесть и иметь в своем распоряжении побольше женщин для земных утех, и женских —

иметь своего мужчину, свой дом, своих детей.

И только стремление удовлетворить эти желания за счет других породило стремление к власти над себе подобными, ставшее основной движущей силой человеческой истории. При этом у людей неполноценных и у душевнобольных власть сама по себе стала источником наслаждения, и желание власти оказалось для них непреодолимым, затмившим все прочие вполне естественные желания. Так возникли тираны. В клиническом характере стремления к власти над ближними, как и желания быть кем-то управляемым, Ли, сам полностью лишенный этих «слабостей» и не признававший никакой чужой земной власти над собой, был убежден абсолютно и окончательно, и это не скрываемое им убеждение часто становилось причиной его споров с дядюшкой — неисправимым позитивистом, успокаивавшим себя такими бессмысленными, с точки зрения Ли, словосочетаниями, как «разумная власть», «умеренный авторитаризм» и им подобными.

Щека Ли лежала на теплой коре старого дерева, и недалеко от его глаз пробежал муравей. «А этот — зачем?» — успел подумать Ли, и вдруг он оказался в мире иных, совершенно непонятных звуков, цветов, странного движения. Он вспомнил себя там, в Долине, лежащим на траве и следящим за бегом муравья, вспомнил, как ему хотелось узнать, *что* и *как* видит муравей в их общем мире, и он понял, что сейчас ему это показали, и он получил ответ на свои вопросы: человеку никогда не удастся без помощи муравья узнать то, что видит муравей, даже сделав искусственного муравья, но человек будет обучен использовать все живое как свои глаза, уши, пальцы, и вся сумма знаний о мире станет его достоянием. А единение всего живого на Земле так же необходимо, как и единение Человечества.

Человечество *оберегаемо* — в этом у Ли сомнений уже не было, и все сразу стало на свои места: Гитлер *не должен* был погибнуть в заговоре 44 года, потому что в этом случае в сердце Европы сохранилась бы нераскаявшаяся, илитаризированная, агрессивная Германия с мощной армией, уже протянувшей мохнатую лапу к атомному оружию, а Сталин *должен* был уйти из жизни в 53-м, когда при полном отсутствии совести и нравственных устоев его мохнатые лапы завладели водородной бомбой.

В мир, окружавший Ли, вернулись обычные летние краски. Или, может быть, сам Ли вернулся сюда, на берег тихой реки, откуда-то издалека. «Извечная задача: Чжоу ли снится, будто он бабочка, или бабочке снится, будто она — Чжоу», — подумал Ли. Он, наконец, взглянул на дерево, под которым сидел. Это был

древний могучий дуб. «Еще одно Богоявленье, как тогда — в Мамре!» — подумал он. Но, в отличие от отца народов Авраама, он чувствовал, что все, что он «услышал», дано только ему, чтобы он знал свое место, и никакой земли ему по этому договору не обетовано. Обетована же ему только жизнь, да и той, будет ли она короткой или длинной, полностью распорядиться он не вправе.

Тем не менее, на душе у Ли было спокойно. Он, как в былые годы, прислонился ухом к дереву и услышал знакомый приятный шум. Шум Жизни и шум Вселенной. День и ночь в любое время года дерево было обращено ко Вселенной, ловило лучи и волны близких и дальних звезд, собирало в себе по крохам их послания, но Ли даже не пытался расшифровать их, он просто наслаждался этой песней без слов.

IV

Через некоторое время Ли выпал совершенно свободный день в Москве. Зрелищ ему не хотелось, хлеба тоже, и он решил просто побродить по великому городу, поскольку из-за машины, имевшейся в его распоряжении, он очень редко ходил в Москве пешком. И он не спеша побрел от «Дома на набережной» через Каменный мост, под стенами Кремля — по Александровскому саду, прошелся немного по Воздвиженке, а потом по бульварам перешел на Тверскую и, снова спустившись к Кремлю, вышел на Красную площадь. Там он впервые прочитал на Мавзолее надпись: «Ленин Сталин» и увидел относительно небольшую очередь желавших повидаться с трупами вышеуказанных «товарищей».

Одного из них Ли в свое время уже видел и заколебался: стоит ли идти смотреть на них в паре, — но обилие свободного времени и, что греха таить, некоторый интерес разрешили его сомнения. Ли стал в конце непрерывно движущейся человеческой струйки.

Буквально через несколько минут он подошел к порогу склепа. Со времен своего туркестанского детства Ли довольно спокойно относился к кладбищам, могилам, мертвецам, скелетам, иногда встречавшим его «лицом к лицу» в полуразрушенных тюркских склепах и провалившихся, изрытых шакалами могилах, и их созерцание никогда не вызывало в нем мистических настроений. Но когда Ли второй раз в жизни переступил порог этого склепа, он явственно услышал какой-то приятный ему, но совершенно непонятный звук. Будто кто-то оттянул струну гитары и отпустил ее, чтобы она одна, без струн-соседок, допела

свою песню до конца. «Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный», — вспомнил Ли. Но тут струна была не лопнувшей, а живой, и в ее звуке звучала не только печаль, но и отдаленная радость. Ли оглянулся на идущих следом в надежде, что кто-нибудь еще услышал то же, что и он, но все шли с отрешенным видом, погруженные в свои мысли, только маленький мальчик, чуть не наступавший ему на пятки, не хотел смириться с торжественностью этого шествия и вертелся, как мог. Ли посмотрел на него и встретился взглядом с его живыми глазками.

Две мумии лежали рядом. Тело генералиссимуса, такого маленького среди живых, здесь выглядело весьма внушительно рядом с пролежавшим уже около тридцати лет телом тоже весьма мелкого в жизни «вождя мирового пролетариата». Кроме того, «гений всех времен и народов» расположился поближе к смотровой дорожке, и его желтая морда, сохранившая еще живую округлость, казалась огромной на фоне остренького личика его партнера по этому безбрачному ложу.

На эту необъятную морду Ли и устремил свой взор. Свет падал так, что он не сразу заметил знакомую щербинку-оспинку на щеке, а заметив, подивился, как точно он ее разглядел с расстояния в десять-пятнадцать метров в то памятное краткое мгновение на замершей, как во сне, подмосковной дороге.

Граф Лев Николаевич Толстой в «Севастопольских рассказах» описывал, как у одного из воинов, осознавшего неизбежность собственной гибели, за одно мгновенье перед мысленным взором прошла-промчалась вся его прожитая жизнь от самых младенческих лет. Нечто подобное произошло и с Ли: за два шага, остававшихся ему до того, чтобы поравняться со зловещей физиономией, и еще за два шага, когда он, пройдя ее, мог, полуобернувшись, еще ее видеть, перед его мысленным взором пробежали те страшные февральские дни и ночи, когда вся его воля и ненависть были направлены на эту морду, на эту оспинку на желтой щеке. Все дни и ночи, проведенные его бесплотным духом рядом с тираном в «малой столовой», которую «корифей всех наук» так и не смог покинуть, став пленником каких-то странных сил, медленно подталкивающих в объятия Смерти его, всеми своими рогами и копытами цеплявшегося за Жизнь, уже повернувшуюся к нему спиной.

А в самом конце этого калейдоскопа воспоминаний в памяти Ли вдруг промелькнул совершенно забытый эпизод, относившийся к тем временам, когда «вся страна и весь советский народ» в ответ на «постановление Центрального Комитета» о журналах «Звезда» и «Ленинград» усиленно штудировали доклад

«товарища Жданова» и «всей душой» «клеймили» «ненавистных» Зощенко и Ахматову. («Чуждого массам» Мандельштама, также упомянутого кремлевской сволочью, «народ» уже не знал и не помнил.) От директора школы, где учился Ли, также потребовали провести «час ненависти», который оформили в виде «открытого урока». При всей своей молчаливости и сдержанности, говорить Ли умел, а таких в их классе было мало, и «ответственные за мероприятие» учителя, относившиеся к нему с недоверием, чувствуя в нем «чужого», были вынуждены все же обратиться к нему, тщательно отредактировав бумажку с текстом его «клеймящего» выступления. В отличие от большей части «народа», Ли внимательно прочитал «доклад товарища Жданова», поразивший его предельной убогостью мысли, рептилийно-злобной, и, конечно, не пропустил похабного упрека в адрес Анны Ахматовой в связи с появлением в одном из ее ташкентских стихотворений какого-то кота. Поэтому, прочитав предписанный ему текст, Ли решил самовольно и в порядке сюрприза несколько «оживить» его свежими ждановскими мыслями. Дойдя в своем выступлении до тех фраз, где, по мнению Ли, это отклонение от канона было уместно, он громогласно провозгласил:

— Как же могла Ахматова воспевать ус-сатую мор-р-р д у, — и тут Ли заметил, что сам он смотрит на портрет «вождя», а побледневший директор Гиббон смотрит на него, — и все же патетически продолжил: — Какого-то «хозяйкиного кота», в то время, когда весь советский народ под руководством товарища Сталина героически сражался с фашизмом?

Все с облегчением вздохнули, ведь не о Хозяине, а всего-то лишь о «хозяйкином коте»… Конец «часа ненависти», когда дело дошло до обезьяны Зощенко, и вовсе получился удачным, хотя Ли и предлагал заключительному оратору, чтобы тот заменил в выданном ему «противозощенковском» тексте слово «обезьяна» словом «какой-то гиббон», но тот стойко и точно отбарабанил заданное. На волне этого успеха даже забыли отругать Ли за вольности, проявленные при выполнении ответственного поручения.

Восстановив эту забытую картину, Ли начал было улыбаться, но вовремя вспомнил, где он находится, подавил улыбку и снова углубился в созерцание «вечно живых» трупов.

И вдруг, проходя мимо мумий, собираясь теперь уже навсегда отвести от них свой взгляд, Ли заметил, как веко тирана дернулось. Ли ожидал, что кто-нибудь вскрикнет или охнет от неожиданности, но все продолжали движение в каком-то трансе, как завороженные, и Ли подумал, что это опять *нечто* открытое только ему, поданный ему *знак*.

Направляясь к выходу, он продолжал размышлять: может быть, увиденное им и было реальностью и означало, что в пределах выставленного напоказ трупа, благодаря всяким снадобьям, коими он был нашпигован, еще случайно на клеточном уровне сохранились остатки жизни, и в этих нескольких клетках частицы злобного духа, некогда двигавшие лежащее перед ним тело, почуяв присутствие своего смертельного врага, последний раз заставили дернуться в бессилии уже почти полностью омертвевшую ткань.

За все время, пока двигалась очередь, Ли свыкся с тем, что за ним копошится мальчишка-непоседа, и еще до выхода из склепа его, погруженного в свои мысли, поразил необычный покой, установившийся у него за спиной. На площади Ли сразу же вышел из очереди, часть которой еще по инерции продолжала двигаться «организованно», как и положено «советским людям», и спокойно огляделся вокруг. Он сразу заметил группу людей, что-то весьма живо обсуждающую, и подошел к ней из любопытства.

В центре группы он увидел своего беспокойного соседа по «очереди». Мальчишка уже не ныл и не вертелся, а горько рыдал, повторяя одну и ту же фразу:

— Зачем мертвец на меня посмотрел?!

Все старались внушить мальчику, что ему показалось: не могло же быть так, что все не заметили, а один он заметил! Но убедить ребенка в том, что он не видел того, что он видел, оказалось невозможно, и в беседу вступил благообразный пожилой человек с бородкой и в очках с позолоченными ободками:

— А вы знаете, — сказал он, — что здесь неподалеку проходит линия метро, и колебания грунта от движения поездов, если они попадут в резонанс, а такое иногда случается, распространяются очень далеко. Возможно, одна такая волна и дошла до Мавзолея, и он дрогнул, а наш юный друг, как самый внимательный из нас, эту дрожь заметил! Это я вам как специалист говорю!

Поскольку разговор принимал чисто научный оборот, к нему подключились любознательные взрослые, и один из них, в частности, спросил:

— А почему, если то, что вы говорите, правда, дрогнул только товарищ Сталин, а наш дорогой Владимир Ильич остался неподвижен?

У большого ученого и на этот вопрос был готов немедленный ответ:

— Тело Владимира Ильича уже практически окаменело, а ткани относительно недавно умершего товарища Сталина еще

сохранили упругость. Этим все и объясняется!

Марксистско-ленинская диалектика своей несокрушимой логикой успокоила людей, притих даже малыш, пытаясь сообразить что-то свое, не понимая и не веря услышанному объяснению, поскольку он еще не усвоил Главную идиотскую формулу, гласящую, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Ли эту формулу знал, но он знал и то, что учение Маркса верно лишь потому, что миллионы людей стремятся сделать его всесильным, а кроме того, он знал еще кое-что, не позволявшее ему согласиться с мнением ученого соседа по распавшейся очереди. В то же время он понял, что Остап Ибрагимович был не прав: знатоков все-таки не надо убивать, иногда они бывают полезны.

Ли задумался о другом: почему малышу показалось, что «мертвец на него посмотрел», когда Ли четко видел, что веки Сталина только дрогнули, а не раскрылись. Спустя много лет, увидев «моргающего Христа» в Светицховели, он понял, что при мгновенном взгляде может обмануться даже самое острое зрение.

Когда Ли уходил с площади, все эти события как-то сразу отошли на задний план, и в его душе снова печально и чарующе зазвенела серебряным звоном отпущенная на свободу гитарная струна. И он вспомнил, что «звук лопнувшей струны, замирающий, печальный» отмеряет у Чехова ход Судьбы. И подумал о том, что, может быть, и в его жизни этой тихой и нежной песнью, заполняющей его сейчас, Хранители Судьбы дают ему знать об исполнении его предназначения, а дальше он волен жить как все, обычной человеческой жизнью, с ее радостями и печалями. Это радостное ощущение обретенной Свободы не покидало Ли до отъезда из Москвы, но эта радость его оказалась преждевременной, ибо отпуска нет на войне, говорит Екклезиаст.

V

В предпоследний в этом году день своего пребывания на даче Ли бродил по комнатам. Ему почему-то очень хотелось немного побыть возле дядюшки. Его не томили предчувствия, хоть он ощущал приближение перемен. Ощущал он и неизбежность этих перемен. Его московский мир, еще недавно такой большой, сворачивался на его глазах, и Ли не мог ничего сделать, чтобы его удержать. В этом мире для Ли оставалось очень много неясного и непознанного, и он понимал: все эти малые и большие тайны будут для него закрыты навсегда.

Так у него уже было, когда в сорок первом вот так же

«свернулся» и отошел в небытие его довоенный мир. Записывая свои строки: «Мы больше в этот мир вовек не попадем, вовек не встретимся с друзьями за столом», Хайям думал, прежде всего, о неизбежности своего ухода, но для Ли, которого его собственная Судьба не волновала, в этих словах звучала горечь иных потерь. При этом в его воображении возникал уютный интерьер спального вагона, озаренный мягким льющимся светом; за столом на удобных диванах сидят милые ему люди — он так привык к ним за относительно долгий путь! Идет интересная неспешная беседа, радуют глаз изысканные блюда и напитки, хрусталь и дорогой фарфор, свободная рука Ли лежит на туго накрахмаленной салфетке, но он, Ли, *должен* покинуть это дорогое ему застолье, так и не успев обо *всем* узнать и услышать… И вот он один стоит среди ночи и тьмы на глухом полустанке, а поезд со всеми теми, кто ему дорог, с освещенными окнами уносится в недоступную ему даль, превращаясь в одинокий слабеющий красный огонек. И Ли *знает*, что где-то здесь недалеко, в каком-нибудь невзрачном домике, есть уютная комната, озаренная мягким льющимся светом, что там за столом с изысканными блюдами и розовым вином в хрустальных бокалах сидят те, кого ему предстоит узнать и полюбить. Они еще не видели его, не знакомы с ним, но они уже *знают*, что он *должен* прийти, и они *уже ждут*. И все равно — тяжела наука расставанья и велика тяжесть разлуки…

Дядюшку он нашел на закрытой веранде. Он сидел в плетеном кресле у окна и машинально перебирал несколько брошюр с его статьями, изданных в Багдаде, Дели и Бомбее. Ли взял в руки багдадское издание, вгляделся в красивую арабскую вязь заглавия, нашел двойную букву «лам-алиф», узнал еще несколько букв, но всю надпись прочитать не смог и загрустил, вспомнив, как Рахма объясняла ему этот причудливый алфавит.

Дядюшка раскрыл бенгальскую брошюру и с искренним удивлением сказал:

— Неужели они сами это могут прочитать?!

Ли засмеялся: слишком уж необычным ему показалось это наивное сомнение в устах человека, читающего на одиннадцати языках и свободно говорящего на пяти. Он напомнил дядюшке о не менее причудливых алфавитах Армении и Грузии, где тот не так давно побывал. От Грузии перешли к грузинам, а от грузин — к Сталину. И тут Ли с удивлением почувствовал, что Сталин, подмигнувший ему несколько дней назад из своего хрустального гроба, остается для дядюшки живым человеком.

За окном темнели сосны, сумерки заполняли веранду. Света они не зажигали, и дядюшка задумчиво говорил:

— Слишком много холуев крутилось вокруг него, а для любого холуя нет большего наслаждения, чем облить нечистотами того, кто им помыкал. Этой посмертной судьбы Сталину не избежать. Мне трудно судить, кто там прав, кто виноват. Если говорить конкретно, например, о таком бандите и аферисте, как Гришка Зиновьев, то раздавить такого гада — дело святое. Может, и еще кто-нибудь был ему под стать: не сам же Гришка творил свои гнусные дела! Сталин не был так прост, как, скажем, его писанина. Был у меня как-то с ним разговор о Плутархе. Хозяин взял в руки томик, и речь у нас зашла о Гракхах. Мне-то, конечно, для этого разговора не требовалось заглядывать в книгу: все, написанное Плутархом, я помнил дословно — и не сразу обратил внимание на то, что и он книгу не раскрыл и точно пересказал целую страницу о «большевистской» реформе Тиберия Гракха, как будто прочел ее вслух.

— И кто же, по вашему мнению, дядя, был более на месте как правитель империи — Ленин или Сталин? — спросил Ли.

— Безусловно, Сталин, — не задумываясь ответил дядюшка, — а тот, другой — он был игрок, удачливый, ничего не скажешь, но игрок, а игрок не должен править страной! Сталин — второй царь-работник, жестокий державник, девиз коего «Не пожалею ни единой жизни ради жизни моей системы». А Сталин конца 40-х и начала 50-х — это уже умирающий Сталин, психически больной человек. Уже давно не было врагов внутри его системы, а он дня не мог прожить без «охоты на ведьм». Но уже в нем самом наконец победил демон Зла, задолго до того поселившийся в этой страшной душе.

Оба они, и Ли, и дядюшка, вели эту беседу спокойно, без всяких эмоций, будто и не было недавних событий, связанных с почившим в бозе тираном. Дядюшка, еще в молодости потерявший (как ему казалось!) веру в Бога, в «фантастику церкви» и мистику, теперь со спокойной уверенностью говорил о погибели сталинской «души». И Ли подумал, что при всей непохожести его и дядюшки, при всем различии их судеб, каким-то общим предком в их генах закодировано спасительное правило: «держись стороны Добра».

И Ли застыл, чтобы не порвать неожиданно появившуюся хрупкую связь между их сознаниями, позволявшую им вспомнить прошлое вместе. Вот песчаные отмели на солнечном берегу бескрайнего моря. Маленький мальчик попал в яму с песком-плывуном и начинает погружаться в нее.

— Лиза! — зовет он на помощь в страхе, и Ли ощущает этот страх.

Подбегает высокая стройная девочка и за руку вытаскивает

его на твердь. «Боже мой! Это же бабушка Лиз!» — думает Ли, пытаясь запечатлеть облик девочки, но она исчезла, и Ли увидел и узнал Греческую, одесское родовое гнездо Кранцев; дядюшкой — молодым и ловким — взбежал на второй этаж, знакомая дверь с изящной медной ручкой, украшенной металлическими кружевами, а за большим столом в столовой незнакомые лица, но Ли *знает* некоторых из них — здесь его дед, уже немного постаревший по сравнению с его обликом на фотографии, сделанной в Германии в его студенческие годы и сохранившейся у Ли, рядом совсем еще молодая бабушка Лиз. Напротив нее сидит профессор Успенский, и разговор о нем: через несколько дней он отбывает в Турцию, где должен организовать археологический институт.

Потом пошли картины неизвестных Ли городов: Варшавы, Парижа, Женевы, Лондона, Милана, и в них рядом с уже солидным бородатым дядюшкой милая светлая женщина. Это тетушка Леля — сердцем постигает Ли. Мелькают лица, знакомые по портретам: Короленко и Михайловский, Куприн и Бунин, Горький и Репин, Чуковский и Качалов, Рерих и Грабарь, Плеханов и Вернадский, Дживелегов и многие другие — весь круг дядюшкиных знакомых, весь его мир, весь круг его общения на рубеже веков и в первых десятилетиях двадцатого века.

Снова странствия: пейзажи Финляндии, Эстонии, Швеции, уютные, созданные для жизни города, университетский парк в старом Юрьеве, красивые люди, незаслуженно забытые имена. Зимний дворец, открывший ему свои двери после Февральской революции, когда Т. выполнял поручения Временного правительства, а потом — затемнение в его странствиях во Времени до середины двадцатых и опять Париж, опять прекрасная Франция… И снова затемнение — это уже начато тридцатых. Тюрьма и ссылка, предательство учеников… Заступничество Ромена Роллана и Эдуарда Эррио…

Первая встреча со Сталиным…

И дядюшка открыл глаза.

— Был ли я уверен в своей безопасности после своего знакомства с ним? — спросил он сам себя, как бы подводя итоги своим видениям. — Пожалуй, не был ни минуты… Но мне уже было все равно. Основная часть жизни прожита, думал я, почему бы не рискнуть… И как же мне, историку, было отказываться от этой «дружбы»? Вот и попал в самую гущу исторических событий, в самое пекло…

Он задумался, а потом продолжил:

— Сколько раз меня «хоронили» за эти последние двадцать лет: и в 37-м, и в 40-м, когда они тут снюхались с немцами,

поделили с Гитлером Польшу. Уцелевшие старые патриоты, даже такой космист, как Вернадский, аплодировали «вождю». Мне передавали его соболезнования тому, что я «пересолил» в своих антифашистских выступлениях незадолго до этой случки. Но через несколько дней после приезда Риббентропа Сталин пригласил меня и Потемкина по издательским делам и, после разговора о делах, задержал меня, сказав: «Не огорчайтесь. Вы не промахнулись. Просто выстрел был немного преждевременным». А после войны маршал Толбухин, принимая меня в Тбилиси, между прочим сказал, что дьявольская интуиция Гитлера спутала карты и что, опоздай бесноватый на пару дней, все с самого начала могло быть иначе… Но более всего я благодарен Богу за то, что он не наградил меня судьбой Иосифа Флавия: не заставил меня быть рядом с палачами, добивающими мой бедный народ, перед которым я и без того виноват. Вовремя все-таки прибрал Хозяина Господь, везет джюсам…

— Вы думаете, Господь спас евреев? — спросил Ли.

— Ну, факт налицо, — ответил дядюшка. — А может быть, спас весь мир — от нашей водородной бомбы. Страшно подумать: она уже была в руках безумца!..

Ли только улыбнулся, молча радуясь совпадению дядюшкиных рассуждений с результатами его собственного «исследования». В то же время он был увлечен раскрывшейся перед ним причудливой судьбой дядюшки, с его надеждами, победами, разочарованиями, и, вероятно, поэтому не обратил должного внимания на слова о том, что в 41-м Гитлера спасла интуиция. А когда вспомнил их, то попросить рассказать подробнее, что тогда имелось в виду, было уже некого.

VI

Этот предпоследний день с дядюшкой был для Ли просто нескончаемым. В середине дня у ворот дачи послышался шум автомашин.

— Приехали! — сказал дядюшка и добавил: — Ах, да, ты не знаешь! Пока ты был в столице, тут побывали гонцы из Академии, сообщившие, что в Москве находится группа историков из Нидерландов; им показали, что могли, но они никак не хотят уезжать домой, не повидавшись «с великим Т.». Я, как понимаешь, не в форме для официальных визитов, и договорились, что их завезут на часок-другой сюда. Так что пошли знакомиться и обедать!

Историков было четверо. И еще сопровождающий из

Академии и переводчик со стальными глазами бойца невидимого фронта, хотя «во всех инстанциях» было известно, что никакие переводчики в этом доме не требуются.

Дядюшка сразу предложил отобедать и за столом поговорить о том, что интересует гостей. Потом последовали представления домашних, и все направились в столовую. Избежавший процедуры представления, Ли за столом оказался рядом с японцем и сразу почувствовал его контактность. Передавая ему салфетку, он встретил его взгляд и усмехнулся: он увидел еще более узкие и глубокие щелки, чем у него самого. Японец улыбнулся тоже и ответил, не раскрывая рта:

— Я с Явы, там была когда-то голландская территория. Знаете Яву?

— Знаю, но никогда не видел. Покажите мне ее.

И в то же мгновенье перед взором Ли возникла пальмовая роща и густая синева моря за полосой белого песка.

— Красиво! — сказал Ли.

— Да. А теперь у меня небольшой дом на окраине Гааги и маленький сад. Вот такой!

И японец вдруг очертил руками небольшой квадрат, показывая размеры сада.

— Но зато в нем каждый кустик и каждое деревце выращено мною. И много цветов. И никакого шума, потому что лейденское шоссе от меня в полмиле, за рощей.

Ли увидел волшебный узор, сотканный из разноцветных тюльпанов, и засмотрелся.

— Здесь тоже очень красиво, — сказал японец, глядя за окно, где на фоне чуть розоватого предвечернего неба покачивались кроны высоких и стройных деревьев.

Сорок-пятьдесят секунд, ушедших на этот безмолвный разговор, не заметил бы никто, если бы не странное движение рук японца, не укрывшееся от зоркого взгляда «переводчика».

Когда гости, отобедав и выяснив для себя интересовавшие их вопросы, связанные, в основном, с различными трактовками пожара Москвы в 1812 году, приступили к церемонии прощания, «переводчик» подошел к Ли:

— А вы у меня не значитесь, — сказал он.

— Вы у меня тоже, — ответил Ли, слегка улыбнувшись.

— Расскажите, кто вы, — не обращая внимания на его дерзость, приказал «переводчик».

Ли сконцентрировал всю свою волю, чтобы стереть свой облик из памяти «переводчика». В этот день он был в силе, и это ему удалось. Тут же «переводчика» кто-то позвал, и он забыл о Ли.

Когда той же ночью, вернувшись в Москву и проводив историков в гостиницу, он работал над рапортом и подробно описывал всю эту встречу, мгновение за мгновением, его мучила какая-то незавершенность картины: кто-то еще, кроме тех, кого он описал, как ему казалось, был за столом, с кем-то он говорил, чей-то смутный облик маячил за спинами его подопечных, но ничего определенного он так и не сумел вспомнить и решил, что все это с ним творится от переутомления. Денек выдался напряженным. Да и разговор за столом шел то на немецком, которым он владел в совершенстве, то на французском — его «втором», не очень привычном ему иностранном языке, и фиксация беседы требовала от него большого напряжения. В результате Ли не удостоился чести быть упомянутым в этом важном документе.

VII

Ну, а последний загадочный привет от покойного тирана Ли получил год-полтора спустя, когда, после смерти дядюшки и тетушки Лели, тетя Манечка при нем раскрыла шкатулку со всякими семейными реликвиями, среди них было и письмо Сталина, адресованное дядюшке, и, взяв его в руки, Ли вдруг почувствовал, как этот небольшой листок зашевелился в его руке, будто хотел освободиться, вырваться, улететь. Это свое ощущение самостоятельного движения клочка бумаги Ли вспомнил через много лет, когда прочитал у Саймака о пришельцах, перевоплощавшихся в кого и во что угодно, в том числе и в долларовые банкноты, а затем принимавших свой первоначальный облик «кегельных шаров».

Книга одиннадцатая
НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ?

К свободе ведет только одна дорога:
презрение к тому, что не зависит от нас.

Эпиктет

Истинно, ты и впрямь никому ничего
не должен. Ты все должен всем.

Джебран

I

Сладкое ощущение свободы, охватившее душу Ли после посещения резиденций Смерти, случайно оформилось в Слово. Перед самым его отъездом из Москвы тетушка Леля, перебирая какой-то хлам, наткнулась на старую пластинку.

— Послушай! — сказала она Ли, поставив ее на почти такой же старый патефон.

Ли завел патефон, и, к его удивлению, диск пришел в движение, а потом через все несовершенство записи и воспроизведения прорвался и заполнил комнату могучий бас:

> «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему,
> с миром! Яко видеста очи мои спасение Твое,
> еже еси уготовал пред лицем всех людей:
> свет во откровение языком и славу людей Твоих Израиля».

Последние раскаты баса, заставив зазвенеть стекла в шкафу, затихли, а тетушка и Ли молчали, думая каждый о своем. Леля вспомнила свою юность, днепровскую ширь, первые в ее сознательной жизни богослужения, вспомнила живого Шаляпина, не раз ею слышанного и в России, и за ее пределами. А Ли, уже во многом видевший *знаки*, воспринял эту Лелину находку и ее

желание, чтобы он услышал молитву св. Симеона, как неслучайное, как весть, подтверждающую возникшую в нем надежду на то, что его миссия, ради которой ему дали и сохранили жизнь, выполнена, и что на своем дальнейшем жизненном пути он полностью свободен и независим в своем выборе, что он отпущен в мир с миром и будет отныне только человеком перед Богом и среди людей.

II

С этим настроением Ли и оказался вскоре в Мариуполе на «производственной практике». Перед отъездом он долго расспрашивал Исану, где они с Лео жили там до его рождения и до ее болезни. Исана подробно рассказывала о хозяйке домика, сдававшей им жилье, но точно описать его месторасположение не смогла, и Ли напрасно потратил почти неделю на поиски этого «домика». Центр города во время войны был сильно разрушен и отстроен заново, но все же кое-где сохранились места, где Ли чувствовал присутствие теней молодых Лео и Исаны. Иногда, побывав в таком месте, он спрашивал какого-нибудь старожила, что там изменилось по сравнению с «до войны», и неизменно получал ответ, что именно этот магазин, переулок или уголок городского сада высоко над морем «чудом сохранились».

Открывая для себя такие места, Ли видел там рядом с отцом и матерью другие тени, на мгновения перед ним возникали целые картины исчезнувшей жизни. Впоследствии он понял, что видеть прошлое он мог далеко не всегда, а лишь там, где оставлял частицы своей души и где гении мест принимали этот его дар. Так было в Одессе и Тбилиси, Нарве и Новом Афоне, Ялте и Алупке, в Сочи… Обычно такие воспоминания о чужой жизни приносили сладкую грусть, утоляющую сердце, и Ли охотно погружался в эти тихие грезы о былом. Но однажды он с сыном, приехав на две недели в Евпаторию, остановился в старом татарском доме. Все было хорошо. Бездетные пятидесятилетние хозяин и хозяйка, поднятые из какой-то нищей уральской деревни лет двадцать назад желанием пожить сладко и безбедно у теплого моря, души не чаяли в малыше. Но когда сын, набегавшись, засыпал, и большую полупустую комнату заполняло чужое прошлое, чужая боль и чужая обида, и встревоженные тени метались перед какой-то зловещей неизбежностью, Ли не мог заснуть и ворочался на постели, погружаясь в недолгое забытье лишь когда за окном петушье восклицанье возвещало о начале рассвета. «Прибегаю я к Господу Рассвета от зла…» — повторял,

засыпая, Ли слова заклинания, слышанные от Рахмы. И так продолжалось во все дни его пребывания в Евпатории.

Некоторое время он считал, что пережитое им в Евпатории было связано со случайной патологией места. Но потом все повторилось на другом краю земли — под Кенигсбергом, в старом, не по своей воле покинутом хозяевами, бюргерском доме на обрыве над морем севернее Раушена, а затем снова в татарской усадьбе на склоне холма в Ялте, над армянской церковью, где Ли провел эксперимент: сославшись на духоту, он взял постель и ушел в обвитую виноградом беседку, расположенную в глубине сада под старой смоковницей. Через ее листья было видно черное небо, и вечные яркие звезды излучали любовь и мир. Сразу же исчезли тревоги, пришла радость бытия, и Ли окончательно понял, что в домах, откуда насильственно изгнаны люди, вложившие в них частицы своих сердец, не может быть счастья и покоя не только новым жильцам, но и случайному путнику, остановившемуся на ночлег. Тогда, ночью в саду, его блаженство было прервано страшным хриплым криком, доносившимся из открытых окон этого душного дома: кричал во сне старик-хозяин, а утром жена его, добрая Клавдия Ивановна, говорила с виноватой улыбкой: «Пьет много, вот ему кошмары и снятся».

…Вскоре, однако, уединенные странствия Ли по Мариуполю закончились, и он втянулся в повседневные заботы, которыми жили несколько небольших групп студентов — будущих инженеров-строителей, присланных сюда из Москвы, Киева, Харькова посмотреть «передовые стройки» страны.

III

Впрочем, Ли не только смотрел, как работают, но и работал сам. Это, как и все у него, получалось случайно: у Ли и еще у трех человек из Харькова было назначение в управление по монтажу металлических конструкций. Когда они прибыли на мариупольский вокзал, никто не знал, куда идти, и Ли отправился разыскивать управление, а найдя, зашел прямо к его начальнику. Тот, узнав в чем дело, стал орать так, что дрожали стекла. Пересыпая свою речь матом, он кричал, что всем твердит, чтобы ему не присылали студентов, что у него специализированное управление, а студентам нужно знать общие основы строительства. Ли молчал и смотрел на него, почти не слушая, и видел перед собой *доброго* человека, старавшегося казаться злым. А тот во время своей очередной тирады наткнулся на неосторожный взгляд Ли и сразу замолк. Помолчав минуту, он

сказал секретарше, чтобы та позвала водителя его служебного автомобиля.

— Привези сюда своих, — сказал он Ли тихим усталым голосом.

Когда все приехали, начальник заявил:

— Я уже все устроил. Завтра явитесь в трест «Азовстальстрой», там вас определят, а сейчас вас отвезут в общежитие, где есть свободные комнаты. Идите к машине, а ты задержись, — при этом он указал на Ли.

Когда Ли остался у него в кабинете, тот вызвал человека средних лет и сказал ему:

— Покажи парню чертежи, а потом отправь на кран.

На другой день утром этот человек, оказавшийся начальником технического отдела в управлении, кинул перед Ли на стол папку чертежей. К концу второго дня Ли в этой папке разобрался, чем был поражен весь технический отдел, состоявший из пяти инженеров и двух техников, занятых, в основном, подбором и просмотром чертежей. После этого начальник технического отдела стал относиться к Ли как к равному и через день поехал с ним на монтаж двухконсольного крана-перегружателя, проект которого Ли так быстро изучил. Ноги и мост крана уже были собраны, и шел монтаж консолей.

Море, подходившее от самого горизонта к подножию крана, нравилось Ли больше, чем металлические конструкции, и заметив, что Ли залюбовался точной и очень легкой на вид швартовкой рудовоза, сопровождавший его начальник технического отдела спросил:

— Нравится? А я три года во время войны мотался по морю с грузами.

— В загранку?

— Да, в основном, Архангельск—Балтимор и обратно. Видел бы ты швартовку в Балтиморе, где морские волки подводят свои корабли к причалам, кажется, на полной скорости и застывают, как мертвые, даже брусья не скрипнут!

Ли был представлен начальнику монтажа крана-перегружателя «Азовстали». Тот спросил:

— Чертежи читает?

— Еще как!

— Ну хорошо, мне нужен «вечерний мастер». Мой заболел, выбыл на месяц, пусть идет.

— Пусть! — ответил за Ли начальник технического отдела управления. А начальник монтажа кратко объяснил Ли его обязанности:

— Будешь оставаться здесь на вторую смену. Первый час у

телефона, может, кому из начальства моча в голову ударит, позвонят. Потом гуляй и смотри. Работают на второй смене две бригады. Бригадиры грамотные, чертежи читают. Один — бывший уголовник, другой — будущий. Твоя задача — метить им в наряде, что сделали. Они никогда не врут и не приписывают, но могут ошибиться. Пояснишь по чертежам, если потребуется. Кроме того, ребята любят пошутить: обоссут кого-нибудь с высоты или бросят что-нибудь «на испуг». Если к тебе придут жаловаться, пошлешь жалобщиков на хуй, только вежливо: ну, там, скажешь, что разберешься, прижучишь, в таком духе.

И Ли стал «вечерним мастером». Большую часть времени он проводил на высоте, на консоли со стороны моря, провожал Солнце, смотрел на закаты и на шныряющие один за другим рудовозы из Камыш-Буруна. Поначалу «ребята» над ним посмеивались, но когда его как-то зацепил бригадир из уголовников и в разговоре убедился, что Ли «по фене ботает» не хуже его самого, «смефуечки», как это называл стеснительный Солженицын, сразу исчезли, и отношения выровнялись, а если с претензиями возникал кто-то со стороны, оба бригадира уважительно показывали в сторону Ли, говоря:

— Идите к мастеру. Как он скажет…

И Ли вежливо «посылал» жалобщика.

Как-то на вечернюю смену пришел мастер по сварке Сеня: предстояла работа с ответственными узлами, и он должен был еще раз напомнить любившим все «упрощать» ребятам-монтажникам обязательные технологические требования. Для наглядности за один из узлов Сеня принялся сам.

— А ты тоже взгляни, — сказал бригадир-уголовничек и подтолкнул Ли поближе к Сене, — только стекло возьми, а то нахватаешься сварки.

Ли отмахнулся и не стал защищать глаза, ибо Солнце в Долине, на которое он привык смотреть не мигая, было ярче. К тому же вскоре его внимание привлекли движения Сени: это был какой-то таинственный и настолько изящный танец рук, что вся окружающая обстановка казалась нелепой и неуместной. Когда Сеня закончил узел, все осмотрели остывающие швы: они были ровными, будто их обрабатывали на станке.

Потом Ли с Сеней и бригадиром сидели над каналом, уходившим у них из-под ног в розовую закатную мглу безбрежного моря. Бригадир смотрел на Сеню, как на ребенка, и говорил, обращаясь к Ли:

— Ты заметил, какие у него руки? — и он взял тонкую руку Сени в свою ладонь.

Ли посмотрел и изумился красоте и разнообразию Божьего

творения: обе руки — у Сени и у бригадира — были очень красивы, но по-разному, хотя и в руке Сени чувствовалась сила.

— Сеня у нас скрипач, — с почтением сказал бригадир. — Ездил он в Ростов поступать в консерваторию. Говорил я ему: не расстраивай себя, не примут тебя — у тебя ведь даже пятки жидовские.

— Ну, ты, перестань издеваться, — сказал Ли.

— Сеня знает, что я — любя, а ты тут при чем? — спросил бригадир.

— Я тоже еврей.

— Не морочь яйца, какой с тебя еврей. Ты что-нибудь можешь делать, как умеют евреи? Ни имени у тебя, ни рожи, чучмек какой-то, одним словом.

Ли не стал спорить и доказывать — вечер был слишком хорош для этого, и попросил:

— Сеня, возьми с собой скрипку!

Сеня взглянул на Ли, чтобы отшить, но обращенные к нему глаза были открыты, и Сеня, натолкнувшись на их взгляд, тихо сказал:

— Возьму.

И опять был теплый вечер и розовая мгла над морем, и опять они втроем сидели над каналом, и у Сени была скрипка. То ли его руки стали частью этой скрипки, то ли скрипка стала частью этих красивых рук, исполнявших свой волшебный танец, и Песнь песней, давно уже прозвучавшая и снова рожденная этим танцем, уходила в глубины темнеющего чистого неба, один край которого был еще светел, а на другом уже сияла вечерняя звезда. И оттуда с небес пришли к Ли удивительные слова:

«Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!»

«Вот такими пришли они и к Тому, кто записал их впервые», — подумал Ли. И вдруг явственно услышал:

— Ваххх!

Ли вернулся на Землю и увидел, что бригадир смущенно вытирает слезы.

— Я тех гадов в консерватории, что отшили Сеню, задушил бы своими руками, — и он показал, как бы он это сделал.

Ли посмотрел на его руки и, — вспомнив, как он хотел вызвать кран, чтобы убрать с прохода полутонную стальную балку, а бригадир, сказав «не надо», стал над балкой у ее центра

тяжести и, приподняв этими руками ее над землей, перенес на несколько метров в сторону, — даже немного пожалел «тех гадов».

«Если будет на то воля Хранителей моей Судьбы, я или кто-то другой, мне подобный, сделает это нежнее, возмездие же в любом случае неотвратимо», — подумал Ли.

IV

Работа обычно заканчивалась с наступлением темноты. Ли шел прямо на морской берег, где и находил своих приятелей-студентов. Там в густой тьме, временами разрываемой красным светом изливающегося вдали на «Азовстали» шлака, они барахтались на мелководье в набегающих пенящихся волнах. Ли вспоминал набеги на купающихся девочек в Туркестане и тоже иногда давал волю рукам. Ничего нового руки его не находили. Недаром один из старинных туркестанских мудрецов сказал, что много тайн скрыто у женщины под одеждой, но если ее раздеть, то увидишь мать своей матери. Но и в сотый раз тронуть вечно молодое женское тело было приятно, и эти прикосновения волновали кровь. Там, в ночи, руки Ли сами выбрали ему подругу — юную москвичку, также оказавшуюся здесь на практике, и, рассмотрев ее при свете дня, Ли решил, что его руки знают в этом деле толк.

Но даже приятные явления имеют свои отрицательные стороны, и теперь Ли нужно было думать, как развлечь избранницу своих рук. Подруга оказалась нетребовательной. Танцы, занятие для Ли совершенно неприемлемое, ее интересовали мало. Посещения кинотеатров были ему не в тягость, а разговоры о книгах даже тешили душу. В ласках Ли был сдержан и очень скромен, стараясь, чтобы ни в поцелуе, ни в движении рук (морские вольности не в счет) не обнаружилась его опытность, поскольку не был уверен, нужны ли ему «серьезные отношения».

В своих пеших странствиях по морскому берегу и по городу они набрели как-то на афишу, извещавшую о том, что в Мариуполь с гастролями прибывает Вольф Мессинг со своими «психоаналитическими опытами», и подруга стала уговаривать Ли пойти посмотреть эти фокусы. О Мессинге тогда рассказывали чудеса, но никто толком не знал ни его возможностей, ни правды его жизни. Слышал о нем и Ли: как-то несколько лет назад к тете Манечке приехала в гости ее любимая Танечка, Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, и когда за обедом Ли сидел рядом с нею,

Танечке почему-то показалось, что Ли читает ее мысли. Она вспомнила, как на каком-то неофициальном артистическом «приеме» «вот так же рядом с нею сидел Вольф Мессинг и вел с нею беседу», причем она «только думала, а говорил он, отвечая на ее мысли». Ли, естественно, никаких мыслей своих соседей по столу угадывать не пытался и воспринял Танечкино предположение о его ясновидении лишь как повод для светской беседы о Мессинге. А в Москве тогда рассказывали и байку о том, что однажды Мессинг зашел в кабинет Хозяина, пройдя через все кремлевские посты охраны, и каждый охранник был убежден, что это — не кто иной, как «лично товарищ Сталин»… Воспоминания эти промелькнули в памяти Ли, но делиться ими со своей подругой он не стал, и охоты видеть Мессинга у него не появилось. Фокусников он не любил. Но подруга не унималась. Ей удалось сколотить компанию из их ближайшего окружения, и Ли ничего не оставалось, как пойти.

Встреча с Мессингом Ли не волновала, и он спокойно выслушал двадцатиминутное вступление, в коем благообразная дама наперед объяснила «все, что вы сейчас увидите», с «позиций» марксизма, ленинизма, материализма, «Анти-Дюринга», антиэмпириокритицизма, ссылаясь на Сеченова и Павлова с его условно-собачьими рефлексами и даже на «мичуринское учение». Но когда на сцене появился сам Вольф Мессинг, Ли сразу почувствовал, что ни марксизмом, ни иными разновидностями идеологического шарлатанства тут даже не пахнет, и стал с интересом наблюдать происходящее.

V

Он сразу понял, что истинные возможности Мессинга выходят далеко за рамки, строго установленные ему материалистической дамой, и чтобы «читать мысли», ему не нужно держать кого-либо за руку и анализировать идеомоторные акты. Ли понимал, что перед ним человек, чьи возможности в этом отношении соизмеримы с возможностями его любимой Рахмы, но что, в отличие от Рахмы, эти возможности он употребляет на добывание хлеба насущного, нарушая заповедь, когда-то высказанную Ли его богиней и царицей от имени Хранителей его Судьбы.

Тем не менее, ни негодования, ни презрения Мессинг у него не вызывал. Наоборот, ему даже понравился чем-то этот нервный, находящийся в постоянном возбуждении человек с пронзительными, цепкими глазами и копной конских волос на

затылке, и он стал потихоньку концентрировать свое внимание на лице «мага», следя за его мимикой. И вдруг Мессинг остановился и сказал:

— Зритель в пятом ряду, вы мне мешаете. Если вам неинтересно, выйдите из зала или отключитесь.

Поскольку в зале и без того стояла тишина, никто ничего не понял, и все недоуменно завертели головами. До Ли тоже не сразу дошло, что эти слова относились к нему, а поняв их суть, он переключился на нейтральные размышления, чтобы не мешать Мессингу.

Когда идеологическая надзирательница ушла со сцены, Мессинг стал слегка нарушать материалистические каноны: он уже угадывал мысли, не притрагиваясь к подопытным людям, и выполнял такие сложные мысленные поручения, как, например, достать у кого-то из бокового кармана записную книжку и вписать туда пословицу, задуманную на латинском языке.

После окончания представления Мессинг уходил через зал и в проходе столкнулся с Ли.

— Я сейчас подойду, — сказал он своим спутникам и, взяв Ли за руку, отвел его в сторону от прохода в опустевший ряд.

— У вас хорошие данные, — сказал он Ли. — Вы не хотите попробовать?

От неожиданности Ли потерял бдительность и сказал:

— У меня другое предназначение…

Тем, кто видел его и Мессинга со стороны, показалось, что они одну-две минуты молча смотрели друг на друга, но их мысленная беседа продолжалась:

— Понимаю, — сказал Мессинг. — Вы, вероятно, корректор?

— Да, — ответил Ли, которому не требовались пояснения, ибо он *знал*, что это впервые услышанное им слово точно определяет суть его дела.

— Вы к этому причастны? — нервно спросил Мессинг, уловив промелькнувшую в мозгу Ли картину кунцевской дачи.

— Как я могу знать? — вопросом на вопрос ответил Ли.

— А откуда энергия? — спросил Мессинг и улыбнулся, не ожидая ответа: он увидел вереницу девичьих и женских лиц в памяти Ли.

— Что ж. Вам можно позавидовать, — сказал Мессинг. — И часто вы в деле?

— Не знаю…

— Да, рядом с вами я чувствую себя, как на приеме у Харона, — задумчиво сказал Мессинг.

От этих слов на Ли вдруг повеяло Смертью, и он сказал, повинуясь порыву:

— Кого-то из нас, мне показалось, он ждет скоро…

— Мой путь мне известен, а ваш я не знаю. «Скоро» — это относится ко мне. А вы часто прибегаете к трансферу? — вдруг спросил Мессинг.

Впервые услышав это слово, Ли, тем не менее, сразу понял, о чем он говорит.

— Это происходит независимо от моей воли. Меня «узнают»…

— А противодействием вы владеете?

— Нет, только пытаюсь «стирать» образ, но не всегда это получается достаточно быстро.

— Тогда вам лучше избегать трансфера: здесь может быть скрыта опасность.

— Меня уже предупреждали, но полным контролем над собой я не владею.

— Нужно работать, много работать, — сказал Мессинг.

Их молчаливый диалог, занявший секунд тридцать земного времени, завершился.

— Понимаю, — повторил маэстро, на сей раз уже вслух, и добавил: — Ну, что ж, рад буду служить, если успею…

И вырвав листок из крошечного блокнотика, он написал на нем своим крупным неровным почерком слово «Москва» и номер телефона.

— Если передумаете и захотите поговорить, позвоните, и вам скажут, где я. Я буду вас помнить: такие встречи, как наша, очень редки!

В общежитие возвращались пешком. Подруга спросила Ли:

— Что от тебя хотел Мессинг?

— Я ему кого-то напомнил, но он убедился в своей ошибке, — соврал Ли.

Почти всю дорогу Ли молчал, ругая себя за то, что помянул свое «предназначение». Единственным утешением было то, что если бы он даже не сказал этого вслух, то Мессинг все равно прочел бы его мысли. Нет, все же недаром ему так не хотелось идти на этот концерт! В возможность какой-либо будущей встречи с Вольфом Мессингом он не верил, более того, он точно *знал*, что ее не будет.

VI

Следующий день был рабочим, и Ли, как всегда, отдежурив положенный час у телефона, пошел на консоль. Поднявшись на мост, Ли стал передвигаться по балке на сороковой отметке,

чтобы сесть на ее край и созерцать море перед закатом. Вдруг с моря налетел порыв свежего ветра, и от неожиданности Ли стал терять равновесие. При этом он хладнокровно смотрел вниз, раздумывая, куда он упадет. Получалось, что до причального канала он не дотянет и разобьется о пирс. Его мысли были прерваны резкой командой:

— Присядь!

И он автоматически присел и схватился за борта балки. С монтажной площадки на пятидесятой отметке на него смотрел пожилой рабочий.

— Что же ты, сынок? — спросил он.

Ли, держась за борта, вернулся к ноге крана и ступил на лестницу с ограждением. Только тут до него дошло, что там, на этой выдвинутой в бескрайний простор балке, его ждала Смерть, близость которой он ощутил вчера, когда Мессинг помянул Харона. Его стала бить дрожь. Успокоившись, он вспомнил о своем спасителе. Такого человека ни в одной из бригад не было, а посторонним на кране делать было нечего. Монтажник Федя сказал, что, когда он сбегал вниз, чтобы поправить стропы, навстречу ему кто-то шел.

— Я его еще спросил: куда ты, батя?

— Да мне вон туда поспеть надо, — ответил тот, показывая вверх.

А Ли подумал: «Сколько же их спешило мне навстречу, чтобы «поспеть» спасти меня, вернуть мне силы, не дать мне сойти с моей Дороги. Откуда они? Где они теперь? Где Тина? Где Рахма? Где Алена? Где Нина? Где этот старик? Где Лео? Где дядя Павел? Где Васька Брондлер и Лидка? Почему я не могу видеть их всех живыми, здоровыми, счастливыми? Может быть, мое предназначение — мое проклятье, и мне просто нельзя жить и любить, как все?»

Нечего и говорить о том, что события этих двух мариупольских дней Ли воспринял как *знак*. Его *предупредили*, что он еще не отпущен по *Их* глаголу с миром и что его долг остается с ним. Радость освобождения покинула его, и он стал еще более сдержан со своей подругой, не считая себя вправе распоряжаться чьим-то будущим. Тем не менее, по ее настоянию, они обменялись адресами. Ирина написала первая и сумела написать так, что он ответил, и в результате этой переписки на следующий год он поехал на практику в Москву. Время было летнее, он жил в пустой квартире тети Манечки, а его мариупольская подруга — в своей пустой квартире, поскольку вся ее многочисленная родня *с* детьми отправились в Малаховку. Они попеременно ночевали друг у друга, проводя по половине ночи в изнуряющих играх, но

она была девственницей, и Ли, верный своим принципам, оставлял ее, доверившуюся ему беззаветно, нетронутой. Ли не раз думал о том, как легко давалось ему то, что было невыносимо для его любимого Хайяма:

Наполнив жизнь соблазном ярких дней,
Наполнив душу пламенем страстей,
Бог отреченья требует! Вот чаша:
Ее ты наклони, но капли не пролей!

Так уж ему выпало в жизни: много чаш ему было суждено наклонять, не проливая ни единой капли! Правда, никаких обетов и отречений он не признавал, и все, от чего он берег свою сверстницу, он с удовольствием отдавал моложавой сорокалетней женщине из строительной конторы, возводившей большой дом на Семеновской набережной. Дом сдавался подъездами, и когда один из подъездов готовился к сдаче, квартиры в нем запирались, а ключи находились у Вали, так звали эту даму, и раз в неделю Ли прихватывал с собой бутылку коньяка, бутерброды с икрой и дорогие сигареты, и они заходили в одну из квартир, где был припрятан инвентарь строителей и всегда имелась пара матрасов и моток марли для штукатурных работ. Расстелив матрасы и покрыв их марлей вместо простыни, они устраивали себе и своим телам пир. Ли, разгоряченный играми с Ириной, часто бывал неосторожен и показывал Вале кое-что из своего богатого опыта. Это привело к тому, что она привязалась всерьез, и, так как она была разведенной, нажим ее был очень силен, от него даже попахивало истерикой: она требовала, чтобы Ли переехал в Москву и поселился у нее вместе с ее сыном, который был почти одного с Ли возраста. После этого приключения Ли дал себе зарок: во-первых, не иметь долгих связей со свободными женщинами и, во-вторых, не переступать в своих связях тридцатипятилетний возраст, и очень долго был ему верен, а когда, вынужденный обстоятельствами или желанием, отступал, то жизнь непременно заставляла его жалеть об этом.

VII

Жизнь Ли сложилась так, что он стал человеком Книги. От Книги шли к нему знания, Книги открывали ему картины мира, и для их воссоздания или представления он не нуждался ни в чьей помощи. Поэтому кино не только не было для него важнейшим из искусств, как для верных ленинцев, но и вообще существенного

значения не имело. Исключение составляли лишь несколько увиденных им фильмов из числа так называемых «трофейных», в которых речь шла о провидении, о возмездии, о «случайностях», связанных с Кармой. Таким был краткий энергичный односерийный фильм «Расплата», снятый по мотивам «Графа Монте-Кристо». Таким был и фильм «Трио Кодона» с экзотической Ла Яной, получивший в «трофейном» прокате название «Артисты цирка», — его во всех подробностях вспомнил Ли после своей попытки полета с мариупольского крана.

А вот о фильме «По ту сторону решетки» он услышал задолго до того, как смог его увидеть. Еще году в пятидесятом какой-то кинематографический гурман, только что вернувшийся из Франции, в светской беседе за дядюшкиным столом рассказывал об этой новинке. Дядюшка был так же безразличен к кино, как и Ли, но небезразличен к своим воспоминаниям молодости и, узнав, что действие картины разворачивалось в Малапаге, засыпал рассказчика вопросами о том, как сейчас, после войны, выглядит Генуя. Не отставала и тетя Манечка: когда ей в студенческие годы надоедал строгий прямоугольный курдонер Женевского университета и вся швейцарская добропорядочность, она и ее товарки в погоне за острыми ощущениями совершали набеги на марсельские или генуэзские портовые кабаки, и поэтому, где находится Малапага, объяснять ей не приходилось.

Ли, которого чужая география никогда не интересовала, больше взволновал сюжет, вернее, отсутствие сюжета: он чувствовал в этой смене бессвязных картин дыхание Кармы. Только поэтому он запомнил странное название «Малапага» и, увидев его на киноафишах, немедленно, отложив все дела, отправился посмотреть «новый французский фильм», лет пять преодолевавший расстояние между Парижем и Москвой.

Картина не обманула его ожиданий. Когда потух свет и на экране появились первые кадры, Ли оказался в до боли знакомом ему мире предназначенности и предопределенности. Только предопределенность была здесь беспросветно печальной для всех, включая Веру-Чеккину, и волшебные слова Песни песней «есть у нас сестра, у нее еще нету грудей» зазвучали в душе Ли. Конечно, Ли дал себе зарок: смотреть все, где будет играть, а вернее, жить Жан Габен, ибо он на экране жил, а не играл, Ли чувствовал это. Но ощущение, что он, Ли, находится среди близких ему людей, становилось наиболее острым, когда появлялась Миранда. Это была не Марта — это была Нина из кавказского скорого, пришедшая на несколько часов в жизнь Ли в трудный для него час, чтобы дать ему силы выполнить то, что ждали от него Хранители его Судьбы. И когда с экрана последний раз взглянули

на него из-под тонких бровей вразлет темные глаза Миранды, он не услышал ее слов в фильме. Он услышал другое:

— Я не забыла тебя, Ли!

И тихо ответил:

— И я не забыл тебя.

Посмотреть этот фильм второй раз у него не было сил. Да и не нужно было: он и так запомнил его весь до мельчайших деталей.

VIII

Чтобы закончить эти московские истории, совершим небольшую экскурсию в будущее, которое теперь уже стало прошлым. После бурного московского лета переписка Ли с Ириной стала редеть и замирать настолько, что он счел себя свободным от всяких обязательств. Правда когда в его жизни назрели изменения, Ирина попробовала его возвратить, но было уже поздно. Их пути разошлись. Лет через десять после этого Ли, будучи в командировке в Донецке, был вынужден задержаться там на следующую неделю. Чтобы убить время в выходной день, он решил съездить на пару часов в Мариуполь.

Его потянуло туда отчасти и потому, что встреча с Ириной и встречи следующего за мариупольским — московского лета занимали в жизни Ли особое место: это были первые в его жизни события, не имевшие отношения к чужой воле и чужим задачам, события, управляемые им самим, его желаниями и настроениями и ставшие поэтому своего рода предвестниками его новых отношений и как бы нового Договора с Хранителями его Судьбы.

Город он не узнал и знакомых мест не нашел — казалось, они просто появились в то далекое лето, как декорации для одной из картин жизни Ли, и потом были разобраны и выброшены на свалку. Только, глядя издали на заводской причал «Азовстали», он увидел работающим тот самый кран, едва не ставший его могилой. Выкупался он не на диких отмелях Левого берега, где нашел тогда Ирину, а на городском пляже по пути в торговый порт, в мелком море, где, вероятно, купались в конце двадцатых годов Лео и Исана, еще не знавшая о своей болезни. В Донецк Ли возвращался погруженным в воспоминания. Этот по непонятным законам меняющийся город продолжал наполняться знакомыми тенями, и Ли видел издали себя, сидящего на консоли кранового моста, потом увидел молодую Ирину, идущую ему навстречу по главной улице, увидел их соединенную Случаем компанию, весело пирующую в первом попавшемся кафе на неизвестно куда

ведущей Дороге. И чтобы уйти от этих воспоминаний, он вечером зашел в гостиничный ресторан и один выпил графинчик водки, что с ним очень редко бывало. Вероятно, эти воспоминания вызвали какой-то напряженный концентрированный импульс, поразивший душу Ирины, и через месяц она появилась в Харькове и разыскала Ли, сказав, что специально напросилась в эту командировку в надежде его встретить. Они поделились семейными новостями друг с другом, и она уехала, оставив рабочий и домашний телефоны.

Прошел еще месяц, и Ли, часто ездивший в те годы в Москву, нанес ответный визит. Ее работа была рядом с ее таким ему знакомым домом, и они пошли на перерыв к ней выпить кофе. Знакомая обстановка и знакомая тахта — арена их молодой любви — так подействовали на Ли, что он обнял Ирину, а та чуть не потеряла сознание от его прикосновений. Но Ли не мог преодолеть себя и взять чужую жену на ее брачном ложе, и они договорились о встрече в гостинице.

Бородатый крещеный внук трирского раввина недаром говорил, что история повторяется сначала как драма, а потом как фарс. Встреча Ли и Ирины, как и за два-три года до этого встреча Ли и Тины, произошла в гостинице «Россия», только в Москве, а не в Питере. Как и Тина, Ирина вошла в номер со словами: «Я принесла свой долг!» Но если тогда Ли и Тину укрыла своим темным покрывалом ранняя сентябрьская питерская ночь, и пришла Тишина, нарушаемая только их шепотом, то Ирина явилась среди бела дня, и даже плотные шторы не могли скрыть его радостный весенний свет, а за окном бурлила жизнь, раздавались голоса и шум машин. Все это для Ли, высоко ценившего интимность близости, было непривычно, и он даже обрадовался, когда весь этот рутинно-будничный шум заглушили траурные мелодии Чайковского и Шопена. Тем более что Ли, как верный ученик Рахмы, был в любовных делах приверженцем медленных движений, и траурный темп не сбивал его с ритма.

Когда Ирина ушла, Ли раздвинул шторы и выглянул в окно, выходившее на Красную площадь, пытаясь увидеть, по какому поводу его встреча с давней подругой сопровождалась траурным маршем, и ничего кроме копошащихся вдали форменных и бесформенных человечков и огромных погребальных венков он там не разглядел. Ли включил радио: шла трансляция с Красной площади, где начались похороны Министра обороны СССР, Маршала Советского Союза и прочая, и прочая, и прочая, Родиона Яковлевича Малиновского.

Потом пришел сосед-грузин, достал из-под кровати канистру с виноградной водкой и какой-то свирепый по уровню

заперченности грузинский закус, и Ли с ним выпил за упокой души бравого маршала, за жизнь и за любовь, поскольку грузин увидел на подушке Ли забытую Ириной шпильку для волос. Сам он ждал женщину через полчаса и предложил Ли воспользоваться его билетом в Большой театр. Как пишут в официальных колонках газет, предложение было с благодарностью принято. Давали «Щелкунчика», а в нем Ли души не чаял.

Больше Ли с Ириной не встречались. Даже ее телефоны перестали отвечать, будто поняли, что их функция выполнена. Но этот сумбурный прощальный день Ли потом часто вспоминал, иногда с грустью, как и все, что ушло безвозвратно вместе с молодостью и жизнью, иногда с улыбкой, особенно когда в обращении появился псевдофранцузский анекдот, в котором одна француженка говорит другой:

— Представляешь, Жан, мой муж, умер тогда, когда я уже не могла отменить свою встречу с этим русским. Но он, узнав о смерти моего мужа, надел черные плавки, поставил грустную пластинку и делал все, что требовалось в постели, так медленно и так печально…

На что ее приятельница заметила:

— Подумать только: варвар, а столько такта!

Книга двенадцатая
В НАЧАЛЕ ВТОРОГО КРУГА

И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга,
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленутые туго.

О. Мандельштам

Нет человека, владеющего ветром,
Удержать умеющего ветер.
И над смертным часом нет власти,
И отпуска нет на войне.

Екклезиаст

I

Томление духа, вызванное мариупольским путешествием, и поглотившая Ли после возвращения домой суета сует долгое время не предоставляли ему возможности спокойно обдумать происшедшее и разобраться в нем. Лишь когда все немного устоялось, и опять серым однообразным потоком потекли студенческие будни, Ли попытался осмыслить события минувшего лета.

Отправной же точкой к этим его размышлениям стало минутное, никем не замеченное переживание. Однажды, когда Ли пешком возвращался из института в свое предместье, он задержался на мосту через привокзальный веер железнодорожных путей, заглядевшись на бегущие поезда.

И тут он снова вспомнил себя на еще большей высоте над железнодорожными путями и причалом. Вспомнил начало своего, казалось, уже неминуемого падения вниз, прерванного вмешательством Хранителей его Судьбы. Воспоминание оказалось настолько острым, что Ли отшатнулся от перил моста.

В разные веселые и грустные моменты его жизни это предсмертное ощущение еще будет возвращаться к нему, напоминая, как звонок будильника, о времени, отвоеванном у

небытия. А тогда, на мосту над платформами, заполненными людьми, находящимися в хаотическом и бестолковом движении, Ли впервые после путешествия в Мариуполь попытался установить причинно-следственные связи в том, что произошло там, на краю земли.

Неслучайность этих недавних событий обнаруживалась еще на самых дальних подступах к такому анализу. Например, уже за несколько лет до поступления Ли в институт мариупольские адреса перестали появляться среди объектов, предлагавшихся для производственной практики, и возобновление этого предложения пришлось как раз на тот год, когда Ли предстоял его первый выход на стройку. Вполне естественно Хранители его Судьбы даже не сомневались, что из любого, самого длинного списка предлагаемых мест практики Ли безусловно выбрал бы Мариуполь в память о молодых Лео и Исане — так уж был он устроен, и так оно и случилось.

Удивительным было и направление практикантов на специализированный участок, занимавшийся монтажом металлических конструкций, поскольку *таких* назначений вообще никогда прежде не бывало. Ну, а дальнейшая корректировка событий больших усилий от Хранителей его Судьбы не требовала: гастрольные планы Вольфа Мессинга были, конечно, известны заранее и пересечение путей его и Ли легко было рассчитать. Правда, чтобы затащить Ли на его «опыты» потребовалась Ирина с ее настойчивостью, ну а чтобы Ли попал на кран и остался там один на один с несущим ему смерть свежим мариупольским ветром, уже пытавшимся почти за четверть века до этого убить Исану, было достаточно его, Ли, личной встречи с вечно орущим монтажным начальником.

Убедившись в том, что это путешествие в Мариуполь было совершено по воле Хранителей его Судьбы, Ли еще раз стал перебирать в памяти абсолютно все мариупольские происшествия, чтобы не упустить какой-нибудь *Их знак*, и нашел: Мариуполь в то лето был единственным крупным городом в империи, где наблюдалось полное солнечное затмение.

Ли вспомнил, как это было. День был облачный, но на момент затмения облака над тем местом, где он стоял, расступились, и все произошло на его глазах: постепенно Тьма закрывала Свет, и вот уже только сверкающий ободок из протуберанцев свидетельствовал о том, что Свет еще жив. Наступило мгновение Тьмы, и затем началось возвращение Света. Вскоре на ослепительном диске осталась лишь одна темная полоска. Наконец и она исчезла, в мире восстановилась жизнь; прошла минута оцепенения, стал слышен гомон приумолкших

птиц и собачий лай.

Оживив все это в памяти, Ли воссоздал и все свои впечатления тех необычных мгновений и еще раз почувствовал, как откликнулась на них его душа. И тут он вспомнил забытое им в суматохе переживаний, выпавших ему на долю в те дни, ясное ощущение происшедших после затмения каких-то необратимых изменений. Но, насколько он помнил, в реальном, окружающем его мире ничего особенного не произошло: этот мир лишь заснул на мгновение и просто возобновил свое движение. А это означало, что возникшее у него в душе чувство новизны относилось не к внешнему миру, а к миру самого Ли. Это был *знак*, еще один «звук лопнувшей струны, замирающий, печальный».

Знак этот, как теперь стало казаться Ли, устанавливал новые отношения между ним и Хранителями его Судьбы, и отныне его жизнью будет управлять не только *Их* воля, но и его, Ли, желание. В своих выводах он, как всегда, не был уверен до конца. Первым и пока единственным его желанием было желание перестать быть зрелым и сосредоточенным человеком без возраста, каким он стал, когда осознал свое предназначение, открытое Рахмой. Ли понимал, что детство, отрочество, юность теперь уже не вернуть, но он хотел оставшиеся ему несколько лет молодости прожить молодым, а не умудренным жизнью старцем. Ли захотелось отложить мудрые книги — мудрости ему пока и без того хватало — и делать глупости. Он хотел любить и ревновать ту, которую выберет сам, а не получать от *Них* назначенных ему в качестве энергетических доноров женщин. Он хотел назвать любимую своей женой. Хотел, чтобы ее не уносили от него поезда и обстоятельства, а чтобы ее лицо, ее глаза рядом с ним встречали его пробуждение, и его распахнутые глаза встречали ее, возвращающуюся из снов. Хотел, чтобы их близость определялась их, а не чужой волей. Ради этого Ли был готов пережить нужду и невзгоды и полностью до дна испить сладко-горькую чашу, уготованную человеку на Земле.

И все это в определенной мере было ему дано.

II

Дядюшка умер в январе 55-го. За ним через два месяца ушла тетя Леля. Несмотря на постоянно демонстрировавшуюся им готовность к смерти, завещания дядюшка не написал, а поскольку Леля умерла после него, половина всех денег и половина дачи отошла государству. Тетя Манечка почти ослепла и еле-еле передвигалась. За каждый шаг ей приходилось платить, и ее

денежные запасы, лишившиеся в лице дядюшки своего постоянного источника, стали таять с огромной скоростью. Денежный ручеек к Ли и Исане вскоре пересох и прекратился. Но Ли достойно встретил это первое испытание. Он стал давать уроки девятикласснику и делать расчеты к курсовым проектам богатым бездельникам. Его доход вместе с повышенной стипендией намного превысил заработок молодых инженеров.

Ли, конечно, понимал, что он не забыт Хранителями его Судьбы: уж слишком легко он преодолевал те житейские невзгоды, на которые себя обрек. Более того, ему впервые в его жизни было разрешено использовать дар внушения для «личной выгоды»: если он обращал внимание на какую-нибудь девушку и три-четыре дня думал о ней с желанием, то после этого он мог быть уверен, что его уже не мысленные, а реальные ласки не будут отвергнуты. Так он и выбрал себе жену, поцеловав ее на седьмой день их знакомства.

Ли решил, что отныне он сможет пользоваться внушением по любому поводу, но *Они* нашли способ дать ему понять, что он ошибается: однажды Ли указал двухлетнему, только начавшему говорить сыну на свою руку и сказал:

— Смотри: сейчас здесь появится густая шерсть и моя рука станет медвежьей лапой! Если не будешь есть кашу, медведь тебя съест!

Сын перестал капризничать, но, взглянув на руку, забился в истерике, а испуганный Ли стер в его воображении медвежий образ, заменив его добрым котом-мурлыкой. После этого Ли использовал внушение только в отношениях с женщинами. Лишь один раз, когда ему зачем-то позарез нужно было вернуться из командировки раньше срока, он с помощью внушения заставил довольно большую компанию — человек шесть — подписать необходимый протокол, который они потом, опомнившись, выкрали и уничтожили, но эту проделку Хранители его Судьбы ему простили.

Первые полгода после рождения сына действительно были нелегкими для Ли: не хватало денег. Но тут ушла в мир иной тетя Манечка, которая не только оставила четкое завещание, разделив свои деньги и имущество, но и свою долю авторского права на дядюшкины творения она тоже передала наследникам. Все вместе составило довольно круглую сумму, и Ли лет десять аккуратно расходовал ее на отпускные «броски на юг», покупку некоторых вещей, а иногда и просто на «добавки» к заработку. Когда же это наследство подошло к концу, Ли уже и сам зарабатывал неплохо и научился подрабатывать «на стороне».

III

С оформлением же этого наследства связана и первая поездка Ли в совершенно опустевшую, новую для него Москву. Впервые на Курском вокзале встретил его не старый добрый шофер Василий с машиной, а чужие, едва знакомые люди, «вышедшие» год тому назад на тетю Манечку с предложениями «посодействовать» переизданию самых знаменитых дядюшкиных книг. Поскольку от нее потребовалась лишь скромная и смиренная просьба, адресованная в одну из самых высоких инстанций, она рискнула, и, как часто в ее жизни бывало, удачно: разрешение было получено; люди, спланировавшие эту затею, ринулись в издательства, где у них все было «схвачено». Тетя Манечка в свой последний год жизни успела воспользоваться плодами этого начинания, но большую часть гонораров еще предстояло получить.

Поскольку инициативные люди, «работавшие» с издательствами, были заинтересованы в скором и бесконфликтном оформлении наследства, они к приезду Ли отнеслись со всем вниманием. Ему был заблаговременно снят недорогой одиночный номер в старой гостинице в самом центре Москвы — в Столешниковом переулке — с окном на знаменитую в те годы кондитерскую. Гостиница же почему-то называлась «Урал».

Деловая часть визита Ли тоже была подготовлена отменно. Точно в назначенный час его ждал нотариус, потом пошли предварительно подготовленные визиты в издательства. Его не перегружали — не больше одной деловой встречи в день, и эта неторопливость располагала к доверию. После «дела» следовал совместный обед здесь же, в центре — то в прохладных подземельях «Арагви», то в «Национале», то в «Гранд-отеле», то в «Астории». Хорошее усваивается быстро, и вскоре Ли, сначала под неназойливым руководством своих новых знакомых, а потом и самостоятельно, постиг азы грузинской, русской и европейской кухни и мог сделать квалифицированный заказ в самых фешенебельных ресторанах Москвы.

Важным открытием для него стал и мир вина. Ранее такой однообразный в его представлении, теперь он засверкал всеми яркими красками, а сердце свое он без колебаний отдал винам Грузии — от самых «простых» кахетинских и имеретинских до такого шедевра, как «Манавимцвани», и его встречи с волшебными именами «Ахмета», «Оджалеши», «Киндзмараули» и многими, многими другими стали памятными вехами в его дальнейшей жизни.

После каждого обеда, завершавшего неизменный успех очередного нужного «мероприятия», Ли получал полную свободу, при этом ему советовали, где и что «посмотреть» и купить. Эта свобода была подкреплена довольно приличной суммой денег, поскольку принимавшие его люди сумели «организовать» выплату некоторой части гонорара в одном из издательств. Но Ли не спешил погрузиться в любимое занятие советских людей — что-нибудь «доставать», и в первый же свой досуг без колебаний отправился на окраины того исчезнувшего для него мира, где еще совсем недавно кипела жизнь небезразличных ему людей со всеми ее мелочными, суетными заботами и высоким, таинственным, не сразу понятым им подтекстом.

Ли вдоволь побродил в каменном лесу проходов и переходов «Дома на набережной», посмотрел на знакомый балкон девятого этажа, вышел к реке и, чтобы сразу оказаться на «кремлевской стороне» Большого Каменного моста, прошел под ним по набережной и по каменной лестнице поднялся на его пролет. И тут он с удивлением увидел, что в этом обычно не очень многолюдном месте и далее, как в сторону Кремля, так и к Замоскворечью, на тротуарах стал собираться довольно странный народ. Вскоре прямо на глазах у Ли деловитые молодые люди превратили эту человеческую стихию в цепочку, вытянувшуюся вдоль проезжей части.

— Вы откуда? — спросил у Ли один из организаторов.

— Я сам по себе, — ответил Ли.

— Тогда станьте вон в ту нишу и не мешайте, или уходите с моста!

Ли, наконец, понял, что перед ним во всех своих реалиях разворачивается одно из действ, по отношению к которым «свободная советская печать» неизменно использовала одну и ту же формулу: «Тысячи москвичей вышли на улицы, чтобы встретить высокого гостя», или «дорогого гостя», или «большого друга нашей страны», и проч., и проч.

Ли с большим интересом стал следить за всей этой процедурой. Наконец, со стороны Замоскворечья послышались какие-то идиотские крики. Это «энтузиасты», расставленные вдоль «приветственной цепочки», начали, по мере приближения кавалькады, выкрикивать заданные им «партией и правительством» лозунги от имени «широких масс».

— Отставить разговорчики! — послышалась команда где-то совсем рядом с Ли, и женщины из цепочки сразу же перестали обсуждать, где и что «было» и что и кому удалось «достать»…

Кавалькада выехала на мост. «Высокий гость» приветственно улыбался «народу» за стеклом машины, и Ли показалось, что

количество блестящих из-под усов зубов у него значительно превышает положенное нормальному человеку.

Точно против Ли «гость» на минуту отвлекся от перемигивания с «народом» и посмотрел вперед, и в памяти Ли навечно отпечатался его чеканный профиль и ухо, светлым полуостровом вдававшееся в черный плюш прически. Два внезапных острых впечатления ворвались в мир Ли: в промелькнувшем перед ним облике он уловил нечто зловещее, а рассмотренное им во всех деталях ухо показалось до боли знакомым.

Вернувшись в гостиницу, Ли взял листок бумаги и попытался изобразить профиль «высокого гостя». Получилось похоже, но ничего зловещего в этом портрете не было. Просто какой-то «восточный человек». Тут же Ли тщательно воссоздал рисунок уха и опять почувствовал что-то очень и очень знакомое. Еще раз посмотрев на свою работу, Ли сложил листок пополам и положил в купленную им утром тут же в Столешникове, в букинистическом магазине книгу. Это были «Мысли мудрых людей на каждый день» Льва Толстого. Когда он клал эту книгу назад на тумбочку возле кровати, из нее выпал пожелтевший, ранее им не замеченный листок. На нем черными чернилами каллиграфическим почерком было написано: «Каждого тирана ждет свой день расплаты. Арабская мудрость». Ли сложил оба листка вместе и снова спрятал их в книгу. А когда Ли вернулся в Харьков, он получил от Ю пакет с фотографиями. Там был и «тройной портрет» Ли, Ю и Я, на котором три студенческие физиономии располагались друг за другом так, что каждый следующий профиль был выдвинут далее, чем предыдущий. Снимок пародировал известные профильные «связки» типа «Маркс—Энгельс—Ленин—Сталин», с которых в то время уже старательно удаляли последнего. Физиономия же Ли в «тройном портрете» была первой от зрителя, и его ухо запечатлелось во всех подробностях. И тут Ли понял, почему ему так знакомо ухо «высокого гостя» — ведь оно было точной копией его собственного уха! «В каких же долинах Леванта и сколько тысячелетий назад матерью-Природой были созданы эти близнецы-лабиринты?» — подумал Ли, и аккуратно поставил на мочку уха на своем московском рисунке маленькую точку-родинку — единственное замеченное им отличие рисунка от фотографии. Поставил машинально, для памяти, без всякой задней мысли.

Здесь, вероятно, будет уместно небольшое лиро-политическое отступление: не стоит скрывать имя «высокого гостя», с коим Ли, можно сказать, почти что обменялся ушами. Это имя не названо

лишь потому, что его не было в записках Ли. А не было его в этих записках потому, что самого Ли, жившего в своих мирах и занятого своими мыслями, в принципе очень мало интересовало собачье дерьмо, именуемой «политикой», и в том числе — большое собачье дерьмо, именуемое «большой политикой». Интерес к этим жалким «процессам» и к поглощенным ими людям появлялся у Ли лишь тогда, когда объектом его очередной корректуры становились какие-либо человеческие отбросы, именуемые «политическими деятелями». Особенность душевного склада Ли требовала от него абсолютной убежденности в его правоте. Это ему было нужно, вероятнее всего, для того, чтобы по окончании «дела» сразу же забыть о своем очередном подопечном и никогда больше не раздумывать о степени своей причастности к его судьбе. И когда последний из этих его подопечных (в этом повествовании) при жизни говаривал: «Есть чэлавэк — есть проблэма, нэт чэлавэка — нэт проблэмы», он, ослепленный собственным «величием», и не догадывался, что не так уж далеко от него находился тот, кто не видел смысла и необходимости в его собственной жизни и кто без особых волнений и колебаний был готов применить и применит это «золотое правило» к нему самому, к «гению всех времен и народов», и тут же забудет о нем навсегда. Во всяком случае, в записках Ли, охватывающих еще три десятилетия его жизни — после смерти тирана, — имя Сталина больше ни разу не упоминается.

А возвращаясь к левантийским ушам, и чтобы не заставлять читателя шарить по разным дипломатическим хроникам в поисках имени их владельца, «случайно» попавшегося под ноги Ли на Большом Каменном мосту, это имя будет названо немедленно: это — Гамаль Абдель Насер, так неожиданно и так вовремя для человечества покинувший этот прекрасный непрочный мир через пятнадцать лет после того, как Ли положил листок с нарисованным им с натуры Насеровым ухом в томик собранных графом Львом Николаевичем Толстым для беспросветно глупого в своей «массе» человечества «Мыслей мудрых людей на каждый день».

Это свое пребывание в Москве Ли завершил под самые майские праздники 58 года. Несмотря на явные перемены в мире, участие в демонстрации его не привлекало. В части «культурной программы» он посчитал достаточным посещение Большого театра, тоже «устроенное» ему его новыми знакомыми.

И уже по собственной инициативе он побывал в Новодевичьем монастыре и на кладбище. Вход туда после смерти Сталина на некоторое время стал свободным. Ли прошелся по аллее, где он всего пять лет с небольшим назад прогуливался с

дядюшкой, получая инструкции на случай депортации.

— Вот тут я буду лежать! — сказал тогда между прочим дядюшка и показал место неподалеку от могил Александры Коллонтай и Дмитрия Ульянова, в тридцати метрах от могилы Антона Павловича Чехова. И все исполнилось. Три имени, Евгений, Ольга, Мария, еще недавно бывшие частицей жизни Ли, теперь были выбиты на камне, стоявшем на том самом месте, куда тогда, погруженный в иные мысли, он мельком бросил свой рассеянный взгляд.

IV

Уходила из жизни Ли не только Москва тети Манечки со всем ее окружением. Постепенно уходило и родное предместье: Ли с женой и сыном временно поселились в центральной части города, после чего он стал появляться на своей тихой Еленинской улице раз-два в неделю и чаще всего вечером или в сумерках. Да и для Ли эти места опустели. Его поколение разлетелось из своих гнезд — кто пошумнее, те по тюрьмам, кто потише, стал пробиваться в начальники, как и положено людям, осознавшим себя бесценными «национальными кадрами», имеющими право на свой кусок пирога.

Бывало, проходили недели и месяцы, а Ли в своих приездах к Исане никого из старых знакомых не встречал ни на улице, ни на маленьком базарчике у трамвайной остановки.

Однажды золотым летним холодногорским вечером Ли шел по своей улице, жившей обычной жизнью. Кто-то из новых голубятников, пытаясь осадить «чужого», стоявшего «в точке», кричал в азарте своим добровольным помощникам:

— А ну, поднимите плекую и чернорябую!

Кто-то объезжал новый велосипед. Недавние пышные молодухи, постарев и отяжелев, все еще стояли у калиток, именуемых здесь «фортками», лузгали семечки, лениво переговариваясь. На соседней улице надрывалась радиола, сменившая старый добрый патефон, но и вкусы, и песни были пока все те же:

И в тишине
На уснувшем канале
Лишь поцелуи
Мои звучали…

Звенела «Баркарола» Пети Лещенко.

Навстречу Ли двигались трое пацанов лет двенадцати, певших не в лад:

Я никому не дам,
Пусть это съест Абрам,
А косточки разделим пополам.

Заметив, что за ними наблюдает Ли, они умолкли, и один из них, чтобы разрядить обстановку, перешел с маршевой мелодии на старинное концертное танго, также имевшее блатной вариант текста:

Держась за жопу, как за ручку от трамвая,
Он напевал ей: «Шире ножки, Рая…» —

заорал он благим матом.

Тут уж Ли не выдержал и расхохотался, вспомнив свою улицу в свое время и себя на ней в такой же веселой компании, и воспоминания хлынули сплошным потоком, и стало ему очень и очень грустно. Не только оттого, что из жизни Ли уходило его родное предместье, а потому, что безвозвратно ушла часть его жизни, и в это мгновение он ощутил свои потери особенно остро. Ли остановился на минуту, как бы раздумывая, не броситься ли вдогонку за уходящим, но потом пришел в себя и двинулся дальше.

V

Следует отметить, что «лишние» деньги Ли не разбаловали, и он оставался очень скромен в своих запросах. Ли сознательно стремился к тому, чтобы у него было «как у всех» и даже хуже, а во все свои отпускные путешествия он всегда отправлялся с женой и сыном.

Лишь в свою первую поездку в отпуск после получения «наследства» они не взяли двухлетнего малыша. Начали они с Сочи — у каждого из них с этим городом в разные годы было связано прошлое, но по странному совпадению, разминулись они во времени на одном и том же месте — в районе Светланы, куда еще вернутся потом вместе с сыном и будут возвращаться не раз. А тогда они поселились возле городского театра в бывших «номерах», носивших до исторического материализма пышное наименование «Калифорния». Потом «номера» и «меблированные

комнаты» были розданы «трудящимся», а те на теплые дни переселялись в сарайчики, комнаты же сдавали.

Купались они на уже оборудованном в те времена Верещагинском пляже, и Ли был этому очень рад: ему казалось, что стоит им расположиться на пляжах Светланы, как появится Алена со своей компанией. Ему, конечно, очень хотелось подойти к армянской вилле над тоннелем, но там можно было встретить Мильву… Права все-таки была Рахма: в прошлое не стоит и не следует возвращаться!

Жизнь и без того была сложна, а Ли своих сложностей не любил и для себя их не желал. Чужие же сложности ему нравились, и он часто по подсмотренным на пляже фрагментам жизни и отношений пытался восстановить полную картину. Например, занимала Ли одна пара, располагавшаяся рядом с ними: ему было лет под пятьдесят, ей двадцать-двадцать два. Он почти все время играл в карты в пляжной компании, она — старательно загорала. Своих отношений они никак не обнаруживали и могли приходиться друг другу кем угодно. Однажды, когда Ли стоял и смотрел, как плавает Нина, он впервые услышал голос соседки:

— Прикрой меня, пожалуйста!

Он повернулся к ней. Она стояла между ним и обрывом и взглядом показывала, чтобы он взял концы полотенца, лежавшего у нее на груди. Когда он выполнил ее просьбу, она чуть отступила и, оставшись в одних плавках, стала не спеша надевать бюстгальтер, а потом, опершись на руку Ли, чтобы не упасть, стянула с себя плавки и надела шелковые трусики.

Ли подал ей халатик.

— В Москве бываешь?

— Иногда, — ответил Ли.

— Запомни мой телефон. Спросишь Таню. Здесь я не могу, да и ты тоже…

— Хорошо, — сказал Ли, но телефон уже дня через два забыл. Его тогда переполняла та, что была с ним, и он не нуждался в приключениях.

Когда Ли с Ниной садились на «Адмирала Нахимова», чтобы плыть в Сухуми, Таню и ее патрона он увидел на «Грузии», уходившей в тот же день в Ялту. Таня тоже заметила Ли и, приотстав, улыбнулась ему.

— Смотри: наши пляжные соседи, — сказала ему Нина. — Вот уж не думала, что эта надменная девица нас запомнит!

— А может, она заметила кого-нибудь из своих знакомых, — предположил Ли, но сделал это не очень уверенно, и жена посмотрела на него с подозрением.

Вскоре прямо на корабле среди молодежи стали завязываться романы, и Ли с интересом наблюдал эту совершенно не знакомую ему курортную жизнь, такую не похожую на ту, что он видел в Сочи в 47-м. Ли никому и ничему не завидовал, поскольку знал, что стоит ему только захотеть…

В Сухуми они вышли в кромешную тьму, и орава хозяек разобрала их по домам неподалеку от порта. Ли и Нина и одна совершенно случайная пара разместились в соседних комнатах. Нина заснула сразу и очень крепко, а Ли долго слышал, как за стеной парень никак не мог уговорить свою спутницу. Утром та весело напевала, а парень был чернее тучи. Ли незаметно для других погрозил ей пальцем, и она развела руками, мол, «а что я могла сделать!» После этого она стала держаться поближе к Ли и не отходила от Нины, которую такой прием не обманул, и она, уловив момент, сердито сказала:

— Липнут же они к тебе! Что в тебе такого, до сих пор понять не могу.

— Мне, кроме тебя, никто не нужен, — ответил ей Ли, и тогда это было правдой.

Ли влюбился в Сухуми с первого взгляда. Это был его город: синева моря в конце улиц, набережная вдоль красивого залива, многочисленные кафе с экзотическими названиями и экзотическими блюдами. Смешенье языков и племен. Потом этот город обрел Лица, лица дорогих людей Ли, полюбивших и его самого, и его близких. Город этот стал его родным городом, куда стремилась его душа, где отдыхало сердце. Но он не сумел уберечь свой рай от разрушения и дожил до того скорбного часа, когда силы Зла стали там властвовать безраздельно. Это было потом, а тогда, после первой ночи в этом раю, на умытых рассветом тихих улицах, Ли показалось, что добрый джинн отнес его в лучшую сказку из «Тысячи и одной ночи», и на душе у Ли было празднично: он принял этот город в подарок от Хранителей своей Судьбы и знал, что тот подарок отныне пребудет с ним долгие годы. Поэтому тогда он и расставался с ним с легкостью, чувствуя, что это расставанье непременно обещает встречу впереди.

После полудня они прибыли в Новый Афон. И еще один малый уголок Земли навсегда занял свое место в душе Ли. Его святость Ли ощутил сразу, как только сделал первый шаг по кипарисовой аллее, когда его глаза увидели оливковую рощу, спускающуюся к нему по склону к подножию поросших густым лесом и укрытых теплой дымкой гор. «Вот и Масличная гора!» — подумал Ли под тихий шум речки. И этот беглый взгляд приоткрыл ему его будущее: он видел себя там, впереди,

восходящим на эти дивные горы, чаще всего — на Иверскую, и отдыхающим в прекрасных долинах на берегах поющих свою вечную песню потоков.

Всю остальную дорогу до Сочи Ли был в некотором смятении: его души вновь коснулся Восток, но это был другой Восток, не тот, что дал ему Рахму, суровый Восток Корана. Здесь в его душе запели иные струны. Это был нежный и таинственный напев. Ли разбирал в этом напеве лишь отдельные слова о лилиях долин, о виноградниках, о смоковницах, о кедрах ливанских… И тогда Ли понял, что в этот торжественный для него день в его душе по воле Хранителей его Судьбы навсегда соединились красота оазисов Мавераннахра и таинственные чары Леванта, создавшие Книгу книг.

VI

После этого двухдневного путешествия в Абхазию жизнь Ли переменилась. Его уже не влекли пляжные развлечения, и он каждый раз радовался, когда наступал обеденный час. Обедали они теперь в открытом ресторане в порту — там была неплохая кухня в те годы, а главное — в ожидании блюд можно было разглядывать приходящие и уходящие белые суда и странствующий люд. Морские пути манили Ли не только потому, что вода была его стихией. В душе его было еще что-то, заставлявшее замирать сердце при виде белого паруса в синеве моря. Это «что-то» пришло к нему, вероятно, в генах Исаны тоже оттуда — из древнего Леванта, из сердцевины морей.

И пришел день, когда он тут же в морском ресторане понял, что его путешествие не закончено и теперь ему *необходимо* ехать в Крым. Бремя всех своих раздумий и сомнений Ли, как всегда, нес сам, и поэтому Нине он без каких бы то ни было объяснений предложил оставшиеся несколько дней их отдыха провести в дороге и заехать на день-два в Ялту. Это предложение было принято с восторгом: Нина, уже бывавшая в Крыму и любившая его, радовалась новому свиданию с милым сердцу краем и возможности показать его Ли. И через день они оказались на палубе «России».

Наступил тот час, когда они еще были в Сочи, но их домом уже стала каюта корабля, принадлежавшая совершенно иному миру. Ли последний раз сошел на берег, чтобы сделать кое-какие покупки, и бросил мелочь в воду, хотя он и без этого чувствовал, что этот город и порт надолго пришли в его жизнь. На закате «Россия» снялась с якоря и, слегка покачиваясь, заскользила

вдоль темнеющего берега, загоравшегося в густых южных сумерках тысячами огней. Ли и Нина постояли немного на палубе. Ли вспоминал этот берег в 47-м, но с моря он представлялся совсем другим, и Ли его не узнавал. Постепенно тьма поглотила очертания гор, земля стала простой цепочкой огней.

На море был штиль, и Новороссийск Ли проспал, а когда проснулся и на рассвете один вышел на палубу, корабль шел в открытом море. Небо было чистым и темно-голубым, даже темно-синим, розовеющим на юго-востоке. Вскоре на горизонте прямо по ходу корабля появилось и стало медленно приближаться облачко. Только когда оно занимало уже значительную часть горизонта, Ли понял, что это — земля. Постепенно видение приняло четкие очертания гор, поначалу казавшихся высокими холмами, и по их желтым склонам заскользили лучи Солнца. Таким предстал перед Ли Крым. Эта картина на всю жизнь осталась в его памяти и в сердце, слившись со словами поэта: «Земли девической упругие холмы лежат спеленутые туго». Потом, когда он узнал и объездил крымский южный берег от Феодосии до Фиолента, эта живущая в нем картина неизвестной земли стала ему понятна во всех своих деталях, а тогда он любовался чистой красотой неведомой страны, не думая о городах и людях, живших когда-то и живущих сейчас у подножия этих древних гор и холмов.

VII

В Ялте они сдали вещи в камеру хранения на морском вокзале и пошли пешком по набережной. Нина предложила было зайти в старые гостиницы возле порта, на улице Рузвельта, но Ли сказал: «Успеем!». Город просыпался. Открывались обращенные к морю магазины и кафе. Ялта была не похожей ни на Сочи, ни, тем более, на Сухуми, и Ли, считавший до этого, что все курорты на одно лицо, был приятно удивлен неповторимостью каждого уголка на морском побережье.

В конце набережной за маленьким мостком стояло светлое нарядное здание.

— Это санаторий «Ореанда», — сказала Нина.

— Был санаторий, а теперь гостиница, — вмешался в их разговор прохожий и с нескрываемым торжеством добавил: — Его бывшие хозяева нынче не в чести.

— Вот тут мы и остановимся, — заявил Ли.

— Что ты, — воскликнула Нина и показала рукой на

небольшой интуристовский знак, висевший над парадным входом.

— Ну, зайти-то можно, — ответил ей Ли.

В полутемном прохладном холле к ним подошел швейцар, чтобы сказать, что они ошиблись адресом, но, натолкнувшись на взгляд и едва заметную улыбку Ли, остановился в нерешительности, а потом неожиданно для себя сказал:

— Администратор там, — и показал на дверь.

Нина осталась рассматривать витрину киоска, а Ли без стука, но медленно отворил дверь и зашел внутрь. Администратором оказалась серьезная молодая женщина, уже обученная «делать разницу» между иностранцем и «простым советским человеком». Возле нее сидели двое «чужих», и она им что-то «оформляла».

— Вам чего? — спросила она, строго глядя на Ли.

— Мне номер. Я с женой, — ответил Ли, пристально глядя на нее.

— У нас интуристовская гостиница!

— Я знаю, — спокойно ответил Ли, продолжая смотреть на нее.

Вероятно, Хранители его Судьбы сделали еще одно исключение, разрешив ему в отдельных случаях использовать свой дар для воздействия на гостиничную прислугу. Во всяком случае, администраторша на минуту застыла в полной неподвижности, чем удивила зарубежных гостей, и молодая иностранка с интересом взглянула на Ли.

— Вы надолго? — тихо спросила администраторша, придя в себя.

— На двое суток, не более, — сказал Ли.

— Посидите, пожалуйста, — она показала на свободное кресло, — я сейчас закончу с ними и вас поселю.

Ли сел в кресло и принялся полузакрытыми глазами рассматривать иностранцев. По нескольким фразам, которыми те обменялись друг с другом, он понял, что это итальянцы. Очень красивая пара, совершенно не похожая на кинематографических толстых, черных, вечно орущих, потных потомков древних римлян. Он был темным шатеном с голубыми глазами, она — блондинкой, если не натуральной, то очень искусно сделанной. Ли был поражен ее кожей: идеально чистая, она, казалось, светилась теплыми светло-кремовыми лучами легкого и равномерного загара. Ли вдруг захотелось ласкать ее тело, покрыть его своими поцелуями сплошь без просвета, что он мысленно и сделал. Вероятно, его дар внушения еще не был отозван Хранителями его Судьбы, и молодая итальянка, почувствовав и приняв его порыв, повернула к нему свое лицо. Ли

встретился с ней взглядом: на него смотрели зеленые глаза.

Ли очень легко, как когда-то с Рахмой, соединился с ней. Он не желал физиологии, не желал интимных подробностей, он захотел, чтобы она вспомнила свои родные места, и она вняла его желанию: чарующие виды Северной Италии, ее прекрасные города предстали его внутреннему взору. Они *оба* наслаждались ее воспоминаниями, и он чувствовал, что она это *знает*.

Тем временем администраторша вызвала швейцара, чтобы тот проводил гостей в номер, и итальянец, с недоумением посмотрев на свою застывшую в каком-то трансе подругу, поднял ее за руку из кресла, посоветовав проснуться.

Поскольку им предстояло принести сюда еще вещи, Ли и Нина решили посвятить этот день Ялте. Набродившись вдоволь и совместив ужин с обедом тут же в гостиничном ресторане, они отправились в свой чистенький уютный номер, приняли ванну и всю ночь любили друг друга и в ванне, и в постели с небольшими перерывами на сон. Впадая в забытье, Ли уже не различал, кто находился в его руках: его синеокая Нина или прекрасная итальянка, тем более что он *чувствовал* и ее, изнемогающую от любви где-то рядом.

Поздним утром обе пары столкнулись в холле. Итальянка открыто и радостно улыбнулась Ли.

— Здравствуй, милый, — сказала она.

Ли в ответ приветственно поднял руку, а итальянец полушутя-полусерьезно сказал ей:

— Так это его ты любила сегодня ночью? Я ведь чувствовал, что ты — не моя!

Чары еще не отошли, и Ли воспринимал смысл их разговора через ее сознание.

— Это не зависело от моей воли, — ответила она.

— Так может, нам поменяться на день? Она тоже хороша, — сказал итальянец и откровенно с любовью посмотрел на Нину так, что та залилась румянцем.

— Боюсь, что после этого мальчика ей даже такой красавец, как ты, будет неинтересен! — ответила его подруга.

— Ты меня удивляешь почти каждый день каким-нибудь новым трюком, — сказала Нина, когда они спешили к пристани.

— Просто ты меня мало знаешь, — ответил Ли и добавил: — Я не был заметен среди студентов, потому что я не люблю «человеческое общение» — я люблю общение с человеком.

— Какое же общение могло быть у тебя с этой итальянкой, если ты ни одного слова по-итальянски не знаешь?

— Ну, несколько слов я все-таки знаю, но слова нужны для

«человеческого общения», а в общении с человеком можно обойтись и без них, как ты это видела.

— Но я так не могу!

— Жизнь научит, если это тебе потребуется.

— А когда она научила тебя?

— Ты ведь знаешь, я несколько лет был на Востоке, и мне там часто приходилось обходиться без слов, — пояснил Ли, *зная* и чувствуя, что даже самому близкому человеку сказать всю правду о себе он не имеет права.

Память об этом разговоре на уютной ялтинской набережной долго смущала сердце Ли какой-то своей душевной неуютностью, ибо она несла в себе его обреченность на одиночество. Много лет спустя он прочитал у Набокова слова, напомнившие ему его сомнения тогда и потом:

> Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
> но под звезды я буквы подставил
> и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
> а точнее сказать я не вправе.

После этих слов Ли вспомнил и то давнее солнечное ялтинское утро, и ему показалось, что в синеве неба он видел тогда горящие звезды, звезды его жизни.

VIII

Их теплоходик медленно скользил в сторону Алупки. Нина рассказывала о дворцах и парках: весь берег от Ялты до Ласточкина гнезда она несколько лет назад исходила пешком и теперь с восторгом узнавала с моря знакомые места. Ли радовала ее радость. При всем своем крайнем индивидуализме Ли относился к натурам, высоко ценившим радость других людей, особенно тех, кто был ему близок, мил и интересен. Это его качество распространялось и на любовные игры, в которых главным для него всегда было удовлетворение женщины, а не свое собственное, и видеть весь ее путь к высшим пределам страсти было для него истинным наслаждением. Чтобы свое наслаждение продлить, он старался всем, чем мог, удлинить этот сладкий путь, делая неожиданные остановки и повороты, а потом, когда все уже было позади, он обволакивал почти бездыханную любимую медленными безгрешными и даже целомудренными ласками, даря ее измученному телу новые силы, а ее душе — безмерную благодарность за пережитые муки. И те, с кем близко

сводила его жизнь, до конца своих дней помнили о пережитой с ним радости земного бытия.

Ли слушал Нину и рассматривал берег, но думал о другом. Он думал о прошедшей ночи, когда он, измученный страстью и ласками, забывался в кратком сне или даже полусне, а за полуоткрытым окном то ли в его воображении, то ли наяву клубился розовый рассвет, и он слышал в нем голоса. Голоса эти казались ему знакомыми, но до конца он их не узнавал. Лишь однажды, он услышал голос Рахмы, тихо читавшей стихи: «Прибегаю к Господу рассвета…», голос любимой, пропавший где-то вдали уже на второй строчке этой суры. Звучали и имена звезд и деревьев, но какие — Ли не мог вспомнить.

По крутой лестнице, которая вела над поющим ручьем по окраине большого парка, они поднялись в городок и побрели по его поднимающимся вверх по склону холма узеньким улочкам. Вскоре Ли понял, что он *знает* здесь каждый камень.

— А вот и гостиница, — вдруг сказал он.

И когда они подошли ближе, это небольшое здание действительно оказалось гостиницей «Магнолией», и Ли сердцем и душой ощутил, что он вернулся туда, где начался его земной путь. Первый круг его жизни завершился. Ли понимал, что ему следовало бы побыть здесь, вспомнить людей, своими судьбами и даже жизнью заплативших за то, чтобы он, Ли, выполнил предназначенное и дожил до этого дня. Но сейчас он был не один. Рядом был бесконечно близкий ему, особенно после минувшей ночи в «Ореанде», человек, но — не посвященный в тайную сущность его жизни. И Ли дал себе зарок вернуться сюда, если будет жив, и отдать долг своему прошлому, начавшемуся здесь.

Они вышли на небольшую площадь, уют которой не мог нарушить даже памятник вечно живому, и Ли остановился, сказав:

— Вот здесь была мечеть…

Внезапно их уединение среди людей было нарушено. В их мир ворвалось Зло в облике какого-то плотного типа средних лет с перекошенной мордой.

— Это — татарин! Это — татарин! Им запрещено здесь бывать! — кричат он, обращаясь к стоявшему поблизости милиционеру и показывая на Ли. — Я их хорошо знаю, а за этим давно слежу! Вот сейчас он указал на место, где была мечеть!

Милиционер осмотрел Ли и спросил:

— Вы — татарин?

— К сожалению, нет, — ответил Ли.

— Вы можете показать мне какой-нибудь документ?

Ли дал ему паспорт, и тот, немного отступив от набежавших на шум и крики любопытных, пролистал его, поглядел на Ли, а затем вернул Ли.

— Нет, он — не татарин! — сказал он спокойно.

Ли с интересом посмотрел на типа с перекошенной мордой и так же спокойно, четко выговаривая слова, сказал ему:

— Ман сен-и она-ни кут'ын-га сик'эй!

Тот опять взвился:

— Нет, он — татарин! Ты бы знал, что он мне сейчас при всех сказал!

Милиционер начал сердиться и тоже перешел на «ты»:

— Я проверил, что он не татарин. Я не понимаю, что он сказал, а ты понимаешь! Так, может быть, ты сам — татарин? А ну, покажи паспорт!

— Да я вот здесь остановился и вышел за хлебом. Что я, паспорт должен с собой носить?!

— Ну ладно, проверю в следующий раз, — подвел итог дискуссии милиционер и, повернувшись спиной к уважаемому собранию, пошел вверх по улице. Народ поскучнел и стал рассасываться.

А Ли и Нина пошли через цветник, и на их пути внезапно появилась лестница, ведущая в дворцовый парк. Удивительно красивый парк — в нем почти до середины июня задержалась весна, звенели ручьи и пели птицы. Толпы экскурсантов и отдыхающих еще только собирались в Крым, и парк был почти безлюден — небольшие группы людей с детьми собирались возле маленьких озер, где плавали лебеди и утки, а на длинных аллеях почти никого не было, и Нине и Ли казалось, что парк в этот солнечный и нежаркий полдень принадлежит только им.

— Как легко здесь дышится! Давай будем держаться правее и выйдем к дворцу, — сказала Нина, когда Ли увлек ее на аллею, уходящую влево.

Но Ли уже *знал*, куда он идет.

— Подожди меня! — сказал он Нине и пошел прямо по яркой бархатной зелени лужайки к одинокому исполинскому дереву, стоявшему посредине прекрасной поляны. «Кедр ливанский», — прочла Нина надпись на табличке, установленной у края поляны.

Ли не нужно было читать надписи. Он вспомнил названия деревьев, мелькавшие в его отрывочных снах минувшей ночью: смоковницы, оливы, кедры ливанские. Смоковницам и маслинам он уже поклонялся на Востоке и в Новом Афоне, а теперь он шел на зов главного Дерева Хранителей его Судьбы, он шел к Кедру ливанскому, широко раскинувшему ему навстречу свои вечнозеленые ветви над прекрасной поляной на фоне розово-

желтых гор и голубого неба.

Ли вступил под его сень и обнял ствол, такой широкий, что руки его не сомкнулись. «Наверное, в три-четыре обхвата, — подумал Ли. — Если бы только мы смогли когда-нибудь вернуться сюда вчетвером — мы с Ниной, Исана с Лео…» Он прижался щекой к теплой коре и стал жадно глотать воздух, напоенный ни с чем не сравнимым благоуханием великого Дерева. Ли закрыл глаза, и тотчас же перед его взглядом, плотно отгороженным веками от внешнего мира, возник свет, засиявший всей цветовой гаммой, в которой преобладали золото и лазурь, зелень и синева. Все эти любимые Ли цвета клубились облаками, тесня друг друга, но не смешиваясь. Время от времени эти находящиеся в непрерывном движении облака складывались в чудесные пейзажи, в картины удивительной красоты, и Ли ощущал себя двенадцатилетним мальчишкой: он встречает на плоской крыше свой очередной восход Солнца, открывающий ему чарующие дали его Долины. Он знал, что в не менее прекрасных далях, открываемых ему Деревом, тоже есть не только расстояние, но и Время, и что это дали его собственного близкого и далекого будущего. Ему показывали, как в разных частях этой динамичной картины его любимые цвета складывались в сочетания, таившие угрозу, но потом опять мирно расходились в разные стороны.

Вдруг он заметил, что в разноцветных облаках появляются лица, прекрасные лица из его будущих лет, лица тех, кому еще предстояло узнать и полюбить его. Они появлялись, он смотрел в их еще неподвижные глаза, и под его взглядом их черты теряли свою резкость и четкость, и они таяли в голубом тумане, и спустя несколько мгновений Ли погружался в новые видения.

Потом все эти яркие картины стали бледнеть, и он вернулся в реальность летнего крымского дня, вернулся человеком, умудренным новым и самым важным знанием — знанием своего будущего, и в свете этого знания события последних лет и особенно последнего месяца приобрели совершенно иной смысл. Ли понял, что мир людей ловил его и не поймал, что Хранители Судьбы его не покинули и лишь показывали ему варианты и возможности его человеческого бытия, безграничность его личной свободы и неприкосновенное право выбора во всем, кроме Жизни и Смерти, чужой и своей. Таким был его *договор* с *Ними*, договор о его дальнейшей жизни, и Ли с радостью поставил под ним свою подпись, ибо за эти несколько лет своего «бунта» он понял, что жить без уверенности в том, что он *Им* нужен, он уже никогда не сможет.

Вся эта неслучайная встреча с Деревом, все путешествия Ли в

прошлое и будущее заняли лишь несколько минут земного времени, и когда Ли с просветленным лицом вернулся к Нине, ожидавшей его на удобной парковой скамье, внешне все в мире оставалось на своих местах, даже облачко, выглянувшее из-за вершины Ай-Петри, застыло в неподвижности, прежде чем спрятаться снова. Они обошли дворец, и Ли радовался тому, что он мог молчать, слушая рассказ Нины о ее первом посещении дворцового парка, и думать о своем, о том, что только что произошло в его невидимом мире.

От дворца они прошли в сторону Сары. Ли шел уверенно, забирая влево, туда, где слышался голос моря.

— Ты здесь бывал, что ли? — спросила Нина.

— Нет, разве что в своих прежних жизнях, — ответил Ли.

Они вышли к Зеленому мысу и через парк туберкулезного санатория спустились к Черным камням. Идя по парку, Ли видел здесь тень молодой Исаны, которую Лео привез сюда почти тридцать лет назад. Им было тогда по двадцать шесть лет, как теперь Ли и Нине. Здесь умирала Исана, а по этой тропе с деревянными лестницами на кручах она, уже неся в себе Ли, спускалась к Черным камням. Подъем обратно, так она рассказывала, занимал у нее час с четвертью, так она была слаба.

Нина решила выкупаться в уютном заливе, но вода была холодная, и она только окунулась. Ли раздеваться не стал и, сидя на отшлифованном волнами обломке древней скалы и бросая камушки в море, опять погрузился в свои раздумья. На память пришли прочитанные где-то стихи:

Есть еще острова одиночества мысли —
Будь умен и не бойся на них отдыхать.
Там обрывы над темной водою нависли —
Можно думать и камушки в воду бросать.

Когда они пришли на пристань, абсолютно спокойное до этого море начало волноваться. При полном отсутствии ветра штиль сменился четырех- или пятибалльным штормом, и с теплоходика объявили, что рейс отменяется. Но вдруг из-под тента, который был натянут над большой моторной лодкой человек на десять-двенадцать, высунулась озорная морда бывалого морского волка и провозгласила:

— Ну, кто смелый? Идем на Ялту без захода на все прочие причалы.

— Пошли! — сказал Ли. — Сегодня мы можем быть смелыми!

И они первыми сели в лодку. «Смелых» набралось достаточно, и лодка вышла навстречу волнам.

— Утонем! — сказала Нина, когда на траверсе уже был мыс Ай-Тодор.

— Доплывем! Это я уж знаю точно! — ответил Ли с такой уверенностью, что Нина посмотрела на него, безмятежно развалившегося на вздыбленном вверх правом борту лодки, с подозрением, но в этот момент лодка взяла курс на Ялту, и качка из пугающей бортовой превратилась в довольно спокойную кормовую. Нина перестала волноваться. А Ли думал, что и этот отголосок далекой бури, пришедший к Южному берегу невесть откуда, тоже был *знаком*, частью открытой ему картины его грядущих лет.

IX

Пришел день отъезда. На автобусной станции, куда они зашли справиться, как лучше добраться до Симферополя, чтобы попасть на поезд, в расписании они увидели маршрут «Ялта—Харьков». Казалось чудом, что можно вот так просто сесть в автобус рядом с ялтинским морским вокзалом и на следующий день оказаться дома, и они решили проверить реальность этого чуда.

Вещи они сдали в камеру хранения в полдень, и до отъезда оставалось еще часов пять. Ли предложил сходить «к Чехову», и они не спеша побрели в Аутку. Музей по какому-то случаю был закрыт, но несколько упоминаний о дядюшке и тете Манечке, друживших с умершей почти одновременно с ними Марией Павловной, открыли им двери.

Пожилая хранительница провела их по дому и закончила экскурсию в кабинете. «…Этот бронзовый китайский божок привезен Антоном Павловичем с Цейлона… а медный колокольчик подарил Антону Павловичу сахалинский каторжник», — с дрожью в голосе говорила музейная дама и продолжала говорить, переходя от одной вещицы к другой, будто от хозяина Белой дачи ничего больше не осталось в этом новом мире, кроме вазонов, пивных кружек, колокольчиков, статуэток и прочих диковинных мелочей. Если бы Ли внимательно слушал хранительницу, этот речевой поток, возможно, вызвал бы в нем желание уподобиться герою чеховского рассказа «Драма», который расправился с такой же несносной особой, схватив со стола тяжелое пресс-папье. Но Хранители его Судьбы, конечно, погасили бы в нем это желание. Достаточно уж было и того забавного факта, что музейная дама без всякого принуждения сама превратилась в чеховский персонаж. Ли уже давно не

слушал ее.

В те времена на Белой даче не было еще тряпичных туфель для экскурсантов и ленточных заграждений. Ли подошел к письменному столу и, предварительно спросив разрешения, сел, чтобы представить себе, что и как видел Чехов, откидываясь на спинку кресла, когда уставала писать рука или начинали болеть глаза.

Он увидел горку справочников на расположенном неподалеку круглом столике. На верхнем прочитывалось название «Вся Россія за 1903 годъ». Ли взял в руки этот увесистый том и открыл «одесские» страницы. Его взгляду предстала вереница легендарных Кранцев: его дед, бабка, братья и родственники деда. Адреса и номера телефонов пережили людей. Это был тот мир, где в одном из вариантов своей Судьбы мог бы жить Ли. Исчезнувший мир. Семейная Атлантида. Кому же он так мешал, этот мир, чем провинились эти знавшие и делавшие свое благое дело люди — инженеры, врачи, ученые? Или кто-то им позавидовал — им, строителям одесской Оперы, соратникам Мечникова? И разве не трудам своим благодаря становились они почетными потомственными гражданами Города?

В этот момент Нина, рассматривающая фотографии на стенах, и хранительница, рассказывающая ей о «большой дружбе Антона Павловича Чехова с Буревестником революции», вдруг исчезли из поля зрения Ли, и он почувствовал себя одним на свете в этой комнате, среди старых книг и журналов, где остановилось Время. Казалось, стоило ему только протянуть руку, взять из почти бесшумно открывающегося ящика листок бумаги, взять ручку из хрустального бокальчика, макнуть ее в чернильницу и написать на пожелтевшей от времени бумаге несколько строк своему деду, запечатать письмо в старинный конверт, и оно непременно придет по адресу, указанному в мудрой книге «Вся Россія», в Одессу, на Греческую, и будет распечатано почти точно в таком же кабинете, среди таких же, уже ставших старинными, книг и справочников.

В кабинете, рядом с камином, появился светлый силуэт, и Ли узнал Танечку, Татьяну Львовну Щепкину-Куперник, еще одну тень из недавно покинутого им мира. «Не хватало еще здесь явления Мессинга», — подумал Ли, вспомнив еще раз о том, что именно от Танечки он получил первое предвестие об этом колдуне. Но милое лицо Танечки вдруг помолодело, стало совсем юным и от этого еще более прелестным, и Ли услышал за своей спиной низкий, грудной, по-своему красивый мужской голос:

— Не целуйте ступни ног у Куперник. Это талантливая девочка, но она три дня в неделе бывает мне противна… Хитрит,

как черт…

Ли узнал и голос, и слова Чехова, и улыбнулся, вспомнив письма-записочки «милой Тане», «Таньке» от Повсекакия. «Ревнует!» — подумал Ли и вернулся из прошлого в свое «сегодня».

Впрочем, еще несколько часов его не покидала уверенность, что все было как раз наоборот, что из своего «законного» времени, где он жил и продолжал жить, — там, где были сорокалетний Чехов и двадцатипятилетняя Танечка, — он с неизвестной для него целью ненадолго перенесен сюда, во вторую половину двадцатого века. А теперь сидит в одной из гостеприимных обителей своего мира, ставшей почему-то музеем.

«Еще один круг замкнулся! — подумал Ли, бережно закрывая книгу, чтобы положить ее на место. — А может быть, это и мой музей, но об этом никто не будет знать, ибо мне суждены легкие шаги и легкие прикосновения, не оставляющие следов. Ни здесь, ни на кунцевской даче, ни на подмосковных дорогах, ни в домах тех, о ком долго будут помнить люди… Ну что ж, такова моя Дорога!»

И была у него еще одна дорога в тот день — старое симферопольское шоссе, петлявшее по горам и долинам. Каждый новый «тещин язык» по-новому перестраивал пейзаж. Как в калейдоскопе — из одних и тех же деталей складывались все новые и новые, не похожие друг на друга фигуры. Ли подумал о том, что и его собственная Жизнь усилиями Хранителей его Судьбы сейчас, после не сразу замеченного им поворота, постепенно возводит новые декорации, и к нему на сцену приходят новые действующие лица, а внутренний смысл и цель этих перемен он непременно разгадает на новом витке своего земного бытия.

Нина вскрикнула, и прозвучавший в ее голосе страх вернул Ли из его далека в реальный мир, а в нем, в этом мире, их автобус въехал на очередной карниз так, что казалось: обрыв головокружительной высоты начинается сразу за окном, у которого они сидели. Ли посмотрел вниз, обнял Нину, прижал ее к себе, сказав: «Не бойся! *Сегодня* с нами ничего не случится!», и тут же заснул крепким сном.

Его пробуждение и весь второй круг его жизни, как и последующие круги, заслуживают отдельных повествований, и они последуют, если будет на то Божья воля, а пока оставим Ли спящим на плече охраняющей его сон любимой им молодой женщины в маленьком автобусе, с трудом преодолевающем подъем на очередном серпантине на западных склонах горы

Кастель, чтобы после минутной остановки в Алуште двинуться к Ангарскому перевалу.

Отражения и силуэты

Вечная мировая загадка выражается
в отдельных индивидах.

Р. Штайнер

Вместо эпилога к повествованию о молодых годах Ли Кранца

Автобиографические записки человека, названного в этом повествовании Ли Кранцем, попали ко мне несколько лет назад. Не буду уверять, что я лишь издатель этих записок, хотя такой весьма удобный прием широко использовался в изящной словесности всех времен и народов. Они не предназначались для печати, и пришлось основательно потрудиться, чтобы превратить их в связный рассказ. Хорошо ли, плохо ли это получилось — не мне судить.

Должен отметить, что при первом моем знакомстве с записками Ли Кранца многое в них показалось мне плодом фантазии и даже мистификацией. Потом для меня стали проясняться истинный смысл и внутренняя логика раскрывающейся передо мной жизни. И как я ни пытался упростить свой рассказ о ней, целого ряда сложностей я так и не сумел избежать.

Читатель двадцатого века уже привык к жизнеописаниям людей, обладающих сверхъестественными способностями и уверенно использующими их по своей воле во имя Добра и Зла. Но как быть с человеком, может быть, и наделенным некоторой тайной силой, но не имеющим над нею никакой или почти никакой власти, поскольку эти его способности «включает» и «выключает» на некоторое время и помимо его воли Кто-то Другой?

Не новым является и сюжет, связанный с появлением среди сильных мира сего некоего «чужого», наводящего в этом их мире свои порядки. Такой сюжет дает возможность показать читателю быт, жизнь, интимные привычки исторических лиц, украсив свой рассказ подробным описанием присущих этим лицам половых и иных извращений. Но как быть, если «чужой» и не пытался проникнуть в этот сладостно интересный читателю мир?

Таких вопросов в связи с жизнью Ли Кранца можно было поставить немало, ибо у него получалось так, что он, постоянно

живя в собственном внутреннем мире, лишь иногда слегка прикасался к миру внешнему, а иногда делал в нем, в этом внешнем мире, несколько шагов, почти не оставляя следов. Сам он говорил, что ходит легкими шагами, хотя слова эти о «легких шагах», мне кажется, уже были использованы в Евангелии.

Правда, после каждого его такого «прикосновения» или прогулки «легкими шагами» в нашем обычном мире что-то необратимо изменялось, но абсолютной уверенности в том, что именно он был причиной этих изменений, даже у него самого никогда не было.

В Книге Бытия есть загадочные слова о первочеловеке, нарушившем Его заповедь, пожелавшем освободиться от Его ежеминутной опеки, стать независимым, как Сам Бог: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло». Странны они тем, что Бог употребил множественное число, хотя Он до этого момента был Один и творил наш мир единолично. Оставив их толкование знатокам, нельзя не согласиться с тем, что эти слова могут быть прочитаны как предупреждение и напоминание о Договоре — Ли Кранцу и всем, у кого возникли особые отношения с *Ними*, Хранителями Судьбы. И не *Они* ли явились Аврааму, когда «сидел он у входа в шатер свой»?

В то же время Ли — один из нас, грешных, и внешне ничем не отличается от тех, кто заполняет улицы городов, пьет у стойки свой аперитив, или, если хотите, свои «сто грамм», сидит в кафе, едет в поезде, зажат толпой в салоне автобуса или трамвая. В конце концов, и эти «простые» люди тоже почти не оставляют следов. Вот он только что был здесь, и уже его нет. А кто о нем вспомнит? Да был ЛИ он? Не был ЛИ опиской, ошибкой небесной или земной канцелярии, подобно поручику Киже из исторического анекдота павловского времени? Нет, нет, Ли — живой человек, но многое забывается, исчезло бы из памяти людей и его такое короткое имя, если бы не эта рукопись, которая, верю, при всех своих «бытовых» реалиях, вопреки и благодаря им, приближает нас к тайне, приближает нас к *Ним*.

И мне захотелось сделать невозможное: найти следы Ли Кранца. Конечно, слово «невозможное» я употребляю исключительно в относительном смысле, поскольку в нашей бывшей самой счастливой в мире советской стране, сопровождавшей жизнь *каждого* человека *десятками* явных и тайных досье, были люди (и, вероятно, есть до сих пор, ибо в целом ряде измерений эта якобы исчезнувшая страна еще продолжает существовать и будет существовать долго), «кому положено» иметь доступ к этой уникальной информации. И скажет такой человек: «А ну, подать мне сюда Ли Кранца!» и

отовсюду, не считаясь с недавно появившимися новыми границами новых самостоятельных государств, хлынут к нему на рабочий стол сплошным потоком факсы, ксерокопии и подлинные документы — выписки из актов гражданского состояния, «личные дела» из школ, институтов, учреждений и прочих заведений, где Ли хоть на день значился «оформленным» в каком-либо качестве. Если этого окажется мало, прибудут сюда же «истории болезней» из клиник и больниц и еще кое-что.

Но я, увы, не принадлежу к могущественному клану такого рода специалистов в области биографического жанра, да и интересовало меня в Ли Кранце не то, о чем пишут в анкетах и «личных делах», и поэтому я был вынужден действовать добрым старым способом: искать тех, кто знал или знает моего Ли, и как частный детектив пытаться с их помощью дорисовать его портрет.

Начал я с посещения той окраины, где, судя по запискам Ли, проходили его детские и юношеские годы. Увы, здесь подстерегали меня первые неудачи: от упомянутых им в рукописи улиц и дворов, где когда-то зрели вишни и варилось в медных тазах вишневое варенье «с дымком» и пенкой, уже ничего не осталось. Не удалось мне обнаружить и старую грушу, на которой Лидка Брондлер собиралась повесить Ли и Исану. Здесь стояли безликие многоэтажные панельные коробки, и даже если где-то в их бесчисленных ячейках и затесался какой-нибудь старожил этих мест, знавший Ли в детстве, найти его не было никакой возможности.

Второй мой прокол был связан со школой, где получил свой «аттестат зрелости» Ли. Ее тоже не оказалось среди действующих, а небольшое трехэтажное здание за церковью, где она когда-то располагалась, заняли новые «структуры».

На этом изучение мест, связанных с детством Ли, я прекратил: не ехать же мне по этому поводу «за границу» в Сочи или в Туркестан! И я обратился к его студенческим годам.

Вскоре мне удалось отыскать человек пять из его «выпуска», однако их ответы на мои вопросы были весьма краткими, хоть и очень разными по своему содержанию.

«Был такой. Толковый парень. Мне даже как-то попалась написанная им техническая книга. Где он сейчас — не знаю».

«Да, помню. Так, ни то ни се. Наверное, уже в Израиле или Штатах».

«Непонятный был человек. Вряд ли его кто-нибудь как следует знал. Ускользал. После института не встречались».

«Помню, но знал его плохо. На встречах «выпуска» он не бывает. Говорят, он где-то здесь».

Несколько полнее мне ответила подруга покойной Риты: — Я

не могла понять, что он собой представляет и что их связывало. Она никогда о нем ничего, выходящего за рамки студенческих дел, не говорила. Но когда я зашла к ней за день до ее смерти, боль уже ушла, она была страшно слаба, и я едва расслышала ее слова: «Ты помнишь Ли? Расскажешь ему, как я…». Это было лет двадцать назад, и я тогда же разыскала Ли. Он выслушал меня, не задавая вопросов, а потом тихо сказал не мне, а куда-то вверх: «Я не забывал ее ни на миг и буду помнить всегда…».

Такими простыми и будничными были результаты моего поиска, и я подумал, что, вероятно, о любом необщительном человеке я собрал бы точно такие воспоминания. Да и маленькие трагедии в жизни были почти у каждого из нас. И все же, через некоторое время мне было дано понять, что мои выводы о заурядности жизненного пути Ли, даже в отражениях этого пути в сознании и памяти этих людей, были несколько преждевременными. Судьба и Случай, вероятно, те самые, что вели Ли к его предназначению, мягко, но убедительно вмешались и в мои весьма дилетантские разыскания.

А было так. Первые годы моей инженерной деятельности прошли в частых поездках на котельный завод в Таганрог. Потом мои занятия приняли иное направление, и многие годы подряд я видел Таганрог только из окна вагона поезда по пути на Кавказ и обратно. Понемногу этот город и красивый залив в серо-розовой дымке становились для меня приятным воспоминанием о минувших днях. И вдруг, совсем недавно, меня снова позвали туда дела. Я был взволнован этой новой встречей со своим собственным прошлым и при первой же возможности отправился бродить пешком по знакомым местам. Ноги привели меня на мыс с памятником Петру Великому, а потом я спустился к пассажирскому причалу порта, где когда-то любил посидеть часок с пивом и таранкой за одним из столиков местного буфета или кафе под открытым небом. Столик нашелся и сейчас. Таранки, правда, у меня не было, но пиво и какой-то сыр были у буфетчика, и я присел, любуясь предзакатным морем. Сначала я даже не заметил, что за столиком я не один, но потом, оглядевшись вокруг более внимательно, не только «открыл» своего соседа, но и почувствовал в его старой испитой физиономии что-то знакомое.

— Рэм?! — осторожно спросил я.

— Да. Откуда вы меня знаете?

Я назвал стройку двадцатилетней давности, где мы вместе отмечали какой-то праздник, а потом «добирали до кондиции» до поздней ночи. Тогда же он расшифровал мне свое имя: «Революция-Энгельс-Маркс», и потому оно мне запомнилось.

Кроме того, меня тогда еще поразила какая-то его необычная для провинциального канцеляриста образованность.

Разговор у нас пошел «за жизнь». Время было более откровенное, чем двадцать лет назад, и за шестой или седьмой бутылкой пива Рэм сказал:

— Теперь я тебе уже могу сказать, кем я был и что так искалечило мою жизнь.

Я приготовился к очередным пьяным откровениям и, украдкой посмотрев на часы, отвел для них минут пятнадцать-двадцать, но то, что я услышал, заставило меня забыть о времени.

— В середине пятидесятых был я подающим надежды сотрудником в одном широко известном секретном учреждении в центре Москвы. Великолепно владел немецким, знал французский, имел уже, несмотря на свою молодость, чин капитана, и мне прочили большое или, во всяком случае, интересное будущее. Мое «штатское» амплуа было «переводчик Интуриста». Впереди уже маячили зарубежные поездки, а пока я «работал» с группами, «представляющими интерес», и столь же «интересными» индивидуалами в Москве. Моя серьезность и старательность были замечены, и поэтому, когда в Академию наук прибыла небольшая группа историков из Голландии, «вести» ее доверили мне, предупредив, что там есть явные «антисоветчики», и потому надзор должен быть «жестким». Все, однако, шло достаточно сносно, пикировки успешно переводились в разряд научных дискуссий, и моей работой — а я отчитывался рапортами за каждый прошедший день — *там* были довольны. Осложнения начались тогда, когда эти хуи голландские заявили, что они просто не могут уехать из нашей гостеприимной страны, не повидав великого историка, чьи книги знает и читает весь просвещенный мир. А этот великий историк был стар и болен и в ту осень жил совершенно безвыездно на подмосковной даче. К нему съездил порученец, и он дал согласие на двухчасовую встречу с голландцами. Мне предварительно дали список обитателей дачи, с которыми могли «иметь место контакты». Все шло хорошо. Голландцам очень понравилась дорога в Звенигород, понравился лес, вплотную подходивший к забору дачи, очаровал хозяин и его домашние, говорившие на всех языках Европы. Они попали в свой мир, и я впервые увидел их расслабленными. В непринужденной застольной беседе они выяснили почти все интересовавшие их вопросы. Тяжелее всего приходилось мне: впервые в моей практике разговор с «советскими людьми» шел не «через меня», и мне пришлось хорошо покрутиться, чтобы ничего не упустить. И в этих своих хлопотах я не сразу заметил, что рядом с одним из гостей —

«оголландившимся японцем» за столом сидит совсем еще молодой парень, тоже чем-то напомнивший мне японца или нашего среднеазиатского чучмека, не значившийся в моем списке. Причем, увидел я его в момент явного «обмена информацией» со своим соседом, показывающим ему что-то обеими руками. После этого обеда или ужина я подошел к неизвестному и начал, как положено, «выяснять личность», но тут меня что-то на минуту отвлекло, и потом я, чего со мной никогда не бывало, вдруг начисто о нем забыл. Не вспомнил я о нем и ночью, когда писал рапорт. Вернее, не смог вспомнить, потому что какое-то неясное воспоминание меня мучило, но в конкретный образ оно так и не оформилось. Через день я проводил голландцев в аэропорт. Мной остались довольны и свои, и чужие, и мне было велено готовиться к сопровождению за бугор одной из наших весьма ответственных «групп». Однако, примерно через месяц я был приглашен к начальству, где мне под испытующим взглядом был задан вопрос, *всех* ли контактировавших с голландцами я упомянул в своем рапорте о поездке к великому историку. К тому времени свои былые сомнения я окончательно отнес за счет переутомления и уверенно ответил, что всех. Тогда мне дали фрагмент расшифрованного донесения, где говорилось, что профессор Ф. (там стояла фамилия японца), рассказывая своим университетским коллегам о поездке на дачу к великому историку Т., упомянул о том, что там за столом рядом с ним оказался похожий на японца молодой человек, с которым он, профессор Ф., имел довольно долгую мысленную беседу. В моей памяти, когда я это читал, опять промелькнуло странное движение рук японца, очерчивающих какой-то квадрат, но место за столом возле него пустовало, хотя тарелка и столовый прибор там почему-то были. И я опять решительно повторил, что там никого, кроме упомянутых в моем рапорте, не было, а профессора Ф. наш агент, вероятно, не так понял. После этого вокруг меня на некоторое время возник вакуум — я был никому не нужен, мне ничего не поручалось и моими делами никто не интересовался, хотя зарплату платили исправно, а еще месяца через два мне сообщили, что профессора Ф. с большим трудом удалось «подвести» к повторению его рассказа, и первоначальная информация подтвердилась, а для себя выводы я должен сделать сам. Я тут же сдал удостоверение и написал в «Интурист» заявление об уходе. Постоянной квартиры в Москве я еще не успел получить, и мне пришлось уехать в Донбасс к родителям, а оттуда «местные товарищи» меня уже определили на ту самую стройку, где мы встретились…

— Неужели им так важно было знать, был или не был в тот

день на той даче какой-то мальчишка? — удивился я.

— Ты же знаешь, *там* все помешаны на агентах, резидентах и прочей шушере. Но дело не только в этом. Я знал, что *там* еще в те времена был сектор, занимавшийся теми, кто мог вести «мысленные беседы», внушать, гипнотизировать и делать всякие цирковые фокусы, выходящие, как говорится, за рамки.

— Но *они*, если бы захотели, легко нашли бы этого парня. Ведь он же *был там*, а не приехал и уехал с вами?

— Я тоже так думал. Однако ряд случайностей, видимо, помешал этому. Во-первых, как раз в то время умер хозяин дачи, а следом его жена. Сменилась прислуга. Во-вторых, за какие-то проколы или просто с приходом нового начальства вдруг расформировали мой бывший отдел, а всех ребят переподчинили. Кроме того, в автокатастрофе погиб наш «представитель» в Нидерландах. Все это мне рассказали ребята, когда я дал прощальный ужин перед своим отъездом из Москвы. Так что вопрос, вероятно, «потерялся»…

— Да-а… Интересная история, — сказал я, вспоминая записки Ли Кранца об этих же событиях.

— Но это еще не все, — продолжал свою исповедь Рэм, как-то испуганно оглядевшись вокруг. — Лет пять назад я ездил в Москву на сороковины к родственникам, и в последний свободный день мне вдруг почему-то непреодолимо захотелось съездить туда, в дачный поселок академиков под Звенигородом. День был ясный, солнечный, и я поехал. Дача Т. со старым перелатанным забором уже не была крайней. Да и жили там совсем другие люди, никакого отношения к великому историку не имевшие, и только часть дома оставалась во владении его любимой племянницы, нечасто приезжавшей сюда из Москвы. Машины по асфальтированной дороге к поселку сновали беспрерывно, и я, возвращаясь в Звенигород, свернул с обочины на тропинку, пересекавшую чудом сохранившийся участок леса. Уже шагов через пятьдесят шум машин сменился шелестом листьев, послышалось птичье щебетанье, под ногами хрустел валежник, и солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, мягким светом освещали поляны и тропы. И в этот момент я увидел Его. Он шел мне навстречу и между нами было метров пятьдесят. Его лицо, которое я лет тридцать не мог вспомнить, теперь я видел во всех деталях: от узких щелочек-глаз, делавших его похожим на японца, до едва заметной улыбки в уголках губ. И я вспомнил Его рядом с профессором Ф., вспомнил все, даже его иронический ответ на мое замечание о том, что Он у меня не значится. Между нами был неглубокий, в один человеческий рост, овражек, и тропа делала в нем небольшую петлю, огибая высокие

кусты. Он стал спускаться в этот овраг, скрылся за кустарником и… исчез. Я побежал Ему навстречу, но на тропе и за кустами было совершенно пусто. Я собрался было обыскать весь лесок — не мог же Он уйти далеко, — но что-то, какая-то ускользающая мысль мне мешала. Наконец, мне удалось ее «поймать»: она, эта мысль, пыталась обратить мое внимание на то, что за тридцать лет, прошедших с того злополучного вечера, исковеркавшего мою жизнь, Он совершенно не изменился, представ передо мной на этой тропинке таким же юным и даже в той же одежде! А это означало, что искать мне в этом лесу было некого… И еще одна мысль, изменившая мой взгляд на жизнь, пришла ко мне на обратном пути из Звенигорода в Москву. Я все свои годы жил с верой во всесилие земной власти, во всесилие того Учреждения, где так счастливо началась моя карьера, и эта вера делала боль моих потерь особенно острой. Теперь же я понял, что где-то совсем рядом существует мир, ему совершенно неподвластный, живущий по своим законам, и может быть, именно там, на подмосковной даче тридцать лет назад мне была дана уникальная возможность прикоснуться к этому миру. А я ею в своей пошлой суете пренебрег…

Мы расстались с Рэмом, когда небо и море уже соединила непроглядная тьма с мерцающими в ней маленькими огоньками. Я медленно побрел в гостиницу, думая о том, каким же мощным могло быть направленное действие воли или ненависти Ли Кранца, если даже такое легкое прикосновение к его силовому полю, какое выпало на долю бедного Рэма, так крушило и изменяло судьбы людей!

Мне остается рассказать о своей личной встрече с человеком, действующим в этом романе под именем Ли Кранца. Разыскать его оказалось не очень сложно. Вспомнив о том, что один из его сокурсников видел написанную им книгу, я однажды, просматривая генеральный каталог в большой библиотеке, действительно набрел на несколько книг, среди авторов которых значилась его фамилия. Я обратил внимание на то, что две последние из них были изданы в московском издательстве, и их редактором был один и тот же человек. Будучи в Москве, я позвонил по телефону этого издательства. Как ни странно, оно сохранилось в бурях последнего времени. Сохранился и редактор, никуда не уехавший. Я представился ему и получил от него телефон, «по которому мне скажут, как найти того, кого ищу».

Вернувшись в свой город, я воспользовался этим телефоном. После многочисленных вопросов «кто», «кто дал вам телефон», «зачем» и т. п. мне, наконец, сказали, как связаться с интересующим меня лицом, и наша встреча, имевшая для меня

принципиальное и даже в определенном смысле юридическое значение, наконец, состоялась. Но как раз юридическая сторона вопроса была решена в одно мгновение: узнав о существе этого дела, тот, кого я называю Ли Кранцем, засмеялся и, махнув рукой, сказал:

— Ах, это? Но я же выбросил эту рукопись! Воистину, рукописи не только не горят — от них просто невозможно избавиться. Они бегут за тем, кто их намарал, и, как видим, догоняют. Я отдаю, вам ее в собственность, и можете делать с ней все, что хотите, если сумеете разобрать мои каракули!

Так я стал полным и единственным хозяином этой рукописи, а хорошо или плохо мне удалось разобрать его «каракули», пусть судят читатели. Я же закончу рассказ о своей встрече с прообразом Ли кратким описанием этого, без сомнения, неординарного создания матери-Природы.

На одной из страниц романа, кажется, там, где рассказывается о поступлении Ли в строительный институт, приведен его словесный портрет, заимствованный из полученной мною рукописи. Между временем, к которому относится этот портрет, и моей встречей с автором прошло около сорока лет, но меня поразили точность и удивительное постоянство содержавшихся в рукописи характеристик.

Я сидел на открытой веранде небольшого кафе, где мы назначили встречу. Дощатый пол веранды весь рассохся от летней жары и жалобно скрипел даже тогда, когда ко мне подошла миниатюрная официантка. Я сделал какой-то пустяковый заказ и стал просматривать газеты.

— Это вы, господин Яковлев? — раздался надо мной негромкий голос.

Я поднял голову и увидел довольно грузного человека чуть выше среднего роста, весом не менее центнера, но почему-то ни одна доска даже не скрипнула, когда он подходил ко мне. Совершенно бесшумным был его шаг и когда он, откланявшись, удалялся. Создавалось впечатление, что он касается пола не для того, чтобы передать ему свой вес, а наоборот, для того, чтобы не улететь.

Впрочем, закон всемирного тяготения был, вероятно, не единственным законом Природы, с которым он был на короткой, точнее легкой ноге. Мне показалось, что столь же фривольно он обращается со вторым началом термодинамики, ибо в ту страшную жару, когда многие утирали пот, даже поглощая мороженое, он был хоть и в легком, но пиджаке, а его протянутая для рукопожатия ладонь была сухой и прохладной.

Когда он, присаживаясь за стол, положил Коран и оставил на

этой святой книге свою правую руку, я был поражен: я видел перед собой ту самую почти детскую руку с едва наметившимися синими прожилками, описание которой я перенес в роман из созданной этой рукой рукописи. И в то же время, в руке его чувствовались и сила, и твердость.

Тогда я стал рассматривать его более внимательно и сразу же отметил, что, как и мой Ли Кранц, он обладал легчайшим и совершенно незаметным дыханием. Казалось, что воздух ему вовсе не нужен для его существования.

Он сел напротив меня на солнечной стороне стола, но лучи Солнца не мешали его глубоко сидящим глазам, не прикрытым солнцезащитными очками. Более того, во время разговора, он иногда поднимал глаза к небу, и прямой ослепительный луч высвечивал непотускневший изумруд его глаз, открывавшихся навстречу Солнцу на какое-то мгновение. Я же, вероятно, оказался еще более «лишним» человеком в его мире, чем все те, кто в нем появлялся в прочитанном вами повествовании, и поэтому не был удостоен его раскрытого взгляда. Во время беседы со мной его глаза «распахнулись» лишь однажды, когда он пытался разглядеть кого-то сидящего за дальним столиком. Потом, когда он уже ушел, ко мне подошел человек, на которого он посмотрел, и стал меня расспрашивать, кто это был рядом со мной. Я ответил, как мог, и, в свою очередь, спросил его:

— А что, вы его знаете?

— Нет, не знаю, но мне показалось, что это один очень дорогой мне человек, с которым мы лет сорок назад потеряли друг друга, но, видимо, я ошибся, — таков был его ответ.

После этой встречи я пришел домой и еще раз перечитал жизнеописание Ли Кранца. Оно было разбито мной, вернее, оно заставило меня разбить себя на двенадцать частей, поначалу названных мною «главами». Но даже очень краткое мое личное общение с прообразом Ли Кранца придало в моих глазах каждой из этих частей самостоятельное значение. Не знаю, может быть, это мое впечатление было обманчивым, но я все же решил заменить слово «глава» словом «книга», и, таким образом, получилось, что роман о молодых годах Ли Кранца состоит теперь из двенадцати книг. Конечно, мне могут сделать замечание, что некоторые или даже большинство разделов, составляющих роман, слишком малы, чтобы именоваться «книгами», но разве в Книгу книг вошли только длинные тексты? Почему же я должен руководствоваться современным толкованием слова «книга», а не могу обратиться к нетленному опыту Библии как к непревзойденному образцу для подражаний, если я убежден, что каждая выделенная мною часть романа,

являясь долей целого, несет в то же время вполне самостоятельную, законченную мысль, четкую идею и даже обладает художественной завершенностью?

Еще совсем недавно я считал всего лишь общей моральной угрозой вещие строки Библии, такие, как слова Господа Бога, предупреждавшего Ноя и всех его потомков:

> «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт. 9: 6),
>
> и слова евангелиста Матфея, рассказавшего о том, как Иисус из Назарета повторил это предупреждение Господа Бога:
>
> «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52).
>
> И наконец, слова Иоанна Богослова:
>
> «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. *Здесь терпение и вера святых*» (Откр. 13: 10).

Единственное, что меня смущало в этих изречениях, так это бескомпромиссность в вопросах возмездия, порождавшая во мне смутные подозрения в возможном рождении и существовании среди нас *тех*, кто в заданный Господом *срок* каким-то образом приводит в исполнение упомянутый Екклезиастом Божий *приговор*. Чтобы он исполнился на наших глазах, нужны терпение и вера.

После моего знакомства с записками Ли Кранца эти подозрения перешли в твердое убеждение. А мое личное знакомство с автором этих записок эту мою уверенность еще больше укрепило, и многое в истории человечества и особенно в истории нашего столетия стало в моем представлении на свои места. Как написал в своих рождественских стихах последний великий русский поэт XX века: «Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо».

И я хочу в заключение этого затянувшегося эпилога обратиться к тем, кто одержим такой формой комплекса неполноценности, как стремление к власти над жизнью и смертью созданных по образу Божию людей, с предупреждением о том, что Ли Кранц еще жив и полон сил, что есть и другие, такие как он, и что юные ведьмы в прекрасных Долинах нашей Земли и сегодня, как некогда любимая им Рахма, готовят из подрастающих мальчишек тех, кто будет в заданный *срок* решать вашу судьбу. Для них, как и сегодня для Ли, во Вселенной не существует ни границ, ни расстояний. И нет для них во всем мире никаких

авторитетов, кроме высшего Разума. Они ждут Его указаний всю свою жизнь, и когда Он им указывает цель, они становятся неумолимыми и безжалостными. И тогда горе несущим Зло: сколько бы холуев их ни окружало, они никогда не будут в безопасности; никто и ничто не укроет их от губительных лучей ненависти таких, как Ли.

Помните об этом и лучше откажитесь от власти, или постарайтесь ее подчинить Добру и единению людей на Земле, ибо время уже близко.

Я вас предупредил.

3 ноября 1993

Рассказы
из рукописи Ли Кранца

Ветер Мульяна

Высоко над землей почил синий купол неба на горах, окаймляющих Долину.

Высоко в небе неподвижно сияло Солнце, и в его лучах блестели снежные шапки вершин. И в этом ослепительном блеске тоже была неподвижность. И в застывших ветвях шелковиц, и в строгих контурах чинар, и в отсутствии птиц, и в негнущихся травах. Все притаилось в ожидании предзакатных часов, быстрых сумерек, вечернего ветерка.

Лишь над Дорогой, покрытой серой галькой и белой пылью, воздух слоился и дрожал. По этой Дороге, бросая вызов сонному царству, довольно быстро перемещался человечек с ведерком, сумочкой и небольшой палкой в руках. Палка заканчивалась рогатиной, к основанию которой была привязана крепкая веревка, что позволяло человечку время от времени хлопать ею по воздуху, словно бичом, нарушая окружающую тишину и оцепенение.

Впрочем, тишина и неподвижность мира были обманчивы. Чуткое ухо человечка уловило приглушенный визг и слабый всплеск за кустами, скрывавшими излучину — то ли древнего канала, то ли ручья, незаметно, но почти вплотную подходившего в этом месте к Дороге.

Он поставил свою ношу на обочине и стал тихо красться по тропинке через кусты. Там, на отмели, на сером песке, пересыпанном золотыми блестками слюды, он увидел нагих девчонок, прыгавших в ледяную воду и выскакивавших на горячий песок. Увидел Рахму, выделявшуюся среди сверстниц тем, что заставляло старух вздыхать: «Уже невеста!», — и забыл об осторожности. Та почувствовала его взгляд, обернулась и испуганно закричала:

— Зеленоглазый!

И тотчас в кусты, где он прятался, полетели камни, песок, коряги — все, что оставляет на берегу быстрая и непостоянная вода. Зеленоглазый выбрался на Дорогу, постоял, отряхиваясь, и с сожалением двинулся дальше. Его путешествие ничем не напоминало прогулки за город с отцом и матерью, и даже не верилось, что со времени их последней прогулки не прошло и двух лет. Как давно это было! Здесь же, делая каждый шаг, нужно

было стараться, чтобы босая нога попадала не в белую пыль, где, казалось, могла закипеть вода, а на самый край поросшей травой обочины — жар там был терпимым. И только потому, что Зеленоглазый хорошо знал Дорогу в этих исхоженных им пределах, у него оставалось время на размышления.

Думы его были невеселые. Совсем недавно пришло извещение о гибели отца, но к этому и он, и мать были готовы — письма от него не приходили больше года. И вот теперь вдруг появилась открытка от родственников о смерти в госпитале дяди Павлика, самого любимого человека после отца. Мать уже который день треплет лихорадка, и он отложил эту скорбную весть «на потом», оставшись с горем один на один. Открытку пока что пришлось опустить в щель на полу, чтобы не попалась на глаза матери.

Жара становилась нестерпимой, и Зеленоглазый вызвал море — он умел это делать. И вот уже море точь-в-точь такое, каким он его видел три года назад, вплотную подступило к Дороге, и из его голубой бесконечности одна за другой бегут невысокие ласковые прохладные волны и ложатся на песок у самой обочины. Влажный морской ветер был так реален, что Зеленоглазый поднял голову, чтобы подставить ему шею, и только тут заметил, что он на Дороге не один — уже сравнительно недалеко ему навстречу сквозь дрожащее марево двигалась какаято темная фигура.

Фигура эта, как определил Зеленоглазый, по своему облику и одежде не могла быть отнесена к местным жителям, от которых он не ждал обиды, несмотря на то что после происшедшего с Султан-Али до его ушей долетал смутный ропот, и в нем часто повторялось слово «урус». Не могла она быть отнесена и к местным русским — их всех он знал в лицо.

Сделав свои выводы, Зеленоглазый ощутил тревогу и решил пропустить эту фигуру мимо себя в том месте, где от Дороги, петляя в полях, отходила едва заметная тропка к хутору Ишимбай, — там жила большая семья Рахмы, и он мог чувствовать себя в безопасности.

Дойдя до этой тропинки, он непринужденно, усталым жестом поставил на обочину свое ведерко и котомку и стал дожидаться Незнакомца. Чем больше он вглядывался в черты приближавшегося к нему лица, тем меньше привычного ему, человеческого, он в нем находил. Предчувствие неслучайности этой встречи овладело им, и он с облегчением выдохнул это предчувствие, когда Незнакомец, не обращая на него внимания, почти прошел мимо по другой стороне Дороги.

Зеленоглазый приготовился немного проводить его взглядом, как вдруг тот резко повернулся и быстро подошел к нему.

Протянув руку, Незнакомец вытащил из его нагрудного карманчика все содержимое, отделил пятирублевую бумажку, спрятал ее в свой нагрудный карман и спросил:

— Что это?

— Талоны на обед, — ответил Зеленоглазый.

Тот скомкал и выбросил талоны.

— Что там?

— Хлеб, суп…

— Давай!

Не обращая внимания на Зеленоглазого, Незнакомец съел хлеб и попробовал суп прямо из ведра.

— Бу-у-рда! — сказал он и отшвырнул ведерко.

Потом он выставил перед носом Зеленоглазого кулак. Кулак был непростым — сжатые пальцы были схвачены металлическими, слитыми друг с другом кольцами, переходившими в блестящее лезвие. Зеленоглазый вспомнил перерезанное горло Султан-Али.

— Только пикни! — сказал Незнакомец и, повернувшись, медленно пошел по Дороге, как будто Зеленоглазого вовсе не было на свете.

Зеленоглазый поднял облепленное грязью ведерко и затоптанный в пыль мешок. Его душила ярость. На глаза попался обкатанный камень гладкий и тяжелый. Ни о чем не думая, он заложил камень между рогатиной и веревкой и, прижав его к палке, замахнулся своей пращей. Но тут оказалось, что он не может бросить камень в спину, и он крикнул, вернув Незнакомцу его слова:

— Ты сам только пикни!

Тот повернулся, на его мрачном лице что-то промелькнуло, удивление что ли, и он сделал шаг к Зеленоглазому, выставив вперед ощетинившуюся лезвием руку. Камень просвистел в воздухе и глухо ударил Незнакомца в висок. Еще раз какое-то удивление промелькнуло на его лице, и он, зашатавшись, повалился набок, с хрустом подвернув под себя кулак со страшным лезвием.

Подождав немного, Зеленоглазый подошел поближе. Незнакомец не шевелился. Из его нагрудного кармана торчали деньги. Зеленоглазый спрятал свою пятерку и крутил в руках сотенную, не зная, что с ней делать. Вдруг он увидел арабскую вязь, бегущую вдоль одного из краев сотенной бумажки. Выделялось «алиф» и «лам», и он вспомнил Султан-Али, как старательно он выписывал эти буквы своего второго имени на деньгах, подаренных ему отцом. Дары бывали частыми — Султан-Али был последышем, и все его братья ушли на фронт.

В это время чьято рука оттолкнула его в сторону так, что он сел прямо в раскаленную пыль.

— Неверные собаки, вы даже мести лишили меня, — услышал он.

Это был старик — отец Султан-Али. Имени его Зеленоглазый не знал, все его звали по должности — Раис. Старик сел на землю и заплакал, загребая руками пыль.

— Али…джан! Сын…

Потом Раис встал, вынул кривой нож из болтавшегося на поясе чехла и, ухватив за короткие волосы безжизненную голову Незнакомца, резанул его по горлу. Брызнули несколько капель крови и покатились, свернувшись, обрастая пылью. Зеленоглазому почемуто вспомнился другой солнечный день в его другой жизни: он болел — с ним тогда это часто бывало, — разбился термометр, и он смотрел, приподнявшись на кровати, как серенькие шарики ртути весело бегут по полу…

На них пала тень больших птиц, взявшихся неведомо откуда и круживших над Дорогой. Зеленоглазый протянул сотенную Раису:

— Султан-Али…

Раис, не взглянув, отвел его руку, плюнул на тело Незнакомца и пошел по Дороге. Зеленоглазый снова собрал свое барахло и поплелся следом. Птицы стали снижаться.

Вечером успокоение царило в селе. Стихли тревожные разговоры. Старики сидели на помосте и ели по какомуто случаю плов. Зеленоглазый, пробегая мимо, хотел дать круг — женщинам и подросткам не следовало нарушать беседу старцев, таков Закон. Но Раис подозвал Зеленоглазого. Взяв его за правую руку, он сказал:

— Мы знаем, ты сын человека, погибшего в бою. Пусть же и твоя рука карает убийц.

И он, то ли приподняв его руку, то ли наклонившись к ней, на миг приложил ее к своему лбу.

— А теперь иди, не мешай нам, — сказал Раис, протянув ему миску с пловом.

Зеленоглазый сел в стороне и стал есть плов. Старики помолчали, потом один из них запел. Трудно было после милой «Катюши» и «Веселого ветра» привыкать к здешним заунывным песням. Но шло время — и Зеленоглазый стал различать мотив, чувствовать древнюю красоту напева, стал понимать слова. Сейчас старик пел:

Ветер, тот, что веет тихо
над ручьем в садах Мульяна,

От любимой, от желанной
весть несет, благоуханный…

И под эту песню, растекавшуюся по Долине, из непроглядной южной тьмы Зеленоглазого тихо позвала Рахма. Его рука скользнула за вырез платья к покорным плечам — от них исходил какой-то незнакомый, круживший голову аромат. Его рука спустилась ниже, он сдвинул свободное платье, но ничего не увидел в ночи и припал губами. Рахма постояла с ним ровно столько, сколько ей казалось возможным, затем ласково отвела его руки и исчезла.

* * *

Контуженный следователь из недоучившихся юристов, для которого война уже закончилась, был в этих местах человеком новым, наречий здешних не понимал, и поэтому громкая слава Зеленоглазого его не коснулась. Он ограничил свое следствие установлением личности Незнакомца и, убедившись, что этот дезертир и бандит при всех смягчающих обстоятельствах заслужил несколько расстрелов, добился разрешения закрыть дело.

…Через два года после этих событий Зеленоглазый навсегда покидал Долину. Повозка с ним, с его матерью и с их скромными пожитками двинулась в сторону Города под звуки труб, извещавших о свадьбе Рахмы, — она была старше его, и ей скоро исполнялось шестнадцать. Их повозку до тропы, ведущей к Ишимбаю, провожало несколько человек. Зеленоглазый смотрел, как с этой тропы им машет рукой мать Рахмы, и, наверное, в последний раз вспомнил свою встречу с Незнакомцем на этом самом месте.

Потом он перестал быть Зеленоглазым — там, куда он вернулся, зеленые глаза не были такой редкостью, как в Долине, и ему подыскали иные клички. Да и глаза его посерели со временем… Судьба даровала ему многие годы, не обделила любовью, но всякий раз ему хотелось снова ощутить тот сладкий дурман, чтобы убедиться, что все это было наяву: и непроглядная ночь, и юная девушка, пришедшая к нему, и песня, улетающая в Долину, и губы его невольно искали нежную шелковистую упругость и благоуханье Рахмы.

Искали и не находили. И не могли найти, ибо искал он не Рахму, а нежность своей навсегда улетевшей юности, Солнце,

проникающее в кровь, дрожание знойного воздуха над вечной Дорогой, синеву высокого неба, снежные шапки гор и ветер из цветущих садов.

Ветер благоуханный.

Подлинная история доктора Кранца

Моя первая и единственная встреча с доктором Кранцем относится к легендарному времени, обозначенному в нашей памяти двумя словами: «до войны». Именно за год до войны мы всей семьей — я с матерью и отцом, их сейчас уже нет на свете, по пути в Одессу заехали в город Н. навестить родственников. И там среди ночи мне стало плохо, да так, что родителям показалось, что они меня теряют. Меня лихорадило, температура достигла сорока и продолжала расти. Я бредил.

Перепуганные родственники сказали, что помочь может только доктор Кранц, живший, слава Богу, в ста метрах от них. Часы показывали два часа ночи, и на вопрос отца: «Удобно ли?» последовал южный ответный вопрос:

— Всему городу удобно, а вам нет?

И вот я завернут в одеяло, отец бежит со мной на руках по ночной улице, мать следом, а здешний наш родственник впереди — показывает путь.

Дверь в квартиру доктора Кранца не запиралась на ночь. К ней был приделан звонкий колокольчик, дававший знать хозяевам, что кто-то вошел. Зажегся свет в передней и появилась пожилая женщина в халате.

— Прошу в кабинет, — сказала она и пошла по коридору, остальные — за ней. У двери в кабинет она пропустила лишь отца со мной на руках, а мать и родственника попросили подождать в передней, где оказалось достаточно стульев.

Через пятьшесть минут в кабинет открылась другая дверь, и вошел невысокий полный лысый человек с добрым круглым лицом, на котором, казалось, толькотолько была или вот-вот появится веселая улыбка. Отец потом рассказывал, что более всего его поразило то, что доктор был очень тщательно одет — изпод белого халата видна была ослепительно белая рубашка, жилет и отнюдь не пижамные брюки.

Несколько точных движений: рука на лоб, градусник под мышку, пульс, поднятие век, подготовка шприца, почти нечувствительный укол, порошок, — и я почувствовал, что засыпаю.

Детская память мне сохранила утро в кабинете доктора Кранца, солнечный свет на золоченых корешках книг за стеклом,

причудливые и непонятные готические надписи, мать и отца, дремлющих в креслах у дивана, а на диване — я на хрустящей простыне, укрытый тем самым одеялом, в котором путешествовал по ночным улицам города Н.

Старинные часы пробили девять раз. Раскрылась дверь и вошел доктор Кранц, а за ним вчерашняя дама с чаем и бутербродами на подносе.

— Мальчику оказалось слишком много нашего солнца, — говорил доктор Кранц, осматривая и ощупывая меня. — Сейчас легкий завтрак, и домой у папы на руках, вечером небольшая прогулка, а завтра утром на лиман — с восьми до девяти и не больше.

Помню, как мой отец и доктор Кранц отошли к окну, и там произошла какаято заминка.

— Нет, нет, нет, — сказал доктор Кранц. — Ну-с, мне пора на службу, до свидания!

Отец кивнул головой, расстроенный и покрасневший.

* * *

Налетевшая через год война расплескала нашу большую семью по свету, унесла отца в неопределенное «без вести», порвала державшиеся на нем родственные связи, и я долгие годы не бывал ни в Одессе, ни в южном городе Н. Время шло, и пятнадцать лет спустя я оказался у дверей родильного отделения одной из больниц нашего города, ожидая, когда мне вынесут моего собственного сына, и завел обычный в таких случаях беспредметный разговор. Дежурившая в приемном покое пожилая женщина в ответ на какое-то мое замечание сказала, что она всю жизнь работала в городе Н. и к нашим порядкам никак не может привыкнуть.

Я немедленно рассказал свои н-ские воспоминания о докторе Кранце. Старушка разволновалась до предела. Оказалось, что с доктором она проработала десять предвоенных лет.

— Какой это был человек! Какой это был человек! — повторяла она, вытирая глаза казенным полотенцем.

Немного успокоившись, она спросила:

— Вы, наверное, знаете, как ужасно он погиб?!

Я не знал. Не знал, что он погиб. Не знал и того, что, несмотря на свою истинно арийскую фамилию, доктор Кранц был евреем. В начале войны ему предлагали, его упрашивали уехать из Н. Он решительно отказывался, потому что видел: большинству его пациентов суждено остаться в городе, слишком

уж быстро разворачивались события, а мог ли врач покинуть своих пациентов? И что греха таить, многое из того, что говорилось тогда о немцах, ему казалось преувеличением; он, как любили говорить до войны, еще в «мирное» время закончил университет в Германии, где никогда не чувствовал себя чужим, отлично владел высоким немецким и сносно болтал на швабском и берлинском диалектах. И сейчас он, как и в годы своей юности, читал Гете и Шиллера в подлиннике, слушал Бетховена и Вагнера, незаметно утирая слезы восторга, и в его мир не долетали истерические завывания бесноватого и его подручных. Он не мог поверить в перерождение народа и считал, что речь идет лишь о форме власти. И доктор Кранц, переживший на своем веку четыре или пять смен властей в городе Н., не мог поверить, что наступит время, когда детский врач здесь будет не нужен.

Но время это пришло. На западе еще гремела канонада — это не сдавалась Одесса, когда немцы захватили Н. Все, что было придумано человекоподобными существами, ворвавшимися в город, имело «научную», конечно, с их ублюдочной точки зрения, основу, и, следовательно, их практическим действиям предшествовал лабораторный период. Одним, ставшим впоследствии широко известным, педагогическим «опытом» энтузиастов и созидателей тысячелетнего рейха было воспитание каждым школьником своего любимого кролика с полной отдачей этому милому и беззащитному существу всей своей традиционно сентиментальной части немецкой души. Той самой, что заставляла пузатых бюргеров, отставив кружки с пивом, петь нежными голосами песню о Лорелее, когда их прогулочный пароходик из Обервезеля огибал скалу, вздымавшуюся из рейнских вод и своим эхом многократно повторявшую волшебный напев. Потом подросшего и ставшего родным кролика каждый «воспитатель» должен был собственноручно прикончить и, тем самым, выдержать экзамен на «сверхчеловека», конечно, пока в какой-то весьма малой степени, — говоря по-русски, мелкого подонка.

Теперь, когда под рукой у этих подонков оказались не кролики, а беззащитные жители, эксперимент можно было перенести на улицы захваченных городов, и вот в городе Н. на роль такого всеми любимого кролика более всего подходил, конечно, доктор Кранц, не имевший в здешних краях ни одного недоброжелателя. И поэтому местный фюрер посчитал, что ликвидация доктора Кранца должна носить не обычный деловой, а воспитательный характер. Все, кто имел несчастье остаться в городе Н., должны были стать соучастниками убийства любимого доктора, и тогда, возможно, кое-кто из тех, в ком дремлет

тевтонское начало, станут опорой рейха в колонизации этих тучных земель.

Правда, следует отметить, что фольксдойче Иван Иванович, он же Иоганн Шрейбер, ставший теперь Шрайбером, — переводчик и специалист по местным делам при здешнем фюрере, лечивший своих детей только у Кранца, зная популярность доктора, старался отговорить своего начальника от этой затеи и советовал не выделять его из группы уже отобранных для *тихого* и *спокойного* расстрела в каком-то овраге. Это были взятые по доносу активистов евреи, цыгане, душевно-больные и пациенты кожной клиники-колонии, которым не было места в гитлеровском раю. Но Шрайбер еще не постиг всей душой железной логики нового порядка и потому потерпел неудачу.

Такой я мог себе представить по рассказу старой нянечки ситуацию в городе Н., возникшую там через год после моей встречи с доктором Кранцем.

Дальше, по ее же словам, события развивались следующим образом. Перед домом доктора Кранца, где тихая улица, как бы предчувствуя свое будущее, в далекие времена образовала небольшую площадь, были согнаны подвернувшиеся под руку жители города Н. Их сплоченность поддерживалась эсэсовцами с автоматами в руках и овчарками, рвущимися с поводков к толпе. Фюрер с балкона второго этажа обратился к народу устами Шрайбера и объявил, что сейчас здесь будут повешены особо опасные враги рейха — доктор Кранц и его жена, которые злонамеренно подрывали основы арийской морали. Какими-либо объяснениями по поводу преступлений Кранцев фюрер по праву сильного себя не затруднил, но от лица Великой Германии выразил надежду, что ее искренние друзья в городе Н. раскусили эту иудейскую хитрость и *своими* руками уничтожат преступников. Добровольцев просят подойти к дому Кранца.

К раме одного из соседних окон были прибиты два кронштейна с перекладиной, с которой свисали две петли. В толпе царило молчание, прерываемое только всхлипываниями, рычаньем овчарок и окриками эсэсовцев.

— Ну что ж, подождем, — сказал Шрайбер от имени фюрера.

Августовское солнце жгло немилосердно. Плач детей усиливался.

— Ну, ну, — погонял Шрайбер, — не бойтесь, ваши комиссары уже на том свете!

Фюрер снял фуражку, вытер пот и что-то сказал Шрайберу.

— Комендант дает вам еще десять минут на размышление, а потом… — и Шрайбер вынул карманные часы, щелкнув крышкой.

Когда этот срок почти истек, толпа вдруг расступилась, и по

образовавшемуся в ней коридору к дому Кранца решительно направился придурковатый санитар Коля.

— Где ж это видано, чтобы христианский народ из-за каких-то жидов погибал, — довольно громко бурчал он.

Люди шарахались от него, как от прокаженного. Матери укрывали детей, чтобы их не коснулся его взгляд.

— Вернись, дурак! — крикнул кто-то в толпе, но этот голос захлестнула автоматная очередь, и пули просвистели над головами.

Коля скрылся в доме, и некоторое время спустя его могучие руки вытолкнули из окна сначала доктора Кранца, а потом его жену.

Оба тела тихо покачивались в редкой тени акаций, куда-то вдруг исчезли овчарки и эсэсовцы, люди молча расходились, понурив головы, и в наступившей тишине, как отдаленный салют, зазвучала артиллерийская канонада под Одессой.

Заканчивая свою повесть, старушка сказала:

— Одна у меня надежда, что вешали их уже мертвых. Слишком уж спокойно они висели. Я-то еще в Гражданскую насмотрелась повешенных. Сердце, видно, у бедненьких не выдержало!

* * *

Последние лет десять я время от времени сажусь в поезд, идущий из моих родных мест в сторону города Н. Утром я выхожу из этого поезда и шагаю к одноэтажному станционному зданию с выложенной торцами кирпичей на фронтоне цифрой «1910», а мой поезд — временное мое пристанище — продолжает путь к своим пределам. Совершаю я эти путешествия не по собственной воле, а с подорожной по казенной надобности, и пользуюсь этим поездом по той причине, что уходит он довольно поздно, даря мне возможность провести день отъезда и даже часть вечера в кругу семьи, а приходит к месту моего назначения довольно рано, открывая передо мной приятную перспективу справиться за один длинный день со всеми делами и поздно вечером, пообедав в ресторане, сесть в поезд, идущий к моему дому из Одессы. Иногда это мне удается.

Кроме того, я просто люблю поезд, идущий в Н. Он пересекает всю Украину с северовостока на югозапад, часто следуя по единственной колее между стройными рядами красивых чистеньких хат, утопающих в садах, а вечерние перроны весной и летом, когда темнеет поздно, заполнены гуляющей

молодежью, и возникает впечатление, что это не поезд, а трамвай, и движется он по бесконечной улице на окраине большого города. Я давно заметил, что очень мало странников следуют из наших мест в город Н. Большинство заходит и выходит в пути, ибо слишком медленен этот поезд, и тот, кто спешит — а сейчас почемуто все спешат — летит самолетом. Благодаря такому непостоянному составу собеседников больше узнаешь о различных житейских ситуациях, страшных болезнях, чудесных исцелениях и жутких происшествиях, входишь в курс цен на молоко, картошку и яйца по пути следования поезда и, таким образом, приобретаешь массу полезных знаний.

Если же случайно моим спутником оказывается коренной житель Н., я стараюсь вывести его на разговор о докторе Кранце, надеясь еще раз и, может быть, в ином свете и с иными подробностями услышать его историю, в которой для меня оставалось еще много неясного, но, как говорят в детективных фильмах, все опрошенные подтверждали рассказ старушкинянечки.

И лишь совсем недавно мне повезло. Когда я по своему обыкновению вошел в вагон за несколько минут до отправления, мое купе было набито людьми, и среди них я узнал двух известных в нашем городе актеров.

Я был расстроен столь шумным соседством и стал присматривать себе в вагоне более тихий закоулок, но вскоре вся эта компания оказалась за окном, и, когда поезд тронулся, я застал в своем купе лишь одну молодящуюся даму, взволнованную теплыми проводами.

Мой большой опыт железнодорожного общения позволил мне довольно быстро установить, что моя попутчица — театральная деятельница из города Н., и вскоре за обязательным чаем в мягком полумраке вагона я уже осторожно подводил разговор к судьбе доктора Кранца.

— Вы знали его? — воскликнула моя спутница. — Это был мой врач, любимый доктор моего детства. Его так любили в моей семье. Дед, отец, мать, покуда были живы, часто вспоминали его!

Потом от общеизвестных достоинств доктора Кранца мы перешли к его трагической гибели. Я рассказал все, что знал.

— Все правильно! — подтвердила она. — И мне остается только объяснить, почему они, как это верно заметила ваша старушка, *спокойно* висели. Мой дед, некогда тоже известный в Н. врач, к началу войны давно уже был на покое, но считался признанным патриархом всей местной медицины и всегда был в курсе всех новостей. Он знал о расстрелах, знал и о готовящейся «воспитательной» акции с участием Кранца и его жены и хорошо

представлял себе все ее возможные последствия. Он кинулся доставать яд. Произошла какаято заминка, и, когда яд был у него в руках, немцы уже согнали народ к дому Кранца. Тогда он позвал санитара Колю…

Через год-полтора, когда стало ясно, что плановые сроки существования третьего рейха были сильно преувеличены, от самого фольксдойче Шрайбера, готовившегося отбыть на Запад к внезапно отыскавшимся в Гамбурге родственникам, стали известны остальные подробности. Когда Колядурачок подошел к дому Кранцев, комендант сделал знак, чтобы Шрайбер провел его внутрь. Кранц с женой сидели в креслах спиной к двери у окна, за которым покачивались петли.

— Это ты, Гани, — сказал доктор по-немецки, — теперь ты видишь, что не с теми связался. Это не немцы. Настоящие немцы сейчас еще лежат в колыбели… Придумай же что-нибудь, Гани, чтобы все это для нас побыстрее кончилось…

Полуобернувшись, Кранц заметил Колю.

— Здравствуй, Коля! — ласково сказал он.

— Драстуйте, Давыд Исаич, — ответил Коля и, потоптавшись, протянул руку и разжал кулак, — вот Степаныч прислали…

— Спасибо тебе и Степанычу. Саеле, мы спасены, — и Кранц протянул одну из ампул жене.

Шрайбер отвернулся.

— Ich sterbe… — услышал он последние слова Кранца, прошелестевшие, словно вздох облегчения.

— Давай! — прикрикнул он на Колю, и тот послушно вывесил за окно мертвые тела.

* * *

— Единственное, что меня утешает в этом горе, это то, что живым он им не достался, — закончила свой рассказ моя спутница.

Я поинтересовался судьбами людей, причастных к этим событиям. Оказалось, что Колю нашли на следующее утро мертвым недалеко от дома Кранца. То ли его прибил сгоряча кто-нибудь из пациентов доктора, то ли Шрайбер боялся, что со слов дурачка станет известно о его непростительной слабости.

В году примерно сорок восьмом теща Шрайбера (он был женат на русской) получила письмо из НьюЙорка от дочери. Шрайбер боялся, что его достанут и в Гамбурге, и переселился за океан. Понимая, что вицегубернатора Новороссии из него уже не получится, он вернулся к своей старой довоенной профессии

электромонтера, руки же у него по части всякой электрики действительно были золотые. Людей, знавших доктора Кранца и помнящих о нем, становится все меньше и меньше. Таков, увы, закон жизни.

Моя спутница стала укладываться спать, а я вышел в коридор и закурил сигарету. Из ночной тьмы за окном свет поезда выхватывал цветущие деревья. Бушевала весна, такая же неопалимая, бессмертная, как и тогда, в последний год доктора Кранца. Я думал о жизни и смерти, раскрывшихся мне теперь во всем величии Истины, думал о том, что фронт великой битвы с бесноватым проходил не только по этой вечной земле, но и в сердце каждого живущего на ней человека, и что в этой битве за человеческие сердца тогда в городе Н. Адольф, которому победа казалась уже близкой, потерпел сокрушительное поражение от беспомощных женщин и детей, от старого и мудрого врача Степаныча, от самого доктора Кранца и его жены, от санитара Коли и даже от фольксдойче Шрайбера, сохранившего остатки человечности, и что это неизбежное его поражение в битве за человеческие души было верным признаком неизбежности его конца.

Впрочем, конца ли? Ведь именно эта битва продолжается и поныне.

Кум-пожарник

Петербург! я еще не хочу умирать…

О. Мандельштам

Сейчас уже трудно представить себе Одессу «мирного» времени — маленькую точку на карте земного шара, причастную к звонкой и неупорядоченной жизни мирового океана. Сердце города — порт — расцветал всеми флагами Земли. Любой — почти безо всяких формальностей, но, конечно, при наличии денег, — мог стать пассажиром, а при их отсутствии, если позволяло здоровье, — матросом на отбывающем корабле, и тогда для него прямо здесь начинались неведомые страны, ураганы, тропические ливни, коралловые рифы и безлюдные ослепительные океанские пляжи, окаймленные буйной зеленью подступающих джунглей. Немного воображения — и все это можно было разглядеть в мутной морской воде у одесских причалов. Человек становился пленником Моря. Так случилось с юным поляком Юзефом Коженевским, так случилось со многими

моряками, не сумевшими поведать миру о своих странствиях, подобно капитану Джозефу Конраду. Эти немые капитаны, всеми позабытые давно, тихо доживали свой век тут же в Одессе, в меблированных комнатах, либо в своих домишках на окраине большого города — кому как улыбнулось счастье.

Над портом, над заливом, над сизым дымком от заводов и заводишек Пересыпи, опоясанная Старопортофранковской улицей, царила иная Одесса — до нее не долетали шум матросских драк из портовых кабачков и скрежет металла с Пересыпи, и людям, чьим трудом жил и богател этот город, было здесь как-то неуютно под тяжелым взглядом городовых. Порядок этот казался незыблемым и вечным, как и античная красота зданий, окружающих памятники Екатерине Великой, светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову, герцогу Арману Эммануэлю дю Плесси де Ришелье.

Вечным казалось и кафе Фанкони, расположенное двумя кварталами выше Дюка по Екатерининской, — оно присутствовало даже в городском фольклоре:

Я живу теперь не при фасоне,
И семья моя совсем бедна,
И не пью я кофе у Фанкони,
И не пью я чай у Робина.

Впрочем этот печальный куплет исполнялся в веселом ритме, что, повидимому, должно было подчеркнуть временный характер воспеваемых неудач. Компаниям же золотой молодежи, собиравшимся в кафе Фанкони, даже временная бедность представлялась каким-то фантастическим состоянием, а, между тем, призрак ее уже нависал над их столиками. Кто, например, мог тогда предположить, что не пройдет и пятишести лет, тоже весьма несладких, как блестящему Сереженьке Вальтуху, сыну заводчика, пригодится его умение лихо водить собственный лимузин, чтобы стать шофером такси в Париже? Но это будет потом, потом, а пока — кутеж продолжался.

Временами то в одной, то в другой компании возникал стройный молодой человек с моноклем. Его выделяла нездешняя бледность лица, чистая русская речь без южной окраски. Это был Лека Филатьев, сын преуспевающего доктора медицины, владельца одной из известнейших в новороссийском крае клиник. Первые годы своей жизни Лека провел как подобает сыну богатого одессита: вилла на Двенадцатой станции, прохладная городская квартира за толстыми стенами из ракушечника, шелест акаций за окном, созерцание портовой суматохи с бульвара,

итальянские знаменитости в одесской Опере, заграничные поездки. Все это Лека переносил с достоинством и чуть ли не с полным безразличием, хоть и перевидел немало великих городов. И только для одного он сделал исключение: однажды папаша взял Леку с собой в Петербург, — и этот город полонил его юное сердце.

Было прохладное майское утро, когда они прибыли в столицу. Дворцовая площадь и набережные, мосты, каналы и стрелка Васильевского острова были безлюдны, в низком утреннем солнце тревожно блестела позолота шпилей и крестов, в темно-синем небе, отражаясь в еще более густой синеве невской воды, быстро плыли светлые облака.

Это зрелище в один миг убедило Леку в абсолютной бесполезности его одесского существования, затмило все его робкие мечты о странствиях, о карьере капитана дальнего плавания. Петербург воцарился в его душе навсегда. Через год, когда Ришельевская гимназия была закончена, он беспощадно разбил мечты отца, планировавшего дать сыну медицинское и обязательно немецкое образование, ценившееся в Одессе превыше всего. Лека выбрал Петербургский университет и поступил на совершенно бесполезный с одесской точки зрения историкофилологический факультет. В кругу своих одесских сверстников он получил прозвище «петербуржец» и носил его с гордостью, как высочайший титул, всеми силами стараясь соответствовать ему и внешне, и внутренне.

Могучим здоровьем Лека не отличался, и начавшаяся война не разлучила его с Петербургом. Он надел полувоенную форму и совмещал университетские лекции с работой в каких-то патриотических заведениях и комиссиях. Как положено либералу и к тому же филологу, он встретил падение императорской власти с восторгом, а октябрьский переворот с полным непониманием, но все эти перемены не касались главного: Петербург, его Петербург (имени «Петроград» он так и не освоил) оставался Петербургом.

Жизнь становилась труднее. Прервалась связь с Одессой, а когда страна собралась воедино, выяснилось, что престарелый отец уже не сможет содержать его, как прежде. Символом перемен для приехавшего в Одессу Леки стала статуя матушки-императрицы на Екатерининской, закутанная в тряпье со звездой, венчающей это пугало. Большинство одесских друзей оказались в эмиграции, а иные стали скромными служащими, пытаясь найти себе место в круто изменившемся быте.

Вернувшись на север и походив на биржу труда, Лека убедился, что в том, чему его учили в университете, большой

потребности у народа пока еще не появилось. Правда, ему предоставили возможность участвовать в ликвидации неграмотности, но работа с великовозрастными учениками, ласково называвшими его «наш буржуй» и мило издевавшимися над его моноклем, Леку тяготила, и поэтому, когда он узнал, что его Петербургу требуются пожарные, Лека без сожаления оставил свою педагогическую деятельность и поступил, как он говорил, в пожарную часть. К немаловажным преимуществам этой своей новой должности Лека относил обеспечение «производственной» одеждой и «спецпитанием». Первое обстоятельство позволяло ему надолго сохранить остатки своего прежнего гардероба, а второе — не считать каждую копейку и давало возможность время от времени бывать в Одессе, иногда даже путешествуя первым или вторым классом.

Весть о поступлении Леки в пожарники распространялась медленно, но верно, и со временем достигла остатков одесского высшего света в самой Одессе, в Константинополе, Белграде, Париже. Более всего были шокированы те его одесские знакомые, которые с южной предприимчивостью уже как-то сумели приспособиться к новой жизни. Впрочем, все это обсуждалось заглазно. Когда же Лека появлялся в Одессе, его принимали в лучших традициях местного бомонда — ласково и почтительно, ибо никто уже не удивлялся превратностям судеб. Так принимали его и в семье моего отца — в далекое, навсегда ушедшее «мирное» время Лека был его восприемником, и потому, разумеется, когда он сам этого не слышал, его называли здесь «кум-пожарник».

Конечно, отголоски всяческих сплетен достигали Лекиных ушей. Достигали, но мало трогали. Меньше всего, пожалуй, думал он о своей жизни во время дежурств. Тогда еще не было мелькающих огоньками пультов, и дежурили у телефона и на каланче. Лека старался выбрать каланчу, и если выпадал погожий день, тогда…

…там, среди разноцветных крыш, угадывались Дворцовая площадь и набережные, берега Фонтанки и Мойки, проспекты, мосты и канаты. В низком утреннем солнце тревожно сияла позолота, кое-где блестела темно-синяя Нева и над всем этим, совсем рядом, в густой синеве неба быстро плыли белые облака.

А после дежурства Лека с наслаждением вдыхал и впитывал в себя Петербург, медленно обходя *свои* улицы и набережные, отдыхая в Летнем саду. Иногда он устраивал себе праздник и заходил в один из бывших своих ресторанов. Там среди столиков еще бодро двигались официанты, знакомые ему по студенческим годам. Несмотря на скромность заказов и далеко не праздничную одежду, они по Лекиным изысканным манерам узнавали в нем

бывшего и обслуживали с почтением, сервировали его стол особенно тщательно, а величественные седовласые метрдотели следили за тем, чтобы за его столиком или даже по соседству не оказались шумные представители нового хамовитого барства.

Отец его умер перед самой войной. Лека выехал в Одессу, еще не зная, что эта его поездка будет последней. Последний раз он вошел в прохладный, давно не убиравшийся подъезд своего родного дома на Греческой, поднялся по заплеванным новыми жильцами ступеням, посидел в комнате отца, — постепенно уплотняя профессорскую квартиру, отцу и сестре оставили две маленькие комнаты окнами на улицу, — потрогал знакомые с детства корешки книг — остатки огромной библиотеки, «съеденной» в голодные годы. На похороны он опоздал и долго стоял у свежей могилы на Немецком кладбище, рядом с могилами деда и матери, затем нанес визиты вежливости немногим сохранившимся знакомым и, взяв на память фотографию молодых своих родителей на фоне их маленькой красивой яхты «Алексей», построенной в год его рождения, уехал домой. За сестру он был спокоен — скромная должность машинистки вполне удовлетворяла ее не менее скромные жизненные притязания, а на черный день у нее оставались кое-какие крохи из маминых драгоценностей, не снесенные в торгсин. Личная жизнь у нее, как и у Леки, не состоялась. Но Лека был неизмеримо богаче ее — у него был Петербург.

…Сорок первый начался для него неудачно. Из пожарной части его отчислили по возрасту. Пришлось определяться кудато в сторожа, а потом началась война. Для сильной аскетической Лекиной натуры бремя голода оказалось менее тяжким, чем для большинства его сограждан. Движения его стали еще более экономными, остатки живого тепла хорошо хранил толстый, мохнатый, но почемуто очень легкий кожух, выданный ему при поступлении в сторожа. Он медленно брел с Васильевского острова на работу и медленно возвращался обратно, иногда позволяя себе небольшой крюк в сторону «своего» Петербурга.

Однажды весной, когда голод был особенно невыносим, возвращаясь утром с дежурства, он присел у колонн на стрелке, и ему показалось, что он больше не встанет. И вдруг он увидел свою Дворцовую набережную, Зимний, мосты, крепость, увидел синеву неба и еще более темную синь Невы, расцвеченную белыми барашками от свежего ветра с Ладоги, и быстро плывущие низкие, ослепительно белые облака…

И ему до боли захотелось отложить свое прощание с Петербургом. Он собрал последние силы, заставил себя встать и пошел домой. И, может быть, именно в это майское утро, когда

Лека съел свой неприкосновенный запас из двух черных сухарей, его крестник — мой бедный отец — погибал далеко на юге, в харьковском «котле», вину за который так и не смогли поделить между собой дряхлые маршалы. «Котел», карта, номера армий и дивизий — то все для маршалов, а для моего отца и его товарищей — это серебряные берега и теплая спасительная мгла Донца, к которому они так и не смогли пробиться с высоких правобережных холмов.

О Русская земле! Уже за шеломянем еси!

Первые послевоенные годы для Леки тоже оказались трудными. Карточки отоваривались нерегулярно, а его мизерного заработка хватало на несколько дней. Вышел из строя весь его студенческий гардероб. Доходило до того, что он иной раз часами просиживал в столовых незаметно, как ему казалось, осваивая чужие объедки. В это время в жизни Леки появляются женщины. Недостаток мужчин, бесхитростное стремление «слабого» пола восстановить хотя бы подобие разрушенного гнезда и гордое, даже в нищете, достоинство Леки делали свое дело. Время от времени его пригревала на своей пожилой груди какаянибудь деятельница из сферы питания. Лека уступал, но предусмотрительно оставлял за собой комнатку в густонаселенном клоповнике на Васильевском острове. И всякий раз убеждался, что оставлял не зря: из него уже нельзя было вить гнезда. При первой же возможности он убегал в свой Петербург и, как выражались его ревнивые временные родственницы, «слонялся». Дамы не желали делить его старое сердце даже с каменным идолом.

* * *

В пятидесятом году один из чудом уцелевших и чудом процветавших знакомых из Лекиного одесского круга, прогуливаясь по Летнему саду, увидел и узнал его — Лека служил там дневным сторожем. Евгений Викторович — так звали этого бывшего южанина — был очарован Лекиной учтивостью и немеркнущей светскостью его манер. Расставшись с Лекой, он, по своей природной доброжелательности, не переставал думать о том, как хоть чем-нибудь ему помочь. Когда он во время другой своей прогулки встретил на Дворцовой набережной своего соседа Иосифа Абгаровича, его осенило: конечно, просторные залы Зимнего и есть то самое место, где Лека будет смотреться неотделимой частью утонченной дворцовой обстановки. Иосиф Абгарович не возражал, и восторженный отзыв Евгения

Викторовича, которого он искренне любил, так его заинтересовал, что он пожелал лично познакомиться с Лекой.

За Лекой послали меня. Я нашел его на скамейке неподалеку от памятника Крылову. Он читал толстый однотомник Тургенева, добрым оком поглядывая на резвящихся детей. Я представился и объяснил цель моего прихода. Лека предупредил какуюто старушку, сидевшую с французской книжкой с другой стороны памятника, и легкой для своих шестидесяти лет походкой зашагал со мной по набережной в сторону Эрмитажа. Лека был осведомлен о судьбе своего крестника, и я приготовился выслушать очередную порцию запоздалых соболезнований и сожалений, но Лека сказал иначе:

— *Прошлый* раз с вашим отцом, когда он приехал сюда в сороковом, мы облазили весь Петербург. Я уже выдохся, а он затянул меня на Исакий!

Говоря это, Лека успевал любоваться вечерней Невой и следить за тем, как я воспринимаю его речь.

Была в Лекиных словах какаято незаконченность, исключающая такие понятия, как смерть, исчезновение без вести, и мне стало тепло на душе: прошлый раз сюда приезжал отец, значит, и в будущем приезд его возможен. Тем временем Лека рассказывал мне историю каждого дома на нашем пути, многое я уже знал, но в рассказе Леки была любовь, а любовь обновляет даже банальность.

Мы поднялись с Лекой на второй этаж, и я ввел его в просторную квартиру Евгения Викторовича. В гостиной, кроме хозяина и его жены, был Иосиф Абгарович и еще какой-то гость. Евгений Викторович на правах старика приветствовал и представил Леку, не вставая. Он ответил общим поклоном, мгновенно и безошибочно выбрал такой свободный стул, что никто из сидящих не оказался у него за спиной, и непринужденно включился в беседу. Речь зашла о болезни академика Крачковского, о нем самом. Лека рассказал пару забавных студенческих историй времен своей молодости, связанных с Игнатием Юлиановичем, несколько смягчив грустный мотив, а затем искусно перевел беседу на востоковедов из Новороссийского университета, бывавших у его отца. Лекины замечания и характеристики были метки и остроумны, а те, о ком он говорил, были известны и Евгению Викторовичу, начинавшему свою учебу в Одессе, и Иосифу Абгаровичу — как коллеги старшего поколения.

Началось чаепитие. И здесь Лека оказался на высоте, фарфоровая чашечка, казалось, сама по себе парила в воздухе, а он только легко и изящно придерживал и направлял ее. Ложечка

в его чашке двигалась бесшумно. Трудно было вообще понять, когда он пил свой чай и ел печенье, — он говорил сам и так внимательно следил за беседой, что каждый говоривший чувствовал его взгляд. О деле не было сказано ни слова, но я понял, что все было решено, и Лека получит одно из кресел Зимнего дворца.

Год спустя я встретился с Евгением Викторовичем в Москве. На мой вопрос о Леке он махнул рукой. Оказалось, Лека не выдержал дворцовой духоты и застывшего открыточного вида за окном своего зала. Он принес извинения обоим своим «благодетелям» и вернулся в Летний сад.

* * *

Так случилось, что в следующий раз я попал в Летний сад через долгие двенадцать лет. На Металлическом заводе меня обещали принять после двух, и я не спеша побрел от «Ленинградской», где остановился, через Лекин Петербург. На Дворцовой набережной уже нельзя было встретить ни Евгения Викторовича, ни Иосифа Абгаровича — памятные доски с их именами расположились сейчас там по соседству. Временами мне казалось, что впереди маячит легкая и сухая фигура Леки: вот же он свернул к Зимней канавке! Но я знал, что это невозможно. Лека покинул свой Петербург, растворившись в нем навсегда.

В бессонницу, почувствовав, что время уже близко, он надел чистую белую рубашку, темный галстук и единственный костюм и, пошатываясь от слабости, прислушиваясь к последним ударам своего сердца, вышел на последнее свидание.

Он умер, присев на ступени, спускающиеся к темной невской воде, когда в низком и холодном петербургском солнце толькотолько засияла тяжелым блеском позолота шпилей. И последним, что он видел в синеве неба, были быстро плывущие к Финскому заливу белые облака.

Я зашел в Летний сад. Времени у меня было много, и я, сев на скамейку у памятника Крылову, достал из портфеля «Дым», купленный по дороге, и стал читать. Сорок лет мне понадобилось для того, чтобы понять, как это хорошо — сидеть в Летнем саду и читать Тургенева! А Леке, наверное, открылась эта истина в первые мгновения его пребывания в этом вечном городе.

Много веселых шуток и разного рода соболезнований пришлось мне в прежние годы услышать по поводу Леки, но где теперь пасут лунные стада те, кто смеялся над ним и жалел его? Только мне было дано узнать Лекину жизнь от начала и до конца

и оглянуться на нее через многие годы, значит, мне и судить. И я подумал: так ли уж зря прожил свою жизнь крестный моего отца — кум-пожарник? Пусть он не растил сыновей и, может быть, не садил деревья, но он сеял другое. Он не суетился и не помышлял о карьере. До глубокой старости он где-то служил обществу и делал то, что кто-нибудь все-таки должен был делать. Он любил этот город, пережил с ним все самые трудные времена и ни разу не изменил своей любви. И я уверен, что не я один вспоминаю его добрым словом, ибо ничего злого за ним не числилось. И даже когда имя его будет забыто, он останется жить в тех, кто с его помощью увидел поиному каждый изгиб петербургских набережных, каждый петербургский дом; и в тех, кто подметил, перенял и передал в будущее хотя бы частицу простых, естественных и в то же время изысканных Лекиных манер, чтобы нам не утратить это бесценное человеческое достояние.

Часть вторая
В земле Нод, или Зрелые годы Ли Кранца

И сделал Господь Каину знамение,
чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
И пошел Каин от лица Господня и поселился
в земле Нод, на восток от Едема.

Бытие, 4: 15,16

Если Всевышний с тобой, чего ты боишься?
А если Он не с тобой, на что ты можешь надеяться?

Хасан ал-Басри

У ал-Бистами спросили:
«Происходит ли что-либо от усилий раба?»
«Нет, — ответил ал-Бистами, а потом добавил:
— Но без усилий тоже ничего не происходит».

Абу Йазид ал-Бистами

Книга первая
Суета сует

Мы не создали небеса и земли и то,
что между ними, иначе как по истине
и на определенный срок.

Коран, сура 46 «Пески», стих 2

Не сбился с Пути ваш товарищ, не заблудился.
И говорит он не по пристрастию.

Коран, сура 53 «Звезда», стихи 2,3.

I

И наступили в жизни Ли годы такие, о каких он мечтал. Он не мог сказать, что Хранители его Судьбы полностью покинули его на все это время. Просто они оставались где-то в Едеме и оттуда следили за тем, как он управляется со своими делами в своем добровольном от них удалении в земле Нод. И они, как всегда, держали наготове набор своих любимых «случайностей», чтобы сразу же вмешаться в его жизнь, если это потребуется.

Первые несколько лет после получения диплома инженера Ли бродил по разным проектным институтам в поисках своего амплуа и ничего подходящего не находил. У него даже возникла идея стать «свободным художником» — брать расчетные работы в разных фирмах и ни от кого не зависеть, создав что-то вроде описанного Бёллем «бюро статических расчетов», но время подобных начинаний тогда еще не пришло, и его идея в советскую инженерную действительность тех лет просто не вписывалась. Сначала он года три отходил в старинный проектный институт, имевший свои объекты по всей империи, и на некоторых из них, для которых Ли уже кое-что сделал, ему очень хотелось побывать и посмотреть, как то, что он изображал

на бумаге, выглядит в действительности. Но этот институт был помешан на «качестве», и выезды для корректировки и сопровождения проектов в нем не предусматривались: считалось, что проект должен сам отвечать на все вопросы, а для предварительных осмотров и обследований здесь существовала специальная команда.

Однажды Ли все-таки удалось напроситься на обследование подкрановых путей в старом цехе старого завода «Гельферих Садэ» в Харькове. Когда он взбирался на тормозную площадку, его не предупредили, что кран под напряжением. Он схватился за троллеи. Ослабить удар тока, вероятно, было во власти Хранителей его Судьбы, и он лишь как-то на один миг ощутил весь внутренний объем своей черепной коробки, в которой метнулся твердый шар, глухо ударивший его в затылок, и оторвал руку от стального угольника. Первое, что он увидел, придя в себя, был пожилой сопровождающий, отставший на стремянке, хотя ему полагалось идти впереди. Сейчас он стоял на посадочной площадке с вытаращенными глазами. Преодолев охватившую его немоту, он прохрипел: «380 вольт! Ты мертв…». «Нет, я пока живой», — ответил Ли.

После этого случая он понял, что его нынешняя славная фирма ему не нужна, и стал подумывать о перемене места. Поскольку еще сильны были чары студенческих лет, Ли ничего не имел против дальнейшей учебы и попытался поступить в аспирантуру в один из центральных научно-исследовательских институтов. Поначалу все шло хорошо. За него пару добрых слов замолвил сам Иван Павлович Бардин, но когда он уже сдал экзамены, началась какая-то очередная хрущевско-социалистическая чехарда с «производственными стажами», и он «не прошел по конкурсу». Для ученой карьеры были отобраны один туповатый родственничек здешнего «большого ученого» и один полуграмотный мужичок из Сибири. Среди принимавших экзамены были, естественно, и неплохие специалисты. Один из них, ознакомившись с рукописным рефератом, представленным Ли, отчеркнул в нем два раздельчика и, будучи влиятельным членом редколлегии главного журнала империи по строительным расчетам, попросил Ли прислать ему лично две заметки с результатами анализа общепринятых расчетных методик, содержащегося в его реферате. Ли выполнил его просьбу, и через год получил два номера этого журнала с его заметками, представлявшими собой, как было сказано «от редакции», ценные и существенные поправки в теории расчета тонких плоских стальных обшивок и гибких нитей.

Лет через десять, когда Ли уже приобрел некоторую

известность в инженерных кругах империи, он как-то встретился с этим крестным отцом его первых публикаций, и тот, полагая, что делает Ли приятное, сообщил ему, что его поправки были использованы в расчетах, связанных с «определенными программами», и даже в обиходе одного из «закрытых» конструкторских бюро именуются «поправками Кранца».

После этих последних в его жизни «серьезных» экзаменов Ли несколько десятилетий, для своей надобности, следил за технической периодикой, и оказалось, что никто из принятых тогда в аспирантуру ни единой статьи так и не опубликовал. Империя уже начинала создавать лженауку, практикуя отрицательный отбор по анкетным данным, а не по способностям. Именно тогда стали закладываться негласные «новые принципы» советской науки, когда на нескольких работоспособных младших научных сотрудниках, которым обещали «помочь» с диссертацией, с квартирой и другими разновидностями чечевичной похлебки, воздвигался тысячный, а иногда и многотысячный «коллектив» руководителей работ, начальников лабораторий и отделов, ученых советов, парткомов, месткомов, академиков и членов-корреспондентов, и вся эта орава была занята имитацией бурной научной деятельности, «международными научными связями» и прочей псевдонаучной мишурой. Позднее, когда климат в стране несколько переменился и из каждого «крупного» научного института ушло по нескольку малозаметных и часто очень молодых сотрудников, на которых прежде все держалось, оставшаяся бездарь, получавшая за них чины, звания и заграничные поездки, подняла страшный шум о «гибели науки и интеллекта нации», хотя все то, о чем они кричали, погибло еще в те времена, когда «партия и правительство» запустили в действие тот самый механизм отрицательного отбора, о котором речь шла выше. Впрочем, Ли еще предстояло подойти к этим «государственным» вопросам с совершенно иной и весьма неожиданной стороны.

II

А тогда Ли не был разочарован результатами своей попытки стать «советским ученым», понимая, что если бы это требовалось ему по предначертанному сценарию его жизни, то он был бы в этой аспирантуре, несмотря на все идиотские «указания» «партии и правительства». Он с удовольствием провел экзаменационный месяц в Москве. Смотрел премьеры новых фильмов, часто работал в «Ленинской» библиотеке, закупал всякие съедобные и

несъедобные подарки для дома, для семьи, поскольку снабжение Москвы очень сильно отличалось от харьковского.

Москва покойных дядюшки Жени и тети Манечки продолжала «закрываться» для Ли. Ни одна из старых связей не восстановилась для него, и он, после нескольких попыток кому-то позвонить, бросил эти заботы и перестал жить прошлым. Оно, прошлое, тоже его не беспокоило. Лишь раз ворвалось оно в его московскую жизнь прочитанным им в вывешенной на уличном стенде «Литературной газете» извещением о смерти «переводчицы А. В. Кривцовой». После небольших раздумий, освещенных выплывшим из его памяти бледным ликом Александры Владимировны, он решил послать Ланну телеграмму с соболезнованиями. Но дня через два в новом номере появилось сообщение о смерти самого Евгения Львовича. Несколько лет спустя он узнал, что они по уговору ушли вместе из жизни и что уговор этот был вызван событиями, очень походившими на английский литературно-криминальный сюжет: был тут и наследник их большого по тем временам состояния, основанного на гонорарах за редактирование и переводы в тридцатитомнике Диккенса, был и традиционный «доктор», нечаянно сообщивший супругам об их смертельной и мучительной болезни, был и не подтвердившийся после их самоубийства «диагноз», окончательно подорвавший их душевные силы, истерзанные «литературно-критическими» доносами некоего Ивана Кашкина (здесь уже начинается советский криминальный сюжет), открытым текстом требовавшего в своих публикациях 1952 (!) года очистки русско-советского переводческого клана от известно какого мусора путем устранения (известно каким путем) Евгения Ланна. Все это выяснилось со временем и не сразу, а тогда он воспринял эту странную, на первый взгляд, ситуацию, как сигнал прекратить все попытки восстановить его исчезнувший мир, и еще, может быть, как последнюю весть из этого мира.

Вскоре после возвращения из Москвы Ли ушел из своего «старого» и «солидного» института, надоевшего ему постоянным культом этой старости и солидности, с длинными устными списками действительно выдающихся и известных инженеров, в разное время здесь работавших. Конечно из этого длинного списка Ли выделил не советских лауреатов, а одного из отцов теории железобетона профессора Якова Васильевича Столярова. Ли не знал его живым, но городские легенды сохранили несколько его ответов-экспромтов, очень нравившихся Ли. Один из них был связан с тем, что во время Гражданской войны профессор консультировал устройство укреплений у Перекопа белой армией и отсыпку валов. Секрета из этого он не делал, и

когда один студент спросил его, почему же его укрепления не задержали победоносную красно-махновскую армию, Столяров гордо ответил, что «его укрепления не были взяты или разрушены, а их обошли, за что несут ответственность генералы, а не инженеры».

Потом другой студент из 46 года (когда в институты вернулись уцелевшие на фронте гордые и идейные, вступившие в «партию» перед боем молодые солдаты) с высоты своей идеологической чистоты поинтересовался, как может убежденный монархист профессор Столяров, о чем он собственноручно писал в анкетах, воспитывать красных инженеров, Яков Васильевич ответил ему: «Вам, молодой человек, еще предстоит на собственном опыте узнать, что убеждения — это функция времени!»

Свою личную научно-техническую библиотеку Столяров завещал этому проектному институту, где его чтили во все времена и независимо от убеждений. Книги Столярова были размещены на нескольких полках, и Ли, всегда пользовавшийся любовью библиотекарей и библиотекарш, имел к ним прямой доступ. Он с удовольствием листал эти книги, восстанавливая по сохранившимся закладкам и пометкам на полях ход мыслей Столярова, и сам пытался пройти этими путями, радуясь своему вневременному общению с незаурядным человеком.

Часы, проведенные у полок Столярова, Ли чаще всего вспоминал, думая о нескольких своих молодых годах, отданных этой фирме, признавая, впрочем, что от ее специалистов он тоже многому научился. Специалисты были в буквальном смысле «отборными», и история создания этого уникального инженерного коллектива была такова: во время войны проектная контора обслуживала военные заводы, и большая часть ее старых сотрудников «бронировалась» от призыва в армию. Так был сохранен костяк организации. А когда в 50–52 годах началось повсеместное вышвыривание на улицу специалистов-евреев, эту фирму возглавлял директор из «выдвиженцев» — «старый большевик» Яковлев. Специалистом он не был, но отзывам «своих» экспертов доверял и подбирал уволенных отовсюду евреев. Когда его вызывали в «партийные» и иные «органы» на проработку, он притворялся дурачком и наивно возражал: «Но это же советские люди, и они имеют право на труд, а если выяснится, что кто-то из них враг, то его арестуют и будут судить!»

К началу 53-го художества Яковлева уже стали угрожать тем, кто был обязан «принимать меры», и однажды в его кабинете появился невзрачный человечек и застыл на пороге. Яковлев сначала ждал, сидя, что тот подойдет к столу. А тот не двигался.

Тогда Яковлев встал, но тот все равно продолжал торчать у двери. Немного постояв, Яковлев отодвинул свое кресло и стал обходить свой стол справа. Идя уже вдоль придвинутого торцом «совещательного» стола, Яковлев стал протягивать руку для рукопожатия и представляться: «Яковлев, директор…».

В это время его гость вдруг прыгнул с места и помчался по другую сторону совещательного стола к директорскому креслу, быстро взгромоздился на него, и, болтая ножками, поскольку оно для него оказалось высоковатым, закричал: «Нет! Это я директор!»

Отловленных Яковлевым на харьковских улицах специалистов-евреев Мышков, такая была фамилия у его преемника, пока не тронул. Собрав свой актив, или, как он выражался, «штаб», куда входили партком, местком и прочие «шмаркомы», а также несколько прежде очень тихих личностей, он сказал: «Ну, а эти, — и он нарисовал пальцем на собственной морде горбатый нос, — даже хорошо, что они все тут вместе, никто из них никуда не денется, когда за ними придут!»

Многозначительность этой фразы для «актива» не осталась незамеченной — стоял февраль 1953 года, и, казалось, даже сам Иосиф Виссарионович на портрете над Мышковым улыбнулся в свои пушистые усы.

Однако, как мы знаем из истории и из первой части этого романа, кто-то внес коррективы в ход событий, и те, о ком говорил «товарищ» Мышков, действительно никуда не ушли. Ушел сам Мышков, и на его место пришел уже не старый кавалерист из Первой конной, а известный в этой отрасли специалист-технолог, очень интеллигентный и очень порядочный красивый человек с красивым именем: Евгений Сергеевич.

Годы же краткого директорства Мышкова и последовавшие за ними были так насыщены внешними событиями: разоблачением культа личности Сталина, восстаниями в зоне советской оккупации Германии, в Венгрии, Новочеркасске, Караганде и Темиртау, отстранением от власти Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, всенародным осуждением Пастернака и неизвестного «массам» «Доктора Живаго», происками израильской военщины, строительством Асуанской плотины, появлением арабских героев Советского Союза, награжденных авансом за обещанное ими уничтожение Израиля и истребление евреев на ближневосточном пятачке, «днем арабизма», «не хлебом единым» и проч., и проч., и проч., что когда Ли появился в сих «солидных» стенах харьковского «небоскреба», именуемого Госпромом, вокруг фамилий и личностей Яковлева, Мышкова и других местных деятелей совсем

недавнего прошлого возникали и роились легенды и анекдоты. Так «старики» отдела, в коем оказался Ли, любили вспоминать, как директор Яковлев «лично» поручил им разработать «кумпол». Оказалось, что Яковлев, которому надоедало сидеть в кабинете за пустым столом, почти каждый день, если позволяла погода, шел на весьма продолжительную прогулку в Университетский сад. А в этом саду размещалась университетская обсерватория, находившаяся в распоряжении другого харьковского пламенного революционера — действительного члена Академии наук Украины Барабашова. Попытки его разглядеть, что творится на Марсе, сильно осложняла прохудившаяся кровля. Большевистский напор Барабашова местные власти не выдержали, и один из городских монтажных трестов получил «указание» реставрировать дырявую крышу. Чтобы оттянуть или даже попытаться избавиться от бесплатной работы, изнасилованный трест стал требовать у Барабашова проект, и однажды, отдыхая от очередного совещания в том же Университетском саду, академик встретил своего революционного соратника и поделился своими печалями по поводу отсутствия у него проекта купола. Как человек мудрый и осмотрительный, Яковлев, выслушав эти сетования, сразу ничего не обещал, но, вернувшись к себе, вызвал начальника соответствующего отдела и сказал ему, что Барабашову нужно сделать новый «кумпол». Задание было принято и выполнено с энтузиазмом. Всем очень хотелось, чтобы яковлевский термин попал и в штампы и надписи, но начальник, сам же подавший эту идею, впоследствии от нее отказался, и термин сохранился лишь в устных преданиях.

Другой популярный рассказ относился уже к мышковскому периоду. Как-то перед Мышковым «старые кадры» отстаивали двух своих коллег, приговоренных к понижению в должности. Интенсивность восхваления обиженных постоянно повышалась. Ходатаи были так увлечены описаниями их природных проектных дарований и заслуг перед «партией и правительством», что не заметили, как Мышков постепенно багровел и, наконец, неожиданно для них взорвался:

— Что вы мне мозги засираете?! «Проэктанты, проэктанты»! — передразнил он одного из них. — Да я за месяц любого зайца научу проектировать: дам ему карандаш в зубы, и станет он у меня лучшим «проэктантом».

— Ежели его бить, конечно, — уже успокаиваясь, добавил он, обнаруживая свое знакомство с поздней русской классикой.

От своих намеченных жертв он, тем не менее, отстал, а те по гроб жизни ласково именовались обученными зайцами.

III

Лишь одну достопримечательность этой почтенной проектной фирмы Ли удалось видеть, как говорят, живьем. Речь идет о Толе Завьялове. Вести об этом чуде в жизни Ли опережали явление стоящей за ним личности. Еще в последние школьные холодногорские годы с соседней, еще более дремучей, чем Холодная Гора, окраины — Лысой Горы, — окраины дружественной, шпана которой, в отличие от новоселовской, никогда не враждовала с Холодной горой, через вездесущих мальчишек постоянно доходили рассказы о баснословных похождениях Толи-дурачка, «сына профессора», время от времени настойчиво предлагавшего свою любовь подросткам.

Одно из таких приключений Ли знал во всех подробностях. Дело было посреди жаркого харьковского лета на городских окраинах, куда не доходил даже слабый отзвук героической борьбы с космополитами и сионистами и где никто не знал о том, что Михоэлс уже убит в результате одиннадцатого сталинского удара — уникальной боевой операции с участием в качестве давящего инструмента мощного «студебеккера», выпрошенного тем же Михоэлсом в Соединенных Штатах для сражающейся Красной Армии, — операции, разработанной лично «генералиссимусом» и «вождем народов», тряхнувшим на закате жизни своим практическим опытом бандита-экспроприатора и одновременно полицейского осведомителя-провокатора и наградившим своих соратников — исполнителей-убийц — «орденами Великой Отечественной войны I степени», подчеркивая тем самым судьбоносное для возглавляемой им российской национал-большевистской империи значение этого бессмертного подвига.

Но не только этого не знали на харьковских окраинах, — там не знали даже, кто такой Михоэлс и был ли он когда-нибудь вообще. Поэтому юные орлы, в чьем поле зрения находился Толя-дурачок, не отвлекаясь на громкие политические события в стране и мире, разработали и реализовали свою тончайшую операцию, не уступавшую по своему интеллектуальному уровню высшим практическим достижениям сталинского гения. Суть ее состояла в следующем: совет лысогорских «пионеров» решил поставить Толю в известность, что один из них, с особенно аппетитной попочкой, наконец решил испить чашу Толиной любви. Но, будучи стеснительным маминым мальчиком, он выставляет целый ряд обязательных условий. В частности, он боится, что кто-нибудь его увидит «в процессе», и потому предлагает, чтобы в малолюдном месте в тонком заборе было

высверлено отверстие необходимого диаметра, куда Толя просунет член, а его любовник, незаметно спустив трусы с вожделенной части тела, вроде бы просто прислонится к забору, и дело пойдет. Толя, естественно, согласился.

Когда дырка в заборе была готова, и приготовившийся к наслаждению Толя выполнил все условия, на его член была надета какая-то гигантская прищепка с мощной пружиной, предотвратившая отток крови и опадание возбужденного органа. Прищепка эта нашлась у кого-то из мальчишек в сарае, где она валялась со времен немецкой оккупации. Немцы же, вероятно, использовали такие изделия, развешивая для просушки орудийные чехлы.

Толя взвыл зверем, и на его счастье неподалеку проходила могучая бабушка Матрена Викторовна. Подойдя к забору, из-за которого торчала орущая физиономия, бабушка не сразу заметила член с прищепкой и стала допытываться у Толи, чего он визжит, прижавшись к забору с другой стороны. Он же криками и глазами пытался объяснить, что произошло. Наконец, для нее прояснились все детали этой необычной картины, и она, осенив себя и обжатый прищепкой Толин член крестными знамениями, освободила беднягу.

И вот теперь лысогорский «Толя-дурачок» предстал перед Ли в качестве коллеги — «проэктанта», как любили называть свою профессию сотрудники этой конторы. Легенды, окружавшие его образ в ее стенах, несколько не вязались с реноме уличного психа. Конечно, странностей было немало — от использования брючного кармана для салатов и винегрета до универсальной посуды в виде консервной банки из американских продовольственных солдатских пайков военного времени, в которую наливались и суп, и чай, и компот, и загружалось неопределенное «второе». Эта знаменитая банка сопровождала Толю и в редких командировках, в связи с чем в конторе бытовал такой рассказ: двое Толиных находчивых спутников-сослуживцев, чтобы он не смущал приличное вагонное общество, сказали ему, что билет для него достать не удалось, и он поэтому едет зайцем, а чтобы его не арестовали, ему придется залечь под нижней полкой (тогда багажных ящиков еще не было или в том вагоне их не оказалось). Толя спорить не стал и расположился под полкой, время от времени выдвигая оттуда свою банку для получения очередной порции еды.

Вблизи Ли увидел Толю уже тогда, когда ему пришлось согласовывать с ним в качестве представителя «смежной» специальности («смежника») какие-то чертежи. Разговаривая, Толя смотрел куда-то в сторону, и вообще, поймать и удержать

его взгляд более чем на мгновение было невозможно. Ли, однако, был поражен тем, что этот «избегающий» взгляд молниеносно проникал в сущность любого чертежа, отыскивая недостатки, после чего следовали краткие, почти без пояснений, рассчитанные на адекватный уровень понимания, грамотные, а иногда и единственно возможные рекомендации по улучшению проекта.

В дальнейшем их общение было крайне редким и за рамки «взаимных согласований» не выходило. Но однажды Ли, направляясь проведать Исану, отклонился от привычных прямых путей и заглянул по какому-то делу на Лысую гору. На подъеме он нагнал медленно передвигавшегося Толю (его знаменитый велосипед, вероятно, тогда ремонтировался, а не менее знаменитый горбатенький доисторический «москвич», работавший в основном на Толиной умственной энергии, был еще в проекте). Обгонять его было неудобно, и Ли пошел рядом, пытаясь разговорить своего случайного попутчика.

У своего дома Толя предложил Ли заглянуть в его апартаменты. В дальней ретроспективе сквозь полуразрушенную мебель, заполнявшую комнату, и при хорошем воображении можно было действительно увидеть интерьер и обстановку скромной провинциальной профессорской квартиры «серебряного века» с почтовым адресом, заканчивавшимся (после названия улицы) словами: «в собственном доме». Украшением же комнаты был небольшой темный кабинетный рояль с приоткрытой крышкой. Когда Ли подошел к этому почтенному инструменту, из-под крышки с испуганным криком вылетели две хохлатки и, опустившись на пол, помчались к открытой двери. За ними кинулся кот, но на пороге лениво потянулся и вернулся в комнату.

— Я тут им насесты устроил, — сказал Толя, показывая на рояль.

Потом он задумчиво провел рукой по клавишам, поперебирал их, и вдруг растревоженные его пальцами расстроенные струны запели «Серенаду» Шуберта, и эта Песнь Космоса заполнила весь объем неуютной комнаты, превратив деревянный лом, порванные обивки, искореженные тома старых книг, треснувшие вазы, знавшие лучшие времена, и прочие обломки былого в руины бытия, сохранившие отблеск почти бесследно исчезнувших Тщеславия, Нежности, Веры, Надежды, Любви… И тут Толя повернул свою чуть склоненную над роялем голову в сторону окна, где стоял Ли, и тот впервые увидел его неподвижные, неубегающие глаза — глаза Страдания. Ли почувствовал себя глядящим в бездну — бездну Печали, поселившейся в этих глазах

навсегда. «Невыразимая Печаль открыла два огромных глаза», — вспомнил Ли. И при этом у Ли возникло ясное ощущение того, что обращенный к нему взгляд Толи, смешного Толи-дурачка, на которого любой, даже десятилетний лысогорский мальчишка смотрел не иначе, как с чувством превосходства человека, видевшего мир «правильно» и «как надо», проникает через границу его, Ли, тайного мира. «Неужели он должен был стать одним из *нас*?» — подумал Ли. Как бы отвечая на эти его мысли, Толя, прислушиваясь к затихающему звуку космического Послания, переданного людям другим безумцем, тихо спросил:

— Ты все понял?

— Да! — кратко ответил Ли.

После этого случая их личные отношения опять опустились до уровня «взаимных согласований». Воспоминание же об их случайной встрече за гранью реального мира осталось в душе Ли навсегда, и на его ясность и свежесть не повлиял уход Ли из той солидной конторы, а трагическая гибель Толи под колесами невесть откуда взявшегося «студебеккера», раздавившего ему грудь и сердце, — катастрофа, о которой Ли узнал с большим опозданием, — вернула его к раздумьям об источнике Страдания и Печали, живших в каком-то безысходном мире за стенами, окнами и дверями комнаты с расстроенным роялем, где смеялся музыки голубоглазый хмель. Ли думал о том, что его ответ на вопрос, все ли он понял, был искренним и точным: он все понял, но долгое время не мог выразить в слове это неуловимое понимание. Потом Слово было найдено, и этим словом было «Тело»: созданный «по образу и подобию» таких, как Ли и Рахма, Толя, в отличие от них, был рабом тела, и это сделало его пасынком Хранителей их Судеб, пасынком, понимающим свою отверженность.

Много лет спустя Ли случайно встретил точное описание поставленного им Толе диагноза бесконечной пытки:

> Не изменилось ничто.
> Кроме течения рек,
> Кроме лесов, побережий, ледников и пустынь.
> Мечется в этих ландшафтах душа-одиночка,
> Теряется, возвращается, мается, исчезает.
> Неуловимая, сама для себя чужая,
> Вряд ли она уверена в собственном существованье,
> Тело же есть, есть, есть, есть,
> И некуда деться.

Это было потом, а тогда, вскоре после визита к Толе, ему

самому очередной раз предстояло испытать силу и жар соблазна, таившиеся во временном пристанище его души.

Итак, Ли покинул свою «солидную фирму». Когда его, спустя годы и годы, потом спрашивали, почему он это сделал — «там ведь такая школа!», он скромно отвечал: «Там было слишком много евреев!»

Все воспринимали это как шутку и весело смеялись, но Ли не шутил. Дело в том, что евреи вносили в любое дело дух соревновательности, жизнь превращалась в какой-то сплошной конкурс, все и всё они старались сделать быстрее и лучше и обязательно рассказать, как глубоко всё ими понято и как хитро все выполнено, а Ли этого не любил. Свои взаимоотношения с работой он считал глубоко интимными и хотел оставлять за собой право решать, что сделать раньше, что позже, и какой путь избрать, лишь бы был результат. Здесь же, из-за перенасыщенности старых стен яркими индивидуальностями, ни о какой такой самостоятельности он не мог и мечтать. И только поэтому он, с искренней благодарностью за школу и науку, покинул эту контору.

Вспоминая потом все эти свои ощущения, Ли приходил к выводу, что его взгляды и чувства мало чем, вероятно, отличались от взглядов и чувств покойного Садикова, считавшего евреев «слишком быстрыми», а все различие между их воззрениями состояло лишь в рецептах, как избежать воздействия этой раздражающей «быстроты»: Садиков считал, что евреев в науку нужно «не пущать», а Ли полагал, что у каждого, кому не нравится та или иная ситуация, всегда есть право и возможность от нее устраниться или не участвовать, как он сам и сделал. Такая вот мелочь.

IV

Другая контора, в которой Ли провел последние полтора года своего периода исканий, была полной противоположностью первой. Это, собственно говоря, было не проектное учреждение, а научно-исследовательской институт с не очень большим проектным отделом. Ничего нового этот отдел во времена Ли не проектировал, и его главной задачей было обслуживать мелкими конструкторскими разработками два-три старых-престарых завода, некогда отобранных «революционным пролетариатом» у фирмы «Сольвег».

Первоначальные проекты этих заводов в полном объеме не сохранились, и для каждой такой разработки нужно было

выезжать на тот или иной объект и зарисовывать все, как оно выглядело в действительности.

Эта деятельность оказалась Ли более по душе, и он с удовольствием время от времени выезжал в Донбасс. Правда, через несколько месяцев работы в этой тихой обители он почувствовал какое-то томление. Суть его он понял не сразу, но один мотив — ограниченность жизненного пространства — сразу зазвучал в его душе. Он приложил немало усилий, чтобы попытаться как-то раздвинуть свой горизонт, сделать хотя бы шаг в сторону от неизбежной для него оси «Харьков — Донбасс», и его хлопоты были вознаграждены: ему удалось доказать начальству, что очередная порученная ему работа задевает уже выполненный и недавно реализованный проект одного из одесских проектных институтов, и потому требуется согласование. Командировочных расходов в этой фирме никто не считал, и он был направлен в Одессу.

В эту поездку он взял с собой Нину: ему хотелось показать ей город своих предков. Стояла ранняя весна, и в Одессе она, естественно, ощущалась сильное, чем в Харькове. С вокзала по Пушкинской они приехали к городской думе, и Ли, оставив Нину с чемоданом любоваться морем с бульвара, зашел в первую попавшуюся гостиницу. Ею оказалась бывшая «Лондонская», или просто «Лондон». До «сезона» было еще далеко, номера в этой гостинице, предназначавшейся для иностранцев, были дорогими, и Ли устроился в ней, даже не применяя своих способов воздействия. Нина была в восторге.

— Тут как в «Ореанде»! — повторяла она, заглядывая во все закутки номера.

— Лучше, — сказал Ли и раздвинул тяжелые портьеры, а там за окном, за еще голыми, чуть-чуть зеленеющими деревьями бульвара сиял своей яркой синевой в лучах полуденного Солнца Одесский залив. — Видишь, а в «Ореанде» мы из окна любовались вершиной Ай-Петри! Что, впрочем, тоже неплохо.

И потекли их одесские дни.

Утром Ли на несколько часов уходил в проектную контору, расположенную неподалеку — почти на углу Дерибасовской и Екатерининской, а Нина отсыпалась от харьковский суеты, наслаждалась удобствами, которых у них в Харькове тогда еще не было, любовалась морем, и любование это могло у нее длиться часами.

Иногда она отваживалась на самостоятельные путешествия по центральной части города, приносившие ей массу впечатлений. У нее была острая бытовая память, сохранявшая все детали и интонации пережитого и подслушанного ненароком, но до их

поездки в Одессу Ли казалось, что с чувством юмора дела у нее обстоят значительно хуже, и он сильно опасался ее индивидуальных контактов с одесситами. Слушая ее рассказы о дневных похождениях, как всегда, очень подробные, Ли сразу понял, что ошибался. Нина весьма серьезно рассказывала, как в одну из своих вылазок она несколько далековато ушла от Соборной площади по Преображенской и, испугавшись, решила вернуться назад трамваем. Там она оказалась рядом с толстой бабулькой, возвращавшейся с Привоза. Кроме двух полных и тяжелых сумок, в ее руках был петух со связанными лапами, крайне недовольный тем, что его держали вниз головой. Пристроив сумки где-то у себя под ногами, петуха она положила Нине на колени, а когда тот похлопал крыльями, устраиваясь поудобнее уже в более терпимом для него горизонтальном направлении, ласково сказала птице:

— Лежи, лежи, мне тоже плохо!

Потом Нина слово в слово передала услышанный ею диалог креветочницы и покупателя на углу Херсонской:

— Мамочка, вы мине можете дать приличный рак!?

— Босяк, чем это тебе не приличный рак, — отвечала торговка, подняв рака за огромную клешню и размахивая им перед лицом парня.

— Ну тогда я уже возьму ра'чки, — решил тот.

— Бери, бери! У тебя, наверное, давно аппендицита не было, — обиделась за своего рака торговка, забыв в запале спора, что «ра'чки» — это тоже ее товар.

Когда Нина заканчивала свои рассказы, они уже входили к «Фанкони», чтобы перекусить, и попали на завершение беседы клиента, попросившего рюмку водки для поглощения стоя, «по-быстрому», и официантки, требовавшей, чтобы для этой процедуры тот присел за столик.

— Так что, мине уходить? — многозначительно спросил клиент.

Почувствовав в его голосе угрозу, официантка взорвалась:

— Иди, иди и унеси свою вонючую рожу. Мине на нее рвать хочется.

И сразу же после этих слов она с очаровательной улыбкой обернулась к Нине и Ли и с изысканной вежливостью провела их к свободному столику.

После кофепития «у Фанкони» они обычно продолжали свой путь по Екатерининской к Дерибасовской, и там начинались их бесконечные туры по центру Одессы с заходами и в магазины, и в музеи.

Поздно вечером, когда уже зажигались уличные фонари, они

возвращались в гостиницу. Ли всегда старался вернуться по Надеждинской через Сабанеев мостик, чтобы последний раз полюбоваться совершенством архитектурных линий. Потом они отдыхали, а после одиннадцати вечера спускались в гостиничный ресторан, слывший, как и в те времена, когда Одесса была населена Кранцами, лучшим в городе. Для входа с улицы он уже в это время был закрыт, но постояльцев еще пускали, и Ли с Ниной в полупустом зале ужинали всякой изысканной снедью, запивая ее болгарским «Рислингом» и слушая великолепный оркестр, игравший от скуки «для себя» и по заказам веселых подавальщиц, ужинавших тут же «за счет заведения» и набиравшихся сил перед летней страдой.

В один из таких вечеров за уютным ресторанным столиком Нина сказала:

— Ты знаешь, я мечтаю, когда мы состаримся, поселиться в Одессе и дожить здесь в этой красоте отведенные нам Богом дни.

У Ли дрогнуло сердце: свою мечту Нина высказала теми же словами, которые более тридцати лет назад, как рассказывала Исана, произнес Лео, когда они покидали Одессу и, как оказалось, навсегда. Как бы в ответ Нине Одесса решила показать им, что она не всегда бывает гостеприимной: утром, когда они проснулись довольно поздно, потому что Ли свои дела уже закончил, их поразил какой-то светло-кремовый туман за окном. И море, и небо потеряли свой естественный цвет, а диск Солнца неярко светился через этот странный туман. Оказалось, что в Одессу в результате «героического освоения целинных земель» пришла «пыльная буря», и до самого их отъезда все в городе непрерывно покрывалось серой пылью от поднятого ветром высоко в небо целинного чернозема.

Ну а в их последнюю ночь в Одессе, когда они, как всегда, поднялись в номер из ресторана во втором часу ночи и, наскоро выкупавшись, улеглись спать, раздался страшный крик: «Пожар!». Им пришлось одеться и наблюдать, как бравые брандмейстеры разворачивали шланги в гостиничных коридорах. Горел чердак как раз над ними, и номер третьего этажа выгорел, а в их номере на потолке появилось черное пятно и сильно запахло гарью. Администратор переселил их в удаленный от места пожара номер, показавшийся им не таким уютным. Все это затянулось часов до четырех утра, и они, отдохнув часа три и решив доспать в поезде, отправились доживать свой последний в этот приезд одесский день. Все эти неприятности, однако, не повлияли на неожиданно вспыхнувшую любовь Нины к Одессе, и она с радостью ждала встреч с этим городом, еще не раз появлявшимся в их жизни, и была верна своей мечте о нем до конца своих дней.

V

Через два-три месяца после их путешествия в Одессу Ли в разгар лета уехал на два дня в Славянск. Ему понравился этот небольшой, нешумный провинциальный городок, центр которого вместо трамвая пересекала внутригородская железная дорога, именуемая «веткой». Не зная, что Славянск с его окрестностями войдет в его жизнь на ближайшие лет десять-двенадцать, Ли с удовольствием осмотрел старинную курортную зону — соляные озера — и даже выкупался в одном из них, перемазавшись предварительно черной грязью, как до войны в Одессе на Куяльнике.

Однако в субботу, которую он считал последним днем своей командировки, собираясь вечером отбыть в Харьков, он узнал, что «согласовывающий» человек будет только в понедельник, и что ему придется провести здесь воскресенье, так как дорога туда и обратно заняла бы весь день.

В это время в заводской гостинице было еще трое человек из его института, приехавших на более продолжительные сроки, и, позавтракав, они все вместе отправились на базар. Там было скучно, но в базарном книжном магазинчике Ли купил томик Хлебникова в малой серии «Библиотеки поэта» и посчитал сверхзадачу этого ненужного дня исполненной. Но он ошибся: один из его коллег, увидев загружающийся тут же на базаре рейсовый автобус, предложил съездить в Святые Горы. По младости лет народ на решения был скор, и Ли решил составить им компанию, оставив Хлебникова себе на дорогу. Вскоре автобус уже ехал по харьковскому шоссе, а Ли, примостившись с Хлебниковым у окошка, посматривал за окно на желтые скошенные поля и перелески и повторял про себя дорогие ему строки:

В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.

Все, написанное председателем земного шара, пронизывала родная и близкая Ли идея единения народов, и вскоре он так увлекся открывшимся перед ним миром, что не заметил, как автобус углубился в довольно густой хвойный лесок и остановился недалеко от реки. А когда Ли, неохотно закрыв книжку, последним покинул автобус и вышел на берег Северского

Донца, у него перехватило дыхание от открывшейся перед ним красоты.

Мостки в это время чинили, и они, переправившись на другой берег на лодке, пошли на территорию монастыря, ставшего домом отдыха или санаторием. Все службы и сооружения были, естественно, переделаны, переоборудованы, а церковные помещения превращены, как это было принято в «советской стране», в какие-то склады. К счастью, меловая скала, изрезанная густой сетью монашеских ходов, не была оприходована народным хозяйством, и в штате санатория имелись люди, знавшие дорогу в этом лабиринте и за небольшую мзду игравшие роль экскурсоводов.

Ли довольно быстро разобрался в системе ходов, и когда их группа возвращалась на свет Божий, приотстал. Еще при осмотре его внимание привлек солнечный лучик, блеснувший, в конце одного из тупиковых тоннелей, и он сам прошел туда. Оказалось, что в торце этот ход расширялся, образуя своего рода келью. В одной из стен была узкая щель — это через нее проникал дневной свет и через нее же открывался совершенно волшебный вид на Успенский собор и другие монастырские здания, на поросшие кустарником меловые скалы, голубую полосу реки и пологий противоположный берег с большим золотым песчаным пляжем, окаймленным темно-зеленым лесом.

Ли надолго застыл у амбразуры. А потом присел на оставленный здесь отбитый кусок скалы, кем-то уже застеленный газеткой. Поскольку щель доходила почти до пола кельи, границы обзора у Ли почти не изменились, и он продолжал любоваться долиной Донца.

В созданной неведомым монахом келье было очень тихо — ни один внешний звук не проникал через амбразуру, — очень сухо и очень легко дышалось. Здесь хотелось посидеть и подумать. И Ли задумался так, что перестал замечать бег времени. Он проецировал свою жизнь с ее сегодняшними реалиями на десятилетия вперед. Все вроде бы получилось так, как он еще совсем недавно мечтал: самостоятельно делая одну работу за другой, ни с кем не соревнуясь и без всяких понуканий, в таком институте тихо и спокойно можно было доработать до пенсии или умереть, не дожив до нее, и никто бы не спохватился. Просто с какого-то момента эти работы и работки стал бы делать другой. «Но ты же этого хотел?» — спрашивал себя Ли и убеждался, что хотел он не совсем «этого». Во-первых, он хотел, чтобы его работа была более заметной и значительной, чтобы ареной его работы были не два старых заводика, а что-то, известное многим; во-вторых, он хотел, чтобы результаты его

работы были известны более широкому кругу людей, чем начальник проектного отдела в институте и мастер-ремонтник на заводе. «Может быть, ты хочешь славы?» — спрашивал себя Ли и, подумав, отвечал себе, что слово «слава» здесь не совсем подходит. Он хочет большей *значительности* своей работы, хочет делать то, что заслуживает внимания многих людей. И Ли нарисовал себе свою картину будущего, в которой не хватало лишь одной детали — названия фирмы, где это будущее стало бы настоящим. Получалось, что ему в качестве новой ступени его жизни и работы нужен был институт, имеющий прямое отношение к одной из главных отраслей промышленности, и чтобы в этом институте каждый делал свое дело. И чтобы он, Ли, к такому делу был лично причастен и пользовался авторитетом в пределах своих знаний, профессиональных навыков и своей подготовленности. Вероятно, Хранители его Судьбы были где-то рядом, потому что он сразу почувствовал, что его *заказ* принят, и когда спустился вниз, вышел из лабиринта и, переправившись на другой берег Донца, нашел там на пляже своих спутников, удивленных его долгим отсутствием, ощутил, что смотрит на них как на *бывших* сотрудников. И в дальнейшем он не раз ловил себя на мысли и чувстве отчуждения от своей нынешней работы, хотя о его переходе куда-либо еще и речи не было.

Ну, а то «ненужное» воскресенье завершилось походом на «Римские каникулы», и сердце Ли растаяло в Добре, щедро излучаемом несравненной Одри. Общение с нею придало этому бесконечному воскресенью черты Праздника, и по совокупности впечатлений Ли отнес его впоследствии к золотым дням своей жизни.

После возвращения в Харьков к нему вплотную подступили заботы об отпуске: они с Ниной решили познакомить своего трехлетнего сына с морем.

После недолгих раздумий они выбрали Сочи, так как по поступающим отовсюду сведениям там, во-первых, было сытнее, чем в Ялте, и, во-вторых, поезд привозил их прямо к морю и продолжать путь на каком-нибудь другом транспорте не требовалось.

Укладывались тщательно и долго, поскольку все было в первый раз, и выехали поздним поездом. В Туапсе он пришел почти в двенадцать дня, и весь путь вдоль берега Нина с сыном простояли в коридоре вагона, глядя в море, а Ли время от времени заходил в их «личное» двухместное купе и смотрел на пробегающие мимо скалы. Так он более подробно разглядел ранее не замеченное им Лазаревское и, как некогда в Новом Афоне, почувствовал в этом месте, в обступающих городок

холмах в глубокой речной долине, уходящей за крутые повороты, что-то *свое*, близкое и нужное ему, и подумал, что хорошо бы здесь когда-нибудь прожить неделю-другую.

VI

В Сочи после непродолжительных волнений из-за относительно позднего прибытия они все-таки неплохо устроились в двухэтажном доме чуть повыше ресторана с окном на долину Верещагинки и на старую часть города. Совсем рядом был Дендрарий, а за ним дорога на «дачу Т.», но Ли не хотел или боялся ходить старыми тропами, и когда они однажды сделали традиционную вылазку в Дендрарий, обступившая его духота сразу напомнила ему и без того памятный 47-й, и он, чтобы не усиливать эти воспоминания, поскорее увел своих на пляж.

А вот пляж казался новым: над ним возникла каменная набережная, желтый обрыв закрывала каменная стена, обновили и добавили новые волноломы и кое-где сделали волноловы, и волна, подобная той, что накрыла их с Аленой, могла бы здесь теперь возникнуть разве что при двенадцатибалльном шторме. И все же Ли посматривал вокруг: нет ли Алены, забывая, что искать ее надо не среди своих сверстниц, а среди солидных сорокалетних женщин.

И только в семье, где они поселились, две юные сестрички — 14-летняя Мила и 13-летняя Лара, своими светлыми головками и чуть-чуть загорелыми, как это обычно бывает у аборигенов, плечами напоминали ему Мильву, и он с некоторой тревогой думал о том, что их ждет в этом городе. Так получилось, что знакомство с этой семьей из случайного стало долгим-долгим, и он с горечью убедился, что его опасения были ненапрасны — полное женское счастье их обошло стороной. Да и то сказать: а кого оно не обходит?

Долгие курортные дни, да еще со служением сыну и не отпускающей его от себя ни на шаг Нине, были такими насыщенными, что Ли почти что и подумать не мог о своих «производственных» делах, и все же иногда он себя ловил на ощущениях какой-то новизны в его жизни, хотя еще не было даже и отдаленных признаков надвигающихся перемен.

Осень стояла теплая, и с приходом октября только ранние вечера приносили с собой холодок, напоминающий о неизбежном приходе сюда мокрой туманной зимы с непрерывными моросящими дождями. Ли уже исчерпал все возможные отпуска, прибавил дня два в счет обещания отработать в будущем, и все

равно день отъезда неумолимо приближался. И тут Нина решилась на ответственный шаг — остаться одной с сыном еще на две недели: любовь к морю и надежда на помощь новых друзей придали ей силы и смелость. Ли взял ей и сыну билеты в предварительной кассе, а сам уехал в Харьков.

Свое возвращение Ли подгадал к моменту переезда всей семьи во главе с тестем на новую квартиру, на одну из ближайших в те годы городских окраин, где сразу за их домом начинались поля с перелесками и глубокие овраги. Переезжали постепенно, делая одну ездку в день после работы, в ранних осенних сумерках, и первая рабочая неделя очень утомила Ли. Он решил совместить поездку на Холодную Гору к Исане с посещением тамошней бани, чтобы смыть с себя и морскую соль, и пыль переезда.

Баню эту он знал с первых послевоенных лет и располагался обычно в ней во втором мужском зале, где была парилка. В тот день, несмотря на пятницу, в бане было пустовато: Холодная Гора еще мылась в своих дворовых душевых водой, подогретой теплым осенним солнцем. Даже в третьем дальнем зале, где обычно резвились гомики, было всего два-три человека.

Наскоро сполоснувшись под душем, Ли зашел в парилку, где на разных полках лениво поглаживали себя вениками два человека. Ли забрался на самый верх с шайкой холодной воды, чтобы держать голову в прохладе, и немного разомлел в мокрой жаре.

Когда он спустился вниз и сел на каменную скамью, чтобы отдышаться и подумать, не принять ли еще одну порцию пара, в парилке остался один человек — молодой парень с длинными не по тогдашней моде волосами. Бросив на него внимательный взгляд, Ли был поражен каким-то женственным совершенством линий его тела, хотя все положенное было на своих местах. Это совершенство оттенял красивый загар, не испортивший матовый цвет лица, оживленного большими темными глазами.

— Давайте я сделаю вам массаж! — вдруг предложил парень.

Ли посмотрел на его нежные руки и, неожиданно для самого себя, согласился. И эти руки забегали по его спине, пощипывая, похлопывая, придавливая, останавливаясь на границе боли и удовольствия. От накопившейся за день усталости и от охватившей его истомы Ли как-то не заметил того момента, когда ласкавшие его руки начали в своем движении проникать ему под плечи, касаясь сосков, и под бедра. Но эти движения были так осторожны, что он решил не обращать внимания на такие мелкие шалости, хоть и знал, *что* они означают. Промолчал он и почувствовав, что его руки на долю секунды раздвинули ему

ягодицы. «Проверяет, целка ли я», — сонно подумал Ли и послушно выполнил отданную ему мелодичным голосом команду перевернуться на спину.

После этого нежные руки уже стали тормошить запретные места «на законном основании», и когда они ласкали грудь, он еще сдерживался, а когда они принялись за его ляжки, дал себе в своей сладкой дреме полную свободу. Через несколько минут Ли приоткрыл глаза и увидел копну темных волос, накрывавшую низ его живота. Первым порывом его пробуждения было отогнать от себя парня, но усталость и какие-то смутные сладкие воспоминания о полузабытых ласках нежных ротиков его былых подруг опять перешли в дрему.

— Ты жив? — вернул его к действительности тот же мелодичный, но уже с хозяйскими нотками голос.

Парень сидел возле него, положив руку ему на бедро.

— Ты думал, что я кончу и умру? — спросил Ли.

— Просто тут жарко очень.

— Ну, давай выйдем.

Они вышли из парилки в почти пустой зал. Идти в зал гомиков Ли отказался, сказав, что и здесь неплохо. После этого он не спеша «потер спинку» своему незваному другу.

— Встретимся? — спросил тот.

— Нет, — мягко ответил Ли.

— А почему же ты меня так ласкаешь? — спросил он, напрягаясь и расслабляясь в его руках.

— В благодарность за удовольствие, — ответил Ли, — и за Красоту, я ценю ее независимо от того, *кому* она принадлежит. Хотя я, лично, хотел бы, чтобы там у тебя было бы гладко и была бы маленькая щелочка. Сколько удовольствия нас с тобой тогда ожидало бы!

И Ли просунул ладонь под его бедро, которое тот в сладком ожидании приподнял, и прикоснулся к твердо-упругой плоти, как бы обтянутой тончайшим шелком.

— Удовольствий будет не меньше, это я тебе гарантирую! — сказал мелодичный голос, рвущийся от волнения, — оставь там руку еще на минутку!

Ли показалось, что не очень приятный тип, расположившийся за четыре-пять лавок от них в полутемной части зала и проглядевший все свои глаза в их сторону, в этот момент даже как-то застыл от напряжения. Ли, поймав взгляд обращенного к нему красивого лица, сделал едва заметное движение глазами в сторону того неосвещенного угла и готов был поклясться, что после того, как темные глаза проследили за направлением его взгляда, по этому лицу пробежало облачко отвращения и

беспокойства. Правда, и без этих дополнительных впечатлений никаких колебаний Ли не испытывал.

— Нет, — мягко, с легкой улыбкой сказал Ли, унося на пальцах ощущение идеально гладкого теплого шелка или бархата, каждый раз напоминавшее ему о себе, когда его зеленые глаза ласкали бессмертные строки:

О если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.

Чтобы уйти от волнений, порожденных прикосновением к Красоте, Ли решил приземлить свои чувства и на мгновенье раздвинул ему ягодицы. Ничего неожиданного он не увидел и спокойно задал вопрос:

— Так ты в этой игре — девушка?

— Для того, кого я люблю, я могу быть и девочкой, и мальчиком, и для тебя я буду тем, кем ты захочешь.

Когда они вышли из бани, Ли был погружен в свои мысли. Его беспокоило два вопроса: во-первых, что его приятеля кто-то водит на длинном поводке. Признаком наличия у него «хозяина» могло быть и то, что их довольно долгое время никто не беспокоил в парилке. Да и тип с дальней скамьи, не отрывавший от них взгляда, сразу же следом за ними потопал в раздевалку. Во-вторых, Ли был не прочь на всякий случай замести следы, чтобы они никого не привели по его адресам.

— Поцелуй меня! — прервал его размышления мелодичный голос.

«Что за чертовщина», — подумал Ли: на него глядело свежее девичье лицо с матовой кожей, соболиными бровями и темными глазами, блестевшими в свете уличных фонарей. И Ли наклонился, чтобы поцеловать красивые полураскрытые губы.

— Увидимся в следующую пятницу в то же время, а там — решим, как будем дальше, — в голосе и торжествующем смехе, долетавших из темноты, уже были не просьба и не надежда, а твердая уверенность или даже приказ.

— Хорошо, — ответил Ли и, взмахнув рукой, скрылся за углом улицы. Пройдя двумя проходными дворами, он вышел на Кладбищенскую и, убедившись, что за ним никто не идет, спустился к Кузенскому мосту, а там уже сел в трамвай, благодаря Хранителей своей Судьбы за дарованную ему, Ли, абсолютную власть над своим телом.

VII

После этого приключения, чтобы избежать продолжения ненужного знакомства, Ли уже до приезда Нины в баню не пошел, а вскоре их новый дом был «подключен» ко всем службам, и надобность в посещении такого рода заведений полностью отпала. И в ту пятницу, когда на Холодной Горе как своего любимого мужчину ждала его «девушка-мальчик», Ли потратил освободившееся время на прогулку по центру города, где прошли почти три года их с Ниной жизни, и встретил своего соученика по строительному институту.

Разговор зашел «за жизнь», и Ли в более или менее упрощенной форме описал, что он имеет, и чего бы ему хотелось.

— Ты знаешь, кажется, я могу тебя свести с человеком, который недавно говорил почти о том же, о чем говоришь ты!

Ли стал узнавать подробности, и выяснилось, что в некой весьма солидной конторе в августе этого года произошла совершенно нелепая авария «со смертельным исходом» на одном из объектов, и ее разбирательство показало начальству отдела, где был разработан проект, что в его наличном составе нет специалиста, способного разобраться в деле и уверенно действовать в сложной ситуации. И этот начальник, поведав как-то приятелю Ли о своих бедах, попросил его дать знать, если на горизонте появится толковый человек, ищущий работу.

Вскоре Ли был представлен, и начались переговоры о сроках и условиях его поступления. Начальника постоянно отвлекало расследование аварии, и эти обсуждения несколько затянулись. Кроме того, в тот момент начались очередные сложности со «штатами» в проектных конторах. На утруску, утряску и увольнение ушло почти полгода, и только в марте Ли вышел на свое новое рабочее место.

Нельзя сказать, что оно сразу понравилось Ли. Стиль работы здесь не был так четок, как в его первой конторе, а круг объектов был более однообразен. Даже само по себе оформление чертежей и расчетов было не столь изящным, как в других известных ему институтах.

Но он себе твердо сказал: «Хватит исканий, давай обживаться».

Новое место работы Ли именовалось «отделением» «всесоюзного проектного института» и таковым было в действительности. Весь же институт в целом представлял собой империю в империи, и более десятка его отделений, сопоставимых своими размерами с самостоятельными институтами в других отраслях, были разбросаны по всей стране от Львова и Риги на западе до Новосибирска и Томска на востоке.

Центральный институт, располагавшийся в Москве, «делал

техническую политику» в отрасли, участвовал в международных делах и, отчасти, распределял работы. Единство же «технической политики» обеспечивалось рассмотрением в центральном (головном) институте всех конкретных проектов тепловых электростанций и разработкой типовых решений по возможности всех конструкций этих электростанций.

Познакомившись с этими фундаментальными основами работы «отделений», Ли загрустил: ему показалось, что здесь для самостоятельной работы и для инициативы вообще не остается пространства. Потом, однако, он понял, что это не так и что каждая «посадка» даже самого «типового» здания на конкретный грунт часто порождает тысячи проблем.

Да и сами по себе типовые конструкции оказались небезупречны, и когда Ли было поручено «привязать» на одной из электростанций в Донбассе комплекс «типовых» сооружений углеподачи, он, к удивлению многих, свято веривших в непогрешимость головного института, нашел целый ряд существенных ошибок в типовом проекте. Это событие, случившееся на втором месяце работы Ли в «отделении», вызвало небольшой шок. Ряд «старых» специалистов утверждал, что Ли, как человек новый, просто что-то недопонял в глубоких мыслях «типовых» авторов, другие были склонны ему поверить, поскольку доказательства его правоты были слишком убедительны. Дело кончилось тем, что его начальник, по настоятельному желанию которого он, Ли, был принят в «отделение», позвонил в Москву главнейшему из главнейших специалистов по строительным делам в «головном» институте, и тот сказал:

— Пусть приезжает и все расскажет здесь!

Так у Ли появилась первая в его жизни командировка в Москву. Его там ждали. Павел Маркович, так в обиходе именовали того, по чьему распоряжению Ли прибыл в Москву, поскольку настоящее его имя и отчество резали московский слух, сначала попросил всё и во всех подробностях доложить ему лично, что Ли и сделал. Ум у Павла Марковича был четким и быстрым, и правота Ли стала для него ясна через двадцать минут, после чего он отпустил его устраиваться на ночлег, пригласив на завтра для доклада «заинтересованным лицам».

Забронировать место в гостинице Ли заранее попросил Черняева — единственного человека из его «прошлого», с которым теплилась связь по издательским делам. Тому Ли еще был нужен, и он постарался: Ли ждал вполне приличный номер в старой гостинице, беспрерывно менявшей свои названия. Тогда она как раз из «Савоя» превратилась в «Берлин». На столике у кровати там стоял белый телефон, но звонить Ли было некуда,

разве что поблагодарить Черняева за службу и дружбу, что он и сделал.

На следующий день Ли был со вниманием выслушан группой весьма уважаемых людей, на которых пала тень его критики, и он сразу же был принят в эту группу на равных. После разборки Павел Маркович высказал мысль, что, поскольку в Харькове появился такой «свежий глаз», было бы, может быть, неплохо отправить туда на второй контроль самый ответственный «типовый» проект — проект главного корпуса крупной тепловой электростанции, и все поддержали его предложение.

Затем Павел Маркович пригласил Ли и всех желающих отобедать в ближайшем ресторане, и Ли сумел убедиться, что и в застолье его самый главный мэтр так же мил и раскован, как и в служебном общении. А в конце обеда Павел Маркович пожелал ему успехов, всем — долгой совместной работы и освободил Ли от забот до конца недели, порекомендовав кое-что из зрелищ и обнаружив тем самым свои знания и этой стороны жизни.

Пожелания Павла Марковича исполнились: ровно четверть века до самой его смерти они работали вместе. Были у них расхождения, доходившие до ссор, но что бы ни случалось, какие бы слова Павла Марковича о нем ни достигали его ушей, Ли был неизменно и искренне по отношению к нему чуток и внимателен даже тогда, когда старик перестал быть тем, кем был, и довольствовался вторыми ролями. В крови у Ли не было предательства, Верность Добру была его непоколебимым врожденным свойством, и лишь чужое предательство и продажность освобождали его от этих заветов.

Несмотря на то, что в этот приезд в столицу его добрая старая Москва не наполнилась для него живыми людьми — служебные контакты здесь были не в счет, — Ли все же ощутил дыхание новизны и с этим возвратился в Харьков.

Эти весьма четкие предчувствия заставили Ли еще раз проанализировать события последнего года, чтобы попытаться установить, являются ли они просто цепью случайностей и совпадений или за ними всеми стоят Хранители его Судьбы. «Цепь случайностей» получалась слишком четкой: случайное воскресенье вдали от дома, случайное посещение заброшенной кельи в меловой скале над Донцом и его не очень уместное там моление о делах вполне мирских с четким ощущением им того, что его обращение достигло цели; через несколько дней после этого — еще не известная ему тогда нелепая авария на строящейся на берегу этого же Донца электростанции, породившая желание невольно причастного к этой аварии человека иметь возле себя того, чей смутный тогда еще образ по

своим качествам и дарованиям был близок реальному образу Ли. Далее шла «организация» совмещения этих образов в облике Ли, для чего понадобилось, чтобы красивый «голубок» перечеркнул банные планы Ли на очередную пятницу, а когда Ли заменил эти планы прогулкой в центре города — произошла та самая важная Встреча, существенно изменившая жизнь Ли. Таков был актив в пользу версии участия во всей этой цепи взаимосвязанных событий воли Хранителей его Судьбы. Был и пассив, основывавшийся на том, что, каким сложным бы ни было трудоустройство проектировщиков в тот год — год перемен для Ли, — все равно жизнь шла своим чередом, и за месяц до прихода Ли и через месяц-другой после его прихода кто-то поступал в то же самое «отделение», куда он пришел будто бы столь сложным путем, и кто-то увольнялся оттуда, а это значит, что для Ли существовала возможность просто зайти с улицы, проявить настойчивость и быть принятым на эту работу.

Поначалу эта простая мысль казалась Ли серьезным опровержением версии вмешательства Хранителей его Судьбы, но позднее, освоив теорию вероятности и законы математической статистики, он специально вернулся к анализу этой давней ситуации в его жизни уже на научной основе и определил, что степень вероятности его попадания «с улицы» на то место, куда он был выведен упомянутой выше цепью случайных событий, не превышала одного процента!

Да и дальнейшее течение его жизни подтвердило существование высшего промысла во всем, что тогда произошло. Он медленно возвращался, а вернее — его возвращали, из Земли Нод, из области забвения.

Впрочем, возвращался он из области забвения лишь в свой невидимый мистический мир, а Земле Нод — той, что на восток от Едема, было суждено навеки остаться его земным пристанищем.

Книга вторая
Возвращение

Когда из Вэй я возвратился в Лу,
музыка была исправлена:
все оды, гимны и хвалебные песни
обрели свои места.

Конфуций

Идет ветер к югу, и переходит к северу,
кружится, кружится на ходу своем,
и возвращается ветер на круги свои.

Екклесиаст 1:6

I

Чувства Ли, связанные с возникшим у него ощущением возвращения, были двойственны. С одной стороны, в его жизнь возвращался ее тайный смысл, давно уже ставший частью его внутреннего мира, и его попытка отстраниться от своего Предназначения, вопреки его ожиданиям, не принесла ему ни радости, ни душевного покоя. С другой стороны, он понимал, что там, где царят Предназначения, нет и не может быть никаких заслуг и рангов, там есть только Исполнители, и им, Исполнителям, некому перепоручить даже самую грязную работу. Поэтому, разобравшись в истинной сути перемен в своей жизни и приняв эту суть без ропота, Ли не стал делать никаких встречных движений. Он спокойно ждал и, зная повадки Хранителей его Судьбы, чувствовал, что долго ждать ему не придется.

Как бы ни хотелось Ли ничем не выделяться во внешнем мире, исполняя завет Рахмы «быть как все», у него это не получилось. «Все» стремились подняться хоть на миллиметр выше ближнего, ухватить кусок побольше, оттолкнуть плечом соседа; чтобы половчее все это проделать, они пытались «вступить в партию» — стать «членом», или пойти в стукачи. Эта «инициатива», как с удивлением установил Ли, очень ценилась даже в таком удаленном от внешней и внутренней политики

месте, как одно из десятка отделений института, проектирующего электростанции. Недаром, когда «великий европеец» Конрад Аденауэр с европейской издевочкой сказал Аджубею: «Да вы — политик!», «всесоюзный зять» бодро отрапортовал: «У нас все — политики, господин канцлер!».

Все эти телодвижения были, естественно, совершенно неприемлемыми для Ли, и его отстраненность от таких нечистых забот уже сама по себе делала его «не таким, как все», и, понимая это, Ли стремился к тому, чтобы его непоколебимые принципы в глазах «всех» выглядели как лень, врожденная безынициативность, или, наконец, просто чудачество. Охрану своего тайного внутреннего мира он не ослаблял.

Однако, как ни странно, но то ли эти необычные для «советского молодого человека» качества в сочетании с довольно высоким профессиональным уровнем, то ли просто промысел Хранителей его Судьбы дали совершенно противоположный эффект: «беспартийный» и аполитичный во всеобщем представлении Ли, и двух лет не проработавший в «отделении», начальственным перстом был переставлен на несколько ступеней выше и в свои тридцать три года стал руководителем «коллектива» человек в пятьдесят, которому было поручено проектирование и курирование строительства одного из сложнейших в то время, принципиально новых энергетических объектов. Так Ли оказался в элитной тридцатке «отделения», ведущей свое заведение к «светлому будущему», заняв место, путь к которому в этой консервативной, как диккенсовский лондонский суд, организации занимал обычно одно-два десятилетия.

Как ни странно, «высокое» назначение Ли особого внимания в заведении не привлекло: то ли карьерная часть коллектива четко себе представляла, что «кадрово-ущербный», в связи с подъемом новой волны административного антисемитизма, Ли просто сразу достиг своего «потолка» и более ни для кого иерархической опасности не представляет, то ли люди скрепя сердце признали его профессиональное превосходство, то ли Хранители его Судьбы приняли на себя заботы о его адаптации на новом месте.

Кстати, и в самом способе возвышения Ли чувствовалось их присутствие. Дело в том, что в те годы два-три высших руководителя любого учреждения имели большую, но ограниченную, особенно в «кадровых» вопросах, власть, поскольку при любом новом назначении на «высокий» внутренний пост они должны были получить поддержку начальника отдела кадров, являвшегося одним из официальных резидентов охранительных органов, и «партбюро» — своры, как

правило, бесполезных для производства «общественных деятелей», занятых под покровительством и надзором «райкома», в числе прочего, такой важной проблемой, как дележ «хлебных» мест. Но «временные» назначения были полностью во власти глав администраций, и когда эти главы в «отделении» сделали свой выбор, Ли был назначен «временно исполняющим обязанности». Однако вскоре после поручения «объекта государственной важности» Москва телеграммой потребовала немедленно, «обратной связью» сообщить фамилии ответственных руководителей работ по трем главным специальностям. Среди таковых был назван Ли, что сразу сделало все прочие согласования пустой формальностью, и его должность стала постоянной.

С высоты дальше видно, и Ли на своем новом месте получил доступ к служебным бумагам высокого уровня, позволившим ему по-иному взглянуть окрест себя. С этого момента московская «власть» и ее деяния стали вызывать в нем более живой интерес. Однако связь его с этой властью была бумажной и односторонней, а у него уже появился некоторый интерес к живым людям, стоящим там у истока «новостей», раскачивающих страну.

II

Ли стал чаще, чуть ли не раз в два месяца бывать в Москве, но и там круг его знакомых не выходил за рамки центрального института и тамошней кулуарно-туалетной «доверительной» информации со ссылкой на известные фамилии. Руководство центрального института, конечно, было «допущено», и даже Павел Маркович был «вхож», но при всем своем благожелательном отношении к Ли он не спешил поделиться с ним своими «высокими» связями.

Старик Георгиев — главный арбитр по строительной специальности в харьковском «отделении», полюбивший Ли прежде всего за то, что тот не принадлежал к своре «деятелей», стремившихся вытолкнуть его на пенсию и занять его место, часто откровенничал со своим молодым коллегой, рассказывая о своей жизни, о том, как он в Гражданскую войну в Одесском порту лежал с пулеметом, пока грузились отъезжающие навсегда «белые», о своих голодных годах в Питере в Институте путей сообщения, о жирных довоенных «халтурах». Рассуждая о путях наверх, Георгиев однажды сказал: «Запомни, Ли, что все, кто *там*, попали *туда* по родственному блату, или через бутылку, или через пизду». Последний путь Георгиев не уточнил: то ли он имел

в виду поставку «живого товара» высоким гостям при их наездах на объекты, то ли личные сексуальные связи с влиятельными представительницами «слабого пола».

В распоряжении Ли не было ни одного из этих путей: от «родственного блата» он отказался десять лет назад, не согласившись на усыновление дядюшкой, средств для оргий с начальством у него не было, и по женской линии в любом из вариантов его возможности были ограничены. Поэтому он, по своему обыкновению, просто *ждал*, уверенный в том, что Хранителями его Судьбы будут приняты все необходимые меры, если таковые понадобятся.

В это время гонорарный поток, вызванный переизданиями дядюшкиных трудов, стал угасать, и золотой дождь постепенно превратился в медный. Из всей «честно'й» компании, некогда кормившейся вокруг этого «процесса», в поле зрения Ли остался один Черняев, деловые встречи с которым, после их случайной размолвки, постепенно превратились в дружеские беседы, отчасти утолявшие любознательность Ли.

Здесь, пожалуй, пришло время и появилось место для хотя бы краткого рассказа о такой интересной и весьма характерной для советской империи личности, как Черняев, являющейся неотъемлемой частью ее истории.

Дело в том, что Черняев и был тем самым доставленным к вечно живому Ильичу его братцем Дмитрием «Еной Шварцем», которого Ли помянул в «сочинской» книге своих записок в связи с рассказом сына польско-еврейских коммунистов Болеслава о местечковой мимикрии и еврейских «корнях» «вождя мирового пролетариата».

Следует отметить, что в бумагах Ли имеется собрание биографий разных лиц. Возможно, в самих принципах отбора этих жизнеописаний есть свой глубокий или неглубокий смысл (как, например, в «Баварских биографиях» Фейхтвангера). Разбор этой части записок я отложил на потом в надежде, что Бог дает мне на это время и силы. С Черняевым же, чья биография также имеется в этом собрании, у Ли было связано так много личного, что рассказ о его жизни я решил, хотя бы в сокращенном виде, перенести в основной текст этого повествования.

III

В огромной еврейской семье Шварцев из-под Чернобыля, в которой старшие сыновья уже несколько лет строили свое счастье в далекой Аргентине, у родителей, находящихся в весьма

почтенном возрасте, когда казалось, что все их демографические проблемы ушли в прошлое, как у библейских Авраама и Сарры перед зачатием Исаака, на десятом году двадцатого века вдруг появился сыночек. Детство Ены выпало на беспокойное время, родители его вскоре угасли от житейских волнений и беспокойства за детей, и остался малолетний Ена на руках у сестры Розы, что была старше его на десяток с небольшим лет.

«Вихрь революций» увлек за собой Розу Шварц, и в семнадцатом ее уже видят и знают в Киеве, где она, поручая Ену то одним, то другим знакомым, ведет «подпольную работу с молодежью», несет таинственную службу в местном ЧК — в зависимости от того, какая власть на улице. Говорят, что ее деятельность в ЧК была столь решительной, что словосочетание «Роза Шварц» в те времена наводило ужас на киевских обывателей.

Потом по совету местных «товарищей», учитывая специфику Киева, она изменила фамилию — прямым переводом своей изначальной на русский язык — и отчество — по какому-то ей одной понятному созвучию. В результате появилась Роза Гавриловна Черняева.

Ена, уже познакомившись к тому времени с «вечно живым», по протекции последнего отправился в Питер, где, по окончанию каких-то малогодичных курсов, был принят в училище точной механики и оптики. Роза дальновидно позаботилась о том, чтобы его реквизиты тоже были соответственно изменены, но недальновидно сохранила его изначальную национальность. Так появился в молодой советской империи Антон Гаврилович Черняев, еврей.

Новоиспеченный Антон был мал ростом, как положено последышу, но весьма честолюбив, как положено невысоким мужчинам, в каждом из которых дремлет Наполеон. Честолюбие, как жажда, требовало удовлетворения, а путь к нему через училище и приобретение профессионального мастерства был слишком длинен, и он, бросив учебу, отправился завоевывать Москву, как герои Бальзака брали Париж.

Антон постарался, чтобы необходимые люди узнали о его принадлежности к тем почти святым детям, для которых «вождь мирового пролетариата» приоткрывал свою преисполненную неизбывного гуманизма душу. Это ему удалось, и необходимые люди посчитали, что такому молодому человеку сам Бог велел работать в непрерывно разбухающем кремлевском аппарате.

Аппаратные навыки Антон приобрел быстро, а природные чутье удерживало его от тщеславного стремления играть самые первые роли. Тем более что и с образованием у него было

слабовато.

Это же природное чутье в середине тридцатых, после победы тайной ползучей национал-большевистской революции, подсказало ему, что наступило время покинуть Кремль, дальнейшее пребывание в котором смерти подобно, и он, пользуясь своим пока еще кремлевским влиянием, сменил правительственный аппарат на академический, став нужным человеком в среде помощников президента Академии наук. Это позволило ему в те годы избежать вознесения «без права переписки» или в лучшем случае — лесоповала. В то же время связи с поредевшим, но все же не исчезнувшим кремлевским аппаратом помогали ему в новой работе, и президент в нем души не чаял.

Не менее умно и своевременно изменила свой, как теперь говорят, «имидж» и Роза Черняева — она умерла в 37-м, не успев стать «врагом народа», поскольку провинциальные киевские разоблачительные кампании несколько отставали от московских.

Во время войны относительно молодой Антон был защищен от призыва в армию бронью Академии наук, а при эвакуации академических учреждений, пользуясь правом освобождения от досмотра академических грузов, развил такую деятельность по перевозкам урюка и других сухофруктов из Туркестана на север в опломбированных академическими пломбами вагонах, что вернулся в сорок третьем вместе с аппаратом президента в Москву весьма богатым человеком.

После войны в литерно-полуголодной Москве он зажил припеваючи. Кутил с балеринами и даже уверял всех, что был первым любовником одной юной знаменитости — выпускницы балетного училища в Большом, хотя он был ниже ее на две головы даже тогда, когда она была не на пуантах. Впрочем, Ли не исключал существования в балетных воспоминаниях Черняева некоторой доли правды, поскольку даже спустя много лет он видел признаки его теплых отношений с известной музыкально-балетной семьей М-р, а случай с вышеупомянутой юной звездой балета, рассказанный ему в начале шестидесятых Черняевым и связанный с ее, вызвавшим недовольство «вождя», обращением к подошедшему к ней на выпускном балу Сталину с просьбой освободить ее «невинно арестованного» отца, много лет спустя, когда стало модно похваляться обидами, нанесенными «отцом народов», в своих воспоминаниях подтвердила сама балерина.

Когда умер его шеф и пришел новый президент, Антон уже «к ручке» допущен не был и довольствовался вторыми ролями, радуясь тому, что хоть в аппарате он задержался.

Впрочем, радость его была ошибочной; когда после

двухлетней идеологической артподготовки наступил очередной сталинский, на сей раз преимущественно еврейский, призыв на лесоповал, президент, чтобы спасти хотя бы первых, был вынужден ослабить оборону «вторых», и Черняев был сдан среди прочих.

Однако, как мы знаем, вскоре все изменилось. Тиран сдох, часть его бешеных псов уничтожили, другим выбили зубы, и после годичных разбирательств подошла очередь для известной и всеми долгожданной тюремной команды: «Черняев — с вещами на выход!».

«На воле» за эти его лагерные пару лет, как оказалось, тоже все изменилось. Жена, заметая следы своего сожительства с «врагом народа», расторгла с ним свой брак и вышла замуж за своего любовника, поменяв фамилию. Квартира ушла в обмены и размены, и след ее потерялся. Требовать вещи и ценности было, естественно, бесполезно.

IV

Жизнь Черняеву приходилось на своем пятом десятке лет начинать сначала, и он восстановился в «партии», получил сначала одну комнатушку, потом другую — для «сменивания». Именно в этот момент он вышел на тетю Манечку, и посредничество в издании дядюшкиных трудов изрядно подправило его материальные условия и вернуло его к активной деятельности. Поговаривали даже, что он купил дачу Книппер в Гурзуфе.

Потом, уже после смерти тети Манечки, Ли и он еще много раз встречались в Москве, ссорились по поводу распределения гонораров и снова мирились. Ли с удовольствием наблюдал за тем, как Черняев упивался свободой. Он пил ее, эту свободу, малыми глоточками, ценя возможность вместо утренней каши выпить чашку крепкого и сладкого кофе с молоком со свежей булочкой с толстым слоем масла и пахучим кусочком сыра, вместо дневной лагерной баланды зайти перекусить в «Националь» или «Арагви», или съесть знаменитый в те годы деволяй в бесследно исчезнувшем и теперь уже прочно забытом «Гранд-отеле». Ему стал так ненавистен любой режим, что даже на работу он не хотел устраиваться, пока не иссяк полностью приток дядюшкиных гонораров.

Если бы мы возвратились в середину шестидесятых, мы бы застали Черняева уже живущим в «своей» двухкомнатной квартире с относительно молодой женой. Он вхож и в Дом

журналиста, и в Дом кино, и в ЦДЛ, где распоряжался его, как он говорил, друг Боря Филиппов. Ему хотелось бы, конечно, переместить свою квартиру с Соколиной горы куда-нибудь поближе к центру, и он все собирался написать по этому поводу письмо «нашему дорогому Никите Сергеевичу», но пока он изготавливал копию фотографии, где молодой кукурузник запечатлен в группе киевских комсомольцев в обнимку с Розой Черняевой, Никиту отправили на покой, и операция по изменению адреса затянулась еще на пяток лет. Но Ли он всегда был рад видеть, и как-то в одну из их встреч в те уже далекие годы Черняев вдруг ни с того ни с сего сказал:

— Я на днях встретил Володю С. Он теперь, оказывается, собирается возглавить всю информационную службу по энергетике, звал меня к себе. Если он тебе понадобится, подваливай к нему в любой момент. Только сошлись на меня.

Ли, как всегда, поначалу не обратил внимание на эту фразу, но его временами феноменальная память сохранила не только тему разговора, но и абсолютно уверенную интонацию Черняева. К этому времени Ли вменил себе в обязанность просматривать всю довольно обширную литературу и периодику по энергетике и энергетическому строительству, а так как сам он «сидел на живом деле», да еще находящемся под опекой «высших сил», у него вскоре накопился материал на интересную статью, и он стал подумывать о его публикации.

V

Через месяц-другой статья была готова, во время очередного выезда на объект Ли собственноручно сделал необходимые для иллюстраций фотографии и вычертил схемы, а после этого глубоко задумался. Он уже хорошо знал, что в «стране Советов» все делалось «по блату» или, говоря изысканнее, — по «рекомендации». Даже за первыми его краткими публикациями по расчетам стоял признанный мэтр, иначе не видеть бы им света.

И именно в этот момент спокойное течение жизни Ли нарушилось. Неожиданно из Москвы пришло предписание направить «ответственного представителя» на «важное» совещание в Вильнюс. Проводил его один из заместителей министра энергетики, а устроителем-организатором был тот самый, упомянутый Черняевым, «Володя С.».

Несмотря на возникновение довольно редкой даже в те годы возможности съездить за казенный счет в Вильнюс, где не было ни объектов, ни «отделения» института, желающих не нашлось по

целому ряду причин: во-первых, в приказе «сверху», несколько запоздавшем, стояла дата прибытия, до которой оставалось менее суток, во-вторых, на дворе была зима и зимние каникулы, в-третьих, многие не соответствовали специализации совещания, и кончилось дело тем, что фирма вытолкнула в эту поездку Ли как самого молодого и еще не обремененного всей массой житейских забот.

Мотнувшись на часок домой, Ли с дорожным портфелем уже в полдень был в аэропорту. Расписания он не успел узнать и приехал наугад, но, вероятно, за его дело уже крепко взялись Хранители его Судьбы, потому что буквально через полчаса он улетел в Минск, откуда, по словам «знающих людей», мог легко доехать до Вильнюса часа за три электричкой.

Но даже этот мудрый совет ему не понадобился: из Минского аэропорта менее чем через час после прилета Ли стартовал небольшой самолет на Вильнюс, и ранним вечером того же дня Ли уже входил в гостиницу «Гинтарас», указанную в предписании.

Весь этот день, начавшийся с обычных сборов на работу, обычного «взятия» утреннего городского транспорта, обычных утренних забот инженера и начальника относительно небольшой группы специалистов, и затем вдруг перешедший в какую-то феерию с мельканием трех аэропортов, с двумя взлетами и посадками, и наконец с этой гостиницей, с ее надписями на трех языках, утомил даже привыкшего никогда и ничему не удивляться Ли, поскольку в его необычной жизни все новое и удивительное было, как правило, следствием медленных перемен. И он, наскоро поужинав в буфете, отправился отдыхать и вскоре заснул, прочитав две-три страницы прихваченной с собой книжки.

Сон его после всех событий минувшего дня был беспокойным, и часам к пяти утра он понял, что уже выспался. Что-то, происходившее в его душе, не давало ему спокойно дожидаться в номере всеобщего «подъема», и Ли, не раздумывая о причинах этого своего состояния, вышел на улицу. Над городом сквозь редкий и почти прозрачный туман светилась луна. В лунном свете все было призрачно, кроме вокзала с ярко освещенными окнами. Ли понял, что к центру города должна вести та улица, куда уходят с привокзальной площади троллеи, тонкой паутиной парившие в предрассветном небе.

Через два-три квартала Ли заметил справа какую-то необычную улицу. Он сразу же свернул туда и спустя несколько минут оказался в Старом городе. Там магия места полностью подчинила себе Ли. Он сворачивал в переулки, смело шел, не зная куда, по узким улицам, где окна старинных зданий смотрели друг на друга, как влюбленные: глаза в глаза. Он чувствовал, что

идет по многовековому полю великой битвы, в которой Зло побеждало Добро и вскоре неизвестно от чего погибало вроде бы само по себе, потому что в Истории людей в прямых столкновениях Зло всегда одерживает верх, и эта победа неизбежно ведет его к гибели.

Рассвет постепенно ослаблял свет луны и, наконец, край неба на востоке стал бледно-розовым. В тот момент, когда Ли это заметил, он увидел, что на этом розовом фоне темнеют очертания сказочного замка: он вышел к собору святой Анны. От этого конечного пункта своих предрассветных странствий он, не спеша, идя мимо соборов и церквей совершенно другими такими же красивыми улицами Старого города, ни разу не заблудившись и не сбившись с пути, вернулся в свою гостиницу. Вернулся человеком, влюбленным в Вильнюс. В этот Город, ранее представлявшийся ему грязным осколком мрачного средневековья, сеявшего свой мрак в души живущих в нем людей, — чем иначе объяснить, что вильнюсские обыватели убивали евреев на глазах у своих детей с еще большим зверством, чем придумавшие эту кровавую вакханалию немцы, которым они так ревностно служили. А фюрер, между тем, и не думал скрывать, что очередь на неизбежное уничтожение местного, столь старательного по части убийств беззащитных женщин и детей народа не так уж далека во времени.

Совещание же, вырвавшее Ли из каждодневной рутины в эти еще неведомые ему края, началось в каком-то «клубе» относительно новой постройки в центре города часов в десять утра, и перед его открытием Ли заметил, что почти все организационные нити ведут не к заместителю министра, расположившемуся с бумагами за столом «президиума», а к довольно высокому, плотному, но очень подвижному, пожилому по тогдашним меркам Ли, человеку. Это и был Владимир С. — друг Черняева.

На первом заседании замминистра сказал, что за три предстоящих дня на этой конференции должен высказаться каждый ее участник. Поскольку Ли был здесь единственным представителем своего «отделения», он посчитал, что эта фраза относится и к нему. Доклада или выступления он, естественно, не подготовил и теперь был рад тому, что предусмотрительно захватил с собой законченную статью об «объекте государственной важности». Улучив момент, он подошел к С., представился и сослался на Черняева, как тот учил. Упоминание Черняева вызвало довольно бурную реакцию у С.: «А-а, Антоша, я уже так за ним скучаю! Как он там?!!»

Ли, как мог, кратко объяснил сущность своих связей с

Черняевым и сказал, что его волнует необходимость выступления на этом «форуме», и кто ему может сказать, подойдет ли для этой цели статья.

— Ану, дайте-ка ее мне, — сказал С. и быстро пробежал ее «по диагонали».

— Я возьму ее у вас до завтра, — сказал он, закончив просмотр, — а там решим.

На следующий день С. сам подошел к Ли и сообщил, что с ним хочет познакомиться заместитель министра. Тот принял их без улыбки и тусклым голосом произнес:

— Я тут просмотрел ваш материал, там приколот листок с моими замечаниями. Выступать здесь вам не нужно: сидите, слушайте, а статью напечатаете, — и, взглянув на С., добавил: — А вы обеспечьте!

С. молча кивнул. Ли стал отходить от стола и вдруг услышал уже более энергичный голос заместителя министра:

— А вы, — сказал он и ткнул пальцем в направлении Ли, — напишите отдельную статью о фундаменте турбины, только обязательно покажите мне перед публикацией!

— Хорошо, — ответил Ли.

Сев на свое место, он сразу же быстро прочел замечания заместителя министра и поразился их правильности и точности. Это были конкретные замечания инженера и специалиста, а не «ответственного» работника.

В обеденный перерыв в ресторане, где они столовались, Ли рассказал о своих впечатлениях С., отметив, что если все замечания учесть, то статью нужно переписать заново.

— Ну, и сделайте это, — сказал С., — но вы же, вероятно, понимаете, что в этом случае вы с чистой совестью можете считать своим соавтором заместителя министра и поставить его фамилию перед своей, по алфавиту естественно!

— Тогда ведь я должен это согласовать с ним, — сказал Ли.

— Считаете, что уже согласовали! Со мной, — засмеялся С.

— Он сказал, чтобы я написал еще статью и показал ему. Как я это сделаю, когда я не москвич? — спросил Ли.

— Это не так сложно, — ответил С. и, остановив проходившего мимо высокого, симпатичного относительно молодого человека, отошел с ним в сторону, сделав знак Ли, чтобы тот подождал.

Через пару минут они оба возвратились к Ли, и С. представил ему молодого человека как помощника заместителя министра. Тот дал Ли свои служебные телефоны и сказал, чтобы тот звонил в любое время, когда ему нужно будет встретиться с заместителем министра, и ему будет сделан вызов, конечно, под

благовидным предлогом через центральный институт.

— Ну вот, и этот вопрос мы решили, — сказал С. — Первый же вызов вы себе организуйте, когда будет готова к печати эта уже просмотренная им статья, и я представлю вас всем главам редакций наших сборников и бюллетеней.

VI

В программу этого совещания входило посещение крупного энергетического объекта, находившегося между Вильнюсом и Каунасом. Ли был очень рад этому, так как заседания уже на второй день превратились в бессистемную пустую говорильню, что-то вроде общеимперской «оперативки»: начальники стремились поскорее выложить заместителю министра все свои беды и нужды.

От этой скуки Ли одним из первых заскочил в автобус и занял место у окна. Когда окраины Вильнюса остались позади, перед ним стали разворачиваться, сменяя друг друга, прекрасные картины зимней Литвы — высокие и стройные темно-зеленые сосны в сверкающих серебром в лучах утреннего солнца синевато-белых сугробах, подступавших к самой обочине шоссе, сменялись небольшими уютными полянами, укрытыми блистающим снежным ковром.

Объект был как объект, но планировка и здания городка энергетиков поразили Ли своей красотой. Качество отделки было таким необычным, что Ли не узнал в этих зданиях те же «типовые» проекты, которые применялись и там, где были его собственные объекты. «Вероятно, здесь люди просто хотят жить, как люди», — подумал Ли.

На обратном пути был предусмотрен заезд в Тракай, где всех путешественников ждали осмотр замка и обед в местном ресторане. В замке еще не была закончена реставрация, и он в зимнее время в тот год был закрыт для туристов, но для заезжих строителей сделали исключение. Воображение Ли, подкрепленное теперь уже вполне четким представлением о мастерстве отделочников и декораторов в этой стране, легко воссоздало будущую красоту и совершенство заново отстроенной крепости.

Заместитель министра в этой поездке не участвовал, сказав, что использует это время для встречи с «литовскими руководителями», и роль шефа поездки перешла к С. На крепостном подворье он подошел к Ли, державшемуся в стороне от него, понимая тяжесть лежавшего на нем бремени. С. сказал:

— Когда будем у ресторана, задержитесь на улице у главного входа.

Сделать это было нетрудно, поскольку, изголодавшись в путешествии по легкому морозцу, все гурьбой кинулись к «пункту питания» так, что у двери образовалась даже небольшая свалка. Когда Ли остался один на ступенях, дверца стоявшей неподалеку машины открылась, и откуда вынырнула физиономия С. Взмахом руки он подозвал Ли.

Машина за считанные минуты проскочила несколько улиц маленького городка. С. лишь однажды, кивнув за окно, сказал Ли, что это — улица караимов, и показал кинассу, а потом задумался и умолк. Ли тоже не спрашивал, куда они едут, но по смене пейзажей видел, что они объезжают озеро. Вот уже Тракайский замок и очертания городских кварталов едва видны сквозь легкий туман на противоположном берегу покрытого льдом водоема.

Машина остановилась у красивого, несколько запущенного здания. «Дом Эшера», — подумал Ли, увидев довольно заметную трещину на обращенном к ним фасаде.

— Дворец графа Тышкевича, — сказал С., — точнее сказать — один из нескольких дворцов этого славного графа в Литве.

С. здесь знали и ждали. Встретивший его солидный человек сразу стал обсуждать с ним какие-то деловые вопросы. Обсуждение это продолжалось и внутри здания на ходу. Хозяин лишь на мгновения отвлекался от дел, объясняя в основном для Ли изначальное назначение помещений, куда они попадали в своем непрерывном движении по лестницам и анфиладам комнат.

Наконец они оказались в кабинете, или в комнате, превращенной в кабинет, где, вероятно, были собраны остатки былой роскоши — старинная мебель, картины — портреты и пейзажи, — и даже висели скрещенные сабли. Тихо и уютно потрескивали дрова в камине. Несмотря на высокие окна, обращенные к дворцовой набережной и к озеру, в комнате, казалось, царил полумрак.

Ли подошел к окну, не вслушиваясь в беседу, которую вели С. и хозяин, сидя в высоких креслах у камина. Он легко представил себе красоту здешних мест в разгар лета, буйную зелень, окаймляющую гладь или легкую рябь озера, красный средневековый замок на другом берегу, синеву неба и белые облака с позолоченными солнцем краями, отраженные в зеленоватой воде. И Ли тут же дал себе слово, если будет жив, привезти сюда Нину и сына, чтобы поделиться с ними этой красотой. Их живые образы сразу же возникли в его воображении там, у замшелой балюстрады, ограждавшей дворцовую

набережную.

Это свое обещание он выполнил через долгие двенадцать лет, и посетившее его видение стало явью.

Беседа у камина завершилась, и хозяин дворца проводил их в столовую, где у окна уже был накрыт столик на двоих. На нем стояли незнакомые Ли закуски, а в нескольких графинчиках светились какие-то цветные и довольно крепкие напитки.

— Обед будет литовским, — пояснил, обращаясь к Ли, хозяин. — Я, к сожалению, живу на режиме из-за неприятностей с желудком, и, чтобы избежать соблазна, оставлю вас тут одних. Тем более что Владимир знает нашу кухню не хуже меня, и, если нужно будет, объяснит, что к чему.

С. ничего объяснять не стал и просто взял руководство столом в свои руки, пододвигая к Ли различные блюда и следя за тем, чтобы его рюмка и бокал были полны. А разговор их сразу же пошел в направлении, далеком от застолья.

— Здесь планируется небольшая туристическая база, и я веду переговоры о том, чтобы помочь им по линии министерства материалами и рабочей силой, за что тут потом всегда должны быть для нас места, — сразу же пояснил он цель своего приезда и суть бесед, коих Ли был свидетелем, и продолжал: — А теперь я хочу поговорить о нашем с вами будущем. Вы ведь человек молодой и не во всем сразу можете сориентироваться. Как вам нравится Ф.?

С. назвал фамилию заместителя министра.

Ли без долгих размышлений ответил:

— Здесь я увидел его впервые. Судя по его выступлениям и замечаниям к моей статье, это человек толковый и знающий.

— Характеристика точная. Добавлю еще, что это — человек порядочный и помнящий добро, а это крайне редкое качество у людей его уровня, можете мне поверить. Его жизнь расписана по минутам. То, что вы наблюдаете здесь, можно назвать его днями отдыха. А ему очень хотелось бы иметь какую-нибудь ученую степень, во-первых, потому, что он ее заслуживает, во-вторых, чтобы обеспечить себе пристанище в каком-нибудь учебном заведении на случай своего вольного или невольного ухода из министерства. Диссертационную работу он по недостатку времени никогда не сделает, но защиту по совокупности публикаций при их должном качестве у него, безусловно, примут. Вот почему он будет рад каждому приглашению к соавторству, и того, кто в этом деле будет ему помощником, он примет в свой круг. С ним не ведут торги по формуле «Ты — мине, я — тебе», но те, кто принадлежит к его кругу, определенные преимущества в этой жизни имеют. Вам сейчас выпала возможность войти в этот

круг. Используйте ее: сделайте так, чтобы ваше с ним сотрудничество не ограничилось этими двумя статьями, о которых уже шла речь. Если почувствуете, что есть материал на книжку — только скажите мне, и все будет принято. Договорились?

— Договорились! — не задумываясь ответил Ли.

— Ну и ладушки, — сказал С. и перевел разговор на историю графа Тышкевича и его дворцов, потом рассказал о культуре современной Литвы.

Ли слушал с удовольствием, и думал о том, что вот так, *случайно*, Хранители его Судьбы создают ему очередной тайный мир.

В конце обеда С. сказал Ли, что он приглашен на вечер в дом к директору, где и заночует, а Ли лучше провести ночь здесь, во дворце, так как уже стемнело и на дорогах сильный туман. Постелено ему будет в комнате с камином, и там есть кипа журналов, чтобы легче заснуть.

— В Вильнюс выедем рано утром и поспеем к завтраку в гостиницу, — сказал С.

Ли вышел его проводить и немного прошелся аллеей парка по тропке, протоптанной в сыром снегу. Когда он вернулся во дворец, сторож как раз закончил свои хлопоты у камина и вышел. Ли рассеянно полистал журналы и улегся на застеленный хрустящим бельем диван. Под уютное потрескивание дровишек в камине он и заснул. Последним его ощущением было чье-то присутствие во тьме, подступавшей к очагу. Ему даже почудилось какая-то светлая фигура, но беспокойства в душе не было. «В конце концов в любом старинном дворце должны быть привидения», — подумал Ли.

Впрочем, у посетившего его призрака оказалось лицо повзрослевшей Рахмы, красивое и родное.

VII

Вечером, накануне отъезда из Вильнюса, Ли решил лечь спать пораньше, чтобы утром еще раз побродить и проститься, он был *уверен*, что не навсегда, со Старым городом. Поэтому он спустился в гостиничный ресторан. По случаю конца недели он был забит молодежью, и Ли остановился в нерешительности. К нему подошла распорядительница, заметившая, что он вошел через внутренний, гостиничный вход, и с милым польским акцентом сказала:

— В зале сейчас шумно, и свободных столиков нет, а вы

наверное, хотите просто поужинать? — Ли кивнул, и она продолжила: — У нас тут есть небольшая комната, там уже сидит компания приезжих, но я вас посажу в углу, чтобы вам никто не мешал.

Ли пошел за ней и увидел, что «компания приезжих» состояла из заместителя министра Ф., его нового знакомого С. и еще человек пяти-шести. С. наклонился к Ф. и что-то ему шепнул, а потом подошел к Ли и сказал, что заместитель министра просит его присоединиться к их компании. Там как раз шел обмен анекдотами, и Ли сходу «продал» парочку не известных в Москве шуточек, принятых благосклонно.

За столом только к С. и Ли заместитель министра обращался на «вы». Потребовались еще десятки совместных дел и застолий в разных концах империи, чтобы Ф. признал Ли «своим» до конца. Но в одном Ли не ошибся: его новый тайный мир строился весьма бурными темпами. Оставался вопрос: *зачем*?

Когда Ли, уже в Харькове, переделал статью по указаниям Ф., он позвонил его помощнику. Тот все понял за секунду, и через день из центрального института Ли пришел персональный вызов в Москву. Он впервые переступил министерский порог и, погуляв по этажам, оказался в «чистом коридоре», где располагались кабинеты министра и его заместителей. Здесь был второй входной контроль, но к приходу Ли под стеклом на столе у дежурного среди разных записок была узкая полоска бумаги с надписью: «Л. Л. Кранц — к Ф.», и он по предъявлению служебного удостоверения был немедленно пропущен в святая святых.

Потом он разыскал С., и они вместе поехали в редакцию одного из периодических технических сборников по вопросам энергетики. Когда они зашли в кабинет «ответственного секретаря» (редактором сборника де-юре считался министр), тот, увидев новое лицо, не сразу понял, что Ли состоит при С., и спросил:

— Что вы хотите?

— Вот тут у меня статья, и я хочу ее опубликовать, — сказал Ли, открывая портфель.

— И я хочу ее опубликовать и впредь публиковать все, что принесет сюда Ли Львович, — сказал С., обнимая Ли за плечи.

Секретарь все понял и засмеялся, а через минуту они уже пили традиционный редакторский кофе.

Ли ничего не знал о С., и когда их беседы в Вильнюсе и Москве подходили на близкое расстояние к фактам биографии его нового знакомого, вероятно, полагавшего, что Ли обо всем знает от Черняева, Ли осторожно уводил разговор в сторону.

Теперь, в этот свой приезд в Москву, освободившись от дел, Ли сразу же отправился к Черняеву, чтобы восполнить информационный пробел.

Он поведал Черняеву о своем литовском путешествии и его последствиях, а тот в ответ рассказал ему все, что знал о жизни Владимира С.

С., как и Черняев, принадлежал к «ленинским ребятишкам», но стал таковым не по случайности, как Черняев, а, так сказать, по рождению — его папаша был «старым революционером», и Володя родился в год его высылки из Российской империи. Его жизненный путь при всех теоретических расхождениях часто пересекался с линией жизни «вечно живого», и Ильич неоднократно гладил растущую на его глазах головку революционного дитяти.

Выполняя волю «вождя мирового пролетариата», Володя избрал делом своей жизни энергетику и электрификацию, а его папаша, преодолев все свои меньшевистские уклоны, верно служил «советской власти» и пером, составляя «жизнеописания» Маркса, Бакунина, Чернышевского и прочих славных революционеров, и делом — занимая разные посты в верхних сферах правящей иерархии. Так что сумма отца и сына С., если верить известной «ленинской формуле», равнялась коммунизму. Но именно с коммунизмом вышла заминка: в «годы репрессий» С.-отец был арестован и через пару лет замучен до смерти своим же партайгеноссе, а его сына, как ближайшего родственника ярого «врага народа», увезли под конвоем на восток.

Поскольку крупные гидротехнические стройки в империи вело то самое ведомство, которое в мрачных московских казематах наматывало на барабан кишки «старых революционеров» и орлов из «ленинской гвардии», С.-сыну удалось стать в лагерной среде нужным профессионалом, или на тамошнем языке — большим бугром. К моменту кончины «отца и гения всех времен и народов» у него в послужном списке были осуществленные под его руководством руками зэков удачные стройки в Сибири, на Дальнем Востоке и на севере Казахстана, поэтому, когда наступил «поздний реабилитанс», он вернулся в московский мир не босяком и прохиндеем, как Черняев, а «уважаемым человеком».

Поскольку в его лице соединялись «близость к живому Ленину» и самоотверженное служение одной из главных ленинских хозяйственных идей — «электрификации страны», то темы «Ленин и электрификация» и «история электрификации» были отданы ему на откуп. Его толстенькая книга «В. И. Ленин и электрификация» своим третьим изданием вышла под эгидой

Академии наук СССР в 1982 году, через год после его смерти: они с Черняевым и родились и умерли в один год, а С., кроме того, умер ровно через сорок лет день в день после того, как был замучен его отец.

Но это произошло лет через пятнадцать после беседы Ли с Черняевым, завершая которую Ли спросил:

— С. — «партийный псевдоним» его отца?

— Да, — ответил Черняев, — их настоящая фамилия, кажется, Нахамкис.

Эта последняя справка поразила Ли причудливостью переплетений человеческих Судеб: он сразу же вспомнил рассказ дядюшки о его думских делах. Круг знакомств, взаимных симпатий и собственных убеждений привел дядюшку в состав «сведущих лиц» думской социал-демократической фракции. Когда Ли поинтересовался, что это был за статус такой — «сведущее лицо», дядюшка сказал, что положение «сведущего лица» было весьма заманчивым, поскольку такой человек мог активно участвовать в политике третьей Думы, но не нес никакой политической ответственности за свои действия.

— Многие стремились попасть в число «сведущих лиц», — продолжал дядюшка. — Помню, что меня просто одолевали просьбами помочь войти в этот круг некоему Нахамкису — человеку, явно не моему, ну ты понимаешь, что я имею в виду, он потом при Советах издавал «Известия», а потом его шлепнули, как у *них* принято. Я, в конце концов, тогда сдался и помог ему.

На глазах у Ли очередной раз раскручивалась все та же кармическая спираль: сначала его, можно сказать, дед помог отцу С. примкнуть к третьей Думе, теперь его сын открывает ему, Ли, дверь в его новый тайный мир.

Потом Ли прибавил к дядюшкиному действию по проведению Нахамкиса в думские кулуары еще одно кармическое следствие: благодаря этой дядюшкиной слабости Нахамкис стал одним из любимых «героев» весьма нудной и почти бесконечной эпопеи Александра Исаевича Солженицына про «красное колесо».

Вспомнил Ли и описание С.-отца в «Днях» Шульгина, имевшихся в дядюшкиной библиотеке. «С. был похож на красивых местечковых евреев, какими бывают содержатели гостиниц, когда их сыновья получают высшее образование. Впрочем, это все равно. Разве иные русские, кончившие два факультета, были умнее и лучше его? Во всяком случае, это был весьма здоровенный человек, с большой окладистой бородой, так что на первый взгляд он мог сойти за московского «русака»…» — вспоминал Шульгин, боровшийся в свое время с живым Нахамкисом, а не с его тенью, как Солженицын.

С.-сын, несмотря на солидный лагерный стаж, выглядел не так дремуче и вполне мог сойти за европейского интеллектуала. Прикосновение же к его трудной и сложной судьбе объяснило Ли причины трепетного отношения своего нового знакомого к фильму «Никто не хотел умирать», который они смотрели, сидя рядом, на устроенном для членов совещания «просмотре» этой литовской новинки. Сам Ли был увлечен кармической сущностью этой ленты, а восторг С. посчитал тогда потрясением кабинетного червя от приближения, хотя бы на экране, к грани Жизни и Смерти. Теперь Ли понял, что он ошибся.

VIII

Когда вышел очередной номер сборника со статьей Ли и Ф., на душе у Ли было неуютно: он с легким беспокойством ожидал, какова будет реакция руководителей «отделения». Но директор «отделения» был стар, мудр и очень хитер, поскольку был по происхождению не только украинцем, но и одесситом. Он не взревновал Ли к «верхам», как это сделал бы простой советский мудак-«руководитель», а наоборот, решил извлекать из новой для него ситуации, когда один из его сотрудников через несколько голов напрямую связан с заместителем министра, существенную пользу для своего заведения: теперь на все министерские «разборки» на строящихся объектах, которые обычно проводил Ф., посылался Ли, и это заметно снижало накал министерских претензий к проектам. Таким образом, Ли оказался в «золотом фонде» своего предприятия, и его авторитет существенно повысился.

Работы же, курируемые им, шли своим чередом, и когда один из проектов потребовал оперативной командировки для согласования изменений по раскреплению оборудования на Таганрогском заводе, с последующим заездом на обратном пути на объект для внесения этих изменений в документацию, находящуюся на стройке, Ли выехал не один: чтобы самому не чертить — графику он так и не полюбил — взял с собой свою сотрудницу Инну. Она была моложе его лет на пять и окончила институт совсем недавно, но конструкторское дело освоила довольно быстро.

К этому времени Ли уже лет десять был женат, жену очень любил и никаких связей на стороне не имел, если не считать двух-трех однодневных аккордов, завершающих перешедшие в разряд полузабытых воспоминаний старые холостяцкие романы. И в этот раз выбор им своей спутницы диктовался исключительно

деловыми соображениями, никаких нескромных видов на нее он не имел.

В Таганроге они справились быстро, и, переночевав, соответственно, в мужском и женском заводских общежитиях, они, после предложенного Ли беглого осмотра городских достопримечательностей, отправились на железнодорожную станцию, чтобы в дневное время совершить пятичасовой переезд на «строящийся объект». Поезд по зимнему и непраздничному времени был полупустым, и они расположились в отдельном купе. Когда усаживались, Инна, чтобы взять журнал из своей сумки, наклонилась и оперлась рукой о колено Ли, а когда журнал уже лег на столик, ее рука не только осталась на колене, но и потихоньку двинулась вверх по ноге. «Начинается», — подумал Ли. В это время проводник открыл дверь и спросил, нужен ли чай, и Инна отдернула руку.

Остаток пути прошел в разговорах «ни о чем», но Ли ощущал нарастающее напряжение и предчувствовал хорошо знакомое ему развитие событий.

На объект они прибыли, когда уже стемнело, а в приобъектном поселке их подстерегали сразу две смутно предвиденные Ли неожиданности — в гостинице не было света: что-то где-то перегорело, и свободен был лишь один «двойной» номер.

— Ну что, рискнете? — спросила бравая сорокалетняя администраторша и добавила, подмигнув: — По-моему, ни у кого из вас от этого не убудет.

Инна промолчала, и Ли за себя и за нее ответил:

— Рискнем!

Когда администраторша, сложив их паспорта, чтобы утром внести в список гостей, откинулась на своем стуле, у ее тени на стене от двух горящих свечей на голове появились небольшие рога. Ли внимательно посмотрел на нее и успокоился, «рога» были всего лишь отражением двух завитых локонов.

В номере они зажгли выданный им огарок, расстелили кровати и по очереди сходили в душ. Густой полумрак позволял не стесняться друг друга. Две простыни из одной постели они использовали как банные полотенца, а в другую постель улеглись нагишом. Тело Инны пылало, и Ли дал волю своим рукам и губам. Ему казалось, что у его подруги, излучая энергию, искрится каждый золотой волосок, и он чувствовал, что каждый миллиметр его тела эту энергию принимает.

«Значит, скоро будет *дело*», — подумал Ли и глубоко вздохнул.

— Чего ты? Сердце болит? — спросила Инна.

Ее рыжая головка, лежавшая на груди Ли, в это время едва заметно, медленно заскользила вниз, и это движение сопровождалось легкими, почти неощутимыми поцелуями.

— Просто я отвлекся, — улыбаясь, ответил Ли.

— Ничего. Сейчас ты… — договорить она не смогла, потому что ее ротик уже был занят.

Книга третья
Пещера

И Мы закрыли их уши в пещере на многие годы.

Коран, сура 18 «Пещера»

Есть грозный Суд: он ждет;
Он не доступен звону злата.
И мысли, и дела он знает наперед.

М. Лермонтов

Плоть человека — свиток, на котором
отмечены все даты бытия.

М.Волошин

I

Вторая статья, обещанная Ли заместителю министра, оказалась не такой простой. Чтобы она выглядела «прилично», требовались сведения о фактическом уровне вибрации конструкций. «Отделение» таких работ не производило, и Ли убедил хозяев объекта поставить вопрос о приглашении для измерений специалистов одного из профильных институтов министерства энергетики. Ли рассказал о возникшей проблеме, связавшись по телефону с секретариатом Ф., и его помощник сказал, что такого рода институт есть в Тбилиси.

Начало года у Ли было загруженным, и он смог двинуться в Грузию лишь в середине марта. Прямого самолета из Харькова в Тбилиси не было, и Ли улетел в Адлер, рассчитывая, что это решение будет столь же удачным, как полет в Вильнюс через Минск. Но на этот раз не получилось: самолет в Тбилиси улетел часа за два до его прибытия; на поезд, идущий из Сочи в столицу Грузии раз в двое суток, он тоже опоздал. Сначала Ли нервничал, но потом решил расслабиться, сел в электричку и поехал в Сухуми. К полуночи добрался до гостиницы и выпросил себе номер до утра.

Утром на вокзале он оказался перед выбором: дежурить у касс, ожидая проходящие поезда, и добраться в Тбилиси к вечеру, либо купить удобный билет в местный состав и провести следующую ночь в вагоне. Ли выбрал второе и с билетом в кармане уехал на весь день в Новый Афон.

Там он бродил по приморскому парку, потом оказался у водопада, поднялся на железнодорожную платформу между двумя тоннелями, прошел по ней к тому месту, где она упиралась в подножие Иверской горы, и там впервые заметил узкий проход в долину Псцырхи.

Ли медленно двинулся вдоль реки. Уже шагов через пятьдесят на его пути появился небольшой мостик. Мостик стерегла змея, свернувшись клубком на солнышке посреди пролета. Эту змею Ли не знал, но из Туркестана он вывез глубокое уважение к возможностям этих представителей пресмыкающихся. Поэтому он издали швырнул в нее небольшим камнем, попавшим в самый центр клубка. Змея подняла голову, посмотрела на Ли и зашипела, но второй камень, упавший рядом с ней, заставил ее покинуть теплое место. Медленно и недовольно она уползла на другой берег и скрылась в кустарнике. Ли, на всякий случай, бросил еще один камень в кусты и услышал тихий шорох прошлогодних листьев: это змея отползала в глубь зарослей. Только тогда он перешел мост и ступил на тропу, петляющую среди нависших над речкой скал и камней.

В долине уже бушевала весна со всеми своими ароматами и птичьим щебетом. Здесь она ощущалась сильнее, чем среди вечной зелени Афона. Постепенно долина расширилась, и на пути Ли стали попадаться «смеющиеся» нежно-зеленые рощи и поляны, как сказал бы поэт пушкинской поры.

Наконец он достиг места, где в эту, ставшую уже широкой, долину входила другая — узкая и густо заросшая кустарником и лесом, круто поднимающаяся вверх. В этом месте была большая поляна с двумя могильными холмиками. К могучему дереву, одиноко стоявшему на поляне у этих могил, ржавым перочинным ножом была пришпилена небольшая выгоревшая картонка с выцветшей надписью: «Пещера отшельника в ста метрах от могилы святого». Ли постоял над могилами, думая о тех, кто выбрал себе для вечного сна эту прекрасную долину, потом посмотрел в сторону, указанную стрелой, нарисованной под надписью. Там начиналась утоптанная, но очень узкая, уходящая в заросли тропа.

Ли двинулся по ней. Вскоре тропа вышла из зарослей и стала подниматься по горному склону. Ли отметил про себя, что «сто метров» он давно прошел, а тропе еще не видно конца. Еще через

несколько сот метров довольно крутого подъема тропа вышла на небольшую площадку с почти отвесными стенами с двух сторон и с крутым обрывом с третьей стороны. В одной из стен темнело отверстие.

Чтобы пройти внутрь, Ли пришлось стать на колени и сделать так несколько шагов. Внутри уже можно было выпрямиться во весь рост. Ли остановился, и через несколько секунд его глаза привыкли к темноте. Он увидел, что стоит посреди небольшой, очень сухой пещеры. Пол ее был ровным, и в одном углу была вырублена своего рода скамья. Только когда Ли на нее сел, он заметил по левую руку небольшую, тоже вырубленную из скалы полочку. «Что ж, стул и стол есть, а кроватью был пол пещеры», — подумал Ли, и вдруг почувствовал, что его мысли вырвались из-под контроля его воли, и в его воображении возник калейдоскоп самых неожиданных воспоминаний. Ли без всякого сопротивления отдался этому беспорядочному потоку образного сознания и перестал замечать течение времени. Когда он, наконец, вырвался из-под странной власти этого потока, пещера показалась ему освещенной каким-то неясным светом, и он обратил внимание, что в ней стояла абсолютная тишина — сюда не долетали ни шепот древесных крон, ни щебет птиц, занятых своими весенними играми. Здесь можно было остаться наедине с собой и со Вселенной.

Когда Ли вернулся в Афон, солнце уже склонилось к горизонту, и он, испугавшись, что не поспеет на свой поезд, сел в попутную машину и минут через двадцать вышел у Сухумского вокзала. Когда он уже определился в вагон, и поезд побежал сначала через еще незнакомые ему сухумские улицы, а потом по морскому берегу над пустующими пляжами, впитывающими белую пену волн, Ли вспомнил минувший день час за часом и минуту за минутой, и более всего поразило его в этих воспоминаниях то, что уже на пути к пещере отшельника он *точно знал*, куда идет, и что, возвращаясь в Афон, он *точно знал*, что в этой пещере ему еще предстоит побывать в будущем.

II

Он сразу же влюбился в Тбилиси еще до того, как он наполнился для него людьми. Ли остановился в «Интуристе», где чуть ли не пятиметровой высоты потолки едва белели в вечернем сумраке, когда горела только настольная лампа или ночник. За окном шла долго не затихающая вечерняя жизнь Головинского проспекта. Он бродил по этому городу целые дни сам, вживаясь в

его камни и стены, ел во всяких харчевнях попроще, вслушиваясь в незнакомую цокающую речь. Деловая часть визита, к его радости, заняла немного времени, и он не стремился немедленно упрочить наметившиеся связи. Это было истолковано как признак скромности и личного достоинства, которые ценились в здешних краях. Ли был уверен в том, что еще не раз вернется сюда и смело отложил «на потом» и встречу с академиком Мусхелишвили, порученную ему Черняевым в порядке восстановления старых связей и в надежде, что президент грузинской Академии наук что-нибудь и как-нибудь для него сделает («он мне многим обязан, он помнит», — многозначительно повторял Черняев, передавая Ли записку для «друга Николая»), и поиск Нининой тетушки, связи с которой из-за вздорного конфликта между тремя сестрами разорвались лет десять назад.

По выданному ему в Харькове адресу тетушку в старом доме в начале Иерусалимской он не нашел, расспрашивать не стал и вместо этого побродил по Верийскому кварталу, откуда по материнской линии происходила Нина. Для очистки совести он на прощальном обеде в доме профессора Арошидзе, тоже старого тбилисца, спросил, не знает ли он чету Вартановых. Тетушка, по словам Нины, была замужем за сыном богатого армянского купца-фармацевта. Арошидзе рассмеялся и сказал, что Тбилиси — на треть армянский город, и Вартановых здесь, «как у вас Ивановых». В доказательство своих слов он приказал принести телефонную книгу, и Ли действительно увидел длинный список Вартановых, но отчества нужного ему человека он не знал и поиск свой прекратил, а высвободившееся время до конца истратил на блуждания по древнему городу.

Другой Ли, Ли-скептик, его alter ego, с усмешкой наблюдавший безоглядную влюбленность своего сентиментального двойника, пытаясь свести все к шуткам, говорил ему, что он метит любимое пространство частицами души, как какой-нибудь пес, закрепляющий за собой единую и неделимую территорию, опрыскивая ее своим остро пахнущим мускусом. Но эти сравнения не смущали сентиментального Ли.

Ехать обратно он решил московским скорым. Тот уходил засветло, дни уже были длинные, и Ли намеревался хотя бы из окна вагона посмотреть Восточную Грузию. Он полюбовался Мцхетой, Гори, а при подъезде к Хашури уже совсем стемнело, и он пошел в вагон-ресторан, вспомнив, что за весь этот долгий день лишь дважды побывал у Лагидзе: один раз съел пару горячих пончиков со стаканом «сливочной», а в другой раз одолел аджарский хачапури.

В ресторане он случайно оказался за столиком с двумя

имеретинскими евреями, ехавшими из Гори до Зестафони, естественно, без билетов и потому коротавшими в ресторане свой относительно недолгий путь. Из чувства национальной солидарности, в которой Ли сразу же сознался, евреи накормили и напоили его до отвала всем самым лучшим, что можно было найти в этом ресторане, потом бережно отвели его в купе и там «забыли» на столике пачку хороших сигарет, коробок спичек и пару бутылок лимонада Лагидзе с серебряной фольгой.

III

От выпитого и съеденного Ли спал недолго, и когда, проснувшись, залпом выдул одну из бутылок и, взяв пачку сигарет, вышел в коридор вагона, поезд подходил к уже хорошо знакомому ему Сухумскому вокзалу. В его вагон сел бравый майор, русский кавказец — местный, поскольку его провожал кто-то из домашних. А так как во всем вагоне было лишь одно свободное место (из того купе, где ехал Ли, в Самтредиа вышел пожилой грузин), этот майор оказался соседом Ли.

Досматривать сны майор не спешил и, забросив вещи в купе, тоже остался в коридоре покурить. Поезд тронулся, и минуты через две-три майор рукой с дымящейся сигаретой показал Ли довольно красивый двухэтажный особнячок в квартале от быстрой Гумисты и сказал с лаской в голос:

— А вот и мой домик! Только когда я его опять увижу — не знаю!

Ли, поняв, что ему предлагается начало разговора, и следующий ход за ним, решил слегка развеять дорожную скуку и спросил:

— С чего бы это? Страна вроде не воюет. Пока…

Майор, слегка взорвавшись отрыжкой густого винного перегара, доверительно сообщил:

— Зато воюют другие. Вот скоро жидочков пощекочут там, в ихнем Израиле. А нам, южным христианским людям, к жаре привыкшим — офицерам из здешних русских, армянов и грузинов — предложили ехать к Насеру военными советниками. Я уже там раз был, на рекогносцировке, как говорится. Сам Насер нашу компанию принимал.

Имя Насера — «надежного партнера великого Советского Союза» в его смертной борьбе с «наглым Израилем» — было у всех на устах и даже присутствовало в народном фольклоре: как один из арабов, назначенных Никитой «героями Советского Союза», он упоминался в шуточном стишке, заканчивавшемся

словами о том, что «герой эсэсэсэр Гамаль Абдель на всех Насер». Или в другом варианте: «Абдель на всех на нас Насер».

Здесь я позволю себе некоторое историческое отступление от записок Ли Кранца. Приведенные им строчки из существовавшего в нескольких вариантах известного стишка, относящегося к фольклору «шестидесятников», были как-то лет десять назад процитированы неким литератором по фамилии то ли Разбитов, то ли Небитов в его авторском комментарии к одному из собственных сочинений. До выхода содержащего это произведение «толстого» журнала его фрагмент опубликовала «Литературная газета», и в этом фрагменте также цитировался стишок «про Насера».

В то время юдофобство как раз переставало быть партийно-идеологическим секретом и выходило на просторы русской культуры и в массы в виде сотен разного рода «патриотических» журнальчиков, газет и газетенок, значительная часть которых финансировалась ближне- и средневосточными «большими друзьями Советского Союза», а распределялось это пособие группами иракских, сирийских, иранских, ливийских и прочих журналистов, чувствовавших себя тогда в Москве, где были «представительства» многих террористических организаций вроде «Черного сентября», как у себя в Дамаске, Багдаде или Тегеране. Одна из таких групп публично (в виде «письма в редакцию») вступилась за обиженного покойного Насера, популярно разъяснив редколлегии «Литературки» и Разбитову то ли Небитову, на кого они посмели замахнуться. После этого в очередном своем номере газета «отмежевалась», а Разбитов покаялся в своем грехе и слезно просил прощения за свою выходку. Улетающий летел, летел. И сел. Прямо в говно. И больше уже не улетал.

Что касается стишка, то он так же, как известная тогда же песня Высоцкого («отберите орден у Насера»), отражал глухое недовольство общества Никитой Хрущевым, щедро раздававшим окропленные кровью истинных героев награды фашистам и наемным убийцам типа Меркадора.

Ли, давно уже приглядывавшийся к Насеру после их случайной встречи в Москве на Каменном мосту, никак не мог преодолеть какую-то внутреннюю симпатию, которую вызывал в нем к себе этот красивый и динамичный человек. И даже похабная «народная» частушка не влияла на его отношение к этой незаурядной личности, поскольку Ли понимал, что Насер, а не другие «герои» — Бен Белла или «маршал» Амер — присутствует в ней лишь ради рифмы и в связи со вторым, приятно щекочущим русское ухо, смыслом его фамилии.

Но дела, в которые Насер все больше и больше впутывался, подталкиваемый Москвой, сильно настораживали Ли, и болтовня попутного майора его серьезно заинтересовала. Он решил продолжить беседу:

— Где же вас принимал Насер? Во дворце?

— Ну, дворец или не дворец, я не понял, мы его проскочили быстро. Но кабинет его я запомнил: очень скромный — огромный письменный стол, пара кресел, масса книг и никаких излишеств.

В этот момент Ли впервые за последние почти десять лет вдруг «подключился» к подсознанию майора и увидел откуда-то слева картину: огромный письменный стол, склонившийся над ним своим правым полупрофилем Насер, и на столе какое-то круглое стекло, закрепленное в игрушечной ладье прямо против физиономии президента. Ли продолжил разговор вопросом:

— А что, все ваши сразу согласились ехать в Египет воевать с евреями?

Ли не смог себя заставить перейти на национальную терминологию храброго вояки.

— А кто ж откажется? — вопросом на вопрос ответил тот и продолжал: — И деньги хорошие, и свет повидать, да и пощупать жидков — святое дело… Впрочем вру, — грузинчики отказались!

— Почему? — удивился Ли.

— Да понесли они всякую чушь, вроде того, что они много тысяч лет живут в дружбе с жидовьем, и совесть им не позволяет обижать братьев. И вправду — братья. Ты их собственных жидков видел? Русский человек их ни в жисть от грузинов не отличит. В общем, психи!

— Ну, может быть, и не психи, — спокойно сказал Ли. — Ведь есть же Божий Суд, и, может быть, они его боятся.

После этих слов майор подозрительно посмотрел на Ли и отодвинулся, быстро докурил сигарету и со словами «ну, я спать пошел» скрылся в купе. А Ли продолжал смотреть на море и лишь после Гудауты, когда поезд временно отошел от побережья, тоже отправился вздремнуть и заснул так крепко, что проспал не только Сочи и Туапсе, где хотел побродить по перронам, но и Ростов, где вышел из поезда бравый майор. В этом поезде майор «забыл» всего лишь одну вещь — интерьер кабинета Насера, навсегда застрявший в бездонных закромах памяти Ли.

Лет через двадцать Ли с Ниной и уже взрослым сыном последний раз отдыхали втроем в Сухуми. Друзья разместили их в одиноком трехэтажном здании, стоявшем прямо на берегу моря в большом саду мандариновых деревьев и цветущих в разгар лета деревьев фейхоа, примыкавшем к «даче Гречки — Ярузельского», на левом берегу Гумисты. Сын и Нина днем отдыхали, а Ли

отправлялся в близлежащие магазины и немного бродил по окрестностям, разглядывая крепкие хозяйства сухумских пригородов, и однажды добрел до особняка, указанного ему из окна бравым майором. Его поразила странная пустота подворья, откуда вышел пожилой армянин и тщательно закрыл за собой калитку.

— А тут был хозяин, военный, он уехал? — спросил Ли.

— Да, сынок, был и есть, — отвечал армянин. — Но он лет пятнадцать назад был тяжело ранен и все лечится, никак не вылечится, а дети разлетелись. Он с женой приезжает обычно в октябре, когда нет такой жары, а я пока присматриваю.

Еще лет через семь Ли увидел по телевизору панораму грузино-абхазской войны. Линия фронта тогда как раз проходила по Гумисте. Весь квартал, где был дом бравого майора, вероятно, ставшего потом полковником, представлял собой груду дымящихся развалин. Война, которую он нес в дома других людей, вернулась туда, где начинался его кровавый путь, в его собственный дом. Потому что «кто мечом убивает, тому *надлежит* быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». И не спасет нечестие нечестивца. Таким должен быть Закон — единственный и справедливый. Но почему при этом разрушались дома и гибли непричастные, почему разрушен Град, где Ли отдыхал душой, почему из-за происков жаждущих крови и власти негодяев погибли те, кого он всегда хотел видеть живыми и благополучными? — Вот что мучило и не давало успокоения его душе.

IV

После таких необычных зимних путешествий Ли показалось, что в его жизни наступил «отлив», и летний отпуск как-то сразу не заладился. Когда Ли уже его оформил, тяжело заболела Нина, а когда ее поставили на ноги, у Ли оставалось свободных всего две недели.

Они по многочисленным советам знакомых и бывалых людей решили ехать в Феодосию. Причин для их решения было несколько: во-первых, туда был прямой поезд из Харькова, во-вторых, этот поезд, как и в Сочи, привозил прямо к морю, и никаких автобусов и троллейбусов, чтобы ехать дальше, там не требовалось, и в-третьих, они там еще не бывали, а отзывы о «Золотом», да и о городских пляжах были великолепными.

Еще пару дней ушло на сборы, и когда, наконец, они вышли на привокзальную площадь в Феодосии, обнаружили, что у сына

температура более 38 градусов. Времени и сил на выбор жилья у них не было, и они согласились на первое попавшееся предложение, исходившее от человека со старым, горбатеньким «москвичом». Этот «москвич» привез их в Айвазовское, в частный дом в двух кварталах от «пляжа у мазутохранилища». На этот пляж они и вышли дня через три-четыре, когда сын пришел в норму.

И пляж был грязный, и это предместье было жарким, пыльным и грязным, с устойчивым запахом отхожих мест «системы сортир», только их дворик был прохладным и чистым. Ухоженными были и несколько улиц в центре города, куда они отправились, чтобы попасть в галерею Айвазовского.

Море на Золотом пляже им очень понравилось, но чтобы туда добраться, нужно было минут двадцать трястись в душном, забитом до отказа автобусе, поскольку пассажирского причала, как и какого-нибудь укрытия от безжалостного солнца там тогда еще не было.

Их дела осложнялись тем, что отпуск Ли подходил к концу, и он, на сей раз скрепя сердце, оставил в Феодосии Нину с сыном в надежде, что, расправившись с первоочередными делами, он сможет выкроить еще одну свободную недельку. «Первоочередные дела» заняли у него почти десять дней, и за это время он получил от Нины телеграмму с указанием ее нового адреса и письмо, где объяснялись происшедшие перемены. Оказалось, что сына укусил хозяйский пес. Нина это происшествие посчитала дурным предзнаменованием и, поддавшись восторженным рассказам случайной пляжной знакомой, вмиг собрала вещи, и они уехали в Коктебель. Там, несмотря на разгар сезона, им удалось снять галерейку в двух шагах от моря, за дачей академика Микулина у самого подножия Карадага.

Ли был потрясен этими известиями: это был первый и, как оказалось, последний в их долгой совместной жизни самостоятельный и решительный «организационный» поступок Нины, так как бремя выбора решений и реализации всех их странствий всегда лежало на Ли. Эта необычная информация усилила стремление Ли к ним присоединиться, и он вскоре прибыл в Феодосию.

Первым делом он направился к их первому хозяину. Ли в своей жизни был искусан десятком разных животных — собаками, кошками, лошадью, полевыми и летучими мышами, ящерицами, змеей, скорпионом и еще бог знает кем, и ни разу не проходил вакцинаций. Мучить пастеровскими прививками сына ему тоже не хотелось. Поскольку контрольный двухнедельный срок уже приближался, в том, что собака жива-здорова, он мог убедиться

сам до их возвращения в Харьков. Но Ли на всякий случай договорился, что хозяин даст телеграмму о том, как пес будет себя чувствовать через два месяца после происшествия. Текст телеграммы: «Джим здоров, кушает хорошо» за подписью хозяина и деньги на ее отправку Ли тут же оставил.

Забегая вперед, сообщим, что за два месяца в харьковской суете и он, и Нина напрочь забыли об этом происшествии и были крайне удивлены, когда пришла эта телеграмма, тем более что веселые айвазовские почтмейстеры то ли ошиблись, то ли намеренно поменяли местами кличку собаки и подпись хозяина, и получилось так: «Букин здоров кушает хорошо Джим». Ли долго хранил эту телеграмму как реликвию.

V

Коктебель и место в нем, доставшееся Нине с сыном, покорили сердце Ли. Уже на второе утро, встав по обыкновению раньше своих, он вышел к морю и, дойдя до той части берега, где раскапывали кил, стал по узкой тропе подниматься на склон Карадага. Пройдя невысокую, почти кустарниковую рощицу, он вышел на широкий луг, уходящий за северный склон горы, где уже в дали виднелось небольшое стадо овец. С другой стороны горы профиль Волошина от изменения точки наблюдения распался, и сейчас Ли видел только несколько стоящих в беспорядке остроконечных скал. Ли вспомнил, что еще в момент пробуждения и все утро в нем звенели мандельштамовские строки: «В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, и сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина».

«Все уже есть, — подумал Ли, — не хватает только хрустального омута». Если бы он тогда знал, что половина его любимого цикла «Tristia» написана здесь, в Коктебеле, «где обрывается Россия над морем черным и глухим», он бы, вероятно, понял причину этого наваждения.

Луг опять сменился полосой густого кустарника, но тропа уверенно ее преодолела, а за нею оказался луг поменьше, и трава на нем уже была совершенно иной — невысокой и жесткой. Было много голубых и белых цветов, а сверху, над ним, над этим лугом, сплошной стеной нависали голые камни. Ли пошел прямо к ним и при приближении увидел, что между этими камнями был проход, а за ним — небольшая площадка. Ли понял, что эти камни и есть вершина горы. Он подошел к южному краю площадки и далеко внизу увидел море. Находившийся под ним

берег он не видел. Вероятно, скалы, на вершине которых он стоял, нависали прямо над морем.

Ли стал внимательно рассматривать вершину Карадага. Одна из скал, составлявших ее, была расколота то ли молнией, то ли ветрами, дождем и морозом. Ли стал разбирать валявшиеся тут же в беспорядке обломки. Его внимание привлек почти правильный многогранник: его сколы прошли, вероятно, по самым граням кристаллической решетки, не нарушив прозрачности породы — горного хрусталя.

Впрочем, его грани были так малы и так многочисленны, что на первый взгляд этот осколок выглядел почти правильным шариком, хрустальным шаром, чуть превышавшим по своим размерам биллиардный. Ли посмотрел вглубь, в прозрачные глубины камня и был поражен необъятностью его внутреннего пространства. «В хрустальном омуте какая крутизна!» — снова зазвенела в нем мандельштамовская строка. Несколько непрозрачных граней камня — в прошлом, вероятно, обветренная и нетронутая тысячелетиями поверхность глыбы, — были в этом внутреннем объеме осколка так далеки и так рельефны, что Ли надолго застыл над ним, рассматривая их во всех деталях. И тогда он заметил, что посредине этого пятна, созданного непрозрачными или почти непрозрачными гранями, едва различимые штрихи образовали три концентрических окружности, в общем центре которых было черное пятнышко. «Прямо как мишень в тире», — подумал Ли и спрятал камень в карман.

Даже от непродолжительного пребывания на вершине Карадага Ли почувствовал прилив энергии и физической, и той, специфической, которую он считал порождением Хранителей его Судьбы. Впрочем, для обратного спуска никакой энергии не требовалось, и Ли проделал его почти бегом по знакомой тропе минут за пятнадцать. Нина и сын уже поднялись и, позавтракав, они, не одеваясь, пошли на пляж.

Через пятнадцать лет Ли стал часто бывать в Восточном Крыму по делам службы. Однажды он приехал в Айвазовское, где в это время уже расположился феодосийский автовокзал, а чтобы пересесть в харьковский поезд, нужно было только перейти автомобильную трассу. До поезда оставалось часа два, и Ли пошел бродить по пригороду. Все вроде бы было на своих местах — и мазутохранилище, и летняя жара, и пыль, и грязь, и вонь отхожих мест, но найти домик за высоким каменным забором, где в 66-м Букин и Джим были здоровы и кушали хорошо, Ли не смог. С тем и уехал.

В другой раз он с сейсмологами ехал машиной из

Симферополя на мыс Казантип — в Крымское Приазовье, и по пути они свернули в Судак, чтобы осмотреть место для будущей сейсмостанции. Из Судака же двинулись прямо на Феодосию, не возвращаясь на Симферопольско-Керченское шоссе. Минут через двадцать они въехали в Коктебель с запада. Ли попросил остановиться и пешком пошел к дому Волошина. Оттуда он попытался по знакомым дорожкам дойти до домика с галерейкой, давшего его семье приют в 66-м, и тоже не смог его отыскать.

Потом он быстро прошел к «разработкам» кила и, обойдя их, не смог найти той узкой тропки, что почти двадцать лет назад занесла его на вершину Карадага. И тогда в душу Ли вкралось подозрение, что в том странном шестьдесят шестом году — году концентрации сил Зла — году с тремя шестерками, из которых одна была перевернута, вся их феодосийская и коктебельская реальность была лишь декорацией, возведенной для того, чтобы произошло то, что произошло.

VI

Осень же 66-го была в жизни Ли относительно спокойной. Он закончил вторую статью, можно сказать, заказанную заместителем министра Ф., и сам отвез ее в уже знакомую редакцию, тем же способом «организовав» себе высочайшее приглашение в столицу. В секретариате Ф. его уже приняли как старого знакомого, и, в ожидании возвращения хозяина со «Старой площади», помощник Ф. угощал его чаем-кофе с коньячком и охотно рассказывал о разных правительственных новостях, циркулировавших на уровне «чистых» коридоров различных министерств. Ли осторожно его выспрашивал; как всегда, его больше интересовали персональные характеристики тех, чьи фамилии мелькали в правительственных материалах. Дело в том, что, хотя в жизни Ли больше не повторялись мощные прорывы в философию и историю, подобные зиме сорок восьмого, весь огромный массив приобретенных им тогда знаний не оставался мертвым грузом в его памяти. Ли был диалектиком от природы, и все, что он знал, теперь уже можно говорить, изначально, и все, что он узнавал впоследствии, находилось в его сознании в постоянном движении, создавая и круша не выдержавшие проверки системы и гипотезы, все взвешивая и исследуя, ища слова дельные и написанные верно, слова Истины, как сказано Екклесиастом.

Далеко не последнее место в этих исследованиях и исканиях занимали история и будущее евреев. На эту, как он уже

установил, вечную проблему он смотрел несколько отстраненно, поскольку ничего еврейского в его воспитании не было. Была и другая, более мощная для внутреннего мира Ли причина этого отстранения: когда время ослабило чувственное влияние Рахмы и где-то далеко во времени и пространстве остались милые ему тюрчанки, как всегда случайно, в его жизни сложилось так, что в круг его интимного общения попали славянки, преимущественно — украинки. Вероятно, украинский тип женственности в большей мере, чем все прочие, владел тем видом энергии, который был необходим Ли в его Предназначении. Во всех своих влечениях Ли был вполне нормальным человеком, нежным и благодарным за доставленную ему радость бытия, и в женском образе, избранном стихийно, его человеческое сознание искало и находило милые черты и вечную Красоту.

Это обстоятельство навеки «приковало» его к родным местам, и связать свои помыслы с жизнью в иных краях он просто уже не мог. Не считал он для себя возможным и изменение своей национальности, поскольку предполагал в своем происхождении наличие определенного кармического смысла. История же евреев интересовала его не как элемент собственной Судьбы, а как явная грань противостояния Добра и Зла на протяжении многих тысячелетий. Ли не считал эту линию противостояния единственной и допускал наличие таких же граней в отношениях белых и черных или приверженцев различных религиозных конфессий, но ему была доступна для его исследований лишь одна из них, а то, что он сам оказывался причастным к этому противостоянию, для него было чистой случайностью, и его образ мыслей позволял ему абстрагироваться от этого случайного факта.

Смерть Сталина поставила перед Ли два очень важных для него и связанных друг с другом вопроса: была ли попытка истребления большинства «советских» евреев в пятьдесят третьем случайностью, порожденной больным воображением убийцы-маньяка, либо это был очередной пункт давно намеченного плана, выполнение которого было сорвано Случаем, и в какой мере эта смерть была поражением сил Зла в советской империи и в мире. Первый вопрос требовал анализа прошлого, а второй — настоящего и будущего.

Когда Ли, будучи подростком, брал штурмом исторические знания, его мозг и память впитывали все подряд. Теперь перед ним стояла задача отфильтровать накопленное и выделить из него только то, что относится к интересующей его проблеме.

Его анализ показал, что во второй половине прошлого века Российская империя была единственной крупной державой в

Европе, в которой еврейские погромы проводились по инициативе государственной администрации, при поддержке регулярной армии и в большинстве случаев при поддержке христианской церкви. Эти погромы, как считал Ли, имели две цели: сохранение власти над разными народами на территориях, захваченных Россией в семнадцатом и восемнадцатом веках, — все тот же принцип «разделяй и властвуй» в русском варианте — и вытеснение евреев из страны как человеческого материала, непригодного для верноподданнического следования имперским принципам.

Обе цели не были достигнуты, поскольку еврейская эмиграция была многочисленной, но все же не массовой, а погромы отчасти порождали чувство солидарности с евреями не только порабощенных национальных меньшинств, но и «революционных элементов» из великороссов.

Имперская пресса назойливо пыталась доказать «русскому обществу», что все антидержавные процессы управляются из-за рубежа, что эту разрушительную работу и там, и здесь ведут евреи, используя как орудие незрелую русскую молодежь. В концентрированной форме весь набор вариаций на эти темы был выражен в стишатах Буренина:

> Гимназист вооружился
> Пистолетом и стилетом:
> Совершить убийство послан
> Он центральным комитетом.

Вооружили же гимназиста и толкнули его на убийство «два Еноха, трое Шмулей».

> Ибо знают трое Шмулей,
> Ибо знают два Еноха:
> За границей в комитете
> Доверять им стали плохо.

Террористический же акт, совершенный гимназистом, позволил Енохам и Шмулям отрапортовать за рубеж, что они «орудовали дело». Вот так.

Может быть, имперские правители и их боевые журналисты и понимали в глубине души, что пожар терроризма, охвативший империю, был всего лишь адекватной реакцией их «верноподданных народов» на правительственный террор, поскольку, по мнению Ли, только политический слепец или

человек, ослепленный ложью и ставший орудием сил Зла, мог не увидеть кармическую причинно-следственную связь между этими событиями, но ни свой путь, ни методы борьбы за «державу» они не изменили, и в ответ на сопротивление «евреев и их наемников» ими был сделан следующий ход: в общество была внедрена антисемитская пропагандистская фальшивка в виде «Сионских протоколов», ставших настольной книгой любого антисемита от Гитлера до Суслова, и усилиями Столыпина было воздвигнуто «дело Бейлиса». К моменту кульминации «расследования» этого «дела» братец премьера Столыпина и приурочил свое предложение о физическом уничтожении всех евреев путем искусственного — на научной основе — создания им условий невыживания. Свои «мысли» Столыпин-младший опубликовал за несколько лет до «Исправительной колонии» — репортажа Франца Кафки о привидевшемся ему кошмаре.

Убийство Столыпина, мировая война и две революции, казалось, навсегда свернули Россию со столыпинского пути. Правда, идея его младшего брата о создании условий невыживания была использована для учреждения в советской империи известного архипелага, куда отбор «поселенцев» первоначально производился по «классовому», а не национальному принципу.

После октябрьского переворота власть в империи на несколько лет перешла в руки большевиков-интернационалистов, попытавшихся воплотить в жизнь лозунг равенства наций.

Первые признаки готовящегося в империи еще одного переворота — на сей раз национал-большевистского — Ли обнаружил уже в год смерти «вечно живого», когда летом того же года Сталин на съезде «товарищей» вдруг вслух занялся национальными подсчетами и сообщил собравшимся, что в партии маловато великороссов и их процент нужно срочно довести до восьмидесяти—девяноста. «Съезд», тогда еще непослушный, посчитал эти иудушкины расчеты форменной чушью и проигнорировал их, не вникая в интонации. Если бы он вслушался в эти бредни, то понял бы, что и на «текущий момент» в «партии» великороссов было подавляющее большинство, и в манипуляциях с национальным составом явно просматривались не количественные, а качественные цели — затевалась чехарда, ведущая к устранению великороссов-интернационалистов и заменой их великороссами-националистами. Эту задачу своим врагам облегчили сами интернационалисты, устранившие оппозицию в первые годы своей борьбы за власть. Завершение тихого национал-большевистскою переворота Ли датировал годом своего рождения, когда в процессе «повышения» процента

великороссов ключевые посты в «партии» были заняты уже людьми «новой формации» типа Маленкова, Жданова, Щербакова, Хрущева, Булганина и многих других. Чтобы творить свое дальнейшее Зло без помех, можно было приступить и к физическому уничтожению интернационалистов. Сигналом к этому «процессу» стало убийство Кирова. Для сохранения уже воспринятого миром интернационалистского имиджа лозунг «равенства» был оставлен в силе, но некоторые нации стали «равнее», чем другие — процесс, подмеченный прозорливым британским коммунистом Оруэллом.

Как ни перегружены были национал-большевики в те первые свои годы собственными проблемами тихого повсеместного захвата власти, они не забывают главного пункта своей программы — превращения европейской части России от моря и до моря и от Варшавы до Москвы в чисто славянский анклав. Создание дальневосточной резервации для евреев и заволжской — для фольксдойчей с их мнимой «автономией» было первым шагом в решении этой «исторической» задачи.

После этого, пока чисто формального действия наступило в национальных проблемах временное затишье — национал-большевики были поглощены физическим истреблением поверженного противника. Процесс этого истребления практически растянулся до Второй мировой войны, начатой нападением Гитлера и Сталина на Польшу, ее разделом и захватом Прибалтики.

Будущее отношение национал-большевиков к еврейскому вопросу слегка приоткрылось в период взаимозадоцелования двух «фюреров», когда «каменная задница», Молотов, пообещал своим берлинским единомышленникам, что российский второй рейх приведет в соответствие с идеями немецкого третьего рейха не только свою внешнюю, но и внутреннюю политику, а выдача немецким национал-социалистам еврейских рабочих, бежавших из Германии в надежде на пресловутую «пролетарскую солидарность», и совместная охота гестапо и советских спецслужб за польскими «саботажниками»-евреями стали первыми шагами в этом намеченном «вождями» направлении.

Когда почти половину будущего чисто славянского анклава заняли немецкие национал-социалисты, их московские братья по вере в светлое будущее решили, что на временно оккупированной части страны нацисты лучше справятся с этим «приведением в соответствие», и не ошиблись: к концу 42 года практически все евреи, более миллиона человек на территориях Украины, Белоруссии, Прибалтики и Западной России были уничтожены руками берлинских единомышленников с помощью местных

энтузиастов, после чего живых иудеев там осталось намного меньше, чем в самом третьем рейхе и в союзных ему странах.

Чтобы не мешать этому долгожданному очистительному процессу, отрядам «командос» — партизанам — был дан устный, но строгий приказ «не рисковать людьми для спасения *мирного* населения». За нарушение этого приказа расстрел, а о каком *мирном* населении идет речь, все отлично понимали.

Следует также отметить, что столь желанное уничтожение евреев до конца 1942 года, когда дело уже было сделано, происходило при полном дипломатическом молчании советской империи. В отличие даже от таких стран, фашистских или союзных немцам, как Италия, Венгрия, Румыния, Болгария, «страна победившего пролетариата» не сделала ни одной попытки на правительственном уровне спасти преданных ею своих «граждан еврейской национальности», а граждане нееврейских национальностей, спасавшие евреев по велению совести, рискуя жизнью своей и своих близких, не только не были награждены за свои подвиги, но и оказались после войны под подозрением.

Преодолев собственную границу и вступив в Европу, московские национал-большевики продолжали действовать так, чтобы не помешать национал-социалистам уничтожить как можно больше европейских евреев, и нередко армия освободителей, вступив в концлагеря, заставала действующие на полную мощность, «чудом» уцелевшие, обойденные бомбежкой печи крематориев.

У Ли при осмыслении этих ситуаций даже возникло серьезное подозрение, что в самых верхах гитлеровской правящей иерархии — в той ее части, что ведала акциями уничтожения, находился сталинский резидент. Если бы это предположение подтвердилось, разрешились бы почти все загадки Катастрофы. Но в те годы информации о деятелях третьего рейха было очень мало, и Ли тогда не мог со всей тщательностью исследовать этот вопрос.

Послевоенные развлечения национал-большевиков — «разгромы» в культурной и научной сферах, где было немало евреев, и затем «борьба с космополитами», завершившаяся «делом врачей» и выходом на рубежи депортации «без права переписки», были закономерными элементами выявленной Ли довольно стройной цепи событий.

Смерть «вождя народов», как вскоре убедился Ли, не произвела переворот, и в новых правящих сферах империи сохранили свою власть и силу представители национал-большевистской когорты — Хрущев, Булганин, Суслов, Косыгин и

легион других, на свет не высовывавшихся.

Некоторое время эта компашка удерживалась от обвинений евреев во всех сложностях и опасностях, подстерегавших советскую империю на каждом шагу вследствие аморальности ее фундаментальных идей. Причина этой сдержанности была в том, что часть национал-большевистской элиты вошла во вкус зарубежных поездок и не хотела выглядеть там неандертальцами.

Но Ли, построивший эту историческую схему уже к середине шестидесятых, был уверен, что мурло или пятачок из-под европейской одежды «товарищей» обязательно выглянет. Пятачок высунулся в «деле Пастернака». Хотя сам Пастернак евреев чурался и по культурной направленности и по религиозным убеждениям был более русским и православным, чем вся великодержавная правящая камарилья вместе взятая, на определенном непечатном уровне усиленно распространялись слухи, что присуждение Нобелевской ему, а не хрущевскому свояку Шолохову было результатом «еврейского сговора».

VII

Отношение Кремля к Ближнему Востоку тоже не сразу приняло антиеврейский характер. Поначалу здесь реализовывался универсальный хрущевский политический принцип показа гнилому Западу «кузькиной матери». В основе же «кузькоматерной» политики лежало воспитываемое во всех «советских» людях с младенческого возраста убеждение в исконном праве России на управление всем земным шаром и в неотвратимости этого исхода для всего остального человечества.

Естественно, что это убеждение в своем мессианском предназначении национал-большевики не могли строить на химерах Достоевского и русских славянофилов — слишком от них попахивало шизофренией. Здесь была пущена в ход научная марксистско-ленинско-сталинская логика: марксизмом-ленинизмом давно доказано, что победа пролетариата во всем мире неизбежна, но к тому времени, когда он победит, у советской империи будет «огромный опыт построения социализма» и, следовательно, она как носительница этого бесценного «опыта» станет во главе всех на свете. Ну, а внутри империи главенствующую роль играл, играет и всегда будет играть «старший брат» — русский народ. Следовательно, русскому человеку самой матерью-Историей суждено править миром.

События второй половины пятидесятых можно было с грехом

пополам трактовать как «стремление человечества» к «свободе и справедливости»: внутрилагерные огорчения — бунты восточных немцев и венгров, «голодные» восстания в Новочеркасске и в Темир-Тау были, во-первых, решительно и без лишних слов подавлены, а во-вторых, смотрелись как досадные оплошности на фоне всемирной «освободительной борьбы», которая нуждалась и получила поддержку «страны победившего социализма».

В числе этих «борцов за свободу» попал в поле зрения национал-большевиков и Гамаль Абдель Насер. Ему помогли выпутаться из военного кризиса и стали активно поддерживать, хотя он был «идеологически чужд»: физически уничтожил «своих» коммунистов и был сторонником фашистской ветви идеологии тоталитаризма. Но это были мелочи, поскольку считалось, что главное — прогнать «империалистов», а отобрать власть у тех, кто их прогонит, будет уже совсем просто.

В начале шестидесятых начался долгосрочный кризис социализма — империя потихоньку сползала в очередной голод; за пределами столиц исчезали хлеб и молоко, «освободившиеся» страны не спешили становиться советскими республиками, все силы страны уходили в гонку вооружений. При появлении трудностей и сбоев национал-большевистская пропаганда вспомнила о евреях, поскольку для объяснения «народу» причин неудач нужны были вражеские козни. Обновляется антисемитская терминология и сеются слухи о противодействии евреев на всех направлениях продвижения народов мира к «светлому будущему».

Наличие «врага» требовало решительных действий, желательно чужими руками. И здесь экспансивный и впечатлительный Насер оказался самой нужной фигурой. Убедить его в том, что английский и американский «империализм» тайно и явно управляется евреями, не составило труда. А так как ближе всего к Египту евреи подошли, создав Израиль, то и первый удар должен быть нанесен по нему.

Под эту доктрину в Египет потекло вооружение, отправились батальоны шпионов («корреспондентов «Правды») и разного рода военных и штатских «советников», вроде того майора-попутчика.

VIII

О том, что они там зря времени не теряют, Ли сделал вполне определенный вывод, когда услышал, что «палестинский народ» создал «организацию освобождения Палестины». Сам термин «палестинский народ» был в глазах Ли, знавшего арабскую

историю и культуру, бессмысленной чушью. Так могли бы появиться и «брянский народ», и «курский народ, и «воронежский народ», и т. п. «Прогрессивная мировая общественность», перенасыщенная кремлевской агентурой, восторженно поддержала трансформацию нескольких миллионов саудовских, йеменских и трансиорданских арабов — потомков завоевателей, задержавшихся в Ханаане при расширении халифата, в некий «самобытный» народ, «не замечая» при этом, что тут же неподалеку пребывают в бесправии и на грани уничтожения несколько десятков миллионов курдов, действительно представляющих древний и самобытный народ.

Не менее удивительной чертой этой «*освободительной*» палестинской организации было то, что она была создана *открыто* и *легально на территориц, оккупированной* Иорданией, и ни единой акции против арабских оккупантов не предприняла. Аналогичным фантастическим действием было бы, например, создание легального управления партизанскими отрядами в центре оккупированного немцами Киева. Уже одно это обстоятельство полностью раскрывало направленность этого учреждения, придуманного советскими шпионами-«корреспондентами» «Правды» типа Жукова и Примакова и вооруженного до зубов советским оружием через насеровский Египет. Цели этой «освободительной» организации Ли были ясны: кремлевские национал-большевистские чудо-богатыри решили с помощью лижущих им зад «унтерменшей», доблестно уничтожавших еврейских женщин, детей и стариков, решить «еврейский вопрос» на Ближнем Востоке и с помощью одних потомков Авраама-Ибрахима, чья очередь на тот свет в их глазах еще не подошла, поохотиться на других потомков того же Авраама — естественно, на невооруженную и беззащитную их часть. Таково было развитие событий и летом, и осенью беспокойного для Ли 66-го. У него возникло ощущение, что эта дьявольская кремлевская смесь — смесь провокаторов и вооружений — вот-вот достигнет в Египте и вообще на Ближнем Востоке своей критической массы и породит войну, опасную для всего человечества.

Это ощущение опасности настолько приковало внимание Ли к внешнему миру, что он не сразу зафиксировал в своей памяти первое серьезное поражение империи Зла в ее борьбе с собственным народом: некоему Тарсису, несколько лет донимавшему «пролетарскую» власть «пасквилями на советскую действительность», не смогли порвать пасть внутренними способами, не помогло даже лечение от свободомыслия в психушке, и к нему применили самую «страшную» для

«советского человека» меру наказания — лишили гражданства и выслали живым и почти здоровым из страны. Ошибку поняли только когда поражение стало очевидным и попытались отыграться на Синявском, Даниэле и на чехолюбах, а эту «высшую меру» спрятали в сундук аж до разборки с Солженицыным.

IX

От столь трудных и сложных размышлений, перемежавшихся поездками на объекты, в Москву и Питер, Ли вспомнил об отснятой в отпуске пленке чуть ли не в ноябре, и, когда он полез в баул, где лежали неразобранными его вещи: несколько книжек, сохраненные по каким-то причинам выпуски летних газет, фотоаппарат и пленки, рука нащупала странный предмет. Вытащив его на свет, он увидел, что это шарик из горного хрусталя с вершины Карадага. Разложив все по местам, он уединился и опять окунулся в хрустальный омут. По какой-то непонятной ассоциации, разглядывая на свет полупрозрачную серую грань камня сквозь хрустальный объем, Ли вспомнил, как сегодня, когда он посмотрел по какому-то поводу на одну из своих молодых сотрудниц — Саню Л., на ее полные и мягкие губы, постоянно дрожавшие в приятной полуулыбке, его вдруг охватило мгновенное острое желание. Вспомнил, вероятно, потому, что на Сане было серое платье, а на его фоне — прозрачные крупные бусы, может быть даже из горного хрусталя.

Сейчас, когда он рассматривал свой камень и, наконец, увидел на серой грани почти забытые им концентрические окружности и сосредоточился на них до потери ощущения реальности, его вдруг снова охватило желание, и он даже почувствовал мягкие и ласковые Санины губы на своей напрягшейся плоти. Ли попытался переключить сознание на другие образы, и это ему удалось далеко не сразу.

Назавтра было воскресенье, и к понедельнику Ли совершенно забыл об этих странных происшествиях, тем более что первые дни недели обычно бывали перегружены и срочными делами, и почтой. Для занятий, выходящих за рамки повседневных дел, — подготовки статей, докладов, памятных записок и других документов он, как правило, использовал перерыв, когда почти все разбегались что-нибудь «доставать» в магазинах, благо что «отделение» находилось в самом центре города.

Так было и в этот понедельник: со звонком «народ» дружно ринулся к двери, поскольку губы и прически женщин уже были «подправлены» в рабочее время, а мужчины тогда же успели

перекурить. Вдруг Ли заметил, что против своего обыкновения Саня осталась в комнате за своей огромной доской в дальнем углу у окна. Выждав минут десять, Ли решил полюбопытствовать, что же ее так задержало, поскольку «комбайн» ее был неподвижен.

Заглянув за доску, он увидел, что Саня рассеянно смотрит в какую-то книжку, которую сразу же отложила в сторону, как только он подошел, и молча указала ему место, чтобы он оказался лицом к ней и полностью за доской.

— Вы меня позавчера вечером звали? — спросила она, и стала раскрывать ему змейку на брюках.

Ли был поражен: прежде эффект дистанционного внушения требовал от него нескольких предрассветных передач желания, тут же был один только миг, один порыв страсти — и он был принят и даже осмыслен и выражен в слове, чего прежде вообще никогда не бывало. Мысли эти отвлекли внимание Ли на мгновение, но когда он вернулся в мир, руки Сани уже гладили обнаженный островок его тела.

— Говорите все время вроде бы со мной, но тихо и невнятно, — сказала Саня и умолкла, потому что с этого момента ее ротик уже был занят.

И Ли послушно что-то тихо заворковал, так как в комнате за другими чертежными досками проводили свой перерыв еще двое его сотрудников.

Из-за «своеобразия текущего момента», как любил говорить «вечно живой вождь мирового пролетариата», Ли кончил очень быстро и от этого еще более смутился. А Саня, достав платочек, вытерла им губы, а потом и находившееся еще рядом с ее губами принадлежащее Ли орудие детопроизводства и стала возвращать его на место. «Я сам», — сказал Ли и быстро оправил одежду. Тогда Саня, глядя на него снизу вверх и улыбаясь, спросила:

— Вы этого хотели?

— Да, — сказал Ли, желая ответить более пространно, но сдержавшись.

— Имейте в виду, что я *так* делаю первый раз в жизни. Ваше желание было таким сильным, что передалось мне, и я решила…

Ли легко и быстро поцеловал обращенные к нему чуть раздвинутые губы и опять произнес лишь одно из тех слов, что теснились в его несколько смятенной от неожиданности душе:

— Спасибо…

— Вам тоже спасибо — идя к вам, я переступила ненужный рубеж. Все мое тело теперь ваше, если оно вам нужно, — сказала Саня, и опять, засмеявшись, добавила: — Но в задок не дам, и не внушайте мне, что это тоже приятно.

Саня была решительной и смелой в своем отношении к их связи, принимая Ли даже у себя дома, когда муж был в командировке, а ее старенькая бабушка уходила укладывать спать дочку в соседнюю комнату. Ли показалось, что за этим стоит довольно большой опыт, и он однажды спросил ее об этом и получил ответ:

— Вы у меня первый после мужа, но не могу сказать, что я не бывала на грани, как говорят, измены. Желания были, не было решительности.

Позднее Ли узнал, что не все было так просто и в его случае, так как к ее желаниям добавилась решимость лишь после того, как по анонимному звонку она отправилась по указанному ей адресу и нашла там своего мужа с его любовницей. Ли не был этим удивлен; за свои тридцать пять лет он уже привык к тому, что его величество Случай частенько работает на него. Энергетика Сани была очень слабой, но приемлемой для Ли. Это делало их отношения спокойными, без бурных соитий и бурных разрывов. Ли на некоторое время получил женщину-друга, и они иногда, любя друг друга, вдруг останавливались и, не разнимая объятий, принимались разговаривать о жизни, о самом интимном. Единственное, что тогда донимало Ли, это ее упорное желание оставаться с ним на «вы», даже сидя на нем верхом, или подставившись на коленях. Но с этим приходилось мириться, как ни смешны были ее фразы типа: «Вы можете еще не вынимать» или «Вы бы засунули его в меня поглубже, не стесняйтесь».

Неожиданная связь с Саней, не растревожив душу Ли, внесла в его жизнь размеренность и успокоение. Он стал «нормальнейшим» человеком, имевшим любимую жену, любимого сына и преданную любовницу. И недолгое пребывание в этом успокоении, которое ему хотелось сохранить на многие годы, привело к тому, что он иначе взглянул и на свое предназначение, и на свою миссию: оказавшись в положении смертного человека, желающего сохранить свой мир и свое счастье, он понял, что в борьбе за естественные ценности своего бытия человек имеет право уничтожить тех, кто им угрожает, где бы они ни находились: на пороге дома, в темных переулках или в президентских и королевских дворцах, тем более что выбор врага в данном случае осуществляли Хранители его Судьбы, а он был всего лишь палачом, бескровным палачом.

Книга четвертая
Покаяние

Что важнее для мира:
чтобы его покинул тот,
кого не должно было быть,
или чтобы пришел тот,
кому следует прийти?

Гамаль Абдель Насер.

Философия революции

Клади на него руку твою и помни о борьбе:
ты бьешься в последний раз.

Иов, 40: 27

Ой, не бейте муху!
Руки у нее дрожат…
Ноги у нее дрожат…

Исса

I

Обретенное не без помощи Сани состояние если не покоя, то во всяком случае душевного равновесия позволило Ли почти беспристрастно наблюдать и анализировать развитие событий. Он старался предугадать, когда во всем его естестве прозвучит знакомый ему призыв: «Пора!», но Хранители его Судьбы с этим не торопились, и, веря своим предчувствиям, он полагал, что ничего серьезного не назревает. Поэтому шестидневная война была для него полной неожиданностью. Насер и его союзники-сообщники были разбиты, кучи непобедимого русского оружия, включая танки и катюши, стальным ломом покрыли Синай, и в ближневосточной истории появилась новая точка отсчета. Ли, однако, не обольщался. Он знал, что «русского оружия» хватит и

на то, чтобы покрыть весь Египет, а не только Синайскую пустыню, и хотя репутация этого оружия несколько пострадала в шестидневной войне, Насеру другое оружие купить, а тем более взять даром просто негде. Он знал, что кремлевцы не вынесут поражения от евреев и сразу же приступят к новым провокациям в Восточном Средиземноморье и к новым поставкам оружия, чтобы успеть насладиться реваншем — «как этих жидков к ногтю прижмут» — в оставшиеся им считанные годы их гнусно-роскошной жизни.

Предпринятое Ли исследование и расследование подтвердило его предположения. Не отвлекло Кремль от ближневосточных забав даже необычное развитие событий в Чехословакии, где довольно большая группа литераторов вышла в бой за свободу. Как и почти все литераторы в мире, они несли наперевес свои перья, вернее, пишущие машинки, а не ружья. Но Слово в Империи Зла, особенно Слово Истины всегда считалось опаснее пистолетов и гранатометов. Национал-большевистская пропаганда, в «материалах» которой особенно часто с намеками или прямыми обвинениями в принадлежности к «сионистской резидентуре» (!) звучали фамилии Ашкинази и Гольдштюккера, докладывала всему миру, что «весь чехословацкий народ» как никогда сплочен и верен социализму. Слыша многократное повторение этих имен, «советские люди» и без пояснений знали, чем здесь так вкусно пахнет, чего нельзя было сказать о «чешских людях» — те упорно не понимали ни косвенные намеки, ни прямые разъяснения и сочувственно безмолствовали, готовые принять свободу из рук своих писателей и журналистов даже с такими неприличными фамилиями.

Пошли прахом и надежды на сытую чешскую партийную знать: в ее составе появились свежие люди, не торопившиеся эвакуировать несознательных литераторов в Париж. При обсуждении этих бед вышел из себя даже обычно невозмутимо угрюмый Косыгин. Когда при нем помянули кого-то из новых чешских «партийно-правительственных» главарей, сказав, что с ним надо бы встретиться на самом высшем, то есть хотя бы на его, Косыгина, уровне, Косыгин вскочил в ярости, затопотел ножками и закричал фальцетом: «С кем встречаться? Это — кто? Чех?? Словак??? Это же галицийский еврей!! Простой украинский жид!».

«И здесь пятачок высунулся из-под фрака!» — подумал Ли, когда Черняев пересказывал ему эту историю.

От Черняева же он узнал о бунте Сахарова. Его это известие искренне порадовало, хотя тогда он считал поступок академика личным подвигом человека, не пожелавшего быть купленным

холуем, и не мог предположить, какую роль сыграет он в разрушении Империи Зла.

В Чехию ввели танки, но что такое танк, которому нужен видимый и незащищенный враг, против пищащего, как сверчок из какой-то щели, литератора? Танки барражировали по старинным улочкам, но «вооруженная сионистами» литературная сотня нигде не обнаруживалась. Пришлось ее создать, и возникли вооруженные автоматами Калашникова отряды «националистическо-сионистского подполья». Трудность была в том, что бойцы в этих отрядах ни по-чешски, ни по-словацки, ни на идиш и ни на иврите говорить не умели. Но это уже были никому не нужные подробности: отряды «разгромили», изолировав их от населения. Раненые были с обеих (!!!) сторон, а о потерях умалчивалось. В результате мятежные литераторы и с ними еще тысяч десять человек, понадеявшихся на перемены, покинули Чехию и Словакию, а за руль этой «самостоятельной среднеевропейской державы» были посажены абсолютно надежные люди.

После этого Чехословакию сделали главным транзитным пунктом на пути переброски вооружений на Ближний Восток и в другие «развивающиеся страны». Тут же был создан один из мощных центров по подготовке террористов, и многие убийцы детей и мирного населения в странах Леванта, и более всего — в Израиле, прошли здесь полный курс своей кровавой науки. Этим решались сразу две проблемы: во-первых, Империя Зла оставалась как бы в стороне, поскольку все грязные дела творило «независимое» государство, а во-вторых, эти «мероприятия» служили весомой причиной содержания в Чехословакии большого контингента «мирных» советских войск. Эту тайную схему Ли воссоздал для себя без особого труда и понял, что свой реванш «империализьму» кремлевские стервятники готовят капитально, и что их адская кухня творить свое зло будет повсеместно, но на сладкое непременно будет подана еврейская кровь, благо на крохотной пяди азиатского континента евреев собралось уже довольно много.

II

Если бы речь шла об обычном человеке, то предыдущую главу следовало бы закончить словами: «Вот на таком фоне в конце шестидесятых проходила жизнь Ли». Но в случае Ли эта фраза совершенно неприемлема. И сущностью, и фоном его жизни были только его собственные тайные миры, а не бури и штили,

переживаемые человечеством. В своих явных мирах он стремился не к карьерному росту, а к повышению своего профессионализма во всем, за что ему приходилось браться. Учитывая, что в эти годы он становился достаточно известным в империи в своей отрасли инженером-журналистом, Ли считал своим долгом знакомиться со всем, что ему было доступно из советской и зарубежной технической литературы и периодики. Одной этой работы хватило бы на тридцать часов в сутки, если бы не способность Ли к диагональному чтению и прямому проникновению в суть написанного. Эти его качества позволили ему «уложить» просмотр всех профессиональных информационных материалов в рабочее время, и свой дом он постепенно полностью освободил от технической литературы.

Работа с большим объемом профессиональной информации позволила ему найти в ней «просветы» и «ниши». Он предложил крупному отраслевому издательству заполнить один из таких «просветов» небольшой книгой, которую был готов написать. Его предложение было принято, и работу над этой первой книгой, как бы ему чисто по-человечески ни хотелось предельно ускорить подготовку рукописи и взять, наконец, в руки собственное издание, он тоже полностью втолкнул в свое рабочее время.

Время за пределами «отделения» занимала семья, и не более часа в день он мог уделить своим непрекращающимся занятиям философией, историей человечества и анализу текущих событий — весьма сложному в те годы процессу, поскольку Истину в Империи Зла можно было добывать, лишь извлекая ее осколки из гор литературного и информационного мусора. Были еще две области, в которых он старался быть в курсе последних достижений: это были физика и астрономия — все еще закрытые или чуть-чуть приоткрытые двери в тот таинственный мир, чье влияние на его жизнь было, можно сказать, определяющим, и Ли старался не упустить ни одного открытия, связанного с теми формами и уровнями энергии, присутствие которых он ощущал всем своим естеством.

Праздниками в его жизни были командировки, когда время в поезде и вечером и утром в гостинице безраздельно принадлежало ему, и он мог плавать в своих мирах без всяких внешних помех. Раза два он брал в командировку Саню, но та использовала безраздельность принадлежавшего им времени в другом плане: почувствовав, что Ли управляет своими эмоциями, она не слазила с него ночи напролет, а если позволяли условия — то и в поездах. В таких поездках Ли не только не мог побывать в своих остальных мирах, но и от физической усталости с делами справлялся с трудом. Поэтому совместные путешествия он вскоре

прекратил и довольствовался не очень частыми интимными встречами в родном городе.

Нельзя сказать, что эти встречи были инициативой Сани. Ли вообще в отношении своих тайных миров, а мир его и Сани был для него тайным, никаких чужих инициатив не терпел. Саня ему была нужна для сохранения какой-то непонятной ему симметрии чувств, и когда их близость была ему желанна, он в предрассветные часы ставил перед собой свой заветный кристалл и сосредоточивался на едва заметной мишени внутри хрустального объема, и в тот же день Саня подходила к нему и говорила: «Не пора ли нам?..» И в несколько дней они решали все «организационные вопросы», связанные с их встречей.

Так Ли убедился в том, что кристалл горного хрусталя во много раз усиливает воздействие его внушения на расстоянии. Час же такого виртуального, как теперь бы сказали, общения с Саней он выбрал, выспросив у нее во время одной из их бесед посреди близости все подробности ее интимной жизни с мужем. Оказалось, что особенно после разоблачения его левых похождений, муженек трахал ее каждый день перед сном с «выходными» только в дни своих командировок и ее месячных. Услышав такое, Ли засмеялся и спросил:

— Зачем же тебе при такой интенсивной жизни еще и я?

— Вы же знаете, что это совсем другое. С вами я ребенок, а вы — моя игрушка, и я засовываю вас в свои дырки куда хочу, а если я начну это делать с ним, то как я отвечу на его неизбежный вопрос: кто тебя этому научил? Кстати, — добавила она, возобновляя медленные колебания всадницы на послушной лошади, — я уже не буду возражать если вы войдете ко мне через запретное окошко! Мне даже этого хочется!

— А мне не хочется, — сказал Ли.

— Врете! Вашу натуру я уже знаю. Если «не хочется» — скажите почему!

— Потом, — ответил Ли, поскольку он действительно врал и ему действительно хотелось, но ему казалось, что перейди он эту черту, и ему уже будет все равно, кто с ним — мужчина или женщина, и он добавил: — Слезь с меня и пойдем выпьем немного.

Она слезла, вытерла его и себя махровым полотенцем, и они выпили, а потом он взял из ее сумочки какой-то крем, смазал им запретную дырочку и осторожно, чтобы ничего не порвать, вошел в нее. Они лежали просто — бутербродиком и, уложив свои руки на ее не очень большие, но наполненные груди, он понял, что никогда не спутает девочку с мальчиком даже при такой неестественной близости. И еще его очень удивило то, что по

всем неоспоримым признакам полное удовольствие получил не только он, но и она. Каким образом — он понять не мог. С тех пор, если их встреча происходила среди пошлых удобств и их не подпирало время, она, стаскивая с него брюки, смеясь и глядя ему прямо в глаза, повелевала: «Сегодня работаем на все три дырочки!», а потом умолкала минут на десять, пока первая из этих трех была заполнена. До сего времени Ли считал свое чувственное образование завершенным, но эта инициатива Сани убедила его в бесконечных возможностях Эроса, и, погружаясь в Саню, лежащую ничком на животе, он наслаждался ощущением необычно полной близости из-за горячей теснины, откликающейся на его самое малое движение, и полным освобождением от тревог о последствиях, преследовавших его после каждой встречи, потому что ему казалось, как он иногда грустно шутил, что его подруги беременели от одного его взгляда.

С его отношениями с Саней связана и нечаянная проверка им дистанционного действия «магического кристалла». Однажды он за день до возвращения домой, перед сном в гостинице отложил книгу и, взяв из портфеля хрусталь, задумчиво рассматривал его на свет, и в этот момент, то ли он лег как-то так, что «память формы» вдруг возбудила его, то ли это было подсознательное осмысление только что прочитанного, но его тело на мгновение пронзило желание, имевшее смутный облик Сани.

Когда он с ней встретился, она сказала:

— Вы ведь приехали позавчера, я вечером почувствовала вас, и все приготовила уже на следующий день, а вы где-то спрятались на целые сутки.

III

И Ли не мог убедить ее в том, что его действительно не было в городе, тем более что предъявить билет он не мог, поскольку назад ехал «зайцем». Лениво пререкаясь с Саней, Ли думал о том, насколько же повышает силу его воздействия этот кристалл, с которым он последнее время не расставался. Имелись и знаки того, что о наличии у него столь мощного усилителя его энергетических воздействий было *известно*. К числу наиболее убедительных такого рода знаков Ли отнес случай в Донецком аэропорту. Тогда он теплым августовским днем семидесятого года приехав на рассвете в Донецк, за полдня закончил там все свои дела и, чтобы не сорвать свой приближающийся отпуск, решил вылететь на рейсовом «кукурузнике» в Славянск,

намереваясь там заночевать и с утра уже быть на объекте. Когда он взял билет, до вылета оставалось часа полтора, и он, прикупив еще ворох газет, пошел через привокзальную площадь перекусить в кафе. Он расположился на воздухе под навесом и, поскольку был один за столиком, свободно разложил свои газеты и принялся поглощать и пищу, и информацию одновременно. С пищей он скоро управился и, взяв еще «сто грамм», чтобы быстрее проходило время в полете, досмотрел прессу. Повсеместно среди бесконечных «успехов социалистического лагеря» были рассеяны сообщения о происках израильских агрессоров, имевших наглость возмущаться тем, что Египет завез в сорокакилометровую зону у Суэцкого канала советские ракеты, чего в действительности, как свидетельствовала самая правдивая в мире советская пресса, не было.

Протесты советской прессы против «лживой» империалистической и сионистской пропаганды были столь решительны, что Ли и без всяких «голосов» и «свобод», понял, что «вражеская пропаганда» и на этот раз не врет, и что ракеты и в самом деле уже там стоят, нацеленные на Израиль, а что в этих ракетах — ядерный заряд или старая добрая взрывчатка, сам Бог не знает. В изданиях же для интеллектуалов советские «историки» из числа «ближневосточных корреспондентов» типа арийцев Беляева и Жукова и еврея Примакова доходчиво напоминали о стремлении «международного сионизма» перекроить мир по-своему. В этой круговерти одной из главных фигур опять был Насер. И в тот момент, может быть, впервые за многие месяцы и годы своих взвешиваний и исследований, Ли пришел к мысли, что для пользы человечества Насер, к которому тянутся все бикфордовы шнуры будущего взрыва, должен был бы уйти.

Все эти размышления полностью отключили его от внешнего мира, и если бы в его сознание случайно не проникло слово «Славянск» в сочетании со словами «заканчивается посадка», он в тот день так бы и не улетел. Не заметил он и того, что пока он был «в отсутствии», погода в *этом* мире тоже переменилась, и вместо солнца над аэропортом висели синие грозовые тучи.

Первый раскат грома раздался, когда Ли, подхватив вещи, мчался через привокзальную площадь прямо к выходу на летное поле, где на боковой полосе виднелся «кукурузник», благо выход к самолетам тогда еще был свободным. А за секунду до второго раската в нескольких десятках сантиметров от его лица взметнулась ослепительная тонкая огненная веревка. На Ли повеяло жаром, последовал легкий толчок в лицо и грудь, но более всего его поразило то, что в кармане брюк едва заметно,

как живой, шевельнулся кристалл горного хрусталя. Вроде бы все было объяснимо: молния под углом ушла в чугунный люк канализационного или иного колодца, от которого Ли отделяли в этот момент два-три шага. Оглушительный раскат грома, будто небеса треснули прямо над головой Ли, свидетельствовал о ее вполне естественном происхождении, но Ли не покидало ощущение неслучайности этого происшествия, и он тогда даже с некоторым недоверием посмотрел на страшную тучу, к которой должен был взлететь «кукурузник». Но самолет легко пробил эту почти черную и казавшуюся очень плотной массу, превратившуюся за иллюминатором в темно-серый, постепенно светлеющий туман, и через минуту был уже в голубом пространстве, залитом красноватым светом вечернего Солнца.

IV

Когда он вернулся из этой поездки домой, его ожидали сразу две неожиданности: Нине «выделили» путевку в Адлер, в санаторий «Известия», что существенно меняло их отпускные планы и в части места, и в части устройства на отдых. Второй сюрприз был связан с тем, что его приятель Гриша, работавший в другом проектном институте, перед своим выездом для сдачи проекта в Хелуан попросил Ли по дружбе «одним глазом» посмотреть его разработки. Такая «экспертиза» в те годы стоила гроши, и Ли согласился при условии, что тот привезет ему в подарок из Египта что-нибудь, написанное самим Насером, хотя бы на английском языке, поскольку русских изданий творений этого «большого друга» не существовало — видимо из-за их теоретической «незрелости». Жарким летом Ли забыл и о Грише с его проектом, и о своей просьбе, поэтому когда в конце августа позвонил Гриша и со смешком сообщил, что поручение Ли он, как мог, выполнил, Ли не сразу понял, о чем идет речь. Суть слов «как мог» заключилась в том, что Гриша раздобыл книжку Насера не на английском, а на арабском языке. Название книжки ему перевел тот, у кого он ее выпросил: «Философия революции». Они посмеялись, Ли забрал книжку домой и вечером, когда все легли спать, еще долго рассматривал арабскую вязь, вспоминая как давным-давно в одном из его уже исчезнувших миров в дождливый вечер на подмосковной даче дядюшка вот так же рассматривал брошюрку со своим выступлением «в защиту мира», изданную в Багдаде.

Ли, однако, очень хотелось услышать мысли Насера по какому-нибудь поводу, не связанному с Израилем, и он на

следующий день взял в главной городской библиотеке, где у него был абонемент, открытый еще по ходатайству дядюшки, арабско-русский словарь и вечером, раскрыв наугад книжку, с закрытыми глазами ткнул пальцем в страницу. После этого он стал «по диагонали» переводить пойманный его пальцем абзац. Речь в нем шла о каком-то бое, где потерпел поражение и погиб его и, естественно, революции злейший враг, когда-то таковым не бывший. Но заканчивался этот абзац пронзительными словами, снова повергнувшими Ли в смятение:

«И тогда неожиданно для самого себя, против своей собственной воли я вскричал: «Я не хочу, чтобы он умер!»

Ли услышал в случайно вырванном им из текста этой забытой всеми книги отзвук своих собственных колебаний и переживаний, и это совпадение потрясло его.

Но уже следующий день принес известие о том, что Насер сорвал мирные переговоры: видимо те, кто монтировал ему ракетные установки, посчитали, что их мощи уже достаточно для реванша, и вспыхнувшие было у Ли сомнения мгновенно угасли.

V

А Нина тем временем готовилась к отъезду на свой «Ближний Восток». Ли с сыном ее проводили, и дня через три она позвонила и предложила план: у нее комната с одной соседкой и с лоджией, где находятся два кресла для отдыха, превращающиеся при желании в раскладушки. В лоджии уже живет сын соседки, поэтому Ли может привезти ей сына, а сам поселиться поблизости у санаторной прислуги. Ли сказал, что он все это сделает, но сначала съездит по делам на день-два в Тбилиси.

Через два дня он привез сына в Адлер. Они приехали утром, и у Ли был светлый день в запасе. Когда они были в комнате одни, Нина сказала:

— Тут к Маше заходит один ухажер, азербайджанец из Нахичевани, гипнотизер, вчера у нее сильно болела голова, так он двумя движениями рук убрал боль!

В это время в комнату как раз зашла соседка со своим нахичеванцем. Увидев Ли, тот остановился у порога как вкопанный. Ли взглянул ему в глаза: зрачков там почти не было видно, только две черные маслины, плавающие в прованском масле. Ли не сразу смог спрятать свои глаза в щелки, воздвигнув свои заградительные экраны, и успел почувствовать, как нахичеванец пытается проникнуть в его сознание. «Так нагло в мою подкорку даже Мессинг не лез», — подумал Ли, и эта

вспыхнувшая злость помогла ему мобилизовать все свои силы. Нахичеванец, почувствовав глухую стену, отпал и заторопился на обед, все время поглядывая на Ли. Закончив хлопоты по устройству сына, Ли, уверенный, что дня три-четыре тот с Ниной продержатся без него, отправился на вокзал и сел в последнюю сухумскую электричку. В Сухуми приехали около двенадцати ночи по московскому времени, а здесь уже был час ночи. Город в тот год еще был для Ли абсолютно пустым, идти было некуда, и он продремал в кресле в зале ожидания до первого автобуса в Новый Афон. Ни в какой Тбилиси он ехать не собирался.

Было воскресенье, и к народу, отдыхающему в Афоне, присоединилось немало людей, приехавших из Сухуми провести выходной день в этом святом месте. Ли позавтракал в одной из местных столовых, окунулся в море и направился вдоль Псцырхи к водопаду. Послушав шум воды, он перешел железнодорожную платформу и стал подниматься вверх по течению реки. Лето и воскресенье наполнили долину всяким людом, и Ли, дойдя до могилы святого, остался на поляне, глядя то в небо, то на слоняющийся или перекусывающий «на воздухе» народ. Несколько раз его звали, издали поднимая стакан с вином, но он поклонами и словами отказывался от этих приглашений.

Когда же долина опустела, он стал подниматься к пещере отшельника. Там уже никого не было, и только снизу из долины доносились голоса детей и взрослых. Постепенно и они стихли. Ли сел в каменное «кресло» и положил между собой и входом в пещеру на каменную полочку-карнизик свой кристалл.

Предыдущая бессонная ночь и пряные запахи влажной цветущей и преющей зелени, попадающие в пещеру из долины, утомили Ли, и он заснул. Ночью он несколько раз на мгновение просыпался. Он не сразу осознавал, где находится, и когда, вспоминая, осматривался вокруг, ему казалось, что внутри хрустального омута в его кристалле, лежавшем на уровне глаз, постоянно горит крохотный огонек. Сквозь сон Ли чувствовал, что он не сделал что-то очень важное. Но сон всегда оказывался сильнее.

Окончательно Ли проснулся на рассвете. И тут он впервые увидел, как прекрасен вид, открывающийся с первыми лучами солнца в проеме пещеры человеку, сидящему в этом твердом и в то же время удобном и почему-то теплом кресле: волшебные рощи, тучные пастбища на дальних склонах, синева небес и птицы, расчерчивающие небо траекториями своих полетов. И вдруг Ли представил себе, что всего этого не будет. Не будет вообще или не будет для человека, поскольку не будет самого человека, и не будет из-за того, что какие-то человекоподобные

твари не могут поделить то, что принадлежит всем, а не им одним, и тогда к нему пришел Гнев, и на пути этого всесокрушающего Гнева возник человек, сидящий за огромным столом в почему-то знакомом Ли кабинете, знакомый облик, мелькнувший когда-то перед Ли на Каменном мосту в Москве, и обращенная к нему тогда и теперь мочка уха с точкой-родинкой. Пробежали несколько мгновений — и Гнев, и этот образ куда-то ушли. Остался лишь кристалл на полке перед глазами Ли, мягко светящийся в отраженных утренних лучах.

VI

В то же самое утро Насер проснулся часа на два позже Ли из-за разницы в часовых поясах. Спал он хорошо и решил по своему обыкновению немного поработать за столом. Потом пришел его врач, послушал сердце, измерил давление, вроде бы все было в норме, но вдруг от этих занятий пришла усталость, и он решил остальную часть дня посвятить представительским делам: ни к чему не обязывающим прощальным беседам и проводам гостей. Но усталость и тяжесть во всем теле усиливались, начались приступы головокружения. После последних проводов он сразу же поехал домой, переоделся в пижаму, прилег на кушетку и… умер. Было около четырех часов дня.

А в Адлер, где в это время уже начался вечер, с небольшим опозданием прибыла электричка из Сухуми. Ли, севший в нее под тихий шум водопада прямо на платформе «Псцырха», зажатой в ущелье между двумя горами — Иверской и Афонской — и между двумя длинными тоннелями в каждой из этих гор, вышел на Адлерском вокзале и раздумывал, проехать ли ему еще один перегон и выйти на минутной остановке на территории пансионата, расположенного напротив санатория «Известия», или добраться на автобусе в центр городка и попытаться устроиться на ночлег.

Подумав, он выбрал второе, так как его появление под вечер вызвало бы бурю вопросов типа «а чем же ты приехал?», и кроме того ему просто хотелось побыть одному.

VII

Его энергетика еще была с ним, и дежурная администраторша единственной тогда адлерской гостиницы, называвшейся то ли «Зенит», то ли «Горизонт», довольно быстро

прекратила под его взглядом свои козни и отвела ему не люкс, но вполне терпимый номер. Во избежание случайных встреч со знакомыми, Ли пошел не в ярко освещенный шумный ресторан, а в полупустой буфет и, подкрепившись чем Бог послал, заперся в номере. Вышел он часов в восемь утра, но чистого сна в эту ночь у него было немного. Его по-прежнему одолевали сомнения и вопросы: почему Насер? Ведь все говорило о том, что тот был лишь игрушкой в руках сил Зла. И Ли несколько раз повторял слова египтянина: «Я не хочу, чтобы он умер!». Вскоре к нему придет утешительная версия, что диктатора отравили соратники. Но это будет потом, когда события этих дней улягутся в закромах его необъятной памяти и абсолютно перестанут его волновать.

Следующий день прошел в хлопотах прибытия и в пляжных заботах, и о смерти Насера он узнал только на третий день вечером, когда стал просматривать купленные в эти дни и лежавшие нетронутыми газеты. Хоть он давно уже был готов к такому финалу, но впервые в жизни был расстроен результатом своих корректорских действий. И этот человек по-прежнему был ему мил, и взгляд самого Ли на ценность жизни, видимо, существенно изменился. А может быть, и не изменился, а только вышел из затаенных глубин его души на поверхность.

И он вспомнил крысу Шушару, а вспомнив, взял из портфеля бумагу и ручку и немедленно записал свои воспоминания. Писал он быстро и гладко, будто вся эта притча была им мысленно написана давно, и ее оставалось только перенести на бумагу. Однако, все равно на эту запись ушло больше половины ночи, и, только закончив ее, он лег спать и проснулся только тогда, когда зазвонил телефон — это Нина послала сына узнать, почему он задерживается.

Притча о крысе Шушаре последующие несколько лет всегда, как и заветный кристалл, была у него под рукой, и он ее часто перечитывал, иногда кое-что подправляя в тексте. Трудно понять, почему эти пять густо исписанных страничек так много значили для него, но, вероятно, в них все-таки что-то было и есть, и поэтому они приводятся здесь почти без сокращений.

VIII

Памяти Михаила Миколюка

Притча о крысе Шушаре

Их было более сотни молодых мужиков, объединенных законом о всеобщей воинской повинности, в этих двух длинных деревянных бараках. Их отличие от остальных жителей этой «воинской части» состояло в том, что им предстояло здесь прожить всего месяц — как студентам — перед началом последнего курса, после чего следовал государственный экзамен по военным делам, и сдавшим, а не сдавших никогда не бывало, присваивался «первый офицерский чин» — младшего лейтенанта запаса. Поэтому для них это была не служба, а «лагеря», и вели они себя, как положено в лагерях: шумно и весело, отмечая зарубками оставшиеся до свободы дни.

Часть, куда их определили, располагалась в самом сердце тучных кубанских земель, и ее командиром был майор Гефт, небольшого роста еврейчик с хитрым, умным и даже в чем-то интеллигентным лицом. В нормальную жизнь части почти не входили маршировки, бег с препятствиями и военные маневры, поскольку часть эта представляла собой обыкновенный военно-строительный батальон, иначе говоря — стройбат. Необычность же ее состояла в том, что она была расположена не в каком-нибудь царстве гнуса и невероятных морозов, а на окраине небольшого тихого и сытого городка, прежде именовавшегося станицей Кореновской.

Когда-то лет через пять после войны этот батальон пришел сюда для строительства закрепленного за ним участка нового шоссе Москва—Сочи, да так и остался здесь по просьбе местных властей для инженерной помощи населению. Майор Гефт был его бессменным командиром и за это время сумел подобрать себе таких помощников, что все дела шли почти без его участия. Он лишь контролировал исполнение, формирование общего направления деятельности батальона и представлял его в общении с начальством и властью. И все это он делал так успешно, что батальон его был «домом — полной чашей» — сараи и погреба его ломились от провианта, переданного «за помощь» местными предприятиями этого изобильного края, и его солдаты утром ели не кашу со ржавой селедкой, а пюре с бычками в томате, в обед не баланду, а густой борщ с мясом, мясо было и «на второе».

Обилие еды и отбросов, раз в два дня увозимых на свиноферму, привлекло в часть несколько крысиных семейств. Когда они сильно размножались и начинали путаться под ногами, устраивали их отстрел, регистрируя эти мероприятия как «учебные стрельбы» для списания боеприпасов. В остальное время крысы жили довольно спокойно, а одна из них, почувствовав, что новоприбывшие привезли с собой необычную еду — твердые

колбасы, печенье, сладкое — стала держаться поблизости от бараков, и когда чудесными кубанскими вечерами «бойцы»-студенты собирались для задушевной солдатской беседы на бревнах, лежавших недалеко от входа в барак, эта крыса тоже усаживалась неподалеку, наблюдая за ними бусинками своих глаз. Вскоре ее заметили, и она получила имя — Шушара, поскольку все студенты были технарями, и единственной книгой, которую кто-то случайно захватил с собой, была сказка «Золотой ключик». Ее читали по очереди, и многие уже знали наизусть.

Однажды, когда Шушара проводила свой очередной вечер в их обществе, показался Василий — единственный кот, живший на территории части, и двинулся прямо к Шушаре, не удостоившей его даже взглядом. Все, затаив дыхание, предвкушали, что они станут свидетелями захватывающего сражения двух извечных врагов. Но беспредельно сытый, толстый Василий, подойдя к Шушаре, спокойно понюхал ее, брезгливо поморщился и пошел дальше по своим кошачьим делам. Боевой дух в части был явно невысок или вовсе отсутствовал.

Иногда «бойцы» устраивали соревнование «кто попадает в Шушару» и начинали бросать в нее все, что было под рукой. Каждый бросок комментировался в широко известной в дотелевизионные годы манере Вадима Синявского. Но попасть в крысу было невозможно. Казалось, что траекторию каждого летящего предмета она уже знала до того, как его бросали, и ей достаточно было малого и точного движения, чтобы избежать опасности. Если это бросание превращалось в каменный град, крыса исчезала под бараком, а когда все успокаивались, осторожно возвращалась в их компанию.

Майор Гефт проводил свое свободное время в дальнем углу территории, превращенной в красивый и густой сад, где жили со своими семьями офицеры. Там он обычно что-то читал, сидя в плетеном кресле и положив руку на холку своего терьера, а тот посматривал, чтобы никакая шушара не проникла в эти райские кущи. Один из новых «бойцов» как-то что-то по приказу дежурного занес в этот сад и, вернувшись, сообщил, что майор Гефт читает «Преступление и наказание».

Неизвестно, как у Гефта обстояло дело с преступлениями, но обрушившаяся на него орава студентов, нарушавшая патриархальную тишину его части шумом и воем, была для него, вероятно, сущим наказанием.

Майор Гефт был мудр, и опыт предыдущих поколений, осевший в его генах, помогал ему найти выход из любой ситуации, в том числе и из той, что сложилась тем летом во «вверенной ему части».

Он собрал начальников, прибывших со студентами, и сказал, что ребятам нужно, во-первых, понюхать настоящей лагерной жизни — самим разбить палатки и обустроиться в поле, во-вторых, и на военно-строительную технику посмотреть. Обе эти задачи можно было успешно решить, переместив «бойцов» из Кореновской в другую большую станицу — Платнировскую. Так как приезжим начальникам надоело читать лекции, предложение Гефта было воспринято без возражений.

Правда, еще по традиции предстояло принять присягу, хоть эту процедуру все «бойцы» уже проходили неоднократно. Тем не менее, в ближайший выходной день этот праздник был устроен. Играл оркестр из трех человек, все офицеры части и новоприбывшие были в парадных мундирах. Под звуки боевого марша сам майор Гефт при всех своих орденах и медалях, а их у него неожиданно оказалось очень много, с «замполитом» обошел строй новых «бойцов». Чеканить шаг он, правда, не умел, и вообще начинал свои движения «с правой», а не «с левой», опровергая убеждения старгородского «союза меча и орала» в том, что «все евреи — левые». Зычно поздравив всех с «Праздником присяги», он тихо стушевался, передав «замполиту» бразды управления процедурой. Присягу читали по бумажке. Все усилия «замполита» заставить «бойцов» выучить ее наизусть были тщетными. Поставив одного из них перед строем в момент подготовки к этому «Празднику», он в ярости спросил:

— Неужели ты не можешь выучить эти говенные несколько строк на память?

— Никак нет, товарищ капитан, туповат от рождения, — бодро отрапортовал боец.

— Все вы тупые! Дерьмо собачье, а не студенты! — в сердцах сказал капитан.

Чтение по бумажке «Праздник» не испортило, и вскоре все «присягнутые» уже снова стояли в строю, предвкушая праздничный обед. Кто-то даже пустил слух о «наркомовских ста граммах». Вдруг по их строю прокатился непонятный начальству шорох и шелест: это кто-то увидел, что в сторонке, почти на плацу сидит крыса Шушара и внимательно наблюдает за происходящим.

Решение о платнировском анабазисе содержалась в секрете, чтобы бойцы испытали еще одну прелесть воинской жизни — подъем по «тревоге» среди ночи. Однако, в этой стране давно уже не было никаких секретов, и когда этот сигнал наконец раздался, подавляющее большинство бойцов, неуверенное в своей оперативности в части быстрого наматывания портянок, вылезло из-под одеял и простыней в сапогах и галифе. Им оставалось

только натянуть гимнастерки. Часов в шесть утра колонна из трех битком набитых автомашин остановилась на въезде в станицу Платнировскую. Командиры решили, что ее улицы следует пересечь строем, а машины с несколькими бойцами проехали на другую окраину станицы сгружать палатки, готовить постели и кухонный инвентарь.

Когда «воинское подразделение» вступило в станицу, раздалась команда:

— За-а-пева-а-й!

И все, не сговариваясь, дружно затянули:

Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия,
И потому от Берия остались только перия.
Цветет на юге алыча не для Лаврентий Палыча,
А для Климент Ефремыча и Вячеслав Михалыча.

Чтобы придать этой довольно протяжной и задушевно-задумчивой песне боевой и строевой характер, ритм ее исполнения несколько изменили, а промежуток между куплетами заполнили лихим посвистом.

Майор Гефт был скопидомом и, получив свою «территорию» в Кореновской в наследство от расформированной кавалерийской части, сохранил все ее хозяйство, и когда к нему нагрянули студенты, в целях экономии своего обмундирования одел их в кавалерийские обноски. Поэтому у всей этой новоиспеченной солдатской массы погоны были неуставного голубого цвета, а у некоторых в галифе были даже вшиты кожаные полосы — подмудьники. Эту форму в Платнировской, более ста лет поставлявшей империи кавалерию, знали очень хорошо. Местные жители, увидев ее на своих улицах, очень обрадовались прибытию «красных конников» и вытаскивали угощение для «солдатиков» прямо к невысоким штакетникам, отделявшим от улицы их сады и огороды.

Палаточный лагерь и кухню, как ни странно, разбили очень быстро, и когда на землю спустился теплый ласковый вечер, на естественном плацу близ лагеря запел слегка расстроенный аккордеон: его «прихватили» с собой из музыкальной кладовой хозяйственного майора Гефта. Через полчаса к плацу стали подтягиваться молоденькие казаки и казачки. Начались танцы с непродолжительными отлучками отдельных пар в ближайшую лесополосу, сохранившуюся от сталинского плана «преобразования Природы». Приветливые казачки без излишнего жеманства позволяли до определенных пределов все на себе потрогать, а некоторые и сами проявляли интерес к содержанию

кавалерийских штанов. Сказывалось послевоенное перепроизводство девочек. В результате несколько «кавалеристов» выпали из этой вечной игры и прохаживались в стороне, оттянув руками свои брюки в ожидании, когда просохнут трусы: сказалось длительное воздержание от общения с противоположным полом.

Потом потекли боевые будни. Аборигены поняли, что их обманули и что многие из этих кавалеристов живого коня видели только издали, запряженным в телегу, и потеряли к ним интерес. Зато занятия, проводившиеся на берегу небольшой речки, позволяли подремать всласть. Этот всеобщий дневной сон лишь иногда прерывался страшным грохотом: это единственный дизель-молот, «ознакомление с работой» которого и было главной целью военной экспедиции в Платнировскую, пытался заколотить в плодородную кубанскую землю очередную сваю.

Иногда в одно-двухчасовой послеобеденный перекур кто-нибудь спрашивал:

— Как там наша Шушара?

И начинались вариации на тему, как там без них проводит свое время удивительная крыса, навязавшаяся им в друзья.

В Кореновку вернулись дней за пять до конца срока. Шушара в момент их прибытия мирно грелась на солнышке у входа в один из бараков и неохотно удалилась в свой лаз, чтобы переждать, пока все утрясется. За время их отсутствия она прогрызла всего лишь два или три рюкзака, в которых еще оставалось что-то съестное. Больше никаких безобразий с ее стороны замечено не было. Тем не менее, один из пострадавших сказал, что он объявляет ей войну.

Через день Гефт самолично прибыл к баракам и сказал, что, по его мнению, они тут от безделья сходят с ума, а вчера ему даже доложили, что три «бойца», сказавшиеся больными и не пошедшие на занятия, мочились прямо у стены столовой.

— Поэтому сегодня, — сказал он, — будете работать в сон.

Он имел в виду, что сегодня у них не будет дневного отдыха, и предложил за это время разобрать и переместить к хозяйственному блоку штабель тонких бревен, привезенных когда-то на дрова и сложенных «временно» между бараками.

— Начинайте! — Этот командой он завершил свое выступление и ушел в свой сад-Едем, где в этот момент по какому-то поводу копошилась его Ева, такая же маленькая и кругленькая, как и он сам.

Все стали дружно, но очень медленно подниматься, и крыса Шушара, следившая со стороны за развитием событий, от неожиданности кинулась к злополучному штабелю и исчезла в

нем.

— Вот сейчас мы ее и поймаем! — оживились «бойцы».

— Не поймаем, а прикончим! — кровожадную поправил владелец одного из прогрызенных рюкзаков.

Народ окружил штабель, потом самоорганизовалась цепочка до хозяйственного блока, где Гефт указал новое место для дров, и так как всем захотелось если не поймать, то хотя бы увидеть рядом с собой Шушару, работа закипела. Штабель таял на глазах в одном месте и так же быстро рос в другом. И вдруг несколько человек сразу и вместе закричали:

— Вот она!

И все увидели Шушару, попавшую в ловушку из бревен. К ней стали подступать с трех сторон, а с четвертой стороны была стена из бревен — к ней она прижималась всем своим телом. И тут она поняла, что ей некуда деваться, и раздался ее писк, показавшийся всем не писком, а криком — столько в нем было страха и безысходности, желания жить и неприятия смерти. Язык ее крика, или даже общий для всего живого и теплокровного праязык, был так универсален — своего рода эсперанто еще живой, но уже погибающей и чувствующей свою погибель плоти, что его поняли все и даже владелец изгрызенного рюкзака, и все затихли и застыли над ней в полной неподвижности, давая ей время убежать.

Но именно в этот момент обрушилась та самая стена из бревен, у которой Шушара искала защиту, и она не успела увернуться, так как все ее внимание было отдано людям и исходившей от них угрозе.

В полном молчании и очень быстро «бойцы» разобрали завал. Шушара лежала чуть вдавленная в мягкую землю бревном. Из ее полуоткрытой пасти безжизненно высунулся розовый язычок, а бусинки ее обращенного к людям взгляда уже не светились умом, хитростью и неизбывным интересом ко всему, происходящему вокруг. Они были тусклыми и полузакрытыми застывшими веками.

На две тонких жердочки, оказавшиеся в штабеле, водрузили валявшийся тут же кусок фанеры, а на него положили то, что еще несколько минут назад было живой крысой Шушарой и, имитируя традиционный траурный марш, кто губами, а кто словами:

Умер товарищ, и больше нет его.
Он вам в наследство не оставил ничего…

обнажив головы, двинулись в сторону барака к тому месту, где был ее любимый лаз. Потом опустили ее в этот лаз и закрыли

его кирпичом, а сверху присыпали небольшой холмик свежей и влажной земли. На следующий день один из больных просидел с увеличительным стеклом над ее усыпальницей весь солнечный день, и в результате на стене барака в этом месте появилась коричневая надпись: «Здесь лежит крыса Шушара, 1955 г.».

IX

Я тоже несколько раз перечитал эту притчу и пришел к выводу, что в ней Ли больше всего волновал *крик* Шушары — крик Тоски и Смерти. Когда-то очень давно в Индии жил красивый молодой принц Сиддхарта из рода Гаутама. Богатства его были несметны, и его жизнь была непрерывной цепью удовольствий, радостей и наслаждений. Эти, как теперь говорят, «положительные эмоции» нередко утомляли его, и он уединялся, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы для новых развлечений. И однажды во время такого краткого отдыха в прекрасном саду он услышал крик, которым на берегу пруда встречала свой смертельный час уродливая серая жаба, и столько в нем было страха и безысходности, неприятия Смерти и желания жить еще хотя бы месяц, день или несколько мгновений, что веселый и беззаботный индийский принц перестал существовать, и вместо него к погрязшим в суете людям вышел Будда.

В отличие от Будды, Ли и до того, как услышал крик Шушары, уже знал свое предназначение, и все же после возвращения из новоафонской пещеры отшельника, после смерти Насера и после того, как он в адлерской гостинице, сидя у окна с видом на вечное море, вспомнил о предсмертном крике Шушары и записал свои воспоминания, в нем что-то изменилось, и эти изменения сказались даже на его дальнейших записях. Впрочем, это всего лишь мое мнение.

X

На сей раз Хранители его Судьбы продемонстрировали Ли причинно-следственную кармическую связь событий в кратчайшие (по меркам Истории) сроки. Войну смерть Насера, как известно, не предотвратила, но новое поражение возымело на его темнолицего преемника — родственника, друга и давнего соратника по попыткам угодить Роммелю и фюреру — совершенно иное воздействие, чем если бы на его месте был экспансивный и не умевший противостоять влиянию сил Зла

Насер. Садат не кинулся в Кремль за новыми партиями оружия, которое на сей раз могло стать и атомным, а поступил более решительно: выгнал всех советских советников-провокаторов и смотался в Израиль, открыв своей поездкой новую эру ближневосточной истории.

У кремлевских старцев-упырей все опять произошло по Щедрину: «От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел!». Все предусмотрел сто лет назад зеленоглазый мудрец, и такие ситуации тоже. Но, как известно, нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять, и весь ближневосточный поток русского оружия был повернут ими в сторону «организации освобождения Палестины», практически захватившей независимый Ливан, в Сирию и в Ирак. Вскоре он снова достиг своей критической массы и взорвал прекрасный Ливан, вызвал войну между арабами, вылился волнами терроризма на улицы еврейских городов, обернулся кровью еврейских и арабских женщин и детей, но мировым пожаром здесь уже не пахло, и Ли снял свое наблюдение за развитием ближневосточной истории. Израильтянином он себя так и не почувствовал. Общечеловеческое же в нем всегда преобладало над еврейским. Тем более что первым Храмом в его жизни, оставшимся в душе навсегда, была не синагога, а небольшая красивая мечеть между полузаброшенным мусульманским кладбищем и восточной окраиной села, приютившего его и Исану. Пробегая по кладбищу, он часто заходил внутрь обычно пустовавшей мечети и шел к михрабу, где присутствие Бога в прохладном сумраке молитвенного зала ощущал сильнее всего, и он, как бы со стороны и сверху, видел весь этот зал с неподвижной фигуркой мальчишки, и эта картина была с ним всегда.

В то же время Ли считал подарком Судьбы свою причастность к еврейскому племени, пришедшему из глубины веков с непоколебимой верой в своего Бога, то и дело посылающего своему народу, как многострадальному Иову тяжкие испытания, и идущему в свое будущее с той же непоколебимой верой в своего Бога. Позднее к нему пришло глубинное понимание слов о том, что Господь один, что Он никого не рождал и не был рожден, и как бы Его ни называли дети Авраама — Аллах или Эллохейну — речь в любом случае шла о Творце всего живого.

Ли радовался той необычной остроте восприятия всех земных утех и печалей, которую вносила в его жизнь принадлежность к преследуемому человеческому меньшинству, и он просто не понимал, как можно жить на этом свете пресной жизнью всегда уверенного в своей правоте большинства. Мысль же о звере по имени «терроризм», в какой бы точке земного шара он ни искал

свои жертвы, его печалила вдвойне — и в настоящем, и в будущем, потому что он точно знал, что непременно вернется туда, откуда он был выпущен в мир — вернется в Москву, а этот великий город относился к тому немногому, что Ли искренне любил в современной ему России. Здесь терпение и вера святых.

Книга пятая
Ступени

Человек создан колеблющимся.

Коран, Сура 70 «Ступени», стих 19

Чашу полную, о кравчий, ты налей мне, как бывало,
Мне любовь казалась легкой, да беда все прибывала.
Я дремал в приюте милой. Тихо звякнул колокольчик:
«В Путь укладывай поклажу!», я внимал: Судьба взывала.

Шамс-эд-Дин Мохаммад ибн Бохо-эд-Дин ал Ширази (Хафиз)

I

Внутренние и внешние события неспокойного семидесятого года в жизни Ли, возможно, благодаря наличию кристалла и, возможно, благодаря быстрой и полной эмоциональной и энергетической разгрузке в близости с Саней, почти не отразились на его здоровье, и его склонное к аритмии сердце даже не напоминало о себе.

А с наступлением Нового года и нового календарного десятилетия его жизнь и вовсе становилась размеренной и очень человеческой — со всеми ее заботами, большими и малыми трудностями и мелкими пакостями. Его сердце и помыслы вернулись к близким людям, и он был им нужен.

На первый план в его заботах выходила Исана. На исходе своего шестого десятка она стала резко дряхлеть: тяжкие болезни в прошлом и общая изношенность организма давали себя знать. Жить на втором этаже старого холодногорского дома ей становилось невмоготу, и свою крутую лестницу она преодолевала почти ползком. Воду ей приносили соседи, но просить их выносить за собой она стеснялась, и жизнь ее теперь

состояла из спуска во двор, посещения отхожих мест и медленного с отдыхом через каждые десять-двадцать шагов похода «на угол» — на базар и в магазин — по родной улице, помнившей ее и Лео тридцатилетними и сильными.

Когда-то в те далекие годы Исана вела разговор с соседями об их бытовом неустройстве из-за отсутствия «удобств», вспоминая единственную в ее жизни квартиру с ванной и туалетом — благоустроенную квартиру Кранцев в центре Одессы. Этот разговор долетал до ушей маленького Ли, и он услышал, как, описывая квартиру Кранцев, Исана несколько раз повторяла слова о том, что в этой квартире даже в туалет, или в «уборную», как говорили холодногорцы, проникал свет Солнца. Услышав очередной раз этот повтор, трехлетний Ли приостановил свои игры с кубиками и машинами и очень серьезно сказал Исане:

— Когда я вырасту, я построю тебе большую, теплую, солнечную уборную!

Конечно, об этом его обещании стало известно во всех закоулках их огромной довоенной семьи. Теперь, в начале семидесятых, из тех, кто ее помнил, остались только Ли и Исана, и Ли почувствовал, что пора, наконец, выполнить свое обещание, так как забрать Исану в ту тесноту, в которой обитали он с Ниной и их быстро взрослеющий сын, он просто не мог.

Как раз в семидесятом империя Зла отмечала очередной знаменательный юбилей своей победы над другой империей Зла, и это вызвало очередной водопад пропагандистской болтовни, Ли грубовато именовал ее «голубой пиздеж», в том числе — и о «большой заботе партии и правительства» о семьях погибших, о предоставлении им благоустроенного жилья и прочих благ. Естественно, что о такой семье погибшего, как Исана, никто и не вспомнил: кому нужна старая жидовка? И так скоро загнется.

Напомнить о ней взял на себя труд Ли. После первого его обращения он был приглашен для беседы. Ему «разъяснили», что страна живет еще не так хорошо, чтобы «каждому» давать изолированную квартиру. При слове «каждому» Ли улыбнулся, вспомнив возникшую в те годы частушку:

Возмущается народ:
мало партия дает.
Но ведь партия — не блядь,
чтобы *каждому* давать!

Ему же продолжали доказывать, что Исана живет *одна* в 13 «квадратных метрах», а средняя «жилплощадь» по городу сейчас пять квадратных метров на человека. Ли легко понял суть

разговора: от него ждали «деловых» предложений о величине посильной для него взятки, но само по себе общение с этой швалью было для него неприятным, и он сказал:

— Вот вы и поселите в ее «тринадцати метрах», когда она их освободит, получив положенное ей благоустроенное жилье, какую-нибудь свою близкую родственницу, чтоб вкусила всех прелестей этих «излишков жилплощади».

На том его первый и последний визит к «совецкиной власти», как ее называла Исана, завершился, и вскоре он получил письменный ответ, что удовлетворить его непомерные требования «совецкина власть» не может, и что его мать и так ходит на свое ведро в «излишках» жилплощади.

Ли принял предложенные «совецкиной властью» условия эпистолярной игры и, сняв копию с ее письма, разослал ее в пять-десять «высоких» адресов с описанием квартирных условий Исаны, почти все его адресаты вернули его послания в ту самую местную «совецкину власть» на «реагирование» по их усмотрению, но из двух высоких адресов последовало предложение «разобраться и доложить».

И тут все завертелось: Ли ткнул пальцем в говно, именуемое «советской системой», и оно засмердело — завоняло так, что стало тошно. Последовали обвинения в том, что Ли глумится над советской властью, появились «комиссии» на работе, в «отделении», на старой холодногорской улице и даже на работе у Нины.

Система почувствовала в Ли своего смертельного врага и делала все возможное, чтобы стереть его с лица земли. Но Ли был стоек. Он ни с кем не вступал в переговоры и разослал еще десяток писем, где приложил копии «документов» местных властей о его «глумлении», объяснив, что его цель не глумление, а получение для матери, как для одинокой вдовы погибшего на фронте офицера, благоустроенного жилья более чем через четверть века после окончания войны. И что это жилье положено ей по таким-то законам, и что ему непонятно, почему его требование о выполнении «советских законов» является «глумлением» над «советской властью». «Может быть, я кому-то из местных деятелей этой власти что-то недодал?» — наивно спрашивал Ли в конце каждого из этих писем. И опять девять писем вернулись «на усмотрение», а в одном содержалось требование «немедленно уладить возникший конфликт в соответствии с Законом». И система сдалась: Ли получил «местный» ответ, что Исане выделяется комната в благоустроенной квартире в новом доме. Ли представил себе, как Исана будет жить с новыми соседями, и продолжил борьбу теперь

уже за изолированную квартиру. Но тут уже местная власть уперлась рогами и копытами: в законе изолированные квартиры не обещались, а болезни Исаны не были признаны тогдашним законодательством достаточными для таких «благ». Тут Ли отыскал другой закон о кооперативном строительстве и о преимущественном праве семей погибших на прием в такие кооперативы, где квартиры выдавались за относительно небольшую плату и в рассрочку. Поскольку «прием» в кооперативы тоже приносил взятки чиновникам, и в данном случае одну взятку они теряли, система опять начала сопротивляться, но Ли уже знал, как ее сломать. Через месяц Исана была принята в кооператив, а еще через полгода Ли перевез ее в новую благоустроенную квартиру на первом этаже девятиэтажного дома. Квартира была расположена довольно высоко над землей и даже имела балкон. Окна комнаты и кухни выходили на юго-восток, а ванная с туалетом имела верхнее, выходящее в кухню окно, через которое ее освещали лучи утреннего солнца.

Так Ли выполнил данное им в трехлетнем возрасте обещание Исане: теплая солнечная уборная была им для нее построена.

Нельзя сказать, что баталии с «совецкиной властью» прошли для Ли бесследно: некоторое время все его помыслы в одном из его миров — внешнем мире — были сконцентрированы на одной проблеме, а так как эта проблема была связана с благополучием Исаны, он не мог быть вполне хладнокровным и бесстрастным бойцом, каким ему хотелось бы выглядеть в этом неравном бою, и он, этот бой, отвлекал на себя значительную часть его душевных сил. Одним из личных итогов этого сражения была четко определившаяся и сформировавшаяся в нем жестокая ненависть к Системе как к одному из самых мерзких порождений сил Зла.

II

Бой с Системой требовал, однако, не только сосредоточения душевной энергии, он занял и весьма продолжительное физическое и календарное время. Это, как казалось Ли, не отразилось на искренности его взаимоотношений с Саней — он по-прежнему делился с ней многими мыслями, планами и откровениями его внешнего мира. В этом мире она была его другом и доверенным лицом, но недостаток времени в год его борьбы за «теплую солнечную уборную» не мог не сказаться на частоте их встреч. Когда же Ли, развязав свои проблемы, попытался восстановить былые темпы их отношений, он стал

наталкиваться на невидимые препятствия. Его быстрый и точный анализ этой абсолютно новой для него ситуации привел к выводу о том, что он у Сани не один, не считая, естественно, мужа. Этот вывод был для него неожиданным, но он не стал наспех разбираться в своих делах, и поскольку подошло время отпусков, забрав Нину и сына, двинулся в Прибалтику, где, между прочим, он и собирался всесторонне обдумать все, что произошло, и как он сам выглядит в этом дерьме.

Отправились они поездом — Нина самолетов боялась. Билетов на прямой поезд в Восточную Пруссию, где им предстояло провести отпуск, почему-то не было, и они сели в проходящий, идущий из Сочи в Ригу поезд, и через день оказались в Вильнюсе, где им предстояла пересадка. Между поездами было часов пять, и Ли повел своих посмотреть город, который сам уже немного знал. Уже через два часа прогулки по старому городу сердца Нины и сына оказались навечно околдованными волшебством его узких улочек, и они захныкали, что не хотят в Пруссию, а хотят хотя бы два дня провести здесь. Ли пытался им возразить, что их ждут там и не ждут здесь, но потом махнул рукой и, оставив их слушать мессу в соборе святой Анны, сам помчался по гостиницам. Был разгар сезона, все было переполнено «плановыми» туристами, высокими чиновниками и «уважаемыми» людьми из числа подпольных миллионеров, но через полчаса Ли все-таки нашел брешь в круговой обороне, занятой гостичной прислугой, и привел своих в небольшой, но вполне приличный номер, снятый им «до утра», в одной из гостиниц, расположенной близ собора святых Петра и Павла.

Утром он «добавил» сменной администраторше, и их срок был определен в четыре дня пребывания в Вильнюсе. Оставив Нину нежиться в постели, он с сыном отправился за вещами на вокзал, а заодно купил там им билеты и позвонил в Кенигсберг, чтобы сообщить о своей непредвиденной задержке.

И для них начался пир души. Они не только исходили каждую улочку старого города по десять раз, побывали во всех соборах и попробовали национальную кухню во всех доступных им «обжорках», но и выкроили день на поездку в Каунас на поклонение Чюрленису.

Возможно, что музей Чюрлениса и был той заветной целью, ради которой в этом путешествии Ли Хранители его Судьбы спланировали и осуществили эту счастливую и удавшуюся во всем остановку в Литве. Он узнавал в «Сонате солнца» свои уже прожитые жизни — жизнь с Лео и Исаной «до войны», жизнь на Востоке, жизнь в одном мире с дядюшкой и тетей Манечкой, жизнь в недавно закончившихся шестидесятых, в

пространственном и временном измерениях которой свою важную роль играли и древние города Литвы, вновь обретенные в эти дни.

Какая же из его жизней начиналась сейчас? Стоя перед картиной и думая об этом, он явно слышал приближающуюся мелодию аллегро, мелодию созидания этой его новой жизни из хаоса событий и обстоятельств, и пытался предугадать, каков будет в ней его путь. Мысли его были печальны, поскольку одно он знал точно: в финале каждой его сонаты-жизни его ждут утраты, одиночество и трудное постижение нового.

Надолго задержался Ли и у «Сказки Королей»: ему казалось, что Чюрленис смог воссоздать образ Хранителей его Судьбы, держащих в своих больших и сильных ладонях весь яркий и издали прекрасный человеческий мир и пытающихся сделать его счастливым и совершенным, не вторгаясь в пределы этого светлого пятнышка во Вселенной.

На улицах Каунаса душу Ли охватывало беспокойство. Здесь в каждом камне, в стенах каждого дома, а не только в девятом форте жила память о расправах сорок первого года, о кровавом пире тех, чьи дети и внуки заполняли сейчас этот город, и на лицах этих прохожих Ли ясно видел кровавые следы, оставленные теми, чьи неуспокоенные тени и неутоленные души были здесь, совсем рядом, и терпеливо ждали своего часа. «Они дождутся», — подумал Ли.

Когда они возвращались в Вильнюс, Ли явственно ощутил близость Тракая. Ему очень хотелось побывать там с Ниной и сыном, но еще одного полного дня в Вильнюсе у них не было: завтра вечером им предстояло продолжить путь. Впрочем, это не опечалило Ли: он *знал*, что они еще по крайней мере один раз вернутся в Литву и обязательно посетят волшебную землю Тракая.

III

Когда Ли вышел на платформу под кровлю кенигсбергского вокзала, в нем шевельнулось какое-то смутное воспоминание: он здесь уже когда-то бывал, и это воспоминание было с ним все три недели, проведенные ими в Восточной Пруссии. Здесь он убедился в том, что его личность не исчерпывается теми тремя-пятью параллельными мирами, в которых обитала его жизнь, что в ней есть еще многие невостребованные миры, и что в одном из них, глубоко спрятанном в его подсознании, кто-то *узнавал* все, что ему довелось здесь видеть и к чему приходилось прикасаться.

Впрочем, в самом Кенигсберге таких мест оставалось не так уж много — слишком жарким был здесь огонь войны. Лишь кое-где сохранившийся фрагмент стертой с лица земли улицы чем-то отзывался в закоулках генетической памяти, но когда через день-два пребывания в гостях они втроем выехали на побережье, все изменилось. Там гении места его давно ждали. Мелькали прибрежные города и селения. Вот старинный городок Кранц у западной оконечности Куршской косы, давший предкам Ли их фамилию, а может быть и наоборот — принявший свое имя от его предков. Вот нарядный Раушен в мягкой тени высоких крон столетних рощ.

Они останавливаются в этих городках ненадолго — только чтобы выйти на берег то пологий, то высокий и обрывистый, а потом путь их лежит дальше к янтарному мысу, к Брюстер Орту. Все эти названия всплывают в памяти Ли из полузабытых рассказов Лео о родине их предков, о милой и таинственной Германии — не той, где бесновался Адольф и стада человекоподобных зверей дружно повторяли его бредовые лозунги, а о Германии Гете, Гейне, мудрого Германа Гессе, страстного и справедливого в своей страстности Ремарка, Иммануила Канта — у его могилы Ли сегодня утром склонил голову, и Томаса Манна, так любившего это взморье. Несколько лет спустя Ли пришел в его дом, сделав специально для этого остановку по пути из Мемеля в Кранц в чудесной Ниде. Сначала ему показалось, что он попал в один из советских «кабинетов политпросвещения» — на «стендах», в стеклянных витринах стояли бесчисленные издания его книг. С фотографий из всех углов смотрели Томасы Манны разных возрастов, находившиеся в одиночестве или в различных компаниях. Четкие поясняющие тексты посмертно превращали писателя в «большого друга Советского Союза». Ли стало душно, и его потянуло на воздух, но вдруг, отведя глаза от плакатно-политического интерьера, он взглянул в окно на золотые солнечные пятна на синеве Куршского залива, Куришгафа, как сказал бы Лео, и он понял, как хорошо было здесь — чуть-чуть в стороне от старой Германии и очень-очень близко к ней — писать ее прошлую и новую жизнь, картину за картиной, том за томом.

Проехав мимо крохотной деревушки по земляной насыпи, отделявшей довольно большое озеро от густо заросшего лесом оврага, расширяющегося в сторону обрыва, они свернули к морю и въехали на территорию старого бюргерского хозяйства, все сохранившиеся постройки которого сейчас приспосабливались к новому назначению: заброшенная усадьба превращалась то ли в туристическую базу, то ли в «дом отдыха».

Их разместили на втором этаже небольшого флигеля, расположившегося почти над обрывом, а в единственном окне их комнаты над кронами деревьев, теснившихся внизу в овраге, светилась морская даль. Столовая будущего «дома отдыха» еще не работала, и им был оставлен запас продуктов и кое-какая посуда. Не было не только газа, но и какой-нибудь печки. Ли был безразличен к удобствам, но в Нине, впервые оказавшейся в такой ситуации, он не был уверен и мысленно заключил сам с собой пари: продержатся ли они здесь больше недели. Пока что рядом с домом почти на опушке поднимающегося из оврага леса он сложил по своей старой туркестанской памяти очаг и приготовил их первый ужин. Ли был абсолютно спокоен, так как они могли сняться и уехать отсюда в любой момент времени. Правда, спать ему мешали души изгнанных хозяев, и сон его был беспокойным. Но на следующее утро, проснувшись первым, выйдя на высокий обрыв над морем и оглядев все вокруг, он почувствовал, что здесь, на этой полосе земли между Кантом и Манном, можно быть счастливым; он почувствовал уверенность, исходящую от этой Природы и от этой земли, лежавшей своим обрывистым побережьем над узкой полосой песчаных и каменистых пляжей как уснувший от усталости зверь, который, отдохнув, еще обязательно проснется, исполненный сил и желаний; он почувствовал, что в нем растет ответная уверенность в том, что он, если не всей своей душой, то во всяком случае какой-то ее очень важной частью наконец *вернулся домой*. И он пошел к очагу готовить завтрак, уже зная, что они не только никуда отсюда не уедут, пока не придет срок, но и в будущем будут стремиться сюда. Но главное еще было впереди. В их первый день на новом месте было солнечно, но прохладно, и они, предчувствуя, что запасов у них не так много, пошли над обрывом в сторону села, которое видели по дороге сюда. Они перешли лесной овраг, рассекавший обрыв. На дне оврага вился полноводный, весело звеневший ручей, и стоял птичий гам, и Ли заметил, что из чащи густого и высокого папоротника за ними следят два маленьких блестящих глаза, но не стал беспокоить наблюдателя.

Когда они вышли на противоположный склон оврага, там к самой кромке леса подходило уже желтеющее от близкой зрелости пшеничное поле. Они пошли краем этого поля, преодолевая последний, уже довольно пологий подъем и часто оглядываясь назад, на открывающиеся перед ними близкие и дальние извивы морского берега, на черепичные крыши их бюргерского хутора, на лес, спускающийся в некоторых местах по обрыву к самому берегу.

Тем временем подъем кончился, дорога стала ровной, и Ли

поднял голову, посмотрел далеко вперед и остановился в смятении: перед ним возникло забытое видение его детства: одна из увезенных Лидкой Брондлер в Германию их картин старой немецкой школы представляла собой уменьшенную академическую копию полотна Каспара Фридриха «Вид Грейфсвальда» и висела она на стене против его детской кроватки. На ней за зелено-желтым лугом, на котором свободно паслись не стреноженные кони, на фоне неба представал профиль селения: зубчатая линия крыш с округлыми вставками зеленых крон, разорванная устремленными в высь пиками — стрелами соборов. И вот перед взором Ли это видение ожило: за желтым пшеничным полем, в которое клином входило зеленое пастбище со свободно пасущимися лошадьми, была видна на фоне неба зубчатая линия красных черепичных крыш с вписанными в нее полукругами зеленых крон, разорванная устремленной в высь темно-красной стрелой кирхи.

Ли еще раз всем своим естеством ощутил, что он вернулся домой, и бросился на землю, чтобы передохнуть не столько от физической усталости, а от душевного волнения. Через минут двадцать они мимо запущенного, давно не чищенного пруда вошли в старинное немецкое село. Многие дома, хозяйственные и общественные постройки в нем сохранились, и только их облезлый вид свидетельствовал о том, что тех, для кого эта земля и эта деревня над самым морем была родиной, здесь давно уже нет. В кирхе разместился кинотеатр, дававший один сеанс в день — в вечернее время, и поэтому Ли в этот их приход не смог осмотреть ее интерьер.

Побывав в местном магазине, они прямо из села спустились к морю на огромный песчаный пляж по деревянной лестнице, в нескольких пролетах которой были напрочь выбиты ступени. Прямо против этого спуска пляж рассекали уходящие в море два ряда гниющих свай, помнивших, вероятно, те времена, когда здесь был причал, принимавший пароходики и катера из Раушена и Кранца.

С пляжа их дом казался почти рядом, и они решили идти по берегу. Ли был этому рад, потому что если бы они возвращались полем, то он бы оборачивался на каждом шагу.

А потом были дни и ночи. Текли они медленно, но ускорять это течение не хотелось. Холодные, почти осенние дни уходили на путешествия в Раушен и к Янтарному мысу, где шла промышленная добыча окаменевшей смолы. Из путешествий возвращались с предвкушением радости от встречи со своим домом на обрыве над самым морем. Дорога к нему проходила под маленьким железнодорожным мостом, по которому иногда

проходил поезд из двух-трех вагончиков, как в американских вестернах, а на арке моста еще хорошо прочитывалась выцветшая надпись: «С победой вас, дорогие соотечественники и соотечественницы!» — последние ласковые слова тирана, обращенные к тем, кого он в беде и в страхе назвал «братьями и сестрами».

Бывало и так, что за одну ночь все изменялось, и после холодного, почти осеннего вечера их утром будило Солнце, возвещавшее жаркий летний день, и тогда все время отдавалось пляжу и поискам янтаря. В основании обрыва прямо под их домом выходила полоса голубой глины, ее нужно было срезать тонкими слоями и смотреть срез, не заблестит ли в нем потревоженный янтарь. И опять у Ли где-то в глубине подсознания мелькали смутные образы мальчика и мужчины, внимательно следивших за рождением янтаря на каждой новой голубой плоскости, открывавшейся перед ними после миллионов лет покоя и неподвижности, чтобы отдать им застывшую лужицу или случайную каплю смолы давно истлевших деревьев. В этих смутных картинах, а они являлись ему всякий раз, когда он чуть в стороне и повыше их прииска садился отдохнуть, любуясь морем и прислонившись к старому дереву, уцелевшему от бурь в глубокой расщелине, оживало и уже было все сегодняшнее: и желание найти прозрачный камень с мухой или скорпионом, и еще молодая светловолосая женщина, стоя по колено в белой пене набегающих волн следившая своими небесно-голубыми глазами с легкой улыбкой за стараниями *ее* мужчин.

Когда же это уже было? Сто лет назад? Нет, Кранцы тогда уже жили в Российской империи. Значит, двести? Триста? И в каких атомах его генома дремала эта невысказанная память, пока стараниями Хранителей его Судьбы он не был приведен сюда, на край, казалось бы, чужой земли, чтобы раз ощутить свою исконную связь со всем миром?

Обратный поезд в Харьков уходил из Кенигсберга рано утром и уже во второй половине дня он остановился в Вильнюсе так надолго, что Ли, взяв сына, успел быстрым шагом обойти часть старого города. Потом его панорама на мгновенье открылась из окна вагона, и через час-полтора поезд уже шел по белорусской земле.

В окрестности Раушена они возвращались еще несколько раз. Однажды они прожили несколько дней в благоустроенном вагончике, стоявшем рядом с их первым жильем — старым бюргерским флигелем, беленым-перебеленным мелом под красной черепичной кровлей. Другой раз они жили в Раушене и приезжали в этот край «в гости». На их глазах он постепенно

менял свой внешний облик: продолжало ветшать и разрушаться все пришедшее из глубины веков.

Уже на следующий год, за несколько дней до их приезда разрушилась земляная дамба, и воды искусственного озера, смешанные с землей, промчались за несколько минут по тому самому оврагу со звонким ручьем и птичьей рощей, где так любили бродить Ли и Нина прошлым летом. Нину удручала бурая грязь, покрывшая буйную светлую зелень, Ли же думал о другом: не была ли эта катастрофа Знаком? — ведь было достаточно ничтожного смещения Времени, и он сам по себе или со своими близкими мог в момент катастрофы находиться на смытой дамбе или на берегу ручья в своем любимом овраге-долине, когда там пронесся этот все сметающий грязный водяной вал.

Через несколько лет Природа частично восстановила утраченное: дожди и ветер вымыли листву деревьев, плодородную грязь на дне оврага покрыли густые травы, вернулись птицы, но что-то неуловимое в облике этого уголка исчезло навсегда. Впрочем, Ли был человеком объективным и в минуты подобной грусти всегда спрашивал себя, не было ли это исчезнувшее или утраченное связано с внутренними потерями — невозвратно ушедшими годами.

Возникали здесь и новые строения — плоды иного вкуса, но зов этой земли и гениев места, тоскующих за теми, кто их понимал, оставались прежними, и Ли всякий раз слышал их тихий ропот в шуме деревьев и шепоте серовато-зеленых волн.

И пришел скорбный день: через долгих шестнадцать лет после своего первого дня на этой земле Ли и Нина по пути из Риги домой дали круг и заехали в Кенигсберг. Верные своей традиции, они, при первой же возможности, сами, без тех, кто их принимал, отправились в Раушен электричкой с Северного вокзала, а там, не выходя в центр городка, пересели в автобус и через полчаса уже были у кирхи-кинотеатра в «своем» селе. Они спустились по уже починенной деревянной лестнице на совершенно пустой пляж — стояла ранняя осень и был прохладный ветреный солнечный день.

Там ничто не напоминало о шумных летних праздниках жизни, и от этого еще более мерзкими были какие-то похабные трубы, проложенные несколько лет назад — то ли чтобы куда-то подавать морскую воду, то ли чтобы сливать свои помои — какой-то военной стройкой, изгадившей большую часть пшеничного поля и луга.

Ли и Нина пошли вдоль берега по кромке пляжа в «свое» поместье, видневшееся впереди на высоком обрыве. Они шли,

погруженные в свои мысли, и не заметили, как подошли к огромной осыпи, перегородившей весь пляж так, что в ее край били волны. Этот почти вертикальный откос был неотъемлемой частью их минувших дней, потому что там вверху, на самом его краю они, еще молодые, с мальчишкой-сыном не раз отдыхали в своих пеших прогулках, свесив ноги с обрыва и любуясь изгибами берегов и морской далью, а далеко внизу под ними находился один из их любимых пляжей, и когда-то под этой бесформенной грудой земли и камней лежала их, до сих пор не истершаяся, пляжная подстилка — на ней любила загорать Нина, а Ли с сыном предпочитали горячий почти белый песок. Потом, когда жара становилась нестерпимой, они перебирались под самый обрыв, доверяя свою жизнь Природе. Обрушился ли этот откос от недавней бури, о которой писали и говорили во всей Европе, или он был подрыт «защитниками родины» — установить было невозможно. Между краем осыпи и морем угадывалась тропинка, но в тот день море сильно волновалось, и проход был закрыт. Ли все понял: Хранители его Судьбы напоминали ему, что нельзя без конца возвращаться в прошлое: там к тем смутным образам, волновавшим Ли, прибавились их собственные тени — красивой и светлой Нины, самого Ли на пороге сорокалетия и их четырнадцатилетнего сына с лицом прелестного английского мальчика из книжных иллюстраций, и они все когда-нибудь явятся тем, кто придет сюда, ведомые Судьбой, а не Случаем.

И они пошли назад, унося в своих сердцах последний взгляд и неумолкающую память.

Когда они уже подошли к остановке автобуса, оказалось, что до его прихода было еще более двадцати минут. Ли оставил Нину на скамейке — у нее болели ноги, а сам быстро пошел в сторону уже почти высохшего пруда на краю селения, а оттуда вышел на луг и, почти пробежав минут пять, позволил себе оглянуться и увидел зубчатую изломанную линию красных черепичных крыш с полукруглыми вставками зеленых крон, разорванную устремленной вверх стрелой кирхи. И Ли пошел навстречу этому ожившему видению, и эта четкая линия при его приближении к ней распадалась прямо на его глазах.

К месту или не к месту Ли вдруг вспомнил Ремарка, в одном из романов которого чистокровного немца, бежавшего от Гитлера, спрашивают в Нью-Йорке:

— Вы тоскуете по Германии?

— Что вы! Я же не еврей, — ответил беглец.

Ли улыбнулся: эту насмешку над своими чувствами он квалифицировал как антисемитскую выходку своей собственной памяти.

IV

Когда их поезд покинул Литву, Ли вернулся к размышлениям обо всех своих неустроенных делах, прерванных этим путешествием. Он уложил своих спать, а сам выпил крохотную стопочку марочного коньяка из «походной» плоской бутылки и вышел в тамбур выкурить сигарету. Поезд подходил к Молодечно. Ли усмехнулся: именно на этой остановке он по пути к морю оставил донимавшие его мысли и сейчас, как киплинговский слоненок, подобрал их на обратном пути, чтобы додумать не спеша, слушая рокот колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое.

Перед его мысленным взором прошли картины их с Саней сближения, потом предельной близости. Он еще раз ощутил тот глубокий душевный покой, приходивший к нему, когда она лежала в его объятиях, уткнувшись лицом в его плечо. Вспомнил, как менялся ее голос, когда она кончала, а кончала она раз по десять в каждой асане. Вспомнил их долгие и откровенные, даже для скрытного Ли, беседы, утолявшие его печаль и снимавшие с его души ненужные ей сомнения. И чем больше он вспоминал, тем более убеждался в том, что пришло время их отдаления друг от друга. В основе этого вывода Ли лежала не ревность, вызванная явным появлением в опасной близости к их отношениям некоего «четвертого»: о какой ревности могла идти речь по отношению к женщине, которую каждый божий день трахает муж? Здесь было другое: здесь с точки зрения Ли было предательство, поскольку их связь не ограничивалась близостью, — они вдвоем создали свой закрытый для всех мир, в котором чувственность была лишь фундаментом, и теперь в этот мир без ведома Ли в любой момент мог вторгнуться чужой.

Свое решение Ли принял с болью в сердце и понимал, что осуществить его будет трудно. К резким разрывам он не привык, до сих пор сохраняя добрые отношения со всеми своими подругами, и сейчас он собирался продвигаться к намеченному и предрешенному финалу медленными, почти незаметными шагами. Предсмертная болезнь Исаны, увы, сильно облегчила ему эту задачу.

Закончив свои грустные мысли об интимных делах, Ли не ушел из тамбура и достал вторую сигарету: что-то еще постылое и неприятное висело над его душой. Он стал вспоминать события последнего года и понял, что это ощущение присутствия поблизости какой-то мерзости было связано с его воспоминаниями о столкновении с Системой, когда он добывал квартиру для Исаны.

Это столкновение открыло ему глаза, и он увидел, как к нему отовсюду тянутся грязные мохнатые лапы Системы, требующей от него повиновения во всем. Он понял, что, будучи начальником полусотни инженеров и техников, он уже служит Системе, организовывая выезды «в колхоз», поставляя каких-то «дежурных», занимаясь «работой с кадрами», проводя «собрания» и участвуя и в «учебе», и в «совещаниях» по «общеполитическим вопросам», отвечая за «выходы коллектива на демонстрации» и обеспечивая многие другие потребности Большой Лжи, без которой не может существовать Система.

Постижение этого факта своего соучастия в Системе сделало его состояние в собственных глазах невыносимым, и, уходя, наконец, спать, когда поезд уже приближался к Минску, он принял второе твердое решение: несмотря ни на что покончить со своей «начальнической» карьерой.

V

Оба эти его решения трудно было выполнить сразу. Перейти за другой — не начальнический стол в той же комнате ему не хотелось, поскольку в этом он видел элемент унижения. Поэтому он начал действовать в направлении создания в «отделении» специализированной и потому несколько привилегированной группы под одну из занимавших его проблем. Но высшее руководство «отделения», во-первых, было консервативным и не любило перемен, а во-вторых, не могло понять, почему ему вдруг нужно перемещать Ли с того места, на котором он так здорово себя проявил при проектировании и строительстве уникальных объектов. Пришлось ему использовать все свои московские связи и в министерстве, и в центральном институте, на что ушло более трех месяцев, и наконец указание о создании такой группы было получено.

Как ни странно, в среднем звене управления нашелся человек, приветствовавший уход Ли — это был начальник бюро, в которое по дминистративной линии входил отдельчик Ли. Относительно молодого (по меркам «отделения») бывшего «секретаря» комсомола, а потом и партийной организации «отделения», оказывается, сильно раздражала самостоятельность Ли во всех вопросах, наличие у него многих высоких связей и почти «полная независимость» от партийных и иных «органов». Хоть им приходилось немало бывать вместе, выпивать положенные рюмки и на объектах, и на местных празднествах, этот выдвиженец-номенклатурщик прятал свой камень за

пазухой, чтобы, улучив момент, запустить его в Ли. Позднее, анализируя события этого времени, Ли понял, что Музий, такая у него фамилия, при своих умелых руках и звериной хитрости был от Природы интеллектуально неполноценным человеком. Окончив два института, он совершенно не понимал фундаментальных теоретических основ тех понятий, которыми ему приходилось оперировать в разговорах со специалистами. Суть называемых им вещей он понимал, возможно, даже меньше чем попугай, пользующийся определенным запасом слов. Поэтому, когда он требовал «неуклонного выполнения» «установок» и «планов», с ним было бесполезно говорить о технической и инженерной стороне вопросов. Этот лжеинженер и даже дважды лжеинженер был совершенным порождением Системы, можно сказать почти что ее идеалом. Конечно, старые технари, возглавлявшие «отделение», ощущали его ущербность, но бороться с Системой они уже не могли и были вынуждены не препятствовать его росту.

Так вот, этот тип с большой радостью отнесся к перспективе ухода Ли из его бюро и даже стал торопить события. Чтобы на первых порах не барахтаться самому со всеми мелочами, Ли решил включить в свою специальную группу трех-четырех человек из его отдела, и так как приказной формы вмешательства в человеческие Судьбы он не признавал, вначале переговорил с теми, кого хотелось забрать, и получил их согласие. Среди этих, им избранных, была отработавшая всего года два девятнадцатилетняя маленькая, юркая, исполнительная и очень симпатичная Наденька-Надежда. Ли всегда любовался ею и в покое, и в движении и поэтому не хотел ее здесь оставлять.

Когда все организационные хлопоты были уже позади и его группа начала свою работу, Ли, в надежде облегчить себе действия по убеждению людей, а такой работы при любом новом начинании всегда более чем достаточно, для сосредоточения положил на свой рабочий стол карадагский кристалл.

И однажды кто-то к слову рассказал ему о том, что когда он уводил свою группу, с единственной из трех ушедших за ним, с Наденькой, имел «воспитательную беседу» Музий, и эта «беседа» выглядела примерно таким образом:

— Куда ты, дурочка, уходишь с этими евреями? Ты же не жидовка, ты *наша*! Ну что тебе там делать?

Ли не поверил своим ушам и при первом же возможном случае, когда никого, кроме них, не было в комнате, спросил об этом Наденьку. Когда та подтвердила все им услышанное, сердце Ли на мгновение пронзила острая ненависть, и в это же мгновение ему показалось, что в хрустальном омуте лежавшего

перед ним шарика промелькнуло несколько искр. И еще он вдруг явственно услышал предсмертный крик Шушары, и в его сознании зажглись слова: «Не хочу, чтобы он умирал!». Дня через три «отделение» было взволновано известием о том, что Музий, возясь на крыше своего садового домика, вдруг поскользнулся и упал на землю с трехметровой высоты. Через две недели в коридорах появился и сам Музий. Ли как-то проходил мимо него и услышал, как он говорил сочувствующим:

— Представляете, я, видно, отбил печенку и лежал, в сознание не приходил, и если бы не подошла жена — так бы и загнулся!

«Слава Богу, что Он прислал твою жену», — подумал Ли и, успокоенный, прошел мимо. Но через полгода Музий начал часто и подолгу болеть, а еще года через полтора умер от рака печени.

И на сей раз, как и в случае с Насером, Хранители его Судьбы очень скоро показали Ли глубинную сущность своего промысла: через год после смерти Музия в бюро, где он командовал при жизни, было передано проектирование одной из крупнейших атомных электростанций Европы, и, особенно после аварии на Три Майл Айленд, Ли нетрудно было представить, какую опасность для человечества представлял бы в этом случае профессионально неполноценный «руководитель», знающий в инженерном деле три слова: «давай, давай» и «надо исполнять».

VI

Все эти действия Ли и вообще вся его жизнь осложнялась резким ухудшением здоровья Исаны. Хоть теперь и вода, и туалет были у нее в полном распоряжении, и чтобы выйти на улицу, ей не нужно было пользоваться крутой лестницей, но день ото дня даже по квартире ходить ей становилось все тяжелее, а плохие или хорошие, но привычные соседи остались на другом конце города в том доме, откуда она проводила на войну Лео.

И Ли стало тяжелее к ней добираться. Утомленный работой и резко увеличившимися и усложнившимися в связи с приближением дня окончания школы у сына делами домашними, Ли все чаще прибегал к услугам такси не столько для экономии времени, сколько для сохранения сил. Ухудшилось и его материальное положение: скромное и весьма относительное финансовое равновесие в доме нарушилось после затрат, связанных с приобретением квартиры и переездом Исаны. Поэтому, когда пришел черный день, когда Исана, упав в комнате и сломав шейку бедра, больше не смогла подняться с постели и

лишь сидела время от времени, когда потребовалось либо бывать у нее ежедневно, либо пригласить человека, который ежедневно хотя бы ее посещал, принося примитивную еду, Ли, рассчитав свои возможности, почувствовал себя нищим. Тем более что предпринятое им изменение условий своей работы невольно удалило его от некоторых небольших, но постоянных источников дополнительного дохода, а открыть нечто подобное на новом месте у него просто еще не было времени.

Деваться было некуда, и Ли, сведя к минимуму свои командировки, бывал в квартире Исаны каждый день, готовя ей нехитрую пищу и помогая в самом необходимом. Теперь Ли часто вспоминал, как он когда-то просил у Хранителей своей Судьбы для себя простой человеческий удел, и теперь понимал, что получил просимое сполна. Но он не роптал, а в отношениях с Саней даже использовал сложившуюся ситуацию во благо: она послужила вполне законной и объективной причиной того, что их встречи, близость и разговоры происходили все реже и реже.

Ли не учел, однако, тот тогда еще мало известный ему факт, что усталость в человеческом организме имеет свойство накапливаться, как и некоторые вредные вещества. И когда с момента падения Исаны прошел год, сам Ли от всей совокупности свалившихся на него дел и забот был близок к нервному срыву и, тем не менее, он начал «прокатывать» на такси последнюю тысячу рублей из отложенных им когда-то дядюшкиных гонораров, потому что сил на пользование общественным транспортом, где ему пришлось бы проводить два-три часа в день, у него уже не оставалось.

В этот критический момент Хранители его Судьбы, видимо, посчитав его испытания достаточными, пришли ему на помощь. И помощь эта пришла с Востока — его второй родины. В одном из писем, которыми непрерывно, хоть и не часто, обменивались он и Михаил — его друг по институту, обосновавшийся в Туркестане, содержалось некое коммерческое предложение. Поначалу Ли к нему отнесся скептически, но пока раздумывал, пытался изучить спрос и конъюнктуру, от его друга пришло извещение на бандероль с загадочным снадобьем, именуемым «мумиё». Ли был поставлен перед необходимостью что-нибудь сделать с товаром либо вернуть его тем же способом.

И в этот момент Ли, однажды заведя разговор, можно сказать, с первым встречным, вдруг натолкнулся на острый спрос, да еще такой, что его удовлетворение было воспринято новым знакомым как огромная услуга. Оставшись довольным товаром, он прислал к Ли своих знакомых, и за какую-то неделю от бандероли не осталось и следа, а в руках у Ли после расчета с другом по ранее

оговоренной стоимости осталась довольно значительная сумма денег. В этот момент приближались последние в жизни сына школьные каникулы, а следующее лето должно было у него полностью уйти на подготовку и вступительные экзамены в университет. Поэтому Ли действовал решительно: в течение дня он нанял одну из богобоязненных старушек-соседок для присмотра за Исаной и сразу же взял билеты в Симферополь.

Через два дня они были в зимней Ялте. Там было солнечно и относительно тепло. В память об их с Ниной первом совместном приезде сюда и ясно ощущая покровительство Хранителей своей Судьбы, Ли направился прямо в «Ореанду», где беспрепятственно снял двухместный и одноместный номера на втором этаже с видом на море. После то морозного, то мокро-холодного Харькова Ялта приняла их со своим скромным зимним теплом, позволявшим днем ходить в расстегнутых осенних пальто. Побродив дня два по пустынному городу, они отправились путешествовать. К сожалению, пароходики в ожидании зимних штормов не ходили, и им приходилось пользоваться автобусами. Одной из главных их самодеятельных экскурсий была, конечно, поездка в Алупку. Там, пройдя от автостанции верхнего шоссе через по-зимнему чистый безлюдный центр, они вышли к дворцу и через дворцовые ворота прошли в парк. Здесь на Ли воспоминания стали накатываться волнами. Смутные картины его первых дней в этом мире, еще в Исане, сохраненные генной памятью, сменил воссозданный его воображением яркий солнечный день, когда они почти за пятнадцать лет до этого зимнего дня приехали сюда с Ниной. Потом уже его живая, человеческая память с грустью показала ему их первый приезд сюда втроем: худенький мальчик — их с Ниной плоть и кровь — улыбался и строил рожицы на вершине огромной каменной глыбы, и Нина, молодая, смелая и ловкая, карабкалась на соседнюю вершину, нависающую над пенным морем. Ли вспомнил всю ту их золотую осеннюю декаду шестьдесят второго, когда они втроем жили в той же гостинице, где когда-то началась его собственная жизнь, а темными осенними безлунными вечерами они на львиной террасе у южного фасада дворца — Альгамбры — отыскивали спутник, бегущий среди звезд. Взглянув теперь в середине семидесятых на них троих со стороны, — а Ли умел это делать, — он почувствовал бег Времени и его невозвратность и тут же вспомнил о своем прикосновении к Вечности, вспомнил, что после этого он ни разу не прикоснулся к своему Дереву — к кедру ливанскому.

Как раз в это время Нина стала беспокоиться: ей показалось, что они вообще одни в нижнем парке, и Ли вывел их на нижнее

шоссе, а потом они углубились в верхний парк. Там на скамейках у лебединых прудов сидели местные мамы с детскими колясками, а местные бабушки пасли своих внуков и внучек. Ли посадил Нину и сына на свободную скамейку, а сам прошел через зеленые поляны к своему кедру, укрылся под его раскидистыми благоуханными ветвями и всем телом прильнул к его стволу, стремясь стать его частью. На этот раз он не пытался анализировать свои видения, он просто слушал Космос, чувствовал себя его частью, и его душу наполняла радость этой причастности.

Когда они вернулись и поужинали, был уже поздний вечер. Нина и сын падали от усталости и, собираясь «прилечь на минуту», сразу же заснули крепким сном. А Ли, как он ни устал, спать почему-то не хотелось — сказывалось энергетическое общение с кедром ливанским, и он спустился в бар в подвале, работающий почти до утра, и там, медленно выпив две крошечные рюмочки великолепного коньяка и выкурив сигарету, рассеянно глядя на экран телевизора, постепенно вернулся на Землю.

Когда пришел день отъезда, Ли успокоил своих, сказав, что когда сын поступит в университет, и у него будут первые зимние каникулы, они снова вернутся сюда. Так оно и случилось.

VII

Начатый Ли мелкий бизнес успешно продолжился, и теперь жизнь его стала совсем иной. Бабульку-ухожалочку он при Исане закрепил навсегда. Болезнь Исаны развивалась так медленно, что время обострений и осложнений можно было предвидеть, и Ли возобновил свои деловые поездки, без которых предложенное им новое направление оказалось бы бесперспективным, так как оно, это направление, требовало сотрудничества и координации работ нескольких проектных и научно-исследовательских учреждений.

Он, естественно, очень старался, чтобы его отлучки не превышали двух-трех дней, а когда был в Харькове, то не менее трех раз в неделю навещал Исану, благо проблем с деньгами на такси у него больше не было. Деньги решали и такую важную для него и Нины задачу, как поступление сына в университет: к нему были приглашены оттуда лучшие преподаватели для помощи в подготовке, и проблема его приема была решена процентов на девяносто. Дороги этого года пролегли у Ли через крупные города. Тема его работы была новой и была связана с интенсивным обменом информацией — конференциями,

совещаниями, которые проводились, как правило, в столицах и «красивых» местах — в Москве, Питере, Нарве, и наконец местом очередного совещания был избран Тбилиси.

Ли очень притягивал этот город, и он до последней минуты боялся, что по какой-нибудь причине его очередное свидание с ним сорвется. Но все обошлось, и в положенный срок Ли сел в самолет, улетающий в Минеральные Воды. Прямого рейса из Харькова в Тбилиси тогда не было, а между Тбилиси и Минеральными Водами самолеты почему-то курсировали несколько раз в сутки, и он в тот же день без приключений достиг грузинской столицы.

В этот свой приезд Ли стал одной из центральных фигур совещания. Многим было раньше или стало теперь известно, что он был среди зачинателей этого направления и что его инициативу поддержал заместитель министра Ф., часто являвшийся его соавтором в различных технических публикациях. Многие здесь старались с ним познакомиться, давали адреса, приглашали к себе. Да и сам Тбилиси стал для него наполняться людьми: нашлись, наконец, Нинины родственники, не забыли местные специалисты добрые и бескорыстные советы Ли, и поэтому он был зван и приглашаем на ресторанные и домашние встречи. Даже на посещение бань Орбелиани и на подъем на гору Давида на сей раз у него времени не хватило. Тем более что все эти дни он, как всегда в последнее время, жил с мыслью: «А вдруг он там, дома, нужен Исане? Сыну? Нине?»

Тем не менее, ехать обратно он решил поездом, потому что в данном случае фокус с Минеральными Водами мог не получиться: оттуда на Харьков был всего один самолет, и полной надежды попасть на этот рейс не было. С билетом в кармане Ли успокоился и уже без всяких угрызений совести позволил себе расслабиться. Как раз подоспело приглашение в какой-то ресторан в Ортачальских садах. Ли еще не бывал на восточных окраинах Тбилиси и с благодарностью его принял. Пирушка, как здесь было принято, затянулась, и профессор Арошидзе, сидевший рядом с Ли, несколько раз уверял его, что его поезд вот-вот уйдет, но Ли возражал, говоря, что он своими глазами видел расписание, и что до отхода еще более двух часов. Наконец, прошло и это время. Ли откланялся, а Арошидзе вызвался отвезти его на вокзал. Там оказалось, что они оба правы: прав Арошидзе — поезд ушел в 16.00 по Москве, и прав Ли — расписание гласило, что поезд этот должен был уйти в 19:00 по Москве. Тем временем Арошидзе уже уехал домой, пригласив Ли на чашку кофе «если что», и Ли сам пошел выяснять отношения к дежурному по вокзалу. Поскольку дело происходило в Грузии, где

солидный человек, а тем более гость даже в сильном подпитии пользуется уважением, дежурный не сдал Ли, как положено по русскому обычаю, в привокзальную кутузку и не отправил в вытрезвитель, а наоборот, подошел вместе с ним к расписанию и, убедившись в его правоте, подозвал какого-то служку, и они вдвоем о чем-то поцокали, время от времени махая руками в сторону расписания. Потом дежурный, обращаясь к Ли, сказал:

— Если вы можете уехать завтра, я сейчас вас поселю в отдельном номере для приезжих гостей, и у вас будет все необходимое, как у моего гостя; если вы очень хотите уехать сейчас — что-нибудь придумаем.

— Мне нужно ехать сегодня, — сказал Ли, — но я благодарен вам за приглашение.

Ли, к тому же, очень хотелось спать. Они пошли на платформу, и дежурный завел его в купейный вагон какого-то состава, где он был принят как дорогой гость. Через минуту ему была застелена нижняя полка, на стол поставлены бутылки с лимонадом и пивом, но как только его голова коснулась подушки, он отключился. Ночью он просыпался в полной уверенности, что едет в Харьков, а под утро заснул крепко и со сновидениями. Из множества картин он запомнил одну: он увидел себя сидящим за столом, похожим на тот, что был в Орточалах, с двумя грузинами, а перед ним стояла тарелочка с тремя рыбками храмули, почти как какой-нибудь пир князей или семейный кутеж у Пиросмани. Потом рыбки вдруг стали прыгать на тарелке, и Ли не сразу понял, что это проводник трясет его за плечо:

— Вставай, дорогой! Приезжаем!

— Куда приезжаем? — удивился Ли.

— Как «куда»? В Сухуми, конечно, — теперь уже удивился проводник. А поезд в это время уже шел по Келасурскому мосту.

VIII

На сухумском вокзале Ли оценил свои возможности. Билет до Харькова, по которому он тут же отметил остановку у дежурного, давал ему право проезда в общем вагоне пассажирского поезда. Чтобы сделать доплату и ехать прилично, ему нужно было рублей двадцать, а в наличии у него оставалось пять: купив в Тбилиси билет, он перестал контролировать свои расходы. И тут Ли вспомнил, что за день до его отъезда домой, в Сухуми уехал один из участников совещания, проявлявший к Ли интерес и уважение и оставивший ему свой домашний адрес и телефон. Было чуть

более семи утра, но весеннее солнце уже пекло как днем. Ли решил, что вряд ли здесь народ встает поздно и, найдя номер телефона, сразу же позвонил. Трубку взял сам его тбилисский знакомый, и Ли попытался ему рассказать о своих приключениях и невзгодах, но тот сразу же прервал его:

— Ты где стоишь? Стой у парадного входа в вокзал и с места не сходи.

И повесил трубку.

Минут через двадцать на небольшой площади у вокзала развернулось такси, и Ли увидел знакомую физиономию, на которой светилась неподдельная радость.

— О делах потом! Сейчас мы немного поездим по Сухуми — проезд в центр у нас непростой — и позавтракаем, — сказал Зураб, усаживая Ли в такси. Когда еще минут через пятнадцать они вошли в дом Зураба, там уже был накрыт стол человек на шесть, и вскоре стали прибывать еще гости — друзья хозяина. После быстрых представлений пир был начат. Ли посмотрел на часы: по Москве было 08.15!

Застолье было очень серьезным и заняло часа три. Поскольку другие гости были на своих машинах, еще часа два ушло на осмотр Сухуми от Эшери до Гюльрипша. Только потом Зураб позволил Ли рассказать о своих трудностях. Зураб уговаривал Ли задержаться в Сухуми хотя бы на день, но, узнав его заботы, признал, что медлить с отъездом нельзя, и все проблемы Ли были решены за двадцать минут. Солнце еще было довольно высоко над морем, когда Ли уже смотрел через окно вагона на проплывающий мимо Новый Афон, на узкое ущелье, ведущее в долину Псцырхи к пещере отшельника… Его столик в купе был завален всякой снедью, а под ним стояла трехлитровая банка с зеленоватым вином цоликаури. С этого дня в жизнь Ли вошли Зураб, его семья и его друзья, и Сухуми, как и Тбилиси, для него наполнился близкими людьми. Приезжать сюда было радостно и тяжко: Зураб и его друзья были имеретинцами, и Ли часто ругал их за беспредельное имеретинское гостеприимство, о котором ходили легенды даже в гостеприимной Грузии. Ли говорил, что Зураб стремится воссоздать обычай своих предков, которые, приняв гостя, затем выносили его в полубессознательном и неподвижном состоянии на крыльцо, чтобы все видели, что хозяева для гостя ничего не пожалели.

Путешествие в Тбилиси и Сухуми было для Ли последним подарком Исаны. Когда он вернулся, ее здоровье стало резко ухудшаться, и через полмесяца она ушла. Она умерла у Ли на руках, но последним названным ею именем было имя Лео. Ли пожалел, что городской крематорий в год ее смерти еще не

работал, потому что ему очень хотелось вернуть ее прах Одессе, где она явилась на Свет Божий при так и не прояснившихся обстоятельствах, или Алупке, где она родилась вторично и зачала его. Но, увы, ей выпал жребий лежать в чужой земле, подарившей ей всего несколько лет полного счастья с живым Лео и маленьким Ли и много-много забот, беспокойств, болезней и страхов. Теперь, впрочем, все это было уже в невозвратном прошлом.

IX

Первые полгода после смерти Исаны Ли почти непрерывно был в разъездах: ему требовалось чуть больше, чем обычно, одиночества, а нигде он не был более одинок, чем в дороге и на случайных ночлегах. В одну из таких поездок он увидел у случайного соседа по гостиничному номеру журнал «Москва» с «Мастером и Маргаритой».

Сосед был утомлен дневной беготней да и принял малость, и когда он прилег, через минуту раздался стук падающего журнала. Ли, которому не спалось, не поленился встать и поднять его. До него, конечно, доходил шум, поднятый этой запоздалой публикацией, и душещипательные интеллигентские рассказы о «трагической судьбе Мастера», но в суматохе своих последних семи-восьми лет он как-то не сумел (а может, и не очень стремился) добраться до этой свежей, но уже библиографической редкости.

Написанное в этом романе не было созвучно душе Ли. Участие в действии неуязвимого и всемогущего Воланда было, по мнению Ли, признаком некоторой профессиональной беспомощности, так как было бы значительно сложнее показать действующего в империи Зла человека пусть неординарных, но все же ограниченных способностей — уж сложность такого бытия Ли хорошо знал на собственном опыте. Булгаков же своего Воланда с Фаготом-Коровьевым, Котом Бегемотом, Азазелло и голенькой Геллой без труда и особых мотивировок мог запустить и в Кремль, собрав на бал Сатаны при свечах больших и малых вождей. Да и гений всех времен и народов, летящий с кратким курсом истории ВКП(б) в своем привычном кителе, но без штанов и без исподнего на половой щетке над Москвой, тоже был бы неплох. Все это было бы, вероятно, интереснее, чем давно забытые театрально-литературные разборки, занимающие более половины книги.

Не произвели особого впечатления на Ли и сцены казни Иисуса. Дело в том, что Булгаков, чей род был никоим образом не

причастен к этим событиям, пытался силой своего воображения воссоздать их, а Ли, несколько десятков предков которого были тогда в один из дней весеннего месяца нисана в толпе у Голгофы, после многократных прочтений сказаний четырех штатных и еще нескольких непризнанных евангелистов вызвал из глубин своей генной памяти картины происшедшего, и он уж никак не мог подтвердить слова Булгакова о том, что плащ у Пилата был с кровавым подбоем, ибо хоть и далека была Иудея от Рима, но носить в Иерусалиме или Кесарии царские цвета было опасно, поскольку, как говорил св. Иоанн, «всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Царскими были все оттенки красного цвета. Недаром тот же Иоанн рассказывал о багрянице, которую напялили на Иисуса, обвиненного в том, что он выдает себя за царя Иудейского. Ли точно *помнил*, что плащ Пилата был с оранжевым подбоем.

Чужда была Ли и лирическая линия романа, и он бы тут же отложил это сочинение и забыл бы о нем и о Булгакове навсегда, если бы на первых его страницах он не увидел фразу Воланда, связанную с тайным смыслом его собственной жизни: «Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится».

Прочитав роман, он вернулся к ней и к ситуации, в которой она была произнесена. К сожалению, дальше эта линия романа вела в цирк или в бурлеск, но Ли вспомнил свое ощущение предопределенности описываемых событий, когда он листал «Белую гвардию», именно листал, а не читал, поскольку книга эта в его руки попала буквально на несколько минут. Теперь он решил при первой же возможности прочитать ее целиком, что и сделал, вернувшись из этой поездки домой, и понял, что не ошибся — карма была за каждой строкой этой книги. Еще когда он впервые взял в руки «Белую гвардию» и прочитал посвящение: «Любови Евгеньевне Белозерской», что-то шевельнулось в его памяти. Потом он прочитал катаевский «Алмазный мой венец», обратив внимание на женитьбу Синеглазого на «княжне Беломорско-Балтийской», а потом, наконец, ему случайно попалась статья об экранизации «Бега», где говорилось о посещении автором статьи «Л.Е. Белозерской в ее квартире на Пироговской». Этого сочетания: Белозерская, княжна, Пироговская улица — оказалось достаточно, чтобы смутная догадка Ли стала уверенностью:

— Боже мой, — вслух вскричал он. — Это же Люба, дядюшкин Заяц!

Дядюшка любил своим дамам-помощницам по всяким издательским делам, как и своим домашним, давать разные прозвища; сам Ли был у него Лордом, а милая, живая, всегда

куда-то стремящаяся Люба Белозерская именовалась Зайцем, а иногда Зайчишкой. Представляя ее ему впервые, дядюшка сказал:

— Сейчас ты прикоснешься к руке милой женщины из рода более древнего, чем род князя Рюрика. Я имею честь представить тебе княжну Любовь Евгеньевну Белосельскую-Белозерскую, ведущую свое родословие от старшего брата первого русского князя!

На него смотрели ясные и смешливые глаза, и Ли бережно взял протянутую ему для пожатия руку и поцеловал ее. С тех пор, встречаясь и расставаясь с Любой то ли у дядюшки, то ли в редакции, то ли когда Василий завозил ее домой на Пироговскую, когда они наезжали в Москву из-под Звенигорода, он завладевал ее рукой и оставлял на ней свои поцелуи. Любе тоже понравилась эта игра, и когда позволяли условия, она, как это было положено в том мире, откуда она пришла, легко прикасалась своими смеющимися губами к его склоненной голове.

Когда Ли понял, что старая дядюшкина Москва от него уходит, он вычеркнул из своей жизни всех ее обитателей, но их имена сохранились в завещании тети Манечки, помянувшей их, как она писала, «из уважения к памяти моего брата», и теперь, достав свой экземпляр этого документа, Ли выписал оттуда точный адрес Любы Белозерской и написал ей несколько напоминающих о себе слов. Ответ пришел очень быстро: Люба писала, что она его помнит, любит и ждет к себе при первой же его возможности хотя бы потому, что ей никто и никогда не целовал руки так, как это делал Ли. Ли держал в руках конверт ее письма, и ему казалось, что даже запах духов Любы за почти четверть века, разделившие их прошлые и будущие встречи, не изменился — княжна любила изысканные и запоминающиеся ароматы.

Это письмо было ему дорого тем, что с ним к нему возвращалась часть, казалось бы, безвозвратно утраченного мира, и в первый момент Ли даже и не думал о том, что оно означает в какой-то степени и прикосновение к другому утраченному миру — миру Михаила Булгакова.

И еще: он чувствовал, что это письмо как бы подводило итог его долгим странствиям последних лет и каким-то бесцельным поискам, связанным отчасти с этими странствиями. Возвращение Любы в его жизнь становилось первой вешкой в новом отсчете времени. Он ощутил необходимость подвести хоть какой-нибудь итог, и, взяв Любин конверт, он на его обороте, как некогда на памятной расписке римский сенатор Варрон, придумавший своего лже-Нерона, провел жирную вертикальную линию, но вместо слов «убыток» и «прибыль» написал: «обретения» и «утраты».

Потом он вписал в первую графу «Зураб», «Люба», а во вторую: «Саня», «Исана», и за каждым из этих слов стояли прошлые или будущие миры Ли, миры, составлявшие частицы его непростой жизни. Немного подумав, Ли вписал в графу «утраты» еще одно имя — «Константин». Это было имя отца Нины. У Ли с ним было мало общего. Но за долгие восемь лет, прошедшие со дня его смерти, Ли вспоминал его едва ли не каждый день. Видимо, этого уравновешенного и доброго человека ему недоставало и еще долго будет недоставать в одном из его миров.

Книга шестая
Созвездия

Мне Тифлис горбатый снится.

О. Мандельштам

Я тоскую, как по дому,
По Тбилиси давних лет,
По себе по молодому
С той, которой больше нет.

Е. Евтушенко

Клянусь небом — обладателем созвездий,
и днем обещанным, и свидетелем,
и тем, о ком он свидетельствует.

Коран, сура 85, «Созвездия Зодиака», ст. 1–3

I

Война, разбросав и уничтожив практически всю семью Ли, лишила его такого важного для человека достояния, как духовные связи с разными поколениями родственно близких людей. Лишь на несколько лет довольно редкие с точки зрения семейного общения встречи сблизили его с дядюшкой, тетей Лелей и тетей Манечкой, а потом этот мир исчез, и последующие двадцать лет он провел среди сверстников, молодежи и немногих «стариков допенсионного возраста». И в своих интимных пристрастиях он по воле обстоятельств был ориентирован только на молодых. В «отделении» его сослуживцы, кто со смехом, а кто и с досадой и даже с возмущением, повторяли жестокую формулу сорокапятилетнего Ли: «Моя любимая — это женская особь человеческой породы в возрасте до тридцати лет», свидетельствующую о том, что он тогда еще не постиг прелесть

женской старости, когда в одной личности сходятся память предыдущих поколений, носителем которой она, эта личность, является, с памятью о собственной долгой жизни, о собственном житейском и чувственном опыте.

И именно в этот момент в его мире появляются сразу две женщины разной, но необычной судьбы. О первой из них — Любовь Евгеньевне, Любе Белозерской уже была речь, а второй стала тетя Нины — тетушка Муся из Тбилиси. Мусю они с Ниной отыскали в свой первый совместный приезд в Тбилиси еще в конце шестидесятых, но тогда был жив ее муж, стареющий отпрыск одного из родов Вартановых, которых, по словам Арошидзе, в Тбилиси было пруд пруди, и их общение происходило строго на семейном уровне. Николай Тигранович Вартанов, очень уютный, но к тому времени уже очень больной тбилисский бездельник, умер за полгода до Исаны, и так случилось, что именно в этот период Ли стал по разным делам бывать в Тбилиси довольно часто. Одиночество же резко изменило отношение Муси к далеким родственникам, и теперь она настояла, чтобы Ли всегда останавливался у нее. И сам Тбилиси — город, в котором с незначительными отлучками прошла вся ее жизнь, стал пустеть для нее — ей шел восьмой десяток, и многие ее сверстницы и друзья уже покинули этот мир.

Останавливаясь у нее, Ли обычно проводил с нею долгие утра — как гость, он имел право приходить в учреждения по своим делам попозже, а вечера, как принято в Грузии, были заняты дружескими застольями. Утром они не спеша пили кофе в лоджии ее квартиры в Сабуртало, а в окно, у которого стоял столик, во всю свою красу была видна в профиль гора Давида. Неспешно текла и их беседа, в основном о давнем и недавнем прошлом, и перед Ли постепенно раскрывалась вся ее жизнь, густо усеянная обломками кораблекрушений, а как все начиналось!

Вот маленькая светлая девочка важно движется по Верийскому кварталу. Ей никогда не хотелось бегать с босоногими девчонками и мальчишками. В мечтах она видела себя среди красивых и нарядных учениц заведения святой Нины, на приемах у наместника, на встречах великих князей и даже, страшно сказать, самого Государя Императора. А потом всех выпускниц этого основанного графом Воронцовым института ожидают руки и сердца лучших женихов Грузии. Дед Нины — отец тетушки Муси-Марии — в чинах был небольших, совсем не соответствующих праву видеть свою дочь в заведении святой Нины, но ее старание, за которым светились вера, надежда и мечта, было замечено: за нее поручились важные люди, и

заветная дверь открылась перед нею.

Однажды на ее ангельский профиль, на ее белокурые волосы, столь необычные в южных краях, на ее крошечные ушки изумительной формы, которые она, в отличие от своих подруг, открывала, а не прятала под прической, на ее соболиные брови и открытые голубые глаза обратил внимание поэт и великий князь Константин, и кое-кто говорил, что одно из лирических стихотворений, подписанное К. Р., было навеяно ее образом.

Стремление к внешнему блеску не отвлекало ее от напряженных занятий — ей хотелось быть первой везде, чтобы своими личными качествами, а не положением отца завоевать высший свет. И в этом Судьба была милостива к ней; ей все давалось легко, и уже после первого года своего пребывания в заведении святой Нины она говорила по-французски лучше грузинских княжон, которых учили этому языку чуть ли не с младенческого возраста.

Тем, к чему всеми силами своей души и всей своей волей стремилась юная Мария в Тифлисе, в этом кавказском Париже, Люба Белозерская, которая была старше ее на три года, владела по праву рождения. Когда пришел положенный срок, ее отдали учиться в Питер в Демидовскую гимназию, где уже знали ее старшую сестру. Конечно, по положению в обществе ей был доступен и Смольный институт, но дети в ее семье были, в определенной степени, воспитаны в демократических традициях, придворные устремления в ней не поощрялись, отчасти потому, что род Белозерских был одним из древнейших в России. Отсутствие каких-либо специфических целей и особых притязаний приносило свободу и раскрепощение, и ее дарования, щедро отпущенные ей Природой, проявились в юные годы; она свободно говорила на нескольких языках, хорошо пела, рисовала, не была обойдена и литературными способностями. Кроме гимназии, она еще закончила частную балетную школу, и когда годы учения остались позади, ее с распростертыми объятиями приняла в свои ряды петербургская литературно-артистическая богема. Следует отметить, что общим у петербургской и, вообще, русской богемы серебряного века с богемой французской или итальянской был лишь стиль жизни и взаимоотношений, бедность же и нищета никогда не относились к ее обязательным атрибутам, и избрать для своих встреч, или, как теперь говорят, тусовок роскошный «Самарканд» в этой среде никогда не считалось зазорным. Но эти золотые годы Любы были недолги: вскоре началась война, хоть и не сразу, но многое изменившая в жизни столицы. Повинуясь общему порыву, Люба, будучи здоровой и физически крепкой девушкой, подалась в сестры

милосердия, что отвечало и ее нравственным устоям — помощь людям и вообще всему живому, нуждавшемуся в сострадании, она до последних дней считала своим святым долгом.

II

Смута, охватившая империю, разрушила мир, в котором жила Люба в Петербурге и в который стремилась Мария в Тифлисе, но их путь через это лихолетье был разным.

Люба покидает Петербург и почти два года проводит в странствиях по югу империи, там, где многие ее друзья, надев офицерские шинели и пытаясь вернуть свой Серебряный век, стали участниками белого движения. Волна этого движения несет ее через Киев, где они с Булгаковым, еще не зная друг о друге, провели несколько одних и тех же месяцев, и далее в Одессу, а оттуда в Константинополь. Эту часть ее пути потом воссоздал по ее рассказам в «Беге» Булгаков.

А после Константинополя был и Париж, и Берлин. Эта «малая кругосветка» Любы завершилась возвращением вместе с Алексеем Толстым в 1923 году в Россию, где ее городом до последних дней стала Москва. Ее мир, вскормивший и вырастивший ее, остался в Париже и других городах Западной Европы. Она не была им отринута, но свое место в его новой жизни, жизни в рассеянии, она не нашла. И теперь ей нужно было начинать все с начала.

Встреча с Булгаковым была по отношению к ней милостью Судьбы, ибо она внесла в ее существование и смысл и цель. Она по своему характеру и предназначению была вечной «помощницей», но не «душечкой», болтающейся по житейскому морю под действием чужих воль, а помощницей, активно и неназойливо управляющей тем, кому она помогает. Булгаков именно в такой помощи в те годы нуждался, и первые несколько лет из восьми прожитых ими вместе были счастливыми. В эти годы Булгакову сопутствовала удача: его печатали, ему открылся Художественный театр. «Дни Турбиных» сделали его знаменитым.

Многое из написанного в годы их совместной жизни Булгаков посвятил Любе, и это не только посвящение любимой женщине, но и, именно, незаменимой помощнице. С ней он обсуждал свои новые планы, а в работе над пьесой о Мольере и его жизнеописанием он бы просто без нее не мог обойтись, поскольку иностранных языков не знал. Значительную часть его рукописного архива занимают бумаги, написанные рукой Любы. Она же была Маргаритой в первой редакции знаменитого романа.

Их дом в конце 20-х стал одним из центров уже новой

«советской» литературно-театральной богемы, и двери его были постоянно открыты для всех. У милосердной Любы находили тепло и ласку все, кто в них нуждается: и люди, и собаки, и кошки. И в этом потоке всего живого, привлеченного ее теплом, вместе с бездомными собаками и кошками попали два человека: Сергей Ермолинский и Елена Ниренберг. Первый принял ее доброту за доступность, и когда Люба объяснила ему его ошибку, затаил на нее злобу за попрание своего «мужского достоинства». «Рассчитался» он лет через сорок, оболгав ее в своих «воспоминаниях». В этих записках он представил себя ближайшим другом Булгакова и в подтверждение этой своей исключительной роли в жизни Мастера демонстрировал его фотографию с проникновенной дарственной надписью, обращенной к «Сергею». Но потом выяснилось, что адресат этой надписи действительно был «Сергеем», но не был Ермолинским.

Вторая же незваная гостья, сперва став ее «подругой», позднее увела у Любы Булгакова.

В своих записках Ли очень приземленно описывает «победу» Елены Ниренберг (то, что в своих упоминаниях ее имени он использует ее девичью фамилию, объясняется тем, что Люба после развода осталась Булгаковой, и, таким образом, при одновременном присутствии в рассказе Ли обеих этих дам возникла бы путаница, связанная с тем, что обе они — Булгаковы. Поэтому каждая из них выступает в его повествовании под своей первоначальной фамилией). Он утверждает, что этот шаг был сделан Булгаковым по расчету, так как к моменту получения им настоятельных предложений от Ниренберг материальное положение его и Белозерской резко ухудшилось — он был полностью лишен возможности печататься, а ее редакторские заработки не позволяли как прежде держать открытый дом, всегда переполненный гостями. Таким образом, они были на пороге кризиса, и приуроченный к нему их развод позволял, по мнению Булгакова, выйти с честью из создавшегося положения — с благовидной причиной закрытия их салона. Кроме того, как утверждает Ли, в Булгакове под блестящей оболочкой изысканного и тонкого литератора продолжал жить и развиваться элементарный по своим запросам провинциальный (в данном случае — киевский) обыватель, который был бы не прочь совместить в своей жизни блистание среди интеллектуальной элиты с чудачествами и экстравагантными выходками, придающими пряный аромат его славе, закрытую от мира уютную квартиру, теплую и заботливую жену, удобное кресло у большого письменного стола и обязательный абажур.

Люба могла дать ему только первое и только до тех пор, пока

эта бурная жизнь подкреплялась достаточными заработками. Происходившая из зажиточной рижской еврейской семьи Елена, чья материальная обеспеченность не зависела от заработков, предлагала второе. Дотянув до того момента, когда иссякли и Любины заработки: ее как жену «классового врага на литературном фронте» также лишили работы, — Булгаков выбирает абажур. Конечно, версия Ли находилась в весьма серьезном противоречии с мифом о «непреодолимом влечении» двух сердец, о полной тождественности литературных Мастера и Маргариты и живых Булгакова и Елены Ниренберг и прочими сладкими сказками. По рассказам Ли, даже Люба Белозерская, когда он огласил ей свой приговор давно свершившимся событиям, сказала, что «этого не может быть», «он ушел, потому что полюбил». Но потом открылись некоторые секреты, поколебавшие ее веру в то, что «Мака не такой». Первым было извлечение из небытия пьесы «Батум», с которой «не такой Мака» хотел подъехать — в «лучших» традициях безнадежного циника Алешки Толстого — к «Гению всех времен и народов» и стать Мастером не только по шкале Воланда, но и по оценкам Лаврентия Палыча. Так получилось, что известие о существовании «Батума» Любе принес Ли, и эта новость ее так шокировала, что пришлось прибегнуть к лекарствам.

— Это все она, — говорила Люба. — С ее аппетитами никаких денег не хватало! Да и первой дамой советской литературы ей не терпелось стать.

Это была единственная резкая фраза Любы по адресу Елены, которую Ли довелось от нее услышать.

Вторым открывшимся ей секретом было последнее письмо Булгакова Сталину и правительству. Она, конечно, знала об этих хлопотах Булгакова. Более того, она слушала на второй трубке телефонный разговор Сталина с Булгаковым и сделала его полную запись, опубликованную впоследствии Еленой, но точный текст этого — одного из нескольких — прошений Булгакова не был ей известен. А в том письме, написанном в тот момент, когда его решение об уходе к Елене было вроде бы окончательным, он просит разрешить ему выезд за рубеж с женой… Любовью Евгеньевной Булгаковой. Логика этого прошения столь же обывательски элементарна, как мечты об абажуре: если ехать в Париж, то, конечно, с Любой (как это было у них давно уговорено на сей случай). С Любой, говорящей на французском как на родном, да еще и знающей английский и немецкий. С такой помощницей, к тому же абсолютно «своей» в эмигрантской сфере, он надеялся сразу утвердиться на Западе и влиться в парижскую жизнь. А что бы он там делал с Еленой и с ее любовью!

Париж, однако, остается в мечтах, и положенное свершилось. Любе (в который раз!) пришлось начинать новую жизнь. В ней, в этой новой жизни, она уже не связывает себя семьей или подобием семьи. Можно было бы сказать, что она коллекционирует известных и знаменитых знакомых, если бы не тот факт, что многие из них сами искали знакомства с нею. Ее предвоенные годы были связаны с работой в редакции серии «Жизнь замечательных людей», среди авторов и рецензентов которой тоже было немало замечательных людей из «раньшего времени» — Дживелегов, Святополк-Мирский и многие другие. Там и состоялось ее знакомство с дядюшкой, сразу включившим ее в свое женское секретарско-редакторско-корректорское окружение. Общение с дядюшкой помогло ей и пережить войну, во время которой он не раз «нанимал» ее на работу своим секретарем в лекционных поездках, и устроиться на постоянную работу в одно из издательств после войны. Но и потом их общение продолжалось: Люба являлась по первому зову и всегда была готова помочь библиографическими подборками, справками, либо просто прочитать рукопись и сказать свое мнение о ее достоинствах и недостатках. Именно тогда впервые пересеклись жизненные пути ее и Ли.

В тот первый период их встреч Ли ничего не знал о Булгакове. Вторую часть своей фамилии — «Булгакова», полученную в замужестве, как и первую историческую ее часть — «Белосельская», она в обиходе не употребляла. Для дядюшки имя Булгакова было пустым звуком, и, если он и видел в Художественном «Дни Турбиных», что весьма вероятно, так как он очень любил этот театр и был лично и довольно близко знаком с Качаловым, Москвиным и другими актерами, составившими его славу, то в этом спектакле его, хоть он и сам был киевлянином, наверняка интересовала больше игра актеров, чем личность и биография автора. Самые общие сведения о существовании Любы Ли имел до смерти тети Манечки в пятьдесят седьмом, и вот сейчас, двадцать лет спустя, ему предстояло возобновить знакомство уже не просто с одной из дядюшкиных симпатий, а с одной из жен повсеместно и посмертно прославленного Мастера. Но живая и подвижная женщина, которую невозможно было назвать старушкой, вышедшая ему навстречу на Пироговскую, чтобы избавить его от поисков квартиры, обратилась к нему так, будто и не было этих двадцати лет. А когда во время их первой беседы в полуоткрытое окно одна за другой впрыгнули две кошки московской дворовой породы, то все вообще стало на свои места.

III

Мария, как уже говорилось, была моложе Любы на три года, и незабываемый восемнадцатый год сделал ее, двадцатилетнюю, невестой без женихов. Путь, казавшийся беспредельно ясным, вдруг скрылся в тумане. Поскольку ее отец, хоть и малым чином, принадлежал к имперской колониальной администрации, его первым порывом было вывезти всю свою семью в родные края. Чтобы объехать неспокойные области империи (железной дороги на Север через Сухуми и Сочи тогда еще не было, и поезда шли через Баку и Дербент), летом восемнадцатого двинулись в Поти и там погрузились на какой-то пароходик, с трудом дотащившийся в Севастополь, а оттуда поездом по тогда еще белой части империи прибыли в Харьков.

Все свершившееся было для Муси таким ударом и такой трагедией, что все детали этого путешествия, а вернее — бегства из Тифлиса, полностью исчезли из ее памяти и стали известны Ли почти полтора десятилетия спустя, когда на его руках тихо угасала мать Нины — Вера, младшая сестра Муси. Ее память — память двенадцатилетней девочки, до того ни разу не покидавшей Тифлис, сохранила все, даже самые мимолетные впечатления вроде тревожно мяукающих, почти по-человечески плачущих кошек, бродивших по их опустевшей квартире в Вери, когда все вещи были уже сложены, и, сидя на них, семья ждала извозчика — за ним отправился отец.

Это воспоминание сменилось картиной посадки на какой-то грязный, перепачканный углем пароходик в Поти, где расположились сначала на палубе, а уже потом нашелся уголок в трюме. Православные монахи прямо на палубе раздавали детям затвердевшие бублики из какого-то серого мешка, но когда у одной девочки началась то ли дизентерия, то ли брюшной тиф, бублики выкинули в море. Девочка умирала на палубе под открытым небом, а на бублики примчалась откуда-то стая дельфинов. Они затеяли игру, поддевая бублики носами, и с этими бубликами на носах почти полностью выскакивали из воды.

До Ялты (а не до Севастополя, как запомнилось Мусе) тащились несколько суток, и отец, живший и заставлявший всю семью жить по строгому режиму, исстрадался из-за отсутствия «горячей» пищи. Поэтому тут же на ялтинском причале мать сложила примитивный очаг из гальки, и на берегу моря был сварен борщ. Лишь подкрепившись таким образом и выпив добрую чарку чачи из своих грузинских запасов, отец отправился хлопотать о подводе на Севастополь — ближайшую и самую доступную в те годы железнодорожную станцию. Подводы не нашлось, но подвернулась фелука, уходившая в Севастополь

поутру. Еще несколько дней ушло в Севастополе на подготовку к штурму поезда, идущего на Харьков.

Воспоминания эти так разбередили умирающую Веру, что она поведала Ли «страшную» семейную тайну, отчасти объяснявшую метаморфозу, происшедшую с дедом Нины, скончавшимся за год до ее сближения с Ли. Даже сама Нина не знала, почему ее дед из достаточно грамотного служаки (Ли читал его письма, написанные кратко, емко и без грамматических ошибок) сразу же по возвращении в Харьков превратился в тихого жителя предместья, торгующего на базаре свежей, соленой и моченой продукцией своего крохотного садика и приусадебного участка, и ни разу ни в какие времена даже не пытался изменить этот свой скромный статус или побывать в местах своей прежней жизни.

Рассказ Веры начался с ее ответа на вопрос Ли: откуда в семье взялись деньги на такое капитальное мероприятие, как переезд всей семьи на Украину. Оказалось, что у отца была очень дорогая сабля с серебряной рукоятью в ножнах, разукрашенных золотом и драгоценными камнями (так запомнилось Вере). Саблю эту он получил в награду за особые заслуги перед отечеством (второй наградой за эти же заслуги было принятие Муси в заведение святой Нины). Вот за эту саблю один важный грузин взял на себя все расходы и организацию их переезда.

На вполне естественный вопрос Ли о том, что это были за «заслуги», Вера отвечала, что они были связаны с событиями, происходившими еще до ее рождения, но по рассказу матери она знает, что в те времена к ее отцу, когда тот был верийским околоточным, иногда захаживал очень уважительный молодой грузин в неизменном длинном черном пальто и фетровой шляпе. Отца, человека в те годы далеко не старого, он почему-то ласково именовал «дедушкой Ефимом». При встречах они обычно подолгу беседовали, потихоньку попивая «маджарку», и однажды «дедушка Ефим» по его просьбе сообщил по начальству о готовящемся в Баку заговоре. Сведения подтвердились, преступников арестовали, «дедушка Ефим» был награжден и повышен в чине, а потом, опять-таки с разрешения своего молодого приятеля раскрыл перед начальством имя своего осведомителя, фигура которого оказалась столь значительной, что в дальнейшем до старого служаки доходили лишь отрывочные сведения о негласном и тайном продвижении его протеже к вершинам политического сыска. А потом, когда мир «дедушки Ефима» был разрушен «до основанья», физиономия «скромного и уважительного молодого грузина», оказавшего серьезные услуги охранительному начальству, вдруг стала появляться в газетах, принадлежащих «нашему новому миру».

Взгляд у «дедушки Ефима» был цепкий, профессиональный, да и «молодой грузин» почти не изменился за десять-пятнадцать лет, прошедших со дня их последней личной встречи.

Это второе пришествие «молодого грузина», на глазах превращавшегося из хоть и привилегированного, но весьма провинциального осведомителя во всесильного правителя новой империи и «вождя» народов, так напугало «дедушку Ефима», что он на весь остаток дней своих укрылся в огороде, не изменив свое амплуа тупого и темного жителя предместья даже во время почти двухлетней немецкой оккупации. Только когда «все радиостанции Советского Союза» 5 марта 1953 года единственный раз сказали правду о «гении всех времен и народов», «дедушка Ефим» почувствовал себя в безопасности, но жить ему оставалось немногим более двух лет.

Выслушав рассказ Веры, Ли, хорошо помнивший историю, без труда определил, что через «дедушку Ефима» его «молодой грузин» продал бакинское большевистское подполье. Сам факт осведомительской деятельности будущего «вождя народов» Ли не удивил, так как еще подростком, анализируя «дерзкие» побеги через всю империю «отважного революционера» с лицом «кавказской национальности» и неисправимым акцентом, он пришел к выводу, что эти «подвиги» совершались под надежной опекой властей. Поразило его другое — «усатый», очередной раз в его жизни, вынырнул из небытия в тесной связи с близкими ему людьми. «Вот те на! — подумал Ли. — Мертвый продолжает хватать живых!»

IV

В Харькове постепенно адаптировались все, кроме Марии. Ее высокое светское образование со знанием французского и изящной словесности оказалось невостребованным в прекрасном новом мире, сооружавшемся большевиками. После отступления из Харькова белой армии она пошла работать в Горисполком статисткой, и с тех пор «статистка», «секретарь-машинистка», «оформитель» стали ее пожизненной специальностью. Этот ее «трудовой путь» Ли позднее восстановил по сохранившимся после нее казенным бумагам. В ее же рассказах о времени, сокрытом за сухими записями делопроизводителей, все было значительно интересней: везде ей встречались интересные, влюбленные в нее люди, готовые отдать ей свои руки и сердца, увезти ее в Рим, Неаполь, Париж, подальше от этого бесконечного разбоя и беспросветной смуты. Вероятно, так оно и было, потому что такое

было время, но у всех этих встреченных ею людей (а среди ее поклонников был даже Иван Мозжухин, тогдашняя кинознаменитость!) был один недостаток: они понятия не имели, что значит быть выпускницей заведения святой Нины, и Мария не без основания полагала, что к ней их влечет только ее молодость и милое юное лицо, а это быстро проходит. Любопытно, что побывавшие ее сослуживцами в период ее службы в Харьковском горисполкоме такие неординарные личности, как «товарищ Сталин» и «матрос-партизан Железняк», ей не запомнились.

Но вот в не менее незабываемом девятнадцатом в Харьков попадает студент-экономист Петроградского политехнического института Императора Петра Великого Николай Вартанянц. Получив 11 октября семнадцатого года «Билет», свидетельствующий о том, что он уволен в отпуск до 1 сентября восемнадцатого года, он уехал домой в Тифлис, откуда, весело прогуляв годик, снова двинулся в Петроград для продолжения учебы, но сумел добраться только до Харькова. Поскольку ни на север, ни на юг в это время из Харькова выехать без риска для жизни было невозможно, он попытался определиться в Харьковский коммерческий институт, куда и был принят, как записано в его зачетной книжке, «осенью 1919 г.».

Это был красивый кавказец, в молодости более похожий на грузина, чем на армянина. Как коренной тифлисец из образованной купеческой семьи, он хорошо знал цену заведения святой Нины, и свою встречу в далеком от Кавказских гор Харькове с красивой выпускницей этого института посчитал чудом, Роком, Судьбой.

Мария восприняла его восторженные ухаживания без особого энтузиазма. И в заведении святой Нины, и в своих знакомствах она придерживалась круга грузинской дворянской интеллигенции и русских кавказцев, а к армянам относилась настороженно. Но этого привычного и желанного ей общества в Харькове не было, а был Коля Вартанянц, веселый и щедрый, когда было что транжирить, принадлежавший, по его рассказам, к богатой семье, владевшей домом и землей в центре Тифлиса и островком посреди Куры. Семье принадлежали также лавка и аптека. Их усадьбу на углу Иерусалимской и Сионской улиц рядом с караван-сараем Анановых недалеко от родного Вери она помнила с детства. И сегодня в ее жизни единственная возможность покинуть постылый Харьков и вернуться в Тифлис была связана с Колей.

Они обвенчались в конце девятнадцатого, и в январе двадцатого года уехали в Грузию.

На некоторое время она вместе с Грузией оказалась вне

пределов российской, на сей раз уже советской, империи, но вскоре грузинская государственность приказала долго жить, и «порядок» был восстановлен.

В Тифлисе Мария нашла лишь осколки былого общества, в котором она намеревалась блистать. И Вартанянцы, ставшие Вартановыми, встретили ее весьма сдержанно, но она была молода, и, обладая большой силой воли, не отступила перед невзгодами. Она стала строить «свой дом» в выделенной молодым небольшой комнатушке, тем более что наступивший «нэп» с его артелями и «обществами взаимного кредита» облегчал эту задачу. Билась она одна: на Коле — потомке нескольких поколений хватких и энергичных купцов — природа отдыхала, и его любимым видом деятельности были дружеские застолья и карточная игра.

Тем не менее, усилиями Марии к концу двадцатых они жили довольно прилично. У Марии появились изысканные наряды и драгоценности, к которым она была неравнодушна с детства, и, возможно, когда Мака и Люба Булгаковы обедали в знаменитом духане «Симпатия», рядом с ними шумело застолье с участием Марии и Коли.

Марии тогда было тридцать лет, она цвела, и нет ничего удивительного в том, что один из друзей ее юности, отец которого был инженером, служившим до революции в представительстве одной из европейских фирм в Тифлисе и уехавшим с семьей на Запад, случайно встретив ее в это время в Батуми, — он был старшим механиком на большом французском пароходе, сразу же предложил уехать с ним. И еще несколько лет подряд, когда его пароход швартовался в Батуми, Мария получала открытку на французском языке, извещавшую ее о том, что предложение остается в силе.

Предсмертные судороги «нэпа» сильно ударили по их благополучию. С какой-то разгромленной «социалистическим государством» артелью «замели» Колю. В это время у них уже была маленькая дочь Ирочка, и Мария отвезла ее к родителям в Харьков, а сама вернулась в Тифлис вызволять Колю. На его освобождение ушли все деньги и ценности, а когда он вышел на свободу, их маленькой Ирочки уже не было в живых — ее унесла дизентерия.

И ей, почти в одно и то же время, что и Любе, опять пришлось начинать все сначала. Правда, у нее был Коля, но «лучше бы его не было: он мне испортил всю жизнь», — скажет она потом Ли.

Тем не менее, уже перед войной их жизнь кое-как наладилась. Именно в эти годы важной «движущей силой общественных отношений» становится постоянно присущий

социалистической экономике «дефицит», и Мария не сидит сложа руки. Время от времени она где-то числится на постоянной работе, но вся ее энергия уходит на удовлетворение «дефицита». При этом, ей, естественно, необходим Коля и необходимо, чтобы он хоть где-нибудь и кем-нибудь постоянно работал. Война и первые послевоенные годы еще более обострили «дефицит», и их существование становится безбедным. Конечно, Марии досаждают кутежи и карточная игра мужа, но разрыва она не хочет. Теперь ее идеал сузился до мечты о полной материальной независимости и доме, где она могла бы принимать своих, тогда еще довольно многочисленных, подруг по заведению святой Нины, чтобы быть принятой в их домах ответно, чтобы у нее был свой *круг*.

Когда к пятидесятым все это стало налаживаться, заговорила валаамова ослица: вдруг у нее начались проблемы с Колей, которого она считала навечно прикованным к себе цепью обеспеченности и благополучия. Но, к ее удивлению, оказалось, что и на него кто-то может иметь виды. Остаться совсем одной на пороге шестидесятилетия ей очень не хотелось, и она решительно и жестко разрушает любовные планы своего спутника жизни, растаптывает его розовые мечты о новой, еще более приятной форме существования. Как она этого добилась — осталось в тайне, но этот жгучий роман заканчивается тем, что Коля под ее диктовку пишет «разрывное» письмо своему «предмету». Когда Ли читал сохранившийся черновик этого письма, он был поражен: оно сплошь состояло из слов и выражений, которым в заведении святой Нины никогда не учили.

Конец пятидесятых Мария ознаменовала рядом решительных действий, упрочивших ее бытовое и материальное положение на пороге старости. Во-первых, она оформила с Колей гражданский брак, поскольку церковный никем не признавался, во-вторых, она по уговору со своим умирающим отцом забрала к себе среднюю сестру, пребывавшую в тихой душевной болезни, за что старик отдал ей все, что оставалось ценного в его доме и хозяйстве, и, наконец, в-третьих, пользуясь больной сестрой как щитом и показывая, кому следует, солидную пачку денег, она решила их квартирный вопрос, «выбив» по месту Колиной работы большую двухкомнатную квартиру с обязательной лоджией и балконом в одном из лучших новых районов Тбилиси — в Сабуртало. Дина, сестра, вскоре после этого тихо скончалась, и Мария, наконец, смогла жить, как хотела. Завещание отца рассорило двух сестер — старшую Марию и младшую Веру, о которой он даже и не упомянул.

Однако нельзя сказать, что довольно устойчивое

материальное благополучие и бытовое благоустройство утолили все желания Марии. Ей хотелось, чтобы она была в центре или хотя бы в составе некоего элитного круга, чтобы ее дом был одним из очагов духовности, обителью вечных истин. Будучи человеком верующим, она, естественно, первые свои помыслы обратила к церкви. Церковь нуждалась в активистах и помощниках, но контингент верующих был явно не тот, который был нужен Марии. Кроме того, она была достаточно проницательна, чтобы с сожалением убедиться, что батюшка, как и вся русская православная церковь, служит не только Богу, но и маммоне. Она попыталась перейти в грузинскую церковь и стала прихожанкой старенького храма мама Довиди, но и там не нашла искренности. В то время стали появляться новые течения, стали набегать мутные волны всякого рода «святых» писем. Один из попавших к ней текстов она посчитала мудрым и правильным, и ей показалось, что именно таким путем она сможет нести людям те истины, кои, как она полагала, ей открылись. Она перепечатала этот текст, дополнив его своими мыслями, и на пробу послала его одной из своих подруг по заведению святой Нины с предложением распространить его среди своих знакомых.

Ответную записку бывшей «благородной девицы» Мария сохранила в своих бумагах. Записка по своей форме отвечала всем эпистолярным правилам, преподававшимся в великосветском учебном заведении: в левом углу была проставлена дата в доброй старой последовательности — года, месяца, дня, а в правом было указано место написания — город Тбилиси. Далее следовал текст: «Старая Манда! Письмо Твое получила и уже им подтерлась, не читая. Если напишешь еще хоть одно такое, сдам Тебя в Милицию. Остаюсь Твоя верная подруга — Этери».

Но после целого ряда неудач на ниве попыток духовного общения и воздействия на современников из-за, казалось бы, беспросветных туч выглянуло солнце: ее попросили что-то перепечатать для полулегально существовавшего кружка любителей антропософии, и это оказалось именно тем, что ей было нужно. Она старательно перепечатывала выполненные членами этого кружка переводы многословных и путаных трудов доктора Штайнера, а также давно не переиздававшиеся сочинения Блаватской, сборники духовной поэзии, переводы трактатов по неортодоксальной йоге и трудов других мыслителей из непризнанных в империи Зла философских школ. Душой кружка и одним из главных переводчиков Штайнера был сын знаменитого писателя Звиад Гамсахурдиа, да и весь остальной состав кружка удовлетворял самым высоким требованиям Марии.

Это была среда, о которой она мечтала всю свою жизнь, и она не просто оформляла и размножала материалы кружка, а добросовестно штудировала их, оставляя себе по экземпляру всех прошедших через нее работ.

Благодаря антропософскому кружку, жизнь Марии в конце шестидесятых — начале семидесятых годов обрела свой смысл. Вокруг нее появились интересные люди, стоящие выше земных радостей и успехов. Это было время, когда она была счастлива.

Но счастье, как известно, длится недолго, эта пошлая закономерность еще раз подтвердилась и в жизни Марии, как и другая, не менее затасканная, гласящая, что беда не приходит одна. Тяжело заболел Коля, и ему потребовалась операция, что в Тбилиси было связано с определенными трудностями и требовало немалых затрат. Вышел он из больницы полуинвалидом, хотя и продолжал немного помогать Марии по хозяйству. Первая операция предусматривала вторую, но Коля ее боялся и оттягивал, сколько мог, пока снова не оказался в больнице, где его Ли видел в последний раз: живым он оттуда уже не вышел.

В то же время была разгромлена обитель ее души — антропософский кружок, и Звиад оказался в заключении. Марию по этому поводу не беспокоили: в центре внимания «следствия» была не теософия, а совсем иные вопросы, и она даже добилась права посетить Звиада в тюрьме. Знакомые ахали, предрекая ей преследования, но она не испугалась.

У Ли в это время уже была прикована к постели Исана, и он за время ее болезни лишь два раза по два дня провел в Тбилиси. В один приезд он по просьбе Марии остановился у нее, они долго говорили о свалившихся на них невзгодах, и Ли остро почувствовал ее растерянность. Поэтому когда Исаны не стало, и наступил их первый «свободный» отпуск, Ли уговорил Нину и сына выкроить из него недельку и провести ее с Марией.

V

Если у Марии в Тбилиси маятник ее жизни в середине семидесятых резко качнулся в сторону одиночества, то у Любы, опять-таки без особых ее усилий, как бы по праву первородства, это же время стало временем выхода из забвения, из небытия, и ее мир, как у всякого человека, идущего к своему восьмидесятилетию, да еще посреди бурного двадцатого века, сократившийся было до нескольких еще случайно живых людей, вдруг начал расти и расширяться до пределов земного шара.

Получилось так, что, когда с возрождением из пепла

«Мастера и Маргариты» к Булгакову пришла вполне заслуженная не только Судьбой, но и талантом мировая слава, Елене — главной виновнице этого возрождения Мастера — оставалось жить два года.

Раздумывая о судьбах Елены и Любы, Ли видел явное действие кармических сил. Уход Булгакова к Елене, в свершении которого, возможно, свою роль сыграло и гнездящееся где-то в его подсознании предчувствие врача, дало ему, больному, возможность в покое и уюте завершить начатого еще при Любе (когда Елены не было в его жизни и в помине) «Мастера» и осветить страницы этого романа любовью Маргариты — на сей раз Елены. Эта великая любовь у Елены перешла в верность его памяти и породила непреодолимое стремление воздать ему должное не только в своей душе, но и в мире. Такая высочайшая степень сосредоточенности, на которую легкая и вечно куда-то стремящаяся и летящая Люба никогда не была бы способна, пробила железобетонные идеологические заграждения, возведенные империей Зла в порядке самосохранения, и свершить чудо — Мастер воскрес!

Своей волей, решительностью и напором Елена не только выполнила свое предназначение в посмертной Судьбе Булгакова, но и вернула свой долг той, у которой она его увела, избавив ее до конца ее долгих дней от забвения и неизбежного жуткого беспомощного одиночества.

Дело в том, что когда, свершив положенное, Елена ушла, Люба и ее маленькая квартирка на Пироговской в нескольких десятках метров от их с Макой веселого дома, заполненная уцелевшей булгаковской мебелью, картинами и воспоминаниями, постепенно стала международным центром булгаковского мира. Не зная предела своей жизни, она первым долгом постаралась записать все, что помнила, и, прослышав об этой рукописи, к ней потянулись окололитературные стервятники и стервятницы.

Люба слишком хорошо знала «советскую литературную среду» и понимала, что никто из налетевших воронов не озабочен изданием ее записок, но каждый из тех, «кому положено» соответствующими нелитературными службами беспрепятственно печататься в Империи Зла, был готов хоть что-нибудь утащить в своем клюве из ее записок и быстренько тиснуть, естественно, как свое, выношенное.

Убедившись, что в известном ей мире ничего не изменилось, она бесстрашно отдала свою рукопись милой женщине, прибывшей на ее огонек из-за океана. Это была Элендеа Проффер, хозяйка знаменитого тогда в имперском подполье издательства «Ардис» и издательница первого в истории

литературы полного научного собрания сочинений Михаила Булгакова. И вскоре ее воспоминания об их с Макой жизни на русском и английском языках стали всеобщим достоянием. Нельзя сказать, что Люба ничего не боялась. Передавая Ли американское издание своей книжки, она просила держать ее в секрете, чтобы «ее не посадили». Ли успокаивал ее тем, что она уже вышла из нынешнего «призывного возраста», принятого в империи для пополнения ГУЛАГа, и что ему наличие у него этой книжки угрожает значительно большими репрессиями.

После публикации воспоминаний о Булгакове литературные стервятники оставили ее в покое. При этом некоторые из них, используя доступность для них «самой демократической в мире» имперской прессы, старались выразить по отношению к ней свое презрение как «самозванке». Но многие «советские» люди хорошо знали «советскую» прессу и умели ее правильно читать. Поэтому поток людей, стремившихся к общению с Любой после «уничтожающих» ее публикаций, только возрос.

К этому времени она закончила еще одну часть своих записок — «Записки Серафимы», как их назвал Ли, имея в виду списанную с нее героиню булгаковского «Бега». Она же, ободренная постхельсинским ветерком, пронесшимся по империи Зла, старавшейся убедить мир в человекоподобии управлявших ею существ, решила попытаться их напечатать в России и назвала эту повесть о своих скитаниях «У чужого порога». Ли объяснял ей, что «новую» «почти свободную» литературу будут делать все те же лица, «кому положено». Просто они будут писать с откровенностью до указанного им на Лубянке уровня, а народ о каждом таком запланированном откровении будет шепотом говорить: «Вы читали новую повесть Р.? Какой смелый человек!» И тому подобное. Поэтому он советовал ей сразу же отправлять свои записки по накатанной дорожке к Профферам. Она не послушалась доброго совета и попытала счастья в вечно «передовом», вечно «либеральном», вечно живущем по «традициям Твардовского» этом прекрасном «Новом мире», и через некоторое время вместе с Ли потешалась, вспоминая свои похождения в этой достославной наровчатовской редакции.

Что касается рукописи «У чужого порога», то она благополучно покинула пределы Империи Зла, чтобы вернуться домой потом, когда это «территориальное образование» уже начало рушиться.

VI

Возобновление дружеских отношений Любы и Ли произошло в год столетия дядюшки. Сусловская официальная, лжеисторическая шайка бойкотировала эту дату. Она не была ознаменована ни единым переизданием какой-нибудь из всемирно знаменитых дядюшкиных книг. Набрав от страха перед Сусликом говна в рот, ни слова не проронили по поводу этого юбилея толстые и тонкие журналы и большинство «центральных» газет, когда-то просивших его, в порядке одолжения, дать какой-нибудь обзор или очерк. Почему-то лишь главная молодежная газета империи поместила довольно большую и уважительную статью, посвященную его памяти.

Тем не менее, несколько человек из академической среды продолжали добиваться выпуска юбилейного сборника и, в конце концов, года через два после юбилея получили разрешение на его издание. По утвержденному плану сборника его четверть должны были составить воспоминания о юбиляре. Ли общался с будущими редакторами этого сборника и дал свои несколько страничек, нечто вроде штрихов к портрету, а также уговорил их сделать официальное предложение Любе. Магия булгаковского имени в то время уже была столь велика, что редакторы, как подозревал Ли, только ради того, чтобы познакомиться с ней и побывать в булгаковской обстановке, выполнили просьбу Ли, а Люба быстро и с охотой написала полтора-два десятка страничек теплых и милых воспоминаний. Редакторы еще раз прибыли к ней в гости поболтать о Булгакове и удалились, прихватив ее текст. На этом дело и кончилось. Потом они сказали Ли, что *там* (это слово произносилось в Империи Зла с одновременным поднятием вверх указательного пальца правой или левой руки) посчитали ее воспоминания «женской бытовухой», ничем не высвечивающей «облик ученого», и отклонили. А когда Ли потребовал вернуть текст, то оказалось, что он потерялся.

Ли было крайне стыдно перед Любой, и он, забрав у нее второй экземпляр текста, пообещал, что эти воспоминания обязательно увидят свет. Предчувствие его не обмануло, но это произошло уже после ее смерти, когда эти страницы заняли свое место в одной книжке с ее записками о Булгакове и о своей эмигрантской одиссее, а тогда их общение было столь частым и тесным, что однажды за традиционной чашкой китайского чая с жасмином он рассказал ей о тбилисской Марии, о ее Судьбе и жизни, проведенной в постоянной борьбе за достойное, в ее понимании, место в человеческом обществе. Люба, как никто другой, умела слушать и понимать, да и Ли постарался, чтобы она увидела Марию в ее разные времена такой, какой видел ее он сам.

Его рассказ произвел впечатление на Любу, и когда он сказал, что Мария, желая знать все о Христе, очень хотела бы прочитать булгаковские сцены его последних часов, она достала журнал «Москва» с первой частью публикации «Мастера» и попросила передать от нее Марии.

Вскоре после этого Ли был в Тбилиси и вручил этот дар, добавив от себя томик Гегеля с жизнеописанием Христа. Передавая журнал, он очень сжато, но не упуская главного, поведал Марии историю Любы, и, таким образом, по его воле пересеклись их жизненные пути, в которых он постоянно ощущал какое-то глубинное сходство.

Марии же очень понравился булгаковский Га Ноцри, она увидела в нем истинного Христа и приняла булгаковскую правду о нем, а о Гегеле сказала, что он суховат, и в его повествовании нет веры, а есть лишь бесстрастная хроника событий.

VII

Когда же Ли, как обещал, привез к Марии Нину и сына, чтобы побыть с ней некоторое время, он поразился ее заметной перемене в весьма неожиданном направлении: он оставил одинокую очень старую и растерянную женщину, не знающую как жить дальше, а застал весьма подвижную умеренно пожилую и вполне самостоятельную даму. В ее квартире телефон звонил чаще, чем у них в их доме, где был юноша-студент и двое работающих и находящихся в постоянном общении с миром взрослых человека. И Ли был беспредельно удивлен бодростью и энергичностью ее тона в этих разговорах с невидимыми собеседниками.

Столь же энергичным и светским был устроенный ею прием гостей. В ее доме было все необходимое, но она порывалась «сбегать» в магазин за хлебом, водой и прочей незапасаемой снедью, от чего гости, естественно, отказывались. Она же явно старалась произвести впечатление своей полной самостоятельности и независимости.

Вскоре Ли, как мог, разобрался в этой ситуации. Вот его выводы: старость — хроническая болезнь, и в ней чередуются периоды ухудшения и улучшения состояния больного. При этом продолжительность последних все время сокращается. Ли был уверен, что они попали сейчас на период своего рода ремиссии в ее старости, за которым может последовать еще более серьезное ухудшение самочувствия, чем прежде.

Что касается ее интенсивного телефонного общения, то Ли по

услышанным им обрывкам телефонных разговоров вскоре воссоздал его сущность и представил себе его основу: Мария начала свою рискованную игру с внешним миром. Она и прежде всячески стремилась к созданию и поддержанию своей репутации как богатого и независимого человека. Даже с ними она нет-нет да и заводила разговор о своих драгоценностях, к которым и Ли, и Нина были безразличны. Но Тбилиси — восточный город, а на Востоке дорогие украшения всегда значили многое. И теперь он улавливал в разговорах Марии умильные описания «колечка», «камушка», «браслетика», «цепочки» и понимал, что она пытается интерес людей к себе сделать постоянным, и жить, пользуясь всеобщим вниманием, на пересечении этих интересов, постоянно лавируя между разными, в том числе весьма подозрительными личностями. При всей своей любви к этому городу, Ли вдруг всей душой ощутил исходящую от него смертельную опасность в этой создаваемой Марией ситуации, в ее хитросплетениях и попытках быть умнее всех.

Он сказал об этом Нине, и они попытались мягко поговорить с Марией, но та была глуха к их намекам, а они не решались говорить определеннее, чтобы это не было воспринято как заявка на завещание. Так они и уехали с тяжелыми предчувствиями, и только когда они провели следующую неделю в Сухуми в кругу друзей, эти тревоги отошли на задний план.

Потом они регулярно, не реже одного раза в месяц звонили Марии и слышали в трубке ее бодрый и энергичный голос. Наступила зима. Приурочив часть своих отпусков к зимним каникулам сына, они все вместе отправились в Сухуми, решив оттуда позвонить Марии, и если та скажет, что они ей нужны, подъехать на пару дней в Тбилиси.

Когда они заняли забронированный им номер-люкс в гостинице «Абхазия» и налюбовались морем, жившим своей морской жизнью сразу же за их широким окном и отделенным от них только рядом красивых высоких пальм, Ли набрал код Тбилиси и номер Марии и сразу же услышал ее голос. Он хотел было ответить, но потом понял, что вклинился в чужой разговор, и стал слушать, махнув рукой Нине, чтобы она взяла трубку второго аппарата, стоявшего на тумбочке у кровати.

Голос Марии расхваливал массивный перстень с крупным аметистом, но ее собеседница постоянно возвращала разговор к какому-то кольцу, и тогда Мария спрашивала:

— Ты, деточка, опять имеешь в виду мое кольцо работы Фаберже?

— Да, милая Мусенька. Ой, мне так нравится, как вы произнесите «Фа-бер-жээ»!

— Но, Лейлико, ты же не сможешь его купить, даже если я стану продавать…

— Я знаю, но прошу вас, опишите его еще раз!

И голос Марии принимался с деланной неохотой и с ленцой описывать: «Оно почти на всю среднюю часть пальца; посреди большой бриллиант, по обе его стороны по два средних бриллианта, и все поле, где сидят эти камни, окаймлено платиновым ободом с бриллиантовой мелочью…»

На этом разговор куда-то ушел, и Ли повесил трубку. У него осталось впечатление, что кроме его, Нины, Марии и ее собеседницы этот разговор, там, на стороне невидимой Лейлы, слушал еще кто-то, чье дыхание иногда заполняло небольшие паузы. Впрочем, может быть, это был просто какой-то электромагнитный акустический фон.

Через некоторое время Ли соединился с Тбилиси снова, и на этот раз бодрый и энергичный голос Марии был уже обращен к ним. Она сказала, что, конечно, очень была бы рада их всех видеть у себя, но в Тбилиси сейчас то дождь, то пурга, и стоит ли им тратить время и деньги и лишать себя удовольствия побыть у моря «в чудесном Сухуми». Разговор был светский и уверенный, и они решили не «лишать себя удовольствия», которое им всем действительно приносила каждая встреча с морем, а к тому же здесь были и роскошный номер в гостинице, и внимание друзей.

В план предложенных им друзьями развлечений, помимо традиционных застолий то у одного, то у другого, то в ресторане, то в загородной абхазской пацхе с огненным от перца мясом и лобио и морем вина изабеллы, входило и путешествие по окрестностям. С большим трудом, потому что не в сезон, им устроили посещение новоафонской пещеры, где им до сих пор не приходилось бывать.

В назначенный срок относительно небольшая группа «уважаемых» людей собралась у входа в пещеру у подножия Иверской горы. Именно для них был открыт доступ к этому чуду Природы и пущен электропоезд, доставивший их к началу осмотра. Осмотр же проходил медленно и обстоятельно: не «подпирали» следующие группы и никуда не торопился экскурсовод. Если «уважаемые» люди хотели задержаться у «Замка» из светлого кальцита или у озера в зале «Абхазия», то экскурсия застывала, и все находились там, где хотели и сколько хотели.

Ли любовался открывающимся перед ним первозданным хаосом, внимательно рассматривал достопримечательности, выделенные экскурсоводом из этого сплошного потока Красоты, но где-то в подсознании, где-то в сетях его души билась

крохотная бабочка тревоги, разбуженная последним разговором с Тбилиси.

Ли слышал от кого-то, что в программу путешествия по пещере входят несколько минут абсолютной темноты, но на сей раз их экскурсовод объявил о приходе Тьмы не на смотровой площадке, а в Каньоне, где и без того было жутковато от ощущения стесненного, почти замкнутого объема. И в момент прихода Тьмы перед глазами Ли возникла странная картина: угол темной комнаты, ночник, выхвативший из темноты белую подушку, неподвижную белую голову на ней с нечетким женским профилем и три темные фигуры, склонившиеся над ложем. Через несколько мгновений видение исчезло и воцарилась Тьма, а потом Ли стал различать в этой Тьме светлые очертания лиц стоявших поблизости людей. Он увидел улыбку на лице находившегося рядом с ним экскурсовода и тихо спросил его:

— Чему вы улыбаетесь?

— Вы видите меня? — с удивлением вопросом на вопрос ответил экскурсовод.

Когда они покидали пещеру, экскурсовод подошел к Ли и сказал с легким акцентом:

— Я здесь часто бываю с людьми, и лишь один раз я видел человека, обладавшего, как и вы, «тепловым» зрением. Вы, наверное, знаете, что именно так по своей физической сущности называется способность, которой вы обладаете.

— Не знал, — ответил Ли и спросил: — А кем же был этот человек? Откуда?

— Это была женщина, — ответил экскурсовод, — из Средней Азии, из Ташкента, кажется, или из Ферганской долины.

«Никогда не знаешь, где получишь долгожданный привет», — подумал про себя Ли, и прекрасный образ Рахмы со светящимися в полутьме глазами вытеснил из его души все печали и тревоги.

Эта заочная встреча с прошлым главного из его миров у подножия святой Иверской горы лишь укрепила в душе Ли веру в благость Новоафонской земли. Он почувствовал, что и Нина с сыном ощущают нечто подобное, и предложил вместо непродолжительных наездов провести здесь весь будущий отпуск или хотя бы большую его часть. Так решили, так и сделали: в то время они почти всегда умели осуществлять намеченное.

Это был один из лучших совместных отпусков в их жизни. Впервые за последние десять лет они жили на частной квартире у настолько покладистой хозяйки, что даже придирчивая Нина отдыхала душой. Тем более что им была отведена не «коммерческая», а «своя» комната. Они делили быстротекущее время между нежным и спокойным морем и прекрасной долиной

Псцырхи. Сухумские друзья, как у них было принято, на все жаркое курортное лето до сентября покинули город и проводили время по ту сторону горного хребта — в Имеретии, и поэтому Ли с семейством был предоставлен сам себе. Они провели почти все это время в Новом Афоне, лишь однажды съездив в Гагру и на мыс Пицунда.

Несколько раз они звонили в Тбилиси. Сначала телефон Марии не отвечал, потом ближе к концу августа они услышали ее голос: она была у «хороших знакомых» под Тбилиси в Коджори, и, казалось, была счастлива и отдыхом, и летом, и обществом, принявшим ее в свои ряды. О необходимости повидаться и речи не было. Этот разговор напомнил Ли его зимнее видение в пещере и он еще раз перебрал в памяти все пережитое, но не нашел там события, которое могло бы быть его основой: видение было не из прошлого.

Потом прошел еще год, отданный ими северо-западу империи: маршруты их странствий проходили через Москву и Питер, а летом им была подарена Литва — от Игналины до Мемеля и Куршской косы, а затем несколько дней в их прекрасном Раушене. Но когда приходил срок и поблизости был телефон, непременно следовал звонок в Тбилиси и возникавший в трубке в ответ на их вопросы бодрый голос Марии. Постепенно они успокоились, посчитав, что ремиссия оказалась очень длительной.

VIII

Однако в начале зимы семьдесят восьмого тональность разговоров Марии изменилась, и в обмене новогодними поздравлениями снова в ее голосе зазвучали тоска и тревога. Ли как раз предстояла поездка в Ереван, и он «подтянул» ее к каникулам сына. Из этой поездки удалось выкроить по три дня по пути «туда» и «обратно», и когда произошла их первая остановка в Тбилиси, они снова увидели одинокую, старую и очень слабую женщину, нуждающуюся в помощи. По-прежнему часто звонил телефон, но Ли почувствовал, что иногда эти звонки вызывают у нее едва заметный испуг.

На дворе был февраль, и они пообещали Марии, что в мае Нина приедет, чтобы провести с ней свой отпуск — сначала одна, а потом к ней присоединятся остальные. Но когда во второй половине мая Нина позвонила ей, чтобы договориться о конкретной дате своего приезда, Мария сказала, что она может повременить, потому что сейчас ее на пару недель вывозят за

город знакомые, «а там видно будет». А когда в середине июля от Марии пришла теплая телеграмма с поздравлениями Нине по случаю дня рождения, Нина и Ли полностью успокоились и стали собираться в отпуск на Рижское взморье, где прежде никогда не отдыхали.

Ли договорился с приятелем из Рижского «отделения» своего института о том, что он их там встретит и устроит, и уже решал весьма сложную в империи транспортную проблему, — поскольку в этой стране летом не менее трети взрослого населения постоянно находилось на колесах, что-то добывая и «доставая», — когда Нина попросила его все-таки позвонить в Тбилиси. Он немедленно выполнил ее просьбу, но телефон не отвечал, а Мария никогда не давала телефонов своих соседей для возможных справок, потому что ее отношения с ними были в постоянном движении: она приближала к себе то одну, то другую соседку — это, вероятно, тоже было частью той тонкой игры, которую она вела с людьми.

А за день до их отъезда пришла телеграмма о ее кончине. Время смерти в телеграмме было указано, и оказалось, что Мария умерла как раз в тот день, когда Ли звонил к ней на квартиру. Тогда получилось, что к моменту прихода телеграммы уже прошло четыре дня после ее смерти, и Мария, конечно, уже должна была быть похоронена. После недолгих колебаний они решили, что в любом случае должны приехать, так как смерть в Грузии — дело серьезное, и им не простят пренебрежения обычаями. Кроме того, все произошло подозрительно быстро, если за неделю до смерти Мария еще сама ходила на почту, чтобы дать телеграмму.

В общем вместо северо-запада им пришлось отправиться на юго-восток, и менее чем через сутки они входили в знакомую квартиру в Сабуртало, где уже не было хозяйки. Квартира и не напоминала собой уютного гнезда, собранного Марией за долгую жизнь. Все было разорено, будто Батый прошел.

Кое-как разместились, и Ли на вечер пригласил соседей, чтобы послушать, как все произошло. Все рассказы были очень путаными. Даже в том, что касалось похорон, их непосредственные организаторы и участники не могли точно сказать, кто и что сделал и кто и сколько внес. Потом один из собравшихся вместе со свидетельством о смерти торжественно вручил им пять сберегательных книжек Марии на общую сумму четыре с половиной тысячи рублей, сказав:

— Вот, было у Марии. Кто бы мог подумать, что она такая богатая…

Ли в ответ улыбнулся и заметил:

— Вы же живете в Тбилиси. Неужели для вашего города это такая уж большая сумма?!

Собравшимся и в голову не пришло, что книжки эти не могли у Марии находиться на виду, и то, что они оказались у них в руках, само по себе свидетельствовало о том, что устроенный ими здесь после кончины Марии обыск был капитальным.

На следующий день Ли обошел с этими книжками сберегательные кассы, чтобы проверить, нет ли на счетах завещательного распоряжения, поскольку последние два-три года при встречах она часто разводила руки, как бы охватывая все свое жилье, и говорила Ли и Нине:

— Это же все ваше. У меня ведь кроме вас никого нет!

Завещаний не было — видно, мысль о смерти Мария тщательно изгоняла из своего сознания, но сердобольные кассирши подсказали неопытному в таких вопросах Ли, что он может снять с каждой книжки по двести рублей на похороны. Кроме того, открыв буфет Марии в поисках чашек, они увидели сверток старых облигаций. Среди них нашлись и те, по которым «погашение» уже производилось. Ли их тоже сдал и вернулся домой с почти полутора тысячами рублями в кармане.

После этого на кратком семейном совете они решили пробыть в Тбилиси весь свой отпуск до конца, установить мраморную доску с именем Марии и Николая на Сабурталинском кладбище на памятнике, возведенном ею сестре Надежде, и все же попытаться восстановить картину ее последних дней.

Некоторое внимание Ли сразу привлекла фигура одной отсутствующей соседки — Дины Мишиной, часто упоминавшейся на его встрече со «свидетелями». Накануне приезда Ли она и ее муж уехали в Гагру, в санаторий. Название санатория было известно, и Ли послал ей открыточку, не будучи вполне уверенным, что получит ответ. А пока они влились в тбилисскую жизнь. Завтракали и ужинали дома, благо старенький холодильник Марии кряхтел, но работал, а обедали «на выезде»: через день на хорошо знакомой Ли открытой площадке «грузинской кухни» от ресторана «Интурист» — а остальные дни считались разгрузочными — заказывали легкий набор блюд и кувшин кахетинского в «Дарьяле», стараясь разместиться у стены под сюжетом Пиросмани «Миланер бездетный и бедная с детями», либо ограничивались аджарскими хачапури с водой с сиропом «Кахури» в прохладном подвале Лагидзе.

В филиале «Интуриста», представлявшем собой грузинский дворик с маленьким фонтаном, укрытый виноградом, с кабинками по периметру, где они брали только грузинские блюда и бутылку полусухого вина «золотой серии» — «Ахмету»,

«Оджалеши», «Киндзмараули» и им подобные, официант их приметил уже на втором посещении и, выходя к ним навстречу к середине дворика, провожал в одну из кабин, по пути сообщая, что именно сегодня особенно удалось поварам.

Внешней деловой частью их жизни занимался Ли, заказав надгробную доску и дав объявление о продаже мебели. Нина с сыном проводили время в квартире, принимая приходящий народ. Посетители же, кроме пришедших по объявлению покупателей мебели, были странноватыми. Это были люди, представлявшиеся «близкими друзьями покойной», пришедшими выразить свое соболезнование и заодно сказать, что она (он) уже совсем договорились с Марией, ну за день, за два до ее смерти о продаже той или иной драгоценности, и нельзя ли эту сделку завершить. На это им говорилось, что даже следов каких-либо драгоценностей, приехав на четвертый день после смерти, никто не обнаружил. На это гости цокали и сокрушенно качали головами. Приходили уже знакомые соседи, кто с добрыми глазами — спросить, не нужно ли чего, кто с затаенной тревогой — не открылось ли что-нибудь. Самым понятным посетителем была личность пьяно-русского облика, но почему-то говорящая с очень сильным местным акцентом, сообщившая, что покойная Мария задолжала ему за какой-то ремонт. Получив на бутылку, эта личность, довольная, исчезла навсегда.

В процессе подготовки вещей к продаже находились кое-какие мелочи, свидетельствовавшие о том, что слухи о драгоценностях Марии имели под собой некоторые основания: как-то попалась под руку тонкая, как фольга, иранская золотая монета, в другой раз — непарные золотые запонки, потом — обломок золотого браслета. И наконец, нашлась пустая фирменная коробочка от Фаберже, вероятно, от того самого кольца «Маркиза», два года назад описанного Марией в случайно подслушанном Ли телефонном разговоре. Искать же упоминавшиеся тогда драгоценности, как и вообще какие-либо ранее виденные у нее вещи, было бессмысленно, поскольку любая из них за это время могла быть продана, о чем свидетельствовали сберегательные книжки: не с ее же пенсии — тридцати рублей в месяц — набегали там довольно значительные по тем временам суммы.

Начался август, и вдруг, по привычке посматривая в почтовый ящик Марии, Ли нашел там адресованное ему письмо от Дины Мишиной. Написано оно было очень толково, грамотно и не без литературного блеска. Оно сохранилось в бумагах Ли, и я решил привести его здесь с небольшими сокращениями.

«Здравствуйте, Ли и Нина!

Открытку получила 30 июля, и наверное мое письмо Вас в Тбилиси уже не застанет.

Очень хотела Вас видеть, чтоб сказать, что Вы оба были единственной привязанностью Марии. Она была на редкость одинокой, с обидчивым характером. Характер ее и сделал в конце концов совершенно одинокой. Ко мне была какая-то привязанность тоже. Наверное, во мне она видела какую-то опору рядом, потому что после предпоследнего гипертонического криза ела только у меня. Все, что ей приносили знакомые, она выбрасывала, очень боялась, что ее отравят. От предпоследнего криза до последнего чувствовала себя скверно. Я много раз просила у нее разрешения вызвать Вас, мотивируя тем, что ей нужно отлежаться, выздороветь.

Гипертонический криз, последний, случился внезапно. Артериальное давление было 180 на 90,— это не так уж много, но у нее закружилась голова, она упала, ушибла голову и больше встать не смогла. 22 июля я трижды вызывала скорую, делали все. Давление сбили, но рвота, недержание не проходили. Невропатолог отнес все эти явления за счет рвоты.

Весь день я и Света Лолуа провозились с ней, приводя ее «туалет» в порядок, а вечером пришла к ней ее подружка, Клавдия Николаевна. Она позвонила Марии, поговорила с ней по телефону, обещала прийти на ночь и пришла.

Утром 23 июля К. Н. позвонила мне. Я поднялась. Мария была мертва. Полотенце мокрое, которое я ей клала на голову 22 июля, было сухим. Наверное, К. Н. уснула и не слыхала, когда Мария умерла!

Весь день накануне Мария не могла уснуть из-за рвоты. Была она весь день в сознании, все время говорила.

Утром К. Н. сама сказала, что сняла с Марии все золотые вещи — цепочку, крест, кольцо — и сказала, что продаст эти вещи, а деньги употребит на похороны. 2000 руб. обещала привезти к 11 часам. Под предлогом срочно проведать свою маму она ушла с двумя полными сумками. Но предварительно, до ее ухода я позвала соседей. Масхарашвили, Бояхчан и Лолуа заявили, что они организуют похороны, но им срочно нужно 1000 рублей. Поискали все вместе деньги у Марии, но не нашли в наличии ни копейки. Тогда они взяли весь хрусталь и разделили между собой, потом Бояхчан взял картину, люстру, туалетный набор, подносы, настольную лампу. Масхарашвили взял ковер, покрывало, скатерть, пишущую машинку, Лолуа — сервиз и книги. А потом я кинулась дать Вам телеграмму и позвала коменданта. Не думайте, что прошло полдня, произошло все буквально за полчаса, если не меньше. Коменданту дали тоже

что-то, и он ушел. Они втроем моментально все оформили, купили гроб и схоронили. Я больше не поднималась наверх до похорон. У Марии были дорогие золотые и бриллиантовые вещи. Прятала она их где-то на антресоли. Я это знаю, потому что она оттуда однажды упала и сильно поцарапала голову. Вещи не могу перечислить все, но знаю, что было четыре кольца с бриллиантами, кулон, браслет. Она их все не могла продать кому-то. Было много отрезов, она их предлагала купить в подъезде во время свадьбы и тоже не продала. Я перечислила, что у нее растащили, далеко не все, так как не сразу сообразила, что затеяли эти трое вполне обеспеченных соседей-мародеров. Ли! Если вы обратитесь в суд, то, пожалуйста, не забывайте, что я живу в этом подъезде и люди — дряни. Да, дряни. Я десять лет прожила в этом подъезде и по-настоящему узнала соседей только сейчас. Я не знаю, что Вы застали в понедельник? В воскресенье пришли какие-то подружки и как они себя повели? Наверное, не лучшим образом. Вот к чему привела ссора двух сестер. Вот к чему привела обида, которую они помнили всю жизнь. За каких-то 20–30 минут все улетело к людям чужим, которые ни больной, ни здоровой не дали ей чашки чая, не сказали теплого слова. Она вспоминала Вас часто и всегда говорила: «Я им не нужна, сестра Нину настроила против меня, они мне звонят редко и т. д.». Похороны, конечно, 1000 руб. не обошлись. Место на кладбище у нее было. Я не знаю, нашли ли книжки Вы? Нашли ли золотые вещи? Но, если будете искать, начинайте с Клавдии Николаевны. Деньги Мария на расход держала в сумке, а сумка оказалась совсем пустой. Утром, когда все вместе соседи открыли гардероб, то там было все верх дном.

Что она унесла в сумках? Что она делала в квартире всю ночь одна? Почему полотенце на голове у Марии было сухое?

Мы с Гвазавой Тиной (она врач, живет около меня) последний раз поднялись в 5.30 вечера, и вскоре пришла Клавдия Николаевна и осталась на ночь. Я как шла, так и Гвазаву тащила за собой с аппаратом для измерения давления. Вот так внезапно все случилось, так нелепо кончилось.

До 17 августа с мужем будем в «Колхиде». Напишите, что застали Вы там?

О подробностях в письме муж не знает и советует мне в это дело не лезть. Наверное, он прав. Муж попробовал говорить с Бояхчаном, сказал что у Марии есть племянница и муж племянницы. Тот фыркнул и повернулся спиной. Я очень возмущена этим *мародерством,* и мне искренне жаль Марию. Не живи она обидой, не было бы двойной утраты».

Это письмо, содержавшее более или менее точную

информацию о вещах, которые были у Марии в момент ее кончины, и имена мародеров, позволило Ли потребовать возврата вещей. Во имя доброй памяти о Марии часть этих вещей, компенсировавшая «взносы» на похороны, была оставлена «активистам» быстрого захоронения.

Потом, тщательно изучив толстую телефонную книжку Марии, где даже был последний перед арестом телефон Звиада Гамсахурдии, нашли Клавдию Николаевну. Явилась дрожащая старушка, и оказалось, что она, сидя у постели Марии, постоянно вела переговоры с другой «подругой» — тоже Марией. Явилась и та познакомиться с ними. После долгих разговоров она от имени Клавдии Николаевны сказала, что завтра та кое-что принесет, и этим «кое-что» оказались крестик с цепочкой. Дальнейшие разговоры привели к тому, что Клавдия Николаевна принесла еще и какую-то пустяковую вазочку и двое наручных поломанных женских часов в золотых, как она сообщила, корпусах. На этом золотой дождик прекратился. «Изделия же с бриллиантами», как любят говорить теоретики ювелирного дела, естественно, исчезли бесследно.

Но если письмо Дины и вносило некоторую ясность в судьбы вещей, то обстоятельства смерти оно, увы, проясняло очень мало. Наоборот, возникали вопросы: что это за «криз» при 180 единицах давления? Что это за «рвота», которую не уняли врачи и три «скорых помощи»? И проч., и проч., и проч. К тому же описанная Диной картина в большей степени напоминала тяжелое отравление.

Имея на руках письмо Дины и записав хронологию событий с вечера двадцать второго до утра двадцать третьего июля в редакциях Клавдии Николаевны и Тины Гвазавы, приехавшей к тому времени из деревни, Ли пытался восстановить истину. Конечно, были у него вопросы и к Дине, и он с нетерпением ждал ее возвращения 18 августа, но… оказалось, что она, не заезжая в Тбилиси, уехала куда-то под Москву.

Во время попыток Ли восстановить обстоятельства смерти Марии, поблизости от ее дома в Сабуртало произошло весьма необычное событие. Два пятиэтажных дома в том месте были поставлены с полуметровым зазором, но по фасадам — уличному и дворовому — этот зазор был закрыт, и только с крыши он, как оказалось, был открыт узкой щелью. И вдруг в одной из квартир второго этажа к стене, обращенной к этому зазору, стала непрерывно рваться с рычанием и лаем овчарка, упорно стараясь на что-то, ей одной ведомое, обратить внимание своих хозяев. В конце концов те обратились в милицию. Когда милиционеры поднялись на крышу и попытались заглянуть в щель, им сразу все

стало ясно: оттуда шел густой запах тления. Толпа зевак, собравшаяся наблюдать извлечение трупа, ничего не увидела, но потом дело разъяснилось: был найден парень, полгода считавшийся «пропавшим без вести». Говорили, что он был наводчиком и стал жертвой разборки недовольных им воров.

На Ли эта неизвестная смерть, наложившаяся на другую неизвестную смерть, произвела тяжелое впечатление, и он долго не мог заснуть в лоджии, а потом впал в дрему — в полусон-полубодрствование в лунном свете. И вдруг в его находящемся на грани сна сознании возникло уже знакомое видение: три темных фигуры, склонившиеся над слабоосвещенным ложем, над белой головой на белой подушке, но теперь он в полутьме видения узнал интерьер спальни Марии, окно которой выходило на лоджию прямо над его раскладушкой. В своем полусне он попытался рассмотреть лица темных фигур и не смог, и с острой ненавистью он воззвал к Хранителям своей Судьбы:

— *Выделите* убийцу, я прошу…

И заснул. Последнее, что он видел в своем полусне, был лучик лунного света в коктебельском кристалле, лежавшем на табуретке рядом с книжкой у его изголовья.

Через несколько дней, отправив «для порядка» в Харьков контейнер с ненужными вещами, они покидали Тбилиси, а когда на рассвете у Туапсе Ли вышел покурить, он подумал, что хорошо было бы здесь выйти и морской водой с ее белой пеной смыть все, что осело на их душах и телах за этот тбилисский месяц. Но по возвращении в Харьков его уже ждала какая-то срочная командировка в Москву. Там он рассказал Любе о конце Марии, и Люба взяла с него слово, что он запишет эту необычную повесть о ее жизни и смерти. Ли обещал и, как мог, выполнил это обещание, но приступил он к своим запискам лет через девять, находясь под впечатлением недавнего ухода самой Любы, и, вероятно, поэтому ее Судьба и Судьба Марии, не знакомых друг с другом в жизни, так причудливо переплелись в его рассказе.

После жаркого лета семьдесят восьмого он в Тбилиси уже не бывал. К десятилетней годовщине со дня смерти Марии он приурочил поездку туда сына и невестки, поручив им побывать на могиле и узнать, что там и как, и особо — попытаться установить, как сложилась судьба трех «подозреваемых» лиц — Дины Мишиной, Клавдии Николаевны и Тины Гвазавы. Оказалось, что вскоре после их тбилисского «сидения» Дина неожиданно заболела и через полгода умерла от рака, почила в бозе и Клавдия Ивановна, что вполне естественно для ее преклонного возраста, а Тина Гвазава жива-здорова и даже передала привет Ли и Нине. Сын сказал, что ему очень не хотелось бередить прошлое

и возобновлять это расследование, но он все же не решился его отменить, и в тот же вечер был вознагражден встречей и дружбой с Сергеем Параджановым. Такие встречи остаются в сердце и памяти и сверкают ярче, чем все бриллианты, некогда принадлежавшие бедной Марии…

Что касается Ли, то полученные им ответы, как всегда, когда дело бывало связано с Хранителями его Судьбы, не подтверждали и не опровергали его вмешательства в свершившиеся события.

Книга седьмая
Предвечернее время

Клянусь предвечерним временем, поистине,
человек ведь в убытке, кроме тех, которые
заповедали и творили добрые дела, и
заповедали друг друга истине, и заповедуют
между собой терпение!

Коран, сура 103 «Предвечернее время»

И возникают беги дней,
Существований перемены,
Как брызги бешеных огней
В водоворотах белой пены.

А. Белый

Прошлое еще впереди.

Р. М. Рильке и М. Цветаева. Из переписки.

Поспешно время, ярки и отлоги
тропинки дней — идешь и вспоминаешь по дороге,—
сколь многое оставил ты на ней.

Юргис Балтрушайтис

I

Во второй половине семидесятых один из миров Ли — мир его общения с Хранителями его Судьбы, мир его Предназначения

стал, как ему казалось, опять понемногу отходить на второй и третий планы. И только заметив это, он еще раз ощутил, как много значила для него причастность к этому миру, от объятий которого он иногда так настойчиво стремился освободиться в свои молодые годы.

Из-за этих своих постоянных раздумий он даже стал невнимателен и пассивен в своем «открытом» мире и, начав потихоньку «отодвигаться» от Сани, даже не подумал о ее замене, хотя к этому времени мир невидимых и даже запретных чувственных связей, возникший в нем еще в детские годы — годы их с Тиной тайной любви — и, казалось, ушедший из его реальной жизни в область души и памяти вместе с Тиной и Рахмой, вдруг возродился и стал ему необходимым по-человечески, а не по прихотям Хранителей его Судьбы.

Именно в период его глубоких раздумий о «капризах» его внутренних миров, в мире людей, в той его части, к которой относился внешний мир Ли, произошла одна из крупнейших строительных аварий, и Ли была поручена ликвидация ее последствий. Это поручение потребовало частых выездов на «объект» и на различные заводы и предприятия, и Ли был так озабочен «вписыванием» всего этого в свой семейный быт, что не сразу обратил внимание на то, что одна из молодых чертежниц-конструкторов, двадцатилетняя Лина, привлеченная к проектным работам, связанным с этой аварией, не отодвигалась, когда Ли подходил к ее доске, чтобы посмотреть чертеж, и он был вынужден плотно прижиматься к ее плечу и крутому бедру. Лишь однажды, когда он почему-то проснулся на рассвете, его тело и подсознание напомнили ему об упругости ее форм, и это воспоминание разбудило желание, а желание заставило отвердеть то, что было мягким, но вскоре пришло время вставать, и в толпе утренних дел и забот он сразу же забыл об этой сладкой минуте. Причем забыл настолько, что не вспомнил о ней даже когда они случайно оказались в одно и то же время на объекте. Там его обычно рвали на части и не отпускали с площадки строительства допоздна, и поэтому, вдруг увидев там же Лину, что-то сверявшую с чертежом, он дал ей ключ от своего номера, перечислив, что ему купить на ужин, и попросил, оставив еду в номере, отдать ключ дежурной, так как он вернется часов в десять вечера, если не позже.

Вернулся он не в десять, а почти в одиннадцать и по инерции прошел мимо дежурной на свой этаж, поскольку привык к тому, что ключ у него в кармане. Вспомнив, что отдал его Лине, он с досады дернул ручку двери и повернул было обратно, но вдруг осознал, что дверь под его рукою подалась. Тогда он толкнул ее

сильнее и зашел в номер. Там была включена только настольная лампа, освещавшая снедь, сложенную на столе, а в остальной части комнаты царил сумрак, но в сумраке этом был какой-то непорядок, и, окончательно вернувшись из своих раздумий на грешную землю, Ли понял и причину этого «непорядка»: на его постели, не укрывшись даже простыней, наслаждаясь после дневной жары первым и еще слабым дыханием ночной прохлады, лежала обнаженная Лина, на которой, кроме узенькой полоски трусиков, не было ничего.

— Долго я буду ждать? — спросила она. — Я чуть не заснула!

Ли быстро принял душ и, не вытираясь по старой привычке, прилег рядом, предварительно стянув с Лины ее трусики. Двадцать лет разницы в сроках их пребывания на этом свете отошли на второй план, но лаская ее упругое, налитое тело, пройдя его губами от ее губ до лодыжек, не минуя самых сладких мест, Ли вспомнил, как пахнет молодость, вспомнил всех своих подруг, любимых им когда-то и любивших его в этом возрасте, вспомнил двадцатитрехлетнюю Нину, идущую сейчас вместе с ним к порогу пятидесятилетия, вспомнил, как он не дорожил тогда их и своей собственной молодостью, занятый иными делами и проблемами, и он любил их всех сейчас в Лине, прося в душе прощения за всю упущенную и невозвратную радость, за неотданную нежность.

Несмотря на свою храбрость и неженскую инициативу, Лина была скована в эту их первую ночь любви, а Ли не торопил событий, поскольку видел светлую даль этих, так неожиданно начавшихся отношений, а любопытство ее рук и глаз предсказывало немало наслаждений в будущем. Когда они, устав, постояли у открытой в темноту летней южной ночи балконной двери, а потом Лина заснула у него на руках, Ли попытался проанализировать, был ли этот подарок преподнесен ему Хранителями его Судьбы или все происшедшее было чистой случайностью. Но по оценкам Ли его энергетика после их с Линой бурного старта резких изменений не претерпела, и Ли склонялся к тому, что их встреча есть просто одно из приключений среди моря житейского, как говорили в старину. Этот вывод опечалил Ли, так как в сочетании с общим, уже владевшим им в то время ощущением очередной смены декораций в его жизни, он означал, что в ближайшее время он не будет причастен к событиям, оказывающим непосредственное влияние на судьбы человечества, как это было в случае со Сталиным и Насером. Кроме того, на сей раз «смена декораций» была не быстрой, как, например, некогда — исчезновение из его жизни «дядюшкиной Москвы», а крайне медленной. Она теперь выражалась в постепенном отходе от дел

Черняева и С., в небыстром, но неизбежном приближении к возрастному пределу заместителя министра Ф. и в ряде других медленно развивающихся процессов. По оценкам Ли, уход этих людей, образующих его скрытый мир информации и влияния, должен был произойти в первой половине восьмидесятых, иначе говоря — через четыре-шесть лет, после которых ему, пятидесятилетнему, уже было трудно рассчитывать на новый этап служения Хранителям своей Судьбы.

И вот теперь допущенное Ими явление Лины, явно рассчитанное на долгую связь, не имеющую энергетической основы, свидетельствовало о том, что и эти пять-шесть лет будут «пустыми» в том понимании полноты жизни, которое возникло в сознании Ли под воздействием опыта минувших лет.

Все это вызывало в нем острый внутренний протест, потому что тогда, во второй половине семидесятых, он очередной раз вернулся к практической философии, и его политические оценки неизменно приводили его к выводу о наличии в Империи Зла в тот период огромной области приложения его способностей, некогда открытых ему Рахмой. Достаточно сказать, что страну в те годы покрывали совиные идеологические крыла полубессмертного антисемита Суслика-Гнусавого, а министерство любви к родным пенатам возглавлял догматик-марксоленинец, поэт-любитель и тайный еврей Андропыч, готовый ради идеи наводнить всю империю шпиками и доносчиками. И хоть маразм крепчал, но конца этому позорному существованию еще не было видно.

II

Сохранились весьма своеобразные заметки Ли из этого «тихого» смутного времени в Империи Зла. Они весьма резко отличаются от всех точек зрения на этот период истории — от тогдашней диссидентской, от тогдашней официальной, от тогдашней так называемой оппозиционной и от последующей «демократической». Я не буду здесь приводить его текущий анализ возникавших ситуаций в полном объеме — пусть его оценкой займутся позднейшие историки, для которых я попытаюсь сохранить его архив. Приведу здесь лишь его весьма оригинальный разбор происшествия с известным нелегальным сборником произведений «свободолюбивых» писателей, названным ими «Метрополитен», что, вероятно, по мысли заводил должно было подчеркивать подпольно-подземный характер этого издания, имевшего первоначальный «тираж» 4–5 экземпляров.

(Следует отметить, что Ли часто намеренно или по невнимательности ошибался в названиях различных изданий. Во всяком случае, альманаха «Метрополитен» в русской литературной истории я не нашел, но нечто подобное было. Я не счел себя вправе исправлять его текст, тем более что здесь важна суть, а не буква. — *Л. Я.*)

Так вот, создание этого сборника Ли сразу же и без малейших колебаний посчитал блестящей акцией охранительных служб, показавшей, что нынешнее имперское министерство любви является достойным хранителем традиций российской жандармерии, создавшей «Протоколы сионских мудрецов». Конечно, в отличие от глобальных «Протоколов», сборник «Метрополитен» преследовал более локальные цели, но разрешил поставленные перед ним задачи с неменьшим блеском, чем лучшие охранительные умы романовской России решали свои и мировые «еврейские вопросы».

Вот как выглядела эта афера в схеме, построенной Ли тогда же, как говорится, по свежим следам этого события. Появилась ли ее идея в недрах охранки или пришла в голову одному из ее будущих участников, как и в случае с «Протоколами», значения не имело. Тем более что в Империи вовсю действовала частушка Оруэлла:

> Под развесистым каштаном
> Продали средь бела дня
> Я тебя, а ты меня,

согласно которой любая идея через час-другой после озвучивания становилась известна «где положено» и пресекалась или…

В данном случае произошло «или» — идея была взята до поры до времени под охрану и тайное руководство. Главным, как всегда в Империи, был «кадровый вопрос» («кадры решают все»): участники этой акции были разделены на несколько категорий: тех, кого ради всеобщего спокойствия следовало выставить из Империи на «их любимый Запад» навсегда, тех, кого по совокупности прегрешений следовало из литературы исключить, тех, кого из-за изначальной ершистости и нежелания «сотрудничать» надо было в литературу не пустить, и тех, кого за участие в таком «враждебном акте» следовало публично пожурить (журение обычно начиналось словами: «И уже совсем не понятно, как среди этих… оказались…»), а потом при ближайшей оказии выпустить покрасоваться в Париж, чтобы «весь мир» видел, что «у нас» за инакомыслие никого не преследуют, и даже разрешить им

для закрепления эффекта выступить с проверенно-независимой информацией на тему: «Как мы готовили «Метрополитен». Все эти цели в данном случае были реализованы сразу же, как только «подпольный» сборник кадрово укомплектовался.

Не столь уничтожающий, но все же весьма необычный для нашего времени взгляд господствует в записках Ли и в оценках такого выдающегося явления, как диссидентство. Подавляющее большинство наших славных диссидентов, чьими именами мы тогда жили, он относит к людям, устраивающим свои дела в разного рода и разной степени рискованных играх с правительством Империи Зла и сделавшим для крушения этой Империи значительно меньше, по мнению Ли, чем Александр Галич, Булат Окуджава и Владимир Высоцкий. Может быть, сейчас и следует хотя бы частично признать правоту Ли: почти все те из них, кто достиг своей цели — выезда, высылки, своего обмена на какого-нибудь красного шпиона или Большого Друга («обменяли хулигана на Луиса Корвалана, где б найти такую блядь, чтобы Брежнева сменять», — как гласила тогдашняя народная частушка), — занялись там на свободе своим личным обустройством и, придя из безвестности в диссиденты, ушли в безвестность по достижении желанной личной свободы и благополучия. Этот критический взгляд в записках Ли не распространяется, естественно, на нескольких святых, типа Сахарова и Григоренко, и великомучеников, подобных Марченко или Стусу.

Когда же Ли переходит к заметкам о так называемой легальной литературной оппозиции, его оценки опять становятся резкими до неприличия. Ли считал, что в Империи Зла возникло удивительное явление: агентурная художественная литература. Своим оппонентам в этом вопросе Ли в ответ приводил примеры использования шпионами в качестве «прикрытия» самых разнообразных профессий, в которых они нередко достигали высочайшего мастерства.

— Но если шпик может убедительно играть роль талантливого инженера, банкира или дантиста, то почему же он не может, если этого требует «задание», столь же убедительно играть роль талантливого или бездарного литератора? — спрашивал Ли, относивший к агентуре спецслужб не менее восьмидесяти процентов наличного состава «союза писателей». (Позднее он узнает о том, что генералы КГБ были в числе руководителей этой «творческой» организации.) Наличие такой разветвленной агентурной сети в «союзе писателей», как утверждал Ли, позволяло лубянским руководителям «литературного процесса», прикупая за рубежом «оценки» и

«мнения» «независимых» советологов, русологов, политиков и прочей профессуры многочисленных в те годы кафедр славистики и русистики и, манипулируя этим фуфлом, вовлекать в свой идеологические хороводы не только незавербованное меньшинство внутри страны, но и тех кто «жадно пил свободу» на Западе.

Основываясь на этих умозаключениях, Ли вполне серьезно полагал, что министерство любви к отечеству и министерство правды держат на паях где-то в Москве специальный кабинет или явочную квартиру (как ни странно, фантазии Ли о наличии внутри империи явочных квартир, в том числе и для обсуждения и планирования литературных акций, принадлежавших андроповскому ведомству, позднее подтвердились. — *Л.Я.*), куда не реже, чем раз в месяц собирают «властителей дум» — редакторов толстых и тонких журналов, а также всех тех, кто «больше, чем поэт» и «больше, чем писатель», и после обязательной переклички распределяют дежурства: кому по левому, кому по правому, кому по центристскому, а кому и по «оппозиционному» направлениям. И все расходятся «спольнять». Заказанная же, допустим, «оппозиционная» вещь, ну, например, как пишет Ли, не упоминая автора, роман «Недосып» (может быть, «Бессонница»? — *Л. Я.*), затем подвергается критике справа, слева, из центра и даже из оппозиции. Потом вся без исключения «критика» объявляется «справедливой», хотя и отмечается, что левый критик чуть перелевил, правый — чуть переправил, центральный — слегка перецентрил, а «оппозиционный» — немного «загнул». А в целом все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, поскольку лжелитературный лжепроцесс развивается, и развивается успешно. Почему-то пессимизм Ли, вероятно, природный, поскольку жизнь свою он делал, как хотел, и личных оснований для столь глубокой мрачности взглядов у него не было, особенно ярко проявлялся в отношении к советским «духовным ценностям».

Уже через много-много лет, почти через четверть века после описываемых здесь событий и обстоятельств, я спросил Ли, чем было вызвано в те годы его пристальное внимание к лубянским литературным играм и «процессам». Ли ответил, что он искал в этой среде хотя бы двух-трех человек, чей нравственный облик и требовательность к себе стали бы знаменем будущих перемен, поскольку чувствовал, что одного Сахарова для успеха корректуры, если таковая даже состоится, явно не достаточно.

— Нужен был Золя? — спросил я.

— Золя, Толстой, Чехов, Герцен — нужны были свободные люди, — ответил Ли. — Может быть, вы помните: кто-то, кажется, Сперанский, сказал, что в России не может появиться свободный

человек. Так и случилось — за долгих два столетия только трое вышеназванных, ну, еще Ключевский и Владимир Соловьев смогли подняться над вонючей формулой «православие, самодержавие и народность», в том или ином ее виде, а все остальные были и остались рабами. Рабство же всегда ведет к двуличию, а если в поведении двуличие еще можно скрыть, то в творчестве оно обязательно вынырнет.

В своих суждениях Ли стремился к точности, а не к жесткости и тем более не к жестокости. Он был беспристрастен, как ученый у микроскопа. Весьма характерны в этом отношении его слова о Солженицыне, сказанные им в ответ на мой упрек, что он не включил нашего дорогого Исаича, наш свет во тьме, в свои списки:

— Солженицын как явление, — говорил Ли, — как и марксизм для бывшего «вечно живого», да и для самого Солженицына, ходившего в троцкистах, имеет «три источника и три составные части»: он создан его своевременной личной храбростью, мощной поддержкой из-за рубежа и миллионами человеческих судеб и жизней, изуродованных и оборванных тоталитарным режимом. Эти «три источника» связаны в нем намертво. Уберите хотя бы один из них — исчезнет Солженицын, будто его и не было. Например, если убрать его храбрость, остался бы человек с пустыми мечтами и дулей в кармане; убрать поддержку из-за рубежа — и он исчез бы бесследно в самом начале своих предприятий; отнять у него чужие судьбы и жизни, поглощенные лагерями, — и нет к нему того особого интереса за «железным занавесом», и превращается он в еще одного Тарсиса, Синявского, Даниэля и прочих, чье имя легион, обреченных на «известность в узких кругах», хотя кое-кто из них будет повыше большинства здешних лубянских «властителей дум» и «совестей русского народа». Не случайно в моих определениях и слово «своевременный», ибо в случае падения «железного занавеса» всем его разоблачениям будет на международном идеологическом рынке грош цена. Более того, даже если бы сохранился «курс пятьдесят шестого — шестьдесят второго годов» они тоже много бы не стоили.

— Главная же «составная часть» Солженицына — это прах миллионов безвременно ушедших жертв режима, на чьих костях возведено все его материальное благополучие. Именно на этих костях им был заработан его первый — гонорарный — миллион и второй — Нобелевский, обеспечившие ему независимость и свободу за них за всех. После этого он был обязан каждый день жить, помня о них и тратя все силы, чтобы все описанные им страдания и реки крови иссякли на Земле, а вот этого я не вижу,

скорее наоборот: он без устали сеет ветер своими геополитическими и националистическими фантазиями.

— Но существуют же еще такие понятия, как литературное дарование, талант… — возразил я.

— Существуют, — сказал Ли, но их наличие обычно, за редким исключениями, устанавливают отдаленные потомки. Сегодня же талант Солженицына, если таковой имеется, не обеспечит ему даже хлеба насущного. И любому другому — тоже.

— Но был же все-таки «Архипелаг»… — упрямо сказал я.

— Вы ставите меня в трудное положение, — отвечал Ли. — Вы знаете, что в соответствии с моим Предназначением я могу быть только наблюдателем и не имею права на самостоятельную корректуру каких-либо событий. От меня требуется лишь готовность к свершению Предназначенного, но готовность эта в немалой степени зависит от моего знания и понимания сущности событий. Это мое знание основывается только на моем анализе доступной мне информации. И я выполняю такой анализ исключительно для личного пользования, но, учитывая вашу настойчивость, я сделаю для вас исключение — расскажу о результатах моего анализа случая с «Архипелагом», если вы этого желаете, конечно.

Я естественно, дал понять, что очень желаю, и Ли продолжил:

— «Архипелаг» охватывает 1918–1956 годы и очень немного добавляет разоблачительной информации к тому, что в той или иной форме стало известно в хрущевский период. В разгар «откровенности» — в 1958–1962 годах — большая часть этой книги могла бы быть опубликована. Но г-н Солженицын завершил свою рукопись в 1968 году, когда информацию о безобразиях сталинского периода уже свернули, и это вначале стало основой его конфликта с властями, имевшими все возможности растоптать его, уничтожив рукопись. Однако, совершенно неожиданно для многих, этот конфликт принял ленивый и затяжной характер. К сожалению, люди часто забывают о взаимоотношениях кота и пойманной им мыши, и, выдавая желаемое за действительное, «болельщики» г-на Солженицына, да и он сам, истолковали поведение спецслужб как робость и нерешительность, не поняв, что начинается та самая Игра кота с мышью, с невольным и неосознанным участием и «Архипелага», и его автора. Для объяснения причин и целей этой Игры требуется небольшой исторический экскурс. Двадцатые годы создали образ «передового еврея» — местечкового раба, ставшего революционным героем и подвижником, вроде фадеевского Левинсона. Потом потребовалось двадцать лет, чтобы вытравить этот образ, превратив еврея в патологического труса и лодыря,

который не сеет и не пашет, бежавшего от войны торговать в Ташкент. Смерть Сталина предотвратила закономерное превращение этого штампа в «злейшего вредителя и отравителя», заслуживающего публичного наказания. Потеряв своего пахана, штаб международного заговора, имеющего своей целью «окончательное решение еврейского вопроса» путем физического истребления всех, кто помечен словом «еврей», сосредоточился на уничтожении еврейского населения Израиля. Шестидневная война не только сорвала этот, казалось бы, абсолютно беспроигрышный план, уничтожив колоссальные запасы славного русского оружия, десять лет непрерывно поступавшего на Ближний Восток, размазав как говно по стенам всех «советских советников» с их «доктринами». Она, эта война, уничтожила создававшийся десятилетиями образ трусливого, ни на что не годного еврея, абсолютного ничтожества, не способного себя защитить и прокормить. Стала прорываться информация об успехах еврейской страны во всем — в промышленности, военном деле и, что больнее всего — в сельском хозяйстве. Потребовалась очередная реконструкция официального образа еврея. Стали восстанавливать не достроенную при Сталине модель — «злейшего и подлого врага социализма». Но тут подоспели пражские события, и аналитики Юрия Владимировича, просчитывая будущее своего «лагеря», пришли к выводу, что на определенном этапе «их социализму» придется практически открыто прибегнуть к шовинизму и нацизму. Теперь я прошу вас ответить честно: вы читали «Архипелаг» от корки до корки?

Я не мог соврать и ответил:

— Нет. Но я многие главы прослушал из-за бугра.

— Советую вам прочитать, и вы убедитесь, что, хоть примерно к 1938 году евреи-каратели, работавшие в спецслужбах, были полностью физически уничтожены, в книге г-на Солженицына не чувствуется этих перемен, ибо тысячи имен *русских* администраторов Архипелага им вообще не названы, а безликие третьестепенные фигуры нескольких десятков Ивановых, Петровых, Николаевых, Гараниных и т. д., и т. п. в этом «художественном опыте» так бледны по сравнению с Коганом, Фельдманом, Френкелем и прочими евреями, чья жизнь и «подвиги» прослеживаются чуть ли не от пеленок, что их будто бы и вовсе не было. Если же попадался каратель-еврей с нехарактерной фамилией, то г-н Солженицын, предвосхищая будущих антисемитских «просветителей», ласково расшифровывал его имя-отчество, например, «Яков Саулович» Агранов. А чего стоит его гимн «столыпинскому вагону», задуманному для депортации в Сибирь и Среднюю Азию

населения захваченных Россией в XVII и XVIII веках западных и юго-западных земель для последующего заселения их качественным народом. Да и плач г-на Солженицына о самом композиторе дела Бейлиса Столыпине, убиенном «гадом-троцкистом» (так, если помнится, сказано в «Архипелаге»!), тоже весьма впечатляет. Андроповские орлы-прогнозисты правильно рассчитали, что ореол «запрещенности» и вуаль «преследования» сделают все эти вонючие идейки и приемчики более эффективными, чем лобовая пропаганда, и включили их автора в свой хоровод, чему изрядно помогли и зарубежные глашатаи свободы, включая Нобелевский комитет, также ставшие участниками этой Игры. Правильность расчетов андроповских служб мы, дожившие до «перестройки», можем подтвердить. Метод г-на Солженицына по выявлению «еврейских корней» русского тоталитаризма и советского государственного террора получил сейчас самое широкое распространение. Относительно безобидный для нынешних властей «Архипелаг» заслонил все дела последующих десятилетий, и теперь даже убийства Стуса и Марченко со временем можно будет связать с деятельностью Троцкого и Ягоды. Думаю, что самостоятельно анализируя дальнейшие события, вы еще не раз получите подтверждение моих выводов.

Но это будет потом, а тогда Ли буквально выпрашивал у Хранителей своей Судьбы честь расправы над идеологическим Сусликом, с которым у него были давние и даже, в определенной степени, личные счеты. Ли давно знал, что за отчаянной «борьбой» с «космополитами», «известными еврейскими националистами» еще в сталинские времена стоял кровавый Суслик, но кроме этого он знал, что Суслик в пятидесятом уже подготовил «процесс» по «разоблачению банды» «космополитов»-историков, во главе которой им, Сусликом, был поставлен дядюшка, и только личное вмешательство Сталина, не пренебрегшего памятью об их многолетнем общении, предотвратило публичную расправу над семидесятипятилетним стариком. А как хорошо Суслик успел тогда все организовать: уже в «главных» университетах Империи Зла «народ» на «внеочередных» собраниях начал клеймить «злопыхателя, искажающего» родную историю. И вот теперь Хранители его Судьбы не отдавали ему этого подонка на изъятие его из мира живых, не давали ненависти Ли подняться на тот уровень, за которым для объекта этой ненависти оставался один выход — Смерть.

Когда через несколько лет Суслик сдох, как Кощей в песне Высоцкого, «без всякого вмешательства», Ли прочел в

«Медицинском заключении о болезни и причине смерти Суслова Михаила Андреевича» первую фразу: «М. А. Суслов, 79 лет, *длительное время* страдал общим *атеросклерозом* с *преимущественным поражением сосудов* сердца и *мозга*». Он сразу же открыл медицинскую энциклопедию и нашел там убедительный словесный психологический портрет главного идеолога Империи Зла: «*Наиболее ранним* проявлением атеросклероза *мозговых* сосудов является *ослабление и изменение психики* больного, с характерным *понижением памяти, словоохотливость, упрямство, подозрительность*». Закончив это краткое медицинское исследование, Ли понял, почему этот человекообразный находился под неусыпной опекой Хранителей его Судьбы: где бы они еще нашли на этот важный пост кандидатуру с *ослабленной* психикой, которая могла бы внести такой вклад в развал Империи Зла, как это словоохотливо-упрямо-подозрительно-идеологическое существо.

III

Однако до того, как это все прояснилось, у Ли нередко возникали сомнения: не ошибаются ли Хранители его Судьбы. Ожидая обычной энергетической «инъекции», предшествующей, как правило, любому их «поручению», он на каждую женщину, попадавшую в то время в сферу его общения, смотрел как на долгожданный знак и, стремясь ускорить события, сам шел ей навстречу, что теперь, при наличии у него коктебельского кристалла, было совсем нетрудно: одно-два ночных внушения — и ту, в которой он предполагал посланного ему Хранителями его Судьбы энергетического донора, можно было приглашать в его уединенную квартирку, оставшуюся за ним после смерти Исаны.

Так он и делал и вскоре потерял счет своим гостям. Кто только ни перебывал у него тогда. Запомнилась ему близость с подругой, бывшей не менее чем на шестом месяце беременности, все время шептавшей ему: «Не дави живот! Только не дави живот!» Но у Ли в запасе было столько асан, в которых живот даже не участвовал, что эти предупреждения были излишни, и острота ситуации, когда рядом с ним бились два сердца — он слышал их, нежно лаская будущую мать, его поразила. Их «свидетель» вымахал потом здоровенным мужиком, и Ли смущал свою бывшую подругу, называя его «наш сообщник». Но все эти встречи, кроме воспоминаний, ничего не приносили, и, возвращая молодых женщин их мужьям, Ли чувствовал только признательность за доставленную радость человеческого бытия.

Не было желанного ему прилива сил, не приходило так теперь желанное гневное исступление, лучи которого несли смерть объекту его ненависти.

Меняющиеся подруги Ли этого периода женским чутьем угадывали какую-то его неудовлетворенность, и после одного-двух приключений их встречи сами по себе прекращались, не переходя в длительную связь, а Ли, устав от этих, в общем ненужных ему похождений, возвращался к Лине, все более убеждаясь, что, скорее всего, именно она и была послана ему Хранителями его Судьбы для успокоения в это трудное для него время.

Тем более что и сама Лина к этому моменту кое в чем переменилась: куда-то исчез ее необузданный нрав, ранее то и дело дававший о себе знать даже в минуты близости какой-нибудь резкостью. Она стала мягкой и податливой.

— О чем ты сейчас думаешь? — спрашивала она, держа его в своих объятиях.

Он только улыбался в ответ, глядя в ее серо-зеленоватые большие светлые глаза, и она начинала хозяйничать на нем как хотела, чтобы расшевелить его. Ее гордый характер не позволял ей выпрашивать ласку, и она подталкивала его к ней своими средствами. Он же просто отдыхал, тихо радуясь предельной доступности ее упругого и совершенного в своей молодости тела, а отдохнув, возвращал ей ее ласки с избытком, радуясь переживаемой ею сладкой муке.

Каждая такая встреча с Линой на некоторое время изменяла шкалу его жизненных ценностей, и его душа утешалась памятью о пережитой радости, но потом иная действительность властно стирала эти воспоминания до новой встречи. И тогда Ли начинал жить другими заботами, увы, не такими радостными.

IV

Ли в этот период, как уже говорилось, опять стал интенсивно заниматься политикой и философией, но на этот раз, как никогда прежде, на его занятия оказывали большое влияние его экономические знания и довольно четкое представление об истинном состоянии Империи. Будучи близко причастным к одной из важнейших отраслей промышленности, положение в которой было показателем здоровья всего хозяйства страны, он уже в середине семидесятых ощутил явные признаки упадка. Этот упадок давал о себе знать и все возрастающими номенклатурой и объемом дефицита — увеличением очередей, «перебоев» и

усилением других непременных отрицательных явлений в «плановой социалистической экономике».

И, как всегда, ухудшение жизни компенсировалось фанфарами и безудержным самовосхвалением. Ли полагал, что приближающийся всеобщий «пшик» в Империи Зла еще лучше ощутим со стороны и что этот упадок должен отвратить тех, кто «еще имеет выбор»: свобода или рабство, нормальная жизнь или жизнь среди «социалистических ценностей». На деле же в мире прослеживалась совершенно иная тенденция: была процветающая Куба, рай туристов, обеспечивавших своими деньгами бесконечный карнавал ее жителям, но те пошли за горлохватами и избрали «счастье» нищеты; был веселый и богатый сайгонский Индокитай, но его жители предпочли безбедному существованию голодную опеку «великого вождя Хошимина» — завещание этого тоталитарного карлика напоминало Ли по своему содержанию известную школьную шутку: «Не везет что-то великим людям: Шекспир умер, Ньютон умер, Ломоносов умер и мне нездоровится».

В Китае же «культурная революция» идиота Мао сыграла роль анекдотической козы, вселенной по совету раввина в переполненную тесную квартиру Рабиновича: когда козу, иначе говоря — «культурную революцию», сплавили на свалку, то даже коммунизм с китайским лицом стал «огромным достижением» на пути «демократических преобразований». По словам «советской печати», идиоты, мечтающие о слиянии в экстазе с «Великим Китаем», были на Тайване и даже в Гонконге. Но если тайваньские или гонконгские идиоты-«объединители» были существами почти мифическими, то стремление определенных и весьма многочисленных баранов из процветающей, свободной Южной Кореи в северокорейское стадо под суровую длань другого «великого вождя» Ким Ир Сена было печальной реальностью, часто приводящей к человеческим жертвам.

Эту всенародную тягу к рабству невозможно было объяснить, скажем, расовыми особенностями, поскольку она была свойственна, например, не только желтому востоку Азии, но и разноцветной Кубе. В то же время в желтом Индокитае все-таки были люди, готовые, как и на Кубе, сесть в утлые лодочки вместе со своими детьми и, рискуя своей и их жизнями, уйти в открытый океан, только чтобы не жить в «счастливом социалистическом» отечестве.

С тревогой Ли наблюдал и развитие событий в Иране, где либеральный режим шаха, пытавшегося дать молодому поколению персов европейское образование, все больше и больше попадал под огонь темных сил. Носители этих темных сил

возглавляли «священную борьбу», сидя по давним «революционным» традициям в старой комфортабельной Европе и наслаждаясь всеми благами европейской демократии, а в свою защиту активно использовали ее законы. Получалось, что новое средневековье было выпестовано под Парижем. Судьба же шаха и его скорая болезнь и смерть зародили у Ли подозрения, что на стороне сил Зла тоже есть свои корректоры исторических событий. Во всем этом ходе всемирной истории Ли видел проявление подсознательного стремления определенной и весьма значительной части человечества к рабству, к «сильной руке», к «твердому руководству», к «единству нации» и прочим проявлениям инфернального, стадного начала, свойственного той разновидности живых существ, которая в любой момент рада сплотиться в «массу». В этом отношении был необычайно ценен опыт бесноватого Адольфа. Он показал, что от инстинкта «сплочения» не защищает ни образование, ни многовековая культура, ни христианские традиции, и чуть ли не весь народ внял призыву «вожака», образовав многомиллионную «массу-стаю», послушно исполняющую прихоти Зла. Лишь нескольким тысячам человек эта болезнь была непонятна и неопасна, и «призывы» идиота ничего кроме брезгливости у них не вызывали. Некоторых эта брезгливость по отношению к своей нации привела к такому потрясению, что они перестали себя считать немцами, как великий Гессе, отказавшийся уже после разгрома нацистов от участия в любом даже самом благородном по своей форме немецком начинании.

Но таковыми на деле оказывались единицы, и «массе» до них не было никакого дела, поскольку «работать с массой» можно было только в одном направлении — в направлении рабства и Зла. Думая об этом, Ли не переставал удивляться прозорливости Пушкина, разглядевшего убожество человеческих стад еще в то время, когда Европа жила надеждами на торжество идеалов Добра и Свободы:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…
Паситесь мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

И Ли в эти годы постоянно мучили сомнения: не потерял ли он только время, благие мысли и труды, отданные служению Хранителям его Судьбы.

V

Возможно, впервые в уже довольно долгой жизни Ли его внимание к внешним и внутренним политическим делам не было бесстрастным взглядом постороннего, взглядом странника, имеющего свои цели и задачи. И когда он пришел к выводу, что кремлевским старцам, чтобы сохранить свой след в истории движения к «светлому будущему», уже мало обильно посеянного ими на Земле терроризма и тайного Зла, и что они все более убеждают себя, что все это «чижики», а от них «кровопролитиев ждут», причем предчувствие этого «кровопролития» непрерывно росло, он не мог не думать и о своем сыне, вошедшем в «призывной возраст».

Летом семьдесят девятого, по окончанию университета, для присвоения офицерского чина его вместе с другими выпускниками украинских университетов сплавили на три месяца в большой военный лагерь рядом с Батурином. Однажды Ли, возвращаясь из Москвы, решил поехать через Конотоп и навестить его «при исполнении воинского долга». В Конотоп и затем в Батурин он добрался на рассвете и решил подождать, пока лагерь проснется и выполнит все необходимые утренние процедуры. Он побродил по Батурину, посидел на берегу Сейма близ заброшенного дворца Разумовского, и все это утро от него не отступала тревога. Он не сразу понял, что действует достаточно сильное скорбное энергоинформационное поле: слишком много крови тех, кто был создан здесь этой Природой, было пролито здесь же на протяжении веков, поскольку когда-то этот городок в подарок «мин герцу» полностью вырезал царский сатрап и первый русский «генералиссимус» Меншиков, потом тут всласть порезвились другие бесноватые, включая считавшего себя русским последнего «генералиссимуса» и сатрапа самого Сатаны, и души убитых и уморенных голодом остались тут навеки, став частью этого прекрасного уголка в подлунном мире.

Военный лагерь был на другой окраине городка, и, ступив на

его территорию, Ли уже не ощутил угнетающего действия сконцентрированного скорбного прошлого. По словам сына, жизнь в нем была сносной, но, тем не менее, ее бессмысленность — обычная бессмысленность неконтрактной военной жизни в мире всеобщей воинской повинности, как реальность, данная в ощущении любому нормальному человеку, угнетала донельзя, и этим угнетением была пропитана даже сама атмосфера в пределах лагеря, занимавшего опушку прекрасного лиственного леса. Когда они расставались, сын мечтательно сказал:

— Когда эти жуть и муть закончатся, я недели две буду валяться дома, читая толстые интересные книги, а потом давай двинем на юг, чтобы было теплое море, мандариновые рощи, теплоходы и прочая милая дребедень.

«Быть посему!» — подумал Ли, а вслух ответил: — Ладно, попробуем.

Со стороны Ли это не было отговоркой. Он легко воскресил в себе воспоминания о собственном всего лишь месяце, отданном военному идиотизму даже в относительно мягких условиях, созданных им там в стройбате бравым майором Гефтом, не идущим ни в какое сравнение с идиотизмом «общевойсковых лагерей», вспомнил, как ему хотелось смыть с себя и особенно со своей души эту мерзкую грязь в Сочи — городе его Судьбы, бывшем тогда совсем рядом, но не доступном ему из-за отсутствия денег. И он решил попробовать выполнить пожелание сына в полном объеме, хоть и не верил в успех своих планов.

Однако уже сразу по возвращении из Батурина Хранители его Судьбы дали ему почувствовать, что его намерения ими благословляются. Буквально на третий или четвертый день прямо к его рабочему месту подошла малознакомая ему сотрудница и робко спросила, не хочет ли он приобрести книжный дефицит — три толстых тома «Виконта де Бражелона». Сын давно уже мечтал прочитать эпопею о д'Артаньяне и его друзьях до конца, и Ли немедленно согласился. Столь быстрая реакция Хранителей его Судьбы на тайно принятый им план его удивила, и он, ничего не предпринимая, чтобы быть уверенным в своей непричастности к дальнейшему развитию событий, стал спокойно ждать.

Когда уже на пороге был сентябрь, а сын должен был возвратиться в начале двадцатых чисел этого месяца, Ли вдруг получил письмо из Москвы, пришедшее к нему окольными путями, поскольку его адрес изначальному отправителю был неизвестен, приглашение на стопятнадцатилетний юбилей гимназии в Херсоне, в которой в числе прочих именитых питомцев значился дядюшка. Сроки проведения торжеств оказались «строго увязанными» с планами Ли и желанием его

сына. Таким образом его план явно был благословлен *Ими*.

Теперь оставалось просто ждать и надеяться, что за оставшиеся три недели кремлевские старички не придумают какой-нибудь большой или малой войны за «идеалы социализма», предчувствие которой не покидало Ли.

Но на сей раз обошлось, и сын с рюкзаком за плечами появился на пороге дома даже за день до положенного срока. План немедленно начал реализовываться: сын улегся читать «Дюму», а Ли стал готовить себе отпуск и добывать билеты в Херсон.

Они выехали в последних числах сентября и с удовольствием провели три дня в славном городе Херсоне, где им был готов и стол, и дом, и хорошая погода, и полный набор местных развлечений. Ли даже не стал сразу договариваться о помощи в дальнейшем путешествии. Он дождался неизбежного вопроса о дальнейших планах. К этому времени он уже убедился в определенном могуществе принимавших его людей и просто заказал три билета на быстроходный катер до Одессы и три классных билета на теплоход из Одессы до Сухуми, и заказ его был выполнен безоговорочно.

Через день Нина с сыном расположились в креслах у окон, чтобы любоваться быстро меняющимися картинами убегающего назад берега, а Ли вышел с сигаретой на кормовую палубу: ему хотелось быть поближе к воде и попытаться уловить грань, разделяющую Днепр и море, но он задумался и не заметил, как в поле его зрения остался лишь один правый берег, и тот исчез на время, когда на траверзе был Бугский лиман. Затем, после минутной остановки в Очакове, обогнув Березань, катер взял курс на Одессу. Ли смотрел, как на горизонте, подобно огромному старинному замку возникает одесский вышгород — город Исаны и Лео, город их Встречи, без которой его, Ли, не было бы на свете. Он думал о том, что вот так же пятьдесят лет назад перед глазами Лео, возвращавшегося из своих командировок в Николаев или в Херсон, возникала Одесса, в которой ждала его Исана, и вот уже нет на этом свете ни Исаны, ни Лео, и никто никого не ждет в родовом гнезде Кранцев на Греческой, но сегодня они встретились в своей Одессе снова, на этот раз в памяти Ли.

Ли вспоминал и все их прежние приезды в Одессу с Ниной — сначала без сына, потом несколько раз втроем. Свои частые деловые командировки сюда в конце шестидесятых он на этот раз не воскрешал в памяти (мало ли где его носило!). Он сейчас мог думать только о разделенной радости встреч. И перед ним проходили картины счастливого мая шестьдесят восьмого, порадовавшего их теплой погодой, преждевременным открытием

купального сезона и просторным номером в гостинице «Париж», или как она тогда называлась «Красная», поступившим в их распоряжение почти на десять дней из-за неожиданной задержки в Москве забронировавшего его для себя Давида Ойстраха. Потом был летний месяц на Лузановке, а Нина лечилась в санатории на Куяльнике, была ловля бычков самоловами «на рачка» в Одесском заливе, было холодное летнее море шестьдесят девятого и было отплытие из Одессы, тающей в тумане за кормой их теплохода.

Все эти воспоминания принесли с собой столько грусти, что у Ли увлажнились глаза. «Может быть, права была Нина, и надо было употребить все силы и возможности, чтобы сейчас, уже на пороге пятидесятилетия переселиться сюда и провести здесь остаток дней», — подумал Ли, и снова все, чем он жил до сих пор, показалось ему суетой, тщетной, напрасной тратой времени и сил души. Налетевший на него на входе в одесскую гавань вихрь сомнений был так силен, что он быстро ушел с палубы и, чтобы отвлечься, стал возиться с вещами, готовясь к выходу.

Билеты до Сухуми ждали их в кассе порта, а до отплытия оставалось часов шесть. Все это время было ими отдано центру Одессы — Дерибасовской, Греческой, Соборной площади, Преображенской. Бродили почти бесцельно, иногда вспоминая вместе свои прошлые приезды. Когда пришло время двигаться поближе к порту, они прошли по цветной брусчатке на Пушкинской и потом — весь Приморский бульвар от Думы до беседки Воронцовского дворца и только после этого стали спускаться по лестнице к морю.

Вскоре Ли, как и десять лет назад, стоял на корме теплохода, уходящего в сторону Евпатории, и смотрел на тающую в сероватой мгле и сливающуюся с ранними осенними — был уже октябрь — сумерками свою милую Одессу, и томили его уже не сомнения, а грустные предчувствия, что так, все вместе, они прошли улицами этого близкого им города в последний раз.

VI

И были такие знакомые им порты Крыма. Была солнечная Евпатория в ранних заморозках, напомнивших Ли осенний рассветный иней и ледяные корки на лужах, хрустящие под его босыми ногами в Долине его детства. Был незабываемый Севастополь, тоже когда-то ставший вешкой их жизни хотя бы потому, что там был святой для Ли Херсонес, где он ощущал присутствие энергоинформационного моста, связывавшего его с ушедшими мирами Земли. Была Ялта, укрытая от норд-оста и

потому теплая, но с явным присутствием осени.

Рейс их был не экскурсионный, но продолжительность стоянок была такой, что они успевали побродить по центру Севастополя, пройтись по набережной Ялты до своей любимой «Ореанды». Потом пришла вторая ночь, а на утро за иллюминатором их каюты уже были северокавказские предгорья.

Они продолжили свои традиционные прогулки, побродив, сколько позволяло время, по Новороссийску и, конечно, по своему Сочи. Дни были насыщены впечатлениями до предела, и кроме того, Ли уже с некоторым беспокойством думал о том, как они устроятся в Сухуми, и его общие житейские сомнения и предчувствия на время отступили в дальние уголки души.

Сухуми встретил их таким проливным дождем, что они не смогли даже сойти на берег, но к концу часовой стоянки дождь прошел, и начался обычный сухумский осенний солнечный день. Ли рассматривал народ, бродивший у причала, и не находил знакомых. «Вот и первые «удачи», — подумал он, но в этот момент к нему осмелился подойти один, долго до того внимательно рассматривавший их троицу молодой парень, представился и сказал, что он здесь по поручению его друзей, которые все как один оказались в это утро занятыми.

Машина ждала их в ближайшем переулке, и вскоре они мчались в сторону Келасури, но, не доехав до сухумского дендрария, свернули налево и въехали на территорию туристической базы. О ее существовании Ли знал и прежде, но никогда здесь не бывал.

Туристическая база представляла собой довольно большой городок из летних домиков, спрятанных в глубине парка, а на первом плане стояло несколько «теплых» корпусов с обязательными лоджиями. Туристический городок был одним из пунктов трех-пяти «всесоюзных» туристических маршрутов и значился в путевках, распространяемых «централизованно», а «путевки» в корпуса оформлялись обычно тут же, по предварительной договоренности с царствующим здесь директором Гиви, поскольку они предназначались для «уважаемых» и «весьма уважаемых» людей. Говорили, что для «сверхуважаемых» людей есть еще несколько «люксов» в уединенном директорском корпусе и что люксы эти большую часть времени обслуживают «сверхуважаемых» людей в режиме дома свиданий. Во всяком случае, потом Ли много раз в позднее и ночное время видел из окна в коридоре своего корпуса, выходившего торцом на подъездную площадку, «лимузины», соответствующие рангу руководителей «республики» и не только Абхазской. О Гиви туземцы и гости говорили с уважением, как о

грозном и крепком хозяине и сильном человеке, недавно один на один сразившемся со страшной болезнью века — раком горла и вышедшем из этой битвы победителем.

Для Ли и его спутников был отведен номер с удобствами в корпусе для «весьма уважаемых» людей, над палисадником, откуда доносилось благоухание темнокрасных осенних роз. И они зажили жизнью отдыхающих, с обязательным ежедневным купанием в море, находившемся в ста метрах от корпуса.

Свободу их самостоятельных перемещений по Сухуми сковывал трехразовый режим питания и довольно неудобный городской транспорт. Да и море утомляло и требовало послеобеденного отдыха, а вечера были ранними и темными: октябрь уже подбирался к своей середине.

Ли обычно днем мало отдыхал лежа и, почитав газеты, вскоре оставлял своих в номере и выходил в парк побродить вместе с павлинами по аллеям, посидеть у небольшого бассейна с лебедями и выпить чашечку кофе по-турецки в одной из кофеен, находившихся здесь же у корпусов. Он был нелюбопытен и не обследовал всю территорию базы, как это сделал бы любой «нормальный» человек. Но однажды, бродя по «своим», одним и тем же аллеям, он вдруг заметил мелькнувший сквозь листву силуэт какого-то маленького здания, напоминавшего часовенку, и немедленно двинулся к нему.

Этот непонятный домик стоял на небольшой поляне там, где «культурных» аллей уже не было, и к нему вели протоптанные в траве две узенькие тропки. Ли подошел поближе и увидел рядом с домиком скамью и куски распиленных стволов каких-то деревьев. Несколько таких чурбанов было частично обработано, из них, как бы из толщины древесины проступали мужские и женские лица. Ли присел на скамью и уже только оттуда заметил, что в тропы, ведущие к этой избушке, уложены плиты, как ему показалось, мраморные. Он поднялся и стал их рассматривать. Плиты и в самом деле оказалось мраморными и были покрыты надписями, сделанными непонятными, но очень знакомыми буквами. Потом Ли сообразил, что это греческий алфавит, большую часть которого он знал по разного рода математическим обозначениям. Тогда он стал пытаться «узнать» высеченные на камне буквы и прочесть написанное.

— Это надгробные плиты, — раздался у него за спиной тихий голос. — Здесь закрытое греческое кладбище.

— Старое? — спросил Ли.

— Не очень. Посмотрите даты на той плите. Его закрыли по плану реконструкции города. В тех случаях, когда имелись заявления родственников и потомков, останки переносились на

новое кладбище за счет города, «невостребованные же — их было три четверти всех захоронений — остались лежать здесь, под нашими ногами.

Ли вернулся на скамейку, а человек открыл дверь домика и исчез во внутреннем полумраке. Ли застыл без движения и даже пошевелить пальцем ему не хотелось. Куда-то исчез отдаленный шум парка и более близкий — шум Тбилисского шоссе с его нескончаемым потоком машин. Во вселенной Ли наступила полная тишина, спокойствие и мир. «Хорошо прожили положенную им жизнь те, кто здесь лежит, и ушли в мире», — подумал Ли, ощущая, как его сомнения и тяжкие предчувствия отступают за пределы этого малого уголка Земли.

— Кофе готов! — опять раздался тихий голос незнакомца уже из глубины часовенки, где заметно посветлело, так как шторы были сдвинуты.

Ли зашел внутрь и увидел, что часовенка наполнена картинами, набросками и деревянными скульптурами, законченными и незаконченными.

— Я — художник, — пояснил незнакомец, — и расплачиваюсь с Гиви за аренду этой часовни художественным оформлением территории. Вы в первом корпусе?

Ли кивнул.

— Тогда вы, наверное, уже видели там мои картины и скульптуры.

Действительно, в холле своего корпуса Ли сразу же обратил внимание на украшавшие его произведения явно не массовой культуры.

Ли не мог сразу преодолеть очарования этого места и, стараясь подбирать самые общие слова, сумел как-то выразить это свое впечатление без излишней мистики. Но художник понял его сразу и сказал:

— Это меня и держит здесь. Я уже давно член «Союза художников» и мог бы получить мастерскую где-нибудь в городе, но не хочу. Мне кажется, что это все, — он обвел руками все картины и скульптуры и продолжил: — Навеяно этим местом. Особенно лица: они часто появляются в дереве и на полотне помимо моей воли, и я иногда думаю, что это лица тех, кто здесь лежит.

Ли еще раз внимательно рассмотрел портретную часть этой беспорядочной экспозиции и увидел, что в портрете юной девушки в грузинской национальной одежде четко выписан греческий профиль без впадинки на линии лба и носа. В таком же греческом духе были сделаны и некоторые мужские портреты. Потом Ли еще много раз в жаркий послеобеденный час приходил

к часовне, радуясь, когда она была закрыта, что можно хотя бы полчаса провести здесь в одиночестве и в полном рассредоточении, просто впитывая в себя положительную энергетику гениев этого места.

Когда наступал момент полного отключения от действительности, периоды астральных скитаний вдруг прерывались картинами шествия по иссушенной Солнцем земле красивых людей: седых стариков, сильных мужчин и женщин в расцвете лет, юных девушек и мальчишек. Что-то знакомое было в этом шествии, но ни к одному лику он не мог приглядеться — все сразу покрывалось дымкой, и образы расплывались.

Проносится над тайной жизни
Пространств и роковых времен
В небесно-голубой отчизне
Легкотекущий дымный сон.

Так получалось, что художник ни разу не нарушал его странствий и часто появлялся только к моменту его возвращения из нездешних пространств, и Ли был ему искренне рад. Они обычно выпивали по чашечке кофе, сваренного Ли, потому что художник почти всегда сразу бросался к мольберту, и движения его десницы или скрип угля и карандашей по жесткой бумаге не прекращались ни во время их беседы, ни даже во время кофепития, поскольку у мольбертов были специальные полочки для крохотных кофейных чашек.

Эти почти незаметные для его близких отлучки (с художником он их познакомил позднее), можно сказать, восстановили душевное равновесие Ли, и его спокойствие стало оказывать благотворное влияние и на людей, и на ход событий. Оно предотвратило шумный застольный спор, когда их принимали сухумские друзья, и позволило без осложнений и нервотрепки продлить их пребывание здесь еще на неделю, не предусмотренную предварительной договоренностью в корпусе «весьма уважаемых людей»: директор Гиви — «Серебряное горло» — просто не выдержал его спокойного взгляда.

VII

Спокойным было и его возвращение в Харьков, хотя ему еще в этом бесконечном году предстояли важные хлопоты по аннулированию дурацкого направления на работу, которым университет наградил своего отличника — его сына.

За десять дней после их приезда из Сухуми Ли управился с накопившимися текущими проблемами, и они стали собираться в Киев по делам сына, но поехали туда через Москву, так как в последний момент у Ли возникли дела в столице Империи. Погода и в Москве, и в Киеве была скучной и уже глубоко осенней, поэтому занимались только делами, сделав лишь два визита: в Москве — к Любе Белозерской, а в Киеве — отметили девятый день после скоропостижной смерти двоюродного брата Нины.

Обретенные Ли в Сухуми спокойствие и уверенность все еще действовали, и все его дела решались без задержки. Так, на аннулирование назначения сына он потратил в общей сложности около часа, побывав для этой цели в двух ведомствах. И в середине ноября, когда их долгие странствия этого года закончились, Ли позволил себе, наконец, встречу с Линой. От долгой разлуки все было как в первый раз.

Радость этой встречи поставила последнюю точку в успокоении Ли, и он подумал: «Пронеслось!». Все свои сомнения и предчувствия он посчитал следствием нервных перегрузок, и на последний месяц года освободил себя от политики. Поэтому интервенция в Афганистан в конце декабря стала для него неожиданностью.

Впрочем, это событие, когда он о нем узнал, принесло ему что-то вроде облегчения: он опасался бросков на Запад, где было неспокойно в Польше и где пожар войны мог охватить Европу, а затем и весь мир. Но геронтократы из Кремля решили увеличить свой «социалистический лагерь» за счет горной центрально-азиатской страны и выйти к границам Пакистана, а там и до Индийского океана рукой подать. Семь умственно отсталых гномиков решили, что такого «чижика», как Афганистан, они съедят за несколько дней. Ли смотрел на эти перспективы несколько по-иному и был уверен, что никто из тех, кто эту войну начал, не доживет до ее конца, а может быть, до этого конца не доживет и начавшая ее страна, так как в отличие от кремлевской шайки, он помнил «Балладу о Востоке и Западе» Киплинга наизусть и на английском, и на русском:

> There was rock to the left, and rock to the right, and low lean thorn between,
> And thrice he heard a breech-bolt snick the never a man was seen.
> Там справа скала и слева скала, терновник и груды песка…
> Услышишь, как щелкнет затвор ружья, но нигде не

увидишь стрелка.

Воевать же со стреляющими скалами можно и сто лет, но победить их нельзя.

В заключение этой достаточно нервной и местами резкой книги мне, как «господину оформителю» записок Ли Кранца, хотелось бы сделать несколько своих собственных замечаний. Годы, отразившиеся на ее страницах, уже стали историей, но они еще не так далеки и живут в памяти многих из нас. Человеческая память так устроена, что она почти всегда стремится утешить своего хозяина, сохраняя преимущественно добрые воспоминания, и прошлое обычно представляется человеку вереницей спокойных и солнечных дней. Лишь тот, кто обладает критическим взглядом на вещи, может отделить это мемориальное благодушие от жестких и жестоких истин.

Однако, даже мое личное, весьма критическое восприятие прошлого не позволяет мне давать минувшим дням и делам столь резкие оценки, как те, что содержатся в записках Ли Кранца. В частности, я, как и многие другие простые смертные, хорошо помню, как поддерживали наши души «оппозиционная» литература тех лет и все проявления диссидентского движения, высмеиваемые Ли Кранцем в его записках. У меня не раз возникало желание убрать эти резкости, но я чувствовал, что так делать нельзя, потому что все, сказанное им, образовывало достаточно стройную систему взглядов, и вынимать «кирпичи» из этого «дома, который построил Ли», просто недопустимо, поскольку нарушится целостность картины. К тому же после многолетней работы с записками Ли и нескольких случаев прямого с ним общения я, наконец, понял, что передо мною человек Пути, а люди Пути, как мне уже было известно, следуют своим принципам мышления и склонностям, совершенно не зависимым от мнения, похвалы или порицания других людей. И этим своим достаточно путаным послесловием я лишь хочу напомнить читателям, что на прочитанных ими страницах знакомые многим из них события недавних лет как бы высвечиваются взглядом из иного мира, вернее из иных миров, в которых постоянно пребывал Ли Кранц, и, так как этот взгляд не подчинен нашим общепринятым нормам и законам, то все «выхваченное» или высвеченное им в нашей новейшей истории имеет значение лишь для попыток понять странную жизнь моего «героя». Но, поскольку все в мире относительно, не исключено, что где-то в далеком и даже, может быть, недалеком будущем именно взгляды Ли Кранца на происшедшее с нами будут

признаны верными и справедливыми. Подождем, а пока скажем: аминь.

Книга восьмая
Преграды

И люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим и всею душою твоею,
и всеми силами твоими.
И да будут слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем.
И внушай их детям твоим, и говори
о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась, и вставая.

Второзаконие, 6:5–7

И вспоминай твоего Господа
в душе с покорностью и страхом,
говоря слова по утрам и по вечерам
не громко, и не будь небрежным!

Коран, сура 7 «Преграды», стих 205

Се гряду скоро, и возмездие Мое
со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его.

Откр. 22:12

Мир должно в черном теле брать:
Ему жестокий нужен брат.
От семиродных уродов
Он не получит ясных всходов.

О. Мандельштам

Моя Смерть едет в черной машине
С голубым огоньком.

Б. Г

.

I

Москва была теплой и солнечной, и Ли, приехав в столицу по пути в Нарву поздним утром, предвкушал короткий, но приятный день. Короткий потому, что фирменный поезд «Эстония» уходил довольно рано — в половине восьмого вечера. Приятный — потому, что билет на этот поезд у Ли уже был: дата командировки в Нарву, связанной с намечаемой там «всесоюзной» конференцией, была известна давно, и Ли, будучи в Москве в предыдущей командировке почти месяц назад, взял билеты от Москвы до Нарвы в предварительной кассе.

Таким образом, получилось, что у него было в Москве свободных девять часов и никаких служебных дел. Даже просто зайти поздороваться с коллегами было не к кому: московская группа участников конференции отправилась в Нарву накануне, ибо москвичи любили подходить к любому делу «капитально» и без спешки — приехать заранее, устроиться получше, а Ли такой пустой траты времени не терпел. Кроме того, богатый опыт «участия» подсказывал ему, что и тех дней, которые отведены на совещания и заседания, вполне хватит и на «нужные» знакомства, и на кулуарные развлечения, тем более в таком городке, как Нарва, где все магазины и «культурные объекты» собраны на небольшом пятачке.

Поэтому Ли распланировал заранее и эту московскую паузу, предназначенную воспоминаниям. Сначала он собирался пройти по Тверской, поскольку в два своих предыдущих приезда он из-за дел не смог побывать на этой улице, помнившей его молодые годы. Там же он решил позавтракать и заодно пообедать в своем любимом кафе «Птица», что над рестораном «Арагви». Впервые он переступил порог «Птицы» еще вместе с Исаной в 47-м — туда их пригласил для встречи и знакомства отверженный остальной частью семьи Т. дядюшка Миша, и с тех пор как у него появились частые командировки в уже давно опустевшую для него Москву, он старался ежегодно не менее двух раз бывать в этом кафе. Далее он хотел пройтись до магазина «Армения» и оттуда позвонить Черняеву, и если тот окажется дома, а куда старику деваться, взять бутылку армянского коньяка и двинуть к нему, чтобы узнать московские вообще и академические в частности последние новости. У Черняева за коньячком и хорошим кофе,

всегда у него водившимся, можно было посидеть часов до шести и не спеша направиться на Ленинградский вокзал.

Но по неписаным законам, когда все очень хорошо наперед расписано, начинаются сбои. Так было и на сей раз: «Птица» почему-то именно в этот день открывалась «после 14 часов», как гласила табличка, и Ли с горя зашел в какую-то гнусную забегаловку. Телефон Черняева давал длинные гудки. Ли не хотелось далеко уходить от «Армении», чтобы взять ереванский разлив, если задуманное свершится, и он решил зайти в «Академкнигу», надеясь, что через полчаса—час Черняев наверняка окажется дома. В книжном он купил дядюшкин юбилейный сборник, где в мемуарном отделе были опубликованы его собственные воспоминания. Взял он его на всякий случай — вдруг захочется кому-нибудь подарить.

Час был убит, но Черняев не появился, и Ли, взяв все-таки бутылку коньяка, грустно поплелся по Тверскому бульвару к Никитским воротам. Минут десять он простоял у дома Ермоловой, вспоминая милую Танечку, Татьяну Львовну, и ее верную Маргариту, ревновавшую ее ко всем знакомым и незнакомым. Ли вспомнил, как надменно держалась с ним Маргарита при живой Танечке, всячески подчеркивая дистанцию между нею, дочерью великой Ермоловой, и каким-то «пастушонком» — так его впервые представил своим дамам покойный дядюшка, и как потом, когда Танечки не стало, он заехал сюда, в этот дом с каким-то его к ней поручением, и как она, гордая Маргарита, выбежала к нему навстречу, обнимала и целовала его, не утирая слез. Ли тогда не сразу понял, что это предназначалось не ему, а некогда упавшей на него Танечкиной тени. Как там у Волошина?

> Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер
> Пушкин на них поглядел с корабля по дороге в Гурзуф.

Так и он тогда был священным для Маргариты уже тем, что не однажды целовал руки Танечке, а она ему улыбалась.

Ли хотел войти в дом-музей, но потом передумал, перебрался в сквер и, присев там на скамейку, откуда был виден парадный вход, стал листать уже хорошо ему знакомый дядюшкин сборник. На его страницах оживали те, о ком он минуту назад вспоминал: и Танечка — «поэтесса», и дядюшкина любимая «Маргариточка», и дядюшка с обеими тетями, и сам Ли — весь этот мир, исчезнувший для него ровно четверть века назад. И грусть тяжким камнем легла на его сердце. И он пошел дальше к Арбату.

Там, возле почты, он снова позвонил Черняеву и еще раз

услышал мертвые длинные гудки. Некоторое время он рассеянно смотрел на поток машин, несущихся по «новому» Арбату, а потом подумал, что если не осуществляется намеченное и спланированное, то, может быть, получится «экспромпт» без звонков и договоренностей, и он решительным шагом зашел в оказавшийся рядом с ним «дом полковника Киселева» — один из московских пушкинских адресов, где разместился «дом журналистов». Там директорствовал в те годы Толя Финогенов — бывший родственник Ли, иногда возникавший на его жизненном пути один из осколков старой «дядюшкиной» Москвы. В частности, Ли рассчитывал у него что-нибудь узнать о Черняеве, неоднократно рассказывавшем ему о существовании каких-то деловых связей между ними. Да и дядюшкин юбилейный сборник он давно уже собирался преподнести Толе, поскольку был уверен, что сей бывший интеллигентный человек, озабоченный сейчас добычей каких-нибудь кондитерских и гастрономических редкостей для своего буфета у банды из «елисеевского» магазина более, чем издательскими новинками, даже теми, что касались его давних знакомых, не заметил выхода этой книги.

Однако уже у дежурной он узнал, что Толя заболел, и Ли понял, что Москва в этот день окончательно от него отвернулась. Провожая его года полтора назад, Толя вышел с ним в палисадник, и эта картина сохранилась в профессиональной памяти церберши. Поэтому она, по-своему истолковав его раздумье, предложила Ли пройти в разрисованный Бидструпом пивной зал. Ли и сам склонялся к этому.

Пить вторую — «медленную» — кружку ему не хотелось, и он вскоре снова оказался на своем заколдованном пятачке — на мосту, соединявшем старую Воздвиженку с «новым Арбатом». Идти на вокзал было еще рановато. Вместо ожидаемого «глубокого удовлетворения» этот теплый майский свободный московский день принес ему одно лишь раздражение, и он, чтобы хоть как-то сгладить это неуютное ощущение, зашел в «Прагу» и заказал себе двойной кофе. Бутербродов он взял столько, чтобы хватило и здесь, и на ужин в вагоне.

Хороший кофе вернул Ли философское настроение, и после кофе он опять вернулся на почту, откуда по автомату позвонил в Харьков — для успокоения души тем, что не все так печально в его мире, — и двинулся к метро. Через полчаса он уже сидел в пустом купе голубого таллиннского поезда, перебирая купленную по пути прессу, а потом вышел покурить на платформе.

II

Когда он вернулся, в купе была уже молодая женщина с мальчиком. Лицо женщины, не знавшее косметики, было белым, мальчик тоже имел какой-то бледный, даже болезненный вид, хоть и был довольно оживленным. «Не москвичи», — подумал Ли и снова погрузился в скучную застойную прессу. Проезд тронулся. Проводница собрала билеты. Четвертый пассажир в купе так и не появился. Мальчик угомонился и полез отдыхать на уже застеленную верхнюю полку.

Проводница принесла чай. Ли достал бутерброды и коньяк и предложил соседке поужинать, чем Бог послал. Соседка вежливо отказалась, сказав, что они с мальчиком поужинали перед тем, как сесть в поезд, но слова Ли о Боге, в которых она, естественно, не почувствовала скрытую цитату из «Двенадцати стульев», как-то расположили ее к нему, как ему показалось, и она стала искренне отвечать на его вопросы.

Она оказалась монахиней из какого-то женского монастыря в Поволжье. Ее мирская подруга попросила свозить сына на «святую воду» в Эстонию, чтобы поправить его здоровье, и она, списавшись с тамошней настоятельницей, двинулась в этот путь впервые в жизни.

Ли бывал в Куромяэ и даже был знаком с настоятельницей и подробно описал своей попутчице и монастырь, и белогвардейское кладбище, и «святой источник». Она поинтересовалась, как туда лучше проехать. По мнению Ли, выходить им нужно было в Нарве, но билет у нее был до Таллинна, и вставать чуть свет ей не хотелось. Разговаривая, она застелила себе нижнюю полку, и, вернувшись после перекура, Ли застал ее уже в постели.

Спать ему не хотелось. Где-то в глубине его души еще чуть слышно ныла досада от истраченного впустую московского дня, и он налил себе еще небольшую порцию коньяка, чтобы выпить его по глоточку на сон грядущий — «night cap», как говорят в Англии. Было сумеречно: горела лишь одна лампочка у изголовья той полки, где сидел Ли. За окном почти к самой невысокой насыпи подступал черный лес. И вдруг в полной тишине купе раздался негромкий, но очень четкий голос его спутницы:

— Вот вы скоро умрете, и с чем вы предстанете перед Ним?

Ли замер от удивления, а голос так же тихо и спокойно продолжал звучать в их маленьком мире, в котором были только он, Ли, странная монашка, спящий мальчик и темное пятно бегущего мимо леса.

— Вы живете в суете, пьете, курите, к вам льнут женщины…

Услышав последние слова, Ли засмеялся:

— Да посмотрите на меня: я старый — у меня за плечами

полвека. Да-да, почти пятьдесят не очень легких лет. Я — лысый, у меня нет передних зубов, — о каких женщинах вы говорите?!

— Вы лучше меня знаете, что все, что вы сейчас сказали о себе, для женщин никакого значения не имеет…

«После таких слов, — подумал Ли, — гусары начинали крутить ус!»

И он пересел на полку своей попутчицы. Та не протестовала, но и не подвинулась, так что Ли пришлось довольствоваться краешком.

— Сейчас я на тебе и проверю, имеет ли это значение для женщин или нет, — сказал Ли.

— Я — не женщина, я — монахиня, — последовал тихий спокойный ответ.

— Монахиня тоже женщина, — рассудительно сказал Ли и стал осторожно поглаживать через простыню лежащее рядом с ним женское тело. Все было на своих местах — и небольшие упругие груди, и заветный холмик там, где начинались ее стройные ноги. И все было настолько доступно, что Ли стало не по себе, и он, уже возбужденный этой близостью, выдохнул:

— Ты что, сейчас будешь звать на помощь проводницу?

— Зачем? Меня Бог защитит… — и Ли показалось, что после этих слов прозвучал-прошелестел тихий смех.

Ли сдернул с нее простыню, и она осталась в простой белой ночной рубашке с глубоким вырезом. Ли положил руку на ее обнаженную грудь и был поражен: его рука коснулась *мертвого* тела. Он подумал, что его ладони от желания так разгорелись, что живая женская плоть показалась ему ледяной, и он прикоснулся губами к этим упругим девичьим холмикам, но опять почувствовал мертвый холод. И еще он почувствовал, что за каждым его движением неотступно следит ее внимательный взгляд. Ли не сдавался. Его рука прошлась по ее ногам. Трусов на ней не было, и путь к заветной цели был открыт. Она даже слегка раздвинула ноги, чтобы пропустить его руку туда, где у любой нормальной женщины, пока она жива, царит вечное тепло жизни. Но и там был все тот же мертвый холод.

— Ты же видишь, что все напрасно, — сказала она, сделав ударение на своем к нему обращении на «ты», от которого повеяло интимной близостью. — Давай лучше я тебе постелю и пойдешь спать. Тебе ведь рано вставать!

И она, поднявшись со своей полки, оказалась перед ним в своей короткой белой рубашке и, не обращая на него никакого внимания, аккуратно застелила его узкое ложе. Он же растерянно смотрел, как в уже начинающей белеть северной ночи почти на уровне его глаз в нескольких сантиметрах от лица жили своей

неведомой ему жизнью ее голые стройные ноги — такая близкая и такая недоступная ему плоть иного мира.

— Ну! — прервал его транс ее тихий голос. — Тебя что, еще и раздеть? Смотри, мне и это нетрудно!

И она одним движением руки расстегнула ему все пуговицы на рубашке и взялась за пояс его брюк.

— Отстань! — сказал Ли. — Я сам…

Он спокойно разделся перед ней и лег под простыню. Она укрыла разметавшегося мальчика на верхней полке, а потом подоткнула его простыню и, склонившись над ним и пожелав ему спокойной ночи, легла и затихла. «Почему она не перекрестила меня, как положено?» — подумал Ли.

Перед тем как заснуть, он посмотрел в сторону монашки. Та лежала на правом боку, и ее лицо было обращено к Ли. Слабый молочный свет падал так, что ее глубоко посаженных глаз не было видно, и под едва заметными линиями бровей на месте глазниц сияли темные провалы. Третье темное пятнышко внутри контура ее лица располагалось там, где заканчивался курносый носик и был приоткрыт рот. Когда Ли засыпал, глядя на этот смутный контур, последней его мыслью, вернее, ощущением было то, что на него смотрит Смерть. Это впечатление вместе с его засыпающим разумом перешло порог реальности, и бледная Смерть в облике туманной монашки в ее белом одеянии несколько раз являлась ему в кошмарах, мучивших его в этой короткой ночи под перестук колес.

Когда он открыл глаза, за окном был серенький северный рассвет. Где-то на юго-востоке серый цвет неба мягко переходил в голубой, розовеющий к горизонту — там угадывалось Солнце. Ли внимательно рассмотрел спящую — и куда она делась, вчерашняя чертовщина и ночные кошмары!

Он положил руку ей на грудь и ладонью ощутил теплое и зовущее женское тело. В это время монашка открыла глаза.

— Ты уже выходишь, *брат*? — спросила она и легким пружинящим кошачьим прыжком стала на ноги как была — в короткой рубашке на голом теле, босая.

— Бог с тобой! Бог с тобой! Бог с тобой! — трижды призвала она Бога и трижды поцеловала Ли в губы. Потом отодвинула его от себя и перекрестила, сказав: — Будь осторожен и береги себя! Я ведь не зря за тебя просила Бога…

Поезд же тем временем подошел к нарвскому перрону, и Ли оставалось лишь пожелать счастья своей странной попутчице.

III

Этот приезд в Нарву не принес Ли желанного удовлетворения. Все почему-то было тусклым и неинтересным. Дни стояли солнечные, но пополудни то ли от Наровы, то ли еще откуда-то город заволакивала какая-то хмарь и промозглая сырость, и Ли начинал бить такой озноб, что даже рюмочка-другая коньяка, выпитая в баре, приносила лишь весьма кратковременное облегчение, а потом на него снова нападал колотун, да такой, что отогревался он, лишь с головой уходя под одеяло в своем номере. Здесь как бы повторялось пережитое им в вагоне таллиннского поезда — мертвый холод, холод Смерти при приближении ночи, и всякий раз он сменялся живым солнечным теплом следующим утром. Странным было и то, что у Ли создавалось четкое впечатление, что эта непонятная аномалия терзает лишь его одного, а остальные даже не ощущают эту подкрадывающуюся к ночи могильную сырость.

Вскоре все это так надоело, что он, сделав свое сообщение на конференции, на третий день утром уехал автобусом в Питер, пожертвовав заключительным банкетом.

В Питере он тоже не задержался и, пройдясь по Невскому и далее по Дворцовой набережной до дядюшкиного дома и постояв минут десять против своего окна на первом этаже, любуясь Невой и крепостью, отправился на вокзал и дневным поездом уехал в Москву, где поспел на кисловодский скорый, и только в чистеньком теплом вагоне этого южного состава холод ушел из Ли. Наутро, выйдя на перрон в Харькове, он, как ему казалось, сразу же забыл все неудобства, неудачи и несуразности этой поездки. Забыл и предостережения своей «случайной» попутчицы. Почти забыл — так будет вернее, потому что ощущение того, что в его мире произошли какие-то непонятные или еще не понятые им изменения, никуда не исчезло, а только схоронилось где-то в глубине памяти, а может быть, и в глубине души.

IV

Прошло меньше месяца, и дела снова позвали Ли в Москву. Ехать ему не хотелось: во-первых, на пороге стояло отпускное лето с его билетными страданиями, а во-вторых, у него разболелась нога, уже много лет подверженная трофическим нарушениям. К врачам Ли по своей традиции не обращался, предоставляя свою жизнь, как и прежде, в полное распоряжение Хранителей его Судьбы. Язвы к моменту этой поездки, правда, еще не появились, но боли были настолько сильны, что он впервые в жизни решил взять с собой старую палку, оставшуюся

от Исаны. Взять не столько для помощи при движении, сколько для того, чтобы хоть иногда уступали место в городском транспорте, так как стоять ему частенько было и вовсе невмочь.

Эта поездка оказалась в деловом отношении более удачной: несмотря на ее внезапность, все «нужные» люди оказались на своих местах, и Ли почти все, что от него требовалось, сделал в первый же день. На завтра оставались лишь какие-то мелочи. Поэтому, когда это «завтра» наступило, Ли часам к одиннадцати утра справился со всеми своими задачами и теперь ехал в известное ему место, где рассчитывал на одной небольшой площади скупить все, что нужно было «для дома, для семьи», — самая необходимая в те годы сплошного «доставания дефицита», список которого непрерывно рос, процедура для «гостей столицы», необходимая настолько, что уже был налажен выпуск планов метрополитена с перечнем магазинов на каждой остановке. Потом, сдав покупки в камеру хранения, Ли смог бы с чистой совестью провести остаток дня в книжных магазинах.

В глубокой задумчивости он стоял на задней площадке троллейбуса. Выходить ему было, как говорится, «через одну», и он боялся большой посадки, из-за которой ему потом было бы трудно пробиться к дверям. А задумчивым он был потому, что час назад узнал о смерти Черняева. Получилось так, что тот день, когда он стремился в конце мая к Черняеву с армянским коньячком, был третьим или четвертым днем после его смерти, и теперь Ли, полушутя-полусерьезно, думал, были ли памятные ему московско-нарвские события отражением воли Хранителей его Судьбы, или это просто бузил тогда еще не покинувший Москву дух его неугомонного старшего приятеля.

Как часто бывало в жизни Ли, его сомнения разрешились тут же.

Он не сразу заметил, что в проходе возле него утвердился какой-то громила, и что насмешливый взгляд этого громилы уже некоторое время блуждает по его лицу и фигуре. Поймав ответный взгляд Ли, громила растянул в улыбке свою пасть и сказал:

— Что, жидок, выходить собрался? Там на травке я тебя и прихлопну — одним меньше станет.

Ли не сразу понял, что эта тирада была обращена к нему, а когда понял, то спокойно спросил:

— Вам что-нибудь мешает?

— Жиды мне мешают, и ты — в частности. С тебя я и начну…

И тут Ли услышал внятно произнесенное слово «Смерть». Он знал, что это — Приговор, но не знал — кому.

Но даже если это и был Их приговор, Ли этого было мало: он

еще должен был вынести свой приговор, а на все судопроизводство и исполнение приговора ему оставалось не более четырех минут.

— И вы что — можете вот так, ни с того ни с сего избить старого человека? — этим вопросом Ли немедленно начал судебное расследование.

— Во-первых, не старого человека, а старого жида, а во-вторых, не избить, а убить! — был ответ.

Весь этот диалог происходил при полном молчании «известных своей человечностью и отзывчивостью советских людей», заполнявших салон троллейбуса и «готовых всегда и бескорыстно прийти на помощь товарищу, попавшему в беду». Только когда громила протянул лапу и попытался надвинуть Ли на глаза козырек его кепочки, которой он прикрывал от солнечных лучей свою лысеющую голову, какая-то старушка, приняв движение громилы за удар, взвизгнула:

— Что деется! Среди бела дня… — и замолчала.

Следствие было закончено, Приговор подтвержден, и Ли приступил к его исполнению. Он резко бросил взгляд за правое плечо громилы, и тот автоматически стал поворачивать голову вправо и чуть вверх, чтобы посмотреть, кто там перемигивается с Ли. Второй ошибкой громилы была его уверенность в полной беспомощности Ли, поскольку одна его рука была занята тяжелым портфелем, а в другой был посох. Но Ли просто разжал ладони, и портфель и посох полетели вниз, а через секунду кулак его правой руки врезался в едва заметный кадык громилы, неосторожно подставленный под удар.

Громила прижал обе руки к горлу и, задыхаясь, стал хватать воздух зубастой пастью. А Ли в этот момент двумя руками вцепился в его длинные патлы и всем своим весом рванул его голову вниз, встретив при этом его морду коленом. От этого удара громила потерял сознание и обмяк, а Ли, продолжая его держать за волосы, резко повернул его голову влево и вверх, как его когда-то в Долине учил Ариф, вроде бы чтобы заглянуть ему в физиономию. Ли вспомнил, как во время отдыха на меже, когда стадо, устав от переходов, тоже ложилось на землю, стройный и сильный Ариф (он был старше Ли на четыре года) учил его бороться, и финалом этой борьбы был крепкий захват головы Ли. Ли пытался вырваться и не мог. Более того, он четко ощущал, что в руках Арифа находилась в тот момент его Жизнь, подошедшая к своему пределу, и его Смерть — там, за этим пределом.

Сейчас этот предел, предел чужой жизни был в руках самого Ли, и он после секундного колебания перешел его, поскольку никакого смысла в продолжении этой находившейся в его руках

жизни он не видел. В этот момент старый троллейбус начал тормозить, приближаясь к остановке, и в стуке и скрежете никто не услышал слабый хруст шейных позвонков, но он ощутил этот хруст своими руками и резко отбросил труп громилы в угол задней площадки, сказав при этом:

— Пусть отлежится! До конца маршрута отойдет…

Тут весь троллейбус облегченно и возмущенно зашумел:

— Распоясались! Действительно, среди бела дня! Скоро и в подъездах убивать начнут!

«Начнут, обязательно начнут, — подумал Ли. — Именем Хранителей моей Судьбы я вам это гарантирую!»

Услужливый человечек уже держал в руках его портфель и посох.

— Выходи, отец.

Возвращая на остановке его вещи, человечек сказал:

— Скажи, отец, честно, я же все понимаю: у тебя «черный пояс», да? Я считал: все дело заняло сорок секунд! Это у-шу?

Ли вполне устраивала эта версия, и он дал понять, что тот угадал:

— Видишь: целых сорок секунд! А положено не более двадцати пяти, — сердито и доверительно, как знаток знатоку, сказал Ли и вздохнул: — Старость не радость!

— Всем бы такую старость! — сказал человечек.

Ли представил себе, как следователи будут шерстить уже расплодившиеся к тому времени легальные, нелегальные и полулегальные кружки восточных единоборств, отыскивая старого обладателя «черного пояса», когда этот «знаток» представит им свое авторитетное свидетельство, и он еще раз возрадовался тому, что жизнь посылает ему в критические моменты таких «специалистов».

Ли шел медленно и сильно прихрамывал: таким он должен был остаться в памяти пассажиров троллейбуса, продолживших свое путешествие в сторону Измайловского парка в компании с трупом громилы, а когда троллейбус ушел за пределы видимости, Ли простился с милым человечком, явно подозревавшим в нем обрусевшего японца, поскольку своих щелочек Ли ни в троллейбусе, ни на улице так и не раскрыл. Он свернул со Старой Басманной в не менее старый сад, сказав, что так ему ближе к дому. Довольно быстро пройдя две-три аллеи и убедившись, что никто из пассажиров троллейбуса этой дорогой не пошел, он вышел на Новобасманную и сразу же сел в троллейбус, идущий к Красным воротам, где и спустился в метро.

Ли предстояло еще пробыть в Москве более восьми часов, и он не исключал того, что покойный громила по случайному

совпадению был подвыпившим штатным стукачом или переодетым опером: слишком уж он был самоуверен, как человек с хорошо обеспеченным «тылом», и если это так, то розыск убийцы может начаться уже через час-другой. Поэтому он посчитал не лишним принять кое-какие меры предосторожности. На одной из станций метро он прошел в безлюдную часть перрона и за колонной снял свою кепочку и старую «болонью», надетую по случаю дождя поверх костюма, который вследствие этого никак не мог запомниться его попутчикам на Старой Басманной. Все это он отправил в портфель. Затем он отвинтил и спрятал ручку посоха, а купив в газетном киоске пару плотных плакатов, завернув в них и сам посох. Зайдя на ближайшую почту, он с помощью железного почтового клея превратил этот сверток в тубус.

Когда в Центральном универмаге Ли взглянул на себя в зеркало, то вместо хромающего старика в давно немодной «болонье», выцветшей джинсовой кепочке и с палочкой, странствующего неподалеку от своего дома по стариковским хозяйственным делам, каким он был во время троллейбусного инцидента, он увидел пожилого инженера с портфелем и свертком чертежей, идущего деловой, несколько тяжелой, но все еще упругой походкой, с вполне определенной целью, и по пути зашедшего сюда на минутку, что-то посмотреть.

Спустя некоторое время харьковский поезд увозил Ли из Москвы. Он рассеянно смотрел на убегающие и тающие в светлых сумерках окраины великого города, избавленного им сегодня от одного подонка, и думал о том, что он, Ли, — со всей его сентиментальностью, вывезенной, как он шутил, его предками вместе с фамилией из фатерлянда и заставлявшей его с болью сердца смотреть на любую раздавленную кошку, искалеченную машиной собаку или на убогого, измочаленного жизнью человека, представляя себе обратным виденьем веселого забавного котенка, милого ласкового щенка, тихого ребенка, пришедших в этот Божий мир каждый в свой срок и со своей Надеждой на счастье и лучшую долю, и всей своей душою переживать тщетность их несбывшихся и даже невысказанных мечтаний, — он не находит сейчас и капли жалости к тому, кто сегодня оказался на его Пути. И чем больше он об этом думал, тем более укреплялся в своем убеждении, что уничтоженное им сегодня отродье своим появлением на свете никакого отношения к Божьему промыслу не имело, и что их «случайная» встреча предотвратила какую-то очень большую беду где-то там впереди, в недоступной человеческому знанию области будущих скрещений судеб и жизней. И все же Ли был несколько

обескуражен тем, что Хранителям его Судьбы в Их заботах о расчистке Пути потребовались его не такие уж надежные руки, а не энергетика.

— Надо же, превратить меня в нинзю на старости лет! — ворчал он про себя, глядя на бегущие мимо многоэтажные кварталы.

* * *

В заключение автор этих строк должен извиниться перед читателем. Дело в том, что в записках Ли Кранца, лежащих, как известно, в основе этого повествования, было указано конкретное, но не очень знакомое мне место действия. Побывать же в той части Москвы, чтобы потом точно описать его здесь, я уже не имел возможности, и поэтому я переместил все события этой главы в хорошо известный мне район Басманных улиц и, конечно, в троллейбус двадцать пятого маршрута, которым я в давнем и недавнем прошлом пользовался, наверное, не меньше тысячи раз. Это, может быть, и существенное с точки зрения протокола и принципов следствия изменение, никак не отразившись на сущности описанных событий, не только придало мне уверенности в их изложении, но и позволило самому испить меду воспоминаний: когда я писал эту главу, я видел и ощущал себя в этом троллейбусе в разные годы. Вот я, тридцатилетний, вскочил в него почти на ходу на Армянском и еду к Земляному валу, чтобы оттуда бегом добраться до Курского и успеть на поезд. Вот мне сорок и, прибыв в Москву прохладным и солнечным утром, я, посетив парикмахерскую, не спеша иду к Старой Басманной, где, выбрав троллейбус посвободнее, еду в свою фирму в Лефортово. Вот мне пятьдесят, и я, прижатый к стеклу на задней площадке, знаю и чувствую, что сейчас водитель своим московским говорком скажет:

— Следующая — Разгуляй!

И над всеми этими моими и чужими временами, и над прошлым, когда меня еще не было, и над будущим, когда меня уже не будет, парит в голубом чуть-чуть белооблачном солнечном небе в своей несказанной красоте Богоявленский собор в Елохове, повторив своим куполом все эти радостные цвета — синеву неба, белизну облаков и золото Солнца. А все здесь описанное могло, в конце концов, произойти в любом месте.

V

Спокойствие и безразличие, испытываемые Ли в отношении этого московского происшествия, оказались, к сожалению, лишь самой первой его реакцией на случившееся. Нельзя сказать, что его мучили угрызения совести. Нет, своего мнения о принадлежности убитого им подонка к силам Зла он не изменил. Но эмоциональное потрясение от того, что в этом случае ему, во второй раз в жизни после встречи с убийцей на жаркой дороге в Долине, вместо обычной коррекции судеб пришлось исполнить Их Приговор своими руками, дало себя знать позднее. Через неделю после возвращения из Москвы от стал просыпаться по ночам со сжатыми кулаками и в поту от того, что во сне, переживая в сотый раз те четыре десятка секунд, «допускал» все возможные ошибки и промашки. И Ли был очень рад, когда они втроем — он, Нина и сын смогли все вместе выбраться в отпуск.

Эта вдруг появившаяся возможность не оставляла времени на выбор места, подготовку жилья и прочие предварительные договоренности, и Ли, чудом поймав среди лета нужного человека в Алуште, с которым он был в те годы связан по делам, договорился о первых днях, решив, что дальше будет, как Бог даст.

И эти первые десять дней оказались хороши: разместили их в пустой просторной квартире для «уважаемых людей» в тихом месте, но в самом центре городка и без непременных «курортных хозяек». День у них ушел на знакомство с Алуштой, которую они уже не один десяток раз проезжали, но не отходили от автобусной или троллейбусной станции на коротких остановках, и только Нина когда-то, еще до войны, отдыхала здесь с родителями, но место, где они тогда жили, отыскать не удалось.

После же осмотра алуштинских достопримечательностей они заполнили свое время поездками, добираясь в своих путешествиях до Симеиза, и эти перемещения так их утомляли и переполняли впечатлениями, что для Ли московские события отошли, казалось, в далекое прошлое, и сон его стал спокойным и крепким.

В этих странствиях, преимущественно морских — на маленьких прогулочных теплоходиках — время текло незаметно, и незаметно стала подходить к концу эта первая «благоустроенная» декада их отпуска. Напомнило об этом неприятном обстоятельстве полученное Ли предупреждение, что днями ожидается приезд из Москвы «уважаемых людей» из числа тех, для кого и содержалась уже много лет за казенный счет эта «явочная» квартира. Ли предстояло решать, как быть дальше.

Одним из возможных и даже традиционных вариантов завершения отпуска был бы переезд в их привычные места — в

Алупку или Симеиз. Но курортный сезон был в самом разгаре, и надеяться на сносное устройство да еще на «неполный» срок было трудно. И тогда Ли предложил двинуться не на запад, а на восток от Алушты, где менее чем в десяти километрах от границы города по судакской дороге спускалась к морю узкая долина. Там, где эта долина расширялась у морского берега, был разбит красивый сад, и в нем располагалось несколько старых корпусов летнего «пионерского» лагеря довоенной формации с неизбежной копией «девушки с веслом».

Лет за пять до описываемых событий хозяева лагеря — несколько электростанций — решили построить здесь пару новых теплых зданий, чтобы можно было отдыхать круглый год. Сложность этого строительства была связана с реальной сейсмической опасностью и не очень надежными наносными грунтами, лежавшими в основании сооружений. Был тут и оползень, правда, чуть в стороне от площадки строительства, но нижняя граница его еще не проявилась, и все могло быть…

Одним из главных инициаторов этой стройки был человек, знавший Ли уже около двадцати лет, и по его личной просьбе, переданной через руководство конторы, где работал Ли, ему был поручен инженерный надзор за этим объектом. Выполняя это поручение, Ли уже раза три в различное время года бывал здесь, подписывал некоторые акты, связанные с сейсмической надежностью зданий, выдавал «решения» по исправлению ошибок строителей.

Как-то его очередной приезд пришелся на начало мая, на разгар крымской весны, и он поразился красоте этого спрятавшегося в расщелине скал земного уголка, где цвело все, даже, казалось, цвела сама земля. И тогда он впервые подумал, что хорошо бы сюда нагрянуть втроем — с Ниной и сыном. Потом он приехал в это урочище в конце июня. Мелкое море здесь тогда уже хорошо прогрелось за три штилевых дня, и он выкроил часок, чтобы искупаться и побродить по берегу.

И вот теперь он вспомнил об этой своей запасной возможности, но, как ни странно, Нину ему удалось уговорить далеко не сразу: ей не нравилось, что оттуда они не смогут отправляться в свои странствия и будут заперты на десять дней на этом не известном ей крошечном пятачке. Ли, в ответ, доказывал, что они уже достаточно поездили в первую часть отпуска и теперь могут впервые за последние несколько лет провести хоть неделю отдыха на одном месте. В конце концов ему удалось ее убедить, но теперь ему предстояло еще «уговорить графа Потоцкого». Дело в том, что местный распорядитель принимал «уважаемых гостей» по своему списку, рапортуя

далекому начальству, что таким путем он решает важные для своего хозяйства дела, а на самом деле большею частью просто набивал себе карман.

Когда Ли утром, сев в рабочий автобус, возивший в это урочище строителей из Алушты, заявился к тому на прием, ответ был ожидаемый: все занято, есть только один номер, которым распоряжается «сам».

— Его-то я и займу, — сказал Ли и, не спрашивая разрешения, взял телефонную трубку и набрал Запорожье. На его счастье «сам» оказался на месте, его секретарша хорошо знала Ли и его с шефом «неуставные» взаимоотношения и сразу же их соединила. Шеф, не дослушав последних слов Ли, сказал:

— Дай ему трубку!

Телефон был «поставлен» хорошо, и Ли услышал сказанные шефом четыре слова:

— Не морочь человеку яйца! — и сразу же последовал отбой.

Распорядитель нехотя вытащил ключ, подошел к окну и показал Ли, где вход в его номер, в котором были все удобства.

— Заодно примешь котлован под котельную — вон там, на пригорке! — и он махнул рукой в другую сторону.

— Я и без тебя знаю, где котлован, — сказал Ли и пообещал: — Ладно, приму, если будет готов за это время.

После этого Ли на такси привез своих из Алушты, и они стали обживать новое место.

VI

Маленький, но достаточно старый парк, находившийся, как определил Ли, в состоянии так любимого им «ухоженного запустения», привел Нину и сына в восторг, а то, что парк выходил к пустынному пляжу, делало его еще более приятным. У них сразу же появились в этом малом уголке любимые места, и самым любимым была, конечно, крошечная набережная. После ужина, когда детей загоняли в спальни и парк пустел, они приходили сюда, и наедине с розовеющим на закате морем провожали Солнце, уходившее за Кастель. Потом море темнело, сливалось с небом, и зажигались очень близкие в ночи огни Алушты, отражавшиеся в морской воде как огоньки сказочного города. Наступала тишина, такая, что был слышен плеск дельфинов, резвящихся где-то у границы прибрежного мелководья. Всю эту видимую и осязаемую красоту они уносили в своих сердцах, возвращаясь тихими аллеями, наполненными ночными ароматами отдыхающих после летнего зноя цветов, в

свою временную обитель.

Ли радовался их восторгу, но его собственные ощущения в этот приезд были не такими безмятежными, как в предыдущие краткие посещения урочища. Что-то в этом месте изменилось, появились какие-то слабые лучики неблагополучия, суть которого он не мог понять.

Вот они, втроем, и никого из посторонних, сидят после купанья на спрятанных в тень скамейках на узкой полоске берега, где море почти вплотную подходит к обрыву, а справа от них под горой Кастель уютно устроилась «белокаменная» Алушта, древний Алустон. Кажется, она совсем рядом, и по кромке синего моря до нее можно дойти за двадцать минут, но это — обман зрения.

Вдруг в чистом небе что-то незаметно меняется: откуда-то появляется полупрозрачное рваное облачко, но весь маленький залив против их парка почему-то сразу сереет, и темно-серые валуны, брошенные когда-то неведомыми силами в море и застывшие в разных местах неподалеку от берега, словно на Балтийском взморье в Восточной Пруссии, еще недавно контрастно оживлявшие синеву моря, на приобретенном теперь морем сером фоне становятся мрачными и зловещими.

Тут Ли понял, что его поразило, когда он плавал в заливе с маской. Все его внимание тогда привлекли огромные, он бы сказал, океанские медузы, медленно передвигавшиеся над ним поближе к поверхности воды, и только теперь он смог для себя сформулировать, в чем была странность открывшего ему подводного мира: кроме медуз там не было ничего живого — ни стаек мелких рыбешек, ни крабиков, ни морских игл и коньков. Обычное морское население, вероятно, обходило стороной этот пятачок прибрежной акватории.

Пока Ли обдумывал все это, раздался шум детских голосов, и несколько пионерских групп, контролируемых десятком «пионервожатых» и воспитателей, ринулись на берег. Вожатые быстро развернули в море гирлянду поплавков, чтобы огородить «лягушатник», куда загоняли малышей и не умеющих плавать. Остальным небольшими командами по три-пять человек было дозволено доплывать до буйков.

Ли со своими прошел в глубь парка — там было тише и прохладнее. На ходу он поднял голову и увидел, что в самом конце поднимающейся вверх долины видна красивая скала. Он не сразу догадался, что над ним в совершенно неожиданном ракурсе предстала таинственная гора Демерджи. Ее вершина отсюда не казалась садом камней, один из которых при взгляде со склонов Ангарского перевала похож на голову Екатерины Великой. С этой

же точки побережья был виден только один скалистый пик, и от него вниз пролегла «дорога гигантов» — древний камнепад, а валуны, разбросанные в этом заливе, можно было считать каменной «мелочью», катившейся впереди этого обвала, когда Бог творил или в очередной раз переустраивал эту землю.

Впрочем, приятель Ли, геолог, делавший изыскания для строительства новых зданий в урочище, уверял, что гору Демерджи и эту поднимавшуюся к ней долину творил не Бог, а Сатана. Свое утверждение он пояснял тем, что Демерджи — это крымская гора-наоборот: все, что у какого-нибудь Чатырдага или Ай-Петри находится в основании, у Демерджи образовало вершину, и отсюда — множество еще не изученных аномалий в ее окрестностях, где, как считал изыскатель, расположился отдыхать сам Противоречащий. Братец-геолог неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что нормы позволяли ограничиться относительно небольшой глубиной бурения, и был уверен, что если б он «прошел» еще метров пятьдесят вглубь, то получил бы убедительные доказательства того, что даже при не очень сильном землетрясении вся эта крошечная долина «съедет» в море. Ли был склонен разделить его опасения, поскольку ему казалось, что несвойственная Южному берегу мелкота здешнего залива, его безжизненность могли быть признаком того, что когда-то такой «съезд» в море огромного массива грунта с образованием этой долины уже происходил, и он был доволен, что по его настоянию котельную разместили в складке восточного склона долины, где почва казалась более древней, не подверженной смещениям и наносам.

Однако сам этот восточный склон над тем местом, где не спеша рыли котлован под здание котельной, поразил Ли в этот приезд тем, что в его доминирующих цветах: сером — из-за проступающей повсеместно между островками полусухой травы серенькой мельчайшей гальки и щебенки, в которую время, дожди, бури и землетрясения превратили за тысячелетия верхние слои не очень прочного камня, — и зеленом — цвете реденьких крон корявых, изогнутых ветрами, невысоких прибрежных сосен — ощущался розоватый оттенок.

Самое же удивительное было в том, что ни Нина, ни их сын этого розового оттенка не видели, и однажды, по пути с пляжа, он заставил их подняться по крутому береговому обрыву на верхнее плато и спуститься в долину по «розовому» склону. Все они, и том числе Ли, были поражены ясным ощущением древности земли, по которой они ступали, но розовый свет вблизи исчезал, и кто-то из них высказал мысль, что впечатление существования розового оттенка создавали довольно яркие красноватые стволы сосен, но

Ли видел слабую розоватую составляющую световой гаммы даже при лунном свете, когда стволы деревьев из красноватых становились черными, и он промолчал. И еще Ли почувствовал какую-то тревогу, усиливавшуюся на склоне-спуске в долину. Слева от них как-то зловеще темнел котлован с брошенным в нем, застывшим в неподвижности экскаватором. Ли показалось, что ранний сумрак в котловане клубился и выползал через край, «заливая» темнеющую долину. Ли повел своих самой дальней от этой искусственной ямы тропой, решив, что завтра утром он в нее обязательно заглянет.

VII

Ночью Ли спал беспокойно. Вначале его охватило почти забытое чувство гневного исступления. Он тщетно пытался, не просыпаясь, установить причину этой вспышки, но перед его внутренним бодрствующим оком возникали лишь смутные, хоть и, казалось, знакомые ему образы, потом чья-то легкая, ласковая рука легла ему на грудь. Это прикосновение почему-то ему было знакомо, но вспомнить во сне и потом связанное с ним имя и лицо он почему-то не мог. Ненависть покинула его сердце. Ему даже показалось, что он видел улетающий вдаль светящийся сгусток гнева. Осталось сердцебиение и какое-то ощущение тревоги, не покидавшее его до тех пор, пока сон не ушел из его глаз.

Утром, когда вся долина уже была залита ярким солнечным светом, беспокойство ушло или спряталось, и Ли, встав пораньше, отправился прямо в котлован. К его приходу экскаваторщик уже запустил свою машину и двинулся на ней в сторону расширения котлована. Ли неспешно прошел по всей вскрытой части, внимательно осматривая дно и откосы. Тем временем подошли еще трое рабочих с лопатами для «зачистки» дна после прохода экскаватора, а экскаватор стал поднимать грунт.

Когда первый слой щебенки был убран, ковш вдруг заскрежетал по камню.

— Поддень его зубом! — закричал один из рабочих.

Экскаваторщик подвел зубья ковша под угол камня, и Ли, подошедшему сюда на шум, показалось, что камень, хоть и грубо, но обработан, и он придвинулся поближе. В это время по крику одного из рабочих «Вира!» ковш пошел вверх и чуть в сторону. Камень упал набок, и под ним открылась внутренняя полость выложенного еще пятью камнями саркофага, в котором лежал скелет. Работяги, включая экскаваторщика, мгновенно метнулись

к краю саркофага, поскольку легенды о сказочной добыче грабителей древних могил были в Крыму у всех на слуху.

— Назад! — закричал Ли, — быстро позовите начальника стройки!

Когда тот пришел, Ли популярно рассказал о правилах эксгумации, о сибирской язве, проказе и других страшных болезнях, дремлющих в старых могилах, и объяснил, что сейчас саркофаг нужно закрыть, берясь при этом за камни только в рукавицах, и пригласить археологов.

И начальник стройки, и «хозяин» были очень раздосадованы вмешательством Ли. «Хозяин» сказал:

— Давай я велю свезти эти камни и кости в овражек, засыпем их там, и дело с концом!

— Под суд хочешь? — спросил Ли.

Тот замолчал, помня о том, что от одного суда в Поднепровье его сильные друзья спрятали сюда и понимая, что Ли об этом знает.

Нашли веревки, застропили камень и, используя экскаватор как подъемный кран, накрыли саркофаг. Пока все возились с закреплением каменной крышки и искали стропы покрепче, Ли стоял на краю саркофага и смотрел на скелет. Он увидел, как в отраженных стеклом экскаватора солнечных лучах блеснула золотая сеть, покрывающая череп, и не сразу понял, что это — золотые нити, украшавшие истлевшую ткань, некогда закрывавшую лицо. Потом составили акт о вскрытии захоронения, и Ли сказал, что сегодня пойдет за билетами в Алушту и по пути занесет его в контору главного архитектора города. «Хозяин» предложил ему машину, но Ли сказал, что хочет пройтись, и договорились, что машина придет за ним в город часам к трем.

Проводив своих на пляж, Ли пошел по берегу в сторону Алушты, находившейся вроде бы близко, но почему-то приближавшейся крайне медленно. Он вызвал из глубин своей памяти точную картину, открывшуюся ему внутри саркофага, когда была снята крышка. Его поразила пропорциональная миниатюрность скелета, изящество черепа (он не нашел другого слова!), и только вспомнив изящный череп ребенка в квартире Сергея Эйзенштейна, куда однажды по совершенно невероятному поводу попал буквально на несколько минут в своей прошлой жизни, Ли понял, что перед ним был скелет подростка. Чью плоть — мальчика или девочки — скрепляли когда-то эти кости, Ли решить не мог. Правда, у него было смутное ощущение, что скелет девический — длинные ноги при уже достаточно широких бедрах, золотая сеть и вся эта удивительная пропорциональность

в определенной мере свидетельствовали об этом.

В таких размышлениях провел Ли немало времени, но путь все еще был неблизким, и он ускорил шаг: ему хотелось поспеть во все необходимые «инстанции» еще до обеда. Это ему удалось ценной мокрой от пота рубашки. Из городской архитектуры сразу же позвонили в археологическую комиссию в Симферополь, и те обещали подъехать на следующий день утром. Взяв билеты на харьковский поезд, Ли вернулся в урочище.

Эта ночь оказалась даже более беспокойной для Ли, чем предыдущая; его посетило Видение. В нем он узнал ту, из потревоженного саркофага, только Она была во плоти: на него смотрели зеленые глаза на живом удивительно красивом лице. Видение было настолько четким, что в сознании Ли не было сна. Он хотел было подняться с постели и только тогда почувствовал, что его веки сомкнуты, размыкать же их желания у него не было: он понимал, что тогда Видение исчезнет…

Археолога привезли часов в десять утра. Для него еще раз сняли крышку саркофага, и Ли убедился, что скелет находится на своем месте, и опять в отраженном солнечном свете засияла золотая сеть там, где было Ее лицо. И еще Ли заметил темные звенья порванной цепи там, где была Ее шея.

«До поры, как порвется золотая повязка, и рассыплется серебряная цепочка, и расколется золотая чаша, и разобьется кувшин у источника, и сломается ворот у колодца…» — вынесла вещие слова из своих глубин неусыпная память Ли. И вдруг он вознесся душой в утреннем свете над этим узким зеленым урочищем и увидел со своей прозрачной высоты нескольких человек на дне котлована и себя самого среди них у самого края саркофага, увидел свои следы на мягком грунте и услышал тихий Голос, читающий четверостишие Хайяма:

Светили людям звезды — и до нас,
Сменяло лето вёсны — и до нас,
В комочке глины собственной ногою
Ты раздавил сиявший юный глаз.

И Голос, затихая, перешел в едва различимый шепот, и последнее, что услышал Ли, были знакомые и странные слова, прозвучавшие как-то по-иному:

— …пока не порвалась серебряная цепь и не разорвалась золотая повязка.

Археолог был приятно удивлен и сказал, что это первое в прибрежной полосе захоронение третьего—пятого веков до нашей эры.

— Мы, получив сообщение, сначала думали, что это татарский период, поскольку в шестнадцатом веке здесь была секретная летняя резиденция хана, но оказалось совсем другое… Возможно, здесь целое кладбище, но у нас сейчас нет денег на раскопки. Придется пока заложить разрытую часть камнями, а на археологической карте Крыма благодаря вам появится новый важный объект!

Ли тут же внес в чертежи изменения, передвинув котельную в сторону от захоронения, и пообещал, что в Харькове соответственно переделают коммуникации. Все остались довольны, так как в новых границах котлована работы оставалось не более чем на два дня.

Следующие две ночи Ли ожидал свое Видение со страхом и надеждой, но вместо него дважды возвращались к нему все те же смутные образы. Их черты он рассмотреть не мог, но почему-то в его сознании они ассоциировались с мерзкими харями Андропыча и Черненки и порождали в нем гневное исступление, правда, в менее интенсивной форме. Тем не менее, Ли каждый раз просыпался в тревоге. Видение же появилось лишь накануне их отъезда. В эту последнюю в его жизни ночь рядом с древней усыпальницей Ее лицо было еще живее, чем прежде. «Сейчас будет улыбка Джоконды», — подумал в своей дреме Ли. И действительно, уголки Ее рта изогнулись, но на Ее лице вдруг появилась улыбка Рахмы, и Ли услышал четкий ясный голос, повторивший слова монашки, но почему-то на фарси, столь редком в его общении с его царицей:

— Брат, будь осторожен! Берегись!

И полузабытый волшебный аромат юности заполнил его ночной полуреальный мир.

Ветер благоуханный…

А у Ли создалось впечатление, что в эти тревожные ночи для кого-то начался отсчет последних дней. Только для кого? Для тех, кто приходил к нему в неясных видениях, или для него самого? Ответ на этот вопрос могло дать только время.

VIII

Все хлопоты по переезду в Алушту и далее в Симферополь, как всегда, лежали на Ли, и в этих хлопотах отъезда, приезда и последовавшей за ним краткой поездки в Москву он забыл обо всех предостережениях этого лета, но недели через две жизнь заставила его быть внимательнее к своим воспоминаниям: наглая августовская оса ужалила его сына, и то ли яд ее на какой-нибудь

свалке напитался неведомым аллергеном, то ли укол пришелся в одну из точек сосредоточения жизненных сил организма, но за несколько минут сын покрылся волдырями, потерял зрение и стал задыхаться, и только случайно не опоздавшая на сей раз «скорая помощь» несколькими уколами остановила этот бег Смерти. Через час-другой только смертельная бледность и слабость сына напоминали об этом пережитом кошмаре.

Но для самого Ли это происшествие оказалось последней каплей, и к нему вернулись уже знакомые по прежним временам аритмия и сердцебиение, и вернулись с такой силой, что он слег в постель. И когда он подолгу лежал, не двигаясь, чтобы не спугнуть призрак сердечного успокоения, перед его глазами прошли все странные встречи и события этого лета, такого длинного, что его путешествие в Нарву в конце мая казалось отделенным от летящего мгновения долгими и бурными годами.

А однажды, когда он в который раз переживал все происшедшее в последние месяцы, его душа вновь поднялась над ним, и он опять увидел откуда-то сверху себя, лежащего с Библией в руках в странной неподвижности, и только тогда в его представлении все вехи этого уходящего лета превратились в стройную цепь строгих Предупреждений. В этот момент в его мир откуда-то извне ворвался сильный женский голос: «…я еще не хочу умирать…у меня еще есть адреса, по которым найду голоса…».

И Ли подумал о своих адресах и о том, скольким он еще нужен там, на Земле, а не здесь, откуда он отстраненно смотрит на лежащий под ним мир. Он вспомнил, как много лишнего позволял себе, сколько «бутылок» и «стаканов», сколько чужих постелей. Что они дали, эти попытки испробовать все и испить чашу радостей земных до конца. Что осталось от всего этого в душе? И он тут же дал зарок — оборвать все и сразу, но не ради святости, и не в аскетизме видел он теперь свой удел — он просто хотел еще раз начать все сначала и снова быть внимательным к чаяньям Хранителей его Судьбы, сверяя с ними каждый свой дальнейший шаг, каждое серьезное действие и каждую шалость, как в годы юности.

Когда, день спустя, он встал с постели и потянулся, почувствовав жизнь в каждой клеточке своего тела, он понял, что и на сей раз его условие было принято, и перед ним снова открылись тесные врата и узкий путь, ведущие в жизнь. Заканчивался сорок восьмой год его жизни на Земле.

Книга девятая
Стоящие в ряд

Наука умеет много гитик.

Старинное бессмысленное словосочетание для фокусов с парными картами

Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей…

Из популярной песенки 60-х годов

Ученью не один мы посвятили год,
Потом других учить пришел и нам черед,
Какие ж выводы из этой всей науки?
Из праха мы пришли, нас ветер унесет.

Омар Хайям

I

Я не сразу понял, что этот раздел записок Ли Кранца представляет собой совершенно не обработанную в литературном смысле хронику его «научных развлечений», — так он сам именовал эту сторону своей деятельности. Временные рамки этой хроники, как оказалось, охватывали примерно двенадцать лет его жизни, и когда я сопоставил это относительно непродолжительное время с результатами его ученых занятий, я был поражен. Получилось, что за эти годы Ли Кранц сделал не менее сотни изобретений, написал полтора десятка книг и брошюр, опубликовал сотни научных статей и подготовил несколько диссертаций на соискание различных ученых степеней.

Я, грешным делом, подумал, что эта часть записок есть

заготовка к какому-нибудь саркастическому опусу о славной советской науке, поскольку помнил его юношескую обиду на некую московскую аспирантуру, которая им пренебрегла, и его резкие слова о качестве научной продукции и о медленной расправе с эффективностью исследовательского поиска в стране с помощью системы отрицательного отбора «качественных научных кадров». Чтобы проверить свои предположения, я отправился в главную научную библиотеку нашего города и просмотрел генеральный каталог, где я уже когда-то находил карточки на несколько книг, написанных с участием Ли. Сейчас я за этот поиск принялся более внимательно и обнаружил одиннадцать книг, где в компании с *различными* авторами фигурировал Ли.

Что касается статей, то тематический каталог в нашей библиотеке полнотой не отличается, и мне удалось найти всего лишь около двух десятков публикаций, среди авторов которых также была фамилия Ли. Кроме того, я решил проверить на выбор несколько изобретений по номерам, обнаруженным мной в тексте записок Ли. Все было в порядке: Ли значился и среди авторов этих изобретений. Но более всего меня поразило то, что одно из этих изобретений относилось к области электротехники, а другое называлось «Атомная электростанция». Я внимательно прочитал тексты описаний к этим изобретениям и убедился, что речь шла не об однофамильце, а о моем герое — Ли Львовиче Кранце. Правда, учреждения, направившие в Патентный институт заявки на эти изобретения, были различными. Я почувствовал себя не в силах самостоятельно разобраться в возникших вопросах и стал обдумывать возможность опустить весь этот непонятный материал, заменив его в своем повествовании одной фразой типа: «Кроме того в этот период Ли весьма интенсивно занимался различными научными проблемами». Останавливало меня лишь то соображение, что я, таким образом, исключу из жизнеописания Ли одну из сторон его земной деятельности, достойной по своим результатам книги рекордов Гиннесса. К тому же я интуитивно чувствовал, что и в этой далекой, как мне тогда казалось, от противостояния Добра и Зла области есть что-то такое, что и не снилось нашим мудрецам. И я решился еще раз попросить аудиенцию у Ли. Узнав о сущности моих затруднений, он немедленно согласился, но поскольку он в тот момент был нездоров, встреча была назначена в его квартире, куда я и явился в положенное время.

II

Ли принял меня в довольно большой комнате, заполненной книгами. Меня сразу же поразили два обстоятельства: среди множества книг в этой комнате не было технической литературы, а среди мебели — отсутствовал письменный стол. «Совсем как у Беккета!» — подумал я.

— Вы пришли вовремя, — сказал Ли, — еще две-три недели, и я, вероятно, не смог бы показать вам ни одного авторского свидетельства на изобретение. Дело в том, что они, как и описания к ним, по формату оказались соответствующими размерам пластмассовых корыт, которыми в качестве туалета пользуются наши кошки, а они привыкли к тому, что бумага им заменяет песок. Так что я передал всю эту, так сказать, документацию, на хозяйственные нужды.

Сначала я подумал, что это одна из шуток Ли, но он вышел и через минуту вернулся с пачкой красивых бумаг с надписями «Союз Советских Социалистических Республик». На некоторых из них были имитации красных лент и накладных печатей. Везде стояла факсимильная подпись Председателя Государственного Комитета Совета Министров по делам изобретений и открытий.

— Еще два таких документа лежат на дне кошачьих ящиков, — совершенно серьезно сообщил Ли. — Они еще не обделаны, так что можете взглянуть.

Я не поленился лично убедиться в словах Ли и спросил, как пройти в туалет. Ли ответил:

— По этому коридорчику, а там увидите соответствующую табличку.

Я пошел в указанном направлении и увидел парадную табличку, на которой золотом по черному красовалась надпись «Партбюро». Все было, как сказал Ли: в «кошачьих» ящиках я увидел документы, подписанные все тем же министром-председателем.

— Вы, судя по табличке, совместили два сходных по духу заведения? — сказал я, вернувшись в комнату.

— Да, в нашей фирме шел ремонт, таблички меняли на более пышные, а мне не хотелось, чтобы добро пропадало, — скромно ответил Ли.

Затем он положил пачку передо мной и сказал:

— Наш разговор, я думаю, не должен быть беспредметным, поэтому я попытаюсь найти прочие наглядные пособия, а вы пока пролистайте это.

Я прежде всего сосчитал общее количество «авторских свидетельств». В пачке их оказалось около восьмидесяти. Остальные, вероятно, уже обработали кошки. Я обратил внимание на то, что ни единого свидетельства не было выдано одному Ли

— везде он представал в различных «авторских коллективах». Иногда фамилии «соавторов» повторялись. В той пачке документов, которая лежала передо мной, я насчитал более двухсот (!) различных соавторов. Второй особенностью просмотренного мной набора изобретений было разнообразие их тематики. Большинство из них было посвящено различным проблемам строительства, но были и признанные изобретениями разработки в области электротехники, гидротехники, гидравлики, гелиотехники, теплотехники, машиностроения, транспорта, инженерной геологии, сейсмологии и в иных отраслях науки, в которых, чтобы сказать новое слово, нужно было, как мне казалось, быть грамотным специалистом, а вернее — иметь соответствующее образование.

В то же время у меня не было оснований предполагать, что простой советский нечиновный инженер-строитель, не занимавший никаких «ключевых позиций», был приглашаем в различные «авторские коллективы» как «уважаемый человек», что широко практиковалось в Империи Зла. Таким образом, получилось, что, наоборот, именно он, Ли, был осью и движущей силой этого многообразного «научного творчества», требовавшего восемь или десять специальных «высших образований».

Мои размышления прервал Ли, поставивший на стол стопку уже знакомых мне книг и два пухлых большеформатных альбома, оказавшихся конволютами его статей.

— Эти переплеты я сделал для рекламных целей, — сказал Ли, но суть его пояснения стала мне понятной позднее.

Я наскоро пролистал конволюты и установил, что в них находится не менее ста пятидесяти статей преимущественно по вопросам, связанным со строительством и с зарубежным опытом в этой области, и что каждая статья имеет свой «авторский» коллектив, и общее число «соавторов» измеряется многими десятками.

Ли, улыбаясь, следил за моими поспешными изысканиями и, уловив подходящий момент, сказал:

— Ну что ж, приступим к вопросам и ответам?

Вопросов и ответов было так много, что я едва успевал их фиксировать в своей записной книжке разного рода крючками. В конце беседы, когда я листал свои записи, с ужасом думая, что я не разберу и половины своих каракулей, Ли снова улыбнулся и щелкнул пальцем по одной непонятной вещице на заваленном книгами обеденном столе, оказавшейся маленьким микрофоном. Потом он где-то почти на полу включил перемотку и дал мне прослушать фрагмент нашей беседы, а затем вручил две кассеты.

— Моя основная специальность — предвиденье, хоть я не

всегда с этим успешно справляюсь, — сказал он и добавил: — А теперь пьем кофе!

И мы выпили, почти молча, устав от предыдущих разговоров, по чашечке очень крепкого и очень вкусного кофе и расстались, а я получил возможность поместить здесь дословный рассказ Ли о его малоизвестных подвигах на фронтах советской науки.

III

Ли сказал:

— Раз вы уже дошли до моих кратких заметок по научным делам, то вы хорошо знаете ту ситуацию, которая возникла в моей до того времени достаточно безмятежной жизни, когда заболела Исана, и когда я понял, что это ее последняя болезнь. Я уже писал ранее, что мне на помощь пришел мой дорогой Миша — старый друг институтского периода, тогда тесно связанный со Средней Азией, предложивший мне не очень заметную, но дающую хороший доход совместную коммерцию. Суть дела вы, конечно, помните, поэтому я перехожу к моменту, когда Исана ушла из жизни. Почему-то почти сразу после этого печального события эта коммерция исчерпала свои возможности, но я благодарил Бога и за то облегчение, которое она мне принесла в последние два очень трудных года. Без этого подспорья я тогда физически просто бы не выжил, а потом я уже был готов довольствоваться малым.

Однако мой друг не хотел отказываться от дополнительного заработка. Тем более что он за это время переехал на Украину, что для него было связано с утратой некоторых материальных возможностей. Когда неизбежная трудная эпопея с получением жилья была им не без моей помощи закончена, он как-то пригласил меня для разговора. Я подогнал одну из своих командировок к нужному маршруту, и мы встретились. На этой встрече он предложил новый план повышения нашего материального благополучия. По его словам, в «советском обществе» конца семидесятых годов есть большие группы богатых и влиятельных людей, желающих стать «учеными» и готовых щедро одарить тех, кто им в этом поможет.

Я, конечно, не забыл, как в последние студенческие годы делал расчеты к курсовым проектам богатых дурней. Немало поработал я в паре и с заместителем министра Ф. Был у меня и другой опыт соавторства, но во всех последних случаях это соавторство было бескорыстным: каждый из соавторов вносил в «предприятие» свой интеллектуальный вклад, ну а заместителю

министра я, пожалуй, был обязан больше, чем он мне, так как он помог мне усвоить логику технического развития одной из крупнейших отраслей промышленности. Таким образом, прямой «работой за деньги» оставалась моя корыстная помощь лентяям в студенческие годы, но одно дело написать две странички к первому и последнему в жизни этой категории «советских инженеров» проекту, а другое — создавать имидж «советского ученого» тем, кто к научным исследованиям никакого отношения не имеет. И я, последовав за первым, и, как говорил Талейран, самым искренним душевным движением, отказался от участия в этой затее.

В ответ мой друг Михаил, доцент и кандидат, бывший в то время секретарем специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций, кратко и ярко набросал мне удручающую картину того, что тогда творилось в «советской науке». Не могу сказать, что его рассказ раскрыл мне глаза: многое я уже знал от Черняева, информация которого по части того, «кто есть ху», касалась самых высоких ступеней московской академической номенклатуры, что позволяло мне представить себе состояние дел в научных низах и в научной провинции. Следя по привычке за «развитием советской исторической науки», я собственными глазами увидел, как Советский Союз оказался впереди всей планеты по числу «научно остепененных историков»: первым секретарям нескольких тысяч райкомов партии их прислуга составляла диссертации на тему: «Становление Советской власти в таком-то районе (или волости)», вторым — на тему: «Роль большевистской партии в жизни такого-то района в годы Гражданской войны», третьим — на тему: «Колхозное строительство в таком-то районе в конце двадцатых годов» и так далее. В результате — весь набор районных секретарей империи Зла становился «кандидатами исторических наук». Секретарям области эти же «задачи» ученые холуи решали в масштабе такой-то области (или губернии) и такие «обобщающие» труды увенчивались званиями «докторов» исторических, философских или экономических наук. Так создавались «замечательные научные школы» и «новые направления в науке». Ну, а партийные руководители республик, пройдя по пути к занимаемым им местам все описанные выше ступени, становились академиками республиканских и союзных академий и, таким образом, выходили на «мировой научный уровень», осуществляли «научные контакты» с «зарубежными коллегами», почему-то принимавшими их всерьез, особенно после щедрых дружеских застолий.

Теперь мой друг убеждал меня, что такая же картина

наблюдается и во всех прочих областях «советской науки», включая фундаментальные направления. Полагая, что меня в значительной мере беспокоит моральная сторона дела, он доказывал мне, что нравственный уровень богатого человека, желающего *купить* за свои, хоть и неизвестного происхождения, но все-таки личные деньги научную продукцию вместе с полным или неполным авторством, значительно выше, чем «моральный облик строителя коммунизма», который, после назначения его директором или начальником отдела в *государственном* научно-исследовательском институте, из «своих» младших научных сотрудников за их нищенскую казенную зарплату и за казенное же обещание их «продвинуть» выжимает для себя кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, вписывает свою фамилию первой в их научные статьи и монографии, и на основании этих «своих» научных достижений становится членом-корреспондентом или академиком и «известным ученым» с «мировым именем», и имя таким «замечательным деятелям» — легион.

Он, естественно, зря старался: я и сам примерно так представлял себе положение дел в «советской науке», и не моральные устои меня сдерживали. Все было значительно проще — мне было лень начинать какое-то новое, не знакомое мне дело — мне уже шел пятый десяток! Кроме того, я надеялся, что мы с Ниной и с сыном с нашими довольно скромными запросами проживем на то, что нам приносят наши обычные труды и мои небольшие побочные заработки. На этом мы тогда и расстались, но всю дорогу домой я временами возвращался в мыслях к нашему разговору.

IV

Ли продолжал:

— Прошло несколько месяцев, в течение которых мы побывали в отпуске, съездив на Кавказ. Эта поездка наглядно показала мне, как малы мои средства. Жизнь дорожала, и то, что вчера еще было нормой, сегодня попахивало нищетой. Поэтому, когда мой друг вызвал меня к себе на субботу и воскресенье для разговора с «интересным человеком», сказав, что расходы по этой поездке будут немедленно компенсированы, я отправился в путь, изменив своему правилу: субботу проводить дома. «Интересным человеком» оказался красивый молодой парень из Туркестана, сам он был кавказцем из рода, выселенного в Среднюю Азию еще во времена «раскулачивания», обжившегося там и смешавшегося с

тюрками. Имя он имел русское, но в обиходе его звали Хаджи.

— Я ж тебя ждал неделю назад, — сказал ему мой друг. — Где ты задержался?

— Понимаешь, отец очень беспокоится: сумеет ли закончить институт мой младший брат — слишком весело он проводит время в Самарканде, и я заехал туда, встретился с нужными людьми, а они мне для успокоения отца выписали диплом брату вперед. Конечно, не даром, — сказал с легким акцентом Хаджи и показал задержавший его диплом.

Я взял в руки эти «корочки» и убедился в том, что впервые в жизни рассматриваю вполне законный, с подписями членов Государственной экзаменационной комиссии и ректората документ, помеченный днем, которому предстояло наступить через два с половиной месяца.

— Когда я его получил, — продолжал Хаджи, — я сразу позвонил отцу и только потом вылетел сюда.

Вид «будущего диплома» произвел на меня огромное впечатление. Напомню, что это еще были семидесятые годы, а не сегодняшний день, когда любой самый престижный диплом можно себе выписать за пару сот долларов у умельцев, промышляющих составлением фальшивых бумаг в московском или киевском метрополитене. Поэтому я уже безо всякого внутреннего и внешнего протеста принял участие в дальнейшем обсуждении научных надобностей нашего молодого среднеазиатского коллеги Хаджи, происходившем в гостиничном ресторане, а затем за уединенным столом с местными гейшами в двухкомнатном номере-«люкс».

Суть приезда Хаджи состояла в следующем: папаня, заведовавший в Туркестане богатым «совхозом», ему четко сказал, что если он, Хаджи, обзаведется любой научной степенью, тот ему немедленно купит место проректора в одном из высших учебных заведений в ближайшем областном центре. Мой друг был его единственным знакомым, связанным с вопросами оформления ученых степеней, и он прибыл к нему для переговоров. Проблема эта представлялась Хаджи столь же простой, как и выписка диплома младшему брату: цель своей поездки он видел в согласовании стоимости «кандидатских корочек», в выплате аванса и определении срока получения желаемого документа.

Мне и моему другу пришлось потратить немало сил, чтобы объяснить Хаджи, что тут дело не так просто, что нужно опубликовать две-три статьи, написать работу, представить ее в совет, получить рецензии, выступить на защите и т. п. Наконец он понял, и переговоры пошли в правильном направлении.

Я уже был к тому времени на чисто благотворительной

основе «крестным отцом» по крайней мере двух диссертаций. Однажды в Тбилиси я обедал с двумя младшими научными сотрудниками местного научно-исследовательского института, и они мне пожаловались на свою творческую безысходность. Я поинтересовался, чем они заняты. Один из них — Гиви Косава — без конца давил железобетонные балочки, и я ему посоветовал ввести в эти балочки предварительное напряжение и, варьируя его величиной, посмотреть, как оно влияет на их динамические характеристики. Другой — Важа Рисидзе — был просто рабочей лошадкой и, дожив до седых висков, все мерял и мерял колебания конструкций. Я ему сказал, что и его перспективы не так плохи, и порекомендовал на основе того, что он уже наработал, решить обратную задачу — определить фактические величины динамических нагрузок, вызывающих эти колебания, и проанализировать, насколько они отличаются от теоретических значений.

Через год оба реферата диссертаций на эти назначенные мною темы были мне присланы с благодарственными надписями «на память» и с просьбой дать свои отзывы, что я и сделал.

Мои служебные дела заставляли меня следить за технической литературой и периодикой, и назначить Хаджи «проходную» тему диссертации для меня большого труда не составляло. Хаджи оставил аванс и уехал, а я начал понемногу готовить для него работу.

V

— Первым долгом, — рассказывал Ли, — я написал пару статей по выбранной мной для него теме. Потом решил, что «ученый имидж» моего подопечного должны украсить и несколько изобретений, и подготовил соответствующие заявки. После этого я написал первые две (из пяти) главы будущей диссертации Хаджи и счел аванс отработанным. Мой друг месяца два пытался поймать Хаджи по телефону, но его всегда «не было на месте». А потом вдруг пришло известие, что Хаджи погиб в автокатастрофе, поскольку ездил он, как правило, пьяным и на большой скорости. Впрочем в Туркестане уже тогда начинались серьезные разборки, и этот «несчастный случай» мог быть не таким простым.

Тем временем мой друг, пораженный легкостью, с которой у покойного Хаджи за каких-нибудь полгода появились научные статьи и изобретения, заявил мне, что это есть самоценный научный продукт, имеющий своего потребителя. И действительно, сначала по его направлению, а потом и на основе

информации, идущей по какой-то невидимой, но безотказно действовавшей в стране Советов сети, ко мне непосредственно или через знакомых стали обращаться разные люди с просьбами «помочь».

Так я становился известным в определенных кругах деятелем «теневой науки». «Теневая наука» — это термин, введенный мной по аналогии с теневой экономикой. Вообще, дублирование явных общественных процессов их «теневыми» двойниками было свойственно Империи Зла, и помимо «теневой науки» существовали также «теневое искусство», «теневая литература» и т. п.

Первоначально я пытался использовать в отношении «теневой науки» термин «лженаука», но потом убедился, что приставка «лже» была более уместной в отношении легального «творчества». По моим самым скромным оценкам около девяноста процентов официальных ученых, писателей, врачей, художников и прочих были в действительности лжеучеными, лжеписателями, лжеврачами, лжехудожниками и лжепрочими.

Некоторое время я считал, что только физико-математическая область знаний защищена от советских лжеученых, но однажды Черняев, работавший года два в середине семидесятых у академика Ивана Артоболевского в центральном правлении Всесоюзного общества «Знание», показал мне три письма из разных краев России, подписанные докторами и кандидатами физико-математических наук, в которых обстоятельно говорилось о том, что теория относительности — это антинаучная сионистская выходка и что учение Эйнштейна следует запретить, исключить, забыть и так далее. До последних лет я думал, что это был клинический случай, однако, когда в «эпоху гласности» появился целый легион ниспровергателей Эйнштейна, я понял, что проказой лженауки поражены в России и «Советском Союзе» все без исключения области знания. И это не удивительно, поскольку для всех наук, без исключения, действовали процентные нормы: из пяти диссертаций, идущих через «совет», четыре должны были принадлежать «коренной» национальности. Узнав об этом, я поинтересовался: «А как же быть с русскими, например, на Украине, где они являются «некоренной» национальностью?» «Русские на всей территории Советского Союза являются «коренной» национальностью!» — был ответ.

Моя же теневая продукция отличалась довольно высокой пробой, и моим заказчикам не было причин ее стесняться. Достаточно сказать, что написанные мной для них статьи переводились в США, Испании, Чехословакии и других странах, а

мои изобретения были использованы не только в «стране Советов», но и в Венгрии, Болгарии, Германии. Конечно, процент использования был невелик: не более десяти из ста названий, но такова уж судьба изобретательского творчества в наших краях.

Пошли «в дело» и наработки, сделанные для диссертации Хаджи. Эта тема была успешно защищена другим. Были мной подготовлены и иные работы, а две докторские диссертации, представленные «в форме доклада» и одобренные учеными советами, на три четверти состояли из подготовленных мной публикаций и описаний моих «совместных» изобретений. Да вот можете посмотреть, — и Ли подал мне «упитанный» докторский автореферат из недавнего прошлого. Я открыл его на перечне литературы, «раскрывающей содержание диссертационной работы», и из шестидесяти наименований насчитал сорок пять, в которых в скобках стояло: «соавтор Л. Кранц», а на титульном листе этого реферата красовалась надпись: «Настоящему другу Ли с глубоким уважением».

— Вообще говоря, я не любил диссертационные работы и делал их, действительно, только для настоящих друзей, — сказал Ли. — Дело в том, что разработанный моим другом прейскурант на постороннее участие в моих статьях или изобретениях при таком большом спросе полностью обеспечивал мои материальные потребности. Кроме того, мои услуги разного рода должностным лицам открывали передо мной такие горизонты, которые в Империи Зла не были доступны простым смертным: возможность останавливаться в спецдомиках и спецквартирах, приобретать за гроши путевки в престижные санатории, пользоваться служебным транспортом для личных нужд, покупать продукты в «спецмагазинах» и «спецбуфетах». Все эти «спецобъекты» также представляли собой теневую систему, но… государственную. Тем не менее, все теневики, государственные и негосударственные, одним из которых в научной сфере стал я, вероятно, где-то непременно стыковались друг с другом. Впрочем, я не злоупотреблял такими возможностями, и лишь отдельные случаи использования этих специфических связей пополнили мою коллекцию золотых мгновений и дней. Например, мое первое посещение Тригорского и Михайловского.

Ну, а потом, как известно, различные ученые регалии, да и вообще высшее образование, с исчезновением «страны Советов» обесценились, и вся эта моя деятельность сама собой прекратилась за ненадобностью, о чем я не жалел, поскольку к тому времени она мне уже порядком надоела. Из-за нее я возненавидел всякую писанину, и, может быть, поэтому не закончил свои записки, найденные и спасенные вами.

— А как же все-таки обстояло дело с моральной стороной этой проблемы?

— Какая же может быть мораль у убийцы? — улыбнувшись, сказал Ли и уже серьезно продолжал: — Я уже говорил вам о своих сомнениях и колебаниях в начале всего этого научного предприятия. Но уже к тому времени моя ненависть к режиму и созданной им Системе была очень сильна. Я не мог их признавать не только Божьими, но и человеческими, и поэтому те «законы» и «нравственные» требования, которыми они пытались повязать людей, были писаны не для меня, и если я считался с ними, то только внешне — для более полной внутренней независимости. Постепенно, как раз в годы моих «научных занятий», эта Система приняла в моем представлении облик живого существа — исчадья сил Зла, многоглавого дракона, среди множества голов которого были и приятные, на первый взгляд, физиономии, но в своей совокупности этот инфернальный симбиоз был для меня провозвестником гибели человечества и поэтому подлежал уничтожению. Временами по отношению к этой Системе я испытывал ненависть, доходящую до того самого уровня гневного исступления, корректировавшего судьбы «подставленных» мне на моем пути существ, но я понимал и бесцельность этого гнева, его бессилие — многоглавое чудовище было неуязвимо и легко заменяло свои утраченные головы другими! (Я ведь хорошо знал «теорию неразрешимости» Геделя—Кохена, согласно которой нельзя изменить Систему, находясь внутри ее.)

Я, конечно, понимал, что своей «научной работой» я порождаю лжеспециалистов, делаю новых «заслуженных изобретателей», «заслуженных рационализаторов», «доцентов с кандидатами», передающих свое невежество своим «ученикам», и медалистов ВДНХ СССР — у меня, кажется, около десятка этих медалей, и за каждым награждением стоял приведенный мной коллектив. Я понимал, что я укрепляю их положение в Системе, позволяю им подниматься на следующие ступени, недостижимые для них в нормальном обществе, но ведь я повышал невежественность этой Системы и содержание в ней Лжи, а значит, и в данном случае должен был сработать принцип «чем хуже, тем лучше», и эти гибельные качества рано или поздно должны были достичь «критической массы» и разрушить ее. И все же я не считал, что это мое личное вмешательство в ход событий могло иметь какие-либо нелокальные кармические последствия. Это была шалость, каприз художника, как говаривал Остап Ибрагимович.

А что касается денег и так называемых «благ», то я ведь брал за свою работу украденное у меня же, поскольку в нормальном

человеческом обществе труд специалиста моего уровня и масштаба оплачивался в десять раз выше, ну, а если кто-то чего-то недополучил, то недополученное непременно кто-то украл. Чудес в экономике не бывает, и недоплата за труд была, есть и будет одной из основ безнравственности. Поэтому свой «научный» доход я, в конечном счете, увидел более чистым и законным, чем доход от той самой небольшой коммерции, которая меня спасла в годы болезни Исаны.

VI

Выслушав эту часть исповеди «ученого теневика», я приступил к своим «главным» вопросам. Меня прежде всего интересовало, каким образом инженер по промышленному и гражданскому строительству мог создавать изобретения, требующие знания теоретических основ электротехники, теории тепломассообмена и других сложнейших областей прикладной науки, на изучение которых люди тратят многие годы.

— Я понимаю ваш вопрос, — сказал Ли, — и я сам об этом думал. Расскажу вам, как происходит у меня этот «творческий процесс», как говорят психологи. Я сначала после непродолжительных размышлений *вижу* перед собой *готовый* предмет изобретения. Сосредоточиваясь на нем, я начинаю видеть его детали. На основании этой, постоянно пребывающей перед моим «третьим глазом» картины я записываю *«формулу изобретения»*. Если вам приходилось заниматься изобретательством, вы знаете, что это такое. Затем я от руки рисую схематические изображения *предмета* изобретения. Потом мне остается под это готовое изобретение подогнать описание. В нем обычно требуется привлечь различную теоретическую аргументацию. Поскольку аргументация эта в разработке изобретения у меня не участвует, то из какой она берется области — значения не имеет, и мне как изобретателю знать ее досконально не требуется. Время подготовки в рукописном виде заявки на изобретение обычно занимало у меня не более недели. Вот почему у меня оказалось так много изобретений. При этом годовая «норма» в 10–15 изобретений не была для меня пределом, и если бы спрос на этот вид продукции повысился, я бы легко делал их по двадцать — двадцать пять в год.

Остается вопрос: каким путем в моем воображении возникает готовое изобретение. Точного ответа на этот вопрос у меня нет, но я полагаю, что здесь начинает работать что-то вроде гумилевского «шестого чувства». Я, как один из тех немногих, кто

знает свое *Предназначение*, имею какой-то доступ к информационному полю, на краешек или даже на обочину которого я, вероятно, и попадаю, когда сосредоточиваюсь, и именно оттуда я получаю искомый образ. По-видимому, *Они* так же, как и я, относятся к этим моим развлечениям как к мелким шалостям в пределах предоставленной мне свободы воли. К сожалению, во всех подробностях нам доступна биография лишь одного корректора, знавшего свое Предназначение — Альберта Эйнштейна, и в его жизни также были подобные «шалости». Я имею в виду десятки поданных им заявок на такие изобретения, как слуховой аппарат, усилитель, бесшумный холодильник и прочие, далекие от его Предназначения технические усовершенствования. По этому поводу он даже написал стишок, начинавшийся словами:

Философам порой небесполезно
На технике сосредоточить мысли.

К сожалению, мне не известно, оставил ли Эйнштейн описание процесса своей работы над изобретением, но думаю, что если оно существует, то будет весьма похожим на рассказ о моем опыте.

— Ну хорошо! — сказал я, — а как вы считаете, вы смогли бы получить из информационного поля какое-либо *новое знание*, способное по аналогии с учением Эйнштейна повлиять на ход мировой истории?

— Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос. Для этого мне, вероятно, пришлось бы выйти на такой уровень сосредоточения, который мне для выполнения моего Предназначения никогда не требовался. Думаю все же, что это возможно, поскольку мне приходилось на непродолжительное время пересекать установленные мне границы по мелочам — когда требовалось аргументированно ответить экспертам на их замечания к заявкам, выходившим за пределы моего образования. Мне, однако, это было тяжело, и после каждого визита в terra incognita для подготовки такого ответа мой мозг некоторое время испытывал дискомфорт, именуемый в народе головной болью. Вероятно, это было наказанием за нарушение дозволенного.

— Но ведь новая идея, новая теория, оцененная и принятая миром, — это слава, почести, Нобелевская премия, наконец! Неужели у вас никогда не возникало желания попробовать? А вдруг получилось бы! Раз вы заговорили об Эйнштейне, вспомните: ведь вся его слава, кажется, зиждется на трех-пяти почти юношеских статьях, отразивших его озарение! —

продолжил искушать я.

— Не возникало, — холодно ответил Ли, — никогда. Вы забываете, что мое предназначение и те ограничения, которые оно на меня накладывало, мне были известны с детских лет. Кроме того, как вы знаете из моих записок, необходимая мне картина мироздания была мне открыта, но это была и есть «информация для внутреннего пользования». Она была мне понятна, но необъяснима, как, например, понятна, но необъяснима для человека, не имеющего специальных познаний, прозрачность воздуха при его материальности.

На несколько минут воцарилось молчание. За эти минуты целый вихрь мыслей, связанных с этой совершенно фантастической ситуацией, пронесся в моей голове. Я помнил «годовые отчеты» нашего небольшого, человек на четыреста—пятьсот, научно-исследовательского института в славную «эпоху застоя», когда в лучшие времена «коллективу» торжественно докладывалось, что специалисты института «за этот год» опубликовали одну монографию, восемь статей и получили пять положительных решений по изобретениям. А я сейчас беседовал с человеком (или не с человеком?!), единолично, без какого-либо научного и методического руководства выпускавшим в год одну-две монографии, полтора-два десятка статей и получавшим десять-пятнадцать положительных решений по своим заявкам на изобретения, не имея при этом даже письменного стола для домашних занятий. А на мой вопрос: сколько же «чистого» времени у него уходило на «теневую науку», Ли ответил, что если это время, потраченное то здесь, то там, то по дороге на работу, то по дороге домой, то с традиционной сигаретой в тамбуре железнодорожного вагона, то рассеянно глядя в окно междугороднего автобуса, и так далее, и тому подобное, отделить от всей остальной его жизни в годы «интенсивных научных занятий» и спрессовать в восьмичасовые «смены», то получилось бы около двадцати таких смен в год.

Так кто же сейчас сидел передо мной по человеческим меркам? Гений? В мои сокровенные размышления вдруг проник тихий голос Ли:

— Нет, я не гений. Я — палач Господень, вы же это хорошо знаете!

Я забыл, что в присутствии Ли думать тоже нужно осторожно. На меня внимательно смотрели Зеленые глаза, а там, за этой изумрудной зеленью угадывались бесконечные космические пространства и прозрачные, вечно клубящиеся облака, и даже не облака, а струящийся и сверкающий золотом и серебром воздух в ослепительно солнечный день над раскаленной Дорогой —

вечная игра Материи, образующей Информационное поле, — обитель Хранителей его Судьбы, очередной раз заключивших свой Договор со смертным.

Я чувствовал, что наша беседа уже в тягость Ли, что он все чаще посматривает на лежащие возле его руки два умеренно толстых красивых томика с одинаковой надписью на корешках: «В.В. Розанов: Pro et contra», и понял, что ему очень хочется погрузиться на часок-другой в этот мир давно затихших философских и литературных дискуссий, чтобы еще раз услышать шум Времени.

И я откланялся.

VII

Готовя к печати свои беглые заметки, я еще раз шаг за шагом пережил всю эту необычную беседу, временами принимавшую совершенно фантастический характер. Несколько дней ушло у меня на обдумывание того, что я услышал и увидел. И я убедился, что далеко не со всеми утверждениями Ли я был согласен.

Прежде всего, я никак не мог отнести к «шалостям» его научные занятия. Осмысливая его жизнь от самых младенческих лет, я уже давно пришел к убеждению, что любой его даже самый незначительный поступок хоть в какой-то степени был отражением воли Хранителей его Судьбы. Тем более, так должно было быть, когда речь шла о деле, занимавшем его внимание и пусть даже относительно малую часть его времени в течение более чем десятка лет. Естественно, что это мое убеждение относилось к его *инициативным, случайным* начинаниям, а не к повседневной рутине, отражавшей данное ему изначально жизненное условие «быть как все».

И уж во всяком случае я не мог согласиться с тем, что созидание мнимых научных величин в разных концах Империи Зла он предпринял исключительно по своей воле и исключительно для повышения благосостояния своей семьи. У Хранителей его Судьбы несомненно были и есть в запасе десятки «случайностей», обеспечивающих достижение этой несложной цели: от очередной «выгодной коммерции» вроде той, что была ему «подброшена» в трудные годы болезни Исаны, до неожиданного наследства откуда-нибудь из-за границы от забытых и потерянных родственников. И поэтому я принялся анализировать кармическую сущность этого направления его деятельности.

Мой ход рассуждений основывался на том, что, придавая

своим абитуриентам ученый облик и делая из них кандидатов и докторов кавказских или туркестанских наук (термины, введенные Ли в его юмористических рассказах «из жизни ученых»), Ли не только потешался над «партийно-государственной политикой в области высшего образования и научных исследований», но и придавал довольно большой группе людей — группе действующих человеческих воль — новые качества и новые возможности влияния на ход текущих событий. Случай помог мне убедиться в моей правоте. Среди знакомых моих знакомых был «перспективный деятель», начавший лет в сорок довольно стремительное продвижение вверх. Пройдя за следующие пять лет все необходимые периферийные ступени, он получил наконец перевод в Киев, где стал начальником одного из главных управлений одного из министерств, и мои знакомые рассказали мне, что он в любой момент мог бы стать заместителем министра, если бы, работая администратором, одновременно трудился над обучением молодого поколения специалистов своей отрасли или хотя бы написал какое-нибудь учебное пособие. Через некоторое время он все же стал заместителем министра.

После моего разговора с Ли я почему-то вспомнил об этом случае. Стать «учителем» молодых специалистов у героя этой притчи явно не было ни времени, ни условий. Значит, у него, чтобы взять карьерный барьер, оставалась лишь одна возможность — написать учебное пособие. Я еще раз пересмотрел все книги, написанные Ли, и в одной из них, «рекомендованной в качестве учебного пособия», нашел в числе соавторов фамилию этого новоиспеченного заместителя министра, ставшего впоследствии еще и парламентским депутатом. Как «влиял» на развитие и состояние своей отрасли и общества этот получивший определенную власть деятель, был ли он разрушителем, созидателем или просто крупным вором, как и многие другие его соратники, для моих рассуждений принципиального значения не имело, так как кармическая сущность «шалостей» Ли в любом случае была здесь налицо. Думаю, что и некоторая часть остальных двухсот «соавторов» Ли также внесла свою, ставшую после общения с Ли более весомой, лепту в ход нашей Истории, в тот самый вектор всей совокупности человеческих воль, который, по словам Льва Толстого, определяет ее направление. Конечно, Ли был одиноким волком, но отнюдь не единственным деятелем «теневой науки» — были сотни, а может быть, и тысячи других. Как теперь стало известно, ученым-«теневиком» пришлось побывать и Бахтину — человеку с явными признаками гения. Но вряд ли кто-нибудь из этих «теневиков» был так производителен,

как Ли. Он был уникален и в этом отношении, как и во всех иных сторонах своей жизни.

Было еще одно последствие «научных забав» Ли: они открыли ему доступ в достаточно высокие сферы управленческой иерархии тогдашней Системы. Воспользовался ли он этим своим достижением, и было ли оно связано с его Предназначением — мне еще предстояло разобраться, работая над последней частью его записок.

Не мог я исключить и возможность иного кармического аспекта научных занятий Ли. В результате этой его «случайной» деятельности в библиотеки Империи и в ее реестры изобретений легли сотни «единиц хранения» — книг, статей и документов, подготовленных Ли. И я думал о том, что, может быть, спустя много лет, когда утихнут все политические бури и победит дело всех Корректоров Земли, а я верю, что человечество станет единым, как того требует космический Разум, и захочет воссоздать в памяти свою Историю во всех ее подробностях, какой-нибудь дотошный исследователь из далекого Будущего отберет и положит перед собой все, сделанное Ли в науке, и еще десяток-другой его этюдов о людях, которых он чтил, и задумается: кто это был? И может быть, во всей совокупности сделанного Ли люди Будущего найдут понятные им знаки, предсказания и предостережения, как мы, умудренные двадцатым веком, теперь ясно видим грозные пророчества, спрятанные в бисере строчек «милых вещиц» Антона Павловича Чехова: о фашизме — в «Дуэли», о связи человека с Космосом — в «Черном монахе», об угрозе злоупотребления психиатрией — в «Палате номер 6», о необходимости беречь прошлое — в «Вишневом саде», об одушевленности «братьев меньших» — в «Каштанке» и об отсутствии альтернативы единению всех народов Земли — в «Скрипке Ротшильда». А сколько этого у него еще припасено для будущих веков — Бог знает!

Впрочем, я не исключаю, что эта моя надежда на существование в «научном наследии» Ли некоего, пока еще скрытого знания есть всего лишь моя реакция на его скептицизм по отношению к науке, переходящий временами в откровенное издевательство над ученым сословием, — реакция «нормального» человека, воспитанного в уважении к знанию и в полном доверии к его большим и малым светочам и не подозревавшего, что некоторую, а возможно, и большую часть этих светочей создают «шутники», подобные Ли.

VIII

В заключение этой непростой, но необходимой для полного представления о земной жизни Ли книги, я вернусь к нашей с ним беседе.

— Вся ваша жизнь после окончания учебы была связана с научной журналистикой. Конечно, она не была такой интенсивной, как в тот двенадцатилетний период, о котором мы сегодня говорили, но все же по три-четыре статьи в год у вас выходило, — сказал я и спросил: — А что теперь — вы полностью прекратили печататься?

— Нет, почему же, — ответил Ли. — Многие «мои» журналы сейчас закрылись или оказались «за рубежом», но я иногда печатаюсь. Например, недавно в одном еженедельнике вышла моя статья об Эйнштейне. Она, правда, подписана псевдонимом, но вы ее узнаете, если увидите, я вам это гарантирую. А совсем недавно породила некоторый шум моя статья о ненаучности современной онкологии. — И Ли улыбнулся своим мыслям.

Один мой приятель, как раз, уже много лет собирал все, что печаталось об Эйнштейне, и в его коллекции я без труда нашел «вырезку» статьи, подписанной «Л. Лео». Но не только использование в качестве псевдонима имени отца указывало на то, что ее автором был Ли. В этой статье прямым текстом говорилось о Корректорах, осуществляющих среди людей волю космического Разума. Вероятно, Ли считал, что Эйнштейн своими последними словами: «Свое Предназначение я выполнил» сам раскрыл тайну своей жизни — тайну Корректора — и тем самым разрешил Ли нарушить обет молчания. Не мог Ли пройти и мимо такой фразы Эйнштейна: «Открытие не есть порождение логического мышления, даже если его конечный результат облечен в логическую форму».

Заметив, что я «застыл» над этой статьей, мой приятель сказал мне:

— Если тебе нравится сей автор, то у меня есть еще одна его статья — о Норберте Винере. Я сохранил ее, потому что там тоже идет речь об Эйнштейне, — и он, порывшись в своей папке, протянул мне еще одну «вырезку».

Такое сочетание интересов Ли к двум великим евреям нашего уходящего века, упорно не общавшимся друг с другом, меня поразило. Я даже подумал сначала, что Ли привлекла именно эта особенность их судеб, поскольку я помнил о неиспользованной мной странице записок Ли, где он рассказывал о заданном им вопросе дядюшке: чем объясняется стойкая «дружеская неприязнь» Маркса и Гейне, а дядюшка ответил:

— Двум евреям, считающим себя гениальными, всегда тесно на таком маленьком пятачке, как наш земной шарик!

Однако, прочитав небольшую, но очень изящную статью Ли о Винере, я без труда нашел причину его плутарховского «параллельного» интереса к этим двум гениям, поскольку Ли об этом написал сам. Его особое внимание привлек отнюдь не психологический аспект, а сходство первых шагов на научном поприще — известность им обоим принесли исследования броуновского движения, но если Эйнштейна интересовали лишь количественные проблемы этого явления, которые он успешно разрешил, то Винер и в своей первой работе, и вернувшись в конце жизни к объекту своих юношеских исследований, ставил перед собой чисто кармическую задачу: исследовать траекторию движения отдельной частицы в пространстве броуновского движения.

Даже моих скромных представлений о сущности проблемы броуновского движения было достаточно, чтобы понять причину интереса Ли к этим исследованиям: броуновское движение было для Ли моделью окружающего человеческого мира, а движение отдельной частицы сквозь этот неспокойный мир с ее случайными и неслучайными столкновениями — моделью индивидуальной Судьбы. Да и сам Винер, вероятно, пришел к этому выводу, сказав, что предпринятое им после Эйнштейна и других классиков этой проблемы исследование броуновского движения заставило его пересмотреть роль, отведенную в нашем мире Причине и Случаю.

А может быть, Ли искал в формулах Винера, как собрата-Корректора, ответ на вечно волновавший его вопрос: как в этой «броуновской тесноте» попытаться избежать ненужных столкновений и взять свою траекторию движения — линию Судьбы — под жесткий контроль от первого до последнего часа.

В еще не разобранной мной части записок Ли есть несколько причинно-следственных исследований человеческих Судеб. Я их пока условно назвал «Саги о Жизни и Смерти». Может быть, со временем я их смогу разобрать, систематизировать и составить «Книгу Судеб». Это случится, если Бог даст мне силы и время, а я уповаю на Его милость, поскольку, как говорил Эйнштейн, «Господь Бог изощрен, но не злонамерен», и сама по себе жизнь Ли есть, в значительной мере, подтверждение этих слов.

IX

Если эта часть жизнеописания Ли будет опубликована, я не исключаю появления по отношению ко мне серьезных претензий и обвинений в клевете на славную советскую науку, сумевшую,

например, создать такой всемирно признанный шедевр, как автомат Калашникова, и чуть было не запустившую в Космос нечто, названное грозной собачьей кличкой «Буран». Естественно, что обвинения эти будут базироваться прежде всего на том, что всю «теневую научную деятельность» Ли я выдумал от начала и до конца. Поэтому я, как мог, в нашем разбегающемся, занятном, как говорил Эйнштейн, мире, собрал, конечно, далеко не все, но многое из написанного и изобретенного Ли в период его интенсивной «научной» деятельности. Если я доживу до этих обвинений, я достану свой заветный пакет с трудами Ли, и да послужит он мне оправданием. Если не доживу — то вряд ли эти обвинения будут меня беспокоить. В конце концов — мертвые не имут не только сраму, но и всех прочих земных неприятностей.

Книга десятая
Город

Если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж.

Псалом 126. Песнь восхождения Соломона, стих 1

Не клянусь этим городом!

Коран, сура 90 «Город», стих 1

…для человека нет большей муки,
как хотеть отмстить и не мочь отмстить.

Н. Гоголь. Страшная месть

Сделав дурное, не считай себя в безопасности,
ибо Возмездие — неизбежный закон Природы.

Захирэддин Бабур

I

Непросто складывались у Ли отношения с Киевом, ох, как непросто!

Знал он, что не чужой этот город его роду, что там родилась бабушка Лиз, а дядюшка не только родился, но и учился там в университете, где и был оставлен «для подготовки к профессорскому званию».

Знал, что в детские годы бабушки Лиз семья жила в центре города на Фундуклеевской и что был у нее небольшой магазин на Подоле, обеспечивавший хозяину дома Виктору Григорьевичу,

приходившемуся Ли прадедом, весьма почетное в те годы купеческое звание, хоть и не первой гильдии.

Но все это знание как-то не наполняло в воображении Ли этот город знакомыми тенями, без которых он не ощущал своего родства с «гениями места». Может быть, так произошло потому, что не стала Киевская земля усыпальницей этой большой семьи, покинувшей ее в вечном поиске лучшего и переехавшей сначала в Херсон, а потом разметавшейся по белу свету, да так, что никогда больше и не собралась вместе: прадед умер в Херсоне, прабабка Розали — в Питере на руках у дядюшки Жени и своей русской невестки — тети Лели, любившей ее как собственную мать, бабушка Лиз — в Одессе, сам дядюшка Женя вместе со своими неразлучными дамами — Лелей и Манечкой — лежит в Москве на Новодевичьем, а отринутый этой троицей дядюшка Миша, уехавший на учебу в Германию до революции и вернувшийся в 44-м из Харбина, объехавший вокруг шарика, как говорится, по полной схеме, нашел свой приют в одном из более скромных московских некрополей. Ну а дядюшка Саша так и умер в Шанхае, не добравшись до России. И лишь умерший ребенком Витя — единственный сын Жени и Лели — был похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Его забытую могилу по поручению тети Лели в начале 50-х украсили скромным обелиском.

В памятный день последнего общения с дядюшкой Женей перед внутренним взором Ли промелькнуло несколько киевских картин — красный университет, зеленый Бибиковский бульвар и тихая уютная Паньковская, где Женя и Леля снимали квартиру в начале века, но эти видения были какими-то смутными и расплывчатыми, как зимняя «парижская серия» Марке, и желание разглядеть детали этих видений у Ли пока не возникало.

Даже когда настало время странствий, и Ли почти каждый месяц был в дороге, его маршруты по какой-то случайности не пересекали «мать городов русских». В конце концов, чувствуя, вероятно, несправедливость Хранителей его Судьбы по отношению к Киеву, Ли попытался сам переломить ход событий, придумав пересадку в Жулянах по пути в Одессу в 60-м и устроив себе однодневные каникулы по пути из Львова в Харьков, но эти считанные часы общения с неизвестным городом тоже никак не прояснили его облик. И Ли покорился, поняв, что его личное киевское время или еще не пришло, или вообще не нужно.

Но оно все-таки пришло в 70-х годах, когда у Ли начались ежегодные встречи с Киевом. В один из этих приездов поздней мокрой осенью дела привели его на Подол. Он увидел лишь забытый старый район с облезлыми или грубо перемазанными фасадами, потерявшими четкость своих линий от многих слоев

небрежно наброшенной штукатурки. Все здесь казалось грязным, покрытым многовековой городской пылью, и Ли решил, что по своей воле он сюда больше не придет.

Однако в конце 75-го Ли оказался причастным к разбору и устранению последствий крупной аварии на одной из мощных электростанций. Восстановительные работы охватывали и подводную часть разрушившегося сооружения, а главная база отряда водолазов находилась на берегу Днепра на Подоле. Ли в течение одного лета пришлось несколько раз мотаться в Киев для различных согласований. В эти приезды старый летний Подол над голубой водой великой реки предстал перед ним в ином свете: он почувствовал, что его тихие улицы наполнены еще неясными, но чем-то милыми ему тенями, и он включил Подол в число «своих» мест на Земле, словно стал, подобно чеховскому Треплеву, «киевским мещанином». Но еще некоторое время их встречи были редкими и недолгими, и при каждой такой встрече где-то в глубине души билась непонятная ему тревога.

II

В начале 80-х совсем уже взрослый сын Ли определился с темой своей диссертации, и тема эта и ее будущая защита оказались связанными с Киевом. Ли стал приспосабливать свои дела к совместным поездкам в Киев. Наступило время, когда сбор материалов следовало завершить неделей непрерывной работы в архиве, и время это выпало на ясное лето 82-го. В Киев они поехали все вместе: Ли, Нина и их сын. Старый друг Ли, занимавший довольно высокое положение в киевской городской иерархии, обеспечил ему дорогой роскошный двухкомнатный номер в интуристовской гостинице «Днипро». Дороговизна в то время для Ли уже не имела существенного значения и не мешала наслаждаться редкой возможностью жить на всем готовом в центре Киева.

Эту киевскую декаду (дела сына заставили их задержаться в Киеве до десяти дней) Ли сразу же отнес к золотым дням своей жизни. Утром он и сын уходили по своим делам, а Нина подолгу наслаждалась комфортом и покоем, затем не спеша осматривала магазины на Крещатике. Часам к четырем все они собирались в номере и спускались пообедать тут же в очень чистый гостиничный ресторан. Сын бывал обычно возбужден от прикосновения к архивной старине, и Ли вспоминал известные всему миру слова своего великого дядюшки о том, что кто хоть раз вдохнет архивную пыль, тот уже не сможет оставаться

безразличным к спрессованному в старых папках Времени. Вспоминал он и собственную кропотливую работу в «сарайных» архивах и радость познания исторической Истины, сколь бы относительна она ни была.

Затем шли собираться на прогулку по городу, а Ли по пути в номер заглядывал в вестибюль, где над газетным прилавком еще шумели ветры Хельсинки и Олимпиады, заносившие сюда в «свободную продажу» легендарные для «советского человека» газеты: «Интернешнл гералд трибьюн», «Файнейшн таймс» и другие. Выбрав себе ту или иную представительницу «продажной прессы», Ли шел в номер, вспоминая, как более тридцати лет назад он небрежно просматривал «вражескую прессу» по пути из Москвы в Звенигород.

На маршруты их прогулок оказывала сильное влияние и память о долгих разговорах с Любовью Евгеньевной Белозерской, ее рассказы о том, как она и Булгаков сопоставляли свои воспоминания о Киеве восемнадцатого года, и как из этих общих воспоминаний рождались образы «Белой гвардии» и «Бега».

Пройдясь по нарядному Крещатику, они поднимались по Прорезной или Фундуклеевской на более строгую Владимирскую и по ней выходили к останкам Десятинной и к Андреевской церкви, а оттуда начиналось совершенно волшебное действо — спуск на Подол. Они тратили на этот спуск не менее часа времени, наслаждались каждым его поворотом, подолгу стояли у булгаковского дома, потом все же спускались ниже и отдыхали перед обратным подъемом в уютном монастырском дворе, наблюдая чинную и неспешную вечернюю монашескую жизнь.

Однажды они засиделись в монастыре до первых звезд, а потом, подымаясь к Вышгороду уже в густых летних сумерках, вдруг увидели в неярком свете уличных фонарей совершенно фантастическую картину: чуть выше их, от пустырей и яров, изрезавших днепровские кручи, в сторону Владимирской горки Андреевский спуск пересекала огромная собачья свадьба. Вереница из не менее чем сотни собак, собачек и собачищ всевозможных пород и беспородных двигалась несколько минут, причем начало этой колонны растворялось в темноте склона Владимирской горки, а конец находился во тьме, подступавшей к другой стороне улицы, и от этого создавалось впечатление какого-то вечного движения. Было еще что-то необычное в том великом собачьем походе, но Ли и его спутники не сразу смогли выразить это впечатление в слове. Лишь когда последняя псина исчезла в темноте, Ли спросил:

— Они что, шли в полной тишине, или мне это показалось?

Нет, не было ни визга, ни лая и, как это ни странно, не было

слышно даже шороха или треска высохшей травы: огромная собачья процессия была абсолютно бесшумной, и это делало ее совершенно нереальной. Словно души всех когда-либо живших здесь кабысдохов обходили свои владения… Магия булгаковских мест сохранялась и могла проявиться неожиданно и как угодно. Да и не одним Булгаковым были освящены здешние края. А чудеса происходили здесь еще со времен Владимира Красна Солнышка и его старинного недруга Змея Горыныча…

III

Когда закончились эти золотые дни, и они возвращались домой, Ли был уверен в том, что через год эта поездка повторится, и они опять поселятся в той же гостинице, расположенной рядом с институтом, где находился нужный ученый совет. Но недаром известную древнюю мудрость «в одну и ту же реку нельзя ступить дважды» Ли дополнил своим собственным пояснением: «…ибо во второй раз и вода будет мутной, и дно скользким, и какая-нибудь вонючая параша будет по ней плыть».

Так и было. Как ни далеки были от филологии такие события, как приход и уход андроповщины, краткий всплеск черненковщины и начало горбачевщины, но и они какими-то своими малыми воздействиями отодвигали сроки и изменяли условия, и в конечном счете долгожданная защита оказалась возможной лишь осенью 85-го.

Тут уже Ли взял отпуск и с сыном во второй половине октября отправился в Киев, условившись, что Нина подъедет позже. Старый могущественный друг встретил их несколько смущенно: вероятно, и в его мире что-то переменилось. Он сказал, что все гостиницы переполнены, и он может предложить лишь свою ведомственную — два десятка номеров, оборудованных в хорошо отреставрированном большом трехэтажном особняке на Подоле.

Ли был огорчен, в основном, не за себя с сыном, а из-за перспективы приема в этой подозрительной гостинице двух не киевских профессоров — члена совета и оппонента, жилье которым по существовавшей туземной традиции должен был устраивать соискатель ученой степени. Но выбора у него не было. Когда же они приехали в гостиницу, то увидели, что внутренность этого капитального, но неказистого дома отделана с таким вкусом и уровень удобств так высок, что любого профессора здесь принять не стыдно, и Ли, договорившись о будущей возможности

расширить свои территории, занял с сыном скромный двухместный номер со всеми удобствами и телефоном. И потекли подготовительные будни.

Развитой социализм был еще в разгаре, и поэтому бумаг, необходимых для такого пустяшного вопроса, как «кандидатская» диссертация, требовалось видимо-невидимо. Их готовил сын, а перепечатку на машинке обеспечивал Ли, нашедший грамотную машинистку тут же на Подоле, и потому свободного времени у Ли было предостаточно. Он сознательно не взял с собой никакой литературы — ни художественной, ни философской, ни специальной, — чтобы голова была свободна. В полной мере это, конечно, у него не получилось, поскольку свободной от мыслей его голова просто не могла быть. Но отсутствие четкой и конкретной цели мышления превратило его мысли в беспорядочный поток сознания, в котором, однако, вскоре наметились определенные внутренние течения.

Одним из главных таких течений снова стали его размышления об аварии на АЭС Три Майл Айленд. Вот уже более пяти лет он снова и снова анализировал для себя это происшествие, пытаясь оценить степень вероятности его повторения. К этому моменту ему уже пришлось участвовать в разборе ряда аварий на электростанциях, приводивших к механическому разрушению конструкций. В таких разборах у Ли возникало два вопроса: первый был связан с тем, что разрушение во всех случаях происходило от перегрузки конструкций, фундаментов или оснований, но никогда не разрушались все перегруженные конструкции, а только часть их. Ли понимал, что и степень перегрузки могла только казаться одинаковой, а на самом деле где-то быть большей. Как у Оруэлла — все равны, но кое-кто равнее. Степень надежности тоже могла быть неоднородной. Но Ли занимал чисто теоретический вопрос: возможно ли такое состояние перегруженной конструкции, когда ее разрушение начнется, если на нее сядет муха, и какой вес должен быть у этой мухи — один, десять, сто, тысяча граммов?

Второй вопрос был, как Ли сначала казалось, ближе к его собственной загадочной сущности: почему он каким-то необъяснимым чутьем чувствовал, какая балка или стойка еще может «работать», а какая уже, как говорят инженеры, ничего «не несет»? Но именно на этот, по его первоначальному мнению, более сложный вопрос он совсем недавно получил вполне убедительный для него ответ.

IV

Месяцев за четыре-пять до приезда в Киев он возвращался из Восточного Крыма. Край этот был тогда густо насыщен всякого рода «ящиками» и по этой причине был «закрыт» для иностранных туристов. Специалист одного из таких «ящиков» в тот раз «случайно» оказался возле Ли. У них обоих были сигареты, коктебельский коньяк и какой-то нехитрый закус. Они соединили свои возможности, и потекла беседа, за которой незаметно пролетели четыре часа езды до Джанкоя.

Разговор, как-то даже помимо воли Ли, повернулся так, что он рассказал попутчику о себе, о многом таком, что было за семью печатями для других. Тот выслушал все с едва заметной улыбкой и сказал:

— Ваш дар имеет четкое физическое объяснение: в нагруженной конструкции, если она «несет», возникают напряжения — не мне вам объяснять, — а вот то, что напряженный материал излучает электроны, вы, вероятно, не учли. Излучение это крайне слабое, но вашей чувствительности оказывается достаточно, чтобы его каким-то образом почувствовать! Скажите, а вы чувствуете, например, старое, забытое и засыпанное кладбище?

Ли вспомнил «парк живых и мертвых» — «танцплощадку» на месте старого караимского кладбища на Холодной Горе, где он в юности более получаса не мог находиться, вспомнил «сквер Победы» — на месте одного из первых харьковских кладбищ, существовавшего чуть ли не с XVII века, вспомнил затоптанное греческое кладбище на одной из туристических баз в Сухуми и признал:

— Да, у меня возникает ощущение дискомфорта, даже если я до этого не знал, что здесь было кладбище.

— Вам стоит попробовать походить с лозой — может быть, вы просто не знаете своих возможностей?!

Тут уж пришла очередь улыбнуться Ли.

— Вряд ли у меня получится, — сказал он. — Но мне не совсем понятна связь между напряженной конструкцией и кладбищем.

— Связь лишь в том, что и там, и там что-то излучается, хоть природа этих излучений различна. Могу только сказать, что «мертвая» конструкция в этом отношении значительно проще «живого» кладбища.

Ли не смог скрыть недоумения, услышав это словосочетание.

— «Живого»! Я не оговорился! — продолжал его спутник, — потому что энергоинформационное поле, существующее над кладбищем, имеет человеческое происхождение. Возможно, это своего рода концентрат той субстанции, которую человек,

утратив древнее точное знание, назвал душой. Во всяком случае, чем старее и многослойнее кладбище, тем сильнее над ним информационное поле — это факт, о котором я не могу говорить все, что знаю. Но не исключено, что чувствительный к излучениям человек, вроде вас, может видеть и кладбищенское информационное поле. Каким — не знаю, может быть, как слабое свечение. Вам не приходилось видеть такое?

Ли вспомнил слабое свечение над старым кладбищем в Долине, но он считал это явление объясненным в школе: химик Соломончик рассказывал о случаях свечения паров фосфорных соединений над могилами. Теперь это воспоминание предстало перед ним в ином смысле, тем более что он вспомнил, что это свечение видел именно над старой, запущенной частью кладбища у Могилы Святого, а не над новыми могилами. Но он, на всякий случай, опасаясь превратиться в подопытного кролика, сказал:

— Нет, не приходилось…

И перевел разговор на заинтересовавшую его в значительно большей степени общую теорию энергоинформационных полей. Их «рабочий» поезд тем временем прибыл в Джанкой, и они продолжили беседу в столовой на перроне, охлаждая жар свежайших чебуреков холодным пивом.

Первым пришел московский скорый, и Ли с сожалением проводил своего нового знакомого. До прибытия харьковского фирменного оставалось еще два часа. Ли пробродил все это время по перрону и по пустынной привокзальной площади, думая о том, что сегодня «случайно» узнал, как можно объяснить по-научному очень многое в той картине мироздания, которая явилась ему тридцать лет назад на берегу Москвы-реки на другой день после посещения «ближней» дачи товарища Сталина.

V

В эти долгие осенние киевские дни, когда Ли, накормив спешащего сына завтраком в ближайшей столовке, неспешно делал свои, а вернее, его дела, и так же неспешно перебирал в памяти все то, о чем ему хотелось подумать и передумать на досуге, что он когда-то откладывал «на потом», Ли вспомнил во всех подробностях все, что ему удалось узнать об энергоинформационном поле. Потом его мысль обратилась к электронной эмиссии напряженного материала, и он пытался как-то оценить возможность обратного влияния информационного поля на состояние сооружений. Получалась ерунда: энергоинформационная «муха» вроде бы и не могла привести к

аварии какого-нибудь железобетонного перекрытия, ну а что может случиться, если в зону действия энергоинформационного поля попадет сложное электронное оборудование, управляющее атомным реактором на электростанции?

На этот вопрос у Ли ответа не было, так как он не знал ни самой силы воздействия поля, ни степени устойчивости аппаратуры при такого рода воздействиях. Но тут Ли вспомнил о старом индейском кладбище поблизости от атомной электростанции Три Майл Айленд… Однако, чтобы проверить эту версию, потребовалось бы перемолоть все когда-либо написанное по истории индейских племен Северной Америки, известной ему пока лишь по «Последнему из могикан», а доступа к Библиотеке Конгресса США он еще не имел. Однажды, гуляя вокруг безымянной гостиницы, погруженный в свои мысли Ли обнаружил на Константиновской довольно приличный винный магазин с большим выбором крымских вин, продававшихся и на разлив, и на вынос. С тех пор Ли выбирал маршруты своих прогулок так, чтобы этот магазин, где он медленно и с наслаждением выпивал полстакана хереса, оказывался на его пути. Вскоре постоянство его вкуса было замечено завсегдатаями магазина, и его «зауважали». Впрочем, когда однажды Ли застал в магазине невесть откуда взявшиеся два ящика «белого муската Красного камня» в фигурных бутылках по восемнадцать (!) рублей за шутку, то немедленно взял двадцать бутылок на случай какого-нибудь тайного банкета после защиты — клиенты магазина были потрясены и вслух наперебой вычисляли, сколько стаканов «белого крепкого» можно было бы выпить за деньги, истраченные на этот компот. Получалось, что напоить можно было бы всех уважаемых людей Подола.

Ли оставался невозмутим, в обсуждении не участвовал и, аккуратно перегрузив бутылки в две авоськи, осторожно пошел к гостинице. Когда он вышел на незастроенную площадку за Красной площадью, у него зачесался нос. Он поискал глазами надежное место, которому мог бы доверить бутылки, не нашел и изогнулся так, чтобы почесать нос о поднятую кисть руки. И в этот момент он увидел, как где-то не очень далеко, где угадывался обрыв днепровских круч, на мгновение показалось еле-еле светящееся розоватое облачко. И сразу исчезло. Ли посчитал, что это видение было вызвано его перенапряжением, и заторопился в номер — там бы он мог, наконец, избавиться от своей драгоценной ноши. Когда он, войдя в комнату и не зажигая света, чтобы скорее освободить руки, осторожно положил бутылки на кровать поверх покрывала и подошел к незашторенному окну, чтобы включить настольную лампу на

тумбочке в головах кровати, ему опять показалось, что в левом верхнем углу окна, там, где днем на заднем плане открывающейся панорамы просматривался обрыв днепровских круч, снова на миг возникло небольшое светло-розовое пятно.

— Мне уже нужен собеседник! — подумал Ли, и в этот момент комнату осветил яркий свет: это вернулся сын, увидел открытую в номере дверь и щелкнул выключателем, располагавшимся у самого входа. Сын сразу же сказал, что для защиты нужен магнитофон, и Ли тут же подошел к телефону и пригласил на завтра своего Сашеньку, с которым не виделся более года. Это приглашение решало оба вопроса — и появление желанного собеседника, и получение магнитофона во временное пользование. Отойдя от телефона, Ли прошел зашторить окно, и когда на миг он оказался в темноте между плотной шторой и черным окном, там далеко в левом верхнем углу этой темной панорамы вновь возникло свечение, на сей раз — в виде колеблющейся клубящейся полоски, что-то вроде розовых протуберанцев, только очень бледных по сравнению с солнечными, которые Ли наблюдал тридцать лет назад в Мариуполе во время затмения.

Укладываясь спать после этого довольно неспокойного дня, Ли ощутил, как в неконтролируемой им части подсознания шевельнулась скрытая тревога, всегда приходившая к нему на киевской земле. Раньше он относил ее на счет какой-то геопатологии места, но теперь почувствовал, как прочно она связана с этим слабым розовым сиянием.

VI

Утро следующего дня пробежало в обычных организационных заботах: завтрак, подготовка нового текста к перепечатке, получение и сверка бумаг, отданных машинистке накануне, телефонные переговоры и прочая, и прочая, и прочая. Справившись со всем этим, Ли зашел к виночерпиям выпить свой херес днем, помня о том, что вечером придет Сашенька. Он подкрепился вином. На улице разыгрался бесконечный осенний моросящий дождь, и Ли отправился в номер.

Там, уже сидя в кресле, он взял в руки книжку, купленную за бесценок несколько дней назад на «букинистическом» лотке на Красной площади. Это были «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», изданные несколько лет назад в Москве в серии «Классики и современники». Вообще без книг Ли существовать не мог, и эта покупка в принципе была закономерной. Остановился

же он на этом «школьном пособии» по следующей причине: как-то, листая книжку и узнавая засевшие навечно в памяти чеканные строки Гоголя, он наткнулся на «Страшную месть» и вспомнил, что когда-то слюнявое школьное «литературоведение» окончательно отбило у него охоту углубиться в мир Гоголя (там классика с партийной принципиальностью расчленяли на куски, предназначенные для скучных разборов в классе и «домашней работы»). Он, тогда совсем еще мальчишка, остановился на «Страшной мести» с ее опостылевшим от обязательного заучивания лирическим отступлением «Чуден Днепр при тихой погоде…» и так и не смог внимательно дочитать до конца эту не оконченную Гоголем повесть. Сейчас же он почувствовал в нескольких попавшихся ему на глаза строках нечто такое, что уже не позволило ему выпустить эту книжку из рук.

И вот пришло время не спеша, сидя в удобном кресле с чашечкой кофе, прочитать «Страшную месть».

Его поразили первые же слова: «Шумит, гремит *конец* Киева…», сразу перенесшие его в центр событий этой, как оказалось, одной из самых загадочных повестей Гоголя. Ли чувствовал, что его кресло и неяркая настольная лампа, включенная им из-за какой-то сумеречности серого мокрого дня, стояли именно в том «*конце* Киева», где начиналась повесть. Сама же повесть была как бы иллюстрацией к теории Кармы, познанной им в его многолетних раздумьях и в чтении. Но откуда пришло это знание к Гоголю — вот что удивило его. Ведь в жизни Николая Васильевича не было Востока, а сверкала и блистала Италия с ее совсем иной — католической — концепцией Судьбы, и, кажется, не было тех исканий и дорог, которые прошел в своих поисках Ли.

Незаметно подступил ранний вечер. Темное окно стало мешать Ли, и он поднялся с кресла, чтобы закрыть его и сварить себе еще чашечку кофе. И в этот момент ему показалось, что там, за окном, что-то тяжело застонало, и стон перенесся через поле и лес, а из-за дальних деревьев, растущих там на склонах и над обрывом днепровских круч, поднялись тощие, сухие, светящиеся слабым розовым светом руки с длинными худыми изможденными пальцами и затряслись, а когда от этого странного видения резко вздрогнула голова Ли, оно исчезло, и тотчас раздался стук в дверь: пришел Сашенька.

Несколько минут ушло на то, чтобы надежно установить магнитофон, а затем, уступив Сашеньке кресло и сев рядом на кровать, Ли пододвинул маленький столик, поставил на него фигурную бутылку с «Красным камнем» и пару стаканов. Началась традиционная сверка новостей за время необщения.

Когда же все новости исчерпались и разговор пошел вообще «за жизнь», Ли, который не мог еще освободиться от впечатлений, связанных с его странными видениями, осторожно подвел их беседу к этой теме.

Сашенька сначала не понял, о чем идет речь, когда Ли сказал о свечении и показал рукой в сторону занавешенного левого верхнего угла окна, а потом, когда до него дошло, он даже отъехал со своим креслом так, чтобы за его спиной был простенок, а не стекло.

— Так вы действительно видите этот розовый свет? — спросил Сашенька, с испугом глядя на Ли.

— Неужели ты думаешь, что я все это сам нафантазировал? А что, разве в Киеве говорят об этом свечении?

— Может, и говорят, но я никаких разговоров не слышал. Просто я был знаком с человеком, который тоже видел ЭТО.

Особенность беседы Ли и Сашеньки состояла в том, что по их давней традиции Ли обращался к нему на «ты», а Сашенька отвечал ему «вы», хотя к этому моменту их возрастные различия не оправдывали такое неравенство. Корни этой традиции уходили в теперь уже, можно сказать, далекое прошлое, когда Ли был молодым начальником в своей старой и гордящейся этой старостью фирме, а Сашенька пришел к нему молодым инженером. Ли, хоть и довольно поверхностно, знал его семью, и Сашенька ему полюбился своей интеллигентностью, какой-то особенной любовью к жизни во всех ее белых и черных проявлениях. Ли даже простил ему подневольное стукачество, в котором тот честно признался. Правда, обязательства Сашеньки в этом плане касались только околоджазовой среды, где он крутился, будучи фанатиком этой полузапретной тогда музыки. Поскольку джаз в стране, где не было секса, считался опасным идеологическим оружием империализма и «международного сионизма», направленным на развращение и развал коммунистического общества, многие его деятели и фаны были завербованы и регулярно постукивали о своих делишках. Анализ этого полифонического стука, видимо, предоставлял «музыковедам» из «органов» возможность конъюнктурных оценок, а уж отчитаться о большой «проделанной работе» они всегда умели.

Мир джаза находился где-то в стороне от мира Ли, и эта сторона деятельности Сашеньки его не интересовала. Но когда у того в доме и в семье возникла какая-то невыносимая ситуация, Ли, что с ним крайне редко бывало, активно, но так, чтобы об этом знали только он и Сашенька, вмешался в его судьбу и сначала отправил его на далекую крупную стройку в качестве

постоянного представителя проектной фирмы — к своим друзьям, а затем, требуя от Сашеньки беспрекословного выполнения своих советов, организовал его переезд в Киев. Поскольку в те времена вся советская рать противостояла естественным желаниям «советских людей» переселиться в Москву и другие столицы, где жизнь была вкуснее, сытнее, теплее и интереснее, то перевести *по службе*, а не путем фиктивного или подлинного брака в столицу «радяньської» Украины простого, нечиновного, не «закрытого», беспартийного инженера, к тому же — полуеврея, было практически невозможно. Ли увидел в «подправленной» им судьбе Сашеньки символ могущества своего интеллекта, способного выйти один на один с Системой и победить ее, причем по собственной инициативе, а не с помощью хорошо знакомых ему цепей «случайностей», подстроенных Хранителями его Судьбы. Любовь Ли к Сашеньке можно было сравнить с любовью ребенка к простой и безыскусной игрушке, сделанной своими руками и потому более дорогой, чем все то, чем наполнены магазины.

Ли налил по трети стакана вина и залюбовался этой живой водой, игравшей в его руках за тонким стеклом. Он слегка прикоснулся массивным дном своего стакана к кромке Сашиного, и тихий чистый звон проплыл по комнате.

— А там что, — и Ли своим стаканом показал направление к месту появления свечения, — есть какое-нибудь большое старое кладбище?

— Кладбище, говорите вы… — медленно протянул Сашенька, — ну что ж, можно, вероятно, и так назвать то, что там есть. Там Бабий Яр…

Ли замер, и острое болезненное чувство досады охватило его: у него всегда были особые отношения с Бабьим и другими подобными ярами. Он не считал для себя необходимым бывать в таких местах. Он просто носил их в своем сердце всегда, как Тиль носил пепел Клааса, и видел в этом свое преимущество над теми, кто между делом заезжал на все эти «мемориалы» «отдать долг», плакал там, становился на колени, говорил речи, а потом ехал закусывать, чем Бог послал. И вот оказалось, что и он, Ли, неправ: хоть раз, но нужно побывать там, чтобы осталась в памяти вся обстановка, чтобы пережить ощущение Человека, стоящего у края воронки, куда сплошным лавоподобным потоком утекает Жизнь. Но тут Ли вспомнил, как лет пятнадцать назад Хранители его Судьбы, накинув на него свою сеть случайностей, вежливо, но настойчиво «отвели» его от посещения Бабьего Яра. Тогда еще был жив Сергей, брат Нины, киевский режиссер-документалист, и в один из приездов Ли в Киев они встретились в центре и пошли

бродить по улицам, помаленьку подогреваясь в различных кафешках. Когда они шли через квартальчик за аркой, именуемый Детским миром, Сергей предложил:

— Зайдем к Вике.

Вика оказался дома, а его верной охранницы не было. Сергей достал из кармана прихваченную про запас «чекушку», которой, конечно, не хватило и на треть мужского разговора, — поэтому Вику одели и дальше уже двигались втроем.

Заканчивался этот вечер в «стоячем» кафе на Прорезной. Двери его уже закрыли, но пока девчата мыли «на завтра» посуду, их не выгоняли — Вику здесь знали, Сергея тоже, и они долго беседовали в тишине пустого зала. Уже провожая Вику, договорились о поездке часов в девять утра к Бабьему Яру, но Сергей, зашедший в назначенный час за Викой, вылетел, как ошпаренный, — Галя за вчерашнюю попойку выгнала его за порог и захлопнула перед носом дверь.

С этим воспоминанием досада растаяла и пришла грусть: уже давно лежит в киевской земле Сергей, любивший ее так же страстно, как и родную харьковскую и не родную ему землю гордых и суровых сванов — героев его фильмов. Давно изгнан отсюда Вика Некрасов, и многое из желанного и нужного так и не свершилось. И Ли после долгого молчания, во время которого он, казалось, только наслаждался запахом и вкусом «Красного камня», спросил Сашеньку:

— И часто этот твой знакомый видел сей таинственный свет?

— Не знаю, насколько часто и, вообще, сколько раз он его видел, но он говорил, что это явление имеет свои закономерности. Он как-то сказал, что *оно* светит примерно где-то близ сороковин после каждой годовщины главных расстрелов в Бабьем Яру и на Пасху еврейскую или русскую, или на ту и другую — точно не помню, — отвечал Сашенька.

— Что-то ты одно не помнишь, другое не знаешь! Познакомь меня с этим своим приятелем, и я сам с ним поговорю.

— Не могу, — вздохнул Сашенька, и окончание его ответа Ли уже *знал* заранее и потому даже не вздрогнул, когда тот досказал его: — Года два назад он погиб при странных и до сих пор не выясненных обстоятельствах. Подробностей не знаю, но слышал, что не исключалась и версия самоубийства, а может быть, этот слух был пущен, чтобы закрыть следствие.

— Мне не хотелось бы погибать при невыясненных обстоятельствах только от того, что я вижу то, чего не видят другие! — сказал Ли и сразу перевел разговор на другую тему.

VII

По своей многолетней привычке, весь разговор с Сашенькой, со всеми его интонациями и оттенками, он отправил в тайники своей памяти, чтобы потом, наедине, еще и еще раз его «прослушать».

Интенсивность же преддиссертационных хлопот все увеличивалась, и на следующий день от Ли потребовалась вылазка в Вышгород. Сначала он занес в институт магнитофон — его нужно было проверить и наладить, так как протоколы защиты уже не велись. Потом он купил пару бобин магнитофонной ленты, а затем поработал курьером, доставляя разные бумажки в другие заведения. Свой рабочий день он заканчивал в районе железнодорожного вокзала. Как раз в это время подступил «час пик», и на вход в метро «Вокзальная» выстроилась огромная очередь. Ли представил себе забитые людьми переходы и вагоны подземки и решил освоить новый для него маршрут на Подол — поехал трамваем через Лукьяновку. Народ, как говорится, зря пословиц не придумывает, и одна из них — «первый блин — комом» — тут же реализовалась: трамвай безнадежно застрял где-то в районе Соляной. Ли решил дальше идти пешком.

Проходя глубокой прорезью в одном из днепровских склонов, он увидел на фоне уже почти темного неба небольшое светлое облачко. Сначала Ли подумал, что в небо над ним прорвался последний луч Солнца, севшего за горизонт где-то позади круч, отделявших Вышгород от Подола, но затем понял, что время закатных розовых лучей уже давно прошло, и над ним медленно пролетает тот самый, видимый, возможно, только ему светящийся розовый сгусток, который он уже не раз видел с Подола. И в какое-то мгновение Ли вдруг ощутил целый вихрь неизвестно откуда налетевших на него тревожных чувств, от которого он едва не потерял сознание, с трудом устоял на ногах, держась за столб контактной трамвайной сети, а когда пришел в себя, увидел, что светящееся облачко уже не над ним, а едва заметно движется где-то над Днепром вверх по течению.

«…В облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо. Непрошенное, незваное явилось оно к нему в гости; чем далее — выяснивалось больше и вперило неподвижные очи. Черты его, брови, глаза, губы — все незнакомое ему… И страшного, кажется, в нем мало, а непреодолимый ужас напал на него… Облако уже и пропало, а неведомые черты еще резче выказывались, и острые очи не отрывались от него», — вспомнил Ли последнюю прочитанную им страницу «Страшной мести». Не зря, видно, ждала его эта книжка на Подоле. «А лотка этого я, кажется, больше и не видел», — подумал Ли.

Медленно продолжив свой спуск к Подолу, Ли попытался

разобраться во всем обрушившемся на него и принятом им, может быть, лишь частично потоке чувственной информации, который по своей мощности и отрицательной энергетике первоначально показался ему инфернальным. Однако более детальный анализ, приемами которого Ли овладевал все более уверенно, показал, что в этом потоке доминируют неутоленная ненависть и жажда возмездия, доходящие или даже превышающие по своей интенсивности тот уровень гневного исступления, который возникал в душе Ли по воле Хранителей его Судьбы. Были в нем и тоска, и безмерная жалость, и отчаяние… Одним словом — эмоциональная основа этого потока была чисто *человеческой*, и Ли тут же вспомнил своего киммерийского попутчика из восточно-крымского «ящика», назвавшего энергоинформационное воздействие некрополей *живым*. У Ли действительно возникло впечатление о своем кратком пребывании в пределах воздействия светящегося облачка, как о встрече с живым существом, но сила энергоинформационного воздействия была таковой, что оно, по впечатлению Ли, могло стать помехой для работающего электронного оборудования.

Когда он пришел в номер, сын уже дремал. Реферат, с которым он прилег, выпал у него из рук. Ли не стал его будить. Сварил себе кофе и сел в кресло под лампу, снова взяв в руки Гоголя. Он открыл книгу на последних страницах «Страшной мести» и поразился, насколько ход мыслей Гоголя *о праве на возмездие*, вложенных им в речитатив слепца, которым завершается повесть, совпадал с тем, о чем он думал с тех пор, как таинственное свечение над днепровскими кручами связалось в его представлении с трагедией Бабьего Яра.

Он вспоминал слова Бунина: ««Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки, — чувство святейшей законности возмездия, священнейшей необходимости торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий ужас и трепет, и разрешается бурей восторга, как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви к Богу и ближнему…» Ли знал эти слова наизусть, потому что чувствовал какую-то их тесную связь со своим Предназначением, с тайной работой Хранителей его Судьбы, хотя сам он в минуты торжества Добра и праведной кары не ощущал ни сладкого ужаса, ни трепета, ни восторга…

Он думал о том, что, как и в старинной легенде, досотворенной Гоголем, в сентябре 1941-го в Киеве братья

предали братьев, не по своей вине стоявших ближе к обрыву. Тех, чей путь заканчивался у этого обрыва, предали не только братья, созданные Творцом из одного и того же воздуха, травы и листвы, — предали дети одного и того же Солнца, одной и той же Земли.

На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной…

Примерно по такой же считалке одним предстоял выход во многия лета, а другим — лететь в провал… Были и те, что наставляли пики, чтобы столкнуть тех, кто пытался удержаться. И Ли вспомнил рассказ своего уже покойного знакомого Антона Черняева о том, что в одном с ним лагере коротал свои дни православный священничек, благословлявший храброе христианское воинство на уничтожение женщин, детей и стариков. «Вежливый такой попик, даже ласковый, — говорил Черняев. — Так он радостно встречал новые и новые партии заключенных евреев, будто чувствовал, что дело его не пропало, что время его вот-вот придет!».

Удивило его и четкое понимание Гоголем того, что возмездие никогда не бывает скорым. Бог дал брату-предателю дожить до конца своих дней на этом свете, пользуясь плодами предательства, и лишь после его смерти отдал его душу на суд душе обиженного, обездоленного брата.

«Что ж, — подумал Ли, — прошло сорок пять лет после предательства. Души многих из тех, кто предал, уже тоже предстали перед Господом, и может быть, все это таинственное движение и есть отражение Божьего Суда? А может, это и не первый суд — ведь был же когда-то искусственный сель, смывший там, у Бабьего Яра, тысячи тонн грунта, или то был просто стихийный протест информационного поля из сотен тысяч безвинных душ против глумления над их памятью?»

А чтобы обрушить перемычку из водонасыщенного грунта, находящуюся на пределе своей устойчивости, вполне достаточно «мухи» в пару сот граммов в нужном месте, — это уж Ли знал абсолютно точно.

«Но тогда, — Ли продолжал то ли грезить, то ли рассуждать в каком-то полусне, сидя в кресле, — здесь следует ждать новой беды. И только ли здесь: но и в Питере, там, где была свалка человеческих тел, превращенная в «мемориал». А в Германии — неужели немцы, для которых мистика — родная стихия, не чувствуют этого?»

Ли не сразу заметил, что наступило хмурое, почти бессветное утро, а когда заметил, то быстро расстелил свою постель, чтобы хоть на часок вытянуть ноги, и чтобы сын не заметил, что ночь он

продремал в кресле. День предстоял хлопотный. На следующее утро Ли встретил Нину, переселил сына в одиночный номер напротив, и все его внимание с этого момента было поглощено делами близких. Тревога же ушла глубоко в сердце, но ничего вокруг не происходило, и Вышгород, и древний Подол жили своей обычной жизнью.

Когда же пришел день отъезда, и поезд застучал по мосту, перенося их на Левый берег, Ли стал у окна в коридоре и внимательно осмотрел открывшуюся перед ним панораму Киева в тысячах огней. Слабым заревом на небе угадывался Подол, скрытый за поворотом реки и правобережных круч. Все казалось спокойным, и каждый огонек, горящий в ночи, был частицей жизни большого и очень благополучного на вид города. Звон стального моста сменился глухим мягким перестуком колес: поезд уже шел по песчаным насыпям-подушкам Левого берега, и, как бывало прежде, в этот момент тревога покинула Ли, все пережитое в минувшие две недели на Подоле ушло в прошлое, и Ли успокоительно подумал, что, может быть, энергоинформационное облачко из неприкаянных душ ушло за утешением к душам его предков-цадиков: Ли помнил, что тетя Леличка, со слов его прабабки Розали, говорила ему, что могилы этих святых людей из его рода находятся где-то к северу от Киева у местечка со странным названием — Чернобыль.

VIII

В Харькове дела окружили Ли плотным кольцом: его уже ждал разбор очередной небольшой, но очень сложной аварии, во время которой погиб человек. Пришлось съездить в Питер, где уют и теплый блеск «Прибалтийской» пополнили его коллекцию «золотых дней»; несколько раз выезжать зимой на объекты. Были и какие-то домашние хлопоты, и ожидание «подтверждения» окончательного решения по защищенной диссертации сына. И незаметно подошла весна 86-го.

Об аварии на Чернобыльской АЭС Ли услышал в поезде, в утренних новостях, когда возвращался в Харьков из Москвы. Сердце Ли дрогнуло, но голос дикторши был, как всегда, бодр, тон сообщения убеждал, что происшествие это — мелкое и незначительное; а после информационной сводки, как всегда, загремела веселая музыка. На работе, куда Ли заглянул на часок, тоже ничего не знали, поскольку электростанции «чернобыльского типа» не входили в сферу интересов его фирмы и опекались какими-то секретными «ящиками». Только поздно

вечером, прослушав «Свободу», Ли понял, что это ОНО, то самое, что он предчувствовал, копаясь в подробностях аварии на АЭС Три Майл Айленд и, особенно, — полгода назад на Подоле.

Как это все произошло, никто точно не знал, даже специалисты. Сведения были очень разноречивы, и это еще раз убедило Ли в вероятности его собственной версии, особенно когда он узнал от геологов о существовании вблизи Чернобыльской АЭС активного тектонического разлома. Один из энергоблоков мог оказаться в зоне взаимодействия мощного выхода планетной энергоинформационной субстанции — тоже «*живой*» (по терминологии того же киммерийского попутчика Ли), но стихийной, той, которую именуют «геопатогенной», с «живой» и разумной, с поглощающей разрушительной жаждой возмездия энергоинформационной тканью, виденной самим Ли в минувшем ноябре, и зависшей в период своей весенней активности над АЭС. Чтобы проверить свои предположения, Ли стал по крупицам собирать сведения о поведении персонала и об обстановке на блоке перед аварией.

То, что он узнал, вполне укладывалось в его схему развития событий. Было все: и свечение, поднимающееся из-под здания энергоблока на сотни метров вверх к темному небу и меняющее свои оттенки, были и люди, потерявшие свою уверенность, — одни из них еще за час и более до аварии бестолково носились по помещениям и что-то кричали почти в истерике, другие — наоборот, почти засыпали, теряя все связи с действительностью. Когда эта картина чуть-чуть прояснилась для Ли, он вспомнил свои ощущения, когда он оказался под маленьким розовым облачком по пути на Подол, и без труда смоделировал для себя поведение операторов, оказавшихся под таким воздействием, когда они находились за пультом управления. Модель и реальность совпали. При таком состоянии людей непосредственное воздействие энергоинформационного поля на электронику, вероятно, даже не потребовалось.

Ли, знавший наизусть Откровение Св. Иоанна Богослова, был одним из первых, кто вспомнил древнее пророчество: «…и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды Полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Но, в отличие от других, он знал и более позднее пророчество, воспринятое им в одном из его полуночных бдений в старых стенах древнего Подола: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света».

«Но если я прав, то *что-то* должно произойти и в Питере, где мне почти всегда было неуютно и тревожно, и в Германии», — подумал тогда Ли. А несколько лет спустя он узнал о решении немцев восстановить у себя еврейскую общину в ее полной догитлеровской численности. Примитивная мотивировка этих действий стремлением повысить конкурентную активность немецкой нации Ли не обманула: он чувствовал, что за этим решением лежит мистический страх перед неприкаянными душами живших там тысячу лет и затем преданных людьми родов, и стремление успокоить их, дать им желанный приют, ибо великая обида нанесена была им, и полагалась за эту обиду страшная месть.

Потом Ли еще много раз приезжал в Киев. Многих киевлян в разные сроки настиг черный свет и ветер Чернобыля. Настиг он и Сашеньку, дав ему пожить так, как он хотел, еще долгие или недолгие семь лет. Последний раз, рассказал мне Ли, они с Сашенькой гуляли по Киеву в самом конце августа 1993-го. Был прохладный, мокрый, почти осенний день — я его хорошо помню, потому что тоже был в этот день в Киеве и решил из-за дождя не выходить из «Лыбиди» и провести день за письменным столом у себя в номере, работая над первой частью «Корректора». Но Ли не ощутил моих размышлений о его молодых годах, потому что с первого момента, когда он и Сашенька встретились возле «Украины» и пошли в «Русь», где Сашеньку знали, — чтобы выпить на веранде по чашечке хорошего кофе, любуясь панорамой города, он заметил желтизну его лица, и все его чувства, все его тайное виденье ушли в печаль прощания, печаль последней встречи.

Для самого Ли Киев после Чернобыля перестал быть тревожным городом: что-то лежащее в этих местах между ним, живым, и памятью его рода исчезло, ушло, как ему казалось, безвозвратно. А может быть, здесь, наконец, выветрился смрадный дух «християнского» попика-иуды, сталкивавшего «святой иконой» в пропасть Бабьего Яра тысячи женщин из рода святой Марии, пытавшихся своими телами закрыть от этого грязного мира своих младенцев, родных и чужих детей, попавших сюда по дьявольской считалочке прямо с золотого крыльца своего старого доброго дома?

На золотом крыльце сидели…

А может быть, в этот многострадальный город возвратился Андрей Первозванный, чтобы можно было сказать: «Клянусь смоковницей и маслиной, и горою Синаем, и этим городом безопасным!»

Книга одиннадцатая
Неизбежное

Время проходит!!! — привыкли вы говорить
по неверному пониманию.
Время стоит — проходите вы.

Талмуд

Клянусь тем, что вы видите и тем, что вы не видите!

Коран, сура 69 «Неизбежное», ст. 38–39

Путешествие в тысячи верст начинается с одного шага.
Будьте внимательны до конца так же,
как и в начале, и вы совершите предпринятое.

Лао Цзы

В этом мире я просто прохожий.

С. Есенин

Непоправимое мое
Воспоминается былое.

А. Белый

I

Когда предсказанный Редьярдом Киплингом характер войны в Афганистане через два-три года после ее бравого начала стал ясен всем, и эта война образовала незаживающую рану на дряхлом теле Империи Зла, Ли часто думал о том, кто же был прав в своих прогнозах о 1984 годе — Оруэлл, находившийся под впечатлением сталинских побед и описавший приход

коммунизма в Европу с усилением сталинщины, или Амальрик, пытавшийся определить, на сколько еще хватит Москве нефти, газа, золота и алмазов, и назначивший этот же год пределом самого существования Империи. Но пришел 1984-й, и стало ясно, что ни один из этих прогнозов не исполнится: призрак коммунизма за пять лет не смог закрепиться даже в Афганистане, куда уж было думать о Европах! Внутри же Империи распродавший ее богатство старый режим еще сохранял свою силу — карал, «мешал», «предупреждал», «высылал». Маразм крепчал, но аппарат трудился как мог, и смена «генсеков» практически не влияла на ход событий, даже когда, как шутили в те времена, «Косасин Ускиныч Черненко, не приходя в сознание, приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза». Другой призрак — призрак «перестройки» — вселил некоторые надежды, но не изменил сущности правящей системы. И вот в начале августа восемьдесят седьмого, еще очень жаркого в Харькове, на втором году «перестройки», Ли и Нина, выбравшись к полуночи на вокзал, только где-то часа в три ночи сели в один из транзитных московских поездов. Нина заснула сразу, а Ли, пропустив свое время сна и переволновавшись у кассы в ожидании свободных мест, вышел в тамбур покурить и подумал о том, что они сегодня продолжили путешествие, начатое летом так и не ставшего роковым високосного восемьдесят четвертого года.

Именно тогда желание увидеть Михайловское стало для них всех и особенно для Ли непреодолимым, и он взялся за невозможное: пересечь Европейскую часть Империи с юга на север в разгаре лета, когда половина ее жителей, как во времена послереволюционной разрухи, была «на колесах» и перемещалась неизвестно зачем и неизвестно куда. Одна из причин этих совершенно невозможных в любой нормальной стране с нормальной экономикой миграций состояла в баснословной дешевизне транспорта: принудительная убыточная стоимость проезда тысячи километров, в купейном вагоне даже самого чистого («фирменного») скорого поезда не превышала стоимости небольшой курицы или одного килограмма клубники в начале ее сезона. Заурядный привокзальный нищий собирал деньги на такое путешествие в течение одного дня. Кроме того, даже при такой мизерной стоимости, треть искателей счастья в движении состояла из всякого рода льготников.

Ли в то время предстояла конференция в Нарве. Он позвонил одному из своих друзей в министерстве энергетики, опекавшему энергосистемы северо-запада Империи, и попросил содействия. Тот передал Ли своей помощнице с наказом выполнить для него

все им желаемое, и он с этой помощницей выработал такой маршрут: три дня в Пскове, с предоставлением ему на один «световой» день легковой машины в полное распоряжение для поездки в Михайловское, потом три дня в Нарве и три дня в Таллинне. В Пскове ему были забронированы два номера в гостинице, а в Нарве и Таллинне — ведомственные гостевые квартиры. Транспортные задачи Ли решил через московских знакомых в московских предварительных кассах, поскольку оказалось, что приобрести в Москве билеты на «обратный выезд» из Харькова в Москву и из Таллинна в Москву значительно проще, чем купить «прямые» билеты в Харькове и Таллинне.

Путешествие распланировалось так четко, что Ли ждал какого-нибудь подвоха, который проявится и все сорвет в последнюю минуту, но в данном случае он был оберегаем Хранителями его Судьбы, и все шло строго по намеченному плану.

Когда они прибыли в Псков и устроились в гостинице, Ли не смог дождаться следующего дня, чтобы воспользоваться машиной, и усадил всех в рейсовый автобус в Святые Горы. Уже на подъезде к святогорскому оазису, неожиданно возникающему из «ничего» и такому не похожему на однообразную равнину, по которой они ехали из Пскова на юг, где буераки, пеньки, косогоры обпечалили русскую ширь, Ли почувствовал что-то необычное в этом уголке Природы и ощутил его особое воздействие на свою душу.

В этот первый свой приезд, кроме Святогорского монастыря с могилой Пушкина и Тригорского, они побывали в Вороничe — в селе и на погосте — и в Петровском. Оттуда, с берега Кучане, они долго рассматривали Михайловское, а затем местным автобусом вернулись на автостанцию. Там оказалось, что рейсов на Псков уже не будет, и они стояли в растерянности. Правда, дежурная сказала, что, может быть, еще будет автобус на Остров, который в расписании значится, но придет только в том случае, если будет исправен.

Ли не беспокоил ночлег — деньги были с ним, а не в гостинице в Пскове, и вопрос устройства на ночь решился бы так или иначе, но завтра утром должна была прийти за ними машина, чтобы быть весь день в их распоряжении, и если они тут застрянут, то все сорвется. Эти мысли вызвали у Ли острую тревогу, и он на мгновение достиг предельного сосредоточения в желании во что бы то ни стало быть сегодня в Пскове. Через несколько минут из-за поворота показался какой-то автобус непассажирского вида, неторопливо ехавший в сторону автостанции. Ли увидел лицо шофера и понял, что тот думает о

чем-то своем, а ведет машину почти автоматически. Ли резко взмахнул рукой, и тот остановился перед ним. Ли открыл дверцу и сказал:

— Возьмешь нас хоть до Острова!

— Возьму вас хоть до Острова, — эхом отозвался водитель.

Они зашли в салон, и еще несколько человек, надеявшихся на автобус до Острова, сели вместе с ними, и шофер, как бы проснувшись, энергично повел машину. Когда подъезжали к Острову, Ли спросил у него, куда он едет дальше. Оказалось, что во Псков.

— И мы с вами, — сказал Ли.

— Ладно! — ответил шофер и добавил: — Там, в Святых Горах, был прямой выезд на шоссе, и я до сих пор не могу понять, почему я так задумался, что вдруг свернул на автостанцию.

— Чтобы нас взять, — улыбнулся Ли.

И Ли вспомнил, как за два года до этого он в сентябре должен был уехать в Москву, а сыну в тот же день нужно было попасть в село, которому его учреждение «помогало» собирать урожай. Ли решил, что до поезда он успеет его проводить по сумскому шоссе до поворота к этому селу и вернуться в Харьков на вокзал ко времени отхода своего поезда. Выехав рейсовым автобусом в ранних сумерках, они доехали до нужного поворота в полной темноте. Минут через пять показался какой-то грузовичок, ехавший в нужное село, и сын сел на свободное место в кабине, а Ли остался на трассе. До отхода поезда ему оставался час с небольшим и двадцать километров пути, но дорога, представлявшаяся ему в его воображении забитой движущимся транспортом в любое время суток, сейчас была почему-то абсолютно пуста. Тогда Ли пережил такое же мгновение предельного сосредоточения на желании *успеть*, как сейчас в Святых Горах, и через пять минут вдали на трассе показалась машина, да еще с горящим огоньком городского такси. На взмах руки Ли она остановилась, и там оказалось *одно* свободное место. Через двадцать минут Ли выходил у харьковского вокзала.

— Сколько я вам должен? — спросил Ли.

— Сколько дадите! Вы же видите, я ехал со своими и по своим делам и вообще не собирался никого брать, но отчего-то остановился по вашей просьбе…

И вот сейчас все повторилось в их первый приезд в Святые Горы.

На следующий день часами к десяти за ними пришла черная «Волга» и служила им до вечера. Тут уже было осмотрено и Тригорское, и Михайловское, и снова Петровское, полюбившееся им с первого взгляда. Конечно, всласть побродить по аллеям им

не удалось, но они сразу же стали пленниками этой Красоты, тем более что был понедельник, привлекавшие экскурсантов экспозиции были закрыты, и в парках Тригорского, Михайловского и Петровского они были одни. Сев на скамью Онегина в Тригорском и глядя на чарующие изгибы Сороти, Ли почувствовал, что здесь, на этих холмах и зеленых лугах с петляющей среди них голубой лентой, отражающей Солнце и синь небес, задержалась частица души того, чья «печаль светла», останется и частица его души, и за нею он сюда еще обязательно вернется.

На следующий день они покидали Псков. Их путь лежал через Гдов вдоль восточного берега Чудского озера, и дорога иногда подходила вплотную к бесконечным песчаным пляжам, а от набегавших волн исходило светло-зеленое с золотом сияние в лучах невысокого северного солнца. Потом была солнечная Нарва со спящими в тишине уходящих белых ночей крепостями, был Таллинн, исполнилось все намеченное, все, что казалось совершенно невозможным.

II

На эти воспоминания ушло несколько сигарет, за окном светало, и день, вернее половина дня, потому что в Москву они должны были приехать во втором часу пополудни, ожидался нервным и хлопотным — билетов на дальнейший проезд у них на сей раз не было, а миграция населения с каждым годом усиливалась, и Ли пошел, чтобы вздремнуть часок-другой.

Летняя Москва как всегда была полусонной в своих спальных городках, на вокзалах же кипела жизнь, как в растревоженном муравейнике. У касс Ленинградского вокзала они застали длинные очереди и сразу установили, что билетов на Псков нет и не будет. Ли помнил, что в свой первый приезд они из Пскова в Святые Горы подъезжали рейсовым питерским автобусом, и поэтому, услышав у «кассы возврата», что какой-то человек хочет сдать два билета в Питер, немедленно их купил. Потом они еще изучали возможность попасть во Псков с юга через Опочку, сев на рижский поезд, но и на Рижском вокзале билетов не было. В этих хлопотах прошло более двух часов, и они никого не сумели в Москве навестить, ограничившись телефонными разговорами.

В Питере, куда они прибыли довольно рано, сразу же поехали за Обводный канал на автовокзал, где оказалось, что целых три автобуса должны вскоре друг за другом отправиться в Святые Горы, и они взяли билеты на ближайший, уходивший часов в

десять утра. До его отхода оставалось два часа, и Ли предложил — кто знает, может быть, в последний раз? — проехаться по всему центру в такси и, не выходя из машины, вернуться назад. От их последнего приезда в Питер еще и года не прошло, но тогда был мокрый сопливый ноябрь, они жили в районе Политехнического и побывали в центре всего раза два-три и то вечером. И они поехали по местам, исхоженным ими, когда они приезжали вдвоем, а потом втроем почти двадцать лет назад, когда их возраст еще начинался словом «тридцать». Было солнечное утро, синее небо, быстрая Нева и такие же быстро бегущие низкие облака, белые, как огромные клочья ваты, с чуть-чуть позолоченными краями.

Дорога из Питера на Псков была очень красива, так же как красив был весь этот день. Когда они получили в свое распоряжение комнату на туристической базе в Святых Горах и вышли за пределы ее территории, то оказались лицом к закату на краю поля, светившегося каким-то теплым, почти солнечным светом. Это был лен.

Времени на этот раз у них было много, и они осматривали окрестности Святых Гор не спеша и в составе «плановых» экскурсий, и с еще бо'льшим удовольствием — самостоятельно. Ли влюбился в окрестности Михайловского и в его парк, но в этих местах он полностью растворялся в Природе, и даже его мысли становились как бы ее частью, а в парке Тригорского, высоко над Соротью, или в Петровском, на пологом берегу Кучане, он, наоборот, мог мысленным взором окинуть себя и свою жизнь со стороны.

В один из их приездов в Тригорское Нина стала увлеченно собирать букетик красивых «диких» цветов, а Ли на это время устроился на скамье Онегина. Его взгляд скользил по изгибам Сороти, а мысли были и во времени, и в пространстве очень далеки от этих мест. Он думал о том, что он уже более шести лет не слышит призыва Хранителей его Судьбы, и если его и посещает ненависть, доходящая до гневного исступления, то она абстрактна, поскольку он был уверен, что ее объектом является не человек, а Система. И вся эта ситуация, и его роль в ней сильно напоминали ему своей, как он считал, бессмысленностью знаменитую «двухминутку ненависти» Оруэлла. Эта его ненависть, предельно сконцентрированная кристаллом хрусталя, была такой сильной, что он стал бояться ее нечаянного воздействия на какого-нибудь «случайного прохожего». И хотя он точно знал, что Воланд прав, и ни один кирпич ни с того ни с сего ни на какую голову не упадет, быть слепым орудием ему не хотелось, и он всякий раз старался побыстрее выйти из своего

«опасного» состояния.

Вспоминая Оруэлла, он думал о том, что и ему самому стоило бы описать и все, что его окружало в разные годы жизни, и все, что с ним в этой жизни произошло. А здесь, на высоком берегу Сороти, когда он, сидя на углу белой скамьи, откинулся назад и прикоснулся головой к старому дереву, сильно склоненному в сторону обрыва бесчисленными порывами ветра в течение его долгой жизни, перед ним возникло видение: полутемная комната, у окна — письменный стол с включенной настольной лампой, за столом сидит человек, а перед ним высокая стопка бумаги — рукопись каких-то записок.

Ли не был уверен, что привидевшийся ему человек — это он сам, хотя бы потому, что у него дома не было письменного стола, но в том, что эти записки писаны им, *он знал точно*. И тогда он подумал: не это ли *знак* Хранителей его Судьбы, второй раз в его жизни легко доставивших его через, казалось бы, непреодолимые пространства сюда, в Касталию, где, без сомнения, бил невидимый источник живой воды. Ли не любил долгих раздумий: когда эта мысль к нему пришла, он сразу же принял решение — по возвращению домой начать «показанные» ему в готовом виде записки. Первые страницы его повествования появились, однако, еще до возвращения домой, и это он тоже воспринял как благотворное вмешательство Хранителей своей Судьбы. Потом дело как-то застопорилось, и со временем он потерял вкус к этой работе, а затем, посчитав свой вывод об *Их* поручении ошибочным, стал подумывать о том, чтобы и вовсе попытаться избавиться от «ненужных» бумаг. Но созданная им рукопись уже жила своей жизнью, имея свою Судьбу и своих Хранителей.

Тем временем приближался срок окончания их путевок в святогорском пансионате, и они решили тоже «в последний раз» отправиться, как когда-то в начале семидесятых из Эстонии, через Ригу в Восточную Пруссию. Экскурсия по Пскову была приурочена к последнему дню, указанному в путевках, и они всласть побродили по старинному городу в «группе» и потом — самостоятельно — до прихода их транзитного поезда из Питера в Ригу. Некоторые храмы на обоих берегах Великой были в состоянии реконструкции и «неорганизованный» доступ в них был открыт. Ли и Нина долго бродили среди строительных лесов, рассматривая старые и уже обновленные росписи.

Особенно поразили Ли росписи в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Мирожского монастыря, датированные последней четвертью двенадцатого века, как гласила надпись на стенде, указывавшем очередность их реставрации, начатой лет за шестьдесят до его прихода сюда. От многих лиц Ли не мог

оторваться: его не интересовало, какого именно святого хотел изобразить безымянный живописец, но он видел перед собой живые глаза людей, живших здесь восемьсот лет назад, и в их запечатленных взглядах были радость и желание, была печаль, в них отражалась *мысль*, и Ли казалось, что если он здесь проведет несколько часов в уединении, весь этот неясный, но воспринимаемый им шум чувств, переживаний и дум, шум давно ушедшего времени будет им расшифрован и — заснувшее царство оживет. Но у него не было этих нескольких часов: подкравшиеся сумерки готовились погасить свет глядящих на Ли очей, да и время отъезда в Ригу неумолимо приближалось.

III

В Ригу их поезд прибыл на рассвете, и, поместив свои вещи в автоматические камеры, они отправились по незабытой ими за минувшие со дня их первого и предпоследнего приезда сюда пятнадцать лет дороге в Старый город. Ли подумал, что Остап Ибрагимович был прав: города, особенно старые, нужно брать на рассвете, когда населяющие их тысячелетние тени отступают в темные подъезды и подворотни, вселяя в случайного прохожего уверенность в том, что он не один на этих узких рассветных улочках: вот кто-то промелькнул в переулке, кто-то зашел в маленький дворик, чья-то тень мелькнула за стеклом массивной двери…

Они вышли к собору святого Якова и с удивлением увидели, что дверь его открыта. Войдя, они услышали звуки музыки, проникающие из закрытого зала. Ли тронул дверь, и она поддалась. Они оказались в совершенно пустом зале и сели в третьем или четвертом ряду от входа. Невидимый органист фантазировал на тему генделевского «Мессии», и эта музыка очаровала и увлекла душу Ли в то небытие, где обитали Хранители его Судьбы. И он снова стал, как один из *Них*, и решал вместе с *Ними*, каким должен быть дальнейший путь маленького грешного Ли на маленькой грешной Земле. Он сетовал на то, что *Они* все и он, как один из *Них*, бездействуют, укрепляя этим своим бездействием силы Зла; он просил *Их* вернуть его к тем, кто действует, а не ждет, но он чувствовал, что сейчас его участь — это ожидание, и молил лишь о том, чтобы пределы этого ожидания не оказались за пределами его такой короткой человеческой жизни. Яркий до этого мир, в который унесла его волшебная музыка, стал блекнуть — это замирали последние аккорды. Тем временем иная музыка зазвучала за стенами собора

— музыка Солнца. Сюда, в этот нарядный зал она проникла через высокие окна и витражи разноцветным сиянием. И Ли здесь уже не только почувствовал, что от него ждут человеческого рассказа о его не вполне человеческой жизни, но и ощутил внутреннюю потребность исполнить этот странный заказ, и свой первый шаг на этом длинном пути сделать немедленно, здесь же в Риге.

В ближайшей кофейне, куда они зашли позавтракать, Ли сказал Нине:

— Давай побудем в Риге несколько дней, поселимся в какой-нибудь гостинице.

— Но ты же не заказывал гостиницу, кто нас примет?

— Попробуем, — ответил Ли, — чем мы рискуем, ведь билеты в Кенигсберг у нас в кармане!

Они взяли вещи на вокзале, и Ли подошел к частному такси. Когда они устроили вещи и сели, шофер спросил, куда их везти. Ли сказал, что им нужно в такую гостиницу, где они могли бы наверняка остановиться. Шофер подумал и повернул ключ зажигания. Минут через десять они подъехали к старинному, из потемневшего от времени кирпича зданию близ нового морского вокзала на широкой Даугаве. Шофер сказал:

— Я могу подождать, чтобы узнать, как у вас получится, но думаю, что все будет в порядке.

После «встречи» в соборе св. Якова с Хранителями своей Судьбы, Ли тоже был в этом уверен и, расплатившись, отпустил шофера. Они получили в свое распоряжение небольшой номерок с «ограниченными удобствами» — в нем был только умывальник, но зато имелся старинный письменный стол. За этим столом вечером после их долгого рижского дня, когда Нина свалилась от усталости, были написаны первые страницы записок Ли. Он был удивлен легкостью, с которой слова ложились на бумагу и как в них оживали Лео, Исана, его собственное детство и весь, казалось бы, ушедший навсегда его довоенный мир. Ему не нужно было ничего выверять и проверять. Просто перед ним возникала подвижная Картина, все детали и тайный смысл которой были ему предельно ясны. Оставалось только записывать. Но в первый вечер и он сам вдруг ощутил сильную усталость, и, написав две страницы, почувствовал, что засыпает. Второй их рижский день также был очень насыщенным: они завтракали в чистеньком и пустынном ресторанчике морского вокзала, потом вышли на катере в открытое море, потом провели вторую половину дня все в том же Старом городе, там же и пообедали в одном из многочисленных кафе, и только когда основательно стемнело, они вернулись в гостиницу. Выпив чая с чем Бог послал, Нина улеглась спать, а Ли снова сел за стол и был поражен: как только

перед ним лег чистый лист бумаги, в его сознании опять возникла Картина, недописанная им вчера с теми же деталями и подробностями. Не было необходимости что-либо *вспоминать*, нужно было лишь продолжить свои записи.

И так было во все дни, отданные ими Риге. Менялись их маршруты, но где бы ни пролегали их дневные пути — по городу или по солнечному пляжу и бесконечной «главной» улице — улице Йомас, идущей через разные городки, образующие Юрмалу, по возвращению в свой гостиничный номер, под едва слышное дыхание спящей Нины Ли писал очередные несколько страниц своих записок, искренне радуясь открывшейся ему возможности вновь пережить непоправимое былое, хоть и не мог себе представить дальнейшую судьбу этого романа с собственной жизнью. Но для себя он сразу решил одно: ни единой строки, отражающей попытку «приспособить» написанное к общепринятым в Империи требованиям, предъявляемым к «продукции» инженеров человеческих душ, в его записках не будет.

С началом своей работы над рукописью Ли вдруг ощутил возвращение смысла в его скучную и серую от суеты и рутины жизнь последних лет. Каждый день он радовался предстоящей встрече со столом и с улыбкой вспоминал об устойчивой, как ему казалось, ненависти к бумаге и перу, возникшей у него от перекрученного им огромного объема писанины, связанной с подготовкой его технических книг, статей, описаний к изобретениям, планов, отчетов и чужих диссертаций. Здесь, в Риге, было совсем другое, и незнакомая прежде радость от преложения в Слово картин бытия убедила его в том, что это такая же нужная Хранителям его Судьбы его работа, как и проводы Насера и всех прочих в невозвратный мир теней, но эта работа создавала, а не истребляла, и потому была бесконечно приятна, утоляя и сердце, и душу, и при этом насыщая их светлой печалью о прошедшем и прошедших. «Я понял задачу, которую дал Бог решать сынам человеков: все он сделал прекрасным в свой срок, но чтоб дела, творимые Богом, от начала и до конца они не могли постичь», — говорит Екклесиаст.

Вот только время, отведенное им для жизни в Риге, подходило к концу.

IV

На три дня в Кенигсберге и два дня обратной дороги работа Ли над записками, естественно, прервалась: этот город и его

окрестности, в отличие от Риги, были населены не только воспоминаниями, но и живыми людьми. Первым доставались короткие сентябрьские дни, вторым — долгие вечерние разговоры и скромные застолья.

Каждое утро Ли и Нина отправлялись на Северный вокзал и уезжали в Раушен, а оттуда — дальше на север полуострова. Их приездами сюда была насыщена первая половина семидесятых, но особо памятными были первое и второе путешествия — долгие три недели в семьдесят первом и недолгие восемь дней в семьдесят втором. И когда они сейчас прошли от кирхи к лестнице, ведущей к морю, и к ослепительной в солнечных лучах белой сахарной дюне у заброшенного причала, Ли показалось, что ниже на два пролета по этой же лестнице спускаются, поглядывая на малинник, две до боли знакомые фигуры — тридцатисемилетняя Нина и их четырнадцатилетний сын. Ли понял, что в этих местах теперь навеки, пока он жив, будут для него обитать любимая и красивая женщина в расцвете лет в наброшенной на плечи голубой куртке, купленной ими в Одессе, и красивый мальчик, мечтающий о куске прозрачного янтаря с мушкой, отлетавшей свое миллионы лет тому назад, так же как в далеком отсюда Сочи вечно бродит по Дендрарию и Светлане тень четырнадцатилетнего Ли.

Ощущение присутствия этих милых теней, по мере того как Ли и Нина шли по пустынному берегу к видневшимся под зелеными кронами деревьев крышам бюргерского хозяйства — их первому приюту на этой осиротевшей земле, все более усиливалось, и Ли был в глубине души рад, что из-за волнующегося моря они не смогли обойти осыпь, перекрывшую им путь: бурные волны ежесекундно накрывали узкую тропку в ее основании. Выхода к их любимому заросшему лесом оврагу со звонким ручьем и подъема к их белому флигелю Ли бы сегодня не пережил.

Следующий день они посвятили Раушену, но этот многолюдный в летние дни курорт хранил образы тысяч людей, и здесь присутствие милых ему теней ощущалось не так болезненно. И была с ними лишь легкая, ласкающая сердце грусть воспоминаний о минувших днях и просто об ушедшем лете, всегда являющаяся к людям, попадающим не в сезон на знакомый курорт, где еще совсем недавно жизнь била ключом и закручивались курортные романы. Волнения, вызванные воспоминаниями, были так сильны, что они засиделись за столом с друзьями до трех ночи. Пили вино, водку и кофе, и никому не хотелось спать. В конце этой нечаянной пирушки к Ли пришла надежда на то, что если он опишет все это в своих записках, то

создаст еще один свой мир, где все ему дорогое и нужное обретет Пространство, в котором не будет Времени, а Исана и Лео, и Ли пятилетний с Тиной, одиннадцатилетний с Рахмой, четырнадцатилетний — с Аленой, дом его дядюшки, его двадцатипятилетняя и тридцатилетняя красавица Нина и их четырнадцатилетний сын и все-все близкие ему люди в этом мире, неподвластном Времени, убивающему все живое, будут жить вечно и счастливо. Эту надежду он лелеял, засыпая, и с нею уснул, а поздним утром их последнего дня в Кенигсберге она, его надежда, а может быть — мечта, проснулась вместе с ним, и он мечтал о том заветном часе, когда он снова вернется к своим запискам. И была она с ним на улицах Кенигсберга, стояла, положив ему голову на плечо над могилой Канта, и не отпускала его от себя даже когда он в идущем в Харьков поезде вышел в тамбур выкурить сигарету.

С нею он погулял по Вильнюсу во время долгой стоянки, и потом смотрел, как бегут мимо его окна и исчезают за лесом острые пики его соборов, устремленные в вечернее небо. Нина, казалось, поняла все, что творилось в его душе, и спокойно ожидала его возвращения в реальный мир.

V

Страна, в которой тогда жил Ли, была еще очень большой, и то, что он и Нина попрощались с давно закончившимся курортным сезоном в Юрмале и Раушене, не означало, что этот сезон закончился повсеместно. И в первый же их вечер по возвращению в Харьков раздался телефонный звонок: из Сухуми звонил Зураб, чтобы сообщить, что просьбу Ли «достать» сыну с невесткой какие-нибудь «приличные» путевки он выполнил, хоть сам Ли успел о ней забыть.

Проводив своих отдыхающих, он и Нина, не сговариваясь, высказали мысль, что хорошо бы после прохладного севера окунуться в теплое южное море. Ли, продолживший потихоньку свою работу над записками, думал еще и о том, что посещение Сочи, Сухуми и Нового Афона будет очень полезно и для этого, все более увлекавшего его дела. И он вплотную занялся выкраиванием свободной недельки из этого беспокойного года.

Первый день «свободной недельки» они провели в поезде. Ли стоял у окна, любуясь таким ощутимым в ранней осени как бы возрождением Природы — восстановлением в своих правах уходящего лета при движении к югу. После Таганрога, спокойного серовато-розового, мглистого в ранних сумерках

Азовского моря и Ростова, когда «на Тихорецкую состав отправился», он ушел спать, а их поезд углубился в бескрайние кубанские степи.

Проснулся он на рассвете, когда за окном, как сорок лет назад в его первом свидании с Кавказом, была видна уже ставшая неглубокой вечная долина с быстро бегущей звонкой речкой, и через несколько минут при одном из поворотов состава он увидел море. Он вспомнил, как впервые в жизни перед ним открылся этот волшебный вид горной долины, впадающей в сине-зеленое море, увидел себя, мальчишку, смотрящего в окно с верхней полки, увидел Исану и с удивлением подумал о том, что он теперь на целых пятнадцать лет старше, чем Исана тогда, в сорок седьмом. Всю дорогу от Туапсе до Сочи он простоял у окна в коридоре, любуясь морем.

Работа над записками невольно пробудила в нем способность видеть все по-иному, и уже устоявшийся за последние годы облик Сочи как самого нарядного и самого «совершенного» из «советских» южных курортов, вдруг затуманился, и сквозь этот туман Времени стали проступать картины сорока-, тридцати-, двадцатилетней давности. Нина с ее великолепной памятью стала ему надежной помощницей в этом воскрешении былого. И перед их слившимся мысленным взором возник веселый шанхай между проспектом Сталина и дворцом-вокзалом, и первые лучи Солнца ранним утром, когда из всех улочек и переулков этого шанхая, из всех комнатушек и голубятен, сданных «дикарям», деловито, как на работу спешили люди на пляж, чтобы, отбыв положенное, посидеть вечером в «Горке» или «Голубом».

Они стояли на Платановой аллее, но в упор не видели многоэтажной гостиницы, нового торгового центра и новых прямых, прорубленных «по живому» улиц, уходящих к вокзалу и рынку.

— Вот здесь, — показывала Нина, — была наша с тобой булочная-кондитерская. Ты еще помнишь вкус знаменитых сочинских слоек и пирожных «трубочка с кремом» размером с молочную бутылку?

И перед Ли, впервые за время их долгой совместной жизни подключившимся к ее подсознанию, возникал четкий образ небольшого красивого домика, и он видел себя еще молодого с малышом-сыном стоящими у дверей булочной в ожидании, когда Нина вынесет оттуда каждому по еще теплой душистой слоистой булочке.

— А в том саду… — сказал Ли, следя за образами, возникающими в воображении Нины.

— Был рыбный ресторан, — закончила Нина.

И Ли увидел их всех вместе, сидящих втроем за столиком, сдвинутым в сторону мелкого бассейна, где в солнечных лучах, пробивающихся сквозь кроны деревьев, серебром и золотом чешуи сверкала форель. Уже принесли обед, и Нина сердито зовет сына, который не может оторвать взгляд от этого живого блеска, от сияния жизни.

Потом они медленно поднимались вверх по проспекту, где только для них приобрели былой облик и незабываемый кондитерский магазин, и блинная, где в пятидесятых еще можно было полакомиться гречневыми блинами с красной икрой.

Наверху они свернули к морю. Там начиналась их земля: в разные годы жизни на всем протяжении верхней набережной от Пушкинской библиотеки до площади перед театром их помнили каждая скамья и каждое дерево. На этих скамейках и за столиками в полукруглом зале ресторана в Приморской гостинице им было двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, пятьдесят, здесь в десятках обликов их сына — от трехлетнего капризули до красивого стройного юноши и, наконец, тридцатилетнего мужчины жила память об их собственной жизни.

— А помнишь?..

Верещагинский пляж они прошли быстро — его прилизанность раздражала — и поднялись в «свой» Курортный парк. День был жаркий, и они выкупались на по-прежнему «диком» пляже Светланы. Ли отметил про себя, что прошло ровно сорок лет и сорок дней с тех пор, как он впервые ступил на эту теплую влажную гальку, но к этим воспоминаниям он должен был прийти наедине, и поэтому он настроил их мысли и беседу на текущие заботы.

В вечерней электричке, идущей из Сочи в Сухуми, ставшая быстро уставать Нина, утомленная длинным и переполненным движением и впечатлениями днем, сразу же после Гагры заснула у него на плече. И Ли опять вернулся в прошлое, вспомнив, как он заснул на плече Нины, когда они лет тридцать назад покидали Ялту, и их автобус петлял по старой горной дороге.

VI

Памяти Зураба Бородзе

В Сухуми их друзья не сумели поселить Ли и Нину поблизости от сына и невестки. Не получилось у них и с гостиницей в центре города — сезон был в полном разгаре: северяне, для которых тогда еще не открылись Мальорка и

Канарские острова, ловили последнее летнее тепло, и все и везде было занято. В результате Ли и Нина разместились в номере с туалетом и умывальником в гостевой части небольшого здания в старинном тенистом парке над широко разлившейся в приближении к морю шумной речкой Келасури, а сын с невесткой жили сразу же за Гумистой в нижней Эшере.

Впрочем, особых трудностей в общении у них не возникало: денег Ли прихватил с собой вдоволь, и проблем с транспортом у них не было.

Сухуми в последнее десятилетие был даже в большей степени *их* городом, чем Сочи, и так как общение с ним было практически непрерывным, щемящих воспоминаний у Ли не возникало. Но в этот приезд получилось так, что свой день они, в основном, проводили на северной окраине города, а на ночлег отправлялись в южное предместье, и Ли был поражен весьма ощутимым контрастом тех смутных отражений воздействия различных мест на его подсознание: вблизи Гумисты его охватывали какие-то неясные предчувствия, порождающие тревогу и беспокойство, а шум Келасури приносил успокоение.

Однако их образ жизни в течение этих длинных, но все-таки недолгих «чистых» пяти дней не давал Ли сосредоточиться на своих ощущениях. Было и традиционное застолье, были и традиционные совместные путешествия по экзотическим окрестностям, вроде Венецианского шоссе. Была и полуделовая поездка в Ткварчели, где Ли воочию убедился, что может сделать с прекрасным горным ущельем небольшая угольная электростанция за два-три десятка лет своей работы, если не обращать внимания на экологию, как это было принято в Империи Зла.

И все эти дни Ли думал о том, что он не может и не должен отсюда уехать, не побывав в «своем» Новом Афоне. Просить друзей организовать ему эту поездку ему было неудобно: они и так немало сил и времени потратили на него и его близких, но Случай, видимо, неслучайный, помог ему легко и просто решить эту проблему: в один из вечеров их вез из Эшеры в Келасури выехавший на своей «Волге» на вечерние заработки армянин. Когда они вышли, Ли вдруг вернулся к машине, и за минуту, чтобы Нина не услышала, о какой сумме шла речь, договорился об аренде этой машины с водителем на весь следующий день.

Утром, когда они позавтракали, машина уже их ждала, и, забрав своих в Эшере, они сразу же отправились в Афон. Там они договорились о времени обратного выезда, и армянин поехал «дорабатывать», а они пошли пешком по знакомым местам. В отличие от Сочи, здесь почти ничего не менялось, и это тешило

душу, но не настолько, чтобы заглушить медленно растущие в ней слабые побеги тревоги.

Ли подумал, что эта тревога есть лишь отражение приближения смены времени года, ощущавшегося во всем вокруг, и надеялся, что там, в долине Псцырхи, где все вечно, душа его успокоится и приблизится к небу, но этого не произошло даже на пороге пещеры, где он много лет назад исполнил волю Хранителей его Судьбы. И тогда Ли окончательно убедился, что этому краю — его тайной стране — грозит беда.

На прощальном ужине Зураб рассказал, что получил приглашение перейти на работу в Кутаисский политехнический. Ли стал советовать ему непременно и как можно скорее принять это предложение, увидев в нем путь спасения своих друзей от будущей беды.

— Ну, а как же это? — спросил Зураб и обвел руками все вокруг. — Тут же столько вложено души, не говоря уже о силах и средствах.

— Ты и Мальвина родились и выросли близ Кутаиси. Человеку необходима возможность ездить по всему миру — это его естественное право, но жить он должен там, где родился, потому что он там и только там есть часть Природы. Людей, живущих не там, где родились, называют маргиналами, и они никогда не чувствуют всей полноты жизни. Неужели я должен все это объяснять имеретинцу, — вдруг рассердился Ли.

— Ну ты же знаешь, что мы проводим в моем селении все вместе не меньше трех месяцев в году, а сам я бываю там каждый месяц, — примирительно сказал Зураб и, поняв, что Ли сейчас скажет, что лучше, чтобы было наоборот — жить там, а три месяца проводить здесь, в Сухуми, перевел разговор на другую тему. Видимо вопрос этот давно уже мучил его и его домашних.

Когда поезд, увозящий Ли и Нину на север, застучал по мосту через Гумисту, Ли бросил прощальный взгляд на огни Сухуми и почувствовал, что видит он все это в последний раз. Но он все-таки не поверил этому предчувствию и отнес его на счет обычной грусти расставания, когда возраст и болезни напоминают о необратимости Времени.

VII

Вернувшись домой, Ли несколько недель интенсивно и с большой охотой работал над своими записками: вероятно, действовали импульсы, рожденные свиданием с уголками Кавказа, связанными с давним и недавним прошлым. Одна

картина вызывала в памяти другую, и первое время работа продвигалась очень быстро. Но потом Ли вдруг стал отвлекаться на внешние и внутренние политические события.

Развитие этих событий убеждало его в том, что он был прав в своем скептическом отношении к объявленной «перестройке». Верховные перестройщики побоялись сделать главное: пока в их руках была власть, нанести удар по разветвленной сети принуждения и слежки, практически уже доведенной до реализации мрачных предчувствий Щедрина, ибо в стране к этому времени на каждые пять человек приходился один «шпион». Где-то наверху небольшая стайка демагогов, чтобы быть принятой в приличном обществе, что-то там фантазировала о свободах и достоинствах, о нравственности и человечности, а безликий «аппарат» делал свое дело: слал молодежь на убой в Афганистан, планомерно доводил до смерти Марченко, насильно кормил Сахарова, не выпуская его из Нижнего, вел «кадровую политику», следил за выполнением «политики партии в области образования», тащил и не пущал, организовывал тотальную слежку за «советским народом» и беззаветно сражался с «главным врагом всего советского — международным сионизмом», для чего был задействован антисионистский комитет из «известных евреев Советского Союза».

Совершенствовалась и внешняя сеть «агитации за социализм» — по-прежнему Империя Зла готовила террористов для более убедительного решения различных спорных вопросов, шли потоки оружия в те уголки земного шара, откуда пожар мог распространиться на остальной мир. В эти годы Ли получил новые подтверждения того, что формула Уоррена: «Мы будем делать Добро из Зла, потому что его больше не из чего делать» — вполне обратима, и в мире нашел широкое распространение способ изготовления Зла из Добра: носители Зла в своей практике широко использовали священные завоевания Добра — такие, как презумпция невиновности, право на защиту, право на политическое убежище, свободу прессы и многое другое, заставляя эти великие достижения людей служить Злу.

В том, что маразм не слабел, а наоборот, по-прежнему крепчал, Ли убедился и на собственном опыте. Примерно в восемьдесят восьмом он был по какому-то случаю в Москве, когда туда прибыла группа специалистов из американской фирмы «Бехтел» для обсуждения планов возможного сотрудничества. Поскольку речь должна была идти об объекте и о проблеме, которыми Ли непосредственно занимался, центральный институт включил его в группу для переговоров. Уже к концу первого дня встречи, происходившей в соответствующем отделе

министерства, министерская вонючка-надзирательница зацепила Ли и, обменявшись с ним двумя-тремя фразами, поняла, что он не «прошел специальной подготовки для встреч с иностранными представителями». С такими же «представителями» из туманного Альбиона в этом же министерском здании Ли беспрепятственно и без всякой «подготовки» встречался, а потом пил водку без надзора «органов» еще в семидесятые годы, когда шпионское ведомство возглавлялось самим Андроповым, и потому он даже не знал об этих «ограничениях». А теперь, несмотря на «перестройку», он был отозван и заменен специально присланным из Харькова «специально подготовленным» человеком, правда, мало что смыслящим в том, что составляло предмет переговоров.

Во внешнем мире Ли также видел признаки наступления Зла. Утвердилась «успокоительная» диктатура в Польше, стреляли без разбора по перебежчикам из одной Германии в другую. Призрак коммунизма после памятного щелчка по носу в Чили готовился, наконец, сделать свой «принципиальный» шаг в западном полушарии, ступить с «острова свободы» на американский континент. Первой континентальной жертвой этого «призрака» должна была стать маленькая страна — Никарагуа, куда без конца накачивалось оружие и прибывали многочисленные «волонтеры свободы» и «военные советники».

Из Москвы все через те же Чехословакию и «демократическую» Германию продолжал экспортироваться терроризм, и во всем мировом кровавом людоедстве, где бы он ни обнаруживался — в Ольстере или в самолетах европейских компаний, у синагог или просто в людных местах, где гибли десятки и сотни невинных людей, виднелась грязная лапа Империи Зла.

Это паскудство творилось, естественно, под многоголосый одобрительный хор самой правдивой в мире «советской» и «народно-демократической» прессы.

Сопоставляя все эти процессы, Ли все чаще приходил к выводу о том, что двадцатый век ничему не научил человечество и что ему не суждено дожить до поворота к Разуму, до торжества идеи единения людей Земли. Этот грустный вывод наводил его на размышления об обреченности его планеты, тем более что признаки такой обреченности непрерывно множились. А неизбежным итогом таких размышлений были мысли о бесполезности жизни, о бесцельности дальнейшего существования. Естественно, ни о каком самовольном уходе он и не думал — сознание абсолютной ценности и неприкосновенности жизни было у него врожденным. Речь шла лишь о том, что эта его внутренне насыщенная многомерная

жизнь вот-вот станет разновидностью растительного бытия, станет элементарным ожиданием Смерти — уделом всего живого.

«У Них ничего не вышло, — думал Ли. — *Они* пытались победить энтропию и создать вечное, не зависящее от сроков жизни Галактики хранилище Информации из непрерывно сменяющих друг друга поколений живых систем, извлекающих из окружающего мира отрицательную энтропию, а произвели скопище недоумков и тщеславных паскудников, мечтающих придать вселенские масштабы своим омерзительным мелочным склокам».

Как это часто бывало и прежде, он в трудные минуты опять обратился к Хайяму. Теперь его внимание привлекли четверостишия, которые он когда-то не замечал. Сейчас они стали ему ясны, и он понял, что всю свою жизнь он шел по тропе Хайяма.

Нам жизнь навязана; ее водоворот
Ошеломляет нас, но миг один — и вот
Уже пора уйти, не зная цели жизни.
Приход бессмысленный, бессмысленный уход.

Ли стал более тщательно прослеживать земной Путь Хайяма, и многие причудливые изгибы этого Пути напоминали ему события и вехи его собственной жизни. Он отвлекся от своих записок и принялся за жизнеописание Хайяма. Закончив его буквально за несколько дней, он то и дело возвращался к рукописи, шлифуя и уточняя эпизоды, страницы, фразы. Каждое такое обращение повергало его в такую светлую и сладкую грусть, что ему хотелось самому раствориться в одной из возникающих перед ним картин, воссоздающих в совокупности этот заветный Путь, манящий своею небесной чистотой и синью.

Один из таких приступов меланхолии закончился тем, что Ли отложил воспоминания, как оказалось — навсегда: он потерял интерес и к прошлому, и к будущему. Его жизнь с этого момента потекла вне Времени, растаяли или уснули все его тайные миры, тихо иссякла его связь с Линой. Вероятно, с исчезновением этих миров ушло и связанное с ними очарование тайны, и он стал просто пожилым, не стремящимся ни к каким должностям и ни к какому влиянию, ожидающим выхода на пенсию «простым инженером». И Лина ушла искать себе опору среди других мужчин, о которых бытовала молва как о людях, имеющих «определенный вес» в маленьком и тесном мирке «отделения» — в парткоме, в дирекции и прочих «властных» микроструктурах. Правда, один секрет у Ли еще оставался: его истинный полный

доход раза в четыре-пять превышал сумму, стоявшую в ведомостях на получение заработной платы в «отделении», но это обстоятельство не было для него предметом открытого самодовольства или тайной гордости и всего лишь означало возможность жить, не считая деньги, и несколько раз в году путешествовать по ближним и дальним краям. Кроме того, этот большой дополнительный заработок вселял в него надежду на то, что, дожив до пенсии, он сможет отказаться от ежедневного посещения уже несколько надоевшего ему «отделения». Судьба, однако, решила иначе…

VIII

Через два года, прошедшие после пережитого Ли «момента смирения», ненавистная ему Система дала трещину и стала медленно разрушаться. Ли не обольщался большими ожиданиями: он видел, что почти везде у власти остались те же люди, мгновенно и очень охотно отрекавшиеся от своего прошлого, но он все же надеялся, что история не повернет вспять, и в будущем эти перемены станут реальностью, и поэтому то, что он дожил до краха Системы или до начала этого краха, он считал одним из самых ярких и дорогих даров Судьбы.

Оказалось, что Амальрик не так уж сильно ошибся. Еще менее ошибся все тот же Розанов: в своих уединенных размышлениях о революции в те времена, когда ее победа еще не была безусловной, он, не назначая конкретных сроков, сказал свои пророческие слова: «И «новое здание», с чертами ослиного в себе, повалится в третьем — четвертом поколении». Крах «нового мира» и пришелся на четвертое поколение.

Прав был и пророк Хлебников в своем утверждении о том, что «Свобода приходит нагая». Неожиданная, как все долгожданное, Свобода обнажила внутреннюю сущность многих представителей «самого передового отряда мирового рабочего класса». Номенклатурные партийные бонзы-идеологи и номенклатурные лжеписатели-конъюнктурщики, имевшие отметку «отлично» по «марксизму-ленинизму» в «институте литературной госбезопасности» и на «высших курсах литературный госбезопасности», вдруг стали исконно-посконными русопятами, поминутно поминающими Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

Еще раз подтвердилась старая восточная пословица: «когда караван вдруг поворачивает назад, впереди некоторое время идет хромой верблюд», и в посткоммунистической империи

«передовое» общественное мнение вдруг стали «формировать» бывшие стукачи-выпускники имперской академии охраны духовного правопорядка с килограммовыми золотыми крестами на набитых красной и черной икрой животах, барыги-мазилки, сколотившие изрядное состояньице на портретах близких и дальних родственников застойных вождей и дипломатического корпуса и перешедшие на кармические групповые портреты «тысячелетней святой Руси», помещая среди великих и малых людей прошлого — поэтов, писателей и царей, убиенных и убивавших, — собственные рыла, ну и, конечно, члены «союза великих советских писателей», сразу забывшие марксистско-ленинскую политграмоту и образовавшие новый «союз великих первописателей земли русской», в котором немедленно были распределены такие престижные должности, как «народная совесть», «борец за святую Русь», «голос русского народа» и проч., и проч., и проч.

Поднялся истошный вой о «вселенской миссии России», будто бы сформулированной Столыпиным и прерванной евреями-большевиками во главе с Лениным. Страницы специфических журналов, в которых сконцентрировалась часть литературщиков из номенклатурных лжеписателей, преобразившихся в «совесть русского народа», запестрели списками «советских органов» и их «сотрудников» 20-х годов с указанием, кто из тогдашних «вождей» был евреем, а кто нет. Собственно говоря, евреями оказались все, даже Рыков. Журналы, оставшиеся в распоряжении номенклатурных лжеписателей «демократического направления», боролись за каждую «кандидатуру», доказывая, что Луначарский не был «этническим» евреем, а жена Рыкова не имела еврейской бабушки. Охота за еврейскими предками деятелей всех времен и народов оказалась настолько захватывающим делом, что один «известный» кретин-лжелитературовед с «диссидентским» прошлым, поскольку в шестидесятые состоял в подконтрольной лубянской «славянофильской» «литературной оппозиции», опубликовал свои доказательства того, что Пушкин погиб в результате сионистского заговора, поскольку один из его недоброжелателей — граф Нессельроде — был сыном крещеной еврейки. Подонка даже не смутило то обстоятельство, что недоброжелателем Пушкина, подталкивающим его к последней дуэли, был вовсе не граф, а известная сплетница — графиня Нессельроде, урожденная графиня Марья Дмитриевна Гурьева — русская до последнего волоска на лобке и складки на клиторе, а сам Пушкин имел изрядную долю абиссинской, а значит — семитской крови, сказавшейся в его облике.

Ли, как уже говорилось, никогда специально не следил за

«литературным процессом», но тут шум и вой были настолько плотными, и маразм так интенсивно пер изо всех щелей, что изолироваться от него было просто невозможно, а составить из отдельных долетавших до его ушей «патриотическо»-клинушеских взвизгиваний и причитаний общую картину неоидеологической какофонии для Ли особого труда не представляло, и, выполнив для себя этот монтаж, он искренне удивился легко различимому даже беглым взглядом убожеству этих «игр патриотов»: в своих запоздалых исторических разборках они старались не выходить за 1935-й год, когда Сталин завершил русский национал-большевистский переворот и когда во всей правящей верхушке империи для блезиру и в благодарность за многолетнюю личную преданность «вождю» были оставлены только два еврея — Каганович и Мехлис, а потом и они исчезли, и тридцать с лишним лет страну возглавляла, если не считать Андропова, чисто русская камарилья. История же XX века убедительно свидетельствовала о том, что Рузвельту, чтобы спасти раздавленные кризисом Соединенные Штаты, потребовалось всего два президентских срока, или 8 лет, Аденауэру, чтобы поднять из руин Германию — 12 лет, и даже послевоенная Франция, терзаемая чехардой беспрерывно сменяющихся премьер-министров, за неполных двадцать лет полностью восстановила свое ведущее положение в европейском мире, но никто и ни разу не задал такой элементарный вопрос: каким же образом еврейская «прослойка» в правящих кругах двадцатых годов, полностью уничтоженная в 1936–1940 годах, могла помешать «избранным» русским народом чисто русскими малинам от Маленкова до Горбачева восстановить «вселенскую миссию» России? Ли долго ждал, что хоть кто-нибудь «справа» или «слева» задаст этот простой вопрос, но не дождался и начал ловить себя на том, что это незатухающее и всепроникающее кликушество стало часто приводить его в то душевное состояние, которое предшествовало хорошо знакомому ему с туркестанских времен гневному исступлению, возникавшему, как он был прежде уверен, по воле Хранителей его Судьбы.

Сейчас у него такой уверенности не было, и он старался убрать коктебельский кристалл подальше, чтобы он не попадался на глаза, — он боялся даже непроизвольного «выбора» лучей Смерти, которые могли поразить, может быть, и крайне вредного с точки зрения Хранителей его Судьбы, но совершенно не знакомого ему человека. Постоянный настрой на ставшую для него универсальной старую медицинскую заповедь «но ноцер» повлиял даже на его характер и поведение в его «открытом мире». Он стал предельно доброжелателен и не позволял себе «взрывов»

на богатой причинами и поводами для скандалов бытовой почве. И он стал еще более сдержан в словах — настолько, что эта сдержанность воспринималась окружающими как полная обтекаемость, на что Ли, впрочем, не обращал внимания. Постепенно такая сдержанность и благожелательность стали его второй натурой, и каждый эмоциональный взрыв этих лет ему запоминался надолго, а один даже попал в эти записки со всеми своими подробностями. Дело было в разгар «перестройки», когда границы «дозволенных речей» даже в «низах» беспрерывно раздвигаясь, ушли за горизонт, и вопрос «вселенской миссии» русского народа с перечислением всех козней всех евреев, когда-то захвативших власть в России, стал темой туалетных и застольных собраний. Когда эта болтовня однажды, в сотый раз, началась во время очередного «товарищеского» застолья, терпение Ли основательно истощилось, и он, чтобы успокоиться, вызвал в памяти приятное видение — красивую лесную поляну, покрытую чистейшим, сверкающим в солнечных лучах снегом. Снег радовал его чистотой и прохладой, поскольку в реальном мире время было летнее и довольно жаркое. Однако это абстрактное воспоминание породило, как это часто бывает, другое, более конкретное, и перед мысленным взором Ли предстала вполне реальная блистающая поляна на опушке подходящего к Нарве леса, мимо которой, сокращая путь, он со своим приятелем-сотрудником, шел на Прибалтийскую электростанцию. Они остановились, любуясь открывшимся им видом, но, как поется в песне, «каждый думал о своем»: Ли просто замер от восторга, и говорить ему не хотелось, а его приятель вдруг совершенно серьезно и очень проникновенно сказал:

— Знаешь, как хорошо на такой поляне, на таком чистом белом снегу присесть и посрать…

Ли был потрясен самой сущностью такого неожиданного и очень не понятного ему желания. Ему в его ковбойские годы, естественно, не раз приходилось справлять нужду среди прекрасных возделанных полей в Долине, и в выработанный им самим, никем не подсказанный ритуал входили такие операции, как устройство неглубокой ямки в мягкой земле и потом заравнивание этого места так, чтобы никаких следов его пребывания здесь не оставалось. Вспоминая потом с улыбкой эти моменты своего детства, Ли думал о том, что принятый им ритуал не случаен и уходит своими корнями в генную память высших млекопитающих. Поэтому услышанное им желание ближнего загадить Красоту его шокировало, и он сказал:

— Ну ты же не собираешься сейчас этим заняться?

— Сделал бы, да нет потребности, — все так же серьезно

ответил его коллега.

Когда все это в какое-то застольное мгновение пронеслось в его памяти, Ли неожиданно для себя самого поднялся для произнесения тоста. В наступившей тишине он сказал:

— Я предлагаю выпить за нашу Великую Мечту! — и, поскольку компания была мужской, тут же пояснил: — Насрать на свежевыбеленный потолок, и желательно, чтобы потолок этот был с красивой лепниной.

— Как это? — этими словами кто-то из пирующих выразил общее недоумение среди общего молчания.

— Не знаю, — серьезно и честно ответил Ли, — Мечта, а тем более великая, не обязательно должна быть выполнимой и объяснимой. Скорее — наоборот. Она всегда должна манить к себе мечтателей!

Ли осушил свой стакан в одиночестве, и разговор о «вселенской миссии» русского народа прервался на его неожиданном тосте. Ли, однако, был собой недоволен: ему не хотелось обидеть коллег, и в течение нескольких дней, последовавших за тем застольем, воспоминание об этом эпизоде порождало в его душе некоторый дискомфорт; уж лучше было бы просто напомнить коллегам, что они живут в Украине, где разговоры о «вселенской миссии России» просто неуместны. Но месяц-другой спустя к нему подошел один из тогдашних собутыльников и сказал:

— Вы, вероятно, еще не забыли свой тост по поводу потолка. Сначала я был им шокирован и даже очень обижен, но, прочитав последнюю повесть Нагибина, я понял, что в вашей мысли было рациональное зерно.

Ли промычал что-то неопределенное, поскольку «последней повести Нагибина» он не читал и читать не собирался, но реакция сослуживца его заинтриговала, и он быстро раздобыл журнал. Нужное место в тексте он нашел без труда: бедный Юрий Маркович во время посещения своего отца в каком-то обосранном общежитии в сердце России зашел в просторный многоочковый туалет и, устремив взгляд ввысь, был потрясен начертанным на белом потолке лозунгом «Гитлер пидорас». Надпись эта была очень тщательно выписана говном. Далее Нагибин приводил свои размышления о технологии открывшейся ему говнописи: во-первых, нужно было отобрать и заготовить эту оригинальную краску, довести ее до нужной кондиции и поместить в какую-нибудь тару для удобства пользования, а во-вторых, поскольку потолок был очень высоким, для выполнения этой работы в туалетную комнату нужно было внести стол и стул или раздвижную лестницу. Неясен был и способ нанесения — не

исключено, что надпись делалась пальцем. «И все — ради чего?» — такой вопрос не давал покоя Нагибину, ибо этому полуеврею, к тому же развращенному переевреенным окружением, было, естественно, не под силу даже догадаться о том, что ему выпало счастье видеть реализованной Великую Мечту, всю прелесть которой он просто не мог осознать.

* * *

Я долго колебался: оставлять или не оставлять в записках Ли этот эпизод, боясь, что он будет истолкован как несвойственный ему антинационалистический выпад. Чтобы принять решение, я еще раз перечитал заметки Горького о том, как была обгажена революционным народом изысканная мебель Зимнего дворца при его так называемом «героическом штурме», после повального изнасилования всего личного состава военизированного женского соединения, охранявшего Временное правительство. Конец моим колебаниям наступил 11 сентября 1996 года, когда многие средства массовой информации поведали миру о том, что в интерьерах четвертой русской Государственной думы был обнаружен обосранный диван и следы вытирания об него депутатского ануса. Учитывая, что местом действия в данном случае была обитель народных избранников, у меня исчезли последние сомнения в том, что этот физиологический акт в отдельных случаях действительно может служить выражением государственной идеи.

К тому же Ли, вероятно, через Космос незримо следил за моими колебаниями, иначе мне трудно было бы объяснить, почему именно в разгар моих сомнений у меня в руках, как некогда в руках у сидевшего в составе своего взвода над выгребной ямой бравого Швейка обнаружился вырванный и смятый листок из бог весть какого романа Ружены Есесенской, оказался фрагментик, судя по шрифту — из «Литературной газеты», и я прочитал очаровательный отрывок из воспоминаний Яновского «Поля Елисейские»:

«Вдруг Поплавский резко остановился под ЛУЧШЕЮ аркою Парижа… и начал облегчаться. За ним, СРАЗУ ПОНЯВ И ОДОБРИВ, Горгулов и я. Там королевский парк и Лувр со всеми сокровищами, а над всем этим — хмурое небо НЕПОВТОРИМОГО РАССВЕТА — ПАХНУЛО ВДРУГ ПОЛЕМ и рекою… А трое МАГОВ, прибывших с Востока, облегчались в центре культурного мира».

Каково?

Впрочем, российские «маги» даже не подозревали, что,

справляя свою малую нужду под лучшей аркой Парижа, они были надежно защищены французским законодательством, опирающимся на кодекс Наполеона, так как полвека спустя перед французским судом предстала Брижит Бардо, посмевшая публично попросить «магов, прибывших с Востока», не мочиться на памятники архитектуры и истории в принявшей их стране. Эта скромная просьба обошлась нашей любимой Бабетте в солидную сумму штрафа.

А завершить эту книгу я хочу очередными и на сей раз, вероятно, уже последними извинениями за резкость суждений, присущую Ли и отразившуюся в его записках. Я просто хочу напомнить читателю, что в данном случае он (и я вместе с ним), как сказал единственный в мире Омар Гиясэддин ибн Ибрагим ал Найсабури ал Хайям, «внимает вести из мира тайного, не знающего лести». Ли, как и Хайям, относится к людям Пути, которым приоткрыта, хоть и не полностью, истинная Сущность вещей. Теперь многие из тех, кто гордился принадлежностью к «самой читающей в мире стране», знают, что какие-нибудь там недавние «герои социалистического труда» Кифа Мокиевич Марков или «Абрашка» (как его именовали Ли и княжна Люба) Чаковский и многие другие вовсе не писатели, и что «поэты», «бросающие в восторженную толпу» неуклюжие словосочетания, и бездарность которых сглажена завываниями, придыханиями и туманными намеками на несправедливость мира, вовсе не поэты, потому что, как говорил Саади, «имеющий в поясе мускус не кричит об этом на улицах — запах мускуса говорит за него».

Но ведь это сегодня, а тогда, в «сумерках свободы» — во второй половине восьмидесятых, не говоря уже о более ранних временах, мы все, кроме, может быть, немногих и неизвестных нам людей Пути, с трепетом следили за новыми интонациями в «творениях» инженеров человеческих душ, за новомировскими увлечениями метростарушек, воспетыми в бойках частушках, обронямых в эфир эстрадопоэтишками между своими четвертыми и пятыми гражданскими браками; мы непременно хотели иметь календари с репродукцией группового портрета скопища исторических лиц от св. Владимира до последнего генсека и с мазилкой-автором в центре композиции, мы с трепетом взирали через телеэкран на православные действа в Богоявленском соборе, не думая о том, довольны ли этим, например, десятки миллионов живущих в стране мусульман; мы радостно внимали Слову Божьему, не задумываясь о том, сколько серебреников тайно «заработали» озвучивающие это Слово грязные уста и т. д., и т. п. Все это было приметами недавнего времени, и нельзя нас судить за нашу наивность, потому что нам тогда это было *нужно*,

и те, кто эту нашу духовную жажду хотя бы частично удовлетворял, кем бы они ни были по гамбургском счету и что бы ни хранили в тайниках своих душ, на мой взгляд, безусловно заслуживают нашей доброй памяти, ибо именно они оказались в нужное время в нужном месте, а выбора у нас не было. «Других пысатэлей у меня нэт», — как говаривал Иосиф Виссарионович.

Книга двенадцатая
Звезда

Клянусь звездой, когда она закатывается.

Коран. Сура 53 «Звезда», ст.1

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний ветер.

Басё

Наша жизнь — росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь — и все же…
Печален мир!
Даже когда расцветают вишни…

Исса

Туда душа моя стремится,
За мыс печальный Меганом.
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

О. Мандельштам

I

Как и некоторые страницы предыдущей книги, эта часть повествования о жизни Ли Кранца написана не по рукописи его воспоминаний, оканчивающихся, примерно, девяностым годом, а по рассказам, услышанным мной от него во время нескольких наших встреч, связанных с моими затруднениями в воспроизведении обстоятельств его научной деятельности.

Может быть, именно поэтому сия книга выглядит несколько фрагментарно: фрагментарность обычно бывает свойственна любым попыткам более или менее связно отразить в

историческом произведении события текущего времени, восприятие которых еще не вылилось в четкие формы. Так, например, если с характеристикой тех же Андропова или Брежнева и их времени сегодня все, в принципе, ясно, и отдельные, не известные пока детали, которые в будущем историки откопают, или как они любят говорить, «введут в научный оборот», ничего существенного не добавят к этим устоявшимся образам, вернее образинам, то будущее восприятие, допустим, Ельцина еще не вполне определено, а так как эта книга адресована, в основном, в будущее человечества, если оно, это будущее, у него вообще будет, то мне не хотелось бы ею вводить в заблуждение людей из этого прекрасного далека и не оправдывать в их глазах справедливость любимой фразы покойного дядюшки, услышанной Ли он него самого, — «врет, как очевидец». Поэтому на этих страницах личных подробностей больше, чем политической жизни. Если же говорить обо всем романе о Ли в целом, то я продолжаю настаивать на том, что роман о жизни Ли Кранца есть сочинение историческое, несмотря на то, что после обнародования его первой части на этот счет были высказаны определенные сомнения.

И еще одно замечание мне хотелось бы высказать в начале этой книги. Она, как следует из довольно путаной хронологии повествования, посвящена годам Ли, именуемым в нашем быту закатными, но «пенсионный возраст» в данном случае, как я заметил, не привел к перестройке сознания главного действующего лица. Наоборот, у меня создалось впечатление, что в жизни Ли, как это неоднократно бывало прежде, сейчас происходит то, что он в своих записках называл переменой декораций, что вокруг него прежнего создаются его новые тайные миры. Какова истинная цель этой невидимой работы и какой срок существования определен этим его новым мирам и ему самому — несколько дней, месяц, год или годы — никому не известно. Да и какое значение для таких, как Ли, может иметь человеческое представление о Времени. Каждое мгновение для них готово стать вечностью и наоборот — вечность может обратиться в одно мгновение. Главным для них остается исполнение Предназначения. Впрочем, сам Ли таких предположений не высказывал, и я повторяю, что все вышеизложенное отражает лишь мои личные впечатления и уверенность в правоте затасканной пословицы: со стороны — виднее. Пусть эти странички, предваряющие последнюю книгу, будут де-юре одновременно и моим личным послесловием к этому такому краткому и такому длинному повествованию.

II

Долгожданные перемены, на которые Ли совсем уже перестал надеяться, внесли существенные изменения в его внешний и внутренние тайные миры. Собственно говоря, единственным изменением в его тайной жизни было исчезновение Ненависти к Системе, Ненависти, до этого не покидавшей его ни на миг. Ли так свыкся с этой своей, казалось бы, вечной ношей, что только сбросив ее, он почувствовал, как она была тяжела и как влияла на его мироощущение. Он даже вспомнил по этому случаю Некрасова:

> Скоро — приметы мои хороши! —
> Скоро покину обитель печали:
> Вечные спутники русской души —
> Ненависть, страх — замолчали

и, вспомнив, подумал, что, слава Господу, его душа изначально была лишена каких-либо страхов.

Избавление от Ненависти придало новые силы Надежде, которую он чуть было и вовсе не потерял. И Ли увидел знамение свыше и высокий символ в том, что одновременно с обновлением этой вечной путеводной Надежды всей его земной одиссеи к нему пришла Надежда живая и теплая, с вечно юной пластикой чувственного поведения, послушная его желаниям и ласкам, давшая ему то, что никогда не могли дать случайные любовные приключения смутных «перестроечных» лет, последовавшие за тихой кончиной их с Линой относительно долгой любви. Несмотря на большой чувственный опыт, выдававший себя в минуты близости каждым ее движением, Ли видел в своей Надежде большого ребенка с совершенным и очень пропорциональным женским телом, и когда им выпали три дня счастья вдвоем, он холил ее, как мать свое малое дитя, а она, инстинктивно понимая, как это для него важно, тоже по-детски отдавалась этой нежной заботе действительно годившегося ей в отцы шестидесятилетнего мужика. Так был восстановлен еще один тайный мир Ли — мир Тины, Рахмы и теперь — Надежды. Внешних же изменений в его жизни было гораздо больше, и они были значительнее. Иные ветры подули в тех областях, где Ли в период расцвета Империи Зла без особого труда и в изрядном количестве добывал свой хлеб насущный. Все, казалось, начинало становиться на свои места, и человек начинал значить то, чем он был на самом деле. Такой подход, естественно, сразу же

обесценил не только «научные достижения» и «ученые степени» в лженауках, но и вообще сам имидж «образованного человека», что сделало ненужной научно-коммерческую деятельность Ли. Потом стали резко сокращаться объемы сначала научно-исследовательских, а затем и проектных работ: открытие иностранного рынка сделало нерентабельной деятельность тех предприятий, которые производили что-либо неконкурентоспособное с зарубежными изделиями. Сначала резко сократился, а потом и вовсе прекратился выпуск продукции во многих отраслях военно-промышленного комплекса. Это, в свою очередь, резко снизило возможность инвестировать средства в промышленное и гражданское строительство и, тем самым, породило кризис в проектном деле, перекрывший еще один ручеек такой совсем недавно верной и солидной прибыли Ли, уменьшившейся в результате всех этих перемен до размеров основной зарплаты, также постепенно понижавшейся за счет инфляции и уменьшения доходов.

Эти невзгоды, вполне реальные и ощутимые, приводили многих на грань отчаяния, но Ли принадлежал к тем, для кого в данном случае положительная сущность качественных изменений была важнее, чем отрицательное сальдо их количественных последствий, и если бы кто-нибудь предложил ему дать общую оценку наступившего времени, он мог бы без особых колебаний повторить слова своего усатого «подзащитного», которые тот любил повторять, начиная истребление очередной «прослойки» в порабощенных им народах: «Жить стало лучше, жить стало веселее».

Образование некоторого денежного дефицита Ли достаточно безболезненно переносил отчасти потому, что уменьшилось количество и сократилась география не только его служебных странствий, но и, можно сказать, полностью отошли в прошлое их путешествия с Ниной, коих еще совсем недавно приходилось по четыре-пять выездов в год. Причем произошло это по объективным обстоятельствам, не связанным с финансовыми затруднениями: здоровье Нины, домашние неустройства и множество иных причин, существующих всегда, но с возрастом становящихся непреодолимыми. Последним годом их двух совместных выездов в Крым был девяносто второй, и это последнее свидание было счастливым и радостным: в окна их тихого номера, где было все, включая телевизор, настроенный на Москву, Киев и Стамбул, смотрели Черное море и отроги Крымских гор, а балкон вообще казался палубой корабля. С прогулочной же площадки открывался весь их любимый вид от Аю-Дага до Ай-Тодора.

III

Вскоре, однако, выяснилось, что далеко не все новое в пределах их бывшего мира столь безобидно, как исчезновение побочных заработков. Ли с тревогой следил за событиями в Сухуми. После первого кризиса Ли весной девяносто второго был два дня в Сочи и позвонил оттуда Зурабу в надежде, что тот к нему подъедет и они проведут вместе пару часов, но Зураб в тот момент был в Имеретии, а Мальвина сказала, что у них все в порядке, в город начинают отовсюду приезжать отдыхающие, и предложила снова после пятилетнего перерыва встретиться осенью в Сухуми. Но через два месяца этот город заняли «подразделения» бандитов, возглавляемые двумя ворами в законе, и началась война.

Зураб позвонил ровно через год, когда Сухуми был окружен горцами. Бандиты поставили под ружье все местное грузинское население. Жену и младшего сына Зурабу удалось вывезти в Имеретию, а в начале осени сам он погиб в бою, пытаясь вынести в безопасное место тяжело раненного старшего сына, пропавшего затем без вести.

В устроенной тбилисскими узурпаторами заварушке погибли не только друзья Ли, погиб для него один из самых им любимых городов, куда он столько лет подряд возвращался как к себе домой. Конечно, он знал, что и залив, и горы, и пальмы неизменны, что смотрят на белый свет окна все тех же зданий, что шумят на своих перекатах Келасури и Гумиста, тихой заводью за Красным мостом подходит к морю Беслетка. Буйная субтропическая зелень по-прежнему укрывает дом Зураба, где живут и не будут счастливы чужие люди, а на набережной и, возможно, в тех же самых местах, что и прежде, можно выпить крошечную чашечку крепкого кофе по-турецки. Возможно, все так же бурлит шумный сухумский рынок. Но этот город без тех людей, что здесь родились, выросли и всегда были его частью, а теперь развеяны в пространстве бытия и небытия, — без них он неполный и неполноценный. Без них он просто точка на берегу бескрайнего моря. Боль утраты.

Будто в глаза метнули
Горстью сухумской пыли.
Как же ваш дом найду я?
Вышли бы, посветили…

IV

Когда-то Ли начал записывать в толстую студенческую тетрадь неожиданно приходившие в голову мысли и потешные словосочетания. Тетрадь заполнялась медленно — многие афоризмы и шутки рождались вдали от нее на его бесконечных дорогах и забывались на пути домой. Но все же кое-что в ней осело. В отличие от рукописи записок, он не спешил с нею расставаться, и я видел ее лишь однажды. Мне показалось, что она содержит только набор шуток, но Ли сказал, что это не так, и прочел мне одну из своих вполне серьезных записей: «Жизнь есть игра заведомо проигранная. Суть дела, однако, состоит в том, чтобы проиграть ее достойно». Я увидел, что именно этой записью открывается заветная тетрадь, а это означало, что она была сделана им еще в молодые годы.

Готовность к смерти пронизывала и все записки этого незаурядного, любящего жизнь человека — от их первой до последней строчки. Но это была готовность к собственной смерти, а не к смерти близких. Он так часто думал о своем уходе, о том, как его Нина будет доживать свое уже без него, что время от времени напоминал ей, где и какие необходимые ей в этом случае бумаги лежат, и как ими пользоваться.

Правда, чем дольше длилась их жизнь, тем больше Ли охватывало беспокойство о том, как она будет одна. Последние годы ее одолевали всякие болезни, но это бывало и раньше, даже во время их путешествий, особенно последних, и Ли считал эти напасти делом возрастным, естественным. «Хроники живут долго», — думал он, помня о том, что ее болезни стояли у самого истока их совместной жизни, и что даже в молодые годы их путешествия постоянно совмещались с ее лечением — так было и неоднократно и в Сочи, и в Лазаревском, и в Одессе, и в Раушене…

И теперь, когда эти странствия ушли в прошлое, уложив спать Нину, напоив ее лекарствами от очередного недомогания, он иногда садился у торшера и минут двадцать смотрел, выбирая наугад накопившиеся за долгие годы фотографии и слайды (Нина любила зримые вехи ушедшего Времени), и когда перед его взором представала молодая красавица, постепенно превращающаяся в пожилую и тоже красивую женщину с немеркнущим взглядом, у Ли сжималось сердце, и он уже не мог спокойно, как прежде, думать о своей смерти.

Он чувствовал свою огромную вину перед нею за то, что каменной стеной оградил ее не только от своих тайных миров, но и от всех превратностей бытия. С тех пор, как она была с ним, она

ни одного дня не ведала недостатка денег — состояния, столь знакомого миллионам «советских женщин». Все тяжелые проблемы, которые иногда подсовывала жизнь, обходили ее стороной не без помощи Ли, и за сотни их совместных поездок один-два раза, может быть, ей пришлось поучаствовать в приобретении билетов. Такая плотная опека напрочь лишила ее самостоятельности. Она привыкла к тому, что стоит ей только сказать Ли о своем желании… Он растил и вырастил красивый комнатный цветок и теперь не знал, как его оставить без ухода.

Инстинктивно Ли был уверен в правоте своих действий: зная слабое с юных лет здоровье Нины, при ее нервной впечатлительности и мнительности, он чувствовал, что, выведи он ее один на один с жизнью в Империи Зла, он давно бы ее потерял, и таким образом, он нес ответственность лишь за ограничение ее личности. «Время жизни за свободу выбора» — такова была по его убеждению формула сделки, навязанной им Нине, и после нескольких трудных столкновений с действительностью Нина покорилась его воле. Эту свою вину он всегда старался загладить, предоставляя ей свободу трат, но она была довольно скромна в чисто женских устремлениях. Ли надевал ей на пальцы золотые кольца, но она, поносив неделю-другую, складывала их в свою шкатулку. Он покупал ей самые дорогие духи, но она ими едва пользовалась: от нее и без духов всегда исходил нежный аромат — не такой пряный, мускусный, как от юной Рахмы, но очень приятный, едва ощутимый, а иных запахов ее тела, запаха ее пота Ли так и не узнал до их последних дней.

Видя ее возрастающую беспомощность, он все чаще вспоминал кончину Ланна и Кривцовой, их совместный уход, но избранный теми способ расставания с земной жизнью — самоубийство — для Ли был по его убеждениям совершенно неприемлем. Надежд же на какой-нибудь роковой Случай теперь, когда их странствия прервались, оставалось очень мало.

Жизнь разрешила его сомнения иначе. Пришло время, когда неожиданно для него выяснилось, что за всеми этими бесчисленными недомоганиями Нины стоит более страшная последняя болезнь, и когда приговор был вынесен, Ли понял, как тяжела ожидающая его утрата, и стал молить Хранителей своей Судьбы ради него продлить ее дни. Были месяцы, когда ему казалось, что Они вняли его мольбе, но потом выяснилось, что все, что Они могли сделать — это избавить Нину от тяжких мук, полагавшихся смертным при постигшем ее недуге. Она уходила на руках у Ли, и ее последние слова о помощи были обращены к нему, как всегда в их пролетевшей как сон жизни — она

привыкла к тому, что он для нее сделает все, но тут он был бессилен.

Ветер холодной Смертью дохнул
На прекрасную Аннабель Ли.

Посреди зимней ночи в полумраке комнаты он прижимался щекой к высокому холодеющему лбу уснувшей навсегда Нины, а перед его закрытыми глазами стоял залитый жарким весенним солнцем Херсонес, колоннада на нижней террасе над самым морем, и он с Ниной прижимаются лицом к вечно хранящему свою прохладу каррарскому мрамору, слушая шум волн в скалистых бухтах. Проходили годы, но они всегда возвращались туда. А теперь?..

В наступившей мертвой тишине Ли явственно услышал звуки органа и обращенную к Богу торжественную музыку, прозвучавшую для них, казалось, совсем недавно в соборе святого Якова в рассветной Риге, и он остро ощутил тяжесть и невосполнимость утраты, но не мог понять, что она означала: его освобождение перед последним боем, предвестие его ухода или просто очередную победу сил Зла, поскольку Добро, как правило, проигрывает все свои сражения, кроме, как всю свою жизнь надеялся Ли, кроме последнего.

V

Заканчивалась первая половина последнего десятилетия двадцатого века. Некогда могущественная Империя Зла распалась на множество малых и больших более или менее самостоятельных государств, разбегавшихся в разные стороны от столь могущественного еще недавно Центра. Многие нити, преимущественно нити Зла, еще достаточно крепко связывали в этих странах тех, кто олицетворяет силы Зла, а нити Добра, как всегда оказались самыми непрочными, и одними из первых порвались связи людей, так или иначе причастных к Знанию, потому что когда делят власть и воруют ценности, никто не думает о Науке. Сами по себе — «из-за отсутствия средств» — прекратились регулярные в прошлом тематические конференции и совещания, на которых Ли всегда был желанным гостем и участником.

Жизнь заполнили совершенно иные заботы, но когда однажды Ли вдруг получил извещение о том, что один из старых и всегда добрых по отношению к нему институтов в Питере

собирается все-таки провести очередное, теперь уже международное, совещание, в нем все всколыхнулось, он, не задумываясь, решил ехать и сразу же послал туда тезисы своего выступления. Он посчитал, что сделал все, что мог, и, зная сколько препон и личных, и общих стоит между его заявкой и его поездкой, предоставил «управление» дальнейшим развитием событий Хранителям его Судьбы.

К его удивлению, по мере приближения срока выезда все препятствия отпадали сами собой, и единственный ущерб, нанесенный Ли обстоятельствами, состоял в том, что его возможное пребывание в Питере сократилось с пяти до трех дней.

Приехало, конечно, не так много людей, как в былые годы, и после разделения на секции, происшедшего еще до появления Ли, совещание распалось на небольшие группы. Несколько лет, пролетевших с момента предыдущей, тогда еще «всесоюзной» конференции, были такими длинными, что люди встречались, как после долгой-долгой разлуки, в которой надежда когда-нибудь увидеться постепенно исчезает полностью. Первый вечер Ли выделил для «пробега» по местам юности — совершил паломничество на Невский проспект и к дому дядюшки на Дворцовой набережной, а на второй — получил приглашение в дом к старому доброму знакомому; узы дружбы и взаимной симпатии связывали их уже несколько десятилетий. Погода на улице была питерская, февральская, когда, как говорят, добрый хозяин и собаку на улицу не выгонит, но идти ему было недалеко: всего лишь пересечь Гражданский проспект и отыскать за парадной линией высоких зданий одну из скромных постхрущевских пятиэтажек. Ли в ожидании наступления назначенного часа немного отдохнул в номере, просматривая купленную им в Доме книги недавно вышедшую очередную «научную» биографию дядюшки. Потом пришли двое москвичей — его соседей по двухкомнатному профессорскому люксу. С ними у Ли тоже немало было связано в прошлом, и потекли воспоминания за традиционной бутылкой. Беседа оказалась такой задушевной и интересной, что Ли с удовольствием остался бы здесь вместо «отсидки» в чопорном обществе нескольких докторов наук. Но делать было нечего, тем более что его предупредили, что на этом вечере ожидается интересное сообщение, и Ли, извинившись, покинул гостиницу.

Гостей в доме его друга оказалось не так много, как опасался Ли. К тому же два доктора разных наук, приглашенные вместе с ним, тоже были его старыми и добрыми знакомыми. Поздоровавшись со всеми, уже сидевшими у накрытого стола, Ли достал пакет с украинским копченым салом, взятым им с собой

«для подарков», поскольку чем-нибудь иным в наступившем торговом изобилии удивить питерцев было трудно, и понес его на кухню, полагая, что хозяйка найдет ему место и применение на столе, но та сразу же отправила подарок в холодильник, сказав:

— Не будем смущать нашу гостью, — и, увидев, что Ли внимательно смотрит на находившуюся тут же на кухне очень стройную и довольно высокую женщину, добавила: — Это Рахима Осиповна Асланжонзода, доктор математики из Ташкента. Вы, наверное, ее знаете, я помню, что ваш доклад был на одной из ташкентских конференций.

Но Ли тогда в Ташкент не съездил…

Женщина повернулась к Ли, яркий свет упал на ее уже немолодое лицо, но Ли не заметил ни седины, ни сетки морщин, он погрузился в сиявшие перед ним огромные зеленые глаза.

— Здравствуй, Рахма-хон, любовь моя, — сказал он одну из немногих когда-то известных ему фраз на фарси, вынырнувшую из неведомых глубин памяти.

— Здравствуй, Ли-джан, любовь моя, — тихим эхом прошелестел ее ответ. Каждый из них поднял обе руки, и их пальцы на мгновение нежно сплелись.

— Но почему ты «зода», а не Юсуфова, зачем ты носишь мужское имя, — спросил Ли на тюркском языке, так же неожиданно вернувшемся к нему из далекого детства.

— Это фамилия моего покойного мужа. Она появилась в печати под моей первой опубликованной работой. Так и осталась.

Хозяйка с удивлением смотрела на них и вслушивалась в незнакомую речь.

— Так вы действительно знаете друг друга? — спросила она.

— Нет, — ответил Ли. — Мне просто с детства хорошо известен ритуал знакомства, и я немного знаю язык.

За столом они сели рядом, касаясь плечами друг друга. Новость, объявленная хозяином, действительно была сенсационной: несмотря на пожилой даже по западным меркам возраст, ему удалось подписать контракт на два года с одной из американских фирм, и этот ужин, как оказалось, был прощальным. Это сообщение привело всех в некоторое возбуждение, и Ли с Рахмой могли время от времени обмениваться никому не понятными фразами.

Из уважения к Рахме Ли отодвинул от себя спиртное, но она сама взяла в руки бутылку с какой-то заморской водкой и наполнила его рюмку, тихо сказав при этом:

— Кубок мой, о виночерпий, ты наполни, как и прежде…

— Мне любовь игрой казалась, но растаяли надежды, — сразу же продолжил Ли самую мистическую газель великого суфи и

великого поэта Хафиза Ширази.

— Я же знаю, что ты на Пути, — сказала Рахма, — и ты должен помнить, что в этой газели есть и такие слова: «Если шейх тебе позволил, на молитву стань с бокалом!»

— «Пусть вино течет на коврик и на белые одежды», — не задумываясь и с улыбкой досказал Ли, — но где же мой шейх?

— Я — твой шейх, — вполне серьезно ответила Рахма.

Ли не удивлялся чистому, без всякого акцента выговору Рахмы и тому, что она «знает» его собственный, никому не известный перевод знаменитой газели Хафиза: он помнил, что они с Рахмой — одна Личность, и их мысли всегда ясны им обоим, какая бы ни была у них знаковая подоснова — фарси, русский или английский язык. Лишь того, почему он так долго был *один*, он никак не мог понять.

В гостиницу они возвращались заполночь. Гражданский проспект был укрыт плотным темным туманом, и в его зловещем дегте едва светился желток уличных огней, а очертания зданий угадывались лишь при приближении к ним. Они шли, взявшись за руки, и шаг их был уверенным и четким, потому что каждому из них было дано иное зрение, перед которым была бессильна Тьма.

У дверей своего номера Рахма сказала:

— Я очень устала. У нас ведь уже утро, и я засыпаю на ходу.

— Я завтра в ночь уезжаю, — сказал Ли.

— Тогда зайди часов в пять вечера.

VI

Ли пришел на полчаса раньше, и все равно отведенные ими для себя такие долгие шесть часов прошли, как одна минута.

— Я о тебе многое знаю, — так начала разговор Рахма, — мне говорили о тебе разные люди, наш внешний мир тесен. И кроме того, мы ведь с тобой — одно целое, и я в любой момент могла увидеть этот мир твоими глазами. Я была с тобой и в Сочи, когда ты попал туда впервые, и там, на даче — и с твоей тенью, и потом — с тобой живым. Я охраняла тебя в Мариуполе. И в пещере ты был не один…

— Мне стыдно, Рахма: ты видела *все*, что у меня было с женщинами.

— Но ведь я сама тебя этому учила, — улыбнулась Рахма, — и ты оказался хорошим учеником. Я делила с ними радость, подаренную тобой.

— Почему же я не был с тобой, если мы одно? Ничего, кроме нескольких снов за все эти годы…

— Я ведь прикладник, и мне, как и тебе, известно понятие «обратный клапан». Я установила его на наших отношениях, иначе они тебе очень сильно мешали бы… И в Ташкент ты не поехал по моей молитве. А сейчас я почувствовала, что пришло время и для тебя, и для меня.

— Ладно. Тогда теперь расскажи все о себе.

— Что рассказывать? Жизнь прошла, как я тебе и обещала. Было все — и хорошее, и плохое. Выросли дети. Ушли многие близкие и друзья. Скоро уйдем и мы. Время близко.

— А как ты оказалась «доктором»? Неужели ты нарушила завет и погрузилась в суету?

— Нет. Я и не думала заниматься наукой. Получив математическое образование, я часто помогала мужу. Несколько моих разработок по методам вычислений он без моего ведома опубликовал — он имел большое влияние в нашем научном мире. Потом одна из работ была перепечатана в Америке и использовалась при разработке ряда очень важных программ. Меня стали «тащить» в науку, но я отказывалась. Тем временем, один из зарубежных университетов избрал меня почетным доктором, и тогда в Ташкенте мне присудили докторскую без защиты — по совокупности работ. Видимо, для статистики понадобилась еще одна «раскрепощенная женщина Востока».

Света они не зажигали, но их глаза настроились на густые сумерки и слегка светились в темноте.

— Ты в *нашем* мире больше не бывала? — спросил Ли.

— Дважды я просила о милости Хранителей наших с тобой Судеб. Пятнадцать лет назад был арестован мой самый любимый брат Юсуф-джан, носивший имя нашего отца, ты его помнишь. Он много говорил и писал о том, что наш народ в своих горах должен править сам, а не подчиняться Москве. Тогда еще в горах не было войны, и он к ней не призывал, а его бросили в тюрьму. Через связи мужа мы с трудом и большими затратами дошли до Черненко, и он устроил нам встречу с Андроповым. Оба они обещали, что брата сначала освободят под надзор, а потом отпустят в Иран, но через месяц после нашей поездки в Москву мы узнали, что Юсуф был убит в тюрьме «уголовниками». А потом кто-то ворвался в его дом, перевернул там все вверх дном и убил нашу старуху-мать, помнишь как она любила тебя и защищала нас с тобой от моего отца, — ей было девяносто лет, и она жила у Юсуфа. После этого я дважды шла по твоим следам, потому что ненависть к этим тварям, как пепел Клааса, непрерывно била в мое сердце. Только отмщение могло вернуть мне душевный покой. Оказалось, что мой дар не был даром Корректора. Видимо, поэтому Они нас с тобой и соединили. Мне

пришлось без твоего ведома прибегать к твоим силам.

Впервые я востребовала их, когда ты был где-то на берегу моря, в очень красивом и таинственном месте, единственном из тех, где я могла подключиться к тебе. И только потом мое гневное исступление стало смертельным оружием, сделавшим свое дело: эти грязные свиньи подохли в муках, став еще при своей омерзительной жизни посмешищем для всего мира. Ты, наверное, ощущал эту бессознательную мучительную работу твоей души и удивлялся, почему к тебе ни с того ни с сего возвращаются полузабытые страдания, сопровождавшие тебя в твоем движении к своим собственным целям.

Я же тогда в полной мере постигла, как тяжела твоя ноша: после этих двух казней я несколько лет лечила сердце, переживая и за тебя, чувствуя, как мое самоуправство прошло по твоей душе и твоему здоровью. Я боялась, что мы уйдем, не встретившись в этой жизни, не договорив все и до конца. Конечно, как и ты, я давно поняла, что Они нас ведут не ради удовлетворения наших жалких обид. Просто, мы — спецназ Господа Бога…

— Я всегда чувствовал в участи этих подонков работу Божьих палачей, таких как я. Я внимательно и с ненавистью следил за их физическим и умственным разложением и был бы счастлив, если бы их судьбы были в моих руках, но я не мог даже предположить, что за этим стоишь ты. Я почему-то был уверен, что казни тебе недоступны.

В какое-то мгновение Ли вдруг увидел себя и Рахму со стороны и сразу же вспомнил когда-то поразившую его «Сказку королей» Чюрлениса: две неясных фигуры в темной комнате, затерянной посреди бушующего за окном зимнего ненастья, одни в бескрайней Вселенной, не знающей, есть ли они, или их нет, тихо и спокойно ведут беседу о власти, дарованной им Судьбой, о Жизни и Смерти, о сделанном и не сделанном ими в рядах помянутого Рахмой спецназа Господа Бога, в рядах, где почти никто не знает друг друга. И весь этот наш огромный, сверкающий несбыточными надеждами мир, казалось, помещался на их соприкасающихся ладонях, уменьшенный до светлого диска с неясными очертаниями городов и весей, где уже совершенно невидимые копошились миллионы так называемых разумных существ, отталкивая и убивая друг друга за право припасть к кормушкам, мечтая о домах, квартирах, дачах, «больших деньгах» и, более всего, о власти, словом, обо всем том, что великий собрат Ли и Рахмы по Господнему спецназу, так же, как и они, знавший о своем Предназначении Альберт Эйнштейн назвал амбициями свиньи. Может быть, Эйнштейн был слишком резок, но сколько можно: ведь около двух тысяч лет назад было сказано:

«Не собирайте себе сокровищ на Земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкопывают и крадут».

А они, Ли и Рахма, склонив головы, увенчанные тяжелыми коронами Предназначения, из своего мира, где никто не боится Смерти, пытаются что-то разглядеть в не понятной и не нужной им суете. Может быть, они искали в этом человеческом муравейнике самих себя: ведь это был один из их миров — мир, открытый всем, где они старались казаться «такими, как все», мир, где уже был почти готов поезд, чтобы через тьму, непогоду и молчание ночи увезти Ли от Рахмы.

Как бы продолжая мысли Ли об их «открытом мире», в полумраке раздался голос Рахмы:

— Ты ведь тоже обо мне знал, несмотря на мой «обратный клапан», — сказала она и засмеялась, — вспомни диссертацию Саидова…

И тут Ли понял, почему фамилия, под которой скрылась Рахма, ему показалась знакомой: чуть более десяти лет назад он сочинял диссертационную работу для некоего Саидова из Бухары, мечтавшего стать кандидатом местных наук. Работу по неписаным правилам этой игры в лженауку нужно было немного «обинтегралить» — этот термин означал, что в диссертацию необходимо было ввести математическую главу, показывающую, что диссертант, как потом напишут рецензенты, «владеет», «свободно использует», «рационально применяет» «современный математический аппарат». В поисках аналога он наткнулся в одном из журналов на математическое решение сходной задачи. Статья была подписана «Р. Асланжонзода». Его тогда еще поразили совершенство и простота этого решения, позволившие ему без больших трудов использовать его канву для Саидова.

— Я была в составе «ученого совета», — смеялась Рахма, — и после защиты, на банкете прямо спросила Саидова, где он взял эту «свою» математику», а он, поколебавшись, назвал твое имя.

VII

Их разговор постепенно затихал. Еще один шаг — и отворились Врата молчания, и раскрылась завеса, скрывающая их самое сокровенное. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, сплетя пальцы, и когда наступила Тишина, к Ли снова пришло ощущение полного слияние их тел, но в них поначалу не было нежной юности, была печаль и усталость. Рахма сразу почувствовала его грусть, и по ее воле их Время двинулось к своим истокам: как при ускоренной обратной перемотке

киноленты — за считанные секунды сменилось множество картин, а потом это движение замедлилось, и над ними засияло яркое Солнце их Долины, исчез сегодняшний слабый запах дорогих духов, и из небытия возник аромат юной Рахмы, ветер благоуханный.

И опять Ли вспомнил образ, живший в нем многие годы: однажды, читая монографию о Богаевском, он увидел среди иллюстраций выполненный художником в начале века фронтиспис. На переднем плане рисунка был фрагмент какой-то мрачной улицы со слепыми окнами серых зданий, с какой-то беспорядочной растительностью, а на запущенной дороге посреди этой улицы валялись руины — обломки каких-то колонн и плит. Улица упиралась в портал, большой полуразрушенный фронтон которого поддерживали две классические колонны и арочный каменный свод с замком.

Но если стать среди этих грустных руин, то там, в проеме портала открывается совершенно иная страна. Там, в ее светлой дали был волшебный изгиб реки, старинный виадук, переходивший в мост, соединяющий ее берега, стройные пальмы и мягкие очертания гор, и над всем этим застыли радостные белые облака. Вид из мистической Таверны Руин…

Долгое время этот рисунок не давал покоя Ли. Ему очень хотелось увидеть оригинал — ведь должен был он существовать, иначе как бы «фронтиспис» попал в книгу? И в конце восьмидесятых, когда он часто ездил в Восточный Крым, он как-то специально выкроил себе полдня в Феодосии и пошел в галерею Айвазовского с твердым намерением упросить галерейных дам достать ему из запасника рисунки Богаевского, так как «фронтиспис» представлялся ему каким-нибудь «листком из альбома».

У входа в галерею Ли увидел афишу, извещавшую о том, что в одном из соседних зданий развернута выставка картин Богаевского, и решил посмотреть ее и уже там поговорить о «фронтисписе» с теми, кто отбирал картины для выставки. Но этот разговор не потребовался: «Фронтиспис» висел в коридоре у входа в один из залов и был очень хорошо освещен. Когда Ли подходил к картине, он услышал последние слова женщины-экскурсовода:

— Этот рисунок интересен тем, что он дает представление о том, как тщательно работал художник: посмотрите на край листа! Видите, это очень толстая бумага, почти картон. Так вот, там где расположен рисунок, особенно здесь, — и она изящной указкой очертила светлые дали в проеме портала, — от многократного перетирания в процессе создания рисунка, бумага стала, можно

сказать, папиросной.

«Видимо, этот рисунок много значил не только для меня, но и для самого Богаевского», — подумал Ли, наблюдая, как «народ», скользнув безразличным взглядом по картине, двинулся за экскурсоводом. Через месяц Ли и Нина случайно оказались в Феодосии вместе. Выставка еще не была разобрана, и Ли специально поставил ее перед «Фронтисписом». Нина тоже оказалась безразличной к этому рисунку. Картины «Киммерийского цикла» произвели на нее более глубокое впечатление, а Ли окончательно убедился в том, что «Фронтиспис» был создан в начале века и извлечен из небытия в его конце специально для него. И теперь встреча с Рахмой, сквозь которую он как сквозь проем в портале ушел вместе с ней из серого мрачного «сегодня» в светлые дали отданного им навеки Пространства и Времени, в их прекрасную Долину, окруженную высокими башнями горных хребтов, открыла ему причину такого сильного воздействия на него этого не замеченного другими рисунка.

VIII

В своих воспоминаниях Ли совершенно не ощутил, не заметил того мгновения, как видения сменились явью, и его призрачный мир стал реальностью. Он сначала как бы извне и откуда-то сверху *увидел* себя, двенадцатилетнего, и юную Рахму на пустом полузаброшенном кладбище, подступавшем к их селу с востока. Они стояли у склепа, и Ли сразу же вспомнил этот склеп: его привлекала не понятная ему в те годы надпись на своде и неотступно манила тьма и пустота там, за полуразрушенной стеной, некогда замуровывавшей вход в могилу.

Потом он ощутил себя полностью в этом зеленоглазом мальчишке, державшем за руку стройную девочку, уже почти девушку с проступающими сквозь платье упругими холмиками на еще недавно плоской груди. Рахма провела рукой по надписи и сказала: «Душа успокоившаяся, вернись к твоему Господу!» Ли хорошо знал «Зарю» — изумительную суру Корана, но не стал продолжать ее словами, отсутствовавшими в надписи.

— Твоя Дверь здесь? — спросил Ли, показав на склеп.

В ответ он услышал голос сегодняшней Рахмы, но губы стоявшей рядом с ним ее юной ипостаси шевелились в такт произнесенным словам, когда этот Голос читал звучные строки:

But were stopped by the door of a tomb —

By the door of a legended tomb —
And I said — «What is written, sweet sister,
On the door of this legended tomb?»

Когда отзвенели слова, будто созданные для этого старинного заброшенного кладбища в прекрасной Долине, Рахма сказала:

— Никто еще не смог перевести эти строки безумного Эдгара на какой-нибудь иной язык. Но нам ведь не нужен перевод, правда?

Ли молчал, зачарованный троекратным заклинанием «tomb» и еще потому, что ему не нужен был перевод, и каждое слово из волшебного гимна Улялюм он всегда носил в своем сердце. Ему, как и Рахме, все было ясно: Эдгар был одним из них, и по какой-то неведомой причине он разминулся со своей «Рахмой». Более того — он хотел видеть ее в Вирджинии — там, где ее не было, но только сейчас Ли понял, что в прочитанных Рахмой строках было зашифровано ее собственное имя, означающее «милость» и «милая», и поэтому она — «sweet sister» — ответила и Эдгару, и ему, Ли, на вопрос о том, что написано на входе в склеп.

* * *

Я перечитал шесть вариантов русских переводов «Ulalume». В этом поэтическом турнире пробовали силы и прославленные стихотворцы (К. Бальмонт и В. Брюсов), и знатоки английской поэзии. Мое исследование лишь подтвердило слова Рахмы, обращенные к Ли, прозвучавшие на краю заброшенного мусульманского кладбища в их параллельном мире: никто из переводчиков не сумел не только адекватно, но даже приближенно передать сказанное Эдгаром По. Как говорится, не для них было писано!

В бумагах Ли Кранца обнаружился и такой отрывок из «Ulalume», написанный его рукой и точнее всех других известных русских переводов передающий содержание и смысл седьмой строфы:

«Я ответил: все это — мечты. Мы погрузимся в это мерцанье! Растворимся в кристальном сверканье! Предсказанья Сивиллы пусты. Луч Надежды и Красоты озарит нас рассветным сияньем».

Есть ли у него полный перевод поэмы — неизвестно. Если нет, то очень жаль.

* * *

Тем временем Рахма, не отпуская руки Ли, вывела его к давно знакомой ему кладбищенской мечети, и этот первый Храм в жизни Ли возник перед ним снова, маня прохладными сумерками, начинавшимися сразу же за раскрытыми настежь дверьми.

— Войдем?! — сказал Ли.

— Туда мне с тобой нельзя, — ответила Рахма, добавив еле слышно: — Не будем нарушать Закон, даже если мы одни во всем нашем с тобой мире.

Она осталась за порогом, а Ли прошел к михрабу и опустился на колени. Молитв он не знал, но, не колеблясь, прочитал одну из сопровождавших его всю жизнь сур Корана — последнее вдохновение Пророка:

— Скажи: «Прибегаю к Господу людей, Царю людей, Богу людей…»

Потом они вышли на пригорок, с которого была видна большая часть села. Над одной из плоских крыш поднимался дымок.

— Это над домом Сотхун-ай, — сказал Ли. — Мы можем пройти туда.

— Незачем, — возразила Рахма. — Все живое, кроме травы и деревьев, живущих по вневременным законам, ушло вместе со своим Временем. Время течет лишь там, где есть живые существа, чувствующие его движение, а вне Времени — там, где мы с тобой находимся — дом Сотхун-ай пуст, и ты увидел лишь последний клубок дыма из его очага, уходящий в небо.

Они обогнули восточную окраину села вдоль залитого водой рисового поля. Увидев едва заметную рябь от неведомо откуда появившихся в этой всеобщей неподвижности круговых волн, как от брошенного камешка, Ли подумал, что, вероятно, мгновение назад — в то самое мгновение, отделяющее его и Рахму от мира живых, в центре этих концентрических кругов поставил свою лапу хорошо знакомый ему аист, скользнувший куда-то вперед по шкале Времени и потому не видимый им. Вскоре они были в их заветном месте на меже, в тени неподвижных кустов и деревьев. Там все было так, будто они совсем недавно отлучились на несколько минут и сразу же вернулись. Ли показалось, что он мог бы по разным сохранившимся в глубинах памяти признакам точно определить, к какой дате реального мира они подошли в своем вневременном пространстве. Но Рахма прервала его раздумья: она сбросила платье и предстала перед Ли в своей ослепительной юной красоте, спокойно позвав его:

— Иди ко мне!

И Ли погрузился в омут их сладкой Игры.

Когда Солнце скрылось за белоснежными горами, окружавшими Долину, Ли и Рахма двинулись в обратный путь.

У невысокого холма, у самых стен мечети их окутала густая южная тьма. По их телам будто пробежала привычная дрожь, отмечавшая в их далеком детстве наступление непроницаемой темноты. Но сейчас, в этом переданном им одним в безраздельное владение вечном мгновении существования Вселенной, биение их детских сердец было подчинено их уже многоопытному Разуму и их единой Душе. Ли показалось, что каждый их неспешный и уверенный шаг отмечен четким ударом бубна, и из его памяти выплыли строки:

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные Знаки,
Пред нами кружились во мраке…

Глаза его уже привыкли к темноте. Он вышел вперед на тропе, петлявшей между могилами. Рахма почти неслышно шла сзади. В этой тишине Ли понял, чего недостает в такой знакомой ему картине: не было детского плача и мелькания горящих глаз: хозяев некрополей — шакалов — унесла река Времени, на берегу которой задержались он и Рахма. Они вышли к склепу со строкой из «Зари». Ли остановился. Подошла Рахма и взяла его за руку.

IX

Через мгновение тьма стала редеть, проступили очертания гостиничного номера, тусклые огни зажглись в туманной мгле за окном. В воображении Ли снова возник «Фронтиспис», и теперь он постиг его глубинную сущность: там, в Таверне Руин, начинался Путь, Путь его и Рахмы.

Их единение еще не нарушилось, и Рахма сказала, продолжив его мысли:

— Уже ничто и никто не сможет нас увести с Пути, и мы никогда не оступимся. Ведь простая мудрость людей Пути, воспетая великим шейхом Руми, навеки овладела нашими душами.

Газель Руми, помянутая Рахмой, имела русский перевод, не вызывавший протеста даже у весьма требовательного в этой части Ли: он лишь слегка подправил текст, пожертвовав ради четкости

смысла правилами иранского стихосложения при оформлении последнего двустишия:

Вы, взыскующие Бога средь небесной синевы,
Поиски свои оставьте: Вы — есть Он, а Он — есть Вы.
Вы — посланники Господни, Вы Пророков вознесли,
Вы — Закона дух и буква, Веры твердь, Вы — Правды львы,
Знаки Бога, по которым вышивает вкривь и вкось
Богослов, не понимая суть Божественной канвы.
Вы — в Источнике бессмертья, тленье не коснется Вас,
Вы — ковер для Всеблагого, трон Господен средь травы.
Для чего искать Вам то, что не терялось никогда?
На себя взгляните — вот Вы, от ступней до головы.
Если Вы хотите Бога увидать глаза в глаза,
Со своей души смахните пыль смиренья, сор молвы,
И любой, как я когда-то, Истиною озарен,
В зеркале Его увидит, ведь Всевышний — это Он.

В сегодняшнем путешествии в отданное Рахме и ему мгновенье параллельного мира Ли видел еще одно подтверждение своему предчувствию, что и он, и Рахма — в Источнике бессмертья, и тленье их не коснется.

Рахма почувствовала едва слышный мотив сомнения в его раздумьях и вслух ответила на невысказанные вопросы:

— Пространство, как и Время, существует только в мире смертных. Мне же всего лишь дарована возможность отделить наше Пространство от Времени.

— Вижу, ты знаешь не одну абстрактную математику, — сказал Ли.

— А разве у тебя есть трудности в познании Мирозданья? Разве тебе не даровано всеведенье? — спросила Рахма.

— Ты права: загадок для меня нет. Давно уже нет, — ответил Ли, почему-то вспомнив в этот момент своего «случайного» учителя физики — Якова Федоровича с его странным вопросом, знает ли Ли что-нибудь об энтропии.

Ли, как всегда, был без часов, но он в них просто не нуждался. Когда ему требовалось, он чувствовал время с точностью до минуты и, вернувшись в свой временный мир за час до отхода поезда, включил свет в номере Рахмы.

Когда этот неяркий электрический свет залил комнату, погас тоненький лучик, исходивший откуда-то с поверхности маленького столика, стоявшего у кровати. Ли подошел к нему и взял в руки лежавший там хрустальный многогранник.

— Чаша Джемшида? — спросил он Рахму. — Ты часто меня видишь в этой хрустальной глубине?

— Как только пожелаю, — серьезно сказала Рахма.

Когда Ли возвращал хрусталик на место, ему показалось, что в его прозрачном омуте мелькнула давно знакомая и дорогая картина, картина изумительной красоты.

— К твоему возвращению на отрогах гор в нашей Долине расцветет миндаль, и вода в обмелевших саях будет теплой, — сказал Ли, не в силах оторваться от своего видения.

— Да, — сказала Рахма, — но я этого не увижу наяву, как и ты: не забывай, что я сейчас живу на севере нашей с тобой страны, куда весна приходит позднее.

— Ты права, — сказал Ли и улыбнулся уже иным своим мыслям.

Рахма встала, чтобы проститься с ним. Ли поцеловал ей обе руки, а она прикоснулась губами к его лбу и только потом спросила:

— Чему ты улыбаешься?

— Тому, что среди имен женщин, с которыми я был предельно близок, нет самого дорогого мне имени «Рахма». Что-то во всем этом есть античное или библейское, из жизни царя Дауда, — ответил Ли.

— Любовь без предельной близости описана и в легендах Ирана, но к нам с тобой это не относится, потому что никакая животная близость никому не откроет того, что мы друг о друге знаем. Разве кончик твоего языка забыл мускус моего цветка, открытого мной тебе, первому на этом свете? Разве шелк твоей плоти забыли мои губы, первый и последний раз открывшиеся для этой ласки, чтобы ты вошел в меня… — Рахма говорила тихо и нежно, глядя в глаза Ли, пока он не прервал ее слова долгим поцелуем.

— Даю тебе мои телефоны не для того, чтобы ты звонил, а так — на всякий случай, — сказала Рахма, и добавила: — Теперь мы два старых человека. Если что-то случится с тобой, я буду знать и скоро умру, чтобы встретить тебя там, где мы сегодня были. Если уйду я, то постараюсь сделать так, чтобы ты прожил в этом мире все время, отмеренное тебе Хранителями наших Судеб.

— Тебе прислать книгу о нашей юности, написанную по моим запискам?

— Зачем? Она ведь написана не для нас с тобой, а для всех людей. Пусть же будет проклят тот, кто станет на ее пути к людям, и тот, кто мог ей помочь на этом пути, но не сделал этого. Аминь. — сказала Рахма, целуя его.

X

Через полчаса Ли был на «Академической». Поезда метрополитена в этот поздний час были уже полупустыми, и Ли получил в свое личное распоряжение целый отсек вагона. Чтобы прийти в норму после невероятных событий двух последних дней, он на несколько земных мгновений ушел в один из своих иных миров: быстро пронеслись бурные неупорядоченные потоки сознания, и вскоре этот Хаос вынес Ли на желанный, издавна знакомый ему берег Моря Одиночества. Он сразу же нашел на этом берегу свое любимое место — там, где давно затихшие бури и штормы вымыли для него удобное кресло, подложив под голову теплый и гладкий камень, и застыл в блаженстве. Вдруг волна тревоги пронеслась в его душе. Он на секунду вернулся в дрожащий и качающийся вагон: поезд проходил «Площадь Мужества». «Здесь неподалеку одно из самых больших кладбищ Земли», — подумал Ли, объясняя себе причины тревоги. Энергия тоски, печали, неутоленных желаний — мощная энергия скорби, как тогда, десять лет назад вблизи Бабьего яра, ворвалась в его мир. И за этим светящимся комом горя мерещился шакалий оскал кровожадных близнецов-каннибалов — Сталина и Гитлера, пожирающих человеческую плоть.

И вдруг в этих незатихающих энергетических вихрях Ли почувствовал нечто иное — тоненькие струйки, тоже несущие в себе боль, но боль *неживого*. Именно такие малые струйки энергетической информации позволяли ему, глядя на аварийное здание, точно определять, что в нем еще может служить, а что требует замены. Вспомнив об этом, Ли даже внимательно посмотрел в окно, но там, как всегда в тоннелях, мелькали огоньки, и свет поезда выхватывал из тьмы фрагменты мокрых серых стен, может быть, слишком мокрых, только и всего.

В этот момент тревога начала оставлять его. Поезд прошел «Лесную», и Ли, в который раз вспомнив свою любимую фразу: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казенной надобности», вернулся на свой заветный Берег.

А потом отдаленным эхом разговора с Рахмой и ее рассказа о своей мести кремлевской мрази пришло к нему понимание того, что, после переправленного его любимой через прозрачный Ахерон Андропыча, время, когда олицетворением Зла становилась какая-либо одна личность, прошло и, может быть — навсегда. Он просто не заметил и пропустил тот момент, когда носители Зла стали размножаться простым делением, и те, кого он прежде считал скопищем безликих холуев, так и не обретя

собственных имен, постепенно в своей гнусной совокупности, для которой люди придумали тысячи наименований — от старой доброй «бюрократии» до самой современной «номенклатуры», обрели самостоятельность и определяющее влияние — влияние Зла — на течение событий. И он понял, как усложнилось бремя корректуры, бремя Хранителей его Судьбы. И пережитые им в последние десятилетия «слепые», безадресные вспышки гневного исступления получили, наконец, свое объяснение…

XI

В вагон своего «фирменного» поезда Ли зашел минут за пять до отхода. По старой питерской традиции в купе были застелены не только верхние, но и нижние полки. Заботливый проводник, вероятно, включил обогреватели не менее часа назад, и в вагоне стояла почти тропическая жара. На одной из нижних полок уже лежало что-то очень красивое и почти раздетое, а верхние были пусты.

При более близком рассмотрении это «что-то» оказалось разметавшимся во сне молодым парнем. То ли игра света и тени в полуосвещенном купе придала этому распластанному телу и бледному лицу с закрытыми глазами, с черными ресницами и тонкими бровями черты истинной Красоты, то ли так оно и было, но Ли застыл в полной неподвижности, любуясь открывшимся ему совершенством творения.

Вскоре, впрочем, внимание Ли привлекла маленькая темная родинка на тыльной стороне изящной и сильной ноги почти у самых плавок. Точно такую же родинку, точно в таком же месте точно такой же изящной и сильной ноги юной Рахмы он целовал час назад, открывая своими поцелуями и погружая свое лицо в живительную теплоту ее самого сокровенного.

Ли не смог себя сдержать и его рука нежно прикоснулась к смуглой коже. Как и у его Рахмы, эта родинка была темным пятнышком, не нарушавшим ее гладь. От прикосновения Ли парень томно застонал и повернулся на бок. Ли вышел в тамбур, закурил сигарету и, обратившись, как всегда в минуту волнения, к одному из своих великих шейхов, сразу же услышал его тихий голос:

> Встань, отрок! Не дразни меня красой своей,
> Мне пожирать тебя огнем своих очей
> Ты запрещаешь. Ах, я словно тот, кто слышит:
> Ты чашу наклони, но капли не пролей!

Он вспомнил, как более полувека назад его собственная юная свежесть манила старших и старых, и он впервые в жизни вдруг подумал о том, что его непоколебимая стойкость привела к чувственным утратам: ступив по воле Рахмы на тропу, ведущую в мир женской радости, он не прошел этот путь до конца.

С этими мыслями Ли вернулся в купе и лег на свою полку. Под мерный перестук колес пришел к нему крепкий сон. Начинался очередной и, вероятно, последний круг его земной жизни.

1998

Эпилог

Не бойся плоти и не люби ее.
Если ты боишься ее, она будет
господствовать над тобой.
Если ты полюбишь ее,
она поглотит тебя.

Евангелие от Филиппа, 62

Мир произошел из-за ошибки,
ибо Тот, Кто создал его,
желал создать его негибнущим
и бессмертным.

Евангелие от Филиппа, 99

Тот, кто обладает знанием Истины, — свободен.

Евангелие от Филиппа, 110

Заканчивая свою работу над рукописью второй части записок Ли Кранца, я практически одновременно готовил к изданию небольшое собрание христианских апокрифов и в одном из них — Евангелии от Филиппа — нашел, как мне показалось, прямую связь с его делами и жизнью и объяснения некоторым его поступкам. Кроме того, как, вероятно, заметил читатель, в последнее время я довольно часто общался и с самим Ли Кранцем. У нас состоялось много бесед, уточнивших отдельные эпизоды его биографии, даже те, которые нашли свое отражение в первой части его жизнеописания — в «Корректоре».

Так, например, в одной из них Ли вернулся к вопросу о выборе им специальности. Все оказалось не так просто и не так легкомысленно, как это было изложено в его записках. Еще в 49-м, предвидя торжество антисемитизма в России, дядюшка и тетя Леличка предложили ему усыновление. Эта несложная операция, во-первых, делала его «русским», а во-вторых, давала ему фамилию, с которой можно было успешно стартовать во взрослую жизнь. Особенность же и главное условие этого успешного старта состояли в том, что стартовать Ли предстояло в гуманитарной области, где фамилия дядюшки значила очень много. Однако Ли уже тогда понимал, что в Империи Зла гуманитарию предстоял выбор — либо полностью забыть о существовании совести, либо

вступить в Игру, зная наперед, что твой противник — наперсточник. В Игре же более сильный противник, а сильнее наперсточника игрока не бывает, явно или неявно подчиняет слабого своей воле. Слабый думает, что он надежно спрятал крамольную рукопись, а наперсточник точно знает, где она лежит, потому что его подручные помогали «крамольнику» ее прятать. Слабый думает, что он ловко переправил свою писанину за рубеж, а оказывается, что его «отважными почтальонами» и «курьерами» были люди наперсточника и т. д., и т. п. Дело в том, что истинные границы Игры знает только наперсточник, а его храбрый партнер лишь слепая игрушка в его руках.

Изложив таким образом свои взгляды на «диссидентский» вариант своего «русского» будущего, Ли сказал:

— Я, по воле Судьбы знавший свое Предназначение, должен был оставаться невидимым, и, чтобы облегчить мне выполнение этой задачи, мои Хранители одарили меня непреодолимой брезгливостью, исключившей какие-либо контакты с охранительными учреждениями и многочисленными стукачами, которых я без труда различал даже в густой людской толпе. Совет бывалого уголовника избрать строительную специальность я не придумал. Он был, но он не был решающим. Более важным аргументом в пользу моего выбора было то обстоятельство, что все прочие инженерные профессии были связаны с заводами, а завод с его оградой, частенько украшенной колючей проволокой, с бдительной охраной и прочими прелестями всегда был для меня разновидностью концентрационного лагеря. Так что я выбрал свободу, хотя и весьма относительную, но о своем выборе, как вы знаете, ни разу не пожалел. Обретенное мной «общественное положение» давало мне возможность полностью избегать контактов со спецслужбами, и несмотря на то, что по долгу службы мне приходилось бывать и на «закрытых» объектах, и в ЦК КПСС на Старой площади, и в Совете министров, я никогда не оформлял каких бы то ни было «допусков», оставаясь своего рода «человеком-невидимкой», находясь лишь под поручительством влиятельных лиц, которым я был необходим. Чтобы оставаться не замаранным контактами со спецслужбами, я для себя сразу же отказался от столь заманчивых для «советского человека» заграничных командировок, организовать которые при моих министерских связях мне не стоило бы большого труда, но никакие связи не смогли бы меня оградить от обязательного для «отбывающих за рубеж» общения с «бойцами невидимого фронта». Так уж было принято в исчезнувшей Империи Зла. В конце концов, задолго до моего появления на свет Божий было сказано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит

на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Я всю жизнь лишь старался следовать этим Словам.

Эти слова Ли опять напомнили мне Евангелие от Филиппа, где было сказано: «Совершенный человек не только не сможет быть схваченным, но не сможет он быть и увиденным. Ибо если он будет увиден, его схватят».

Наши встречи и беседы прояснили для меня многое, но далеко не все. И мне опять, как и во времена подготовки к печати первой части его записок, чтобы сверить свои впечатления от общения с Ли, захотелось поговорить с кем-нибудь из тех, кто знал его в зрелом возрасте, несмотря на появившееся у меня подозрение, что всю свою жизнь он прожил в полном духовном одиночестве, не испытывая потребности в близком общении с кем-либо. Лишь одно имя не безразличного ему человека появилось на исписанных им страницах — этого человека он именовал Мишей, и получалось, что Миша мог быть в определенной степени посвящен в его личные планы или в некоторую их часть, и, кроме того, как-то связывал его с Туркестаном. Адрес человека, носившего имя Михаил, я случайно обнаружил на обороте одного из листов в записках Ли. Судя по этому адресу, Михаил жил в Днепропетровске, что также соответствовало ориентирам, приведенным во второй части его жизнеописания. Вскоре после моей находки другие дела привели меня в Днепропетровск, и я решил попытаться встретиться с Мишей, но оказалось, что опоздал: Михаил, по словам соседей, скончался в 1997 году, а на улице в это время уже начинался двадцать первый век. И в квартире, где, вероятно, не однажды происходили его встречи с Ли, жили другие люди, ничего не знавшие о ее прежнем обитателе и его гостях. Окна этой квартиры выходили на набережную. Я прошел туда, к голубой ленте Днепра, сел на скамейку, повернувшись лицом к дому, и попытался представить себе не очень далекое прошлое, связанное с пребыванием Ли в этом малом уголке его полупризрачного мира. Задумавшись, я просидел там, пока не стемнело, и в интересовавших меня окнах зажглись огни другой жизни.

Таким образом, в мире живых из близких Ли людей оставалась, по-видимому, одна лишь Рахма. Но Ташкент, где ее, конечно, можно было бы разыскать, поскольку даже там женщин — докторов математики было не так много, находился за тридевять земель, отделенный от меня двумя огромными странами, дел у меня там никаких не было, а предпринимать столь дальнее путешествие ради своего любопытства, хоть и не совсем праздного, я не мог себе позволить по чисто экономическим соображениям.

Рахма, конечно, находилась в отдалении от повседневной жизни Ли в ее харьковские десятилетия и вряд ли могла бы прокомментировать многое из того, что с ним в эти годы происходило. Но она могла бы подсказать мне, каким образом она, связанная невидимыми нитями духовного общения с Ли, силами своего духовного двойника уничтожала всякую нечисть, порожденную силами Зла. Теперь я должен был попытаться разобраться в этом сам. Не зная и до этого момента не интересуясь биографиями Андропова и Черненко, я по доступной мне весьма скудной информации захотел определить, не наблюдалось ли что-нибудь общее и в определенной мере сверхъестественное в событиях, предвещавших кончину этих подонков. И, как мне показалось, нашел: оба они вступили на путь Смерти в тот момент, когда изволили с удовольствием поглощать пищу — Андропыч что-то остренькое в Афганистане, а Устиныч — в Крыму побаловался копченой рыбкой на берегу Черного моря. При этом никто из их сотрапезников не пострадал. Поскольку рядом с ними не было пророка Даниила, то неизвестно, появлялась ли на этих пирах «кисть руки», начертавшая слова: «Мене, мене, текел», и видели ли эти навуходоносоры во снах своих какие-нибудь кошмары, возвещавшие их скорое разрешение от бремени земного существования, но мое убеждение в Истине, лежащей в основе всего сказанного Рахмой на ее встрече с Ли в Санкт-Петербурге, упрочилось. В конце концов эти люди — Рахма и Ли — пришли в наш мир, чтобы творить Возмездие! Чему же тут удивляться?

На этом все свои дополнительные биографические изыскания прекратил и продолжил подготовку к печати второй части рукописи Ли. В ней, так же как и в первой, обнаружилось несколько отдельных, вполне завершенных рассказов Ли, но для публикации в качестве приложения к этому повествованию я выбрал лишь один из них — «Бумеранг», в котором ярче, чем в других, отразились представления Ли о Законе Неотвратимости Возмездия, внушенном ему свыше, и не приведи Господи, чтобы объектом Возмездия стало, в конце концов, все человечество, а к этому, вроде бы, идет.

2005

Бумеранг

In my beginning is my end.

T. S. Eliot

В моем начале — мой конец.

Т. С. Элиот

Осенние сумерки скрыли убожество номера, расположенного в бельэтаже третьеразрядной бейрутской гостиницы, и лишь сполохи, порожденные игрой света и тени на экране телевизора, на мгновение освещали различные предметы скудной обстановки и лицо человека, погруженного в свои мысли и не обращавшего внимания ни на рекламу, ни на связанные с этой рекламой веселые интермедии.

Вдруг весь этот яркий поток иссяк, и на экране появился сидящий в кресле, на фоне пестрого ковра, человек в белых одеждах с черной повязкой на лбу. Ведущий представил его как шейха аль-Казима, руководителя организации Анва [1], сражающейся за освобождение Святой земли.

Уже само появление шейха на экране вывело постояльца этого гостиничного номера из его задумчивого оцепенения.

— Так ты теперь, оказывается, шейх! — сказал он вслух, не отрывая взгляда от аккуратно подстриженной густой черной с проседью бороды на смуглом лице, заполнившем экран, и от пронзительного взгляда больших черных глаз.

Тем временем шейх уже завершал свое довольно краткое выступление словами:

— И пусть весь этот легион пришельцев из северной страны не рассчитывает, что Святая земля когда-нибудь сможет стать родиной для них и их детей. Эта земля будет гореть у них под ногами, и не найдут они спасения ни на воде, ни в воздухе. У них лишь один выход — навсегда вернуться туда, откуда приехали, и чем скорее, тем лучше!

На экране снова замелькала реклама. Человек выключил телевизор и, подойдя к окну, распахнул его в темноту наступившего вечера. Вместе с неясным шумом города в комнату влился свежий воздух, пришедший с близких гор. Человек сделал глубокий вдох, и ему показалось, что в этом слабом дуновении он уловил благоухание лесов, рощ и садов, лежавших на обласканных легким ветерком пологих склонах.

— Шейх аль-Казим… Анва… — повторил он сам для себя недавно услышанные имена. — А что, может быть, стоит и навестить отважного шейха?

* * *

Человек неопределенного возраста — ему можно было дать и сорок, и пятьдесят лет — упругой бесшумной походкой подошел к воротам в глухой стене на окраине Бейрута. Его приближение к этим воротам не осталось незамеченным и, когда он приблизился к ним, одна из створок приоткрылась, и в проеме показался молодой парень, вооруженный до зубов.

— В чем дело? — лениво спросил он.

— Мне нужно к шейху, — ответил гость.

— Многим нужно к шейху, — процедил парень.

— А ты доложи, что пришел Ансар, и посмотрим, что будет, — мирно сказал гость.

Парень закрыл ворота и достал мобилку.

Через несколько минут ворота снова приоткрылись, и Ансар был пропущен внутрь. Стоя по ту сторону ворот, он увидел обширную территорию с различными постройками, а на заднем плане открывшейся перед ним картины заметил два больших ангара.

Тем временем парень протянул ему плотную черную повязку, показав жестом, что он должен ею завязать глаза. Он нацепил эту повязку кое-как, а парень поправил ее и затянул потуже, и уже другой человек, невесть откуда взявшийся, взял Ансара за локоть и повел в глубь двора.

В каком-то помещении Ансара остановили, и когда повязка была снята, он увидел «шейха алКазима».

— Здравствуй, Мунзир![2] — обратился он к нему.

— Здравствуй, Ансар, — тихо ответил «шейх».

— Удивил же ты меня! — сказал Ансар, — Какой же ты «шейх»? Ты что, забыл, как мы с тобой свиным салом закусывали самогон в Перевальном?

Слово «самогон» было сказано порусски.

— Забыл… Время меняется и изменяет нас.

— И полковника Перщикова забыл? И не помнишь, как он ласково называл нас с тобой «мои любимые бандиты»? — последние три слова Ансар снова произнес порусски и продолжал: — Ты ведь и по марксизму успевал лучше меня!

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», — улыбнувшись, «шейх» все так же тихо и с трудом выговорил

засевшие где-то в глубинах памяти чужие слова на чужом языке.

— Ну вот, теперь вижу, что помнишь, — удовлетворенно заметил Ансар. — И чем же ты сейчас занимаешься?

— Воспитываю воинов Аллаха, готовых умереть в борьбе с неверными, чтобы попасть в джанну[3], в обитель вечного счастья!

— Оставь в покое Аллаха! — сказал Ансар. — Ты всегда плохо знал Коран. Мы с тобой бандиты, а не воины Ислама. Аллах сказал в Коране, что Он не любит нападающих, а нас в крымском лагере псы-кафиры[4] учили нападать, да еще исподтишка, и этому же ты, наверное, учишь теперь других, поскольку иных знаний у тебя нет. Но ты обманываешь их, обещая джанну, когда в действительности их, как и нас с тобой ждет огненный джаханнам[5] а это поистине скверное обиталище!

— Думай так, если тебе это нравится, — спокойно ответил «шейх», не желая поддерживать спор.

Ансару тоже вдруг расхотелось спорить, и он переменил тему:

— Устал я, Мунзир, — сказал он совсем другим тоном. — И возвращаться в Африку мне не хочется, не хочется воевать. Я хорошо знаю всякую технику, может быть, я пригожусь тебе здесь, в лагере?

— Постараюсь помочь тебе, Ансар, — ответил Мунзир. — Скажи только, где ты остановился. Тебя найдут.

У входа, как по команде возник сопровождающий, и когда повязка уже была надета на глаза Ансару, «шейх» едва заметно сдвинул брови, а парень, готовившийся выйти из комнаты вслед за гостем, также едва заметно кивнул.

* * *

Забор, вдоль которого шел Ансар, закончился, а дальше был пустырь: некогда стоявшие здесь дома во время войны были разрушены бомбами. Ансар медленно шел по дороге, которая лет двадцать назад была оживленной улицей, и думал о превратностях судьбы. Погруженный в невеселые мысли, он не сразу заметил тень, мелькнувшую в развалинах, а когда почувствовал опасность и схватился за свой пистолет, было уже поздно: прозвучал негромкий выстрел и он упал от сильного толчка в грудь. Глаза его закрылись, но мозг был еще жив, и в его угасающем сознании промелькнули последние сказанные им самому себе слова: «Как же я все-таки постарел!»

В это время из развалин появился один из охранников «шейха» и с пистолетом в руке неслышно подошел к Ансару.

Последовал контрольный выстрел, и тело боевика, уже бездыханное, вздрогнуло, как будто в него на мгновение вернулась жизнь.

* * *

Через несколько часов после ухода Ансара в комнате, где его принимал аль-Казим, он же Мунзир, собрались на совещание соратники «шейха». Все почтительно ждали, когда он прервет затянувшееся молчание. Наконец, «шейх» вернулся на грешную землю из своих межзвездных скитаний и задумчиво сказал:

— Сегодня я потерял своего лучшего друга…

Присутствующие, сотворив на своих физиономиях скорбные мины, постарались своим видом и вздохами убедить «шейха», что они разделяют его горе. Помолчав еще несколько минут, «шейх» уже твердым и внушительным голосом человека, привыкшего повелевать, начал свою речь:

— Вы все слышали, как я публично пообещал пришельцам из северной страны, что, если они не уберутся отсюда, им не будет спасения ни на земле, ни в воздухе. Теперь мы должны им показать, что это не пустые слова. Наш большой друг Абд Аллах, я говорил с ним вчера, предложил следующий простой план: среди пассажиров одного из рейсов в северную страну окажется шахид, и самолет не долетит до цели.

— План этот действительно прост, но ты знаешь, мой шейх, что никакой шахид, тем более с «подарком», не пройдет контроль в аэропорту йахудов, — почтительно возразил один из участников совещания.

— Это тоже предусмотрено, — сказал шейх, — шахид зайдет на борт самолета во время промежуточной посадки.

— Но ни один самолет, летящий в северную страну, не совершает промежуточных посадок, — не унимался все тот же оппонент «шейха», — и их полеты расписаны минутами!

— Мы изберем не столичный рейс, где контроль полета крайне суров, а провинциальный, из тех, которыми мало кто интересуется, и его посадка в заданном месте будет обеспечена, но это не ваша забота. Ваше дело — подготовить шахида и «подарок», уложенный в кейс и укрытый пачками американских долларов, естественно, индонезийского производства, — этими словами «шейх» завершил совещание.

* * *

Город, находящийся в глубине Западной Сибири и называвшийся «Столица», действительно был столицей недавно образовавшейся страны. Это была земля Аллаха, но Ислам, возвращавшийся сюда после долгого отсутствия, делал здесь лишь самые первые шаги.

Вход в новое здание, расположенное на одной из широких центральных улиц сей «столицы», украшала скромная, выполненная золотом по зеленому камню надпись: «Строительная компания» Абд Аллах[6] групп». Тут же присутствовал ее английский перевод «Abd Allah group». Видимо, то же самое гласила и изящная надпись арабской вязью, но прочитать ее в этом городе смогли бы пять или десять человек из полумиллиона его жителей.

В уютном офисе на втором этаже этого здания пахло хорошим крепким кофе. Двое мужчин с крошечными чашечками в руках сидели в креслах у низкого резного столика и вели тихую беседу. Один из них хоть и бойко говорил по-русски, но явно был лицом «неопределенной восточной национальности», в другом же, несмотря на исходивший от него крепкий запах дорогого мужского одеколона, человек, знающий жизнь, без большого труда угадал бы тесное знакомство с нарами и с парашей.

— Наша фирма очень хотела бы пустить корни по ту сторону границы в Фомске и Новониколаевске, — сказал «восточный человек». — Но у нас там нет надежных людей, на чью помощь мы могли бы рассчитывать. Не могли бы вы нам чем-нибудь помочь, уважаемый Михей?

Михей, покрутив в раздумье пустую чашечку, после небольшой паузы степенно ответил:

— В Новониколаевске у меня никого нет, а вот в Фомске мой верный кореш держит авиакомпанию «Ермак» и имеет большие возможности в городе.

В словах «уважаемого Михея» для «восточного человека» ничего нового не было. Все это он знал заранее и потому пригласил этого дорогого гостя.

— Вы сможете представить меня вашему другу? — спросил он.

— Без труда, — ответил Михей. — Я дам знать, когда все будет готово для встречи.

* * *

Две иномарки, мчавшиеся по пустоватому утреннему шоссе,

остановились у пограничных блокпостов всего на несколько минут, необходимых для передачи взяток по обе стороны границы ее неподкупным стражам, и умчались на север. Часа через четыре их уже можно было увидеть вблизи здания аэропорта в Фомске. Четверо пассажиров вышли из них и направились к парадному входу. В сердце фирмы «Ермак» был допущен только один из них — тот самый «восточный человек», который вел переговоры с Михеем. В принявшем его генеральном директоре компании с депутатским значком в петлице, видимо, хорошо обтесавшемся в разного рода «международных контактах», было больше лоска, чем в Михее, хотя и в нем смутно ощущалось все то же трудно изгладимое тюремное прошлое, а холеные руки свидетельствовали о его высоком воровском статусе, не позволявшем ему пачкать их грязной тачкой. «Пусть за нас работает медведь», — «восточному» гостю вдруг вспомнились эти слова из веселой блатной песенки, которую любили распевать их повидавшие жизнь «сенсеи» в крымском лагере во время редких праздничных коллективных пьянок, когда строгое начальство закрывало глаза на такие «нарушения дисциплины», понимая необходимость «расслаблений».

— Предупрежден о вашем приезде, — солидно сообщил хозяин кабинета после первых приветствий. — Слушаю вас и прошу быть по возможности кратким.

— Мы, — сказал гость, протягивая визитку, — хотим открыть здесь филиал.

— Строительная компания «Абд Аллах групп», — прочитал хозяин кабинета. — Вряд ли имя «Абд Аллах» облегчит эту задачу, — продолжил он.

— Мы это учитываем, — последовал немедленный ответ. — Здешний филиал мы назовем просто «Констракшен групп», без упоминания каких-либо имен.

— Чем же я могу помочь вам? — спросил директор.

— Вы понимаете, что для скорейшего разворота дел нужно много денег и желательно наличных. Мы выделяем на развитие два миллиона баксов, но они сейчас в Европе и их нужно срочно доставить сюда. Было бы хорошо, чтобы один из ваших рейсов несколько отклонился, скажем, для дозаправки, и взял на борт нашего человека с кейсом там, где наши связи позволят избежать всяких досмотров, деклараций и прочей дребедени. Только и всего. Десять процентов этой суммы будут выплачены вам за услугу — пять сейчас, если вы согласитесь, и пять — после окончания работы, — сказал гость.

— Где может находиться ваш человек? — спросил директор.

— В аэропорту Б., — гость назвал небольшой городок на

югозападном берегу Черного моря.

— Трасса одного из наших ближневосточных рейсов проходит неподалеку, — сказал директор и, посмотрев календарь, добавил: — Хорошо, мы организуем там дозаправку этого рейса ровно через две недели.

Гость вынул из боковых карманов два плотных пакета:

— Здесь по пятьдесят тысяч в каждом…

Когда пакеты легли на стол, директор взял один из них в руки, взвесил его, не раскрывая, и спросил:

— А почему все-таки вы не доставите необходимую вам сумму тем же путем, каким прибыли эти пакеты?

— Мы не можем их легально вывезти или переслать из Европы, — последовал немедленный ответ.

— Ну ладно! Мы договорились, а остальное — ваши подробности. Я поручу курировать эту операцию на всем ее протяжении моему другу — заместителю по безопасности полетов, — сказал директор, вставая.

Гость откланялся. Уже открыв дверь, он услышал, как директор по внутреннему телефону сказал секретарше: — Парщикова ко мне!

Брови гостя слегка дрогнули, но заметить это было некому. Покидая приемную, он чуть было не столкнулся со светлоглазым и светловолосым еще относительно молодым человеком. Он вспомнил полковника Парщикова, дрессировавшего их группу в Перевальном, и вспомнил мальчика с почти белыми, выгоревшими на крымском солнце волосами, с которым полковник иногда прогуливался по лагерю. Они, бандиты, как их подружески величал полковник, любовались мальчишкой, покорявшим их сердца своей детской красотой, вспоминали, глядя на него, свой дом, младших братьев…

Гость сразу узнал его, уже во взрослом облике, в человеке, уступившем ему дорогу, а тот лишь скользнул по нему безразличным взглядом: там, в лагере, возле которого он рос, мимо него прошли тысяч пятнадцать бандитов, и кто бы смог когонибудь из них, таких одинаковых, запомнить!

И тут гостя вдруг поразила мысль: «Так это и есть тот, кому будет поручено «курировать операцию», как сказал директор!» — и он чуть не остановился. Но в то же мгновение к нему пришли спасительные слова: «Аллах знает все»!

* * *

Директор разорвал обертку одной из пачек, оставленной им

на столе, и, не отсчитывая, отделил пальцем примерно половину содержавшихся в ней купюр. Он протянул их подошедшему Парщикову.

— Дело будет состоять вот в чем… — начал он и далее кратко объяснил суть стоящей перед ними задачи.

* * *

Через неделю Парщиков стал собираться в путь. Ожидавшее его путешествие казалось ему легким и приятным, и по исполнению и, тем более — по результатам. Пока он складывал в свою сумку самое необходимое, у него под ногами все время крутился его десятилетний сынишка.

И тут Парщикову пришла в голову шальная мысль: «А почему бы не взять его в этот полет? Ну, пропустит два дня в школе — большое дело! Зато сколько увидит — воспоминаний на несколько лет хватит!»

Жена возражать не стала. Парщиков в ее глазах был человеком надежным и любящим отцом, и она всегда чувствовала себя с ним как за каменной стеной и доверяла ему больше, чем самой себе. Правда, когда она провожала их в аэропорту и увидела, как за ними закрылась дверь салона, ее сердце почемуто сжалось от предчувствия какой-то беды, но небо было ясным, без единого облачка, и солнечные лучи рассеяли ее страхи.

В аэропорту Бен Гуриона было еще более солнечно, чем в Фомске, и от этого избытка солнца, от нарядной красоты окружающего их мира у пассажиров на душе было спокойно и радостно. Большинство из них, побывав у переселившихся сюда родственников и друзей, возвращались в Фомск и в близлежащие к нему города северной страны. Были и те, кто, наоборот, летел в гости на север. Некоторые были с детьми, и Парщиков подумал, что его малышу будет не одиноко в полете.

В салоне оказалось немало свободных мест, и это тоже порадовало Парщикова: на «лишнего» пассажира, которому предстояло подсесть в пути, никто не обратит внимания. Все складывалось как нельзя лучше. Когда стюардесса попросила пристегнуть ремни, в салоне раздались возгласы недоумения.

— Это рабочая посадка для дозаправки, — объяснила она. — Десятьпятнадцать минут — и полетим дальше. На времени прилета в Фомск эта остановка не отразится.

* * *

Шахид оказался совсем молодым, красивым парнем. В правой руке он держал кейс, прикрепленный к запястью блестящим браслетом. Парщиков, сразу заметив его в зале ожидания, подошел к нему. Они обменялись условными фразами и, увидев, что у одного из окон никого не было, двинулись туда. Там шахид приоткрыл кейс, и Парщиков убедился, что он заполнен плотно уложенными пачками банкнот.

Когда они поднимались по приставной лестнице в салон, Парщиков шел впереди и поэтому не смог заметить, что шахид немного перегнулся влево, чтобы уравновесить тяжесть кейса, и спокойно провел его в салон, усадив поближе к хвосту, где два последних ряда кресел были полностью свободны, и на нового пассажира никто не обратил внимания.

Только в самолете шахид смог расслабиться, и напряжение, в котором он находился уже несколько дней, покинуло его. Свое задание он мог уже считать выполненным. Для этого было достаточно одного движения его левой руки.

Взлет прошел нормально, и установившийся монотонный шум двигателей на всех подействовал успокоительно.

«И вот я уже вступил на сират[7]», — подумал шахид.

Он был абсолютно спокоен. Взгляд его скользил по салону. Мимо него пробежали двое ребятишек, и он вздрогнул, представив себе, что на месте одного из них мог оказаться его собственный младший брат. Но смятение его длилось недолго: услужливая память оживила в его сознании слова Пророка о том, что дети — все, как один, от рождения — мусульмане, пока они дети и пока никто их не совратил с истинного предназначенного пути, знание которого заложено Господом в сердца всех людей на Земле. И он, шахид, поможет им сохранить чистоту помыслов. Поэтому там они, оба эти малыша, будут рядом с ним, в джанне, — под тенистыми деревьями на берегу прохладного ручья они будут играться золотым песком до Дня Суда, который им тоже ничем не будет грозить.

И шахид решил, что пришло время салят аль-хаджа[8], ибо исполнение его желаний уже близко. Он собрался прочитать фатиху[9], но передумал и стал про себя медленно читать «Рассвет». Когда он повторял эту волшебную суру в третий раз, над ним склонилась стюардесса и спросила, что бы он пожелал получить на ланч. Он ничего не понял, потому что он вслушивался не в слова, а в ее чарующий голос. Обратив к ней свое лицо, он увидел красавицу с волосами темного золота, черные брови и огромные глаза.

«О Господи! Большеглазая и черноокая! Это же хури[10]!»

И он нащупал пальцем неглубокое гнездышко на боковой

грани кейса и нажал на едва заметную выпуклость на его дне. В доли секунды возник огненный столп, разорвавший потолок салона, а во все стороны, как сотни пуль, полетели металлические шарики, заботливо уложенные в кейс вокруг пластикового пакета теми, кто готовил этот «подарок». Теперь они жалили и пробивали все живые и неживые преграды…

* * *

— Не повезло ребятам! — сказал первый пилот, обращаясь ко всем, кто был в кабине, увидев взорвавшийся самолет, шедший до этого взрыва несколько ниже — почти под прямым углом к их собственной трассе.

— Да-а! — ответил ему штурман и добавил: — Странно только, что у них вроде бы рванул хвост, а не двигатель…

К этому времени горевший и распадающийся на глазах самолет остался позади. Потом послышался еще один взрыв.

— Теперь топливо! — сказал второй пилот. — Надо доложить…

* * *

В довольно просторной, уютно укрытой коврами комнате совсем не чувствовалось, что она находится в бункере, устроенном в специально расширенной для этой цели глубокой пещере в Белых горах. Скрытые кондиционеры заполняли ее пространство чистым горным воздухом, а пол в комнате был выполнен так, что сквозь него проникал приглушенный коврами звонкий плеск быстрого подземного ручья, а может быть, и речки.

И в этом подземном раю высокий неторопливый человек, известный в мире под именем Абд Аллах, в окружении друзей и соратников принимал «шейха аль-Казима». Речь шла о том, что в последнее время тем, кто исполняет волю Абд Аллаха, неизменно сопутствует успех.

— О повелитель! — почтительно обратился к Абд Аллаху алКазим. — Можем ли мы объявить, что этот акт высшего правосудия осуществлен именно нами — людьми из Анвы, чтобы все поняли, что наши слова о том, что пришельцы должны покинуть землю Аллаха, не расходятся с делом?

Ответ Абд Аллаха был для аль-Казима неожиданностью:

— После устроенного неверным огненного сентября нам не стоит говорить о нашей причастности и к этому делу. Пусть они

думают и верят, что это кадар11[11] или джабр[12], от которых никто не может укрыться, и это будет страшнее, потому что меня они могут убить, а до Господа им не добраться. И вообще — помните все, что клочок земли Аллаха, освобождением которого озабочен уважаемый аль-Казим, для нас по сути дела не имеет никакой ценности. Это только принцип, потому что дар аль-Ислам [13] не имеет географических границ. Не нам — Аллаху — должна принадлежать вся планета, и люди уже сегодня снова, как во времена Пророка, толпами входят в Ислам, я вижу и чувствую это.

— Но такое событие не останется без внимания, мир будет ждать объяснений, — не без робости попытался возразить аль-Казим.

— Мы дадим ему объяснения, — беззаботно сказал Абд Аллах. — Ведь в мире постоянно идут какие-нибудь маневры, стрельбы, запуски ракет. Повсюду есть подкармливаемые нами журналисты. Они забросают мир своими версиями и поднимут такой шум, что ни один трезвый голос не будет услышан.

* * *

К тихому кладбищу на окраине Фомска подъехала современная похоронная процессия — автобус и несколько автомобилей. В просторной ограде, возведенной вокруг солидного памятника полковнику Парщикову, были аккуратно вырыты две небольшие могилы. На возвышавшемся над оградой мраморном обелиске, помимо традиционных анкетно-похоронных сведений о почившем в бозе полковнике, красовалась выполненная золотом надпись: «Замечательному учителю борцов за мир, свободу и счастье людей».

В новые могилы опустили два закрытых ящика. Держась за ограду, тихо стояли две женщины и девочка с глазами, полными слез. Человек с депутатским значком в петлице сказал несколько прочувствованных слов, и голос его дрогнул и прервался. Трое телохранителей достали пистолеты и трижды разрядили их в воздух, а люди с траурными повязками на рукавах быстро укрыли свежие холмики цветами и венками.

* * *

Мунзир, возвратившись из небольшого и небезопасного путешествия на Восток к Абд Аллаху и обратно, решил немного

отдохнуть в уединении. С ним в эту поездку напросился и младший сын. Мунзир не возражал: в просторном доме в небольшом безлюдном урочище мальчик не будет ему мешать и сам найдет себе, чем заняться. Отец поставил ему лишь одно условие — встать на заре. Мальчик в предвкушении захватывающего путешествия проснулся раньше его, и когда Мунзир вышел из своих апартаментов, малыш уже ждал его в машине.

Два джипа мчались по пустынной дороге, петлявшей в предгорьях. Солнце еще не поднялось над горами, но его присутствие уже ощущалось в просыпающейся природе яркостью красок. Мунзиру почемуто вспомнилось такое же яркое утро в Крыму, и ему стало грустно — там, далеко отсюда, остались его невозвратные молодые годы.

Дорога в это время делала крутой поворот, огибая скалу, и погруженный в свои думы, Мунзир вдруг почувствовал, что в окружающем мире что-то изменилось, а когда прошлое в его сознании резко сменилось настоящим, он увидел, что из-за скалы, которую они в тот момент объезжали, в ослепительных солнечных лучах появилось темное пятно.

— Вертолет! — предостерегающе закричал один из телохранителей, ехавших в первой машине. И тут Мунзир, он же «шейх» аль-Казим, до сих пор, не колеблясь, убивавший беззащитных людей, и чаще всего — в спину, посылавший на смерть тех, кто ему верил, совершил единственный в своей беспокойной жизни отважный поступок: чувствуя смертельную опасность, он, не задумываясь, закрыл своим телом сына. Но ракета — не пуля, и через несколько секунд на дороге уже не было ни джипов, ни людей. Только глубокая воронка и медленно оседавший над ней столб серой пыли.

notes

Примечания

1

Анва — завоевание силой оружия.

2

Клички: Мунзир — «подстерегающий», Ансар — «помощник».

3

Джанна — рай, райский сад.

4

Кафир — неверный.

5

Джаханнам — ад, геенна огненная.

6

Абд Аллах — распространенное имя; означает «раб Аллаха».

7

Сират — мост в рай.

8

Салят аль-хаджа — молитва об исполнении желания.

9

Фатиха — сура, открывающая Коран.

10

Хури — гурия, райская дева.

11

Кадар — Предопределение.

Джабр — воля Божья.

13

Дар аль-Ислам — земля Ислама.